Бенедикт Михайлович Сарнов
Сталин и писатели Книга первая

«Сталин и писатели Книга первая»: Эксмо; Москва; 2009
ISBN 978-5-699-24794-3

Аннотация

Новая книга Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели» по замыслу автора должна состоять из двадцати глав. В каждой из них разворачивается сюжет острой психологической драмы, в иных случаях ставшей трагедией. Отталкиваясь от документов и опираясь на них, расширяя границы документа, автор подробно рассматривает «взаимоотношения» со Сталиным каждого из тех писателей, на чью судьбу наложило свою печать чугунное сталинское слово.

В первую книгу из двадцати задуманных автором глав вошли шесть: «Сталин и Горький», «Сталин и Маяковский», «Сталин и Пастернак», «Сталин и Мандельштам», «Сталин и Демьян Бедный», «Сталин и Эренбург».

ОТ АВТОРА

Первоначальный замысел этой книги возник у меня очень давно. Он был тогда весьма скромен. Я хотел просто собрать все письма писателей Сталину и, если таковые были, письма Сталина писателям.

Но при всей непритязательности этого замысла, даже в таком скромном варианте он был тогда (в хрущевско-брежневские времена) неосуществим.

Самые интересные, как мне тогда казалось, документы (обращенные к Сталину письма Зощенко, Булгакова, Замятина) я знал по ТАМ или САМиздату. (Письмо Замятина, например.) Даже просто опубликовать их, собрав в одну книгу, по цензурным условиям того времени было невозможно.

Ну, а потом, когда сделать это уже можно было без всяких цензурных препон, замысел утратил жгучий интерес запретного плода и как-то поблек.

Почему же теперь я вдруг решил к нему вернуться?

Отчасти меня подтолкнули к этому новые документы из открывшихся архивов (например, опубликованная в 90-е годы сенсационная переписка Сталина с Шолоховым: пятнадцать писем и записок Шолохова Сталину, письмо и две телеграммы Сталина Шолохову; не публиковавшиеся в советское время письма Горького Сталину и многие другие не менее сенсационные документы, публикация которых стала возможна только в постсоветское время).

Но главным было не это.

Мысленно выстроив эту свою будущую книгу по главам («Сталин и Горький», «Сталин и Маяковский», «Сталин и Пастернак», «Сталин и Мандельштам» и т.д.), я вдруг увидал, что каждая из этих глав в свете новых, открывшихся за последние годы документов и свидетельств современников представляет собой сюжет острой психологической драмы, в иных случаях (Горький, Булгаков, Мандельштам) ставшей трагедией.

Мне показалось необычайно заманчивым, отталкиваясь от документов и опираясь на них, расширяя, как это декларировал Тынянов, границы документа, внимательно и по возможности подробно рассмотреть «взаимоотношения» со Сталиным каждого из тех писателей, на чью судьбу наложило свою печать чугунное сталинское слово.

Слово «взаимоотношения» я взял в кавычки, потому что в иных случаях эти взаимоотношения были реальными и даже личными (Горький, Демьян Бедный), в других — заочными (Булгаков, Замятин, Эренбург), а иногда и вовсе сводились к какому-нибудь

одному, брошенному Сталиным слову. (Так было, например, с Платоновым, на тексте раннего рассказа которого Сталин написал только одно слово: «Сволочь!». Но тень этого слова легла на всю последующую жизнь писателя, определила всю его страшную, трагическую судьбу.)

И тем не менее в каждой из рассматриваемых мною историй это были именно **взаимоотношения** — напряженный, страстный, драматический (пусть даже мысленный) диалог жертвы с палачом, иногда — если жертве случалось пережить палача — продолжающийся даже и после смерти последнего.

Приступая к реализации этого своего замысла, я наметил для себя двадцать таких сюжетов:

1. Сталин и Горький
2. Сталин и Маяковский
3. Сталин и Пастернак
4. Сталин и Мандельштам
5. Сталин и Демьян Бедный
6. Сталин и Эренбург
7. Сталин и А.Н. Толстой
8. Сталин и Шолохов
9. Сталин и Замятин
10. Сталин и Булгаков
11. Сталин и Платонов
12. Сталин и Зощенко
13. Сталин и Ахматова
14. Сталин и Пильняк
15. Сталин и Фадеев
16. Сталин и Бабель
17. Сталин и Михаил Кольцов
18. Сталин и Николай Эрдман
19. Сталин и Симонов
20. Сталин и Афиногенов.

Итак, двадцать глав (их, конечно, могло быть и больше), двадцать историй взаимоотношений каждого из тех, к чьей судьбе я собираюсь прикоснуться, с человеком, в официальный титул которого, помимо разных других словесных формул («Отец народов», «Корифей всех наук» и проч.), входила и такая: «Лучший друг советских писателей».

Сперва я наивно предполагал, что все эти главы войдут в одну книгу. Но уже в процессе работы над первой главой («Сталин и Горький») понял, что для реализации всего замысла не только одной, но даже и двух книг, пожалуй, будет мало. В поле моего зрения попадали всё новые факты и документы, о которых я раньше не знал и даже о существовании которых не догадывался, возникали новые соображения, рождались и складывались новые сюжеты. В общем, книга, как это всегда бывает, писала себя сама. И получалась уже совсем не такой, какой я ее задумал.

Так вот и вышло, что в первый том этой задуманной мною панорамы вошло всего-навсего шесть глав. А сколько их окажется, когда вся она будет (если будет) завершена, я теперь уже и сам не знаю.

Бенедикт САРНОВ

2 августа 2007 года

СТАЛИН И ГОРЬКИЙ

ДОКУМЕНТЫ

1
ПИСЬМО А.М. ГОРЬКОГО И.В. СТАЛИНУ
8 января 1930 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

«Руль» сообщает, что в Чите какой-то журнал не похвалил меня и за это понес наказание. Считая выговор ЦК новосибирцам, это — второй случай. Я вполне уверен, что будет 3-й, 10-й и т.д. Я считаю это явление совершенно естественным и неизбежным, но не думаю, что нужно наказывать пишущих про меня нелестно или враждебно.

Враждебных писем я, как и Вы, как все мы, «старики» — получаю много. Заскоки и наскоки авторов писем убеждают меня, что после того, как партия столь решительно ставит деревню на рельсы коллективизма — социальная революция принимает подлинно социалистический характер. Это — переворот почти геологический и это больше, неизмеримо больше и глубже всего, что было сделано партией. Уничтожается строй жизни, существовавший тысячелетия, строй, который создал человека крайне уродливо своеобразного и способного ужаснуть своим животным консерватизмом, своим инстинктом собственника. Таких людей — два десятка миллионов. Задача перевоспитать их в кратчайший срок — безумнейшая задача. И, однако, вот она практически решается.

Вполне естественно, что многие из миллионов впадают в неистовое безумие уже по-настоящему. Они даже и не понимают всей глубины происходящего переворота, но они инстинктивно, до костей чувствуют, что начинается разрушение самой глубочайшей основы их многовековой жизни. Разрушенную церковь можно построить вновь и снова посадить в нее любого бога, но когда из-под ног уходит земля, это непоправимо и навсегда. И вот люди, механически усвоившие революционную фразу, революционный лексикон, бешено ругаются, весьма часто скрывая под этой фразой мстительное чувство древнего человека, которому «приходит конец». Обратите внимание: из Сибири, с Д[альнего] Востока ругаются всего крепче, там и мужик крепче.

Но «брань на вороту не виснет», мне она жить не мешает, а в работе — поощряет. Человек я, как Вы знаете, беспартийный, значит: все, что по моему адресу, — партию и руководящих членов ее не задевает. Пускай ругаются. Тем более, что некоторые, даже многие ругаются по недоразумению, по малограмотности, и когда им объяснишь суть дела, перестают. Многие торопятся заявить о своей ортодоксальности, надеясь кое-что выиграть этим — и выигрывают.

А, в общем, все идет отлично. Гораздо лучше, чем можно было ожидать. Так что не наказывайте ругателей, Иосиф Виссарионович, очень прошу Вас. Те из них, которые неизлечимы, не стоят того, чтобы думать о них, а которые легко заболели, — вылечатся. Жизнь наша — талантливейший доктор.

Пользуясь случаем, еще раз поздравляю с полустолетней службой жизни. Хорошая служба. Будьте здоровы!

А. Пешков

А для «Литературной учебы» — напишете? Надобно написать. Для начинающих литераторов это будет полезно. Очень. Напишите!

А. П[ешков].

2
ПИСЬМО И.В. СТАЛИНА А.М. ГОРЬКОМУ
24 октября 1930 г.

Уважаемый Алексей Максимович!

Приехал из отпуска недавно. Раньше, во время съезда, ввиду горячки в работе, не писал Вам. Это, конечно, не хорошо. Но Вы должны меня извинить. Теперь другое дело, — теперь

могу писать. Стало быть, есть возможность загладить грех. Впрочем: «не согрешив, — не раскаешься, не раскаявшись, — не спасешься»…

Дела у нас идут неплохо. Телегу двигаем; конечно, со скрипом, но двигаем вперед. В этом все дело.

Говорят, что пишете пьесу о вредителях, и Вы не прочь были бы получить материал соответствующий. Я собрал новый материал о вредителях и посылаю вам на днях. Скоро получите.

Как здоровье?

Когда думаете приехать в СССР?

Я здоров.

Крепко жму руку.

И. Сталин

3
ПИСЬМО А.М. ГОРЬКОГО И.В. СТАЛИНУ
2 ноября 1930 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович,

Крючков привез мне Вашу записку, спасибо за привет. Очень рад узнать, что Вы за лето отдохнули.

Был совершенно потрясен новыми, так ловко организованными актами вредительства и ролью правых тенденций в этих актах. Но вместе с этим и обрадован работой ГПУ, действительно неутомимого и зоркого стража рабочего класса и партии. Ну, об этих моих настроениях не буду писать, Вы их поймете без лишних слов, я знаю, что и у Вас возросла ненависть ко врагам и гордость силою товарищей. Вот что, дорогой И[осиф] В[иссарионович], — если писатели Артем Веселый и Шолохов будут ходатайствовать о поездке за границу — разрешите Вы им это; оба они, так же как Всеволод Иванов, привлечены к работе по «Истории гражданской войны», — к обработке сырого материала, работа их будет редактироваться историками под руководством М.Н. Покровского — мне, да и для них, было бы полезно поговорить о приемах этой работы теперь же, до весны, когда я приеду.

На днях в Неаполь прибудут 200 человек «ударников», поеду встречать их. Очень рад потолковать с этими молодцами.

Пьесу о «вредителе» бросил писать, не удается, мало материала. Чрезвычайно хорошо, что Вы посылаете мне «новый»! Но — еще лучше было бы, конечно, если б нового в этой области не было.

Сегодня прочитал в «Эксельциоре» статью Пуанкаре. На мой взгляд — этой статьей он расписался в том, что ему хорошо известны были дела «промышленной» и «крестьянской» партий, что Кондратьевы и К — люди, не чуждые ему. Очевидно, и вопрос об интервенции двигается вперед понемножку. Однако я все еще не могу поверить в ее осуществимость, «обстановочка» для этого, как будто, неподходяща. Но Вам виднее, конечно.

Чувствую, что пришла пора везти старые косточки мои на родину. Здоровье, за лето, окрепло. Держу строгий режим. Приеду к Первому мая.

Крепко жму Вашу руку, дорогой товарищ.

А. Пешков

4
ПИСЬМО И.В. СТАЛИНА А.М. ГОРЬКОМУ
[не позднее 15 декабря 1930 г.]

Привет Алексею Максимовичу!

Пишу с некоторым запозданием, т.к. диппочта идет к вам, в Италию лишь в определенные сроки, кажется, раз в 20 дней.

Шолохов и другие уже отправились к Вам. Им дали все, что требуем для поездки.

Показаний Осадчего не посылаю, т.к. он их повторил на суде, и Вы можете познакомиться с ними по нашим газетам.

Видел т. Пешкову. Доктор Левин будет у Вас на днях. Останется месяц-полтора или больше — как скажете.

Процесс группы Рамзина окончился. Решили заменить расстрел заключением на 10 и меньше лет. Мы хотели этим подчеркнуть три вещи: а) главные виновники не рамзиновцы, а их хозяева в Париже — французские интервенты с их охвостьем «Торгпромом»; б) людей раскаявшихся и разоружившихся советская власть не прочь помиловать, ибо она руководствуется не чувством мести, а интересами советского государства; в) советская власть не боится ни врагов за рубежом, ни их агентуры в СССР.

Дела идут у нас неплохо. И в области промышленности, и в области сельского хозяйства успехи несомненные. Пусть мяукают там, в Европе, на все голоса все и всякие ископаемые средневекового периода о крахе СССР. Этим они не изменят ни на йоту ни наших планов, ни нашего дела. СССР будет первоклассной страной самого крупного, технически оборудованного промышленного и сельскохозяйственного производства. Социализм непобедим. Не будет больше «убогой» России. Кончено! Будет могучая и обильная передовая Россия.

15-го созываем пленум ЦК. Думаем сменить т. Рыкова. Неприятное дело, но ничего не поделаешь: не поспевает за движением, отстает чертовски (несмотря на желание поспеть), путается в ногах. Думаем заменить его т. Молотовым. Смелый, умный, вполне современный руководитель. Его настоящая фамилия не Молотов, а Скрябин. Он из Вятки. ЦК полностью за него.

Ну, кажется, хватит.

Жму руку.

И. Сталин

P.S. Если действительно решили приехать к весне, хорошо бы поспеть к 1 мая, к параду.

5
ПИСЬМО И.В. СТАЛИНА А.М. ГОРЬКОМУ
10 января 1931 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Посылаю документы о 1) группе Кондратьева и 2) о меньшевиках. Просьба — не принимать близко к сердцу содержимое этих документов, не волноваться. Герои документов не стоят того. К тому же есть на свете подлецы почище этих пакостников.

У нас дела идут хорошо. Неважно обстоит дело с транспортом (слишком большой груз навалили), но выправим в ближайшее время.

Берегите здоровье.

Привет!

И. Сталин

6
ИЗ ПИСЬМА А.М. ГОРЬКОГО И.В. СТАЛИНУ
12 ноября 1931 года

…мне прислали фельетон Ходасевича о пьесе Булгакова. Ходасевича я хорошо знаю: это — типичный декадент, человек физически и духовно дряхлый, но преисполненный мизантропией и злобой на всех людей. Он не может — не способен — быть другом или врагом кому или чему-нибудь, он «объективно» враждебен всему существующему в мире, от

блохи до слона, человек для него — дурак, потому что живет и что-то делает. Но всюду, где можно сказать неприятное людям, он умеет делать это умно. И — на мой взгляд — он прав, когда говорит, что именно советская критика сочинила из «Братьев Турбиных» антисоветскую пьесу. Булгаков мне «не брат и не сват», защищать его я не имею ни малейшей охоты. Но — он талантливый литератор, а таких у нас — не очень много. Нет смысла делать из них «мучеников за идею». Врага надобно или уничтожить, или перевоспитать. **В данном случае** я за то, чтоб перевоспитать. Это — легко. Жалобы Булгакова сводятся к простому мотиву: жить нечем. Он зарабатывает, кажется, 200 р. в м-ц. Он очень просил меня устроить ему свидание с Вами. Мне кажется, это было бы полезно не только для него лично, а вообще для литераторов-«союзников». Их необходимо вовлечь в общественную работу более глубоко. Это — моя забота, но одного меня мало для успеха, и у товарищей все еще нет твердого определенного отношения к литературе и, мне кажется, нет достаточно ясной оценки ее культурного и политического значения. Ну — достаточно!

Будьте здоровы и берегите себя. Истекшим летом, в Москве, я изъяснялся Вам в чувствах моей глубокой, товарищеской симпатии и уважения к Вам. Позвольте повторить это. Это — не комплименты, а естественная потребность сказать товарищу: я тебя искренно уважаю, ты — хороший человек, крепкий большевик. Потребность сказать это удовлетворяется не часто, Вы это знаете. А я знаю, как Вам трудно бывает. Крепко жму руку, дорогой Иосиф Виссарионович.

12.XI.31. А.Пешков

7
ПИСЬМО А.М. ГОРЬКОГО И.В. СТАЛИНУ
25 января 1932 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович, —

Прилагаю копию письма моего Илье Ионову, я очень прошу Вас обратить внимание на вреднейшую склоку, затеянную этим ненормальным человеком и способную совершенно разрушить издательство «Академия». Ионов любит книгу, это, на мой взгляд, единственное его достоинство, но он недостаточно грамотен для того, чтоб руководить таким культурным делом. Я знаю его с 18-го года, наблюдал в течение трех лет, он и тогда вызывал у меня впечатление человека психически неуравновешенного, крайне — «барски» — грубого в отношениях с людьми и не способного к большой ответственной работе. Затем мне показалось, что поездка в Америку несколько излечила его, но я ошибся, — Америка только развила в нем заносчивость, самомнение и мещанскую — «хозяйскую» — грубость. Он совершенно не выносит людей умнее и грамотнее его и по натуре своей — неизлечимый индивидуалист в самом плохом смысле этого слова.

Мне кажется, что его следовало бы заменить в «Академии» другим человеком, и — не одним даже. Не пригодятся ли на эту работу: Лев Каменев, Сутырин, П.С.Коган или кто-нибудь другой? Дело очень крупное, требует больших знаний.

Тихонов и Виноградов защищаются мною отнюдь не по личным симпатиям, а именно потому, что это люди знающие. Сейчас я составляю планы изданий для молодежи — «Историю женщины от первобытных времен до наших дней», «Историю всемирного купца», «Историю русского быта», т.е. историю средней буржуазии — мещанства. Работа над этими изданиями требует серьезных культурных сил.

Прилагаю также письмо некоего Иринина. Я не знаю — кто он, но слышал, что служит в одном из наших берлинских учреждений. Письмо — сумбурное, как видите.

За три недели, которые прожил у меня Авербах, я присмотрелся к нему и считаю, что это весьма умный, хорошо одаренный человек, который еще не развернулся как следует и которому надо учиться. Его нужно бы поберечь. Он очень перегружен работой, у него невроз сердца и отчаянная неврастения на почве переутомления. Здесь его немножко лечили, но этого мало. Нельзя ли ему дать отпуск месяца на два, до мая? В мае у него начинается

большая работа, большая работа по съезду писателей и подготовке к празднованию 15 октября.

Очень прошу Вас: распорядитесь, чтоб выпустили сюда литератора Михаила Слонимского, он едет для работы над новым романом. Слышу много отрадного о произведениях Шолохова, Фадеева, Ставского, Горбунова, кажется, 32-й будет урожайным годом по литературе.

Завтра в Неаполе спускают на воду второй траллер «Амурец», недавно спущен и ушел на Дальвосток — «Уссуриец». Очень хороши ребята — командный состав — на этих судах. Третье судно будет спущено в феврале.

Огорчен я тем, что развернутый план «Истории гр[ажданской] войны» все еще не проверен. Так хотелось бы выпустить первый том ее к 15 году!

О намерениях итальянцев не буду писать, наверное, Вы знаете это лучше меня.

Имею к Вам просьбу: не пора ли восстановить в партии Владимира Зазубрина, сибирского писателя? Человек он прекрасно настроенный, написал очень хороший роман «Горы», а наказан —достаточно крепко. И едва ли заслуженно в такой мере. Очень ценный человек.

Будьте здоровы, крепко жму руку.

А.Пешков

8
ПИСЬМО А.М. ГОРЬКОГО И.В. СТАЛИНУ 17 ФЕВРАЛЯ 1932 ГОДА
17 февраля 1932, Сорренто

Дорогой Иосиф Виссарионович — Крючков передаст Вам три документа:

1. Соображения американца Рея Лонга о книге, которая должна быть написана как бы в форме предисловия к целому ряду книг о Союзе Советов, которые он хотел бы издать. 2. 3. Письмо Лонга ко мне. 4. 5. Проект договора, составленный им. 6. Рей — человек вполне «приличный», насколько вообще может быть приличен американец-буржуа, который хорошо чувствует, что его страна — в опасности и что опасность эту могло бы устранить решительное изменение политики группы Гувера, т.е. прежде всего — признание Вашингтоном Союза Советов, затем — все остальное, логически вытекающее из признания. По всему, что говорилось им, мне кажется, что он действует не совсем за «свой страх», а как будто от лица группы. Он был компаньоном крупной издательской фирмы «Ричард Смит и Рей Лонг», но теперь вышел и организует свое дело на «русском материале». Из Нью-Йорка в Сорренто он приехал специально для переговоров об этом «предприятии», — я думаю, что для небольшого и личного дела это слишком большой «накладной расход». Материальные условия, предлагаемые им, тоже не в нравах обычных, даже и крупных издателей Америки. Характер вопросов, которые он предлагает осветить, тоже воспринимаются мною как инициатива группы, настроенной в пользу признания Союза. Лично мне это дело кажется серьезным, и заслуживающим того, чтоб оно было сделано хорошо. Затем: по моему мнению, дело это отвечает Вашему предложению «обратить внимание на интеллигенцию США».

Итак: если Вы принципиально не против предложения Лонга, — я просил бы Вас немедля распорядиться о практическом его осуществлении и телеграфировать через Крючкова Ваше решение. Может быть, удобнее через Д.И.Курского?

Я начал было писать статью по адресу американской интеллигенции, в резком тоне. Откладываю эту работу, не считая ее тактичной ввиду предложения Лонга.

Затем очень прошу Вас прочитать мое письмо рабочим по вопросам «Истории фабзаводов», может быть, оно нуждается в поправках.

Крепко жму руку, дорогой товарищ.

А.Пешков

P.S. Личное Ваше участие в создании книги Р.Лонг считает обязательным и необходимым как основной и самый серьезный удар по американским мозгам — я нахожу,

что он в этом совершенно прав: Ваше участие, действительно, необходимо. Окончательная редакция всех статей — тоже Ваша.

Тему: «Положение среднего русского человека до революции» я могу взять на себя, но необходимо, чтоб мне прислали тезисы.

Книга не должна быть более 10 листов. Тираж, видимо, предполагается массовый.

А.П.

9
ПИСЬМО А.М. ГОРЬКОГО И.В. СТАЛИНУ 24 МАРТА 1932 ГОДА
24 марта 1932, Сорренто

Дорогой Иосиф Виссарионович —

телеграмму Вашу получил и принял соответствующие меры. Сожалею, что бестактность Р.Лонга разрушила серьезное дело, но думаю, что — через некоторое время дело это следует возобновить, разумеется, не по нашей инициативе и в форме несколько иной.

Пользуясь случаем, разрешаю себе поделиться с Вами впечатлением, которое вызывает у меня полемика группы Панферова-Серафимовича с ведущей группой РАППа. Идеологические мотивы первой группы для меня не совсем ясны, но, насколько я понимаю, она стремится к примитивизму и опрощению в области литературы, однако не указывает с достаточной ясностью: почему и зачем это нужно? Если я не ошибаюсь, тогда — это стремление вредное, и в нем чувствуется присутствие элемента угодничества начинающим писателям и желания группы Панферова занять командующие позиции.

Начинающих писателей нужно убеждать: учитесь! И вовсе не следует угождать их слишком легкому отношению к литературной работе. В массу рапповцев эта полемика вносит смущение, раздоры и вызывает в ней бесплодную трату времени на исследование вопроса не — «кто прав», а «за кем идти»? Именно так формулируют свое настроение молодые писатели в их письмах ко мне. Как видите — формулировка, за которую не похвалишь.

Бесконечные групповые споры и склоки в среде РАППа, на мой взгляд, крайне вредны, тем более, что мне кажется: в основе их лежат не идеологические, а, главным образом, личные мотивы. Вот что я думаю. Затем, кажется мне, что замена руководящей группы РАППа, — в которой объединены наиболее грамотные и культурные из литераторов-партийцев, — группой Серафимовича-Ставского-Панферова пользы дальнейшему росту РАППа — не принесет.

Здесь, в Неаполе и Венеции строятся траллера для Мурманска и Владивостока. Выстроят траллер, и он стоит месяца полтора до того, как приедет из Союза команда.

Прилагаю перевод статейки из газеты «Рома», м.б., она проскользнула мимо внимания товарищей, для которых такие заметки небезынтересны.

Жду с нетерпением, когда можно будет ехать в Москву. Здоров.

Крепко жму Вашу руку.

А.Пешков

Сейчас приехал Афиногенов.

10
ПИСЬМО А.М. ГОРЬКОГО И.В. СТАЛИНУ
2 августа 1934 г.

Посылаю Вам мой «доклад» и очень прошу Вас ознакомиться с ним поскорее, чтоб я успел внести в него поправки, которые Вы, может быть, сделаете.

Прилагаю письма ко мне т. Мирского и Ясенского, а также копию статьи последнего, направленной в «Правду» и еще не напечатанной. Вероятно она и не будет напечатана, ибо

Юдин и Мехлис — люди одной линии. Идеология этой линии неизвестна мне, а практика сводится к организации группы, которая хочет командовать Союзом писателей. Группа эта — имея «волю к власти» и опираясь на центральный орган партии, конечно, способна командовать, но, по моему мнению, не имеет права на действительное необходимое идеологическое руководство литературой, не имеет вследствие слабой интеллектуальной силы этой группы, а также вследствие ее крайней малограмотности в отношении к прошлому и настоящему литературы.

Состав правления Союза намечается из лиц, указанных в статье Юдина, тоже прилагаемой мною. Серафимович, Бахметьев да и Гладков, — на мой взгляд, — «отработанный пар», люди интеллектуально дряхлые. Двое последних относятся к Фадееву враждебно, а он, остановясь в своем развитии, видимо, переживает это как драму, что, впрочем, не мешает его стремлению играть роль литературного вождя, хотя для него и литературы было бы лучше, чтобы он учился. Оценку Мирским «Последнего из Удэге» я считаю совершенно правильной, но, — судя по Юдину, — Фадеев только обиделся на нее. Мое отношение к Юдину принимает характер все более отрицательный. Мне противна его мужицкая хитрость, беспринципность, его двоедушие и трусость человека, который, сознавая свое личное бессилие, пытается окружить себя людьми еще более ничтожными и спрятаться в их среде. Я не верю в искренность коммунизма Панферова, тоже малограмотного мужика, тоже хитрого, болезненно честолюбивого, но парня большой воли. Он очень деятельно борется против критического отношения к «Брускам», привлек в качестве своего защитника Варейкиса, какой-то Гречишников выпустил о нем хвалебную книжку, в которой утверждается, что «познавательное значение «Брусков», без всякого преувеличения, огромно», и повторена фраза из статьи Васильковского: «Брусков» не заменяют и не могут заменить никакие, даже специальные исследования о коллективизации». Разумеется, в книжке этой нет ни слова о «Поднятой целине» Шолохова и о «Ненависти» Шухова. Вполне естественно, что на этих авторов неумеренное восхваление Панферова действует болезненно и вредно.

Лично для меня Панферов, Молчанов и другие этой группы являются проводниками в среду литераторов и в литературу — мужика, со всем его индивидуалистическим «единоличным» багажом. Литература для них — «отхожий промысел» и трамплин для прыжков на высокие позиции. Мое недоверчивое и даже враждебное отношение к мужику не уменьшается от того, что мужик иногда говорит языком коммуниста. Мужицкая литература и литература о мужике требует особенно внимательного чтения и особенно острой критики. Все чаще приходится отмечать, что мужик учится не так жадно, как пролетарий. Вот последний случай: Молчанову были предложены средства для того, чтобы он поехал на одну из больших строек, пожил там, посмотрел, как работает пролетариат для возрождения деревни. Он отказался, сославшись на то, что пишет новую книгу. Критика его «Крестьянина» отскочила от него, как от гуся вода.

Вишневский, Либединский, Чумандрин не могут быть руководителями внепартийных писателей, более грамотных, чем эти трое. Комфракция в Оргкоме не имеет авторитета среди писателей, пред которыми открыто развернута борьба группочек. И я должен сказать, что у нас группочки создаются фактом меценатства: у некоторых ответственных товарищей есть литераторы, которым «вельможи» особенно покровительствуют, которых особенно и неосторожно похваливают. И около каждого из таких подчеркнутых симпатией «начальства» литераторов организуется группочка еще менее талантливых, чем он, но организуется не как вокруг «учителя», а — по мотивам бытовым, узколичным. «Имярек» в свою очередь тоже, играя роль мецената, проводит в издательстве недозрелые «плоды творчества» юных окуней, щурят и прочих рыбок из разряда хищных. «Имярек» хлопочет о пайке и квартире для своего поклонника, которого он именует «учеником», но работе не учит и не может учить, ибо — сам невежда. К этому надобно прибавить, что мы имеем дело по преимуществу с людьми 30 лет, т.е пережившими в отрочестве и юности «тяжелые времена», а эти времена отразились на психике многих 30-летних весьма вредно: люди слишком жадны к удовольствиям жизни,

слишком спешат насладиться и не любят работать добросовестно. А некоторые «спешат жить» так стремительно, что поспешность их вызывает такое впечатление: люди не уверены в том, что действительность, создаваемая партией, достаточно окрепла и будет развиваться именно так, как развивается, думают, что мужик только притворяется коллективистом и что у нас есть все посылки к фашизму и что «война может возвратить нас дальше, чем к нэпу». Если б это думал только мещанин, обыватель, тогда неважно, но так думают некие «партийцы», это мне кажется тревожным, хотя, как известно, я — «оптимист».

К сему надо прибавить еще и деятельность вредителей среди школьной молодежи, о чем говорил мне Иван Ма-карьев и о чем, по его словам, он и рассказал Вам. О другой форме вредительства среди детей в Крыму рассказывали мне т[оварищи] из ГПУ. Я очень внимательно присматриваюсь к детям и на днях исполню обещание написать о них — опоздал сделать это не по своей вине.

Детей необходимо охранять от мещанской заразы — вот в чем дело.

Все выше — и очень неполно — сказанное убеждает меня в необходимости серьезнейшего внимания к литературе — «проводнику идей в жизнь», добавлю: не столько идей, как настроений. Дорогой, искренно уважаемый и любимый товарищ, Союз литераторов необходимо возглавить солиднейшим идеологическим руководством. Сейчас происходит подбор лиц, сообразно интересам честолюбцев, предрекающий неизбежность мелкой личной борьбы группочек в Союзе, — борьбы вовсе не по линии организации литературы как силы, действующей идеологически едино. Культурно-революционное значение литературы понимается не многими. Знаю, что Вам будут представлены списки людей, которые рекомендуются в Правление и в Президиум Союза писателей. Не знаю — кто они, но — догадываюсь.

Лично мне кажется, что наиболее крепко возглавили бы Союз лица, названные в списке прилагаемом. Но если даже будет принят предлагаемый состав Правления Союза писателей, — я убедительно прошу освободить меня от председательства в Союзе по причине слабости здоровья и крайней загруженности литературной работой. Председательствовать не умею, еще менее способен разбираться в иезуитских хитростях политики группочек. Я гораздо полезнее буду как работник литературы. У меня скопилось множество тем, над коими я не имею времени работать.

Сердечно жму руку и желаю Вам хорошо отдохнуть.

М.Горький

11
ИЗ ПИСЬМА КАГАНОВИЧА СТАЛИНУ
14 августа 1934 г.

Дорогой т. Сталин.

1) Вчера мы, ознакомившись с докладом М. Горького к съезду писателей, пришли к заключению, что в таком виде доклад не подходит. Прежде всего — сама конструкция и расположение материала — 3/4, если не больше, занято общими историко-философскими рассуждениями, да и то неправильными. В качестве идеала выставляется первобытное общество, а капитализм на всех его стадиях изображается как реакционная сила, тормозившая развитие техники и культуры. Ясно, что такая позиция немарксистская. Советская литература почти не освещена, а ведь доклад-то называется «О советской литературе». Ввиду серьезности наших изменений и опасности срыва доклада мы (я, Молотов, Ворошилов и т. Жданов) поехали к нему, и после довольно длительной беседы он согласился внести поправки и изменения. Настроение у него, видимо, неважное. Например: заговорил о детях, что вот-де воспитание плохое, неравенство, вроде как разделение на бедняков и богатых, у одних одежда плохая, у других хорошая, нужно бы ввести одну форму и выдавать всем одинаковую одежду. Дело, конечно, не в том, что он заговорил о трудностях в этом отношении, а в том, с каким привкусом это говорилось. Мне эти разговоры напомнили

т. Крупскую. Мне кажется, что Каменев играет не последнюю роль в формировании этих настроений Горького. О Варейкисе и Юдине он спокойно говорить не может, ругает их вовсю. Статья его, хотя и не напечатана, но гуляет по рукам и по словам Крючкова ее уже читали человек 400. Мы сегодня обменивались мнениями и думаем, что лучше, внеся некоторые поправки, напечатать ее, чем допустить ее чтение как нелегальщину. Борьба группочек в связи со съездом развивается вовсю. Мы поручили т. Жданову собрать завтра партгруппу Оргкомитета и потребовать от них прекращения склок и провести съезд на соответствующем идейно-политическом уровне, а разговоры о руководстве отложить на конец съезда.

12
ИЗ ПИСЬМА СТАЛИНА КАГАНОВИЧУ
15 августа 1934 г.

Кагановичу.

Первое. Замечания Мехлиса на статью Горького считаю правильными. Нельзя печатать статьи без необходимых изменений. Надо разъяснить всем литераторам коммунистам, что хозяином в литературе, как и в других областях, является только ЦК и что они обязаны подчиняться последнему беспрекословно.

Уймите Киршона и других и скажите им, что не допустим ни общей, ни частичной реставрации РАПП.

Сталин.

15/VIII.34 г.

13
ИЗ ПИСЬМА СЕКРЕТАРЯ ПРАВЛЕНИЯ ССП СССР А.С. ЩЕРБАКОВА И.В. СТАЛИНУ
27 мая 1935 года

Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину И. В.

1. Считаю необходимым направить Вам полученное мною письмо А.М. Горького, в котором он ставит под вопрос свою поездку в Париж. Должен от себя добавить, что о такого рода настроениях, каким проникнуто это письмо, мне приходится от Горького слышать впервые.

14
ИЗ ПИСЬМА А.М. ГОРЬКОГО И.В. СТАЛИНУ

[Не ранее 7 —10 марта 1936 г.]

Дорогой Иосиф Виссарионович, —

сообщаю Вам впечатления, полученные мною от непосредственного знакомства с Мальро.

Я слышал о нем много хвалебных и солидно обоснованных отзывов Бабеля, которого считаю отлично понимающим людей и умнейшим из наших литераторов. Бабель знает Мальро не первый год и, живя в Париже, пристально следит за ростом значения Мальро во Франции. Бабель говорит, что с Мальро считаются министры и что среди современной интеллигенции романских стран этот человек — наиболее крупная, талантливая влиятельная фигура, к тому же обладающая и талантом организатора. Мнение Бабеля подтверждает и другой мой информатор Мария Будберг, которую Вы видели у меня; она вращается среди литераторов Европы давно уже и знает все отношения, все оценки. По ее мнению, Мальро — действительно человек исключительных способностей.

От непосредственного знакомства с ним у меня получилось впечатление приблизительно такое же: очень талантливый человек, глубоко понимает всемирное значение работы Союза Советов, понимает, что фашизм и национальные войны — неизбежное следствие капиталистической системы, что, организуя интеллигенцию Европы против Гитлера с его философией, против японской военщины, следует внушать ей неизбежность всемирной социальной революции. О практических решениях, принятых нами, Вас осведомит т. Кольцов.

Недостатки Мальро я вижу в его склонности детализировать, говорить о мелочах так много, как они того не заслуживают. Более существенным недостатком является его типичное для всей интеллигенции Европы «за человека, за независимость его творчества, за свободу внутреннего его роста» и т.д.

Т. Кольцов сообщил мне, что первыми вопросами Мальро были вопросы о Шагинян, о Шостаковиче. Основная цель этого моего письма — тоже откровенно рассказать Вам о моем отношении к вопросам этим. По этому поводу я Вам еще не надоедал, но теперь, когда нам нужно заняться широким объединением европейской интеллигенции, — вопросы эти должны быть поставлены и выяснены. Вами во время выступлений Ваших, а также в статьях «Правды» в прошлом году неоднократно говорилось о необходимости «бережного отношения к человеку». На Западе это слышали, и это приподняло, расширило симпатии к нам.

Но вот разыгралась история с Шостаковичем. О его опере были напечатаны хвалебные отзывы в обоих органах центральной прессы и во многих областных газетах. Опера с успехом прошла в театрах Ленинграда, Москвы, получила отличные оценки за рубежом. Шостакович — молодой, лет 25, человек, бесспорно талантливый, но очень самоуверенный и весьма нервный. Статья в «Правде» ударила его точно кирпичом по голове, парень совершенно подавлен. Само собою разумеется, что, говоря о кирпиче, я имел в виду не критику, а тон критики. Да и критика сама по себе — не доказательна. «Сумбур», а — почему? В чем и как это выражено — «сумбур»? Тут критики должны дать техническую оценку музыки Шостаковича. А то, что дала статья «Правды», разрешило стае бездарных людей, халтуристов всячески травить Шостаковича. Они это и делают. Шостакович живет тем, что слышит, живет в мире звуков, хочет быть организатором их, создать из хаоса мелодию. Выраженное «Правдой» отношение к нему нельзя назвать «бережным», а он вполне заслуживает именно бережного отношения как наиболее одаренный из всех современных советских музыкантов.

Крайне резко звучит и постановление о театре Берсенева. Берсенев, конечно, тоже ошеломлен, и, разумеется, на главу его будет возложен венец, как на главу безвинно пострадавшего.

НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ СООБРАЖЕНИЙ

В детстве я, как все мальчишки, зачитывался романами Дюма — «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя», «Десять лет спустя». И образы этих романов наложили мощную печать на мое — даже уже не детское, а взрослое — образное мышление.

Это я к тому, что судьба Горького, перепады его политической, писательской и человеческой биографии одно время ассоциировались у меня с печальной участью королевы Анны Австрийской (разумеется, не исторической, о которой я мало что знаю, а той, что у Дюма). Устояв перед притязаниями влюбленного в нее гениального Ришелье, она уступила ничтожному Мазарини и даже вступила с ним в тайный брак.

Вот так же, думал я, и Алексей Максимович: спорил и даже враждовал с Лениным, а потом со всеми потрохами «отдался» Сталину, позорно закончив свою жизнь славословиями вождю и легитимизировав сталинский террор печально знаменитым слоганом: «Если враг не сдается, его уничтожают».

Оказалось, что все было не совсем так.

И с Лениным примирился и помирился. И со Сталиным ссорился и, в конце концов, совсем рассорился.

Но об этом позже. А сперва — о письмах. Точнее — о том, что стоит за каждым из этих четырнадцати писем, выбранных мною из тех шестидесяти, которые нам теперь известны.

За каждым из них — своя история, свой, как выразился однажды Чехов, «сюжет для небольшого рассказа». И каждый из этих сюжетов, по мере того как мы будем двигаться от письма к письму, тут будет изложен. Но сначала несколько общих соображений о том, что в этих горьковских письмах более всего меня поразило.

Более всего поразил меня язык, которым они написаны.

Это не язык писателя Максима Горького, художника со своим слогом, своим синтаксисом, своей сразу и легко узнаваемой интонацией. Это даже и не язык горьковских публицистических статей. Это — тот самый «новояз», «советский говорок», политический жаргон, на котором изъяснялись и объяснялись друг с другом советские функционеры, партаппаратчики:

> …потрясен… актами вредительства и ролью правых тенденций в этих актах.
>
> …обрадован работой ГПУ, действительно неутомимого и зоркого стража рабочего класса и партии.
>
> …вопрос об интервенции двигается вперед понемножку. Однако я все еще не могу поверить в ее осуществимость, «обстановочка» для этого, как будто, неподходяща.
>
> Врага надобно или уничтожить, или перевоспитать. **В данном случае** я за то, чтоб перевоспитать.
>
> Это — не комплименты, а естественная потребность сказать товарищу: я тебя искренно уважаю, ты — хороший человек, крепкий большевик.
>
> …это весьма умный, хорошо одаренный человек, который еще не развернулся как следует и которому надо учиться. Его нужно бы поберечь.
>
> …человек вполне «приличный», насколько вообще может быть приличен американец-буржуа, который хорошо чувствует, что его страна — в опасности и что опасность эту могло бы устранить решительное изменение политики группы Гувера, т.е. прежде всего — признание Вашингтоном Союза Советов…
>
> В связи с организацией Литвуза мне очень важно — и даже необходимо — знать Ваше мнение о правильности оценки Мирским Маяковского.
>
> Идеология этой линии неизвестна мне, а практика сводится к организации группы, которая хочет командовать Союзом писателей. Группа эта — имея «волю к власти» и опираясь на центральный орган партии, конечно, способна командовать, но, по моему мнению, не имеет права на действительное необходимое идеологическое руководство литературой.
>
> Бесконечные групповые споры и склоки в среде РАППа, на мой взгляд, крайне вредны, тем более, что мне кажется: в основе их лежат не идеологические, а, главным образом, личные мотивы.
>
> …очень прошу Вас прочитать мое письмо рабочим по вопросам «Истории фабзаводов», может быть, оно нуждается в поправках.
>
> Крепко жму руку, дорогой товарищ.
>
> Комфракция в Оргкоме не имеет авторитета среди писателей, пред которыми открыто развернута борьба группочек.
>
> …речь т. Варейкиса… я считаю вредной, направленной против лозунга борьбы за качество литературы и вообще безграмотной.
>
> …сообщаю Вам впечатления, полученные мною от непосредственного знакомства с Мальро. Я слышал о нем много хвалебных и солидно обоснованных отзывов… С Мальро считаются министры и… среди современной интеллигенции романских стран этот человек — наиболее крупная, талантливая влиятельная фигура, к тому же обладающая и талантом организатора Мнение… подтверждает и другой мой информатор…

Еще раз хочу подчеркнуть: не содержание этих выписок более всего поражает, а именно та языковая форма, в которую они облечены. Все эти советизмы: «Литвуз», «фабзаводов», «Комфракция», «Оргком». А главное — общий тон донесений, докладных записок: «Сообщаю вам…», «…подтверждает и другой мой информатор…» и т.п. Словно это пишет не писатель с мировым именем, собеседник и постоянный корреспондент Роллана, Уэллса и Бернарда Шоу, а какой-нибудь Каганович.

И дело тут не только в «советизмах», и не только в стилистике «докладных записок». Вся штука в том, что если бы мы даже отредактировали эти горьковские письма, изъяв из них все эти, особенно шокирующие элементы их стиля, общее впечатление от них мало бы не изменилось.

Чтобы как можно нагляднее показать, что я имею в виду, приведу два коротких отрывка из писем двух других — очень разных — писателей, тоже обращенных к «вождям».

Первый отрывок из знаменитого «Письма вождям Советского Союза» А. Солженицына:

> Не обнадежен я, что вы захотите благожелательно вникнуть в соображения, не запрошенные вами по службе, хотя и довольно редкого соотечественника, который не стоит на подчиненной вам лестнице, не может быть вами ни уволен с поста, ни понижен, ни повышен, ни награжден, и, таким образом, весьма вероятно услышать от него мнение искреннее, безо всяких служебных расчетов, — как не бывает даже у лучших экспертов в вашем аппарате. Не обнадежен, но пытаюсь сказать тут кратко главное: что я считаю спасением и добром для нашего народа, к которому по рождению принадлежите все вы — и я.
>
> Это не оговорка. Я желаю добра всем народам, и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас — тем более горячо. Но преимущественно озабочен я судьбой именно русского и украинского народов, по пословице — где уродился, там и пригодился, а глубже — из-за несравненных страданий, перенесенных нами.
>
> И это письмо я пишу в предположении, что такой же преимущественной заботе подчинены и вы, что вы не чужды своему происхождению, отцам, дедам, прадедам и родным просторам, что вы — не безнациональны. Если я ошибаюсь, то дальнейшее чтение этого письма бесполезно.
>
> ***(Александр Солженицын. Публицистика. Том 1. Статьи и речи. Ярославль. 1995, стр. 149.)***

Второй отрывок — из письма Иосифа Бродского, которое высылаемый из страны опальный поэт написал генеральному секретарю ЦК КПСС перед самым отъездом:

> Уважаемый Леонид Ильич,
>
> покидая Россию не по собственной воле, о чем Вам, может быть, известно, я решаюсь обратиться к Вам с просьбой, право на которую мне дает твердое сознание того, что все, что сделано мною за 15 лет литературной работы, служит и еще послужит к славе русской культуры, ничему другому…
>
> Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не может. Язык — вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого он живет, а не клятвы с трибуны.
>
> Мне горько уезжать из России. Здесь я родился, вырос, жил и всем, что имею за душой, я обязан ей. Все плохое, что выпало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Не чувствую и сейчас.
>
> Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге… Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению.

Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять.

Я надеюсь, Вы поймете меня правильно, поймете, о чем я прошу. Я прошу дать мне возможность и дальше существовать в русской литературе, на русской земле. Я думаю, что ни в чем не виноват перед своей Родиной. Напротив, я думаю, что во многом прав. Я не знаю, каков будет Ваш ответ на мою просьбу, будет ли он иметь место вообще. Жаль, что не написал Вам раньше, а теперь уже и времени не осталось…

С уважением

Ваш И.А. Бродский.

(Бродский. Книга интервью. М., 2005, стр. 452—453.)

При всем — кричащем! — несходстве этих двух писем, несходстве и целей, которые перед собой ставил каждый из их авторов, и способов их выражения, — есть между ними нечто общее.

И Солженицын, и Бродский обращаются к своему адресату из некоего другого языкового поля. И — мало того! — оба они пытаются вырвать того (тех), к кому обращаются, из той — привычной для них — системы мышления, в которой они существуют.

Солженицын тщится напомнить «вождям Советского Союза» (членам Политбюро), что они — русские. (Или — украинцы, что для него одно и то же.)

Не могу не вспомнить в связи с этим такую забавную историю.

В Еврейском центре (есть теперь такой в Москве) шла презентация альманаха «Цомет» (по-русски — «Перекресток»). В альманахе этом были собраны сочинения писателей, живущих в России и — уехавших (давно или совсем недавно) в Израиль.

Произведения российских литераторов занимали первую половину альманаха, израильских — вторую. И эту вторую надо был читать наоборот, с конца альманаха — к началу.

В связи с этим кто-то из устроителей всего этого мероприятия рассказал.

В один из самых критических моментов существования государства Израиль (кажется, это было во время войны Судного Дня) в Иерусалим приехал Генри Киссинджер, тогдашний Государственный секретарь США. Израильтяне, естественно, возлагали на него большие надежды — не только как на Государственного секретаря, но и как на еврея: будучи их соплеменником, он должен был, по их мнению, прилагать особые старания к тому, чтобы Соединенные Штаты оказывали Израилю в этом конфликте режим наибольшего благоприятствования. Киссинджер этим давлением, само собой, был недоволен. И выступая в Кнессете (израильском парламенте), весьма недвусмысленно это недовольство выразил.

— Во-первых, — сказал он, — я американец. Во-вторых — Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки. И только в последнюю, третью очередь я — еврей.

— Это верно, — откликнулась Голда Меир. — Но ты забыл, что мы читаем справа налево.

Солженицын, обращаясь к «вождям Советского Союза», в сущности, хотел им сказать то же самое: кем бы ни мнили вы себя, на самом деле вы, во-первых, русские, а уж там во-вторых, в-третьих, в-пятнадцатых — министры, члены или секретари ЦК, члены Политбюро — или кто там еще.

Бродский напоминает Брежневу, что язык, на котором и от имени которого он к нему обращается, — «вещь более древняя и более неизбежная, чем государство».

Но — мало того! — в своей попытке вырвать генерального секретаря из привычной для того системы мышления он идет еще дальше, гораздо дальше: пытается напомнить ему, что их объединяет и еще нечто, стократ более существенное и более неизбежное, чем государство: «Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти».

И Солженицын, и Бродский в своих обращениях к «вождям» взывают к ним извне, из другого языкового, стилистического и смыслового поля. Горький, в отличие от них, находится внутри сталинского языкового и смыслового поля, сталинской системы мышления.

И самое печальное тут то, что происходит это совсем не потому, что он в этих своих письмах и записках подделывается под Сталина, подыгрывает ему.

> Я не понимаю и не люблю, когда придают какое-то особенное значение «теперешнему времени». Я живу в вечности, и поэтому рассматривать все я должен с точки зрения вечности. И в этом сущность всякого дела, всякого искусства. Поэт только потому поэт, что он пишет в вечности.
>
> ***(Л.Н. Толстой.)***

> …правитель, дающий свое имя моменту истории, должен быть полностью поглощен этим моментом. Он должен нырнуть в волны этого момента и стать неотличимым от него сильнее, чем какой-либо другой человек. Ибо обозначение эпохи является делом именно правителя, и он появляется на марках или монетах своей страны. Правление, поскольку оно персонифицирует эпоху, всегда противоположно деяниям Вечности.
>
> *(О. Розеншток-Хюсси. Великие революции:*
> *Автобиография западного человека. (USA).*
>
> ***Hermitage PaUishers, 1999, стр. 184.)***

В свете этих двух высказываний становится особенно ясно, что я имел в виду, сказав, что Солженицын и Бродский говорят с вождями на разных языках, а Горький со Сталиным — на одном.

Солженицын в своем обращении к вождям, как и Горький, тоже как будто всецело озабочен проблемами «текущего момента». Но взывает он к ним, обсуждая этот «текущий момент», — из вечности:

> Невозможно вести такую страну, исходя из злободневных нужд… Вести такую страну — нужно иметь национальную линию и постоянно ощущать за своими плечами все 1100 лет ее истории, а не только 55 лет, 5% ее.

Вечность Солженицына короче вечности Бродского, — этой его вечности отмерен точный срок (1100 лет). У вечности Бродского нет сроков:

> Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению.

Эта грустная реплика почти дословно повторяет то, о чем говорит Державин в своей предсмертной, «грифельной оде»:

> А если что и остается
> Чрез звуки лиры и трубы,
> То вечности жерлом пожрется
> И общей не уйдет судьбы.

Да, «вечности» у них разные. Но оба они — и Бродский, и Солженицын — говорят с вождями из вечности. Каждый — из своей.

Горький же, даже споря со Сталиным, не соглашаясь с ним, стараясь в чем-то его убедить или переубедить, остается в том же языковом поле, внутри той же — общей со Сталиным — системы отношения к миру, к тем жизненным целям и задачам, которые они оба перед собою ставят.

Сказанное относится не только к самим письмам, но и к тем драматическим, а порой и трагическим сюжетам, которые стоят за этими письмами.

Сюжет первый
«ПЬЕСУ О «ВРЕДИТЕЛЕ» БРОСИЛ…»

Эта фраза — из письма Горького Сталину, написанного 2 ноября 1930 года. Сюжет, о котором пойдет речь, в это время уже достиг кульминации. А завязкой его были события двухгодичной давности.

В мае 1928 года состоялось первое — еще не окончательное — возвращение Горького из эмиграции в Советский Союз. Оно совпало с его юбилеем (ему тогда стукнуло шестьдесят), из которого Сталин извлек всю политическую прибыль, какую только можно было из него извлечь.

> Еще в ноябре 1927 года была создана правительственная комиссия по юбилейному чествованию Горького (такие же комиссии были созданы в десятках городов), превращенная затем в комитет по его встрече. В него вошли два члена политбюро — Бухарин и Томский, два наркома — Луначарский и Семашко…
> 27 мая 1928 года на советской границе дорогого гостя ожидали отправленная ему навстречу делегация писателей и всевозможные официальные лица. Для него был выслан персональный салон-вагон. В Минске, Смоленске и других городах по дороге, несмотря на то, что поезд прибывал туда глубокой ночью, Горького ожидали тысячные толпы людей. В Москве ему была устроена торжественная встреча. На вокзал приехали глава правительства Рыков, члены политбюро Бухарин, Ворошилов, Орджоникидзе, нарком Луначарский, члены ЦК, делегация Художественного театра во главе со Станиславским, огромная группа писателей. Десятки тысяч людей собрались на привокзальной площади, где состоялся митинг. Выстроившись вдоль тротуаров, празднично одетые москвичи приветствовали кортеж машин, направлявшийся к Машкову переулку, где жила Екатерина Пешкова: ее квартира, по прежней традиции, стала временной резиденцией Горького.
> Ему удалось отдохнуть только два часа, после чего он сразу отправился в Большой театр на торжество по случаю десятилетия Коммунистического университета. Здесь впервые он встретился со Сталиным. Рукопожатие было крепким, сталинская улыбка обворожительной: множество людей отмечали, что Сталин, когда хотел, умел влюблять в себя даже самых заядлых скептиков.
> *(Аркадий Ваксберг. Гибель Буревестника. М. Горький:*
> ***последние двадцать лет.)***

Растроганный всеми этими знаками внимания, Алексей Максимович то и дело смахивал слезу.

Всенародная любовь, в которую его окунали, далеко не всегда была искусственной, умело организованной: настоящих, искренних почитателей у него тоже было немало. Но и официальные почести тоже грели его сердце.

Нельзя сказать, чтобы он был к ним так-таки уж совсем равнодушен.

«Возвращение» Горького было грандиозным политическим событием. Без преувеличения можно было бы сказать, что оно было главным политическим событием года, если бы не то, что оно совпало с другим политическим событием, для Сталина не менее важным.

В то самое время, когда Горького, чествуя высокого гостя, возили по заводам и фабрикам, институтам, редакциям газет и другим учреждениям, под председательством А.Я. Вышинского (громкая известность его была еще впереди) разворачивался «открытый» судебный процесс над «инженерами-вредителями». Это было знаменитое «Шахтинское дело». В Шахтинском районе Донбасса была якобы раскрыта крупная вредительская организация, созданная бывшими шахтовладельцами и группой инженеров — старых специалистов. Руководили «шахтинцами», как утверждалось в обвинительном заключении, из-за границы, из так называемого «парижского центра», объединившего крупнейших русских капиталистов-эмигрантов.

Ход этого процесса (он проходил с 15 мая по 5 июля) подробно освещался во всех тогдашних газетах.

Давно уже не секрет, что дело это было чистейшей воды липой — первой ласточкой в череде фальсифицированных судебных процессов, срежиссированных, а затем и поставленных Лубянкой.

На разных собраниях и торжественных встречах Горького постоянно побуждали к тому, чтобы он высказал свое отношение к этому процессу. Но он отмалчивался.

5 июля (Горького в это время возили уже по стране, и в каждом городе его встречали восторженные толпы народа) суд вынес подсудимым приговор: пятеро из них были расстреляны, остальные (их было больше сорока) получили разные лагерные сроки. Все советские газеты были полны проклятиями в адрес разоблаченных злодеев-вредителей. Сталину, разумеется, было крайне важно, чтобы великий гуманист санкционировал эту акцию — первый его, сталинский «пробный шар». Но великий гуманист и тут промолчал: не откликнулся на это событие ни единым словом.

Два года спустя «Шахтинское дело» получило продолжение и развитие.

3 сентября 1930 года — по специальному постановлению Политбюро — в газетах (в хронике) было опубликовано следующее сообщение:

> ОГПУ арестованы: Кондратьев Николай Дмитриевич, Громан Владимир Густавович, Садырин Павел Александрович, Чаянов Александр Васильевич, Юровский Леонтий Наумович, Суханов (Гиммер) Николай Николаевич, Макаров Николай Павлович, Рамзин Николай Константинович, Базаров Владимир Александрович и другие как участники и руководители контрреволюционных организаций, поставивших целью свержение Советской власти и восстановление власти помещиков и капиталистов.
>
> Арестованные признали свою руководящую роль в этих контрреволюционных организациях и свою связь с вредительскими организациями специалистов, в том числе и с шахтинцами.
>
> Следствие продолжается.
>
> *(Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВА– Январь 1922 — декабрь 1936. Документы. М. 2003, стр. 252.)*

На этот раз отмолчаться Горький уже не мог.

За минувшие два года отношения его со Сталиным вошли в новую, другую фазу. Во-первых, вопрос о возвращении его в СССР был уже им решен окончательно и бесповоротно. А во-вторых, — и это, пожалуй, главное, — Горький к этому времени уже твердо усвоил, что Сталин не «один из» членов «коллективного руководства», а — «Хозяин», «Ленин сегодня».

Было бы, однако, большим упрощением представить его позицию по отношению к новому раскрытому контрреволюционному заговору как не отвечающую его истинным представлениям о существе дела.

Сейчас уже доподлинно известно, что никакой «Пром-партии» никогда не существовало, что один из главных «заговорщиков» Н.К. Рамзин сотрудничал с ОГПУ задолго до начала процесса и помог следствию состряпать всю эту липу и получить «чистосердечные признания» от других обвиняемых, за что был потом щедро вознагражден «правительством и партией».

В сентябре 1930-го Горький знать этого, разумеется, не мог. Но понять, что от «дела Промпартии» густо несет липой, мог бы вполне. Ведь он читал не только фальшивые признания обвиняемых, подготовленные для него Ягодой, но и эмигрантскую прессу. (Я уже не говорю о том, что некоторых обвиняемых по этому делу он давно и хорошо знал лично.)

Кстати, читать об этом ему приходилось не только газетные комментарии, но и личные обращения к нему разных, тоже давно и хорошо ему знакомых людей.

Чуть ли не на другой день после появления в газетах сообщения об аресте «заговорщиков», 8 сентября 1930 года он получил из Праги такое письмо:

Уважаемый Алексей Максимович!
Двадцать или более людей высокой квалификации и совершенно безупречной честности в своих действиях, профессора Макаров, Чаянов, Кондратьев, Рамзин, Юровский, кооператор Садырин (член ВЦИКа), большевик Базаров, статистик Громов, Суханов и др. сидят сейчас в Сов. России в тюрьме и находятся перед величайшей опасностью… Я хорошо знаю, что положение в России дошло до высшей точки неблагополучия… Но кто же может поверить, что 20 или более людей — в большинстве своем кабинетных работников, — людей, все время работавших под руководством коммунистов и по их директивам, являются причиной этого тяжелого положения страны?
Остается, следовательно, предположение, что их хотят сделать ответственными или за их несогласие с новейшим направлением политики власти, или же за неудачи этой власти…
Теперь надо действовать, чтобы их спасти.
(Горький и его корреспонденты. М. ИМЛИ РАН, 2005, стр. 124—125.)

Автор этого письма — Екатерина Дмитриевна Кускова. Она была не чужим Горькому человеком, да и политическая ее биография была не проста. В юности была сослана за участие в народнических кружках, позже вступила в «Союз освобождения». На первом съезде кадетов (1905) была заочно избрана в состав ЦК, но от вступления в кадетскую партию отказалась. После Октябрьского переворота выступила против большевиков, но во время Гражданской войны была «нинисткой» («Ни Ленин, ни Колчак»). Была в числе первых из небольшевистского лагеря, кто пошел на сотрудничество с Советской властью, стала активнейшим членом «Помгола» («Всероссийского комитета помощи голодающим»). Тем не менее в 1922 году была выслана за границу (вместе с Бердяевым и другими пассажирами знаменитого «корабля философов»).

С Горьким она переписывалась еще с дореволюционных времен. В эмиграции их эпистолярное общение продолжалось.

Екатерина Дмитриевна была близкой приятельницей Екатерины Павловны Пешковой (первой жены Алексея Максимовича), симпатии и привязанности которой (к Ф.Э. Дзержинскому, например) для него много значили. Всякий раз, выезжая из СССР за границу, Екатерина Павловна неизменно оказывалась в Праге — с единственной целью встретиться там с Екатериной Дмитриевной.

В общем, у Е.Д. Кусковой были все основания рассчитывать, что Алексей Максимович на это ее письмо отзовется.

И он отозвался.

Но совсем не так, как она вправе была надеяться.

Он написал и 16 октября 1930 года опубликовал в «Известиях» статью «Об умниках», в которой среди множества разных других злобных выпадов в адрес оказавшихся в эмиграции российских интеллигентов был и такой:

Умник прочитал, вероятно, не менее 16 тысяч книг по разным вопросам, и этот полумеханический труд усвоения чужих мыслей развил в нем уродливо преувеличенное мнение о силе и широте своего разума. Разумеется, я не стану отрицать за мешком права гордиться количеством зерна, которое насыпано в него. Но часто замечаешь, что чем шире объем знаний умника, — тем судорожней и длинней кривая его колебаний…
Умник крепко убежден, что без его мудрого участия в делах мира мир — погибнет, но участвовать он способен только посредством языкоблудия. Он уверен, что все знает и все для него совершенно ясно… Он пишет откуда-нибудь, например, из Праги:
Я хорошо знаю, что положение в России дошло до высшей точки неблагополучия.

На самом деле он ничего не знает, потому что не хочет видеть того, что необходимо знать. Он совершенно не чувствует той высоты, до которой активизм рабочего класса и передового крестьянства поднял Союз Советов.
(М. Горький. Собр. соч. в 30 томах. Том 25. М. 1953, стр. 206—208.)

Дословная цитата из письма Кусковой («Я хорошо знаю, что положение в России…» и т.д.) и предшествующая ей реплика: «Он пишет откуда-нибудь, например, из Праги» — не оставляют сомнений насчет того, кому адресована эта злобная отповедь.

Этот резкий, подчеркнуто публичный ответ на личное обращение «действовать», чтобы спасти ни в чем не повинных людей, которым грозит смертная казнь, можно объяснить только тем, что Горький — во-первых, безусловно поверил в виновность обвиняемых, и, во-вторых, отнесся к вставшей на их защиту Е.Д Кусковой (и ее мужу С.Н. Прокоповичу) как к единомышленникам разоблаченных вредителей. Не исключено, что даже пособникам.

Поверить в эту липу ему было нетрудно. Я бы даже сказал, что в его положении трудно было в нее не поверить.

Информацию о ходе следствия там, у себя, в Сорренто, он получал непосредственно от Ягоды, с которым состоял в постоянной переписке. Ему были посланы секретные «Материалы к отчету ЦКК ВКП(б) XVI съезду», стенографические отчеты о деле «Промпартии», протоколы допросов обвиняемых. Он читал их собственноручные признания. Мог ли он представить себе, что эти признания были вырваны у заключенных под пытками?

Вообще-то, такое подозрение могло бы закрасться в его душу. Тем более, что многих обвиняемых, как уже было сказано, он довольно давно и весьма близко знал. Некоторых из них даже любил.

В письмах к тому же Ягоде сам в этом признавался:

ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ
2 ноября 1930 г., Сорренто
Дорогой Генрих Григорьевич!..
Рад узнать, что Вы в добром здоровье и что В.Р. Менжинский тоже поздоровел. Пожалуйста, передайте ему мой горячий привет, такой же и всем другим товарищам из ГПУ. Не знаю, уместно ли поздравить Вас, т.т., с новой и огромнейшей заслугой перед партией и рабочим классом, я говорю, конечно, об исторической заслуге вскрытия вами еще одного гнойника в дряблом теле «умников». Вместе с ненавистью к ним возбуждается и гордость Вашей работой и радость тем, что у рабочего класса есть такой зоркий, верный страж его жизни, его интересов.
Не удивлен тем, что Суханов, мальчишка с болезненным самолюбием и психикой авантюриста, оказался на скамье уголовных преступников, но никак не мог представить, что скептицизм Базарова доведет его до той же скамьи. Базарова я очень любил, хотя Владимир Ильич предупреждал меня: из тройки — Базаров — Богданов — Скворцов — первый дальше от нас, чем второй, а третий с ними по недоразумению…
Ну, дорогой земляк, крепко обнимаю Вас. Берегите себя.
А. Пешков.

ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ
11 декабря 1930 г., Сорренто.
Дорогой Генрих Григорьевич!..
Читаю отчет суда. Очень трудно определить сложное чувство, которое вызывает процесс: тут и отвращение к этим людям, и бешенство, и радость, что они в конце концов так ничтожны. Очень хотелось ехать в Москву, на суд, посмотреть на раздавленных негодяев. Осадчий. Можно ли было ожидать от него такого предательства?.. Кажется, зимой 28 года, или 29-го? — он был здесь у меня, сидел часа два и несвойственно ему вяло говорил о скуке в Европе, немножко критиковал

«Наши достижения». И казался таким «советским», что даже несколько неприятно было смотреть на него. Видел я этого человека и раньше, в Москве, в 27 г., в Машковом переулке. Какая сволочь!
Ну, ладно!..
Будьте здоровы! Крепкое рукопожатие.
А. Пешков.

В 27-м году в Машковом переулке (у Е.П. Пешковой) Горький видеть Осадчего никак не мог, поскольку впервые приехал из эмиграции в Москву только в 28-м. Стало быть, ошибся датой. Но эта мелкая ошибка сути дела не меняет. В искренности его реакции на ход процесса сомневаться не приходится.

Конечно, в каждой переписке неизбежно вольное или невольное приспособление автора письма к адресату. А адресат в данном случае — что говорить! — весьма специфический. Но примерно в то же время (2 ноября 1930 г.) Горький пишет письмо Ромену Роллану, в котором горячо убеждает его, что признания заключенных никак не могли быть вырваны под пытками, что никакие самооговоры тут немыслимы, невозможны.

Казалось бы, то обстоятельство, что многих обвиняемых Горьких хорошо знал, а кое-кого из них в свое время даже «очень любил», должно было побудить его без излишней доверчивости отнестись к присланным ему фальсифицированным материалам следствия. Но вышло ровно наоборот. Именно близкое знакомство с некоторыми фигурантами этого лживого процесса внушило ему дополнительную уверенность в их вине. В какой-то момент ему показалось, что он понимает психологическую подоплеку постепенного превращения скептически настроенных «умников»-интеллигентов в банду преступников. И что этого понимания даже достаточно для того, чтобы исследовать эту психологическую коллизию не только публицистическими, но и чисто художественными средствами.

Первый набросок такого художественного решения он предложил в письме (13 апреля 1930 г.) М.Ф. Чумандрину, как материал для импровизационного спектакля «Вредительство на фабрике». Вот как виделись ему действующие лица этого будущего спектакля. Перечень их, краткую обрисовку характеров и несложный узел сложившихся меж ними взаимоотношений он начинает с характеристики главного героя:

…органически ненавидит рабочий класс и считает себя отлично забронированным от всяких подозрений со стороны рабочих… Женат. Сестра. Мать. К матери относится сухо, но почтительно, слушает ее с большим вниманием. Жена ему надоела. Сестра — не нужна.
(М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах. Том 30. М. 1955, стр. 164.)

Затем он переходит к такой же беглой обрисовке фигуры «матери спеца»:

Сын кажется ей недостаточно зараженным ненавистью, недостаточно активным, в конце концов — несчастным, пленником дикарей. При всяком удобном случае она ему напоминает об этом. Сноху — не любит, подозревает, что это она помешала ему эмигрировать. Дочь — считает дурочкой, подозревает ее в симпатиях к большевикам.
(Там же, стр. 165.)

Затем — к его жене:

Это балованная женщина, убежденная, что жизнь обыграла ее, как шулер. Истерична и зла. Со свекровью — зуб за зуб. Не может простить мужу, что он не эмигрировал. Бездельничает, скучает, от скуки издевается над сестрою мужа, завела дрянненький роман.
(Там же.)

Далее в его воображении возникает еще один персонаж — любовник «жены спеца»:

> Это — инженер, выпивоха, юморист, живет минутами и за приятную минуту готов на все. Циник. Вожделеет к сестре спеца. Сестра спеца — чужой человек в семье. Девушка вдумчивая, испугана жизнью, понимает ее плохо, но хочет понять… Тяготеет к одному из мастеров фабрики.
> Это старый партиец, его биография известна девушке — напечатана в одном из томов «Истпарта».
> Он — суров, требователен к людям, глубоко понимает задачу своего класса, ко всем «чужим» относится подозрительно, к сестре спеца — мягче.
> ***(Там же.)***

Вся эта убогая схема без сколько-нибудь существенных изменений была перенесена в пьесу, над которой Горький вскоре стал работать. То ли из затеи «импровизационного рабочего театра» ничего не вышло, то ли набросок будущего спектакля так ему понравился, что он решил сохранить эту «разработку» для себя. Как бы то ни было, работа над «пьесой о вредителях» началась, о чем наверняка вскоре стало известно в самых высоких инстанциях. Нет сомнений, что об этой его работе знал и Сталин. (А иначе, зачем понадобилось бы ему извещать Сталина, что «пьеса о вредителе» не дается ему из-за недостатка материала?)

В том, что Сталину такая пьеса была крайне нужна, сомнений у Горького быть не могло. К тому же он получил на нее прямой — можно даже сказать, официальный — заказ:

> Дорогой Алексей Максимович!
> Мы хотим в 31 году организовать театр Российской Ассоциации пролетарских писателей…
> Мы очень просим Вас высказать свои соображения по этому поводу, дать нам согласие помочь в этом сложном и ответственном деле.
> Мы хотим… открыть театр Вашей пьесой.
> Мы очень просим Вас, Алексей Максимович, если это не нарушит Ваши творческие планы, написать пьесу. О громадном значении, которое имела бы она для советской драматургии и судеб нашего театра, излишне писать, Вы сами это прекрасно знаете…
> Крепко жмем Вашу руку.
> Л. Авербах
> В. Киршон
> Ал. Фадеев
> ***(Горький и его корреспонденты. М. ИМАИ РАН. 2005, стр. 584-585.)***

Речь в этом деликатном обращении безусловно шла о пьесе «Сомов и другие», о работе Горького над которой авторы письма не могли не знать. Но они, может быть, не знали, что к тому времени, когда они обратились к нему со своей просьбой, он к этой пьесе (практически уже законченной) сильно охладел. В сущности, даже уже поставил крест на этом своем — явно неудавшемся — замысле.

А не удался он ему потому, что, плохо зная (совсем не зная) новую советскую жизнь, реализацию, разработку этого своего замысла он целиком построил на старых своих впечатлениях и таких же старых своих приемах, на которых были построены его пьесы 900-х годов — «Дачники», «Варвары».

Как и в тех пьесах, весь «компромат», который по замыслу автора должен был разоблачить отрицательных персонажей драмы, был сосредоточен в разговорах, случайных репликах, мимоходных разоблачительных (и саморазоблачительных) признаниях.

Как и в тех, старых его пьесах, так и тут самую выразительную подробность, призванную показать (и доказать), что тот, о ком идет речь, человек дурной, мы узнаем из уст женщины, некогда любившей, но давно уже разлюбившей его:

> Не знаю… не знаю я, что такое разврат, но я очень любопытна. Скверное такое, острое любопытство к мужчине есть у меня… Я красива — вот мое несчастие. Уже в шестом классе гимназии учителя смотрели на меня такими глазами, что я чего-то стыдилась и краснела, а им это доставляло удовольствие, и они вкусно улыбались, как обжоры перед гастрономической лавкой… Потом меня просвещали замужние подруги… Но больше всех — я обязана мужу… Это он изуродовал мое воображение… он привил мне чувство любопытства к мужчине.

Так говорит в пьесе Горького «Дачники», написанной в 1904 году, Юлия Филипповна — жена одного из главных ее отрицательных персонажей — сорокадвухлетнего инженера Суслова.

А вот такое же интимное признание Лидии, жены сорокалетнего инженера Сомова из пьесы «Сомов и другие», написанной четверть века спустя, в 1930-м:

> Он — честолюбив. И — черствый. Он вообще… мало похож, — совсем не похож на того человека, каким я видела его до замужества… Я такая… дрянь! Знаешь? Мне даже противно видеть себя в зеркале… Особенно гадко вспомнить себя… ночью. Он любит, чтоб в спальне горел огонь, понимаешь? Он такой… чувственный и заражает меня.

Это едва ли не единственная живая деталь во всей пьесе. Ну, а что касается собственно вредительской, заговорщицкой деятельности инженера Сомова и его сподвижников, то ей в пьесе уделена только одна совсем коротенькая сцена:

> Богомолов. Дышать нечем.
> Изотов. Н-да. Хлеба — горят.
> Богомолов. Думаете — неурожай будет?
> Изотов. Говорят.
> Богомолов. Недурно было бы, знаете, а? (Сомову.) Мы одни?
> Сомов. Да. Но — кажется — мы переговорили обо всем?
> Богомолов. И установлено: оборудование — накопляется, а строительство, понимаете, задерживается, насколько это возможно.
> Изотов. Это — как аксиома.
> Богомолов. Затем: людей, которым наши планы не ясны…
> Изотов. Или — ясны, но — не нравятся…
> Богомолов. Или — слишком ясны, — людей этих, понимаете, сдерживать в их стремлении отличиться перед товарищами.
> Изотов. Переводить с практической на канцелярскую работу.
> Богомолов. И другими, знаете, приемами. Вообще — сдерживать!
> Изотов. Правильно…
> Богомолов (возбуждается)… Надобно, понимаете, помнить, что руководство промышленным прогрессом страны — в наших руках-с и что генштаб культуры — не в Кремле сидит-с, а — именно в нашей среде должен быть организован, — понимаете? За нас — история, вот что надобно усвоить, — история!.. Довольно адвокатов у власти, власть должна принадлежать нам, инженерам…
> Изотов. Да, во Франции адвокаты командовали и командуют бездарно.
> Сомов. Командует — капитал…
> Богомолов. Но — забастовка адвокатов — ничего не может изменить, а если забастовка инженеров? Как вы думаете? То-то!..
> Сомов. Тише говорите, здесь — гуляют.

Вот, собственно, и весь заговор.

Мимоходом еще брошен намек на связь заговорщиков с темными силами реакции за границей: в финале пьесы они узнают, что арестован (кто-то видел, как его вели под конвоем) только что вернувшийся из заграничной поездки член их компании. Они встревожены. Но

тревога их длится не долго. Тут же появляются четыре агента ГПУ и всех голубчиков забирают.

В чем другом, но в литературе Алексей Максимович понимал. Он не мог не сознавать, что эта новая его пьеса — полный и непоправимый художественный провал. И никакие новые материалы, сколько бы ни подбрасывали их ему Сталин и Ягода, ее уже не спасут.

Но в письмах (и тому, и другому) он темнил, делал вид, что крест на этой своей работе еще не поставил:

> ИЗ ПИСЬМА ГОРЬКОГО ЯГОДЕ
> *2 ноября 1930 г. Сорренто.*
> Пьесу о «вредителе» бросил писать, не хватает материала, вредитель выходит у меня ничтожнее того, каков он в действительности. Весною, в Москве, буду просить у вас материалов!

В письме Сталину, написанном в тот же день, он говорит примерно то же, что и в письме к Ягоде. Но — не слишком его обнадеживая, что «новые материалы», которые тот обещает прислать, ему помогут.

> ИЗ ПИСЬМА ГОРЬКОГО СТАЛИНУ
> *2 ноября 1930 г. Сорренто.*
> Пьесу о «вредителе» бросил писать, не удается, мало материала. Чрезвычайно хорошо, что Вы посылаете мне «новый»! Но — еще лучше было бы, конечно, если б нового в этой области не было.

Сталин, однако, знал, что «новое в этой области» у него скоро будет. И даже совершенно точно знал, в чем оно будет состоять, это новое:

> СТАЛИН — МЕНЖИНСКОМУ
> *Октябрь 1930 г.*
> Тов. Менжинский!
> Письмо от 2.X. и материалы получил. Показания Рамзина очень интересны. По-моему, самое интересное в его показаниях — это вопрос об интервенции вообще и особенно вопрос о сроке интервенции…
> Отсюда мои предложения.
> а) Сделать одним из узловых пунктов новых (будущих) показаний верхушки ТКП, «Промпартии» и особенно РАМЗИНА вопрос об интервенции и сроке интервенции…
> б) Привлечь к делу ЛАРИЧЕВА и других членов ЦК Промпартии и допросить их строжайше о том же, дав им прочесть показания РАМЗИНА.
> в) Строжайше допросить Громана, который, по показанию Рамзина, заявил как-то в «Объединенном центре», что интервенция отложена на 1932 г.
> г) Провести сквозь строй г.г. КОНДРАТЬЕВА, ЮРОВСКОГО, ЧАЯНОВА и т.д., являющихся (бесспорно!) интервенционистами, и строжайше допросить их о сроках интервенции…
> Если показания РАМЗИНА получат подтверждение и конкретизацию в показаниях других обвиняемых (ГРОМАН, ЛАРИЧЕВ, КОНДРАТЬЕВ и К° и т.д.), то это будет серьезным успехом ОГПУ…
> Понятно?
> Привет. И. Сталин
> *(Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. Январь 1922 — декабрь 1936. Документы. М. 2003, стр. 256-257.)*

Понятно, понятно… Очень даже понятно.

При такой постановке дела завалить Горького новыми материалами для его пьесы было нетрудно. Но никакие новые материалы спасти эту выморочную горьковскую пьесу уже не

могли. И сам Горький это прекрасно понимал, ухитряясь при этом, однако, не понимать, что выморочность его пьесы напрямую связана с выморочностью самого процесса.

По стране тем временем прокатилась волна многолюдных собраний и митингов, участники которых требовали смертной казни всем обвиняемым:

> Когда рабочий день кончился, нам предложили участвовать в демонстрации. Тут уж никак нельзя было уклониться. Шли по глубокому снегу… Сумерки сгущались… Молодежь буйно веселилась, особенно, пожалуй, комсомольцы. Пели песни. Всякие, даже озорные. Дом союзов был весь в огнях. Там уж который день судили Промпартию. На балконе стояли ораторы. Выстроившись аккуратно по восемь человек в ряд, мы продефилировали мимо балкона. Этим мы выразили свое согласие с требованием высшей меры наказания для профессора Рамзина и его сообщников…
> Свершив свой гражданский долг, т.е. потребовав, чтобы убили человека, степень вины которого не могла не вызывать сомнения, мы разошлись по домам.
> *(Минувшее. Исторический альманах. 23. СПб, 1998, стр. 102.)*

> Однажды (кажется, это было в сентябре) я увидела громадную толпу народа перед Мариинским дворцом. Это было шествие рабочих и служащих Ленинграда с плакатами, на которых было написано: «Смерть Рамзину и его сообщникам!..», «Требуем высшей меры наказания!» и т.д. Этой демонстрации предшествовали собрания во всех учреждениях, где предлагалось вынести соответствующие резолюции.
> *(Минувшее. Исторический альманах. 4. М., 1991, стр. 44.)*

Надо ли объяснять, что эта «ярость масс» нагнеталась и организовывалась специальными директивами сверху. Никто поэтому не сомневался, что приговор обвиняемым будет вынесен самый суровый. Однако — ко всеобщему изумлению — приговор оказался неожиданно мягким.

Напомню, как объяснял это Горькому в одном из своих писем тот, от кого исходило это гуманное решение:

> Процесс группы Рамзина окончился. Решили заменить расстрел заключением на 10 и меньше лет. Мы хотели этим подчеркнуть три вещи: а) главные виновники не рамзиновцы, а их хозяева в Париже — французские интервенты с их охвостьем «Торгпромом»; б) людей раскаявшихся и разоружившихся советская власть не прочь помиловать, ибо она руководствуется не чувством мести, а интересами советского государства; в) советская власть не боится ни врагов за рубежом, ни их агентуры в СССР.

Как же отнесся к этому наш великий гуманист? Вот что он писал по этому поводу:

> ИЗ ПИСЬМА ГОРЬКОГО ВОРОШИЛОВУ
> Меня несколько смущает акт сокращения наказания вредителям…

> ИЗ ПИСЬМА ГОРЬКОГО БУХАРИНУ
> Отчаянно волновал меня процесс Рамзина и К°, волновал, возбуждал отвращение и желание бить морды предателям… Смущает то, что приговор не посчитался с настроением рабочей массы и что, пожалуй, это вызовет в ней недовольство.

Спустя пять лет и этот, вызвавший недовольство Горького «мягкий» приговор, был отменен.

В феврале 1936 года на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) был утвержден проект Постановления ЦИК об амнистии Рамзина, Ларичева и др. Они были освобождены от дальнейшего наказания и восстановлены во всех своих политических и гражданских правах «за выполнение важного государственного задания».

Горькому оставалось жить несколько месяцев.

Успел ли он прочесть известие об этом новом «акте милосердия» сталинского руководства и, если успел, навело ли оно его на какие-нибудь новые мысли и соображения по поводу процесса Промпартии?

Этого мы не знаем и, наверно, уже никогда не узнаем.

Сюжет второй
«ЭТО ВЕСЬМА УМНЫЙ, ХОРОШО ОДАРЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК…»

Лестная характеристика эта относится к Леопольду Авербаху, которому Горький симпатизировал, покровительствовал, протежировал.

Авербах в то время был генеральным секретарем РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей). Некоторое представление о том, что являла собой эта писательская структура, дает роман Булгакова «Мастер и Маргарита», где РАПП изображен под названием «МАССОЛИТ». Есть все основания предполагать, что именно Авербах был прототипом одной из ключевых фигур этого романа — Михаила Берлиоза

Письмо, в котором Горький счел нужным замолвить Сталину словечко за «умного и талантливого» Авербаха, было написано в январе 1932 года. Возглавляемый Авербахом РАПП был тогда еще в полной силе. Но Горький, надо полагать, уже знал, что в самое ближайшее время грядут перемены.

8 марта того же года было принято —

> ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОМИССИИ ПОЛИТБЮРО ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАППа
> *7 марта 1832 г.*
> № 91, п. 50/18 — Вопросы РАППа
> Поручить рассмотрение вопросов РАППа комиссии в составе т.т. Сталина, Молотова, Кагановича, Постышева и Стецкого.
>
> ***(Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917-1953. М. 2002, стр. 168.)***

Уже по составу этой комиссии, в которую вошли первые люди страны, можно понять, что делу придавалось значение первостепенной государственной важности.

Это был, так сказать, первый раскат грома.

Удар молнии последовал с неслыханной быстротой.

23 апреля того же года было принято новое, уже развернутое —

> ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) «О ПЕРЕСТРОЙКЕ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Опускаю преамбулу, многословно констатирующую, что «рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАПМ и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах литературного и художественного творчества», и привожу только часть постановляющую:

> 1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП);
> 2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской (стоящих за политику советской) власти и стремящихся участвовать в социалистическом

строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем.

(Там же, стр. 172—173.)

Судя по краткости срока, прошедшего со времени первого постановления, решение это варилось давно, во всяком случае, еще до формирования «комиссии политбюро в составе тт. Сталина, Молотова, Кагановича, Постышева и Стецкого».

В протоколе заседания Политбюро, на котором было принято второе — главное — постановление, в пункте 21-м — «Организационные вопросы в литературе и искусстве» — в скобках помечено: («тт. Каганович, Авербах, Панферов»). Вожди РАППа, стало быть, к созданию этого постановления были привлечены. Но для рядовых рапповцев это было — как гром среди ясного неба.

Для них это была катастрофа.

Еще вчера они (все, кто считались «пролетарскими писателями») были людьми первого сорта, а все остальные — «левые попутчики», «правые попутчики» (А.Н. Толстой, Бабель, Пильняк, Пастернак), разные там ЛЕФы, конструктивисты, имажинисты и прочая шушера — второго, третьего и даже шестнадцатого. Они («пролетарские») имели мандат на то, чтобы всю эту беспартийную сволочь цукать, гнобить, в лучшем случае — критиковать, учить, воспитывать. И теперь — что же? Все они, значит, будут равны? И даже «рабоче-крестьянский граф» Алексей Николаевич Толстой будет теперь не хуже наираспролетарского Безыменского и — страшно выговорить! — даже самого Демьяна Бедного?

Душа не могла мириться с такой несправедливостью.

Впоследствии выяснилось, что на самом деле никакого равенства, конечно, не будет.

Выяснилось это довольно скоро, о чем можно судить хотя бы по фельетону, появившемуся в сатирическом альманахе, посвященном только что отгремевшему первому съезду советских писателей:

Михаил Кольцов, для которого нет ничего святого, говорил с издевкой, что писателям не нужно знаков отличия на петлицах. А почему, собственно, не нужно? И вообще, кто это его, Кольцова, уполномочил высказываться от имени литературы по такому важному вопросу? Разве вопрос о литературных знаках отличия где-нибудь вентилировался? Он, Кольцов, проворачивал его в какой-нибудь инстанции?..

А по-моему — знаки отличия на петлицах просто необходимы пишущим людям. Это внесло бы огромную ясность…

По существу — что мы имели на съезде? На съезде мы имели такие категории:

Гость с разовым билетом. По-моему, этому положению соответствовал бы в качестве знака отличия один кубик…

Гость с постоянным билетом. Это уже писатель. Дадим ему три или четыре кубика…

Гость с совещательным голосом — одна шпала…

Гость с решающим голосом, безусловно, — две шпалы…

Член мандатной комиссии. Это еще повышение — три шпалы…

Член ревизионной комиссии еще выше — ромб…

Член секретариата съезда, ясно, — два ромба..

Член президиума съезда — три ромба…

Член президиума — четыре ромба…

Не правда ли, ясно, просто и понятно?..

(Иван Дитя. Странный съезд. «Парад бессмертных, Художественно-оптимистический альманах «Крокодила», посвященный съезду писателей…». М. 1934, стр. 24.)

Автор этого фельетона (Иван Дитя — псевдоним Виктора Ардова), а точнее — его простодушный герой — ухватил самую суть дела. Понял, в чем «гвоздь вопроса», как любил выражаться в таких случаях вождь мирового пролетариата.

Во всяком случае, он оказался гораздо проницательнее Михаила Кольцова, с которым вступил в полемику. Ведь именно он, Кольцов, придумал эту глумливую сатирическую метафору о знаках различия в петличках для писателей:

> Я слышал, что в связи с тем, что Алексей Максимович открыл 5 вакансий для гениальных и 45 для очень талантливых писателей, уже началась дележка (смех, аплодисменты).
> Кое-кто осторожно расспрашивает: а как и где забронировать местечко, если не в пятерке, то хотя бы среди сорока пяти? Говорят, появился даже чей-то проектец: ввести форму для членов писательского союза… Писатели будут носить форму, и она будет разделяться по жанрам. Примерно: красный кант — для прозы, синий — для поэзии, а черный — для критиков (смех, аплодисменты). И значки ввести: для прозы — чернильницу, для поэзии — лиру, а для критики небольшую дубинку. Идет по улице критик с четырьмя дубинами в петлице, и все писатели на улице становятся во фронт…
>
> ***(Первый всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М. 1934, стр. 222.)***

Простодушный герой фельетона Виктора Ардова оказался проницательнее Кольцова, потому что он смекнул, что место в писательской табели о рангах будет определяться (уже определяется!) не тем, кого объявят очень талантливым, а кого гениальным, а тем, кого посадят в президиум, кого поместят в секретариат, а кого в мандатную или ревизионную комиссию.

Ну, а как будут распределяться эти места? Может быть, В ходе каких-нибудь внутриписательских споров и дискуссии? Или путем голосования?

Как бы не так!

> СТАЛИН — КАГАНОВИЧУ, ЖДАНОВУ
> *30 августа 1934 г.*
> Кагановичу, Жданову.
> Секретарем правления Союза писателей можно наметить либо Угарова, либо Щербакова… Состав президиума нужно пополнить Каменевым, Демьяном, Юдиным, Эренбургом. Состав Правления нужно пополнить Пильняком, дагестанцем, немцем Поволжья. Авербаха не следует вводить…
> Сталин
>
> ***(Сталин и Каганович. Переписка. 1932—1936 гг. М. РАСПЭН. 2001, стр. 465-466.)***

И тут герой ардовского фельетона оказался куда проницательнее умного и, казалось бы, куда лучше, чем он, осведомленного Кольцова. Вспомните:

> Разве вопрос… где-нибудь вентилировался? Он, Кольцов, проворачивал его в какой-нибудь инстанции?..

Слушая веселые разглагольствования Кольцова о писательских знаках отличия в петличках, участники съезда смеялись и аплодировали. Да и Виктору Ефимовичу Ардову, когда он сочинял свой фельетон, наверно, казалось, что сочиняет он нечто смешное и от реальности весьма далекое.

Так ведь и А.К. Толстому с братьями Жемчужниковыми, когда они сочиняли проект Козьмы Пруткова «О введении единомыслия в России», тоже, небось, казалось, что проект этот ну прямо-таки уморительно смешон, что ничего похожего не может быть, потому что этого не может быть никогда. Могли ли они себе представить, что каких-нибудь пятьдесят или шестьдесят лет спустя этот комический и безумный проект станет реальностью? Что на

их родине и в самом деле будет выходить ОДНА ГАЗЕТА, мнения и суждения которой станут обязательными для всего населения страны?

Нет, Кольцов и Ардов, в отличие от А.К. Толстого и его соавторов по «Козьме Пруткову», кое-что о характере создающегося на съезде будущего Союза писателей, наверно, уже знали. Но все-таки вряд ли они могли тогда вообразить, во что — со временем — этот Союз превратится.

Рапповцы так долго мордовали лучших писателей страны, что известие о том, что ни РАППа, ни каких-либо других групп и направлений в литературе не будет, а будет единый Союз советских писателей, было встречено с энтузиазмом.

Илья Эренбург, вспоминая (тридцать лет спустя) о тех днях, признался, что готовился к съезду, как девушка к первому балу. Это — скептик Эренбург. Так что уж говорить о других!

Эренбург так закончил свои воспоминания об этом своем «первом бале»:

> Выбрали правление, одобрили устав. Горький объявил съезд закрытым. На следующий день у входа в Колонный зал неистовствовали дворники с метлами. Праздник кончился.

Смысл этого заключения ясен: праздник отшумел, начались суровые будни. Но что там ни говори, а праздник-то все-таки — был!

На самом деле, однако, праздник был насквозь фальшивый. И многим его участникам это было ясно уже тогда.

В книге «Власть и художественная интеллигенция», на которую я тут уже не раз ссылался, среди множества документов, освещающих ход съезда, опубликован и такой: «Спецсообщение секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР «О ходе Всесоюзного съезда советских писателей. Отклики писателей на работу съезда».

Приведу лишь некоторые из этих откликов.

Бабель:

> …так как все это делается искусственно, из-под палки, то съезд проходит мертво, как царский парад…

Пантелеймон Романов:

> Отменная скука и бюрократизм, который не оживить никаким барабаном.

Украинский поэт Михаил Семенко:

> Все было настолько гладко, что меня одолевает просто маниакальное желание взять кусок говна или дохлой рыбы и бросить в президиум съезда…

Это — на уровне эмоций. А самую суть происходящего выразил один из старейших тогдашних российских литераторов — А. Новиков-Прибой:

> Наступает период окончательной бюрократизации литературы.

Главная цель этого помпезного государственного мероприятия состояла в том, чтобы прибрать к рукам непослушную писательскую вольницу, огосударствить литературу, сделать ее управляемой.

Полностью справиться с этой задачей удалось не сразу. На это ушли годы, даже десятилетия.

Сталин, кинувший в свое время знаменитый лозунг — «У нас незаменимых нет», когда Д.А. Поликарпов — партийный функционер, назначенный руководить писателями, —

пожаловался ему, как трудно с ними работать (один — пьет, другой бабник, третий мнит себя гением и не слушается никаких распоряжений), ответил:

— В настоящий момент, товарищ Поликарпов, мы не можем предоставить Вам других писателей. Хотите работать, работайте с этими.

А ведь не кто иной, как он сам, создал эту ситуацию, при которой сбылось обещание полковника Скалозуба — дать интеллигентам «в Вольтеры» фельдфебеля:

Он в три шеренги вас построит,
А пикнете — так мигом успокоит!

На роль такого фельдфебеля и был назначен этот самый Поликарпов. И можно ли его винить, что справлялся он с этой ролью в соответствии со своими представлениями о том, как надлежит ее исполнять:

> …Поликарпов установил режим террора. Все, что не совпадает с его вкусом, беспощадно режется, снимается, запрещается…
> Особенно возмутительно ведет себя Поликарпов на партбюро Союза Советских Писателей, на партсобраниях, на заседаниях правления ССП. Везде — его слово, его тон непререкаемы. Личный вкус, личные оценки произведений становятся законом. Вот вчера. Поликарпов проводит заседания правления с активом. Обсуждается выдвижение произведений на Сталинские премии. Поликарпов заранее приготовил список. Если ораторы говорят не то, что угодно ему, он начинает кричать, прерывать их грубейшими репликами, лишать слова. Возмущенный Твардовский, на которого Поликарпов позволил себе прикрикнуть как на мальчишку, покидает собрание. Прения Поликарпов прерывает тогда, когда ему это угодно, кричит, цыкает на писателей, известных всей стране, как жандарм. Нет, право, такой обстановки не было даже при пресловутом Авербахе!..
>
> ***(Из докладной записки заместителя редактора журнала «Знамя» А.К. Тарасенкова — секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову. 19 марта 1945 г. «Литературный фронт. История политической цензуры 1932—1946. Сборник документов». М., 1994. Стр. 186.)***

Поликарпова, который в своем рвении превзошел «пресловутого Авербаха», Сталин от руководства писателями все-таки отстранил. Он понимал, что в таком тонком и сложном деле, как художественная литература, незаменимые люди должны быть. И обращаться с этими «незаменимыми» надо — по возможности — деликатно.

Сталин действовал осторожно, на первых порах старался никого особенно не раздражать. Поэтому и «пролетарскость» некоторое время еще сохраняла свое значение. Какой-нибудь, никому нынче не известный Чумандрин сидел в президиуме съезда, а М.А. Булгаков не получил даже гостевого билета. Но рядом с Чумандриным в президиуме сидели Б.Л. Пастернак и А.Н. Толстой. Сталину «незаменимые» были еще нужны, и ему в голову не пришло, что главным писателем страны можно назначить кого угодно — хоть того же Чумандрина.

Но — процесс пошел. И тридцать лет спустя главным писателем страны уже спокойно можно было назначить любого партийного функционера. Что и было сделано.

Когда Георгий Мокеевич Марков на каком-то писательском съезде вдруг почувствовал себя худо, из президиума быстренько подскочил к трибуне Герой Советского Союза В. Карпов и, деликатно отведя Георгия Мокеевича в сторонку, заступил на его место и дочитал доклад до конца, тем самым утвердив себя в роли нового, очередного главного писателя. И никто не то что не запротестовал — даже не удивился…

Но я увлекся и забежал далеко вперед. Вернемся в март 1932 года, к тому письму Горького, в котором он усиленно расхваливал Сталину Авербаха, как видно, опасаясь — и не без некоторых к тому оснований, — что в новых обстоятельствах свой статус «литвождя» тот может и не сохранить.

А он почему-то очень хотел, чтобы этот свой статус Авербах не только сохранил, но даже повысил:

> …я присмотрелся к нему и считаю, что это весьма умный, хорошо одаренный человек, который еще не развернулся как следует…

Смысл реплики предельно прозрачен: надо дать этому весьма умному и хорошо одаренному человеку возможность развернуться как следует.

Это, как мы помним, он писал Сталину из Сорренто еще до официального сообщения о роспуске РАППа, и реплика эта имела характер дружеского совета, так сказать, со стороны. Год спустя Горький уже окончательно вернулся в СССР — и отнюдь не на роль стороннего советчика. И когда формировался состав руководства будущего Союза советских писателей, он уже проталкивал своего любимого Авербаха в «литвожди» куда более решительно, с полным сознанием своего права настаивать на выдвижении этой фигуры, для многих в то время весьма сомнительной:

> ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЦК ВКП(б) А.И. СТЕЦКОГО СЕКРЕТАРЯМ ЦК ВКП(б).
> *22 мая 1933 г.*
> *тов. Сталину и тов. Кагановичу*
> Авербах… продолжает вовсю заниматься политиканством. Почти все писатели коммунисты (за исключением Афиногенова, Киршона, Макарьева) от него отвернулись. Это не мешает ему, цепляясь за авторитет Горького и прикрываясь им, сплачивать вокруг себя беспартийных, чему способствует бездеятельность Оргкомитета…
> *(Власть и художественная интеллигенция. Стр. 200.)*

> ИЗ СПРАВКИ СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР «ОБ ОТНОШЕНИИ ПИСАТЕЛЕЙ К ПРОШЕДШЕМУ СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ И К НОВОМУ РУКОВОДСТВУ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ»
> Илья Сельвинский:
> Что будет дальше, пока Горький у власти, — трудно сказать. Ведь вся беда в том, что стараются не как бы сделать лучше для литературы, а как бы понравиться вышестоящему. Динамов делает не так, как нужно, а как, по его мнению, должно понравиться Стецкому. Стецкий — то же самое по отношению к Жданову. Политиканство. Фадеев зажат потому, что его не любит Авербах, а Авербаха любит Горький.
> ***(Там же, стр. 242.)***

> ИЗ ПИСЬМА КАГАНОВИЧА СТАЛИНУ
> *12 августа 1934 г.*
> Горький настаивал на проведении Авербаха на съезд писателей от Москвы, но это не вышло, что его еще больше подогрело. Мне кажется, что здесь в значительной мере действуют бывшие рапповцы. Давать им команду нельзя, а через Горького они этого добиваются. По имеющимся сведениям ряд писателей не очень довольны безапелляционностью и дек-ретностью выступлений т. Горького.
> ***(Сталин и Каганович. Переписка. 1931—1936 гг. М. РОССПЭН, 2001, стр. 431.)***

Эти суждения, вероятно, следует принимать во внимание с некоторой осторожностью, поскольку исходят они, в основном, от участников той закулисной возни, которая определяла и в конечном счете определила «расстановку сил» в руководстве будущего Союза писателей.

Сошлюсь поэтому на мнение об Авербахе двух писателей никак в этой возне не участвовавших и даже убежденных что вся эта возня к литературе как таковой никакого отношения не имеет.

> Не могу вспомнить, было ли это весной или осенью 1929 года. Представители РАППа приехали в Ленинград и пригласили «попутчиков», как мы тогда назывались, в «Европейскую» гостиницу, где остановился Леопольд Авербах.
> Я видел его в Москве месяца за три до этой встречи и удивился перемене, замеченной не только мною. Он был маленького роста, в очках, крепенький, лысый, уверенный, ежеминутно действующий, — трудно было представить его в неподвижности, в размышлениях, в покое. И сейчас, приехав в Ленинград, чтобы встретиться с писателями, которые существовали вне сферы его активности, он сразу же начал действовать, устраивать, убеждать. Но теперь к его неутомимости присоединился почти неуловимый оттенок повелительности — точно существование «вне сферы» настоятельно требовало его вмешательства, без которого наша жизнь в литературе не могла обойтись.
> В комнате были М. Зощенко, Вяч. Шишков, Н. Никитин, М. Козаков и, кажется, М. Слонимский…
> Зачем же пригласил нас генеральный секретарь РАППа? Он был не один, и первым выступил Ю. Либединский — неопределенно, но дружелюбно… Потом Шишков заговорил о крайностях «сплошной» коллективизации. Это, естественно, «не легло», хотя и было встречено снисходительно, как будто Шишков был не многоопытный пожилой писатель, в прошлом инженер-мелиоратор, исходивший и изъездивший всю страну вдоль и поперек, а запальчивый шестнадцатилетний мальчик.
> Каждый говорил о своем, но почти никто — я впервые наблюдал это в кругу писателей — о самой литературе.
> Потом выступил Авербах, который и прежде бросал реплики, направляя разговор, не всегда попадавший на предназначенный, по-видимому предварительно обсуждавшийся, путь. Сразу почувствовалось, что он взял слово надолго. Он говорил энергично, связно, с настоятельной интонацией убежденного человека, — и тем не менее его речь состояла из соединения пустот, заполненных мнимыми понятиями, которым он старался придать весомость. Впечатление, которое произвела на меня его речь, я помню отчетливо, без сомнения по той причине, что это было совершенно новое впечатление. Новое заключалось в том, что для меня литература была одно, а для Авербаха — совершенно другое. С моей литературой ничего нельзя было сделать, она существовала до моего появления и будет существовать после моей смерти. Для меня она, как целое, — необъятна, необходима и так же, как жизнь, не существовать не может. А для Авербаха она была целое, с которым можно и нужно что-то сделать, и он приглашал нас сделать то, что собирался, — вместе с ним и под его руководством. Прежде всего необходимо было, по его мнению, отказаться от лефовской идеи, что писатель — это кустарь, далекий по своей природе от коллективного, содружественного труда…
> Он говорил, приподнимаясь на цыпочки, поблескивая очками, и я вспомнил Селихова из бунинской «Чаши жизни»: «Самолюбивый, как все маленькие ростом».
> Такова была критическая часть его речи. Но была и положительная. Когда различно думающие и различно настроенные литераторы соединятся под руководством РАППа, литература быстро придет к неслыханному расцвету. «Нам нужны Шекспиры, — твердо сказал он, — и они будут у нас»…
> Знаменитая формула «незаменимых нет» позже стала повторяться на газетных страницах, но впервые — в несколько иной форме — я услышал ее в речи Авербаха. Он не называл имен — кроме Маяковского. Но личность писателя, его «лицо» — он отзывался об этом понятии с каким-то необъяснимым пренебрежением..

> Литературные течения не нужны, вредны, говорил Авербах, их на основе опыта РАППа следует заменить «единой творческой школой», и тогда появятся — не могут не появиться — Шекспиры. Эта черта была перенесена впоследствии в лингвистику, в медицину, в физиологию. Т. Лысенко позаботился о том, чтобы в биологии она получила поистине фантастическое развитие. Открытия, едва ли пригодные даже для посредственного фантастического романа, становились Законом с большой буквы, символом веры, который предлагалось принять без сомнений, без колебаний.
>
> Другая черта, в особенности поразившая меня, касалась поведения самого Авербаха… Он вел себя так, как будто у него, посредственного литератора, автора торопливых статей, написанных плоским языком, была над нами какая-то власть.
>
> Надо ли доказывать, что подлинная власть в литературе — власть над духовным миром читателя — возникает лишь в тех редких случаях, когда на мировой сцене, соединяющей исключительность и повседневность, появляется Гуров, впервые замечающий на ялтинской набережной даму с собачкой, или Левин, который в измятой рубашке мечется по номеру перед венчанием с Кити?
>
> Ощущение вмешательства, скрытой угрозы и, главное, невысказанного права на эту угрозу окрасило вечер «завязывания связей», проведенный, как уверяли, любезно прощаясь, хозяева, с большой пользой для дела.
>
> Вышли вместе, но на углу Невского расстались, и я пошел провожать Зощенко, который жил на улице Чайковского. Он хорошо выглядел, что с ним случалось редко, был в новом модном пальто и в пушистой кепке с большим козырьком. Было поздно, но вечернее гулянье по Невскому еще не кончилось. Зощенко узнавали, провожали взглядами — он был тогда в расцвете славы и очень любим. У Авербаха он не проронил ни слова и теперь, когда я заговорил о встрече, неохотно поддержал разговор.
>
> — Это антинародно, — сказал он. — Конечно, все можно навязать, но все-таки, я думаю, не удастся. Это все-таки сложно с такой литературой, как наша. А может быть, и удастся, потому что энергия адская. К ней бы еще и талант! Но таланта нет, и отсюда все качества.
>
> ***(Вениамин Каверин. Эпилог. М. 2006, стр. 96—100.)***

И вот этого человека — «посредственного литератора, автора торопливых статей, написанных плоским языком», обладающего адской энергией, но начисто лишенного таланта, — Горький настойчиво проталкивал в «литвожди». Упрямо добивался, чтобы нагло присвоенное им право свысока поучать лучших писателей страны, как им надлежит думать, чувствовать и творить, было предоставлено ему теперь уже официально, — так сказать, по должности.

Зачем? Почему?

Для чего это ему понадобилось?

Максима Пешкова называли «советским принцем». Не потому, что он был сыном Горького, а потому, что, когда он был ребенком, его тетешкали Ленин и Дзержинский, которых он в то время называл «дядя Володя» и «дядя Феликс».

Таким же «советским принцем» был и Леопольд Леонидович Авербах. Он был родным братом жены Ягоды, а со стороны матери — племянником Якова Михайловича Свердлова. Следовательно — и родного брата Якова Михайловича — Зиновия, который был приемным сыном Горького. Так что и с Горьким он был, хоть и не в кровном, но все-таки родстве.

У Горького он был домашним, своим человеком, — это ясно видно из тона горьковских писем к нему:

> Преподобный отец Авербахий…
>
> …пейте кумыс, кормите Ваши нервы сытно и — работайте. Если же чорт принесет Вас сюда — селитесь в месте моего жительства и работайте, а Липа будет Вам бока мять и ежедень кожу сдирать с Вас.
>
> Генрих уехал в теплый край над синим морем.

Все остальные — за исключением некоторых — на месте.
4. IV — 32.

(Горький и его корреспонденты. М. 2005, стр. 594-595.)

Липа — это Олимпиада Дмитриевна Черткова, медицинская сестра, жившая у Горького до последнего его дня, очень близкий ему человек, — можно даже сказать, — последняя его любовь.

А тот, кого А.М. запросто, по-домашнему, называет «Генрих» — всесильный шеф ОГПУ Генрих Григорьевич Ягода. Этот могущественный (до поры) родственник (свойственник) Авербаха был в доме Горького совсем уже своим человеком. Тут отношения были, можно сказать, уже семейные.

Втерся он в ближайшее окружение Горького сперва, надо полагать, по должности. Но сразу же без памяти влюбился в жену Максима Надежду Алексеевну (Тимошу), этого его романа нам еще придется коснуться в связи с загадочной смертью Максима, а потом и самого Алексея Максимовича.

Ягоду Горький в письмах, к нему обращенных, ласково называл земляком: тот, как и братья Свердловы, был родом из Нижнего Новгорода. Оттуда же был родом и Авербах, и это обстоятельство, конечно, тоже играло некоторую роль в зарождении симпатий Горького ко всей этой семейке.

Из этого, конечно, совсем не следует, что Алексей Максимович упорно проталкивал Авербаха в «литвожди», движимый одним только стремлением «порадеть родному человечку». Для этого были у него и другие, гораздо более важные причины.

Знакомство его с Авербахом началось с размолвки. Можно даже сказать, со скандала.

Это было еще до первого его приезда в СССР.

1 мая 1928 года в «Известиях» появилась статья Горького — «О возвеличивающихся и начинающих». В ней он заступился за молодого поэта Ивана Молчанова, на которого незадолго до того в известном своем стихотворении обрушил свой гнев Маяковский («Письмо любимой Ивана Молчанова, брошенной им»).

Маяковского Горький ненавидел давно, а теперь эта старая его ненависть была сильно подогрета только что появившимся стихотворением поэта — «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому»:

Алексей Максимович,
как помню,
между нами
что-то вышло
вроде драки
или ссоры.
Я ушел,
блестя
потертыми штанами;
взяли Вас
международные рессоры.
.....
Алексей Максимыч,
из-за ваших стекол
виден
Вам
еще
парящий сокол?
Или
с Вами
начали дружить

по саду
ползущие ужи?

Такое обращение Маяковского к нему после многолетней размолвки (а приведенные здесь строки — еще не самые грубые) не могло не вызвать у Горького желания ответить на пощечину пощечиной.

Но поскольку Маяковского в его атаке на Ивана Молчанова поддержали Авербах и Безыменский, досталось от Алексея Максимовича всем троим:

> Недавно трое литераторов — Авербах, Безыменский и Маяковский — единодушно спустили собак своего самолюбия на Молчанова, хорошего поэта… Авербах, вероятно, поэт из племени интеллигентов, Маяковский — интеллигент-анархист, Безыменский — сын купца: все трое — люди, не нюхавшие того пороха, которым нанюхался Молчанов. Если эти именитые люди чувствуют себя способными учить и воспитывать младшую братию, они прежде всего сами должны научиться делать это в формах, не оскорбительных для «учеников».
>
> ***(«Горький и его корреспонденты», М. 2005, стр. 568—569.)***

Судя по этому тексту, Авербаха Горький тогда еще не знал и даже весьма смутно представлял себе, кто он такой. (Предположил, что он — «поэт из племени интеллигентов».)

Маяковский и Безыменский ввязываться в полемику с Горьким не стали. А Авербах ему ответил — в десятом номере журнала «На литературном посту», в котором он был тогда, кстати сказать, главным редактором. Эта нацеленная в Горького его статья была написана в стиле тогдашних рапповских начальственных окриков. Достаточно сказать, что называлась она так: «Пошлость защищать не надо».

Статья эта вызвала множество откликов, а в журнале «Читатель и писатель» появился даже шарж художника Энге, на котором Горький был изображен учеником, покорно внимающим поучениям наставника-Авербаха

К наскокам такого рода Горький был весьма чувствителен:

> Когда в «Красной нови» о нем отзываются пренебрежительно, он уходит из сотрудников и пишет Воронскому: «официальный орган шельмует мое имя!» Когда Шкловский пишет свою книгу «Удачи и поражения Максима Горького», он издает ее в Тифлисе, в издательстве «Закавказская книга», — Госиздат в Москве ее не берет. Шкловский писал в ней, что «проза Горького похожа на мороженое мясо, которое можно кусками печатать сразу во всех журналах и газетах». Луначарский в 1926 году бранил «Дело Артамоновых», но уже в 1930 году решил изменить свое мнение о романе и похвалить его. Н. Чужак, футурист и сотрудник «Нового Лефа», пишет, что «учиться у Горького нечему. Он обучает жизни задним числом, что свидетельствует о его оскудении». Как следствие этого, 25 декабря 1929 года ЦИК в конце концов декретом раз и навсегда запрещает неуважительную критику Горького.
>
> ***(Н. Берберова. Железная женщина. New York, 1982, стр. 250.)***

Был ли на самом деле такой декрет ЦИК, запретивший неуважительную критику Горького (да еще «раз и навсегда»), не знаю, не уверен. Во всяком случае, на этот счет мне ничего не известно. Но 15 декабря 1929 г. действительно было принято

> ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) «О ВЫСТУПЛЕНИЯХ ЧАСТИ СИБИРСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОТИВ МАКСИМА ГОРЬКОГО»
> *15 декабря 1929 г.*
> № 109, п. 5 — О Горьком (т. Сталин).

Поручить комиссии в составе тт. Кагановича, Стецкого и Сырцова в недельный срок разработать постановление Политбюро в связи с кампанией против Горького в сибирских газетах и журналах.

(Приложение к п. 5 пр. ПБ № 109 от 15 декабря 1929 г.)

Не входя в рассмотрение по существу предмета спора по вопросам литературы и считая, что ряд вопросов, затронутых в этих спорах, найдет свое разрешение в специальной резолюции ЦК по вопросам художественной литературы, ЦК ВКП(б) считает грубо ошибочными и граничащими с хулиганством характеристику выступления М. Горького, как «выступления изворотливого, маскирующегося врага»… и обвинения М. Горького в том, что он якобы «все чаще и чаще становится рупором и прикрытием для всей реакционной части советской литературы»…

(Власть и художественная интеллигенция, М. 2002, стр. 123-124.)

Далее, как это обычно у них полагалось в подобных случаях, следовали «оргвыводы» (кого «отстранить», кому объявить строгий выговор, кому «поставить на вид».)

Из приведенного документа видно, что инициировал это постановление не кто иной, как «т. Сталин». На сей счет у него были свои, весьма веские соображения (о чем речь впереди).

Горький реагировал на это личным письмом вождю (8 января 1930), в котором просил больше никого не наказывать, поскольку «брань на вороту не виснет» и ему она «жить не мешает, а в работе — помогает».

К вопросу о том, сколько в этом его письме было искренности, а сколько кокетства, мы тоже еще вернемся. Пока же отметим только, что Сталин скомандовал своей своре не трогать Горького в декабре 1929 года. А сообразительный Авербах понял (и признал) свою ошибку годом раньше.

К этому времени он уже был с Горьким знаком не только заочно, и Горький уже знал, что Леопольд Леонидович не «поэт из племени интеллигентов», а «советский принц», назначенный партией присматривать за писателями.

ИЗ ПИСЬМА АВЕРБАХА ГОРЬКОМУ

Октябрь 1928, Москва

Дорогой Алексей Максимович!

Очень жалею о том, что не удалось с Вами попрощаться: опоздал на вокзал ровно на одну минуту и видел лишь хвост уходившего поезда.

Посылаю Вам свою книжку, вышедшую на днях… В книге имеется полемика с Вами по некоторым острым вопросам. После наших разговоров я продолжаю считать необходимым отстаивать свою позицию и о Молчанове, и об определении пролетарской литературы, но, по совести говоря, ежели бы я имел возможность, то я бы многое изменил в тоне, за который Вы меня упрекали.

(«Горький и его собеседники», стр. 580—581.)

Со времени появления статьи Авербаха «Пошлость защищать не надо» прошло всего-навсего полтора месяца. Поворот «всем вдруг», проделанный Авербахом за столь короткий срок, несколько изумляет. Но — не слишком.

За эти полтора месяца генеральный секретарь РАППа имел возможность получить множество весьма красноречивых указаний на то, что с Горьким ему надо срочно мириться. Главным указанием был та помпа, с которой встречали и принимали как раз в это время впервые приехавшего в СССР Горького на самом высоком государственном уровне. Торжественная встреча это наглядно свидетельст-вала, что Сталин крайне заинтересован в возвращении Горького — уже не временном, а постоянном. И чтобы это возвращение состоялось, — готов на многое.

На глазах всего мира сбывалось то, о чем писал в своем стихотворном послании Горькому, уговаривая его вернуться, Маяковский:

Я знаю —
Вас ценит
и власть
и партия,
Вам дали б всё —
от любви
до квартир.
Прозаики —
сели
пред Вами
на парте б:
— Учи!
Верти!

И хотя еще далеко не все прозаики готовы были сесть перед Горьким на парте и принять его учительскую роль, даже и ежу теперь было ясно, что «власть и партия» Горького отныне никому в обиду не дадут. Ну, а кроме того, если даже предположить, что сметливый Авербах не догадался об этом сам, можно не сомневаться, что все это с достаточной степенью убедительности разъяснил своему шурину Ягода, лучше, чем кто другой, осведомленный о заинтересованности Сталина в «дружбе» с Горьким.

Внимательно следя за тем, как складываются отношения его шурина с Горьким, он не только на шурина, но и на Горького тоже старался влиять, внушая ему, что «парень» заслуживает его благорасположения:

> Как Авербах? Правда, ведь Вы изменили свое мнение о нем, я ужасно рад, что Вы при более близком знакомстве с ним изменили свое отношение… У него, конечно, много отрицательных сторон. Мы о них с Вами говорили, но парень он способный. Пребывание у Вас ему много дало, много ему надо работать над собой, и работать систематически, а не так, как до сих пор… У Авербаха слишком много было самоуверенности, самовлюбленности, нетерпения и бахвальства, и вот этот юноша у меня на глазах менялся, ведь мы с Вами почти не расходились в оценке его еще давно, в 29 году… Способный он человек.
>
> ***(Ягода — Горькому. «Горький и его корреспонденты». Стр. 569—570.)***

Но главной причиной сближения Горького с Авербахом было все-таки не это.

* * *

Как-то попалась мне в букинистическом магазине тоненькая ветхая книжечка. На желтоватой, выцветшей от времени, грубой бумажной обложке бледным, тоже, видать, потускневшим от времени шрифтом было оттиснуто: «К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе». Заглянув в оглавление, я увидел, что это — стенограмма совещания, которое состоялось в Отделе печати ЦК РКП(б) в мае 1924 года. Дела, стало быть, давно минувших дней. И все-таки я решил эту книжицу купить: как-никак, профессия обязывает. Но едва только я раскрыл ее и начал читать, как мне сразу же стало ясно, что в руках у меня оказалась настоящая драгоценность. Я проглотил эту маленькую книжку, что называется, взахлеб — с живым, отнюдь не «историко-литературным» интересом, словно речь на этом давнем совещании шла о сегодняшнем, обжигающе злободневном.

Книжечка оказалась поразительная. Самое поразительное в ней было то, что за шестьдесят с лишним лет она ни капельки не устарела.

Но прежде надо рассказать по порядку, что это было за совещание и чем оно было вызвано.

Группа писателей-попутчиков, как их тогда называли, обратилась в ЦК партии с жалобой на литераторов, группировавшихся вокруг журнала «На посту». Те буквально не давали этим самым попутчикам житья. Они ретиво и въедливо разоблачали их как чуждых пролетариату и новой революционной действительности.

Имена писателей, подписавших это письмо, сегодня известны каждому. Большинство из них составляет ныне славу и гордость нашей литературы. Достаточно сказать, что среди них были Сергей Есенин, Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Осип Мандельштам, Максимилиан Волошин, Исаак Бабель, Михаил Пришвин, Борис Пильняк, Валентин Катаев, Николай Тихонов, Вениамин Каверин, Всеволод Иванов, Вячеслав Шишков, Вера Инбер, Мариэтта Шагинян, Ольга Форш.

Имена даже самых видных «напостовцев» решительно ничего не скажут современному читателю, они давно и прочно забыты: Г.Лелевич, И.Вардин, С.Родов…

Но в то время это были люди известные. В шуточной поэме Багрицкого «Не Васька Шибанов», ходившей тогда по рукам, о них было сказано так:

> Блистают средь грозных походов
> Лелевич, и Вардин, и Родов!

В той же поэме говорилось, что «тройкой» этих отважных бойцов

> В баталии остервенелой
> Разгромлен Волошин, затравлен Пильняк,
> Булгаков, Ахматова, Белый.

Какую же цель ставили перед собой эти «отважные бойцы», занимаясь травлей лучших русских писателей?

Цель эта очень ясно выявилась на том самом совещании.

Из доклада И.Вардина:

> Нам нужна ком.ячейка. Нам нужна большевистская фракция в литературе. Такой ячейкой, такой коммунистической фракцией является группа пролетарских писателей. Говорят, что среди них нет гениев. Верно, нет гениев. Это еще молодая гвардия. Да и вообще было бы нелепо от класса, только что вышедшего из подполья, на другой день после гражданской войны требовать гениальных писателей. Но группа, на которую партия может опереться при проведедении своей политики, такая группа существует. Такой группой является Всесоюзная ассоциация пролетарских писателей (ВАПП).

Из выступления С. Родова:

> Если бы мы здесь решили подходить к литературе только с той точки зрения, насколько то или иное произведение талантливо или неталантливо, нужно было бы собираться не здесь… Может быть, в Академии Художественных наук… Вопрос стоит совсем по-другому. Здесь дело идет о литературном движении класса. О литературном движении, которое уже началось… Мы считаем, что задача сегодняшнего совещания — хотя бы в первую очередь поставить вопрос о том, что партия во что бы то ни стало должна овладеть литературным движением рабочего класса, а уже остальные вопросы, вопросы литературно-художественной критики или какие-либо другие мелкие вопросы, которые мы можем разрешить на

соответствующем совещании, такие вопросы следует поднимать лишь после окончательного разрешения основного вопроса.

Если перевести все это на обыкновенный человеческий язык, получится примерно следующее:

— Да, мы, пролетарские писатели, и по части таланта, и по части мастерства уступаем писателям-попутчикам, прошедшим отличную литературную школу. Но зато свое право писать хуже, чем они, мы выстрадали, во-первых, своим пролетарским происхождением, во-вторых, своей идейностью, чистотой и непогрешимостью своих истинно пролетарских взглядов. Поэтому партия должна закрепить за нами это право, осуществляя руководство литературой через нас. А еще лучше — предоставив это руководство непосредственно нам.

В этом своем стремлении все рапповцы тогда были едины. Все они дружно боролись с «попутчиками» и благоволившим к ним редактором «Красной нови» Воронским.

Но позже внутри РАППа наметился раскол. Возник конфликт между старым составом редакции «На литературном посту» (Л. Авербах, В. Ермилов, А. Фадеев) и новыми ее членами (Ф. Панферов, В. Ильенков, В. Ставский).

Внутренний этот раздор выплеснулся наружу. Развернулась дискуссия, в которой принял участие и Горький. Вернее, не то чтобы принял участие, а откликнулся на нее довольно пространной статьей — «По поводу одной дискуссии» («Литературная газета», 28 января 1934 г.).

Статья эта не оставляет сомнений насчет того, на чьей стороне он был в этом конфликте.

После длинного перечня разного рода словесных нелепостей и просто неграмотностей, извлеченных из романа Ф. Панферова «Бруски», Горький в этой своей статье писал:

> Можно бы, конечно, не отмечать словесных ошибок и небрежной техники литератора даровитого, но он выступает в качестве советчика и учителя, а учит он производству литературного брака. Признавая, что
> *молодые писатели могут нахватать ненужные слова и наполнить ими литературу,*
> Панферов говорит:
> *Но я все-таки за то, чтобы писатели тащили эти слова в литературу. Я ставлю вопрос так, что если на 100 слов останется 5 хороших, а 95 будут плохими, и то хорошо.*
> Это вовсе не хорошо, это преступно, ибо это есть именно поощрение фабрикации литературного брака, а у нас его вполне достаточно «творится» и без поощрения товарища Панферова.
>
> ***(М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах. Том 27. М. 1953, стр. 140—141.)***

Спустя две недели (14 февраля 1934 г.) в той же «Литературной газете» Горький выступил с другой статьей на ту же тему. Она называлась — «Открытое письмо А.С. Серафимовичу»:

> Александр Серафимович!
> Я прочитал Вашу статейку «О писателях облизанных и необлизанных» и чувствую себя обязанным возразить Вам.
> Хотя форма и тон статейки Вашей говорит, что Вы как будто хотели придать ей характер увеселительный, но, по смыслу ее, она является определенно вредоносной…
> …Вы канонизируете Панферова, говоря о нем такими словами:
> *…Сидит в нем мужицкая сила, и ее не вырвешь из его сознания. Ну, а если бы он задумал сделать свою вещь «облизанной», ничего не вышло бы, она потеряла бы свою силу, этакую корявую, здоровую, мужичью.*

> Я готов думать, что даже Панферову «не поздоровится от этаких похвал», хотя он человек, который слишком спешит достичь славы и чина протопопа от литературы…
>
> Я решительно возражаю против утверждения, что молодежь может чему-то научиться у Панферова, литератора, который плохо знает литературный язык и вообще пишет непродуманно, небрежно. Прошу понять, что здесь идет речь не об одном Панферове, а о явном стремлении к снижению качества литературы., ибо оправдание словесного штукарства есть оправдание брака…
>
> Я спрашиваю Вас, Серафимович, и единомыслящих с Вами: возможно ли посредством идиотического языка, образцы коего даны выше, изобразить героику и романтизм действительности, творимой в Союзе Социалистических Советов?..
>
> Необходима беспощадная борьба за очищение литературы от словесного хлама, борьба за простоту и ясность нашего языка, за честную технику, без которой невозможна четкая идеология. Необходимо жесточайше бороться против всех попыток снижения качества литературы.
>
> ***(Там же, стр. 147—152.)***

Судя по раздраженному тону этой отповеди, на сей раз Горький обиделся крепко. Немудрено: в таком неуважительном и даже ерническом тоне с ним давно уже никто не смел разговаривать. Забегая вперед, могу сказать, что дополнительным основанием для обиды мог явиться тот факт, что в этом случае «высшая инстанция» и не подумала вмешаться, одернуть Панферова и Серафимовича, дав им понять, что с Горьким так разговаривать нельзя.

Еще больше, наверно, раздражило Алексея Максимовича упрямое стремление этих «рабоче-крестьянских» писателей отстаивать свое «рабоче-крестьянское» право писать плохо.

Но и это, я полагаю, было не главное.

Главным стимулом, толкнувшим его на столь активное вмешательство в эту дискуссию якобы о языке, было бешеное стремление не только Панферова, но и Серафимовича «Достичь славы и чина протопопа…». И даже, — если уж пользоваться этой фразеологией, — не протопопа, а — «архиерея от литературы». (Серафимович, кстати говоря, до возвращения Горького в СССР как раз и пребывал в чине именно вот такого «архиерея» и с возвращением «великого пролетарского писателя» на родину этот свой чин утратил.)

Возвращаясь в Советский Союз, как теперь говорят, на ПМЖ (постоянное место жительства), Горький надеялся, что его «дружба» со Сталиным даст ему возможность влиять на сталинскую политику, способствовать смягчению сурового сталинского режима. На первых порах в чем-то это ему даже удалось. Под его нажимом Сталин «трудоустроил» Каменева, вернул в большую политику — хоть и не в прежнем качестве — Бухарина. (Сделал его членом ЦК, редактором «Известий», поручил ему делать доклад на писательском съезде.)

Сталин не торопился. Он умел ждать. Видно, хорошо усвоил смысл испанской поговорки, которая гласит, что ненависть — это такое блюдо, которое надо есть холодным.

Горький, надо полагать, и сам довольно скоро понял, что из его намерений влиять на большую сталинскую политику ничего не вышло. Но он рассчитывал, что где-где, а уж в литературе ему дадут быть полным хозяином.

При этом, однако, он понимал, что для того, чтобы быть полным хозяином, хотя бы даже только в одной этой, узкой области, мало получить назначение на должность официального ее главы. (Скажем, — председателя Правления Союза писателей.) Чтобы управлять литературным процессом, а не быть английской королевой, которая царствует, а не правит, — нужна команда.

Даже царь-освободитель, помазанник Божий, самодержавный государь, обладающий всей полнотой государственной власти, на вопрос, почему так медленно идет им самим инициированная реформа об отмене крепостной зависимости для крестьян, ответил:

— Некем взять!

Вот для того-то, чтобы было ему «кем взять» управление советской литературой — или (выражусь корректнее — воздействовать на литературный процесс, и нужны были Горькому такие люди, как Авербах.

Авербах, каков бы он ни был, при всех своих очевидных недостатках, хорош был уже тем, что смотрел Горькому в рот, ловил каждое его слово. На горьковском языке это звучало так:

> Авербах — талантливый парень, хороший организатор и хотя чрезмерно тороплив на выводы, способен учиться…
>
> ***(Из письма Горького Федину. «Горький и его корреспонденты», стр. 571.)***

Во всяком случае, один — главный — урок Горького Авербах усвоил: он перестал поддерживать тех, кто боролся за право писать плохо, решительно став на сторону тех, кто старался (и умел) писать хорошо.

Это было замечено даже в Париже, — писателями-эмигрантами, внимательно и ревниво следившими за литературным процессом в метрополии.

В парижской (эмигрантской) газете «Последние новости» из номера в номер печатались «Литературные заметки» Георгия Адамовича. Имя Авербаха в этих его заметках мелькало довольно часто. Обычно в таком контексте:

> Были… и среди коммунистических критиков люди неглупые, а главное — независимые: Воронский, например. Но ему давно пришлось умолкнуть… Остались только проходимцы вроде Авербаха. Попробуйте с Авербахом поспорить. Вы немедленно окажетесь идеологом кулачества, проводником правого уклона, врагом пролетариата, отзовистом, хвостистом или наплевистом, — и вам твердо дано будет понять, что «рабочий класс к своим противникам будет беспощаден».
>
> ***(Георгий Адамович. «Советская критика». В кн.: Георгий Адамович. Литературные заметки. Книга 1. СПб, 2002, стр. 339.)***

Эта статья Адамовича появилась на страницах «Последних новостей» 5 июня 1930 года. А вот что тот же Адамович, в тех же милюковских «Последних новостях», о том же Авербахе писал полтора года спустя:

> Воронский был уничтожен, «съеден»… ожесточенными врагами всякой творческой свободы, усердными и ревностными Молчалиными советского строя. Но интересно, что те же самые «юркие ничтожества» (по характеристике Троцкого), которые съели Воронского, — Авербах и его компания, — сейчас уже сами стали вольнодумцами, еретиками, «бессознательными прислужниками буржуазии». Сейчас уже им приходится отбиваться и в спорах с группой Безыменского или «Комсомольской правдой» доказывать последние, самые последние азбучные истины. Сейчас уже Авербах оказался защитником литературы, и, как ни странно, это действительно так… Если и Авербаха ждет участь Воронского, то мы будем свидетелями «конца литературы» в советской России, — по крайней мере, литературы в том смысле, как люди понимали ее до сих пор, т.е. конца творчества и превращения его в обслуживание временных и местных нужд государства…
>
> ***(Георгий Адамович. «Воронский». Там же, стр. 608—609.)***

А следующая статья Адамовича уже прямо так и называлась — «Конец Авербаха».

В то время (декабрь 1931 г.) говорить о «конце Авербаха», пожалуй, было еще рано. После роспуска РАППа Горький сумел добиться введения Авербаха в состав Оргкомитета будущего ССП, куда первоначально тот не был включен. В июле 1932 года состоялось организационное собрание Оргкомитета, на котором Горький настоял на своем решении: фамилия Авербаха была вписана красными чернилами в конце напечатанного на машинке списка «Состав Всесоюзного Оргкомитета Всероссийского Союза писателей».

Продолжал он бороться за Авербаха и позже, когда тот был окончательно отстранен от участия в создании будущего ССП и отправлен на партийную работу на Уралмаш, в Свердловск:

ИЗ ПИСЬМА КАГАНОВИЧА — СТАЛИНУ
12 августа 1934 г.
Горький настаивал на проведении Авербаха на съезд писателей от Москвы, но это не вышло…

(Сталин и Каганович. Переписка. 1931—1936 гг. М. РОССПЭН, 2001, стр. 431.)

ИЗ ПИСЬМА СТАЛИНА — КАГАНОВИЧУ, ЖДАНОВУ
30 августа 1934 г.
Авербаха не следует вводить. Горький поступил нелояльно в отношении партии, замолчав в своем докладе решение ЦК о РАППе. Получился доклад не о советской литературе, а о чем-то другом..
Сталин

(Сталин и Каганович. Переписка. 1932—1936 гг. М. РАССПЭН. 2001, стр. 465-466.)

И тут Горький взбрыкнул:

ПИСЬМО А.М. ГОРЬКОГО В ЦК ВКП(б)
30 августа — 1 сентября 1934 г.
В ЦК партии
Уважаемые товарищи,
Съезд литераторов Союза Советских [Социалистических] республик обнаружил почти единодушное сознание литераторами необходимости повысить качество их работы и — тем самым — признал необходимость повышения профессиональной технической квалификации.
Писатели, которые не умеют или не желают учиться, но привыкли играть роли администраторов и стремятся укрепить за собою командующие посты — остались в незначительном меньшинстве. Они — партийцы, но их выступления на съезде были идеологически тусклы и обнаружили их профессиональную малограмотность. Эта малограмотность позволяет им не только не понимать необходимость повышения [качства] их продукции, но настраивает их против признания этой необходимости, — как это видно из речей Панферова, Ермилова, Фадеева, Ставского и двух, трех других.
Однако т. Жданов сообщил мне, что эти люди будут введены в состав Правления Союза как его члены. Таким образом, люди малограмотные будут руководить людьми значительно более грамотными, чем они. Само собою разумеется, что это не создаст в Правлении атмосферы, необходимой для дружной и единодушной работы. Лично я знаю людей этих весьма ловкими и опытными в «творчестве» различных междуусобий, но совершенно не чувствую в них коммунистов и не верю в искренность их. Поэтому работать с ними я отказываюсь, ибо дорожу моим временем и не считаю себя вправе тратить его на борьбу против пустяковых «склок», которые неизбежно и немедленно возникнут.
И уже возникают: в журнале «Октябрь», книга 7-я, редактируемом группой Панферова, помещена речь т. Варейкиса, которую я считаю вредной, направленной против лозунга борьбы за качество литературы и вообще безграмотной.
Это обстоятельство еще более отягчает и осложняет мое положение и еще более настойчиво понуждает меня просить вас, тт., освободить меня от обязанности председателя Правления Союза литераторов.

В конечном счете дело как-то уладилось. Горького уговорили взять это свое заявление назад. Возможно, что ненавистной Горькому «группе Панферова» даже сделали некоторый укорот. Во всяком случае, в писательских кругах тогда это было воспринято именно так:

> ИЗ СПРАВКИ СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР «ОБ ОТНОШЕНИИ ПИСАТЕЛЕЙ К ПРОШЕДШЕМУ СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ И К НОВОМУ РУКОВОДСТВУ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ»
> Настроение и Панферова и писателей, группирующихся около него, очень подавленное.
> «Из наших», — как говорит Черненко, — «в правление союза вошел только Панферов. Ильенков очень удручен тем, что он оказался в стороне»…
> Вообще настроения такие, что организационно «панферовская» группа окончательно разбита…
> …По мнению группы, расстановка сил на литературном фронте на сегодняшний день складывается такая: с одной стороны, Горький, линию которого будет, очевидно, проводить правление ССП… С другой стороны, — все руководство литературными делами в ЦК до Сталина включительно. На возражение, что, мол, странно, чтобы линия ЦК, поддерживаемая Сталиным, была одна, а линия правления другая, было отвечено, что Сталин считается с Горьким и считает возможным кое в чем уступать ему.
> ***(«Власть и художественная интеллигенция», стр. 245—247.)***

Итак, превратить Горького в куклу, в «чучело орла», в «зиц-председателя Фунта» не удалось. Но Авербахом Алексею Максимовичу пришлось пожертвовать. Во всяком случае, с полным отстранением этой его креатуры от дел Союза писателей ему пришлось смириться.

Некоторое время Авербах еще сохранял кое-какие свои литературные посты и должности: оставался членом редколлегии «Литературного наследства», редактором горьковского альманаха «Год шестнадцатый». В этой последней должности ему однажды выпала роль «мальчика для битья»: вместо Горького, которого наказать было нельзя, наказали его.

> ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЦК ВКП(б) А.И. СТЕЦКОГО СЕКРЕТАРЯМ ЦК ВКП(б)…
> *22 мая 1933 г.*
> *тов. Сталину и тов. Кагановичу*
> Вышел альманах «Год шестнадцатый» под редакцией Горького, Авербаха и др. Редактировал его здесь Авербах.
> Этот альманах следовало задержать. Не сделал я этого только потому, что он вышел как раз в день приезда Горького сюда и это было бы для него весьма неприятным сюрпризом.
> В альманахе помещено «Заседание о смехе» Масса и Эрдмана, представляющее злобную издевку над нами. Надо добавить, что основой произведения Масса и Эрдмана является некий контрреволюционный анекдот…
> Отвечает за это дело прежде всего Авербах. Это одно из проявлений приспособленчества, от которого он до сих пор не освободился. Авербах и теперь продолжает вовсю заниматься политиканством. Почти все писатели коммунисты (за исключением Афиногенова, Киршона, Макарьева) от него отвернулись. Это не мешает ему, цепляясь за авторитет Горького и прикрываясь им, сплачивать вокруг себя беспартийных… В результате беспартийные литераторы дезориентированы.
> ***(«Власть и художественная интеллигенция», стр. 200.)***

На первом листе этой докладной Стецкого — две резолюции. Первая — подписанная Сталиным: «Молотову, Ворошилову, Куйбышеву, М. Горькому. И. Ст.» И вторая: «Надо

Авербаха наказать. Молотов». Там же — результаты голосования по этому вопросу: Каганович, Сталин, Ворошилов и Орджоникидзе — за.

В этот раз Авербах отделался выговором.

Как было сказано в одной старинной русской летописи:

> Боярин был прав, и обидчиков его наказали, а боярина казнили позже и за другую вину.

К судьбе Авербаха, конечно, приложима только вторая часть этой меланхолической реплики летописца: у Сталина не в обычае было признавать правоту впавшего в немилость «боярина», а тем более наказывать его обидчиков. Но развязка была такая же, как та, о которой сказано в летописи.

4 апреля 1937 года Авербах был арестован. Его обвинили в преступной связи с врагом народа Г. Ягодой, создании троцкистской группы в литературе, а также в том, что он спаивал сына Горького Максима, способствуя тем самым его гибели. Он был осужден «в особом порядке» и приговорен к высшей мере наказания — то есть к расстрелу. 14 июня 1937 года приговор был приведен в исполнение.

Сюжет третий
«ТИПИЧНЫЙ ДЕКАДЕНТ…»

Эта характеристика не может не ошеломить каждого, кто хоть немного осведомлен об отношениях, которые связывали великого пролетарского писателя с этим «декадентом».

Отношения были не просто близкие, а чуть ли даже не родственные. На протяжении нескольких лет Владислав Ходасевич со своей молодой женой Ниной Берберовой жил у Горького в Сорренто и входил в тот тесный семейный круг, в который — кроме сына Горького Максима и его жены Тимоши — входили художник Ракицкий («Соловей»), племянница Владислава Фелициановича — тоже художница — Валентина Ходасевич («Купчиха»), Мария Игнатьевна Будберг (в том узком кругу именуемая «Титкой», но более известная под кличкой «Мура»). Сам Горький именовался «Дука» (от итальянского — «дук», «дюк», то есть — герцог).

О Ходасевиче в тогдашних своих письмах, перечисляя тех, кто у него живет или постоянно к нему наезжает, Горький отзывался так:

> Жил Исай Добровейн, талантливый композитор и превосходный пианист, наш земляк, нижегородец. Жила Лидия Шаляпина, был Федор. Часто бывает Алексей Толстой и прекрасный поэт Владислав Ходасевич.
>
> ***(«Горький и его корреспонденты», стр. 296.)***

Смело можно утверждать, что с Ходасевичем у Горького отношения были даже более тесными, чем со всеми поименованными в этом письме и многими другими близкими ему людьми, в нем не поименованными.

О степени его доверия Ходасевичу, об их — в то время — безусловном единомыслии можно судить по такой — очень характерной для Горького — истории:

> Однажды Соболь *(речь идет о гостившем в то время у Горького в Сорренто писателе Андрее Соболе. — Б.С.)* не выдержал: стал жаловаться, что советская критика все более заменяется политическим сыском и доносами. Как на одного из самых рьяных доносчиков он указал на некоего Семена Родова, которого Горький не знал, но которого хорошо знал я. Я сказал, что напишу о Родове статью в газете «Дни», выходившей в Берлине под редакцией А.Ф. Керенского. Перед отсылкой статьи я прочел ее Горькому: в статье заключались весьма неблагоприятные сведения о Родове. Велико было мое удивление, когда Алексей Максимович,

прослушав, сказал: «Разрешите мне приписать, что я присоединяюсь к вашим словам и ручаюсь за достоверность того, что вы пишете». «Позвольте, — возразил я, — ведь вы же не знаете Родова? Ведь это же будет неправда?» — «Но я же вас знаю», — ответил Горький. — «Нет, Алексей Максимович, это не дело»…
Он заметно огорчился и каким-то виноватым тоном попросил: «Тогда, по крайней мере, пометьте под статьей: Сорренто». Я с радостью согласился, и статья «Господин Родов» появилась в «Днях» с этой пометкой.

(Вл. Ходасевич. Горький. «Современные записки» LXX. Париж, 1940, стр. 148.)

А вот что об отношении Горького к Ходасевичу говорит Н. Берберова — свидетель, конечно, не беспристрастный, но, тем не менее, вполне надежный:

…перед Ходасевичем он временами благоговел — закрывал глаза на его литературную далекость, даже чуждость. Он позволял ему говорить себе правду в глаза, и Ходасевич пользовался этим. Горький глубоко был привязан к нему, любил его как поэта и нуждался в нем как в друге. Таких людей около него не было: одни, завися от него, льстили ему, другие, не завися от него, проходили мимо с глубоким, обидным безразличием.

(Н. Берберова. Курсив мой. Автобиография. Том первый. New York, 1983, стр. 221-222.)

Особенно ценил Горький в Ходасевиче эту его способность при всех обстоятельствах говорить (и писать) правду, сколь бы жестокой и неприятной она ни была. Именно поэтому — не кого-нибудь, а именно Ходасевича он попросил однажды, чтобы тот, когда он, Горький, умрет, написал о нем воспоминания:

Перед тем как послать в редакцию «Современных записок» свои воспоминания о Валерии Брюсове, я прочел их Горькому. Когда я кончил читать, он сказал, помолчав немного:
— Жестоко вы написали, но — превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне.
— Хорошо, Алексей Максимович.
— Не забудете?
— Не забуду.

(Вл. Ходасевич. «Горький».)

Я мог бы вспомнить еще немало и других свидетельств, подтверждающих, что отношения Горького и Ходасевича были не просто близкими, а прямо-таки нежными. И вот — такая холодная, подчеркнуто отчужденная, я бы даже сказал, брезгливая характеристика: «типичный декадент, человек физически и духовно дряхлый», «преисполненный мизантропией и злобой на всех людей». «Он не может — не способен — быть другом или врагом кому или чему-нибудь, он «объективно» враждебен всему существующему в мире, от блохи до слона, человек для него — дурак, потому что живет и что-то делает».

В истории отношений Горького с Ходасевичем отразилась едва ли не самая острая из всех драматических коллизий, которыми так богата была его жизнь.

В этом частном и, казалось бы, сугубо личном сюжете особенно ясно проявилась психологическая подоплека главного, рокового события в человеческой и политической биографии Горького, — самого крутого и самого трагического поворота его судьбы.

* * *

Горький и Ходасевич оказались за границей приблизительно в одно время — Горький в конце 1921 года, Ходасевич в начале 1922-го.

При всей разнице их социального статуса в отъезде обоих было и кое-что общее. Оба выехали добровольно. Но в отъезде Горького Ленин был крайне заинтересован, уговаривал его ехать «лечиться» весьма настойчиво, а однажды в каком-то разговоре, мило улыбнувшись, сказал:

— Не поедете сами, — вышлем.

Шутка, конечно. Но — многозначительная.

Ходасевич тоже уехал по собственной инициативе. Но потом выяснилось, что он был в списке пассажиров знаменитого «корабля философов». Так что, не уехал бы добровольно, выслали бы за милую душу: в этом случае угроза выслать была отнюдь не шуточная.

Формально отношения у Горького с Лениным сохранились как бы дружеские.

Пережив период полного, тотального отрицания Октябрьского переворота, Горький с Лениным как будто бы примирился. (Огромную роль в этом их примирении сыграл выстрел Доры (Фанни) Каплан.) Но примирение было весьма относительным. Во всяком случае, тогдашняя советская реальность вызывала у Горького глубокое отвращение. А главное — он теперь уже твердо знал, что не в силах ничего изменить во взаимоотношениях взявших власть в стране большевиков с интеллигенцией.

Ходасевич на первых порах был обольщен лозунгами большевистской революции. Его отношение к большевистскому перевороту было сродни тому, что думал и чувствовал в то время Блок:

> Пусть крепостное право, пусть Советы, но к черту Милюковых, Чулковых и прочую «демократическую» погань. Дайте им волю — они «учредят» республику, в которой президент Рябушинский будет пасти народы жезлом железным, сиречь аршином. К черту аршинников! Хороший барин, выдрав на конюшне десятка два мужиков, все-таки умел забывать все на свете «средь вин, сластей и аромат». Думаю, что Гавриил Романович мужиков в Званке дирал, а все-таки с небес в голосах раздавался. Но Россию, покрытую бюстом Жанны Гренье, Россию, «облагороженную» «демократической возможностью» прогрессивного выращивания гармонических дамских бюстов, — ненавижу, как могу.
>
> Верю и *знаю* , что нынешняя лихорадка России на пользу… Будет у нас честная *трудовая* страна, страна умных людей, ибо умен только тот, кто трудится. И в конце концов монархист Садовский споется с двухнедельным большевиком Сидором, ибо оба они сидели на *земле* , — а Рябушинские в кафельном нужнике… К черту буржуев, говорю я.
>
> Быть большевиком не плохо и не стыдно. Говорю прямо: многое в большевизме мне глубоко по сердцу.
>
> ***(Владислав Ходасевич, Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б.А. Садовскому. М. 1966, стр. 362.)***

Но эта эйфория у него быстро прошла.

Во всяком случае, когда они оба оказались за границей, в своем отношении к покинутой ими Советской России Горький и Ходасевич были как будто едины. И это было отнюдь не последним в ряду обстоятельств, способствовавших сближению этих — таких разных! — людей.

Но почти сразу пролегла тут между ними крохотная, едва заметная (поначалу даже как будто совсем не заметная) трещина.

> ИЗ ПИСЬМА ГОРЬКОГО ХОДАСЕВИЧУ
>
> *8 ноября 1923 года*
>
> Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что… в России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рёскин, Нитче, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и

> еще многие подобные еретики. И сказано: «Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги». Все сие будто бы отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой: «Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя».

Слова «будто бы» перед утверждением, что «все сие отнюдь не анекдот», были вписаны Горьким сверху, *над строкой* . И эту свою поправку Горький далее специально оговаривает:

> Сверх строки мною вписано «будто бы» — тому верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу «Указатель».
> Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе своем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой?
> Знали б Вы, дорогой Владислав Фелицианович, как мне отчаянно трудно и тяжко!

Прочитав это письмо, Ходасевич сразу же поймал Горького на маленьком, но не таком уж невинном обмане:

> В этом письме правда — только то, что ему было «трудно и тяжко». Узнав об изъятии книг, он почувствовал свою обязанность резко протестовать против этого «духовного вампиризма». Он даже тешил себя мечтою о том, как осуществить протест, послав заявление о выходе из советского подданства. Может быть, он даже начал писать такое заявление, но, конечно, знал, что никогда его не пошлет, что все это — опять «театр для себя». И вот он прибег к самой наивной лжи, какую можно себе представить: сперва написал мне о выходе «Указателя» как о свершившемся факте, а потом вставил «как будто» и притворился, что дело нуждается в проверке и что он даже не знает, «не может заставить себя поверить» в существование «Указателя». Между тем никаких сомнений у него быть не могло, потому что «Указатель», белая книжечка небольшого формата, давным-давно у него имелся. За два месяца до этого письма, 14 сентября 1923 г., в Берлине, я зашел в книгоиздательство «Эпоха» и встретил там бар[онессу] М.И. Будберг. Заведующий издательством С.Г. Сумский при мне вручил ей этот указатель для передачи Алексею Максимовичу. В тот же день мы с Марией Игнатьевной вместе выехали во Фрейбург. Тотчас по приезде «Указатель» был отдан Горькому, и во время моего трехдневного пребывания во Фрейбурге о нем было немало говорено. Но Горький забыл об этих разговорах и о том, что я видел «Указатель» у него в руках, — и вот безобразнейшим образом уверяет меня, будто книжки еще не видел и даже сомневается в ее существовании. Во всем этом замечательно еще и то, что всю эту историю с намерением писать в Москву заявление он мне сообщил без всякого повода, кроме желания что-то разыграть передо мной, а в особенности — повторяю — перед самим собой.
>
> ***(Вл. Ходасевич. «Горький».)***

Далее Ходасевич замечает, что такое поведение Горькому было свойственно издавна, что выражалось это и во множестве других случаев такого же рода, что все это было в его характере, во всегдашней его склонности к самообману. («Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман» — никому другому эта классическая формула не подходила так, как к нему.)

Характер Горького Ходасевич имел возможность изучить хорошо, и было бы просто глупо оспаривать это его объяснение вышеизложенного факта. Но кое-что к этому его объяснению все-таки можно добавить.

Положение Горького, покинувшего Советскую Россию, отличалось от положения Ходасевича, сделавшего тот же выбор, помимо всего прочего, еще тем, что он был прикован к покинутой Родине, так сказать, золотыми цепями.

12 декабря 1921 года Ленин написал записку Молотову — «для членов Политбюро вкруговую»:

> Горький выехал… совсем без денег и строит свои перспективы на получение от Стомонякова авторского гонорара за издание своих книг. Крестинский думает, что необходимо включить Горького в число товарищей, лечащихся за границей за счет партии… Предлагаю провести через Политбюро предложение Крестинского включить Горького в число таких товарищей и проверить, чтоб он был вполне обеспечен необходимой для лечения суммой.

В ответ на эту ленинскую записку (а может быть, эта была и не единственная) Политбюро приняло ДВА важных для Горького решения:

> ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) ОБ ОТПУСКЕ ДЕНЕГ АМ. ГОРЬКОМУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ
> *21 декабря 1921г.*
> № 243 п. 8 — **Об отпуске денег тов. Горькому для лечения за границей (предложение тов. Ленина).**
> Включить т. Горького в число товарищей, лечащихся за границей, и поручить т. Крестинскому проверить, чтобы он был вполне обеспечен необходимой для лечения суммой.
> ***(«Власть и художественная интеллигенция», стр. 30.)***

> ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ А.М. ГОРЬКОМУ
> *25 февраля 1922 г.*
> № 103 п. 10 — О Горьком.
> а) Поручить Наркомпросу приобрести у М. Горького авторские права на его сочинения.
> б) Поручить Берлинскому отделению НКВТ совместно с т. Крестинским немедленно оформить эту сделку и немедленно начать финансирование Горького.
> ***(Там же, стр. 35.)***

НКВТ — это Народный комиссариат внешней торговли. Упоминаемый в записке Ленина Стомоняков был тогда советским торгпредом в Берлине. Крестинский — полпредом. Так что финансовое положение Горького подпитывалось советской властью, так сказать, с двух сторон.

Судите сами, мог ли при таком положении дел Горький вдруг взять и написать заявление о своем выходе из советскою подданства.

К чести Горького надо, однако, сказать, что иногда он все-таки взбрыкивал. Однажды, например, отправил такое письмо А.И. Рыкову, замещавшему тогда Ленина на посту Предсовнаркома:

> 1 июля 1922 г.
> Алексей Иванович!
> Если процесс социалистов-революционеров будет закончен убийством — это будет убийство с заранее обдуманным намерением — гнусное убийство.
> Я прошу Вас сообщить Л.Д. Троцкому и другим это мое мнение. Надеюсь, оно не удивит Вас, ибо Вам известно, что за все время революции я тысячекратно указывал Советской власти на бессмыслие и преступность истребления интеллигенции в нашей безграмотной и некультурной стране.

> Нынче я убежден, что если эсеры будут убиты, — это преступление вызовет со стороны социалистической Европы моральную блокаду России.
> М. Горький
> ***(«Власть и художественная интеллигенция», стр. 37-38.)***

На письме этом имеется резолюция Рыкова: «Разослать через Секретариат всем членам Политбюро». И — приписка Троцкого: «Предлагаю: поручить редакции «Правды» мягкую статью о художнике Горьком, которого в политике никто всерьез не берет; статью опубликовать на иностранных языках».

За членов ЦК партии эсеров, процесс которых проходил в Москве с 8 июня по 7 августа 1922 года, кроме Горького, вступался Анатоль Франс. Но тем, кто затеял этот процесс, было равно плевать и на Горького и на Франса: из 34 обвиняемых 12 были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны.

Все это я вспомнил к тому, что в случае с «Указателем», из-за которого Горький якобы намеревался выйти из советского подданства, все было не так просто, как это представлялось Ходасевичу. Дело было не только во всегдашней склонности Алексея Максимовича к самообману.

Конечно, выходить из советского подданства Горький не собирался (тут Ходасевич был прав). Но написать Ходасевичу об этом своем намерении его побудило не только желание устроить, как выразился Владислав Фелицианович, очередной «театр для себя».

Во-первых, тут действовал некий общий закон. Каждый из нас, вступая в диалог — даже устный, а тем более письменный, — невольно приспосабливается к собеседнику (адресату). Горький был человек гибкий, пластичный, и ему это приспособление к адресату было особенно присуще. В его письмах, скажем, к Е.П. Пешковой перед нами один Горький, в письмах к Зиновию Пешкову — другой, в письмах к Ходасевичу — третий. (О Горьком, который предстает перед нами в своих письмах к Сталину, и говорить нечего. Но это — случай особый, тут, помимо всего прочего, огромную роль сыграла идейная эволюция, которую проделал А.М. за пять лет, прошедшие с того момента, когда оборвались его отношения с Ходасевичем и начались его отношения со Сталиным.)

Это инстинктивное приспособление к адресату, которое сразу бросается в глаза, когда читаешь горьковские письма, ярче всего выражается в той языковой маске, в которой он в каждом таком случае предстает перед нами. Но к такому собеседнику, как Ходасевич, Горький приспосабливался не только стилистически, но и, так сказать, идеологически.

Именно Ходасевичу, настроенному, как он знал, более жестко и непримиримо по отношению к хозяевам Кремля, ему важно было продемонстрировать такую же жесткость и непримиримость. Для чего-то ему очень нужно было, чтобы Владислав Фелицианович считал его полным своим политическим единомышленником.

В сущности, он и был его единомышленником. И это обстоятельство весьма беспокоило кое-кого из близких Горькому людей. И чем дальше, тем больше.

Особенно беспокоило оно Марию Игнатьевну, «Муру»:

> Однажды вечером, после того, как все разошлись по своим комнатам, они остались вдвоем сидеть на жестких стульях, у пустого стола в той комнате, в конце коридора, которая не имела названия и служила утром для утреннего завтрака (обедали внизу, в огромной пустой столовой гостиницы), а днем для Максима и Тимоши, где они раскрашивали картинки. Здесь иногда лежал на трех стульях Соловей, здесь мы с Тимошей завивали друг другу волосы в дни семейных праздников. И в этой комнате Мура и Ходасевич остались разговаривать, что иногда случалось, когда обоим было еще рано спать.
> Я проснулась среди ночи. В комнате горел свет. Кровать Ходасевича была нетронута. Часы показывали половину третьего. Я удивилась, накинула халат и вышла в коридор. В самом конце дверь была открыта и слышались тихие голоса. Я подошла к двери. Одинокая лампочка горела в потолке. Они сидели друг против друга, и было что-то напряженное в их приглушенных голосах.

> Незамеченная, я осторожно вернулась и легла. Что-то беспокоило меня. Уснуть я не могла. Прошло около получаса, и Ходасевич, бледный и усталый, вошел в комнату. «Что случилось?» — спросила я. Он ответил: «Она хочет сделать все возможное, чтобы он уехал в Россию».
>
> ***(Н. Берберова. «Железная женщина», New York, 1982, стр. 201.)***

Тут возникает простой вопрос: зачем понадобилось Марии Игнатьевне вести этот долгий ночной разговор именно с Ходасевичем? Разве от Ходасевича хоть в какой-то степени зависело принятие Горьким этого его судьбоносного решения?

Как видно, Мария Игнатьевна полагала, что зависело.

Во всяком случае, она опасалась, что Ходасевич будет оказывать в этом смысле на Горького вредное влияние и по мере сил хотела это его вредное влияние нейтрализовать.

Вот как о том, хорошо ему запомнившемся своем разговоре с ней рассказал сам Ходасевич:

> Как-то вечером, когда все уже улеглись, Мура позвала меня к себе в комнату — «поболтать». Должен отдать справедливость ее уму. Без единого намека, без малейшего подчеркивания, не выпадая из тона дружеской беседы в ночных туфлях, она сумела сделать мне ясное дипломатическое представление о том, что ее монархические чувства мне ведомы, что свою ненависть к большевикам она вполне доказала, но — Максим (сын Горького), вы сами знаете, что такое, он только умеет тратить деньги на глупости, кроме того у Алексея Максимовича много еще людей на плечах, нам нужно не меньше десяти тысяч долларов в год, одни иностранные издательства столько дать не могут, если же Алексей Максимович утратит положение первого писателя советской республики, то они и совсем ничего не дадут, да и сам Алексей Максимович будет несчастен, если каким-нибудь неосторожным поступком испортит свою биографию.
>
> «… для блага Алексея Максимовича и всей семьи надо не ссорить его с большевиками, а наоборот, — всячески смягчать отношения. Все это необходимо и для общего нашего мира», — прибавила она очень многозначительно. После этого разговора я стал замечать, что настроения Алексея Максимовича внушают окружающим беспокойство и что меня подозревают в дурном влиянии.
>
> ***(Там же, стр. 202—203.)***

Разговор этот, судя по всему, происходил в начале 1924 года. Только что умер Ленин, и Горький написал свой знаменитый очерк о нем, что, собственно, и внушило Марии Игнатьевне надежды на примирение Горького с новыми властителями России. Но Ходасевич тогда в возвращение Горького в Россию еще не верил. Берберова в этом смысле оказалась проницательнее:

> Ленина больше не было. Его воспоминания об «Ильиче» были первым шагом к примирению с теми, кто был сейчас на верху власти в Москве. «Он поедет туда очень скоро», — сказала я как-то Ходасевичу. — «В сущности, даже непонятно, почему он до сих пор не уехал туда». Но Ходасевич не был согласен со мной: ему казалось, что Горький не сможет «переварить» режима, что его удержит глубокая привязанность к старым принципам свободы и достоинства человека. Он не верил в успех тех, кто в окружении Горького работал на его возвращение…
>
> ***(Н. Берберова. «Курсив мой». Том первый, стр. 212—213.)***

Но события развивались стремительно. Год спустя — в апреле 1925 года — Ходасевич с Берберовой уезжали из Сорренто, расставаясь с Горьким, как потом выяснилось, навсегда:

> Итальянский извозчик лихо подкатил к крыльцу, стегая каурую лошадку. Горький стоял в воротах, в обычном своем одеянии: фланелевые брюки, голубая рубашка, синий галстук, серая вязаная кофта на пуговицах. Ходасевич мне сказал: мы

больше никогда его не увидим. И потом, когда коляска покатила вниз, к городу, и фигура на крыльце скрылась за поворотом, добавил с обычной своей точностью и беспощадностью:

— Нобелевской премии ему не дадут, Зиновьева уберут, и он вернется в Россию…

(Там же, стр. 220.)

Теперь и у него в этом уже не оставалось сомнений.

История возвращения Горького в Советский Союз — это другой сюжет, не все загадки которого и сейчас уже разгаданы. Но одно несомненно: чтобы заполучить Горького, который Сталину был тогда очень нужен, был разработан довольно хитроумный финансовый план. Было на корню закуплено собрание сочинений Горького, которое издавал в Берлине Гржебин. Потом вдруг Советы от приобретения этого тиража отказались. Гржебин был разорен. И Горький целиком оказался в зависимости от Госиздата, с которым вынужден был заключить контракт на другое, новое собрание сочинений. Какое-то время Горького поддерживали платежи Парвуса, которого удалось заставить вернуть Горькому его старый долг. (О происхождении этого долга Горький подробно рассказал в одном из вариантов своего очерка о Ленине.) Но этих денег не хватало и выплаты эти вот-вот должны были прекратиться.

Финансовые отношения Горького с Парвусом долгое время держались в строжайшей тайне. Но Ходасевич, будучи в то время одним из самых близких Горькому людей, об этой его тайне знал. И до конца дней ни с кем этим своим знанием не поделился.

Ходасевич не только никогда ни с кем о «тайне Горького» не говорил, но нигде даже для себя ее не записал и не намекнул на нее ни в книге воспоминаний «Некрополь» (1939 г.), ни в напечатанном мною посмертно тексте «послесловия» к воспоминаниям о Горьком («Совр. записки», кн. 70). И я сама не выдала секрета, когда в автобиографии («Курсив мой», 1972) описала прощальную сцену с Горьким в день нашего отъезда из Сорренто, в апреле 1925 года. Когда коляска итальянского возницы покатила по дороге в Кастелламаре, Ходасевич сказал (текст «Курсива»):

« — Нобелевской премии ему не дадут, Зиновьева уберут, и он вернется в Россию».

На самом деле Ходасевич сказал:

— Нобелевской премии ему не дадут, Зиновьева уберут, платежи Парвуса прекратятся, и он вернется в Россию.

(Н. Берберова. «Железная женщина», стр. 180—181.)

Так оно и вышло: Ходасевич как в воду глядел.

Но до возвращения Горького в СССР было еще три года, и отношения его с Ходасевичем, по крайней мере на протяжении этих трех лет, казалось бы, еще могли оставаться безмятежными.

Как уже было сказано, Горький очень высоко ценил Ходасевича-поэта, хотя поэзия всегда была той сферой, в которой чуждость этих двух людей проявлялась особенно резко. Но еще больше Горький ценил в Ходасевиче его прямоту, его исключительную правдивость:

Была… одна область, в которой он себя сознавал беспомощным — и страдал от этого самым настоящим образом.

— А скажите, пожалуйста, что, мои стихи, очень плохи?

— Плохи, Алексей Максимович.

— Жалко. Ужасно жалко. Всю жизнь я мечтал написать хоть одно хорошее стихотворение.

Он смотрит вверх грустными, выцветшими глазами, потом вынужден достать платок и утереть их.

Меня всегда удивляла и почти волновала та необыкновенно человечная непоследовательность, с которою этот последовательный ненавистник правды вдруг становился правдолюбцем, лишь дело касалось его писаний. Тут он не только не хотел обольщений, но напротив — мужественно искал истины.

(Вл. Ходасевич. «Горький».)

В окружении Горького немного было людей, способных так прямо и нелицеприятно отвечать на подобные его вопросы. Может быть, даже таким был только он один — Владислав Фелицианович Ходасевич.

Особенно сблизила их совместная работа над журналом «Беседа», который они вдвоем задумали и начали издавать.

Журнал выходил в Берлине на русском языке. Распространяться по их замыслу он должен был в России. Вышло семь номеров: в мае — июне 1923 года первый, в июле — августе того же года второй, в сентябре — октябре третий, в марте 1924 года четвертый, в июне — июле того же года пятый, и в марте 1925-го последний, шестой — седьмой.

Из попыток добиться распространения журнала в СССР, как и следовало ожидать, ничего не вышло.

То есть это Ходасевич с самого начала подозревал, что только такого развития событий и следовало ожидать. Склонный к иллюзиям Горький довольно долго еще продолжал надеяться, что прекрасный их план будет осуществлен. Но в конце концов и он вынужден был признать, что из этой затеи ничего не вышло:

> Мой приезд в Париж по времени совпал с выходом последнего, шестого, номера «Беседы». По этому поводу Горький писал мне:
> *«Беседа» — кончилась. Очень жалко… По вопросу — огромнейшей важности вопросу! — о том, пущать или не пущать «Беседу» на Русь, было созвано многочисленное и чрезвычайное совещание сугубо мудрых. За то, чтобы пущать, высказались трое: Ионов, Каменев и Белицкий, а все остальные: «не пущать, тогда Горький вернется домой». А он и не вернется! Он тоже упрямый».*
> Я хорошо знал Горького и его обстоятельства. Для меня было несомненно, что он действительно не поедет в Россию — по крайней мере, вплоть до того дня, пока не уедет от него Мара. Но не менее ясно было и то, что после властного и твердого запрещения «Беседы» Горький начнет размякать и, под давлением Мары и Екатерины Павловны, пойдет на сближение с начальством. Поэтому я не без горечи указал ему в ответном письме, что меня удивляет, каким образом год тому назад его известили о допущении «Беседы», а теперь оказывается, что тогда этот вопрос еще и не обсуждался. На это Горький мне возразил:
> *«Разрешение на «Беседу» было дано и книги в Россию допускались, — писал он. — Затем разрешение было опротестовано и аннулировано».*
> Это была ложь, на которую Алексей Максимович отважился, полагая, что мне неизвестно, что книги в Россию не допускались никогда.
>
> ***(Вл. Ходасевич. Послесловие к воспоминаниям о Горьком. «Современные записки» LXX, стр. 152-153.)***

Тут Ходасевич ошибся. На это раз Горький ему не солгал.

После его письма Рыкову и тех оскорблений, которые на него тогда посыпались в советской печати (в «Правде» была опубликована статья «Почти на дне. О последних выступлениях М. Горького», с оскорбительной речью обрушился на Горького давний его враг — Зиновьев), кремлевскими властителями было принято такое — умиротворяющее — решение:

> ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) О ПИСЬМЕ А.М. ГОРЬКОМУ
> *10 апреля 1924 г.*
> № 84, п. 25 — **О письме М. Горькому (т. Гусев)** .
> а) Признать необходимым помещение заметки в газетах (от редакций) по поводу поднятого т. Рыковым вопроса о Горьком, а также посылку М. Горькому письма от ЦК…
> б) Разрешить распространение в СССР журнала М. Горького «Беседа».
>
> ***(«Власть и художественная интеллигенция», стр. 46.)***

Трудно сказать, насколько реальным было тогда исполнение этого решения. Может быть, никто и не собирался его исполнять, а цель решения состояла только в том, чтобы успокоить, «умягчить» Горького.

Как бы то ни было, Ходасевича Горький не обманывал: официально уведомление о том, что «Беседа» к распространению в России разрешена, он действительно получил. Так что он не лгал, когда писал Ходасевичу, что такое разрешение сперва было дано, а потом аннулировано.

Но, высказывая предположение, что «после властного и твердого запрещения «Беседы» Горький начнет размякать и… пойдет на сближение с начальством», Ходасевич не ошибся.

> …мои предположения оказались верны. Запретив «Беседу», в Москве решили, что нужно чем-нибудь Горького и приманить, а он на эту приманку тотчас пошел. После почти двухмесячного молчания он писал мне 20 июля: «Ионов ведет со мною переговоры об издании журнала типа «Беседы» или о возобновлении «Беседы». Весь материал заготовляется здесь, печатается в Петербурге, там теперь работа значительно дешевле, чем в Германии. Никаких ограничительных условий Ионов, пока, не ставит». Это было уже чистейшее лицемерие. Я ответил Горькому что журнал типа «Беседы» в России нельзя издавать, потому что «типическая» черта «Беседы» в том и заключалась, что журнал издавался за-границей, и что «ограничительные условия» уже налицо, ибо наша «Беседа» издавалась вне советской цензуры, а петербургская автоматически подпадает под цензуру. Все это Горький, конечно, знал и без меня, но, по обыкновению, ему хотелось дать себя обмануть, потому что хотелось пойти на сближение с советской властью…
>
> …Я не сомневался, что и никакой новой «Беседы» не будет: не будут ее печатать даже и в Петербурге, где так «дешева работа», — а просто заставят Горького печататься в «Красной нови» и в других казенных издательствах, — и что он сам уже к этому готов. Он явно шел с властью на похабный мир, заключаемый по программе Мары: пока можно тянуть — жить за-границей, а средства для жизни получать из России. Я понял и то, что дальнейшая полемика сведется к тому, что Алексей Максимович будет мне лгать, а я его буду уличать во лжи. Но эта работа мне давно уже была тяжела. Пора было ее бросить. Прострадав несколько дней, я решился не отвечать Горькому вовсе, никогда. На том кончились наши отношения. Замечательно, что, не получив от меня ответа, Горький тоже мне больше уже не писал: он понял, что я все понял. Возможно и то, что моя близость в новых обстоятельствах становилась для него неудобна.
>
> ***(«Современные записки», LXX, стр. 152, 155.)***

На этом можно было бы и закончить. Но этот разрыв отношений — даже не разрыв, а постепенное, медленное их угасание, — а если даже и разрыв, то мирный, без ссор, скандалов, взаимных попреков и оскорблений, какие почти неизбежны в подобных случаях, — все это объясняет холодный, отчужденный тон характеристики Ходасевича в его письме Сталину. Но не объясняет злой раздраженности и оскорбительности этого тона («человек физически и духовно дряхлый», «преисполненный… злобой на всех людей». «Он не может — не способен — быть другом или врагом кому или чему-нибудь…»).

Конечно, отношение Горького к Ходасевичу после их разрыва стало иным:

> …не читал еще последнюю книгу «Современных записок», не знаю, что там напечатано Ходасевичем. Прозу его я не очень одобряю. Зол он. И, как-то, неоправданно зол. И не видишь: на что бы он мог не злиться.
>
> ***(Из письма Горького — А, А. Лутохину. 13 ноября 1926 года. Архив АМ. Горького. Неизданная переписка. М. 1976, стр. 418—419.)***

Да, Ходасевич был зол. Наверно, бывал и неоправданно зол.

В.Б. Шкловский однажды сказал ему.

— У вас чахотка, но вы не умираете, потому что вы такой злой, что палочки Коха дохнут в Вашей крови.

По смыслу горьковская характеристика Ходасевича — та же, что в его письме Сталину. Но тон! Тон совершенно иной.

Конечно, тут было и некоторое лукавство. Вступаясь за отверженного и угнетаемого Булгакова, Горький — не слишком кривя душой, но все-таки с несколько излишним нажимом — замечает, что тот ему — «не сват, не брат» и защищать его он не имеет ни малейшей охоты, — защищает же, мол, только потому, что тот талантлив, а талантов «у нас» не так много, чтобы можно было ими бросаться.

Вот поэтому же, надо думать, и о Ходасевиче, на мнение которого по этому поводу он опирается, Горький тоже считает нужным сказать, что тот ему «не сват, не брат», а, напротив, человек чужой, отчасти даже враждебный.

Этот мотив, этот «тактический ход» тут тоже, безусловно, присутствует.

Присутствует и то приспособление к собеседнику, о котором я уже говорил.

Сталин на критическое замечание Ленина, что он «груб в отношениях с товарищами», отвечал: «Да, я груб, и буду груб с врагами рабочего класса!» — не только проигнорировав тем самым ленинский упрек, но даже как бы превратив этот отмеченный Лениным свой недостаток — в достоинство. Вот и Горький тоже дает понять, что будет груб с врагами рабочего класса.

Об Н.Н. Суханове, с которым вместе редактировал и издавал «Новую жизнь», он теперь отзывается так:

> Не удивлен тем, что Суханов, мальчишка с болезненным самолюбием и психикой авантюриста, оказался на скамье уголовных преступников.

Николай Николаевич Суханов, недавно еще близкий и глубоко симпатичный ему человек, стал «врагом рабочего класса». А с врагами, — говорил Сталин, — «мы будем поступать по-вражески».

Вот и Ходасевич тоже стал врагом рабочего класса.

Справедливости ради тут надо сказать, что Ходасевич тоже в долгу не оставался:

> Едва ли многим известно, что он принимал участие в том, чтобы снять кандидатуру Горького на звание нобелевского лауреата. Он читал мне копию письма, посланного им, кажется, Эммануилу Людвиговичу Нобелю о том, что сделал Горький после своего вступления в партию коммунистов, о его посещении Соловков. В этом послании было кое-что новое даже и для меня. Думаю, что эта копия его хранится в его архиве.
>
> За все эти годы я не слышала ни одной примирительной нотки его к большевикам.
>
> ***(В.Н. Муромцева-Бунина. Воспоминания о В.Ф. Ходасевиче. В кн.: И.А. Бунин. Новые материалы. Выпуск 1. М. 2004. Стр. 217.)***

Ну, а что касается Горького, то надо еще иметь в виду, что Горький этого нового, советского периода был уже не тот Горький, каким он был до своего возвращения в СССР. Это был совершенно другой человек. Похожий и вместе с тем совсем не похожий на того, каким его помнили все, знавшие его раньше.

Берберова даже считала, что в этот последний период своей жизни он был не вполне вменяем. Говоря попросту, — выжил из ума:

> В письмах… попадаются иногда фразы, которые могут навести на сомнение: был ли Горький в последние годы своей жизни в здравом уме? Не был ли застарелый легочный туберкулез причиной некоторых перерождений его мозга? «Возможно, — писал он в связи с проектом переводов мировой литературы, — что некоторые книги нужно будет заново переписать или даже дописать, некоторые же сократить».
>
> ***(Н. Берберова. «Железная женщина», стр. 250.)***

Идея и впрямь безумная. В особенности, если учесть, что среди авторов тех «некоторых книг», которые по его замыслу нужно будет заново переписать или даже дописать, вполне мог оказаться и Гомер, и Шекспир, и Стендаль, и Бальзак, и мало ли кто еще!

Свое предположение, что под конец жизни Алексей Максимович совсем сбрендил, Берберова подкрепляет еще такими фактами:

> Горький хочет обязать Л. Никулина написать фактическую историю европейской культуры, т.е. историю быта племен и народов от Илиады и Гесиода до наших дней… «Сюда включаются конечно и малоазиатцы, арабы, норманны, германцы и Атилла»…
> В 1932 году Горький приходит к заключению, что «художественная литература — ценнейший иллюстрационный материал истории и ее документация»… Восхищенный книгой Халдэна… он требует, чтобы С. Маршак обработал ее для журнала «Колхозник», т.е. перевел бы ее «очень простым языком».
>
> ***(Там же, стр. 249—250.)***

Но тут же она вспоминает, что такими же идеями и замыслами Горький был обуреваем и в 1919 году. Ссылается при этом на свидетельство Е. Замятина:

> Трудно было починить водопровод, построить дом, но очень легко Вавилонскую башню: «Издадим Пантеон литературы российской, от Фонвизина до наших дней. Сто томов!» Мы, может быть, чуть-чуть улыбаясь, верили, или хотели верить… Образовалась секция исторических картин: показать всю мировую историю, не больше, не меньше. Придумал это Горький.
>
> ***(Там же, стр. 248.)***

Нет, Горький не был сумасшедшим — ни в 1919 году, ни в 1932-м. Просто он был одним из тех «русских мальчиков», о которых Достоевский — то ли с иронией, то ли с восторгом — говорил, что если дать такому «русскому мальчику» карту звездного неба, он наутро вернет вам ее исправленной.

Таким «русским мальчиком» был, например, Николай Гаврилович Чернышевский.

Вот что он писал жене 5 октября 1862 года, — то есть уже после ареста, — из Петропавловской крепости:

> В это время я имел досуг подумать о себе и составить план будущей жизни. Вот как пойдет она: до сих пор я работал только для того, чтобы жить. Теперь средства к жизни будут доставаться мне легче, потому что восьмилетняя деятельность доставила мне хорошее имя. Итак, у меня будет оставаться время для трудов, о которых я давно мечтал. Теперь планы этих трудов обдуманы окончательно. Я начну многотомною «Историею материальной и умственной жизни человечества», — историею, какой до сих пор не было, потому что работы Гизо, Бокля (и Вико даже) деланы по слишком узкому плану и плохи в исполнении. За этим пойдет «Критический словарь идей и фактов», основанный на этой истории. Тут будут перебраны и разобраны все мысли обо всех важных вещах, и при каждом случае будет указываться истинная точка зрения. Это будет тоже многотомная работа. Наконец, на основании этих двух работ я составлю «Энциклопедию знания и жизни», — это будет уже экстракт, небольшого объема, два-три тома, написанный так, чтобы был понятен не одним ученым, как два предыдущие труда, а всей публике. Потом я ту же книгу переработаю в самом легком, популярном духе, в виде почти романа с анекдотами, сценами, остротами, так, чтобы ее читали все, кто не читает ничего, кроме романов. Конечно, все эти книги, назначенные не для одних русских, будут выходить не на русском языке, а на французском, как общем языке образованного мира. Чепуха в голове у людей, потому они и бедны, и жалки,

злы и несчастны; надобно разъяснить им, в чем истина и как следует им думать и жить.

(Дело Чернышевского. Сборник документов. Приволжское книжное издательство. Саратов, 1968, стр. 261 — 262.)

По зрелом размышлении Николай Гаврилович потом решил начать осуществление этой своей программы с романа. И роман этот он, как мы знаем, написал.

При всем либерализме тогдашних российских властей, позволивших ему, сидя в крепости, не только написать, но даже и напечатать этот крамольный роман, возможности его были все-таки ограничены.

У Горького, когда он вернулся в Советский Союз, возможности были совсем другие. В его распоряжении была вся мощь государства (так, во всяком случае, ему казалось), и все писатели российские теперь обязаны были подхватывать и незамедлительно принимать к исполнению все его проекты и планы. Чуть ли не буквально сбылось то, что обещал ему в своем ироническом послании Маяковский:

Прозаики —
сели
пред Вами
на парте б:
— Учи!
Верти!

Вот он и вертел.

Сюжет четвертый
«ПРИВЕЗИТЕ БИОГРАФИЮ КОБЫ…»

Наполеону, когда он решил стать императором, понадобилась легитимация его восшествия на императорский трон. Такой легитимацией, согласно древней традиции, должно было стать участие в церемонии коронования Римского Папы.

В былые времена императоры ездили для этого в Рим. Но наглый корсиканец потребовал, чтобы Папа сам приехал к нему, в Париж, и возложил на его голову императорскую корону. И Папа — куда денешься! — приехал. Но в тот момент, когда он должен был возложить корону на голову новоявленного императора, тот взял ее из рук уже достаточно униженного Папы и САМ возложил ее на свою голову, дав тем самым понять, что ни в каком Папе он на самом деле не нуждается, что немыслимой своей карьерой обязан только себе.

Позднее Сталин, может быть, тоже не отказался бы от какого-нибудь такого эффектного жеста. Но в начале 30-х ему до зарезу нужен был Римский Папа, который легитимизировал бы его, если не в глазах всего, как теперь говорят, «мирового сообщества», так хотя бы в глазах интеллигентов, сочувствующих советскому эксперименту.

Этим его Римским Папой, по его замыслу, должен был стать Горький.

С легитимацией Ленина Горький уже справился, написав свой известный очерк о нем. (Правда, это случилось уже после смерти Ильича.) Теперь ему предстояло создать нечто подобное о том, кого тогда еще не называли, но скоро назовут — «ЛЕНИН СЕГОДНЯ».

В годы моей литературной молодости имя Горького было овеяно мифами, легендами, слухами, порой самыми фантастическими. Я жадно впитывал все эти легенды. В основном — из рассказов литераторов старшего поколения.

Один из этих рассказов был такой.

Алексею Максимовичу была официально заказана КНИГА О ВОЖДЕ. Художественная его биография. От такого заказа, разумеется, отказаться было невозможно. И вот каждый

день он запирался у себя в кабинете, пытаясь что-то такое сотворить. Выходил к завтраку мрачнее тучи, ни на какие расспросы не отвечал. Да и расспрашивать его было незачем, все было ясно без всяких ответов: дело не клеится.

Так прошел месяц, другой. И вдруг, в одно прекрасное утро Горький вышел из своего кабинета веселый, улыбающийся.

— Стало что-то получаться? — понимающе спросил кто-то из близких.

— Какое там, к черту, получаться! — ответил он. — Не получается и не получится. Не может получиться.

И на немой вопрос недоумевающих домашних — что же, мол, в таком случае означает это его веселое настроение? — объяснил:

— Все сжег.

В рассказ этот не шибко верилось. Уж больно история эта была изящно вылепленной, чтобы оказаться правдой. Не верилось и в то, что такой официальный заказ действительно был, и в то, что от выполнения такого заказа, — если он действительно был, — даже сам Горький мог вот так вот просто взять и отказаться. Неправдоподобно-романтическим казался и сам способ, каким Горький решил поставить крест на этом сталинском заказе. Где мог он сжечь эти свои бумаги? В камине? Как Гоголь? Само слово это («сжег») было — из прошлого, XIX века и еще больше усиливало апокрифический характер этой истории. Хотя все, кто наблюдал Алексея Максимовича вблизи, вспоминают, что он любил огонь и частенько устраивал маленькие пожары — хоть в пепельнице. Часами мог смотреть, как корчатся в пламени сломанные спички, скомканные листки бумаги, клочки разного другого мусора. И в Сорренто, в вилле, которую он снимал, камин наверняка был. Так что, может быть, и сжег…

Что касается художественного оформления этого сюжета, я и сейчас ничего определенного сказать не могу. Не исключаю, что все это и в самом деле — плод чьей-то художественной фантазии. А вот факты… Факты подтвердились, можно сказать, полностью.

В 1964 году вышли два очередных тома «Архива А.М. Горького» под общим названием — «Горький и советская печать». В книге первой этого издания была напечатана переписка Алексея Максимовича с Артемием Багратовичем Халатовым, старым большевиком, крупным партийным функционером, — в то время председателем правления Госиздата. И вот в письме Халатова Горькому, помеченном 15 января 1932 года, я прочел:

> Материалы для биографии Иосифа Виссарионовича мы Вам послали, напишите мне — не нужны ли Вам какие-либо еще материалы, и когда Вы думаете нам их дать.

К этой халатовской фразе было сделано такое подстрочное примечание:

> Биография Сталина Горьким написана не была.
> ***(М. Горький и советская печать. Книга 1, М. 1964, стр. 260—261.)***

Официальный заказ, стало быть, был.

А недавно в очередном выпуске «Материалов и исследований», посвященных изучению жизни и творчества А.М. Горького, были обнародованы новые документы, свидетельствующие о том, что и попытки выполнить этот государственный заказ у Алексея Максимовича были.

Сначала он всеми правдами и неправдами уклонялся от этого предложения. Ссылался на отсутствие необходимых для работы материалов. Но материалы ему обещали предоставить любые. И вот 24 ноября 1931 г. он телеграфирует своему верному «Пепекрю» — Петру Петровичу Крючкову:

> Привезите биографию Кобы или материалы для нее.
> ***(М. Горький. Неизданная переписка. М. 2000. Стр. 277.)***

5 декабря «Пепекрю» отвечает:

> Т. Товстуха послал Вам через Д.И. Курского материалы по биографии Сталина, когда получите, сообщите мне.
>
> ***(Там же.)***

А в начале следующего, 1932 года Горький получил предложение от американских издателей Рея Лонга и Р. Смита написать очерк о Сталине для книги «Россия сегодня». (Было и другое предполагаемое название у этой будущей книги — «Правда о России».) Р. Смит писал ему, что эта «чрезвычайно важная книга выйдет самым широким тиражом», поскольку предполагалось, что в числе ее авторов будет и сам Сталин.

О существовании нью-йоркского издательства «Ray Long and Richard R. Smith» Горький узнал от «Муры» (Марии Игнатьевны Будберг), которая в этой затее была заинтересована, помимо всего прочего, еще и потому, что затея эта предполагала самое непосредственное личное ее в ней участие.

В начале марта 1932 года она писала Горькому:

> Видела Рея Лонга, и он подписал со своей стороны договор и уже выслал Вам 2500 долларов. Он просил из них оставить мне задаток в 500 долларов на перевод, он пополнит эту сумму при посылке второй части.
>
> ***(Там же, стр. 279.)***

С достаточной долей уверенности можно предположить, что это предложение Лонга, инспирированное «Мурой», было частью некоего общего плана по втягиванию Горького в создание художественной биографии Сталина.

Горький, однако, соглашаться не спешил и в какой-то момент даже совсем было уже собрался отправить Лонгу обратно полученный от него чек на 2500 долларов. Но тут пришло новое письмо от «Муры», в котором она писала, что «нет ничего легче, чем отправить обратно чек Лонга и аннулировать договор», но сообщение о книге уже опубликовано, а главное, — отказ «будет иметь влияние на решение конгресса по вопросу о признании России Америкой».

Этот аргумент подействовал. Горький сообщил «Пепекрю», что принимается за работу и постарается завершить ее до своего отъезда в СССР, то есть к 21 апреля 1932 года. Одновременно он отправил копию договора и письмо Рея Лонга Сталину.

В течение марта переговоры «договаривающихся сторон» продолжались.

3 марта 1932 года «Пепекрю» сообщает Алексею Максимовичу:

> Говорил сегодня по телефону с И.В. , он обещает дать ответ дня через два, но указывает, что срок «апрель или начало мая» недостаточен. Лично он согласен, но ждет подтверждения товарищей. Каганович и Постышев больны.
>
> ***(Там же, стр. 280.)***

И в следующем письме:

> План книги составляется и в ближайшие дни будет утвержден.
>
> ***(Там же.)***

Но 14 марта Политбюро ЦК ВКП(б) неожиданно приняло решение от предложения Лонга отказаться. Как было об этом сказано в соответствующем постановлении, — «из-за его попыток исказить характер договора».

Причиной такого внезапного крутого поворота послужила, я думаю, фраза Горького из его письма Сталину:

> Тему: «Положение среднего русского человека до революции» я могу взять на себя, но необходимо, чтоб мне прислали тезисы.

С виду вполне невинная, она не могла не привести Сталина в ярость. Ведь в такой деликатной форме Алексей Максимович ясно дал понять «Хозяину», что от выполнения главного его заказа — создания художественной его биографии или хотя бы короткого очерка о нем — он отказывается.

А о том, что попытки выполнить этот заказ все-таки были, свидетельствует не только переписка Горького с Крючковым. Несомненным подтверждением бесспорности этого факта может служить еще один документ, впервые опубликованный в том же 5-м выпуске «Материалов и исследований», посвященных жизни и творчеству М. Горького.

Он настолько выразителен, что есть смысл привести его здесь полностью:

> Иосиф Сталин-Джугашвили родился ... в Грузии, стране, которую древне-греческие писатели называли Иверия и Георгия, — последнее имя заставляет некоторых американцев думать, что Сталин — уроженец штата Георгия. Грузия расположена за хребтом Кавказских гор, по бассейнам рек Чороха, Риона и Куры. Первые две реки впадают в Черное море, Кура — в Каспийское. .... Греки именовали Рион — Фазисом, и с этой рекой связана древняя легенда о походе аргонавтов за золотым руном. Легенда эта, вероятно, имеет историческое основание: аджарские горы, один из отростков Кавказского хребта, содержат золото, ... греки промывали, пропуская ... по коже барана, крупинки золота задерживались шерстью, отсюда — золотое руно. Грузины поселились в Закавказье ... в VII веке до нашей ... эры, но история их не говорит, откуда они пришли. Исторические ее памятники уничтожены за время бесчисленных нападений и грабежей Грузии парфянами, персами, войсками Александра Македонского, римского полководца, впоследствии императора Помпея, затем — арабов, снова персов и турок. В общем история этой небольшой, но прекрасной и богатой страны есть история грабежа ее и различных насилий над нею. ... В конце XVIII в. царь Грузии и дворянство решили просить защиты у России, и в 1801 г. Грузия была присоединена к владениям русского царя. Этот акт неплохо устраивал грузинское дворянство, но само собой разумеется, ничем не мог облегчить каторжную жизнь крестьян и ремесленников.
>
> ***(М. Горький. Неизданная переписка. М. 2000, стр. 281-282.)***

Это — всё, что уцелело от его многомесячных попыток выполнить сталинский заказ.

Текст этот поражает своим художественным убожеством. Чтобы сочинить такое, не надо быть Горьким. И тем не менее, назвав его выразительным, я не оговорился. Он выразителен именно своей невыразительностью. Видно, что автор этот текст вымучивал. Но самое выразительное в нем то, что лучше всего можно передать знаменитой стихотворной строкой Дениса Давыдова:

> Жомини да Жомини,
> А об водке — ни полслова…

О чем угодно готов он рассказывать — о географии Грузии, об ее истории, об идентичности ее названия с названием американского штата, об аргонавтах, о том, почему золотое руно называлось золотым руном, об Александре Македонском и Помпее, но когда пора уже приступать к главному предмету повествования, — он умолкает. Или то, что было им написано об этом предмете, показалось ему таким постыдным, что он и в самом деле решил все это сжечь. (Или уничтожить каким-либо иным способом.)

Сталин этого выразительного горьковского текста, конечно, не читал. Но ему было достаточно того, что от написания его биографии или хотя бы краткого очерка о нем Горький уклонился.

Ссориться с Горьким, разрывать лишь недавно зародившиеся деловые и личные отношения с ним он не стал. Горький тогда был ему еще нужен.

Нужен не только для легитимации всей его политики — как внутренней, так и внешней, но и для легитимации его роли вождя партии и народа, единственного законного преемника Ленина.

Сталин был терпелив. Он умел ждать. Он не сомневался, что рано или поздно, в той или иной форме Горький присоединит свой голос к день ото дня становящимся все более обязательными упоминаниям имени Сталина рядом с именем Ленина и даже в одном ряду с именами Маркса и Энгельса.

Так оно и случилось.

В своих публицистических статьях и выступлениях на разные темы Горький стал постоянно упоминать Сталина, как могло показаться, в том самом тоне и стиле, в каком это было тогда принято у присяжных служителей Сталинского культа. Но делал он это на свой лад. И всегда в одних и тех же выражениях:

> У нас в Союзе Советов светоносный разум Владимира Ленина 30 лет открывал глаза честных интеллигентов и наиболее энергичных рабочих… Преемник Ленина — Иосиф Сталин, мощный вождь, чья энергия все возрастает, — и верные ученики Ленина успешно продолжают его великую, революционную работу.
>
> ***(М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах. Том 27, М., 1953, стр. 29.)***

> Железная воля Иосифа Сталина, рулевого партии, превосходно справляется с уклонами от прямого курса и весьма быстро вылечивает от всяческих «головокружений» команду партийного судна.
>
> ***(Там же, стр. 49.)***

> …все быстрее растет в мире значение Иосифа Сталина, человека, который наиболее глубоко освоив энергию и смелость учителя и товарища своего, вот уже десять лет достойно замещает его на труднейшем посту вождя партии… Отлично организованная воля… смелость талантливого хозяина… поставили его на место Ленина…
>
> ***(Там же, стр. 125.)***

> …Сознание высокой цели, поставленной пред нами гением Ленина, — цели, по пути к которой так решительно и успешно ведет нас Иосиф Сталин с товарищами. Эта энергия будет расти все более мощно и успешно…
>
> ***(Там же, стр. 163.)***

> Мы выступаем в стране, освещенной гением Владимира Ленина, в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина.
>
> ***(Там же, стр. 297.)***

На первый взгляд все тут вроде соответствует канону. Сталин постоянно поминается рядом с Лениным — как законный его преемник на посту вождя партии. Но на самом деле совершенно очевидно, что новый вождь партии во всех этих горьковских пассажах ясно и недвусмысленно **противопоставляется** Ленину.

Ни ленинской гениальности, ни его светоносного разума, ни его мудрости, ни его человеческого обаяния не унаследовал его «законный преемник» на посту вождя партии. Из всех уникальных, неповторимых свойств и качеств, из которых соткался у Горького образ «Ильича» — его «сократовский лоб», его заливистый звонкий смех («синьор Дринь-Дринь»),

его способность всей душой отдаваться музыке и наслаждаться прозой Толстого («Экий матерый человечище!»), его бережное, заботливое отношение к друзьям и товарищам («А у вас кровохарканье! А вы не лечитесь!») — Сталину он оставил только одно: **железную волю** .

Этот стилистический нюанс Сталин не мог не ощутить.

Но дело тут было не только в стилистических нюансах и личных обидах.

В России со времен Петра существовало нечто вроде государственной монополии на духовную жизнь общества. Наполеон это оценил. Он говорил Александру Павловичу: «Вы одновременно император и папа. Это очень удобно».

Это было действительно неплохо придумано.

По давней традиции, унаследованной от русских императоров, глава новой Российской империи, какой в глазах всего мира стал Советский Союз, должен был быть одновременно **императором и папой** .

Царю эта харизма доставалась по праву наследства: он был помазанник Божий. Ленин был первосвященником новой религии — марксизма. Его легитимность подтверждалась его ролью самого крупного теоретика этого нового вероучения: не зря его имя было поставлено в ряд с именами великих его основателей — Маркса и Энгельса.

Это я к тому, что претензия Сталина поставить и утвердить свое имя в этом ряду была продиктована не только непомерным его тщеславием. Титул главного продолжателя великого учения — впоследствии Корифея науки (или даже Всех Наук) был присвоен Сталину не ради красного словца. Во всяком случае, возник он не только потому, что кто-то из «служителей культа» в своем подхалимском рвении решил добавить к набору словесных формул, возвеличивавших вождя, еще одну — по принципу «каши маслом не испортишь».

Необходимость в таком титуле вызывалась еще и тем, что он как бы подтверждал право Сталина на роль единственного законного наследника Ленина. На первых порах это свое право он доказывал, ссылаясь на то, что он, — в отличие от всех других наследников, — никогда — ни на шаг — не отклонялся от священных ленинских заветов. Да, он не оратор, как Троцкий, не теоретик, как Бухарин, — он только верный ученик Ленина. Но зато — самый верный, самый преданный, самый последовательный его ученик.

Когда на одном из партийных съездов, где Сталин, выступая (кажется, впервые) с отчетным докладом, сказал, что собирается затронуть некоторые вопросы теории, из зала прозвучала насмешливая реплика Давида Борисовича Рязанова:

— Коба! Вы — и теория? Не смешите нас!

И Сталин это **съел** . Но, конечно, запомнил, о чем свидетельствует подпись под портретом Рязанова в энциклопедическом словаре «Деятели СССР и революционного движения России»:

> Рязанов Д.Б. (1870—1938). До 1931 директор Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Академик АН СССР (1929). В 1931 исключен из партии. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно.

До времен, когда основанный им «Институт К. Маркса и Ф. Энгельса» стал называться Институтом «Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина», Давид Борисович, стало быть, не дожил. Но включение темного в вопросах теории Кобы в число корифеев и даже основоположников великого учения ему пришлось пережить.

Вернемся, однако, к Горькому.

Лишив Сталина ленинского «светоносного разума», ленинской гениальности, ленинской ауры великого теоретика и оставив ему только энергию, железную, «отлично организованную» волю и «смелость настоящего хозяина», Горький, в сущности, поставил под сомнение его легитимность, его духовное, интеллектуальное и моральное право на роль вождя Коммунистической партии и советского народа.

Этого нового оскорбления (как и того, первого, выразившегося в отказе написать его биографию) Сталин Горькому не забыл. Не такой это был человек, чтобы забывать такие вещи.

Сюжет пятый
«СКОЛЬКО ВОЛКА НИ КОРМИ…»

О последних годах жизни Горького существует два мифа.

Первый (официальный) представляет собой сусальную сказочку о великой дружбе двух великих людей (Сталина и Горького) — такой же трогательной и нерушимой, какой в более ранние времена была дружба Горького с Лениным

Второй (неофициальный) являет нам зрелище даже еще более унылое, чем знаменитая картина Сурикова «Меншиков в Березове». Согласно этой версии, в последние годы своей жизни бывший **Буревестник** превратился в **чучело** , место которому в музее, да и там — не на воле, а в «запылившейся клетке».

Оба эти мифа равно далеки от реальности.

О первом (официальном) не стоит даже и говорить. А вот второй есть смысл рассмотреть внимательнее.

Начал он складываться в 1928 году, во время первого приезда Горького в Советский Союз.

Вот как откликнулся на это событие известный в то время поэт-юморист д'Актиль:

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ
(На этот раз в миноре)

Были дни:
Среди пернатых, призывая и волнуя, реял гордый Буревестник, черной молнии подобный, и вопил — обуреваем духом пламенного бунта:
Бури! Бури! Дайте бурю! Пусть сильнее грянет буря!

Напророчил Буревестник несказанные событья: Буря грянула сильнее и скорей, чем ожидалось. И в зигзагах белых молний опалив до боли перья, притащился Буревестник, волоча по камням крылья:
— Так и так, мол. Буревестник. Тот, который… Честь имею.
И сказали буйной птице:
— Мы заслуги ваши ценим. Но ответьте на вопросы общепринятой анкеты: что вы делали, во-первых, до 17-го года?
Вздыбил перья Буревестник и ответил гордо:
— Реял.
— Во-вторых, в чем ваша вера? Изложите вкратце credo.
Покосился Буревестник:
— Я предтеча вашей бури. Верю в то, что надо реять и взывать к ее раскатам.
— В-третьих: ваша специальность? Что умеете вы делать?
Покривился Буревестник и сказал:
— Умею реять.
— Ну, а чем служить могли бы в обстоятельствах момента?
И смутившись, Буревестник прошептал:
— Я реять мог бы!

— Нет — сказали буйной птице. — Нам сейчас другое нужно. Не могли бы вы, примерно, возглавлять хозучрежденье? Или заняли, быть может, пост второго казначея при президиуме съездов потребительских коопов? Или, в области культуры, согласились по районам инспектировать работу изб-читален и ликбезов?

Или, в крайности, на курсах изучили счетоводство и пошли служить помбухом по десятому разряду?
— Ах! — промолвил Буревестник. — Я, по совести, не мастер на ликбезы и коопы, на торговые балансы и бухгалтерские книги… Если реять — я согласен!

Почесались на такие Буревестниковы речи — и свезли назавтра птицу без особого почета в помещение музея при «Архивах революций»: отвели большую клетку, подписали норму корму и повесили плакатик:
— Буревестник. Тот, который.

Мало кто, в музей забредши, между многих экспонатов, отмечает с уваженьем запылившуюся клетку.
Только я, седой романтик, воспитавшийся на вольных Буревестниковых криках, живо помнящий те годы, в кои над морским простором гордо реял Буревестник, черной молнии подобный, и вопил, обуреваем духом пламенного бунта:
— Бури! Бури! Дайте бурю! Пусть сильнее грянет буря!
Только я, седой романтик, прихожу по воскресеньям в помещение музея, приношу обрюзгшей птице канареечное семя, заменяю в ржавой банке застоявшуюся воду и — с оглядкой на прохожих — говорю не очень громко:
— Пребывай себе в почете, птичка Божья — Буревестник!

В том году, когда пародия эта была сочинена (напечатана она, конечно, не была — ни тогда, ни позже: сохранилась в рукописном альманахе К.И. Чуковского, в его знаменитой «Чукоккале»), Горький, потрясенный устроенной ему грандиозной встречей, был уверен, что, возвратившись в Советский Союз, станет там фигурой влиятельной. Может быть, даже и кое-что определяющей в государственной политике — и внутренней, и международной. Во всяком случае, находясь где-то поблизости от вождя, сумеет как-то воздействовать на него, смягчать суровость его нрава.

Виктор Борисович Шкловский однажды пересказал мне рассказ Алексея Максимовича о том, как он пытался помирить Сталина с Бухариным.

— Такие люди, как вы, не должны ссориться, — сказал он, по обыкновению упирая на «о». — Помиритесь.

Сталин неохотно протянул Бухарину руку.

— Нет-нет, — не удовлетворился этим Горький. — Обнимитесь… А теперь — поцелуйтесь…

Подставляя Бухарину губы для поцелуя, Сталин сказал:

— Не укусишь?

— Тебя укусишь — зубы обломаешь, — ответил Бухарин. — У тебя ведь губа-то железная.

Пересказывая Шкловскому этот эпизод, Горький восторженно сказал:

— Какой диалог! Шекспир!

И промокнул платком увлажнившиеся глаза.

Это было, конечно, позже, уже в 30-е. А в год своего первого приезда в СССР он искренне верил, что сумеет не только мирить ссорящихся соратников, но, может быть, даже, обретет и какое-нибудь официальное место в иерархии советских вождей, усядется где-нибудь там рядом с САМИМ и будет давать ему разумные советы насчет того, как именно надлежит руководить если не страной, так по крайней мере культурой.

Учитывая грандиозность той встречи и того юбилея, надо признать, что для таких надежд у него (и не только у него) могли быть кое-какие основания. И можно только подивиться проницательности пародиста, который уже тогда так ясно увидел, какая жалкая роль ждет бывшего Буревестника в новой советской реальности.

Даже на Первом съезде писателей, где ему, казалось бы, была назначена не просто важная, а по-настоящему главная роль, на самом деле роль эта была чисто декоративной.

А когда праздник кончился и начались будни, предвидение пародиста («Отвели большую клетку, подписали норму корму и повесили плакатик: — Буревестник. Тот, который») сбылось уже почти буквально.

Можно было бы даже обойтись без этого осторожного «почти», если бы не грандиозные габариты «клетки», а в особенности — «плакатика».

Плакатик, обозначающий былые заслуги Буревестника, был выполнен с особым размахом. Именем великого пролетарского писателя были названы заводы, пароходы, улицы, города. Даже Московский Художественный Театр, занавес которого с дней его основания украшала чеховская чайка, получил имя Горького. (Карл Радек, которому приписывали авторство всех тогдашних антисоветских анекдотов, предлагал даже всей эпохе присвоить имя Максима Горького, назвав ее максимально горькой.)

В такую же музейную табличку превратился и намертво приставший к его имени постоянный эпитет — «Великий Буревестник революции». Он тоже служил прикрытием того печального факта, что «Буревестник» — давно уже никакой не Буревестник, а всего лишь музейное чучело.

Ну, а «большая клетка», которую в пародии д'Актиля отвели бывшему Буревестнику, уже и вовсе не была метафорой.

Особняк Рябушинского, предоставленный в распоряжение великого пролетарского писателя, стал вот этой самой «большой клеткой», в которой Буревестник доживал последние свои годы.

С.Я. Маршак рассказал мне однажды такую историю.

Кто-то передал ему, что Горький сильно на него обижен. «Как же так, — будто бы сказал он. — Когда-то он был мне почти что сыном, а теперь даже и не вспомнит, — совсем у меня не бывает».

Услышав это, Самуил Яковлевич (который, к слову сказать, и раньше не раз безуспешно пытался посетить Алексея Максимовича) обрадованно кинулся в особняк Рябушинского в надежде, что теперь-то уж его долгожданная встреча с любимым писателем наконец-то состоится. Однако ему с холодной вежливостью дали понять, что Алексей Максимович занят и принять его не может.

— Можете себе представить, голубчик, как я был возмущен! — закончил свой рассказ Самуил Яковлевич. — Ведь я решил, что переданная мне обида Алексея Максимовича на то, что я будто бы совсем его забыл… Я, грешным делом, подумал, что все это — чистейшей воды лицемерие. И только много лет спустя я понял, что Алексей Максимович… что он был полностью изолирован от внешнего мира… Полностью, голубчик…

А вот еще одна история, которую я услышал от Ираклия Луарсабовича Андроникова.

Устные рассказы молодого Ираклия, в которых сразу проявилась его поразительная способность перевоплощаться в людей, которых он изображал, совершенно покорили влюблявшегося в любой талант Алексея Николаевича Толстого.

Слушая эти рассказы, он смеялся до колик. А однажды, отсмеявшись, сказал:

— Непременно надо будет показать тебя Алексею Максимовичу. Порадовать старика. Да и для тебя тоже это будет не лишнее…

И вот однажды, приехав ненадолго в Москву (он жил тогда в Ленинграде), Ираклий напомнил Алексею Николаевичу об этих его словах.

Я, — сказал он, — пробуду тут еще целую неделю… Как ты сказал? Не-де-лю?! — захохотал рабоче-крестьянский граф. — Да к нему оформление — не меньше месяца… О-хо-хо! Ты меня просто уморил… Не-де-лю!

Вон оно, оказывается, как было. Оформление — не меньше месяца. Как за границу. И далеко не всем (вспомним рассказ Маршака) даже и за месяц удавалось пройти через это «оформление».

Едва ли не все писавшие о последних годах жизни Горького неизменно приводят признание, которое он сделал — на ухо, шепотом, — одному из тогдашних его посетителей:

> Устал я очень… Сколько раз хотелось побывать в деревне, даже пожить, как в былые времена… Не удается. Словно забором окружили — не перешагнуть!.. Окружили… обложили… ни взад, ни вперед! Непривычно сие!
>
> ***(И. Шкапа. Семь лет с Горьким. М., 1966, стр. 318, 383—384.)***

Итак, последние два года своей жизни Буревестник и впрямь провел в клетке. И на самом деле клетка эта запиралась и охранялась даже еще тщательнее, чем это могли вообразить С. Маршак, И. Андроников и чудом уцелевший конфидент Горького И. Шкапа. Так что тут пародист оказался пророком.

Но в другом своем предположении он ошибся.

Да, последние годы своей жизни Горький провел под домашним арестом. Но при всем при том **чучелом** он не был.

* * *

О том, что чучелом он не был, пожалуй, красноречивее многих других фактов, к обсуждению которых мы еще вернемся, говорит последнее его письмо Сталину, написанное и отправленное в марте 1936 года (то есть за три месяца до смерти).

Я имею в виду ту часть этого письма, в которой речь идет о Шостаковиче. Точнее — о статье «Правды» об опере Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда».

Знаменитая эта статья называлась «Сумбур вместо музыки», и само это ее заглавие стало одной из важнейших сталинских идеологем (Это даже зафиксировал тогдашний «интеллигентский фольклор»: из уст в уста передавалась острота, пущенная будто бы Алексеем Диким: «Жираф — это сумбур вместо лошади».)

Начав громкую идеологическую кампанию, эта статья «Правды» обозначила один из самых крутых и важных для Сталина поворотов его культурной (не только культурной, конечно) политики. В истории формирования и развития идеологии и эстетики сталинского государства она сыграла не менее, а может быть, даже и более важную роль, чем прогремевшие позже печально знаменитое постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой и столь же печально знаменитая статья «Правды» о критиках-антипатриотах.

Премьера оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» — одновременно в Москве и Ленинграде — с грандиозным успехом прошла за два года до разгромной статьи «Правды»:

> Ленинградцы обогнали москвичей на два дня, зато на московской премьере 24 января 1934 года присутствовал сам Максим Горький. Прием и здесь, и там был ошеломляющим. В описании «Красной газеты» ленинградская премьера вызвала ассоциации с байрейтскими вагнеровскими экстазами: «Публика в прекрасном смятении ринулась к рампе, к оркестру: воздетые кверху руки среди серебряной лепки лож, озаренные восторгом лица, глаза, обращенные к сцене, тысячи ладоней, вознесенных в взволнованном рукоплескании».
>
> ***(Соломон Волков. Шостакович и Сталин. М.2004, стр. 241—242.)***

Эти не предначертанные сверху, стихийные, самопроизвольные овации и сами по себе могли раздражить Сталина, как позже, уже в иную эпоху, его раздражил стихийный порыв зрителей Политехнического, вставших при появлении Ахматовой. («Кто организовал вставание?!») Но, как и в том, и во многих других случаях, причина сталинского гнева, обрушившегося на голову молодого композитора (в 1936 году Шостаковичу было 29 лет), коренилась не только в его личных эмоциях.

> 17 января Сталин и Молотов слушали оперу молодого ленинградского композитора Ивана Дзержинского «Тихий Дон»… Через несколько дней в прессе появилось официальное коммюнике, извещавшее, что Сталин и Молотов «отметили значительную идейно-политическую ценность постановки».
>
> ***(Тамже, стр. 247—248.)***

Мимоходом отметив, что больших восторгов музыка Дзержинского у Сталина не вызвала, автор книги далее продолжает:

> Но сдержанное отношение Сталина к музыке Дзержинского отнюдь не помешало вождю поддержать его оперу в качестве приемлемой «идейно-политической» модели. Как и почему это произошло? Возможный ответ на этот вопрос можно, как мне представляется, найти в сравнительно недавно опубликованном документе. В своей докладной записке Сталину от 2 января 1936 года один из его ближайших помощников по делам литературным, Александр Щербаков, отчаянно воззвал: «Сейчас литература нуждается в боевом, конкретном лозунге, который мобилизовал бы писателей. Помогите, тов. Сталин, этот лозунг выдвинуть».
> Щербаков был хитрый и опытный царедворец, умело угадывавший даже и невысказанные пожелания вождя. Сталин милостиво откликнулся на его призыв, спустив лозунг — «простота и народность».
>
> ***(Там же, стр. 248—249.)***

Итак, погром, учиненный опере Шостаковича, был результатом взвешенного, хорошо продуманного выбора «идейно-политической» и эстетической модели. Выбор был сделан на многие годы вперед. Как это представлялось Сталину — навсегда.

Отсюда и тот неслыханный размах, который приняла развернувшаяся после появившейся в «Правде» статьи «Сумбур вместо музыки» идеологическая кампания.

Претензии к молодому композитору были сугубо эстетического свойства:

> Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой «музыкой» трудно, запомнить ее невозможно.
> Так в течение всей оперы. На сцене пение заменено криком. Если композитору случается попасть на дорожку простой и понятной музыки, то он немедленно, словно испугавшись такой беды, бросается в дебри музыкального сумбура, местами превращающегося в какофонию…
> Это — музыка, умышленно сделанная «шиворот-навыворот» — так, чтобы ничего не было общего с симфоническими звучаниями, с простой, общедоступной музыкальной речью.
> Это музыка, которая построена по тому же принципу отрицания оперы, по которому левацкое искусство вообще отрицает в театре простоту, реализм, понятность образа, естественное звучание слова… Это левацкий сумбур вместо естественной человеческой музыки. Способность хорошей музыки захватывать массы приносится в жертву мелкобуржуазным формалистическим потугам, претензиям создать оригинальность приемами дешевого оригинальничанья. Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо.
> Опасность такого направления в советской музыке ясна. Левацкое уродство в опере растет из того же источника, что и левацкое уродство в живописи, в поэзии, в педагогике, в науке.
> Мелкобуржуазное «новаторство» ведет к отрыву от подлинного искусства, науки, от подлинной литературы…
> Композитор, видимо, не поставил перед собой задачи прислушаться к тому, чего ждет, чего ищет в музыке советская аудитория. Он словно нарочно зашифровал

свою музыку, перепутал все звучания в ней так, чтобы дошла его музыка только до потерявших здоровый вкус эстетов-формалистов.

(Из статьи «Правды» — «Сумбур вместо музыки».)

Никаких политических обвинений, никаких модных в то время политических ярлыков автору оперы и ее постановщикам предъявлено не было. Но реакция на критику была такая, накал страстей — и обвиняющих, и покаянных, — достиг такого градуса, как если бы молодого композитора обвиняли в троцкизме.

Именно так отреагировал на статью «Правды» сам Шостакович:

Сегодня у меня был (по его собственной инициативе) композитор Шостакович.
На мой вопрос, какие выводы он сделал для себя из статей в «Правде», он ответил, что хочет показать своей творческой работой, что он указания «Правды» для себя принял.
На мой вопрос, признает ли он полностью критику его творчества, он сказал, что большую часть он признает, но всего еще не осознал. Он спросил, считаю ли я нужным, чтобы он написал какое-либо письмо. Я сказал, что для нас самое важное, чтобы он перестроился, отказался от формалистических ошибок и в своем творчестве добился того, чтобы оно могло быть понято широкими массами, что письмо его с пересмотром своего творческого прошлого и с какими-то новыми обязательствами имело бы политическое значение, но только если оно будет не формальной отпиской, а будет продиктовано действительным сознанием того, что он должен идти по другому пути…
Я ему посоветовал по примеру Римского-Корсакова поездить по деревням Советского Союза и записывать народные песни России, Украины, Белоруссии и Грузии и выбрать из них и гармонизировать сто лучших песен. Это предложение его заинтересовало, и он сказал, что за это возьмется.
Я предложил ему перед тем, как он будет писать какую-либо оперу или балет, прислать нам либретто, а в процессе работы проверять отдельные написанные части перед рабочей и крестьянской аудиториями.

(Из докладной записки председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР П.М. Керженцева И.В. Сталину и В.М. Молотову о беседе с Д.Д. Шостаковичем. «Власть и художественная интеллигенция», стр. 289.)

У Шостаковича, наверное, не было другого выхода. Он оказался в самом эпицентре землетрясения и реагировать иначе по правилам поведения, принятым в то время, вероятно, не мог.

Но вот реакция современника не только далекого от эпицентра землетрясения, но как будто и вовсе к этому землетрясению не причастного.

Должен признаться, что когда я прочел статью «Сумбур вместо музыки», я растерялся. Первым ощущением был протест. Я подумал: это неверно. Шостаковича ругать нельзя, Шостакович — исключительное явление в нашем искусстве. Эта статья сильно ударила по моему сознанию. Музыка Шостаковича мне всегда нравилась… И вдруг я читаю в газете «Правда», что опера Шостаковича есть «Сумбур вместо музыки». Это сказала «Правда». Как же мне быть с моим отношением к Шостаковичу?..

(Великое народное искусство. Из речи тов. Ю. Олеши. Литературная газета, 1936, 20 марта, № 17.)

Казалось бы, у нормального человека тут может быть только один выход: не согласиться со статьей «Правды», остаться при своем, особом мнении. И все тут. Необязательно даже заявлять это свое особое мнение публично. Если бы речь шла о том, заключать или не заключать пакт с Гитлером, или, скажем, о всеобщей коллективизации и

ликвидации кулачества как класса, — ну, тогда другое дело! Но неужели он не может позволить себе иметь свое крошечное собственное мнение по такому пустяковому, сугубо частному вопросу, как отношение к музыке Шостаковича?

Оказывается, не может:

> Легче всего было сказать себе: я не ошибаюсь, и отвергнуть для самого себя, внутри, мнение «Правды».
> К чему бы это привело? К очень тяжелым психологическим последствиям.
> У нас, товарищи, весь рисунок общественной жизни чрезвычайно сцеплен. У нас нет в жизни и деятельности государства самостоятельно растущих и движущихся линий. Все части рисунка сцеплены, зависят друг от друга и подчинены одной линии… Если я не соглашусь с этой линией в каком-либо отрезке, то весь сложный рисунок жизни, о котором я думаю и пишу, для меня лично рухнет: мне должно перестать нравиться многое, что кажется мне таким обаятельным. Например, то, что молодой рабочий в одну ночь произвел переворот в деле добычи угля и стал всемирно знаменитым. Или то, что Литвинов ездит в Женеву и произносит речи, влияющие на судьбы Европы. Или то, что советские стрелки в состязании с американскими оказываются победителями, или то, что ответы Сталина Рой Говарду с восторженным уважением цитируются печатью всего мира.
> Если я не соглашусь со статьями «Правды» об искусстве, то я не имею права получать патриотическое удовольствие от восприятия этих превосходных вещей — от восприятия этого аромата новизны, победоносности, удачи, который мне так нравится… Если я в чем-нибудь не соглашусь со страной, то вся картина жизни должна для меня потускнеть, потому что все части, все детали этой картины связаны, возникают одна из другой, и ни одна не может быть порочной.
> И с этих позиций я начинаю думать о музыке Шостаковича. Как и прежде, она мне продолжает нравиться. Но я вспоминаю: в некоторых местах она всегда казалась мне какой-то пренебрежительной. К кому пренебрежительной? — Ко мне.
> Этот человек очень одарен, очень обособлен и замкнут.
> Внешне гений может проявляться двояко: в лучезарности, как у Моцарта, и в пренебрежительной замкнутости, как у Шостаковича. Эта пренебрежительность к «черни» и рождает некоторые особенности музыки Шостаковича — те неясности, причуды, которые нужны только ему и которые принижают нас.
> Вот причуды, которые рождаются из пренебрежительности, названы в «Правде» сумбуром и кривлянием.
>
> ***(Великое народное искусство. Из речи тов. Ю. Олеши. Литературная газета, 20 марта 1936 года.)***

Пересмотром своего отношения к Шостаковичу Олеша не ограничивается. Он идет дальше — пересматривает, очищает от скверны самые основы своего ущербного художественного мировосприятия. Вот, например, как ему быть с Джойсом? Со своим острым художническим интересом к этому писателю? Самому себе он не раз признавался, что ощущает гениальность этого художника, что Горький для него (сам Горький!!!) «формально менее интересен, чем Джойс». У Джойса встречаются порой совершенно поразительные метафоры. А он, Юрий Олеша, не раз говорил, что метафора — это единственное, что остается от искусства в веках. Правильно ли это?

Казалось бы, при чем тут Джойс? О Джойсе в статье «Правды» — ни слова. Пока речь идет только о Шостаковиче.

Нет, он не станет заниматься этим недостойным самообманом. Он знает: Джойс тут очень даже при чем. Джойс сложен, элитарен, а следовательно, пренебрежителен к черни уж никак не меньше, чем Шостакович. Значит, рано или поздно обязательно дойдет дело и до Джойса. Если он не расправится с Джойсом сейчас, потом ему будет это сделать гораздо труднее. Нет уж, лучше заблаговременно вырезать и этот кусок зараженной ткани.

> Художник должен говорить человеку: «Да, да, да», а Джойс говорит: «Нет, нет, нет». Все плохо на земле, — говорит Джойс. И поэтому вся его гениальность для меня не нужна… Я приведу пример из Джойса. Этот писатель сказал: «Сыр — это труп молока». Вот, товарищи, как страшно. Писатель Запада увидел смерть молока. Сказал, что молоко может быть мертвым. Хорошо это сказано? Хорошо. Это сказано правильно, но мы не хотим такой правильности. Мы хотим художественной диалектической правды. А с точки зрения этой правды молоко никогда не может быть трупом, оно течет из груди матери в уста ребенка, и поэтому оно бессмертно.
>
> ***(Там. же.)***

Олеша и не думает скрывать, что метафора Джойса его восхищает своей поразительной точностью. Не скрывает он и того, что мир, из которого вдруг исчезли бы метафоры, представляется ему самым страшным из кошмаров, какой он только способен вообразить. И вот он утешает себя тем, что метафоры останутся. В конце концов, — успокаивает он себя, — ведь фраза Сталина об «экспорте революции» — это тоже метафора! Задача, таким образом, заключается не в том, чтобы научиться жить совсем без метафор (это было бы слишком ужасно!), а всего лишь в том, чтобы разлюбить одни метафоры и полюбить другие.

Когда читаешь эту речь, создается впечатление, что это не Дмитрий Дмитриевич Шостакович, а он, Юрий Карлович Олеша напросился на прием к председателю Комитета по делам искусств Платону Михайловичу Керженцеву. И не главной жертве того государственного погрома, а именно ему, Юрию Карловичу Олеше, Керженцев сказал, что его выступление на обсуждении статьи «Правды» будет иметь политическое значение только в том случае, если оно станет не формальной отпиской, а будет продиктовано действительным сознанием того, что и он, Олеша, тоже должен идти по другому пути.

Эта речь Олеши ярче и нагляднее, чем любой другой документ того времени, говорит о характере разразившегося тогда в стране идеологического шабаша. Совершенно очевидно, что в тех обстоятельствах не то что противиться этому мутному потоку, — даже просто отмолчаться и то было ох как не просто.

Горький, положим, отмолчаться бы мог. Хотя Сталину, конечно, хотелось, чтобы он не молчал, а присоединил свой голос к общему хору. (Кому, как не ему, «великому пролетарскому писателю», сам Бог велел встать на защиту «простоты и народности».)

Но он не только не сделал этого, а, напротив, самым решительным образом, в категорической, предельно резкой форме выступил **против** этого шабаша:

> …вот разыгралась история с Шостаковичем. О его опере были напечатаны хвалебные отзывы в обоих органах центральной прессы и во многих областных газетах. Опера с успехом прошла в театрах Ленинграда, Москвы, получила отличные оценки за рубежом… Шостакович — молодой, лет 25, человек, бесспорно талантливый… Статья в «Правде» ударила его точно кирпичом по голове… Само собою разумеется, что, говоря о кирпиче, я имел в виду не критику, а тон критики. Да и критика сама по себе — не доказательна. «Сумбур», а — почему? В чем и как это выражено — «сумбур»? Тут критики должны дать техническую оценку музыки Шостаковича. А то, что дала статья «Правды», разрешило стае бездарных людей, халтуристов всячески травить Шостаковича. Они это и делают. Шостакович живет тем, что слышит, живет в мире звуков, хочет быть организатором их, создать из хаоса мелодию. Выраженное «Правдой» отношение к нему нельзя назвать «бережным», а он вполне заслуживает именно бережного отношения как наиболее одаренный из всех современных советских музыкантов.

Этой резкой и нелицеприятной отповедью Горький вызвал бы ярость и гнев Сталина, даже если бы роль его в этом деле сводилась к тому, что он всего лишь инициировал погром. Но Сталин был не только вдохновителем, главным — в сущности, даже единственным — заказчиком погромной статьи «Правды». Он был ее автором. Не в каком-нибудь там переносном, метафорическом, а в самом прямом, буквальном смысле этого слова.

> Выяснение личности писавшего «Сумбур вместо музыки» превратилось с годами в небольшую индустрию. Разные исследователи выдвигают различных кандидатов: назывались имена журналиста Давида Заславского, музыковеда Виктора Городинского, тогдашнего заведующего отделом литературы и искусства «Правды» Исаака *(на самом деле его звали Исай. — Б.С.)* Лежнева, Платона Керженцева — председателя организованного в январе 1936 года Комитета по делам искусств. Юрий Елагин утверждал, что статью писал Андрей Жданов.
> Но осведомленные современники почти сразу же заговорили о том, что подлинным автором «Сумбура вместо музыки» является сам Сталин.
> ***(Соломон Волков. Шостакович и Сталин. Стр. 257-258.)***

Приведя далее художественно убедительное свидетельство одного из этих «осведомленных современников» (М.А. Булгакова), автор книги переходит к собственным аргументам (а затем и к аргументам самого Шостаковича) в пользу этой версии. Главным из них в системе его доказательств является сразу бросающаяся в глаза при чтении правдинской статьи «тавтологичность ее стиля»:

> Эта тавтологичность является одной из важнейших примет личной сталинской манеры высказывания. Он использовал ее как орудие, вполне сознательно, о чем написал исследователь сталинского стиля Михаил Вайскопф: «Прием этот, призванный обеспечить некий гипнотический эффект, давался ему легко уже вследствие ограниченности его словарного фонда, но со временем получил целенаправленное развитие».
> В статье «Правды» об опере Шостаковича прилагательное «левацкий» («левацкое») повторялось четыре раза; автор зациклился на словах «грубо», «грубый», «грубейший» — шесть раз; «сумбур», «сумбурный» — пять раз (включая заголовок). Шостакович первым обратил внимание на то, что этот «сумбур» в свою очередь перекочевал в статью о музыке прямиком из опубликованного в «Правде» за день до того материала о конспектах школьных учебников истории, под которыми стояла подпись Сталина.
> У Шостаковича был еще один существенный аргумент в пользу авторства Сталина. Он доказывал, что другие предполагаемые кандидаты были людьми образованными. Вряд ли их перья вывели бы пассажи о музыке, в которой «ничего не было общего с симфоническими звучаниями» (что это за таинственные звучания такие?), или о претензиях композитора «создать оригинальность приемами дешевого оригинальничанья». Все эти (и другие им подобные) неповторимые перлы «Сумбура вместо музыки», по мнению Шостаковича, могли быть только подлинными сталинскими высказываниями, иначе до газетной полосы они бы не дошли — вычеркнул бы редактор.
> ***(Там же, стр. 358—360.)***

Именно на эту некомпетентность автора статьи «Сумбур вместо музыки», на непрофессиональный, сугубо дилетантский характер его претензий к музыке Шостаковича обратил внимание и Горький:

> …критика сама по себе — не доказательна. «Сумбур», а — почему? В чем и как это выражено — «сумбур»? Тут критики должны дать техническую оценку музыки Шостаковича.

И пресловутая «тавтологичность стиля» правдинской статьи наверняка тоже не укрылась от внимания Горького. Эта стилистическая манера адресата его письма была ему хорошо знакома. Так что он, конечно, не сомневался, что раздраконенную им в пух и прах статью «Сумбур вместо музыки» написал (или надиктовал) не кто иной, как сам Сталин.

С уровнем суждений Сталина об искусстве и художественной литературе Горький был хорошо знаком. И относился к этим его суждениям примерно так же, как булгаковский профессор Преображенский к рассуждениям Шарикова о переписке Энгельса с Каутским. Был, например, однажды такой случай:

> Сталин поискал кого-то глазами, поманил к себе Крючкова, что-то сказал ему негромко. Секретарь Горького быстро удалился и так же быстро вернулся с книгой. Алексей Максимович увидел, замахал руками. Предстоящий «номер», видимо, был уже известен ему. Но Сталин мягко, улыбаясь, отстранил Горького от книги, стал читать и комментировать рассказ «Кирилка».
> Читал он глуховатым голосом, спокойно, выразительно, с грузинским акцентом и, как все, что он делал, уверенно.
> «Кирилка» — один из малоизвестных рассказов Горького. Ни я, ни товарищи, которые стояли около меня, его не помнили. Сюжет прост. Земский начальник, купец, помещик и, кажется, еще псаломщик вместе с рваным мужичком Кирилкой ожидают парома. Паром долго не идет, и присутствующие начинают развлекаться, задавая крестьянину разного рода просвещенные вопросы о положении России. Кирилка не понимает и мямлит в ответ, к презрительному удовольствию спрашивающих, нечто невразумительное, нечленораздельное.
> Комментарий Сталина был неожиданно четким, резко классовым. Рассказ написан до первого подъема аграрного движения в XX веке, до 1902 года. Случай свел крестьянина Кирилку с его классовыми врагами. Земский начальник, купец и помещик, ставя свои вопросы, прощупывали настроение представителя крестьянства. Кирилка один, без поддержки, уклонялся от прямых ответов. Его уклончивость вовсе не бессмысленна, ему невыгодно отвечать вразумительно, пусть враги считают его дураком
> Другое дело, когда Кирилка прошел через опыт развернувшегося аграрного движения, через опыт 1905 года, связался с рабочими, революционерами и понял, что такое город и пролетарское руководство революции. Он выпрямился, он пошел грудью вперед в бой, он стал Рыбиным. Рыбин из «Матери» — это и есть Кирилка, но уже не одинокий, стоящий в сплоченных рядах, ведущий с классовыми врагами открытый бой.
>
> ***(Валерий Яковлевич Кирпотин. Ровесник железного века. Мемуарная книга. М. 2006. Стр 185—186.)***

В мемуарах, предназначенных для печати, реакция Горького передана одной скупой ремаркой: «Замахал руками». Но даже и в таком изложении видно, что этой сталинской интерпретацией его рассказа А.М. был недоволен. А мне случилось услышать этот рассказ В.Я. Кирпотина в устном изложении (в годы моего студенчества я был какое-то время в его семинаре, и эту историю он, с придыханием, не раз рассказывал нам, студентам). Так вот, в том устном своем рассказе В.Я. не утаил от нас, что Алексея Максимовича, когда он вынужден был, видимо, уже не в первый раз, участвовать в этом дивертисменте, прямо-таки корежило от неловкости и стыда за ту чепуху, которую нес вождь по поводу его рассказа.

Ничего похожего на то, что увидел Сталин в рассказе Горького «Кирилка», там нету и в помине. Рассказ совсем о другом. Ожидающие парома земский начальник, купец, помещик и псаломщик зверски хотят есть. Еды у них никакой нет и достать ее негде. А у «рваного мужика» Кирилки за пазухой было припрятано фунта два хлеба, которым он и поделился с «классовыми врагами». И те — делать нечего! — «сели в ряд и стали дружно, молча жевать этот хлеб, хотя он был похож на глину, имел запах потной овчины и квашеной капусты и… неизъяснимый вкус…»

Попутно они вели с Кирилкой разные разговоры, задавали ему вопросы, на которые он отвечал хоть и косноязычно, но совсем не глупо, порой насмешливо и всегда откровенно.

Кончается рассказ так:

> Берег был еще саженях в десяти от нас, на нем стоял без шапки Кирилка; я видел его серые, бойкие и насмешливые глаза и слышал Кирилкин странно сильный голос:
> — Дядя Антон! За почтой поедете — хлеба мне привезите, слышь? Господа-то, пути ожидаючи, краюшку у меня съели, а — одна была…
> ***(М. Горький. Полн. собр. соч. Том четвертый. М. 1969, стр. 140.)***

Самое интересное в изложении Кирпотина то, что он — Кирпотин — от сталинской интерпретации этого горьковского рассказа был в полном восторге. Он сравнивает ее со статьями Ленина о Толстом — и заключает: «Сталин был хорошим учеником Ленина». Но на фоне этих искренних его восторгов только еще яснее выступает очевидная нелепость сталинского «классового анализа». Можно себе представить, каково было бедному Алексею Максимовичу выслушивать всю эту чушь.

Сторонники мифа о сломленном, сдавшемся, раздавленном Горьком любят ссылаться на реплику Ромена Роллана, назвавшего своего русского коллегу «старым медведем с кольцом в носу».

Но даже с этим кольцом в носу послушным исполнителем воли Хозяина он не был. Резкое его несогласие с погромной статьей «Правды» о Шостаковиче, как я уже говорил, это только один из множества примеров строптивости «старого медведя».

В середине апреля 1936 года Алексей Максимович обратился к секретарю ЦК ВЛКСМ А. Косареву с письмом, предлагающим ему заключить нечто вроде наступательного и оборонительного союза в борьбе с рвущимися к управлению литературой псевдописателями:

> …надобно иметь кроме газеты свой журнал, для чего взять «Октябрь» или «Новый мир», — журналы существующие механически, безыдейно, бездельно…
> …писатели, мягко говоря, — не питают чувства взаимной дружбы, не пытаются культивировать ее и не заметно, чтоб они понимали единство цели Советской литературы. Живут, как пауки и барсуки, у каждого — своя паутина, своя нора…
> Мне кажется, что было бы хорошо, если б на место тех полуписателей, которые должны быть устранены из Союза, ЦК Комсомола ввел сплоченную группу — десятка два — наиболее даровитых ребят, которые, разрядив густоту и плотность литмещанства, служили бы непрерывными возбудителями сознания необходимости суровой самокритики и реставрации литературной среды.
> Я очень стою за возвращение в литературу Авербаха, человека, который — при всех его недостатках — обладает хорошим качеством поджигателя и организатора.
> ***(Большая цензура. Писатели и журналисты, в Стране Советов. 1917—1956. Аокументы. М. 2005.Стр. 414-415.)***

Главным редактором журнала «Октябрь», который Горький предлагает Косареву прибрать к рукам, в то время был ненавидимый им Ф. Панферов. Прямую его атаку на Панферова Сталин не поддержал, и вот теперь Алексей Максимович решил предпринять обходный маневр.

Политическая (да и человеческая) судьба Авербаха в то время была уже решена. Но Горький и тут не сложил оружия — ищет в Косареве союзника в последней — заведомо безнадежной — попытке вернуть Авербаха в литературу.

Письмо это, как я уже сказал, было написано в середине апреля 1936 года. Жить Горькому оставалось три месяца Но, как видим, умирать он не собирался и — мало того! — был полон боевого задора.

Получив это горьковское послание, Косарев, естественно переправил его Сталину с такой сопроводительной запиской:

> При сем препровождаю Вам полученное мною сегодня письмо от А.М. Горького. Прошу указаний ЦК ВКП(б) для своего ответа.
> ***(Там же, стр. 413.)***

Горький не был наивным младенцем. Он не мог не понимать, что без санкции Сталина Косарев не сделает и шагу. Прекрасно понимал и то, что его письмо Косареву попадет к Сталину. И, тем не менее, он его написал. Может быть, сознательно на то и рассчитывая, что это его письмо прочтет Сталин.

Терять ему было уже нечего. Личные его отношения со Сталиным в это время практически были прерваны.

> Сталин перестал ходить к Горькому, не подходил к телефону на его вызовы. Дошло даже до того, что в «Правде» появилась статья Заславского против Горького, — вещь, еще накануне перед тем совершенно невозможная. Все, кому ведать надлежит, превосходно знали, что Заславский эту статью написал по прямому поручению Ежова и Стецкого… Горький бунтовался, дошло далее до того, что он потребовал выдачи ему паспорта для выезда за границу. В этом ему было категорически отказано…
>
> ***(«Как подготовлялся московский процесс. (Из письма старого большевика)», Социалистический вестник, 1954, № 1, стр. 19.)***

Время окончательного разрыва отношений Сталина с Горьким можно датировать точно. Оскорбившая Горького статья Д. Заславского («Заметки читателя. Литературная гниль») появилась в «Правде» 20 января 1935 года. Поводом для этой официальной выволочки Горькому стало решение издательства «Academia» выпустить «Бесов» Достоевского. Издательство это возглавляли А.М. Горький и Л.Б. Каменев.

К моменту появления статьи Заславского Каменев был уже арестован по обвинению — не больше и не меньше — в причастности к убийству Кирова.

Рассуждая о реакционности «архискверного Достоевского», Д. Заславский в своей статье отметил, что «контрреволюционную интеллигенцию всегда тянуло к достоевщине». Всем читателям «Правды» было понятно, что «контрреволюционная интеллигенция» — это про Каменева.

Статья Заславского, таким образом, обвиняла Горького в симпатиях не к Достоевскому, а к Каменеву.

Каменеву А.М. действительно симпатизировал и симпатий своих не скрывал. Но дело было не только в Каменеве.

Гораздо опаснее для Сталина была другая — не менее откровенная — симпатия Горького — к Кирову. Не столько даже симпатия, сколько те надежды, которые Горький, как это выяснилось, связывал с политическим будущим этого видного партийного лидера.

На XVII съезде партии, получившем впоследствии наименование «Съезда победителей», все ораторы дружно славили Сталина. Но когда дело дошло до выборов Центрального Комитета, огромное количество делегатов проголосовало против Сталина. Когда ему доложили результат голосования, он спросил, сколько голосов было подано против Кирова. Оказалось, всего три голоса.

Сталин велел, чтобы счетная комиссия объявила, что и против него тоже проголосовали только три делегата. Но дело на этом не кончилось. Группа влиятельных делегатов партсъезда, желавших сместить Сталина с поста генсека, предложили этот пост Кирову. (Предложение это, разумеется, было сделано тайно.) Киров отказался, мотивируя свой отказ тем, что не готов возглавить страну в такой сложной международной обстановке. Об этом сделанном ему предложении он Рассказал Сталину. Сталин обнял его, сказав: «Я тебе этого никогда не забуду». И, как мы знаем, действительно не забыл.

Все это хорошо известно.

Но далее мы вступаем в область неизвестного. Во всяком случае, мало известного и во многом неясного.

11 мая 1934 года внезапно — при загадочных обстоятельствах — умер сын Горького Макс. Нет ни малейших сомнений в том, что это было убийство. Но кому и зачем понадобилось его убивать?

На «бухаринском» процессе 1938 года убийцами Макса были объявлены Ягода и Крючков. Цель убийства — нанести удар по великому пролетарскому писателю. В подтексте допросов Ягоды и его туманных ответов на вопросы генерального прокурора читались намеки на личный мотив: Ягода был влюблен в жену Макса «Тимошу» и хотел устранить соперника. На некоторые вопросы Ягода отвечать отказывался, намекая, что, если заговорит, обвиняющая сторона не обрадуется. Одно из заседаний, где обсуждался этот сюжет, по требованию Ягоды даже происходило за закрытыми дверями.

В том, что смерть Максима Пешкова была убийством, не сомневались и близкие Максу люди: его жена — Тимоша, его мать — Екатерина Павловна Пешкова. Не сомневались в этом и все тогдашние и последующие разоблачители сталинского режима.

Но если Ягода и Крючков убили Макса не по личным мотивам, а по заданию Сталина, — то чем было продиктовано такое задание? Сталину-то зачем понадобилось его убивать?

Аркадий Ваксберг в своей книге «Гибель Буревестника. М. Горький: последние 20 лет» (М. 1999) связывает гибель Макса с предшествовавшей внезапной смерти загадочной его поездкой в Ленинград. Об этой секретной командировке мало что известно. Сопоставляя разные отрывочные сведения и мало изученные факты, можно прийти к выводу, что отправился он туда на несколько дней, но на следующий же день так же внезапно был отозван (кем?! и почему?!) обратно.

Автор «Гибели Буревестника» приводит на этот счет догадку Вячеслава Всеволодовича Иванова, основанную на рассказах его отца писателя Всеволода Иванова — человека, близкого Горькому. Суть этой догадки в том, что Макс поехал в Ленинград со специальным поручением отца: чтобы повидать Кирова и обсудить с ним план возможного смещения Сталина с поста генсека.

Опираясь на эту гипотезу и развивая ее, Ваксберг резонно замечает, что такую акцию Горький ни в коем случае не предпринял бы по собственной инициативе. Он не сомневается, что инициатором командировки был Ягода, связанный с заговорщиками, намеревающимися заменить Сталина Кировым. Но в последний момент что-то сорвалось. И вот по поводу этого «что-то» он выдвигает свою — смелую, но, надо сказать, весьма правдоподобную версию. По этой версии Ягода в последний момент переметнулся на сторону Сталина и выдал ему заговорщиков со всеми потрохами. Именно поэтому Макс был спешно отозван из Ленинграда назад, в Москву. И именно поэтому был убит. (Причастность к такой важной государственной тайне для Сталина — более чем достаточный повод для убийства: ему случалось отдавать такие приказы и по менее серьезным поводам.)

В этой гипотезе все логично. В особенности поведение Ягоды, который вполне мог и переметнуться в последний момент, испугавшись, или чтобы выслужиться перед Сталиным. А могло быть и так, что с самого начала весь этот «заговор» был сталинской провокацией, ловушкой, в какую попали все назначенные быть заговорщиками, а под конец и сам внедрившийся (внедренный?) в их круг Ягода.

Неправдоподобно тут только одно: участие в «заговоре» (реальном или мнимом) Горького.

Ни в каком заговоре Горький скорее всего участвовать бы не стал. Но о том, что произошло на съезде, о сделанном Кирову предложении и о его отказе принять его знать мог. (От того же Ягоды, для которого это, конечно, не могло быть секретом.) Искренне полагая, что смена генсека не состоялась только из-за отказа Кирова, он вполне мог попытаться уговорить его НЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ. Только и всего. Ягода вполне мог убедить его, что дело только за этим. Достаточно будет только Кирову принять это предложение, и все будет в порядке. Остальное сделают другие. И сделают вполне легитимно. Так сказать, демократическим путем.

Горькому даже могло казаться, что, уговаривая Кирова принять пост генсека, он сохраняет лояльность по отношению к Сталину. Наилучшим ему представлялся такой вариант: Киров становится генсеком, а Сталин — председателем Совнаркома. На этой основе происходит всеобщее замирение, все довольны — и сталинцы, и оппозиционеры. Период внутрипартийной борьбы заканчивается. Страна может вздохнуть свободно, строить социализм, а он, Горький, руководить культурой, опираясь на таких партийных интеллектуалов, как Бухарин и Каменев. Да и Киров как будто тоже был не чужд литературе: в молодости писал рассказы, говорят, на довольно приличном уровне.

Нет, в заговоре, в попытке государственного переворота Горький участвовать бы не стал. Но он не понимал, что для Сталина этот благостный план, если бы он о нем узнал (а он, надо полагать, о нем узнал), как раз и был не чем иным, как заговором — планом государственного переворота. И он принял свои меры.

В первом правительственном сообщении об убийстве Кирова говорилось, что убийца — белогвардейский террорист, один из тех, что проникают в Советский Союз из Финляндии, Латвии и Польши. Несколькими днями позже советские газеты сообщили, что органами НКВД поймано и расстреляно 104 террориста-белогвардейца. Была начата бурная газетная кампания против «окопавшихся на Западе» белогвардейских организаций — в первую очередь Российского Общевойскового союза, — которые «уже не впервые посылают своих эмиссаров в Советский Союз с целью совершения террористических актов».

Это сообщение появилось в газетах 6 декабря. Но спустя десять дней — 16 декабря — все вдруг переменилось: были арестованы Зиновьев и Каменев. И на следующий день — 17 декабря — в передовой «Правды» убийство Кирова было приписано «подлым подонкам бывшей зиновьевской антипартийной группы». 23 декабря об аресте Зиновьева и Каменева было объявлено официально, а 18 января следующего года был опубликован приговор по делу Зиновьева, Каменева и других членов их «группы».

В эти дни у Сталина было много забот. С убийством Кирова все вышло не так гладко, как ему хотелось: об этом неопровержимо свидетельствует мельтешня с внезапной заменой одной версии — другой (заговор белогвардейцев — заговором оппозиционеров Зиновьева и Каменева). Естественно предположить, что в такой острый момент ему было не до Горького.

Но — нет! Именно тут Горький ему как раз и понадобился:

> Дело происходило в декабре 1934 года, только что были арестованы Зиновьев и Каменев, которым намечалось предъявить обвинение в организации убийства Кирова. В эти дни Ягода передал Горькому задание написать для «Правды» статью с осуждением индивидуального террора. Сталин рассчитывал, что эту статью Горького в народе расценят как выступление писателя против «зиновьевцев». Горький, конечно, понимал, в чем дело. Он отклонил просьбу, услышанную от Ягоды, сказав при этом: «Я осуждаю не только индивидуальный, но и государственный террор!»
>
> После этого Горький опять, на это раз официально, потребовал выдать ему заграничный паспорт для выезда в Италию. Конечно, ему вновь было отказано. В Италии Горький мог, чего доброго, действительно написать книгу, но она была бы совсем не та, какую мечтал иметь Сталин…
>
> После смерти Горького сотрудники НКВД нашли в его вещах тщательно припрятанные заметки. Кончив их читать, Ягода выругался и буркнул: «Сколько волка ни корми, он всё в лес смотрит!»
>
> ***(Александр Орлов. Тайная история сталинских преступлений. М. 1991, стр. 266—267.)***

Эту реплику Ягоды приводят многие, и именно в связи с якобы обнаруженной после смерти Горького в его бумагах какой-то припрятанной тайной тетрадкой. Конечно, нельзя поручиться, что такая тайная тетрадка у Горького действительно была. И нет никаких документальных свидетельств, подтверждающих, что Ягода такую реплику действительно произнес. Но одно несомненно: у него были все основания пробурчать нечто подобное.

Остается ответить на последний вопрос: умер Горький «своей смертью», от многочисленных и достаточно тяжких своих болезней, или смерть его была насильственной — попросту говоря, убийством?

Кто только не задавался этим вопросом! И, как говорится, — сколько людей, столько и мнений.

Александр Орлов (оставшийся на Западе крупный чекист, автор книги «Тайная история сталинских преступлений») считает, что никто Горького не убивал, а криминальную версию эту выдумал Сталин, чтобы ко всем мнимым преступлениям своих политических противников добавить еще и это.

Нина Берберова, рассмотрев обе версии, оставляет вопрос открытым.

Валентина Ходасевич верит в естественную смерть Горького. Но при этом не сомневается, что сын Алексея Максимовича Макс был убит. А английский историк Роберт Конквест (автор знаменитой книги «Большой террор») придерживается прямо противоположного мнения.

Лазарь Флейшман, в фундаментальном исследовании которого («Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов») много страниц отдано Горькому, отвечает на этот вопрос безоговорочно и категорично: «Факт убийства Горького можно считать непреложно установленным».

Мишель Никё (автор специальной исследовательской статьи «К вопросу о смерти М. Горького») для полноты и объективности картины решил изучить печатавшиеся в газетах во время последней болезни Горького бюллетени, день ото дня сообщавшие о состоянии его здоровья.

> Мы предложили все бюллетени на рассмотрение двум французским врачам — терапевту и геронтологу. По мнению первого — не может быть гриппа без повышенной температуры, а бюллетени не дают четкого характера течения болезни… Для второго — отсутствие температуры может встречаться при тяжелой легочной суперинфекции, а пульс при отсутствии электрокардиограммы интерпретировать крайне трудно. Бюллетени составлены таким образом, что могут подтвердить любую версию смерти Горького. При этом оба врача отметили, что Горький, которому было 68 лет и который страдал легочными заболеваниями со времени его попытки самоубийства в 1877 году, вполне мог умереть естественной смертью: «У него была хронически легочно-сердечная недостаточность и хронический туберкулез. Для такого ослабленного организма гриппозная суперинфекция могла естественно повлечь за собой тяжелую и даже смертельную сердечную недостаточность».
>
> ***(Минувшее. Исторический альманах 5. Париж. 1988. Стр. 334.)***

Опять эта проклятая неизвестность! Криминальная версия смерти Горького, согласно которой он был умерщвлен по приказу Сталина, обросла множеством мифов, легенд, слухов. Чаще других в подтверждение этой версии приводится рассказ немецкой коммунистки Б. Герланд, которая в Воркуте работала в лагерном лазарете вместе с другим заключенным — профессором Д.Д. Плетневым — тем самым, которого на процессе 1938 года объявили одним из убийц Горького. Профессор подтвердил, что Горький действительно был убит по приказу Сталина. Но отнюдь не лечащими его врачами:

> Недоверчивый деспот в Кремле больше всего боялся открытого выступления знаменитого писателя против его режима. И, как всегда, он в нужный ему момент придумал наиболее действенное средство. На этот раз этим средством явилась бонбоньерка, да, красная, светло-розовая бонбоньерка. Я и сейчас ее еще хорошо помню. Она стояла на ночном столике у кровати Горького, который любил угощать своих посетителей. На этот раз он щедро одарил конфетами двух санитаров, которые при нем работали, и сам съел несколько конфет. Через час у всех троих начались мучительные желудочные боли; еще через час наступила смерть. Было

немедленно произведено вскрытие. Результат? Он соответствовал нашим самым худшим опасениям. Все трое умерли от яда.

(Н. Берберова. Железная женщина. Нью-Йорк, 1982, стр. 303—304.)

История, по правде говоря, не больно достоверная. собенно сомнительно, что было произведено вскрытие, которое подтвердило, что все трое умерли от яда. Кто бы в этом случае позволил им производить вскрытие!

Это тем более сомнительно, что по поводу вскрытия была высказана другая версия. Тоже, надо полагать, апокрифическая, но более правдоподобная:

После публикации краткого варианта этой статьи в газете «Le Monde» (от 14—15 декабря 1986) автор получил письмо от французского участника Сопротивления, г-на М. Брауна, который был в Бухенвальде вместе с командиром Ш. Айере — будущим главой генерального штаба ген. де Голля. М. Браун служил переводчиком между Ш. Айере и другим заключенным — советским гражданином по фамилии Новиков («Сашка»), который признался, что он «капитан спецслужбы, свидетель физической ликвидации абсолютно невиновных оппозиционеров». «Я помню, — пишет М. Браун, — среди других случай с Горьким, и на мое возражение: — Вскрытие должно было бы обнаружить… — он ответил: — Нет, ты ничего не понимаешь! Протокол о вскрытии был составлен раньше смерти!»

(Мишель Никё. К вопросу о смерти М. Горького. Минувшее. Исторический альманах 5. Париж. 1988. Стр. 337.)

Подобных историй — разной степени достоверности — множество! Разбираться в них — не входит в мою задачу: это тема другого, специального исследования. Но свой ответ на этот проклятый вопрос (своей смертью умер Горький или был убит) у меня есть. И ответ этот прямо связан с тем, как, на мой взгляд, надлежит сформулировать сам вопрос. А сформулировать его следует так:

Была ли у Сталина достаточно серьезная причина для того, чтобы решиться на физическое устранение Горького?

Мишель Никё — автор статьи «К вопросу о смерти М. Горького», на которую я тут уже ссылался, — считает, что была. В конце своего исследования он вспоминает строки из былины «Илья Муромец и Идолище», которые Горький не раз повторял, не без некоторого самодовольства относя их к себе:

Крепок татарин — не изломится,
А и жиловат, собака, — не изорвется.

И заключает:

Мы видели, что Горький остался, несмотря на все знаки преданности, — достаточно крепким и «жиловатым» для того, чтобы Сталин счел необходимым принять против него меры.

Что говорить! Сталин был жестокий, злобный, мстительный человек. И Горький своей строптивостью, конечно, его раздражал, а порой приводил в ярость. И все-таки трудно представить, чтобы он принял решение о физическом уничтожении Горького только потому, что хотел наказать его за непослушание. Для такого крутого решения должна была у него найтись другая, более серьезная — и конкретная — причина.

Такая причина, по мнению автора исследования, у Сталина тоже была:

Он написал критическое письмо о режиме и о том, как с ним обращались, одному известному западному писателю, с которым дружил; но письмо было перехвачено в окружении самого писателя, где НКВД имел своего агента; когда другой известный

> писатель собирался посетить СССР в 1936 году, он заявил о своем намерении встретиться с Горьким, особенно потому, что молчание Горького беспокоило вышеупомянутого писателя и поэтому он попросил своего коллегу во что бы то ни стало посетить Горького. Ягода изложил вопрос Сталину, который сначала приказал запретить контакты между западными гостями и Горьким. Когда Ягода сказал, что это значило бы возможность для уже колеблющегося писателя допустить, что не все благополучно, — Сталин приказал убить Горького.
>
> ***(N. Leites, E. Bernaut. Ritual of liquidation. The case of the Moscow trials. USA, 1954, p. 333.)***

Известный западный писатель, с которым Горький дружил, — это Ромен Роллан. Агент НКВД в окружении этого писателя, надо полагать, — жена Роллана М. Кудашева, которая позже сама призналась, что НКВД ею манипулировал. Коллега, которого Роллан просил посетить Горького, — это, по-видимому, Андре Жид, который прилетел в Москву днем 17 июня. Первый его вопрос был: как здоровье Горького? Но к Горькому его привезли только на следующий день, когда было уже поздно.

Был еще один французский писатель, который приезжал тогда в СССР, — Луи Арагон. Он прибыл в Москву то ли 16, то ли 17 июня. Но и ему встретиться с Горьким не дали.

Арагона Горький настойчиво просил как можно скорее приехать в Москву еще в марте:

> Мы с Эльзой были засыпаны… призывами Горького, непосредственно нам посланными через Кольцова, который умолял нас приехать, скорее приехать… Мишель (Кольцов)… хотел, чтобы мы с ним встретились. Ужасно хотел. Горький ему сказал… он настаивал, чтобы нас торопили, он хотел нам что-то сказать.
>
> ***(Минувшее. 5. Стр.329, 332.)***

Внимательно проанализировав эти — и множество других — свидетельств, Мишель Никё приходит к такому выводу:

> Невольно задаешь себе вопрос: настойчивость, с которой Горький добивался встречи с Арагоном, и его желание «поговорить начистоту» с Жидом не ускорили его конец? Не встревожился ли Сталин, при своей болезненной подозрительности, узнав, что два видных западных писателя собирались встретиться с Горьким и нарушить его изоляцию?
>
> ***(Там же, стр. 345.)***

«Ускорили» — это очень точное слово.

Намерение Сталина любой ценой не допустить контакта Горького с Жидом и Арагоном только приблизило развязку. Само же решение физически устранить Горького было принято раньше и, так сказать, в плановом порядке.

Первое сообщение о болезни Горького появилось в газетах 6 июня:

> Алексей Максимович Горький серьезно заболел 1 июня гриппом, осложнившимся в дальнейшем течении катаральными изменениями в легких и явлениями ослабления сердечной деятельности.
>
> ***(«Правда», 6 июня 1936, стр. 2.)***

С этого дня и в «Правде», и в «Известиях» стали публиковаться ежедневные бюллетени о состоянии здоровья Горького.

До этого Горький заболевал гриппом не раз. Нередко болезнь протекала в очень тяжелой форме. (В мае 1933-го, как вспоминает об этом К. Федин, от очередного гриппа, осложнившегося воспалением легких, он чуть не умер.) Но никаких бюллетеней о состоянии его здоровья раньше никогда не печатали.

А теперь…

В «Правде» бюллетени о состоянии здоровья Горького печатались вверху или в середине первой полосы с крупно набранными заголовками.

Страну (и мир) явно готовили к роковому исходу, который был предрешен.

Нет, решение Сталина физически устранить Горького не было внезапным экспромтом. (Как пишет американский исследователь, «Ягода изложил вопрос Сталину… Сталин приказал убить Горького».) Это было хорошо взвешенное, продуманное, для Сталина — безальтернативное решение!

Причина принятия такого решения состояла в том, что живой Горький стал серьезной помехой для осуществления весьма важных и далеко идущих сталинских планов.

* * *

Горький умер 18 июня 1936 года. А два месяца спустя — 19 августа — в Октябрьском зале Дома союзов начался первый большой судебный процесс, открывший череду ошеломивших весь мир знаменитых московских процессов.

Главными фигурантами этого процесса были Зиновьев и Каменев.

До этого — в 1934 году — они были осуждены по делу так называемого «Московского центра». На этом процессе они признали, что несут политическую ответственность за убийство Кирова. Зиновьев был приговорен к десяти, Каменев к шести годам тюрьмы. Год спустя по делу «Кремлевской библиотеки и комендатуры Кремля» Каменев был приговорен к десяти годам тюрьмы.

Но теперь песня была уже другая.

На сей раз по делу так называемого «Троцкистско-зиновьевского объединенного центра» оба были приговорены к расстрелу. И приговор был приведен в исполнение немедленно.

На этом процессе Зиновьев и Каменев признавались, что несут не какую-то там политическую ответственность за убийство Кирова, а самую прямую. Да, это они замыслили и осуществили этот злодейский террористический акт. Мало того! Они замышляли и другие такие же кровавые преступления: готовились убить Сталина, Жданова, Ворошилова, чуть ли не всех вождей Коммунистической партии и Советского государства. Действовали по прямой указке Троцкого, с которым поддерживали постоянную связь. Ну, а кроме того, были агентами многих иностранных разведок, в том числе гитлеровской Германии.

Процессу этому Сталин придавал исключительно важное значение. Готовился он не два месяца, а гораздо дольше. Шли многомесячные допросы, очные ставки, на подсудимых оказывалось давление всех видов: обещания, если они признаются в своих мнимых преступлениях, сохранить им жизнь — и угрозы, если не признаются, — расправиться с их семьями, арестовать и расстрелять их детей. (Специально для этого случая накануне был принят закон, по которому приговорить к высшей мере наказания можно было двенадцатилетнего ребенка.) Было и грубое физическое давление: пытки, длительные ночные допросы без сна, издевательства.

Главные фигуранты процесса держались долго. Для того, чтобы их сломать, был задействован весь гигантский аппарат НКВД, включая международную (коминтерновскую) агентуру. Специально были привезены в Москву и соответствующим образом обработаны давние чекистские агенты: их роль состояла в том, чтобы на очных ставках, а потом и на самом процессе подтвердить, что именно они осуществляли связь подсудимых с Троцким и с гитлеровской разведкой.

Когда Сталину докладывали, что Каменев и Зиновьев отказываются давать нужные ему показания, он приходил в ярость. Наконец те сдались и между ними и Сталиным была заключена так называемая «кремлевская сделка». Каменев и Зиновьев потребовали, чтобы им пообещали сохранить жизнь в присутствии всех членов Политбюро. Но когда их привезли в Кремль, увидели они перед собой только двух из «чертовой дюжины» кремлевских вождей:

Сталина и Ворошилова. Сталин сказал, что это и есть «Комиссия Политбюро», которой поручено побеседовать с ними. На наивный вопрос Каменева: «А где гарантия, что вы нас не расстреляете?» — он усмехнулся и цинично сказал:

— Гарантия? Какая, собственно, может быть гарантия? Может быть, вы хотите официального соглашения, заверенного Лигой Наций?

Обещания, что их не расстреляют, тем не менее, им были даны, и оба обвиняемых сдались на предложенные ими условия сделки, которые выполнены были только одной стороной: Сталин свои обещания, разумеется, выполнять не собирался.

История многомесячной «обработки» Зиновьева и Каменева, все сложные перипетии подготовки этого процесса подробно изложены в книге А. Орлова «Тайная история сталинских преступлений». Орлов знал все эти подробности из первых рук — от своих коллег-следователей, ведущих это дело (Молчанова, Миронова и др.).

Тщательно разработанный в застенках НКВД механизм выколачивания из обвиняемых самых нелепых и чудовищных признаний был детально описан и вскрыт в замечательной книге чешского коммуниста Лондона, прошедшего все круги этого ада.

Психологическую подоплеку признаний обвиняемых вскрыл и блистательно проанализировал Артур Кестлер в своей знаменитой книге «Тьма в полдень».

Но это все — потом. А тогда, перед началом процесса, когда главные обвиняемые уже сдались и готовы были играть на суде свою постыдную роль, Сталин не сомневался, что дело сделано, процесс пройдет гладко:

> Сталин воспринял известие о капитуляции Зиновьева и Каменева с нескрываемой радостью. Пока Ягода, Молчанов и Миронов подробно докладывали ему, как это произошло, он, не скрывая удовлетворения, самодовольно поглаживал усы. Выслушав доклад, он встал со стула и, возбужденно потирая руки, выразил свое одобрение: «Браво, друзья! Хорошо сработано!»
>
> ***(Александр Орлов. Тайная история сталинских преступлений. М. 1991. Стр. 133.)***

Все получилось, он добился своего. В его руках была «царица доказательств» — «чистосердечное» признание обвиняемых. Теперь для осуществления его маниакального, садистского замысла не оставалось больше уже никаких препятствий.

Нет, одно препятствие все-таки оставалось. Этим единственным, последним препятствием был Горький.

ПРИ ЖИВОМ ГОРЬКОМ НАЧАТЬ ТАКОЙ ПРОЦЕСС БЫЛО НЕВОЗМОЖНО.

Зиновьева Горький терпеть не мог: он враждовал с ним еще с тех, давних времен, когда тот был полновластным диктатором Петрограда и так называемой «Северной коммуны». Но Каменева он любил. Именно стараниями Горького Каменев в апреле 1933 года был возвращен из ссылки, получил директорский пост в издательстве «Academia», стал директором Института русской литературы (Пушкинского дома), членом президиума правления Союза писателей. В письме членам Политбюро 27 августа 1936 года Н.И. Бухарин упомянул, что Каменев «намечался Горьким в лидеры Союза писателей».

Именно арест Каменева в 1934 году стал одной из главных причин фактического разрыва отношений между Горьким и Сталиным.

Быть может, Горького еще можно было как-то убедить, что логика оппозиционной борьбы привела сторонников Каменева и Зиновьева к активным враждебным действиям. Быть может, он даже поверил, что Каменев и Зиновьев искренне признали, что несут политическую ответственность за убийство Кирова. (Может быть, даже и сами Зиновьев и Каменев в это поверили. Сказал же Бухарин Эренбургу в день убийства Кирова: «Теперь ОН может сделать с нами все, что захочет. И будет прав».)

Но уверить Горького, что бывшие соратники Ленина стали шпионами иностранных держав, было невозможно.

Тут я слышу насмешливый вопрос:

— А зачем, собственно, его надо было в этом уверять? Пусть бы себе оставался со своим неверием. Ведь поделиться с кем-нибудь своими мыслями по этому поводу, разоблачить сталинскую фальсификацию он все равно не мог: был прочно изолирован от внешнего мира!

Да, конечно, Маршака или какого-нибудь там Андроникова к нему легко было не пустить. А вот Ромену Роллану, если бы он вдруг приехал в Советский Союз, или Арагону, или Андре Мальро, или Фейхтвангеру, в 1937 году побывавшему на втором из больших московских процессов и публично объявившему, что безусловно верит обвинениям, предъявленным всем его фигурантам, — всем этим влиятельным на Западе зарубежным гостям запретить встречу с Горьким, если бы они на такой встрече стали настаивать, было совсем не просто. А ведь Сталин в 1936 году наверняка уже вынашивал в своем криминальном мозгу план третьего, еще более грандиозного процесса — над любимцами Горького «Ивановичами» (Николаем Ивановичем Бухариным и Алексеем Ивановичем Рыковым).

Вспомним, как деликатно объяснял Сталин Горькому, почему, как ни жаль, приходится снять Рыкова с поста Предсовнаркома:

> 15-го созываем пленум ЦК. Думаем сменить т. Рыкова. Неприятное дело, но ничего не поделаешь: не поспевает за движением, отстает чертовски (несмотря на желание поспеть)… Думаем заменить его т. Молотовым. Смелый, умный, вполне современный руководитель. Его настоящая фамилия не Молотов, а Скрябин. Он из Вятки. ЦК полностью за него.

Все это не оставляет сомнений, что Горький самим фактом своего существования — хотя бы даже и в клетке — к тому времени (май — июнь 1936 года) представлял для Сталина весьма серьезную проблему.

И он решил эту проблему. По-своему, по-сталински. Руководствуясь своим неизменным, не раз — и раньше, и потом — себя оправдывавшим принципом: НЕТ ЧЕЛОВЕКА — НЕТ ПРОБЛЕМЫ.

СТАЛИН И МАЯКОВСКИЙ

ДОКУМЕНТЫ

1
В.В. МАЯКОВСКИЙ. ИЗ ПРЕДСМЕРТНОГО ПИСЬМА

Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская.

Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо.

Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.

12. IV — 30 г.

2
Л.Ю. БРИК – И.В. СТАЛИНУ
21 января 1931г.

Уважаемый тов. Сталин,

Год тому назад, в день памяти Ленина, в Большом театре В.В. Маяковский читал последнюю часть своей поэмы «Ленин», и Вы при этом присутствовали.

Сейчас мы готовим к печати тот том Академического издания Маяковского, в который входит эта поэма. Мы хотим отметить это выступление с политической и художественной стороны. Поэтому обращаемся к Вам с просьбой написать несколько слов о Вашем впечатлении. Том должен быть сдан в печать 1 февраля — поэтому очень просим не задержать с ответом.

Л. БРИК

3
Л.Ю. БРИК – И.В. СТАЛИНУ
24 февраля 1935 г.

Дорогой товарищ Сталин,

После смерти поэта Маяковского все дела, связанные с изданием его стихов и увековечением его памяти, сосредоточились у меня.

У меня весь его архив, черновики, записные книжки, рукописи, все его вещи. Я редактирую его издания. Ко мне обращаются за материалами, сведениями, фотографиями.

Я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы его стихи печатались, чтоб вещи сохранились и чтоб все растущий интерес к Маяковскому был хоть сколько-нибудь удовлетворен.

А интерес к Маяковскому растет с каждым годом.

Его стихи не только не устарели, но они сегодня абсолютно актуальны и являются сильнейшим революционным оружием.

Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского, и он еще никем не заменен и как был, так и остался крупнейшим поэтом революции. Но далеко не все это понимают. Скоро шесть лет со дня смерти, а Полное собрание сочинений вышло только наполовину, и то в количестве 10 000 экземпляров.

Уже больше года ведутся разговоры об однотомнике. Материал давно сдан, а книга даже еще не набрана.

Детские книги не переиздаются совсем.

Книг Маяковского в магазинах нет. Купить невозможно.

После смерти Маяковского в постановлении правительства было предложено организовать кабинет Маяковского при Комакадемии, где должны были быть сосредоточены все материалы и рукописи. До сих пор этого кабинета нет.

Материалы разбросаны. Часть находится в московском Литературном музее, который ими абсолютно не интересуется. Это видно хотя бы из того, что в бюллетене музея имя Маяковского почти не упоминается.

Года три тому назад райсовет Пролетарского района предложил мне восстановить последнюю квартиру Маяковского и при ней организовать районную библиотеку имени Маяковского.

Через некоторое время мне сообщили, что Московский Совет отказал в деньгах, а деньги требовались очень небольшие.

Домик маленький, деревянный, из четырех квартир (Таганка, Гендриков переулок, 15). Одна квартира Маяковского. В остальных должна была разместиться библиотека. Немногочисленных жильцов райсовет брался расселить. Квартира была очень характерна для быта Маяковского. Простая, скромная, чистая.

Каждый день домик может оказаться снесенным. Вместо того, чтобы через пять лет жалеть об этом и по кусочкам собирать предметы быта и рабочей обстановки великого поэта революции, не лучше ли восстановить все это, пока мы живы.

Благодарны же мы за ту чернильницу, за тот стол и стул, которые нам показывают в домике Лермонтова в Пятигорске.

Неоднократно поднимался разговор о переименовании Триумфальной площади в Москве и Надеждинской улицы в Ленинграде в площадь и улицу Маяковского, но и это не осуществлено.

Это основное. Не говоря о ряде мелких фактов, как, например: по распоряжению Наркомпроса из учебников по современной литературе на 1935 год выкинули поэмы «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!». О них и не упоминается.

Все это, вместе взятое, указывает на то, что наши учреждения не понимают огромного значения Маяковского — его агитационной роли, его революционной актуальности.

Недооценивают тот исключительный интерес, который имеется к нему у комсомольской и советской молодежи.

Поэтому его так мало и медленно печатают, вместо того, чтобы печатать его избранные стихи в сотнях тысяч экземпляров.

Поэтому не заботятся о том, чтобы — пока они не затеряны — собрать все относящиеся к нему материалы. Не думают о том, чтобы сохранить память о нем подрастающего поколения.

Я одна не могу преодолеть эти бюрократические незаинтересованности и сопротивление — и после шести лет работы обращаюсь к Вам, так как не вижу иного способа реализовать огромное революционное наследие Маяковского.

Л. БРИК

Мой адрес: Ленинград, ул. Рылеева, 11, кв. 5.

4
И.В. СТАЛИН. РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ Л.Ю. БРИК

Тов. Ежов, очень прошу вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличное отношение к его памяти и произведениям — преступление. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней или вызовите ее в Москву. Привлеките к делу Таль и Мехлиса и сделайте, пожалуйста, все, что упущено нами. Если моя помощь понадобится, я готов.

Привет!

И. СТАЛИН

Сюжет первый
«ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТОВАРИЩ СТАЛИН!..»

Булгаков знаменитое свое письмо от 28 марта 1930 года адресовал «Правительству СССР». Но обращался он при этом не к кому-нибудь, а именно к Сталину. И ответил ему на это его письмо (своим телефонным звонком) Сталин.

Маяковский, обратившись в своем предсмертном письме к «Товарищу Правительству», не имел в виду ни Сталина, ни вообще кого-либо персонально.

Но Сталин не забыл те строки этого его письма, в которых поэт, перечисляя членов своей семьи, первой назвал Лилю Юрьевну Брик.

Семь лет спустя, когда был арестован и расстрелян тогдашний муж Лили Юрьевны Виталий Маркович Примаков (он был «однодельцем» Тухачевского и Якира) и Сталину представили список членов семей этих разоблаченных врагов народа, которых, по установившемуся тогда порядку, предполагалось арестовать, он вычеркнул Лилю Юрьевну из этого проскрипционного списка, сказав:

— Не будем трогать жену Маяковского.

На самом деле — официально — женой Маяковского Лиля Юрьевна, как известно, никогда не была. Но это ОН решал, кого считать чьей женой. Даже Крупской в свое время недвусмысленно дал понять, что если она будет рыпаться, женой Ленина назначат не ее, а Стасову или какую-нибудь другую даму из партийного ареопага.

Впрочем, исключение, которое Сталин сделал для Л.Ю. Брик, вычеркнув ее имя из списка членов семей врагов народа, быть может, было обусловлено тем, что именно с ней, с ее обращением к нему была связана его знаменитая фраза: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи».

Что касается самого Маяковского, то у него никаких личных контактов — не говоря уже о личных отношениях — со Сталиным не было.

Но у Сталина интерес к Маяковскому был. Можно даже сказать, что у него были на Маяковского свои виды.

> Говорили мне, что поэмы «Хорошо!» и «Владимир Ильич Ленин» очень понравились наверху и что было предположение, что Владимир Владимирович будет писать такие же похвалы и главному хозяину. Этот прием был принят на Востоке, особенно при дворе персидских шахов, когда придворные поэты должны были воспевать их достоинства в преувеличенно хвалебных словах, — но после этих поэм Маяковского не стало.
>
> ***(Л.В. Горнунг. Встреча за встречей. Из дневниковых записей. В кн.: «Воспоминания о Борисе Пастернаке». М. 1993, стр. 80.)***

21 января 1930 года на траурном заседании в Большом театре, посвященном очередной годовщине смерти Ленина, Маяковский читал третью часть своей поэмы «Владимир Ильич Ленин». Сидевший в правительственной ложе Сталин горячо аплодировал поэту.

Не без некоторых оснований можно предположить, что между этими двумя фактами (аплодисментами вождя и дошедшими до Горнунга слухами о надеждах, которые Сталин возлагал на Маяковского) есть прямая связь.

Помимо того, что поэма Маяковского обладала всеми достоинствами сервильной персидской поэзии, призванной в «преувеличенно хвалебных словах» воспевать власть шаха, было в ней одно место, которое не могло не вызвать у Сталина особый, личный интерес:

Когда я
    итожу
        то, что прожил,
и роюсь в днях —
        ярчайший где,
я вспоминаю
        одно и то же —
двадцать пятое,
        первый день.
Штыками
    тычется
        чирканье молний,
матросы
    в бомбы
        играют, как в мячики.
От гуда
    дрожит
        взбудораженный Смольный.
В патронных лентах
        внизу пулеметчики.
— Вас

вызывает
товарищ Сталин.
Направо
третья,
он
там. —
— Товарищи,
не останавливаться!
Чего стали?
В броневики
и на почтамт! —
— По приказу
товарища Троцкого! —
— Есть! —
повернулся
и скрылся скоро,
и только
на ленте
у флотского
под лентой
блеснуло —
«Аврора».

Поэма Маяковского «Владимир Ильич Ленин» писалась осенью 1924 года, и тогда, рисуя «взбудораженный Смольный» в день Октябрьского переворота, без Троцкого поэт еще никак не мог обойтись. Но Троцкий — заметьте! — у него идет (по порядку упоминания) «вторым номером» (хотя все совершающееся совершается по его приказу), а Сталин — первым.

Без признания, что все совершавшееся в тот день совершалось по приказам «товарища Троцкого», трудно было обойтись даже и в более поздние времена.

Помню, в детстве я смотрел — уже далеко не в первый раз — один из самых знаменитых тогдашних и самых любимых мною фильмов — «Ленин в Октябре». И всегда особенно волновал меня там один кадр: последнее заседание ЦК, на котором решался вопрос о вооруженном восстании.

Самого заседания нам не показали: мы видели только ведущую в какую-то комнату застекленную дверь. Стекло было непрозрачным, матовым. И вот за этим непрозрачным стеклом метались какие-то тени, неясные силуэты, звучали чьи-то голоса. (Знакомым, узнаваемым был там только один голос и только один силуэт: Ленина.)

И как же мне хотелось тогда, чтобы дверь эта приоткрылась хоть на минуту, чтобы заглянуть туда, в ту комнату хоть одним глазком: узнать, как оно все там было на самом деле.

В чем-то я тут, наверно, был похож на того легендарного мальчика (было в моем детстве такое устное предание), который двадцать раз ходил на «Чапаева», надеясь, что в какой-нибудь из этих разов раненый Василий Иванович в своей белой рубахе — выплывет, не утонет.

Вот так же и я, может быть, втайне надеялся, что эта заветная дверь вдруг откроется, и я, глядишь, услышу еще две-три какие-нибудь исторические фразы, а главное, увижу кого-нибудь из тех, кто еще там был на том историческом заседании, кроме известных мне Ленина, Сталина, Свердлов и Дзержинского.

Но дверь эта так и не открылась. И вся (легальная, подцензурная) советская литература остановилась перед этой наглухо запертой дверью.

Василий Гроссман, начав и наполовину написав свой роман «Степан Кольчугин», бросил его, приблизившись к Первой мировой войне: продолжать — значило лгать, а лгать он не хотел.

Эммануил Казакевич гораздо больше душевных — да и физических — сил, чем на создание своей «Синей тетради», затратил на переписку с партийными функционерами разного калибра. А вся эта долгая титаническая борьба шла только за то, чтобы читатель узнал, что в знаменитом шалаше, в Разливе, вместе с Лениным прятался и Зиновьев.

Я иронизирую, но Казакевичу не зря казалось тогда, что открыть эту великую государственную тайну так важно. Ведь для миллионов моих сверстников эта «новость» стала тогда откровением.

Но для меня она даже и новостью не была. Я знал это (как и многое другое) даже и не помню, с каких времен. И все благодаря тому странному, жгучему интересу, овладевшему мной перед той наглухо запертой дверью.

По мере сил я старался если и не проникнуть сквозь эту запертую дверь, так хоть проделать какую-нибудь маленькую щелочку в ней.

И кое-какие щелочки действительно проделал.

Сейчас я уже не помню, с чего это началось. Наверное, с потрепанной, зачитанной книги Джона Рида «Десять Дней, которые потрясли мир», отыскавшейся в недрах родительской тахты, где хранились у нас пересыпанные нафталином старые, ненужные в повседневной жизни вещи.

Что-то такое об этой книге я уже слышал. (Говорили о ней шепотом, но — говорили.) И не только слышал, но и читал. И не где-нибудь, а у самого Сталина.

Сталин сказал, что все это — сплошное вранье. «Джон Рид стоял далеко от нашей партии, — сказал он, — и попал на удочку сплетен». Я читал это собственными глазами и хорошо запомнил. Запомнил еще такую, совсем уже презрительную сталинскую фразу: «Едва ли нужно доказывать, что все эти и подобные им арабские сказки не соответствуют действительности».

Я готов был поверить Сталину: ведь Джон Рид и в самом деле, наверно, «стоял далеко от партии». Уж во всяком случае, дальше, чем Сталин.

И вот эта книга, о которой я столько слышал, оказалась в моих руках. И в предисловии к ней, написанном самим Лениным, я прочел, что о событиях октября 1917 года в ней рассказано «с исключительной правдивостью».

Естественно, я больше поверил Ленину. Тем более, что в книге Джона Рида то и дело поминались то Троцкий, то Каменев, то Зиновьев, то Бубнов, то еще кто-нибудь из более мелких вождей Октября. О Сталине же там не было ни полслова. Только в составе первого советского правительства, где-то на последнем месте, после всех, неизмеримо более важных и главных наркомов упоминался и он, возглавивший совершенно пустяковый и никому не нужный, как мне тогда казалось, наркомнац.

Но это и тогда уже не было для меня новостью и потому не произвело на меня такого уж сильного впечатления. Я бы даже, пожалуй, поверил Сталину, что в этой книге, написанной по горячим следам событий, да еще человеком, глядящим на них со стороны, и в самом деле много неточностей, на которые Ленин просто не обратил внимания.

Больше всего тут меня поразило совсем другое.

Книга Джона Рида, так высоко оцененная Лениным за ее точность и правдивость, была изъята, запрещена. Значит, все, о чем говорилось в этой книге, было правдой. И значит, Сталин — вот это и было самое главное — этой правды боялся.

Вернемся, однако, в то время, когда Маяковский писал свою поэму о Ленине. Это было, как я уже упоминал, осенью 1924 года.

Как раз в это самое время в партии — в самых высших ее эшелонах — развернулась бурная дискуссия о роли Троцкого в событиях 25 октября 1917 года. Но даже Сталин, главный разоблачитель «легенды об особой роли тов. Троцкого в Октябрьском восстании», тогда вынужден был все-таки признать:

> Я далек от того, чтобы отрицать несомненно важную роль тов. Троцкого в восстании.
>
> ***(И. Сталин. Об оппозиции. Статьи и речи 1921-1927 гг. М. –А. 1928, стр. 103.)***

Свою борьбу с «легендой об особой роли» Сталин начал давно — еще в 1918 году. Но тогда о роли Троцкого он вынужден был говорить не сквозь зубы, как сейчас, в 1924-м, а совсем в иной тональности:

> Вся работа по практической организации восстания происходила под непосредственным руководством председателя Петроградского совета Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону Совета и умелой постановкой работы Военно-Революционного Комитета партия обязана прежде всего и главным образом т. Троцкому.
>
> ***(И. Сталин. Роль наиболее выдающихся деятелей-партии. «Правда», 6 ноября 1918 г.)***

Тогда, в 1918 году, цель Сталина тоже состояла в том, чтобы «предостеречь» будущих историков от преувеличения ими роли Троцкого в Октябрьском перевороте. Но тогда он еще не мог сделать это, не сказав того, что сказал.

В середине 20-х, припомнив Сталину это его высказывание 18-го года и сопоставив его со сталинскими высказываниями года 24-го, Л. Троцкий писал:

> Давно отмечено, что правдивый человек имеет то преимущество, что даже при плохой памяти не противоречит себе, а нелойяльный, недобросовестный, неправдивый должен всегда помнить то, что говорил в прошлом, дабы не срамиться.
>
> ***(Л. Троцкий. О подделке истории октябрьского переворота, истории революции и истории партии. Письмо в Истпарт ЦК ВКП(б). В кн.: Л. Троцкий. Сталинская школа фальсификации. М. 1990, стр. 25.)***

Но Сталин плевать хотел на эти тонкости.

Нимало не сообразуясь с тем, что он писал о роли Троцкого раньше, теперь он освещал его роль в восстании совершенно иначе:

> Перейдем теперь к легенде об особой роли тов. Троцкого в Октябрьском восстании. Троцкисты усиленно распространяют слухи о том, что вдохновителем и единственным руководителем Октябрьского восстания являлся тов. Троцкий… Сам тов. Троцкий, систематически обходя партию, ЦК партии и Ленинградский комитет партии, замалчивая руководящую роль этих организаций в деле восстания и усиленно выдвигая себя, как центральную фигуру Октябрьского восстания, — вольно или невольно способствует распространению особой роли тов. Троцкого в восстании. Я далек от того, чтобы отрицать несомненно важную роль тов. Троцкого в восстании. Но должен сказать, что никакой особой роли в Октябрьском восстании тов. Троцкий не играл и играть не мог, что, будучи председателем Петроградского Совета, он выполнял лишь волю соответствующих партийных инстанций, руководящих каждым шагом тов. Троцкого… Факты, действительные факты, целиком и полностью подтверждают это мое утверждение.
>
> Возьмем протоколы… заседания ЦК от 16 (29) октября 1917 года… Принимается резолюция Ленина о восстании большинством 20 против 2, при 3 воздержавшихся. Избирается практический центр по организационному руководству восстанием. Кто же попадает в этот центр? В этот центр выбираются пятеро: Свердлов, Сталин, Дзержинский, Бубнов, Урицкий. Задачи практического центра: руководить всеми практическими органами восстания согласно директивам ЦК. Таким образом, на

этом заседании ЦК произошло, как видите, нечто «ужасное», т.е. в состав практического центра, признанного руководить восстанием, «странным образом» не попал «вдохновитель», «главная фигура», «единственный руководитель» восстания тов. Троцкий. Как примирить это с ходячим мнением об особой роли тов. Троцкого?.. Между тем, тут нет, собственно говоря, ничего странного, ибо никакой особой роли ни в партии, ни в Октябрьском восстании не играл и не мог играть тов. Троцкий, человек сравнительно новый в нашей партии в период Октября. Он, как и все ответственные работники, являлся лишь исполнителем воли ЦК и его органов… Разговоры об особой роли тов. Троцкого есть легенда, распространяемая услужливыми «партийными» кумушками.

(И. Сталин. Об оппозиции. Статьи и речи 1921 — 1927 гг. М. –Л. 1928, стр. 103-104.)

Разоблачая эту легенду, Сталин, разумеется, противопоставлял ей другую — о **своей** выдающейся роли главного (после Ленина, конечно) вдохновителя и руководителя Октябрьского переворота.

Опирается он при этом как будто на факты. В частности, на тот, казалось бы, весьма убедительный факт, согласно которому в некий центр по практическому руководству восстанием он, Сталин, вошел, а Троцкий — не вошел.

Но вот, оказывается, как в действительности обстояло дело с этим «практическим центром»:

Сталин и Ярославский… потратили за последние месяцы много усилий на доказательство того, что военно-революционный центр, созданный ЦК, в составе: Свердлов, Сталин, Бубнов, Урицкий и Дзержинский, руководил будто бы всем ходом восстания. Сталин всемерно подчеркивал тот факт, что Троцкий в тот центр не входил. Но увы — по явному недосмотру сталинских историков — в «Правде» от 2 ноября 1927 года… напечатана точная выписка из протоколов ЦК 16 (29) октября 1917 года. Вот что там сказано:

«ЦК организует военно-революционный центр в следующем составе: Свердлов, Сталин, Бубнов, Урицкий и Дзержинский. Этот Центр входит в состав революционного советского комитета».

Революционный Советский Комитет это и есть Военно-Революционный Комитет, созданный Петроградским советом. Никакого другого советского органа для руководства восстанием не было. Таким образом, пять товарищей, назначенных ЦК, должны были дополнительно войти в состав того самого Военно-Революционного Комитета, председателем которого состоял Троцкий. Ясно, что Троцкого незачем было вводить вторично в состав той организации, председателем которой он уже состоял.

(Л. Троцкий. Сталинская школа фальсификации. Стр. 26-27.)

Когда Сталин физически уничтожил чуть ли не всех участников Октябрьского переворота (считаные из них умерли естественной смертью) и всю историю ВКП(б) переписал заново, этот вытащенный им в 1924 году из партийных архивов протокол о создании так называемого «практического центра по руководству восстанием» стал уже чуть ли не единственным, во всяком случае основополагающим документальным подтверждением сталинской версии истории Октябрьского переворота:

16 октября состоялось расширенное заседание ЦК партии. На нем был избран Партийный центр по руководству восстанием во главе с тов. Сталиным. Этот Партийный центр являлся руководящим ядром Военно-революционного комитета при Центральном Совете и руководил практически всем восстанием.

(История Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков). Краткий курс. 1938 г. Стр. 197.)

В 1924 году, оперируя этим протоколом, Сталин стремился доказать, что он, в отличие от Троцкого, входил в некий партийный центр, руководивший восстанием. Теперь уже как нечто безусловное утверждалось, что он (Сталин) был не одним из пяти членов этого партийного центра, а что центр этот, который «руководил практически всем восстанием», был сформирован «во главе с тов. Ста~ линым».

В соответствие с этой новой (теперь уже бесспорной, непререкаемой) исторической версией были приведены и строки Маяковского, в которых упоминался «товарищ Сталин».

Теперь они печатались в таком виде:

— Вас
вызывает
товарищ Сталин.
Направо
третья,
он
там
— Товарищи,
не останавливаться!
Чего стали?
В броневики
и на почтамт!
– Есть!
повернулся
и скрылся скоро,
и только
на ленте
у флотского
под лентой
блеснуло —
«Аврора».

Механическим изъятием одной строки («По приказу товарища Троцкого») редактор (цензор), может быть, сам о том не помышляя, добился многого. В сцене восстания, изображенной поэтом, все теперь происходит иначе, чем было у Маяковского. Приказ: «В броневики и на почтамт!» исходит теперь не от «товарища Троцкого», а от «товарища Сталина». И флотский отвечает «Есть!», выполняя распоряжение не Троцкого, а Сталина. И вообще во всей этой сцене есть теперь только один человек, отдающий распоряжения и приказы, которым все должны подчиняться. И человек этот — Сталин.

Для того, чтобы внести эти коррективы (и в «Краткий курс истории ВКП (б)», и в поэму Маяковского), Сталину пришлось пролить много крови. И ушло у него на это (с 1924 до 1938 года) — ни мало ни много, — четырнадцать лет.

А в 1924-м, когда Маяковский создавал свою поэму, борьба была еще в самом разгаре.

В то время сшибка двух противостоящих друг другу легенд была едва ли не главным, — во всяком случае, самым острым — проявлением политического противостояния двух главных претендентов на роль законного и единственного наследника Ленина.

Строка Маяковского — «Вас вызывает товарищ Сталин!» — в этой накаленной обстановке острейшей внутрипартийной борьбы обретала совершенно особый и крайне актуальный политический смысл. И Сталин не мог этот ее смысл не оценить. Этой строкой Маяковский словно бы подал ему сигнал: дал понять, на чьей он стороне в том судьбоносном противостоянии.

Но помимо этого, очевидного, у Сталина были еще и свои личные, не всем понятные, но для него весьма важные причины, чтобы не просто оценить эти строки Маяковского, но воспринять их как неожиданный и в ту пору необычайно ценный для него подарок.

Дело в том, что 25 октября, в тот роковой день, повернувший судьбу страны и определивший ее будущее на долгие годы, **Сталина в Смольном не было.**

Объяснить этот загадочный факт пытались многие историки Октябрьского переворота.

Объясняли по-разному:

> Не все биографы Сталина придают значение тому, что Сталин оказался в тот день не у дел. Такер, например, вообще обходит этот вопрос молчанием. Улам находит этому довольно изощренное объяснение: он считает, что задание Сталина как раз в том и состояло, чтобы не принимать активного участия в восстании, дабы не подвергать себя риску ареста. Наоборот, Сталин должен был оставаться в тени, поскольку входил в ту резервную часть партийного центра, которая могла принять на себя руководство в случае, если восстание даст осечку.
>
> Из всех западных биографов Сталина наиболее остро ощущал необходимость как-то логически обосновать и объяснить, почему Сталин не принимал участия в событиях 24 октября, Дейчер. Он пишет: «Отсутствие, бездеятельность Сталина в штабе во время восстания невозможно объяснить. Это остается странным и непреложным фактом».
>
> Советский историк Городецкий критикует «ошибочную» позицию Сталина в редакционной статье «Что нам нужно?» от 24 октября и произнесенную в тот же день на совещании большевистской фракции, что Сталин отводит слишком много места оборонительной стороне деятельности ВРК. Однако Городецкий не делает никаких попыток объяснить этот промах Сталина. Возможно ли все-таки найти удовлетворительное объяснение той загадке, которая поставила в тупик Дейчера? Отчасти… ответ на этот вопрос заключается в том, что другие лидеры, и в особенности Троцкий и Свердлов, не захотели привлечь Сталина к участию в подготовке и осуществлению восстания.
>
> ***(Роберт Слассер. Сталин в 1917 году. М. 1989, стр. 273—274.)***

Развивая и укрепляя эту свою догадку, автор цитируемой книги выдвигает далее другое объяснение, которое кажется мне более правдоподобным, потому что оно исходит из понимания некоторых особенностей характера и личности Кобы, хорошо нам знакомым по множеству других фактов и обстоятельств его политической биографии:

> Его не было на заседании утром 24 октября, потому что Свердлов, созывая товарищей, не потрудился оповестить Сталина, кроме того, наведаться в партийный штаб ему помешала собственная безынициативность…
>
> Сталина, разумеется, никак нельзя было упрекнуть в недостатке ума, но порой он с трудом воспринимал новую для себя ситуацию… Наиболее успешно он добивался своих целей тогда, когда действовал осторожно, обдуманно и энергично в ситуации, досконально изученной им на основании прошлого опыта. Осуществление большевиками операции по захвату власти представляло собой уникальную, единичную акцию, не оставлявшую больших шансов на успех тем, кто, подобно Сталину, не умел схватывать все на лету, а напротив, готовясь к тем или иным событиям, нуждался в предварительных прикидках и примерках.
>
> ***(Там же, стр. 276.)***

Самым важным, ключевым словом в этом объяснении является, как мне кажется, слово «осторожно».

Сталин был осторожен. Он умел и любил выжидать. А главное — он всегда хотел быть уверен в безусловном успехе предприятия, которое затевал или в котором собирался участвовать. В тот момент такой безусловной уверенности в успехе у него, судя по всему, не было.

Но каковы бы ни были причины, из-за которых он в тот день не явился в Смольный, не может быть сомнений, что воспоминание об этом своем промахе было одним из самых тягостных в его жизни. Во всяком случае, более, чем какие-либо другие факты и обстоятельства его биографии мешавших созданию его образа одной из ключевых фигур Октябрьского переворота:

> Что может быть более позорным для человека, претендовавшего на место в руководящей верхушке партии — и уже грезившего о том, чтобы стать ее единственным вождем, — чем упустить великий и неповторимый момент триумфа, момент взятия власти? Потребуются многие километры печатного текста, реки чернил — и крови, — пока Сталин наконец не успокоится, уверившись, что его отсутствие среди тех, кто руководил революцией 1917 года, навсегда стерто из памяти людей.
>
> ***(Там же, стр. 276.)***

В октябре 1917 года Сталин вряд ли мог грезить о том, чтобы стать единственным вождем партии большевиков. Но в 1924-м это была уже не греза, а вполне реальная перспектива. Можно поэтому представить себе, каким елеем пролилось на его сознание свидетельство Маяковского, нарисовавшего картину прямого и руководящего его участия в событиях 25 октября.

Слово «свидетельство» я тут произнес не случайно. Ведь Маяковский в этих своих строчках рассказывает словно бы о том, чему сам был живым свидетелем:

Когда я
итожу
то, что прожил,
и роюсь в днях
ярчайший где,
я вспоминаю…

А из его автобиографии известно:

> ОКТЯБРЬ
> Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня не было. Моя революция.
> Пошел в Смольный. Работал.
>
> ***(В. Маяковский. «Я сам».)***

Получается, что в тот день он в Смольном был. И все, о чем рассказал в своей поэме, видел собственными глазами и слышал собственными ушами.

Но факты это опровергают. А факты, как любил повторять Сталин, — самая упрямая в мире вещь.

* * *

Было бы крайне глупо на основании всего выше сказанного сделать вывод, что Маяковский — сознательно — внес свой вклад в создание культа Сталина. Хотя для такого предположения дают некоторое основание не только рассмотренные нами строки, но и другие — на первый взгляд, даже еще более впечатляющие:

Я хочу,
чтоб к штыку

приравняли перо.
с чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов,
чтобы делал
от Полибюро,
доклады Сталин.

В таком прочтении эти четыре строки вполне могли стать (и стали!) краеугольным камнем того пьедестала, на котором возвышалась бы грандиозная фигура вождя. Но в контексте стихотворения эта строфа звучала совсем иначе.

Попробуйте прочесть ее просто, буднично, не отделяя от предыдущих и последующих строк, то есть — ТАК, КАК ОНА НАПИСАНА:

Не хочу,
Чтоб меня, как цветочек с полян,
рвали
после служебных тягот.
Я хочу,
чтоб в дебатах
потел Госплан,
мне давая
задания на год.
Я хочу,
чтоб над мыслью
времен комиссар
с приказанием нависал.
Я хочу,
чтоб сверхставками спеца
получало
любовищу
сердце.
Я хочу
чтоб в конце работы
завком
запирал мои губы
замком.
Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо,
с чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов,
от Полибюро,
чтобы делал
доклады Сталин.
«Так, мол, и так»
и до самых верхов
прошли
из рабочих нор мы:
В Союзе
Республик

понимание стихов
выше
довоенной нормы…»
Я хочу быть понят
моей страной,
а не буду понят —
что ж,
по родной стороне
пройду стороной,
как проходит
косой дождь.

«Маткой» тех метафор, в ряду которых возник образ Сталина, делающего на Политбюро доклады «о работе стихов» («Я хочу, чтоб в дебатах потел Госплан…», «Я хочу, чтоб сверхставками спеца…», «С чугуном чтоб и с выделкой стали…» и т.д.), была главная, центральная метафора, которую они разворачивают, наполняя конкретностью, временами жутковатой («Я хочу, чтоб в конце работы завком запирал мои губы замком»). Вот она, эта главная метафора:

Вот лежу,
уехавший за воды,
ленью
еле двигаю
моей машины части.
Я себя
советским чувствую
заводом
вырабатывающим счастье.

В контексте этой развернутой метафоры Сталин занимает примерно такое же место, как Госплан или завком. Он упоминается здесь лишь постольку, поскольку именно он на партийных съездах делал доклады о чугуне и «выделке стали». Делал бы эти доклады кто-нибудь другой, Маяковский зарифмовал бы фамилию этого другого.

Маяковский, неизменно стремившийся быть конкретным, любил вставлять в свои стихотворные строки — и даже зарифмовывать — фамилии реальных исторических лиц:

Буржуевы зубья
ощерились разом.
Раб взбунтовался!
Плетями,
да в кровь его! —
И ручку
Керенского
водят приказом —
на мушку Ленина!
В Кресты Зиновьева!

Зарифмовывал он не только фамилии главных «вождей», но и лиц второго и даже третьего ряда:

И один
из ворвавшихся,

пенснишки тронув,
объявил,
как об чем-то простом
и несложном:
«Я,
председатель реввоенкомитета
Антонов,
Временное
правительство
объявляю низложенным».

Или:

Но вот
издалёка,
оттуда,
из алого
в мороз,
в караул умолкнувший наш,
чей-то голос
— как будто Муралова —
«Шагом марш».

Позже, после «великой чистки» 37-го, когда фамилии не только Троцкого и Зиновьева, но и Антонова-Овсеенко, и Муралова стали неупоминаемыми, во всех изданиях Маяковского (аж до самой хрущевской «оттепели») на месте этих рифм зияли черные дыры. При этом создавалось ложное впечатление, будто Маяковский, как известно, придававший рифме исключительное значение («Говоря по-нашему, рифма — бочка. Бочка с динамитом. Строчка — фитиль. Строка додымит, взрывается строчка, — и город на воздух строфой летит»), мог какие-то свои строки оставить незарифмованными. Но кто тогда считался с такими пустяками. Подумаешь! Эко дело — рифма! Снявши голову, по волосам не плачут.

Сто пятьдесят лет со дня рождения Пушкина (в 1949 году) страна отмечала не так громко, как двухсотлетие, но все-таки достаточно помпезно.

Было, как водится, торжественное заседание в Большом театре. В президиуме сидели члены Политбюро и другие, как принято тогда было говорить, «знатные люди нашей Родины».

Доклад о жизни и творчестве великого поэта делал Константин Симонов.

Само собой, и весь ход этого торжественного заседания, и симоновский доклад транслировались по радио на всю страну.

Но широкие народные массы, — особенно где-нибудь там, в глубинке, — большого интереса к этому мероприятию не проявляли.

Во всяком случае, в маленьком казахском городке, на центральной площади которого был установлен репродуктор, никто — в том числе и местное начальство — не ожидал, что доклад Симонова вдруг вызовет у населения такой жгучий интерес.

Репродуктор хрипел что-то свое, не слишком разборчивое. Площадь, по обыкновению, была пуста. Но к началу торжественного заседания, транслировавшегося из Большого театра, вернее — к началу симоновского доклада — вся площадь вдруг заполнилась толпой всадников, прискакавших неведомо откуда. Всадники спешились и молча застыли у репродуктора

Менее всего были они похожи на тонких ценителей изящной словесности. Это были совсем простые люди, худо одетые, с усталыми, изможденными лицами. Но в казенные слова

симоновского доклада они вслушивались так, словно от того, что сейчас скажет там, в Большом театре, знаменитый поэт, зависела вся их жизнь.

Но в какой-то момент, где-то примерно в середине доклада, они вдруг потеряли к нему всякий интерес. Вскочили на своих лошадок и ускакали — так же неожиданно и так же стремительно, как появились.

Это были сосланные в Казахстан калмыки. И примчались они из дальних мест своего поселения в этот городок, на эту площадь, с одной-единственной целью: услышать, произнесет ли московский докладчик, когда он будет цитировать текст пушкинского «Памятника» (а он ведь непременно будет его цитировать! Как же без этого?), слова: «И друг степей калмык».

Если бы он их произнес, это означало бы, что мрачная судьба сосланного народа вдруг озарилась слабым лучом надежды.

Но, вопреки их робким ожиданиям, Симонов этих слов так и не произнес.

«Памятник» он, конечно, процитировал. И даже соответствующую строфу прочел. Но — не всю. Не до конца:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус…

И — всё. На «тунгусе» цитата была оборвана.

Я тоже слушал тогда (по радио, конечно) этот доклад. И тоже обратил внимание на то, как странно и неожиданно переполовинил докладчик пушкинскую строку. Но о том, что стоит за этой оборванной цитатой, узнал гораздо позже. И историю эту про калмыков, примчавшихся из дальних мест, чтобы послушать симоновский доклад, мне тоже рассказали потом, много лет спустя. А тогда я только с удивлением отметил, что при цитировании пушкинского «Памятника» у докладчика почему-то пропала рифма. И очень удивился, что Симонов (поэт все-таки!) ни с того ни с сего вдруг изувечил прекрасную пушкинскую строку.

Пропавшую рифму Пушкину вернули лишь восемь лет спустя. Только в 57-м (после смерти Сталина, после XX съезда) сосланный народ возвратился в родные калмыцкие степи, и текст пушкинского «Памятника» мог наконец цитироваться в своем первозданном виде. Даже со сцены Большого театра.

Если из высших политических интересов даже у Пушкина (которого Сталин, как шутили в то время, в 37-м сделал членом Политбюро) можно было ампутировать рифму, так что уж церемониться с Маяковским, который сам сказал: «Умри, мой стих, умри, как рядовой, — как безымянные на штурмах мерли наши».

В случаях с Троцким, Зиновьевым, Антоновым и Мураловым привычка Маяковского зарифмовывать фамилию любого, даже не очень крупного «вождя» нанесла его стихам некоторый урон. Зато в случае со Сталиным, фамилию которого он зарифмовал **дважды** , тот же любимый прием как будто пошел ему во благо?

Это, как говорят в таких случаях герои Зощенко, еще вопрос и ответ. И от ответа на этот роковой вопрос нам не уйти.

Но — всему свое время.

Сюжет второй
«Я НЕ БУДУ ЧИТАТЬ «ХОРОШО!»…»

При жизни Маяковского Сталин (в отличие от Ленина), — если не считать тех аплодисментов в Большом театре, — своего отношения к Маяковскому никак не проявил. Но после его самоубийства отношение это проявилось как отчетливо неприязненное.

Вообще-то в этой его неприязни к Маяковскому вроде не было ничего неожиданного. Зная эстетические вкусы и симпатии Сталина, а главное, его эстетические установки, предписанные всему советскому искусству, Маяковский не мог ему нравиться.

Установки эти, как мы помним, состояли в утверждении простоты и народности и резком осуждении «левацкого сумбура», «левацкого уродства» и вообще всего «левацкого» в искусстве. А Маяковский не просто утверждал и защищал все «левацкое»: он был вождем, лидером Левого Фронта Искусств.

И тем не менее именно его Сталин назвал лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи.

Эта нелогичность сразу была замечена и отмечена многими. В особенности теми, кто сами причисляли себя к «левым».

> СПРАВКА СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР ОБ ОТКЛИКАХ ЛИТЕРАТОРОВ И РАБОТНИКОВ ИСКУССТВА НА СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА» О КОМПОЗИТОРЕ Д.Д. ШОСТАКОВИЧЕ
> *Не позднее 11 февраля 1936 г.*
> …Нами зафиксированы отрицательные и антисоветские высказывания отдельных писателей и композиторов.
> Ниже приводятся наиболее характерные из отрицательных отзывов.
> **Олеша Ю.** (прозаик): «В связи со статьей в «Правде» против Шостаковича я очень озабочен судьбой моей картины, которая должна со дня на день поступить на экран. Моя картина во много раз левей Шостаковича… Мне непонятны два разноречивых акта: восхваление Маяковского и унижение Шостаковича. Шостакович — это Маяковский в музыке, это полпред советской музыки за границей, это гениальный человек, и бедствием для искусства является удар по Шостаковичу…»
> **Виктор Шкловский** (литератор): «После того, как появилась резолюция Сталина о Маяковском, ей сразу постарались дать ограничительное толкование. Дескать, к Асееву это не относится. Теперь разнесли Шостаковича и не преминули мимоходом лягнуть Мейерхольда…
> **Вс. Мейерхольд** : «Пастернак не едет на пленум ССП, несмотря на то, что его приглашали. Он очень расстроился появлением статьи о Шостаковиче, т.к. принял на свой счет установку о понятности. Его стихи, конечно, непонятны, и он это знает.
> Шостаковича… ударили слишком сильно. Он теперь не будет знать, как писать. Что бы делал Маяковский, если бы ему сказали: пиши так-то, ну, например, как Тургенев».
> ***(Власть и художественная интеллигенция. Стр. 290—294.)***

Очевидный и даже кричащий разнобой в оценке Сталиным Маяковского и Шостаковича и впрямь было трудно понять. Это была какая-то «двойная бухгалтерия», недоступная понимаю людей, руководствующихся привычной логикой.

Но у Сталина была своя логика, и из троих «левых», высказывания которых я тут привел, эту сталинскую логику понял только один: Виктор Шкловский.

Он сразу, еще до появления статьи «Сумбур вместо музыки», смекнул, что сказанное Сталиным о Маяковском на Асеева не распространяется.

Позже, когда последовало соответствующее разъяснение (статьей «Сумбур вместо музыки»), это поняли уже многие:

Если Маяковский
в нашей стране
каждым поколением
читается
заново,

это
ни в коем случае
не
распространяется
на
Кирсанова.

(А.М. Арго «Сатирические очерки из истории русской литературы». ГИХА, М. 1939, стр. 53-54.)

Но Сталин даже особенно и не старался привести свою логику в соответствие с привычной, общепринятой.

Ленин в этом смысле был последовательнее Сталина Он недолюбливал Маяковского и откровенно в этом признавался. Ленину претила сложность Маяковского, его приверженность «левым формам», его футуризм, потому что он искренно хотел, чтобы искусство было доступно массам.

Сталину было на все это в высшей степени наплевать.

На словах признавая только «пропагандное» искусство, доступное массам, доходчивое и т.п., он мог одновременно желать, чтобы его воспел какой-нибудь сюрреалист или мистик на своем, не имеющем никакого пропагандного значения, «птичьем», сюрреалистическом или мистическом языке. Потому что сюрреалист или мистик — это «чужой», а если даже «чужие» меня признают, значит, я и в самом деле чего-то стою.

Но я тут слегка уклонился в сторону. Речь-то ведь шла о неприязненном отношении Сталина к Маяковскому, проявившемся чуть ли не на другой день после его самоубийства.

Эта неприязнь была связана не с отношением Сталина к эстетике или поэтике Маяковского, не с отношением к его стихам, а с его реакцией на сам факт самоубийства, который он воспринял очень болезненно.

Помимо естественной реакции политика на это событие как на некий социально значимый факт, у него для такого болезненного отношения были и свои, дополнительные причины сугубо личного свойства. Но об этом — позже. А пока — перечислю лишь некоторые факты и обстоятельства, позволившие мне сделать такой вывод.

* * *

26 апреля 1930 года (со дня гибели Маяковского не прошло и двух недель) Сталин получил адресованное ему и Молотову обращение руководства РАПП, в котором заявлялся решительный протест против настойчивого стремления представить Маяковского «идеальным типом пролетарского писателя, образцом революционного борца и т.д.». Маяковский, по мнению рапповцев, такой чести не заслужил, потому что никогда не был настоящим пролетарским поэтом: сознание его было отравлено трупным ядом буржуазного индивидуализма и прочими язвами капитализма, доставшимися ему в наследство от старого мира. Все это отчетливо проявилось в его творчестве, на что они, рапповцы, всегда указывали и что теперь с удручающей ясностью выявилось в самом факте его самоубийства.

Все эти идеи и соображения были высказаны еще две недели назад, в написанном Л. Авербахом «Воззвании РАПП», появившемся в печати на другой день после сообщения о трагической гибели поэта:

> Застрелился В. Маяковский, оставив огромной массе своих читателей, своим друзьям, товарищам по борьбе и работе признание в том, что он, Владимир Маяковский, революционный поэт, кончает жизнь самоубийством, так как его «любовная лодка разбилась»… Воевавший в своем творчестве против всяких жалких «любовишек» и семейных, камерных драм, отдавший оружие своего

художественного слова борьбе за новую жизнь, в которой не будет места маленьким, личным чувствам, он сам оказался жертвой цепкой силы старого мира. У этого огромного поэта, призывавшего миллионы трудящихся к революционной переделке жизни, не хватило сил для переделки своего собственного узколичного семейно-бытового уголка… Нет сомнения в том, что, если бы поэт остался жить, он смог бы преодолеть те изъяны в его творчестве, которые были результатом неполного усвоения мировоззрения пролетариата. И вот Маяковский прервал свой общественный и поэтический рост выстрелом из револьвера. Смерть Маяковского говорит еще раз всем художникам, по-настоящему желающим идти рука об руку с великим классом, осуществляющим социализм, о том, как сложна борьба со старым миром, с его индивидуализмом, с его отвратительной цепкостью.

Секретариат РАПП

Реакция на письмо руководителей РАПП, обращенное к Сталину и Молотову, была такая:

Предлагаю поручить кому-нибудь из авторов записки дать статью по затронутому ими вопросу в «Правде».

(Из архива «Правды». После рокового выстрела. «Правда», 22 июля 1988 г.)

Резолюцию эту на «Записку» наложил Молотов. Но трудно себе представить, чтобы он сделал это без согласия и даже прямого указания Сталина.

9 мая 1930 года в «Правде» появилась эта заказанная рапповцам статья — «Памяти Маяковского» (она была подписана Л. Авербахом, В. Сутыриным и Ф. Панферовым). Отношение к Маяковскому, выраженное в ней, было сдержанно критическим.

Такова была первая реакция Сталина на самоубийство поэта.

Второй можно считать то, что он никак не прореагировал на обращение Л.Ю. Брик 21 января 1931 года, просившей его написать хоть несколько слово о поэме Маяковского, которой он год тому назад аплодировал.

У нее, кстати, — так, во всяком случае, ей казалось, — были основания рассчитывать на другую реакцию вождя:

Лили Брик рассказывает подробно, как она написала письмо Сталину…
«Я знала, что Сталин любит Маяковского. Маяковский читал в Большом театре поэму «Ленин». Сталин хлопал ему, высказывал громко свое восхищение. Это я знала».

(К. Чуковский. Аневник. 1930—1969. М. 1994. Стр. 132.)

В письме Горького Сталину, написанном 7 сентября 1932 года, есть такая фраза:

…наконец, посылаю книжку со статьей Святополка-Мирского о Маяковском. В связи с организацией Литвуза мне очень важно — и даже необходимо — знать Ваше мнение о правильности оценки Мирским Маяковского.

(Власть и художественная интеллигенция. Стр. 181.)

Слово «наконец» в начале первой фразы дает основание предположить, что об этой статье Мирского Горький что-то уже сообщал Сталину раньше, и тот ею заинтересовался. Но даже если это и не так, тут важно напомнить, что у Горького было свое, весьма неприязненное отношение к Маяковскому, и не исключено, что, посылая Сталину эту книжку, он хотел, чтобы Сталин эту его неприязнь разделил.

Летом 1930 года Горький написал и напечатал статью «О солитере», в которой, между прочим, писал:

Чем более решительно рабочий класс «ломает хребет» всесоюзному мещанину, тем более пронзительно и жалобно попискивает мещанин, чувствуя, что окончательная гибель приближается к нему все быстре…

…Лирико-истерический глист пищит:

Тов. Горький! Застрелился Маяковский — почему? Вы должны об этом заявить. История не простит вам молчание ваше.

«Единственный» И.П.! Маяковский сам объяснил, почему он решил умереть. Он объяснил это достаточно определенно. От любви умирают издавна и весьма часто. Вероятно, это делают для того, чтобы причинить неприятность возлюбленной.

Лично я думаю, что взгляд на самоубийство как на социальную драму нуждается в проверке и некотором ограничении. Самоубийство только тогда социальная драма, когда его вызвали безработица, голод. А затем каждый человек имеет право умереть раньше срока, назначенного природой его организму, если он чувствует, что смертельно устал, знает, что неизлечимо болен и болезнь унижает его человеческое достоинство, если он утратил работоспособность, а в работе для него был заключен весь смысл жизни и все наслаждения ее…

Весьма талантливый автор книги «Пол и характер» пессимист Отто Вейнингер застрелился двадцати трех лет, после веселой пирушки, которую он устроил для своих друзей.

Мне известен случай самоубийства, мотивы которого тоже вполне почтенны: года три тому назад в Херсоне застрелился некто, оставив такое объяснение своего поступка:

Я — человек определенной среды и заражен всеми ее особенностями. Заражение неизлечимо, и это вызвало у меня ненависть к моей среде. Работать? Пробовал, но не умею, воспитан так, чтоб сидеть на чужой шее, но не считаю удобным для себя. Революция открыла мне глаза на людей моего сословия. Оно, должно быть, изжилось и родит только бессильных уродов, как я. Вы знаете меня, поймете, что я не каюсь, не проклинаю, я просто признал, что осужден на смерть вполне справедливо и выгоняю себя из жизни даже без горечи.

Это был человек действительно никчемный, дегенеративный, хотя с зачатками многих талантов…

(М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 25, М. 1953, стр. 182-183.)

Все это было очень нехорошо.

Нехорошо называть человека «лирико-истерическим глистом» только потому, что самоубийство знаменитого поэта он счел сигналом бедствия, знаком того, что не все благополучно «в Датском королевстве». Утверждение, что самоубийство только тогда социальная драма, когда его вызвали безработица или голод, — просто глупо. Совсем нехороша компания самоубийц, в которую Алексей Максимович поместил Маяковского. Последний из них, оказывается, был человек дегенеративный. Да и Отто Вейнингер, при всей его одаренности, тоже был дегенератом, — у каждого, кто хоть немного знает о нем, не может быть в том ни малейших сомнений.

Эту статью Горького я тут вспомнил потому, что книга, которую Горький послал Сталину, называлась «Смерть Владимира Маяковского» (Берлин, 1931). В нее вошли статьи Р. Якобсона «О поколении, растратившем своих поэтов» и Д.П. Святополка-Мирского «Две смерти: 1837—1930».

Интересовало Горького, стало быть, не столько мнение Сталина «о правильности оценки» Мирским Маяковского, сколько отношение Сталина к самоубийству поэта. А интерес к этой теме у Сталин был весьма острый. И он не утих даже после того, как он начертал на втором письме Л.Ю. Брик свою знаменитую резолюцию («Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи»).

В архиве Сталина сохранилось обращенное к нему письмо Зинаиды Николаевны Райх (29 апреля 1937 г.), известной в то время актрисы, жены В.Э. Мейерхольда. Письмо сумбурное, путаное. Основной темой этого послания были дела театральные, попытка

защитить Мейерхольда, над которым уже сгущались тучи (Керженцев публично назвал его чуть ли не «врагом народа»).

Но была в этом ее письме Сталину вскользь брошена такая фраза:

> *Сейчас у меня к Вам два дела. 1-е — это всю правду наружу о смерти Есенина и Маяковского* . Это требует большого времени (изучения всех материалов), но я Вам все, все расскажу и укажу все дороги.
>
> ***(Власть и художественная интеллигенция. Стр. 266.)***

В оригинале письма текст, выделенный курсивом, подчеркнут карандашом, — видимо, рукой Сталина. (Быть может, рукой его помощника А.Н. Поскребышева, но это дела не меняет: верный сталинский пес отлично знал, ЧТО больше всего может — должно! — заинтересовать в этом письме Хозяина.)

Об особом интересе Сталина к самоубийству Маяковского и о его отношении к этому событию свидетельствуют и многие другие — лишь недавно опубликованные — документы.

> ИЗ ПИСЬМА И.В. СТАЛИНА К.С. СТАНИСЛАВСКОМУ
> *9 ноября 1931г.*
> Многоуважаемый Константин Сергеевич!
> Я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийство». Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна. Мнение и мотивы Реперткома можете узнать из приложенного документа.
>
> ***(Власть и художественная интеллигенция. Стр. 158.)***

«Мнение и мотивы» Реперткома, на которые в этом случае ссылается Сталин, для нас тут особенно интересны:

> ОТЗЫВ ГАНДУРИНА (ГЛАВРЕПЕРТКОМ) О ПЬЕСЕ ЭРДМАНА «САМОУБИЙЦА», ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ СТАЛИНУ
> *5 ноября 1931 г.*
> Главное действующее лицо пьесы Эрдмана «Самоубийца» — Федя Петунии.
> О нем говорят в течение всей пьесы, но он ни разу на сцену не появляется.
> Петунии единственный положительный персонаж пьесы (писатель, прозрачный намек на Маяковского) кончает самоубийством и оставляет записку: «Подсекальников прав, жить не стоит».
>
> ***(Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917—1954. М. 2005, стр. 208.)***

С Маяковским у председателя Главреперткома Гандурина были свои счеты. Незадолго до смерти Владимир Владимирович обидел его такой эпиграммой:

> Подмяв моих комедий глыбы,
> сидит Главрепертком Гандурин.
> — А вы ноктюрн сыграть могли бы
> на этой треснувшей бандуре?

Но, объясняя, в чем состоит вредность пьесы Н. Эрдмана «Самоубийца», председатель Главреперткома упомянул в своем отзыве о ней Маяковского не для того, чтобы отплатить уже мертвому поэту эту прошлогоднюю свою обиду. «Верхним» своим собачьим — цензорским — чутьем он почуял, что самоубийство Феди Петунина и его предсмертная реплика того и гляди натолкнет кого-нибудь из зрителей на мысль, что и Маяковский, решив в 1930 году покончить все счеты с жизнью, тоже был прав.

Такие мысли, кстати, время от времени уже высказывались. И чем дальше, тем чаще, а главное — тем яснее и определеннее:

ИЗ СПЕЦСПРАВКИ СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР О НАСТРОЕНИЯХ СРЕДИ ПИСАТЕЛЕЙ.

С. Буданцев: «Сейчас перед многими из нас стоит вопрос об уходе из жизни. Только сейчас становится особенно ясной трагедия Маяковского: он, по-видимому, видел дальше нас.

(Власть и художественная интеллигенция. Стр. 340.)

Донесения такого рода Сталину, надо полагать, докладывались.

Особый интерес в этом смысле представляет «Протокол беседы М.М. Зощенко с сотрудником Ленинградского управления НКГБ СССР 20 июня 1944 года».

Таково официальное название этого документа. Но правильнее его было бы назвать «Протоколом беседы сотрудника Ленинградского управления НКГБ СССР с М.М. Зощенко»: вряд ли ведь Михаил Михайлович сам, по доброй воле вдруг заглянул в Ленинградское управление НКГБ СССР и обратился к одному из его сотрудников: давайте, мол, побеседуем. Еще правильнее было бы назвать этот документ протоколом допроса, поскольку «беседа» состоит из вопросов, которые задавал Михаилу Михайловичу сотрудник пресловутого управления, и ответов писателя на эти вопросы.

Один из этих вопросов и ответов был такой:

— Считаете ли вы ясной теперь причину смерти Маяковского?

— Она и дальше остается загадочной. Любопытно, что револьвер, из которого застрелился Маяковский, был ему подарен известным чекистом Аграновым.

— Позволяет ли это предполагать, что провокационно было подготовлено самоубийство Маяковского?

— Возможно. Во всяком случае, дело не в женщинах. Вероника Полонская, о которой было столько разных догадок, говорила мне, что с Маяковским интимно близка не была.

(Власть и художественная интеллигенция. Стр. 515.)

Степень близости Маяковского с Вероникой Витольдовной Полонской давно уже не составляет секрета. Но тут интересен не ответ Михаила Михайловича на вопрос сотрудника управления НКГБ, а **сам вопрос.**

Продиктован он был, разумеется, не надеждой, что М.М. Зощенко приподнимет наконец завесу над тайной гибели Маяковского. Интерес для сотрудника НКГБ тут состоял в том, чтобы узнать, ЧТО ГОВОРЯТ в писательских кругах об этой загадочной смерти, как ее оценивают. И уж не потому ли этот вопрос был Михаилу Михайловича задан, что этим интересовалась вышестоящая, а быть может, и самая высокая «Инстанция» (так в секретных чекистских донесениях именовался Сталин).

Я уже говорил, что отношение Сталина к самоубийству — не самоубийству Маяковского, а самоубийству вообще, самоубийству как таковому (думаю, не случайно он оговорился и пьесу Н. Эрдмана «Самоубийца» в своем письме Станиславскому назвал «Самоубийство»), — так вот отношение его к самому факту самоубийства (о чьем бы самоубийстве ни шла речь) было весьма своеобразным.

Ни тени жалости к человеку, решившему покончить все свои счеты с жизнью, ни тени сочувствия, ни малейшего стремления вникнуть в его драму и понять ее не испытывал он даже, когда дело касалось самых близких его людей.

Только одно чувство в этих случаях терзало его душу: «Как мог он (она) нанести такой удар МНЕ!»

Попытку самоубийства предпринял однажды старший сын Сталина Яков.

О реакции отца на этот поступок брата рассказывает дочь Сталина Светлана:

…Отец был недоволен его переездом в Москву (на этом настаивал дядя Алеша Сванидзе), недоволен его первой женитьбой, его учебой, его характером — словом,

всем… Доведенный до отчаяния отношением отца, совсем не помогавшего ему, Яша выстрелил в себя у нас в кухне, на квартире в Кремле. Он, к счастью, только ранил себя, — пуля прошла навылет. Но отец нашел в этом повод для насмешек: «Ха, не попал!» — любил он поиздеваться.

(Светлана Аллилуева, Двадцать писем к другу. М. 1990. Стр. 97.)

8 ноября 1932 года выстрелом из револьвера покончила с собой жена Сталина Надежда Сергеевна Аллилуева. Вот что говорит о реакции отца на эту драму та же Светлана:

…Смерть мамы, которую он воспринял как личное предательство, унесла из его души последние остатки человеческого тепла.

(Светлана Аллилуева. Только один год. М. 1990. Стр. 323.)

Личное предательство! Это было главным в той буре чувств, которую вызвало в его душе самоубийство самого близкого ему человека

Из воспоминаний той же Светланы:

Отец был потрясен случившимся. Он был потрясен, потому что он не понимал: за что? Почему ему нанесли такой ужасный удар в спину? Он был слишком умен, чтобы не понять, что самоубийца всегда думает «наказать» кого-то — «вот, мол, на, вот тебе, ты будешь знать!» Это он понял, но он не мог осознать — почему? За что его так наказали?..

И он спрашивал окружающих: разве он был невнимателен? Разве он не любил и не уважал ее как жену, как человека? Неужели так важно, что он не мог пойти с ней лишний раз в театр? Неужели это важно?

Первые дни он был потрясен… Отца боялись оставить одного, в таком он был состоянии. Временами на него находила какая-то злоба, ярость. Это объяснялось тем, что мама оставила ему письмо.

Очевидно, она написала его ночью. Я никогда, разумеется, его не видела Его, наверное, тут же уничтожили, но оно было, об этом мне говорили те, кто его видел. Оно было ужасным. Оно было полно обвинений и упреков. Это было не просто личное письмо: это было письмо отчасти политическое. И, прочитав его, отец мог подумать, что мама только для видимости была рядом с ним, а на самом деле шла где-то рядом с оппозицией тех лет.

Он был потрясен этим и разгневан и когда пришел прощаться на гражданскую панихиду, то, подойдя на минуту к гробу, вдруг оттолкнул его от себя руками и, повернувшись, ушел прочь. И на похороны он не пошел…

Он ни разу не посетил ее могилу на Новодевичьем. (Светлана Аллилуева. Двадцать писем к другу. Стр. 107—108.)

Я думаю, что Сталину было не так уж важно, какого рода обвинения и упреки содержались в предсмертном письме его жены. Носили они политический или сугубо личный характер. Неважно, застрелилась она потому, что разошлась с ним по причинам политического свойства, или потому, что он не мог (или не хотел) пойти с ней лишний раз в театр. Важно для него было только одно: своим самоубийством она нанесла ему **удар в спину** . И гнев, злоба и ярость, которые охватили его, были рождены тем, что, — в чем бы ни состояло существо их споров и разногласий, — самовольно уйдя из жизни, она сделала так, что последнее слово в этих их спорах осталось за ней.

А он всегда стремился к тому, чтобы при любых обстоятельствах, во всех его спорах и разногласиях с кем бы то ни было, **последнее слово всегда оставалось за ним.**

Ему мало было убить Зиновьева и Каменева, Бухарина и Рыкова. Ему надо было, чтобы они публично признались, что в их борьбе со Сталиным **прав был он. Всегда и во всем** . И когда Томский и Гамарник застрелились, уйдя от публичного судилища и публичных признаний (известно, какой ценой достигаемых) **его правоты** , он наверняка испытал тот же гнев, ту же бессильную злобу и ярость, какие испытал, когда его Надя покончила с собой,

избежав последнего объяснения, в котором он, конечно же, сумел бы ей доказать, что всегда и во всем был прав.

Продолжая размышлять о реакции отца на самоубийство матери, Светлана Аллилуева мимоходом замечает:

> В те времена часто стрелялись. Покончили с троцкизмом, начиналась коллективизация, партию раздирала борьба группировок, оппозиция. Один за другим кончали с собой многие крупные деятели партии. Совсем недавно застрелился Маяковский…
>
> ***(Светлана Аллилуева. Двадцать писем к другу. Стр. 109.)***

Упоминание Маяковского в этом ряду невольно наводит на мысль: уж не считал ли Сталин, что и Маяковский, как покончившая с собой его жена, как покончившие с собой «крупные деятели партии», выстрелив себе в сердце, **тоже совершил по отношению к нему личное предательство?**

Предположение это отнюдь не бессмысленно.

Если вдуматься, для такого отношения к самоубийству Маяковского у Сталина причин было не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем во многих других случаях. Ведь выстрел Маяковского был личным «проколом», личным поражением Сталина. Хотел того Маяковский или нет, но, выстрелив себе в сердце, он громогласно, во весь голос сказал стране и миру, что **не верит в сталинский социализм.**

В январе 1930 года Маяковский написал и опубликовал небольшое стихотворение, как бы продолжающее начатый год назад его «Разговор с товарищем Лениным».

Там он обещал:

«Товарищ Ленин,
я вам докладываю
не по службе,
а по душе.
Товарищ Ленин,
работа адовая
будет
сделана
и делается уже…»

В теперешнем его рапорте Ильичу, в сущности, то же обещание, та же клятва. Но теперь она звучит несколько по-иному:

— Мы счистим подлиз
и вредителей слизь,
мы труд
разупорствуем
втрое,
но твой
человеческий
социализм
на всей
планете
построим!

Ничего такого уж особенного, а тем более сенсационного в этих строках вроде нет. Но если поставить их в контекст уже обязательных в то время пропагандистских лозунгов, выглядеть они будут довольно-таки странно.

Начать с того, что Ленина в то время уже не полагалось упоминать в одиночку. Рядом с его именем непременно должно было стоять имя Сталина.

Ну, в данном случае, допустим, это было не обязательно, поскольку стишок был приурочен к 6-й годовщине смерти Ленина, так что вполне мог быть обращен к нему одному.

Но странности на этом не кончаются.

О построении социализма «на всей планете» тогда говорить было уже не принято. Цель неимоверных усилий партии и народа, всей этой «адовой работы» состояла в том, чтобы построить социализм «в одной, отдельно взятой стране». Обещание построить социализм в планетарном масштабе напоминало о теории «перманентной революции», то есть слегка даже отдавало «троцкизмом».

Но главным тут было даже и не это.

Главная «крамола», содержащаяся в этом четверостишии, заключалась в эпитете к слову социализм. Социализм, который поэт обещает Ленину в недалеком будущем построить на всей планете, будет, во-первых, «твой», то есть ленинский, а во-вторых, — и это главное! — **человеческий** .

Хотел того Маяковский или это вышло у него случайно, но тут явно читается некое противопоставление. Ленинский **человеческий** социализм противопоставлен **бесчеловечному** сталинскому.

Спустя тридцать лет это противопоставление станет осознанным, демонстративным, отлившись в чеканную политическую формулу: **«Социализм с человеческим лицом».** И окажется оно для наследников сталинского социализма таким опасным, что придется им из-за него даже вводить войска в соседнее дружественное государство.

Понимал ли Маяковский, складывая эти строки, ЧТО он написал? Сознательная, обдуманная это была формула или противопоставление ленинского социализма сталинскому возникло у него непроизвольно, вырвалось из подсознания как некая случайная проговорка?

Ахматова считала, что Маяковский «все понял» очень рано. «Раньше нас всех», — сказала она.

> «…писать «Моя милиция меня бережет» — это уже за пределами. Можно ли себе представить, чтобы Тютчев, например, написал «Моя полиция меня бережет»? «Впрочем, могу вам объяснить, — вернулась она к этой теме в другом разговоре. — Он все понял раньше всех. Во всяком случае, раньше нас всех. Отсюда «в окнах продукты, вина, фрукты», отсюда и такой конец».
>
> ***(Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой.)***

Сомневаюсь, что «в окнах продукты, вина, фрукты» он написал потому, что «все понял раньше всех». Для этого у него были и другие причины, не менее серьезные. Но кое-какая ясность насчет того, что представляет собой его любимая «страна-подросток», у него безусловно была.

Виктор Борисович Шкловский говорил мне, что у него была любимая поговорка, которую он повторял при всяком удобном и неудобном случае:

— У вас хорошее настроение? Значит, у вас плохая информация.

А вот свидетельство еще одного современника:

> …На открытии ЦДРИ в том же подвале, в Пименовском, Маяковского мы попросили выступить, он выступал, читал первое вступление в поэму, и там глупый Гальперин Михаил сказал:
>
> — Владимир Владимирович, прочитайте, пожалуйста, «Хорошо!».
>
> Маяковский сказал:
>
> — Я не буду читать «Хорошо!», потому что сейчас нехорошо.
>
> ***(Виктор Ардов. Из воспоминаний.)***

Но ведь «Хорошо!» он написал не так давно — всего за три года до того, как была произнесена эта фраза. И писал, надо полагать, «не по службе, а по душе».

Что же случилось?

Почему было ХОРОШО и вдруг стало НЕХОРОШО?

Запомнившаяся Ардову реплика («Я не буду читать «Хорошо», потому что сейчас нехорошо») не оставляет сомнений: что-то нехорошее произошло не с ним, а с миром, в котором он жил, который любил, в который верил.

* * *

В 1925 году Политбюро состояло из семи человек: Троцкого, Зиновьева, Каменева, Сталина, Рыкова, Томского и Бухарина. Первые трое были левыми. Именно они и возглавили левую оппозицию, с которой Сталин, опираясь на правых, вел борьбу на протяжении последующих двух лет и которая в 1927 году была окончательно разгромлена

Но и до окончательного разгрома левых правые — вместе со Сталиным — в высшем партийном органе РКП(б), от расстановки сил в котором зависела судьба страны, составляли большинство. А экономическую политику партии и даже ее идеологию в то время практически определял Бухарин.

> Не составляло секрета, что он сыграл ведущую роль в решении расширять НЭП; он открыто высказывался об этом и о своих идеологических новшествах. Он не только являлся вдохновителем взглядов партийного большинства на вопросы промышленного и сельскохозяйственного развития, но и лично написал «основные части» резолюции 1925 года по аграрной политике… Его теоретические предложения по спорным вопросам дня — о расслоении крестьянства и социальном развитии деревни, о характере государственной промышленности и ее взаимосвязи с сельским хозяйством, о закупочно-сбытовых кооперативах, о НЭПе как переходной системе и других проблемах «строительства социализма» — составляли провозглашенную дуумвиратом и, следовательно, партией, идеологию. Официальный большевизм 1925—1926 годов был, в основном, бухаринским; партия следовала по бухаринскому пути к социализму…
>
> ***(Стивен Коэн. «Бухарин». New York, 1974, стр. 226.)***

В свете этой констатации историка становится яснее и понятнее, почему вдруг Маяковский, который по всему строю своих мыслей и чувствований, казалось, должен был сочувствовать левым, вдруг выразил готовность идти направо и даже объявил, что это хорошо:

Розовые лица.
Револьвер
желт.
Моя
милиция
меня
бережет.
Жезлом
правит,
чтоб вправо
шел.
Пойду
направо.
Очень хорошо.

Сделал он это не потому, что привык «колебаться вместе с линией партии» или, как герой Зощенко, «всегда симпатизировал центральным убеждениям», а потому, что этот, увы, недолгий, зигзаг генеральной линии уже дал к тому времени весьма ощутимые результаты. Именно он — этот зигзаг, это решение «расширять НЭП», в принятии которого ведущая роль принадлежала Бухарину, и позволили Маяковскому, не кривя душой, написать:

Окна
    разинув,
стоят
    магазины.
В окнах
    продукты:
вина,
    фрукты.
От мух
    кисея.
Сыры
    не засижены.
Лампы
    сияют.
«Цены
    снижены».
Стала
    оперяться
моя
    кооперация.
Бьем
    грошом
Очень хорошо.

И уж напрямую связаны с Бухариным, с его обращенным к крестьянам знаменитым лозунгом «Обогащайтесь!», вот эти строчки Маяковского:

За городом —
    поле.
В полях —
    деревеньки.
В деревнях —
    крестьяне.
Бороды
    веники.
Сидят
    папаши.
Каждый
    хитр.
Землю попашет,
попишет
    стихи.
Что ни хутор,
от ранних утр
работа люба.

Сеют,
пекут
мне
хлеба.
Доят,
пашут,
ловят рыбицу…

«Землю попашут, попишут стихи» — это, конечно, не всерьез. По-нашему, по-сегодняшнему говоря, — стеб. Но этот стеб, этот насмешливый, ернический тон был возможен только тогда, когда никто еще не помышлял о «развернутом наступлении на кулака», а тем более о «ликвидации кулачества как класса».

Но за разгромом левых последовал разгром правых, и сразу (руки у Сталина были уже развязаны) началась страшная пора «раскулачивания» и всеобщей коллективизации.

Последствия не замедлили сказаться.

В середине 60-х в Коктебеле Борис Слуцкий познакомил меня с художником С.Я. Адливанкиным. Тот за несколько сеансов написал его портрет, и портретом этим Борис очень гордился.

Когда я сказал, что портрет, по-моему, художнику не больно удался, Борис снисходительно улыбнулся:

— Ну, что вы! Портрет, конечно, не дружественный, но очень хороший.

Главную роль в такой его оценке этого «недружественного» портрета сыграл тот факт, что С.Я. Адливанкин в прошлом был футуристом.

К футуристам Борис питал особую слабость.

Узнав, что Адливанкин некогда был футуристом, я своего отношения к написанному им портрету Бориса не изменил, но художником заинтересовался. Особенно, когда узнал, что в годы своей футуристической юности он приятельствовал с Маяковским. Ну и, разумеется, в одном из первых же наших разговоров я спросил его: отчего Маяковский застрелился? С этим вопросом я лез тогда чуть ли не к каждому сверстнику поэта. Ответы бывали разные, иногда очень обидные, даже, как мне казалось, оскорбительные. Один из спрошенных, например, сказал:

— Дали бы вашему любимцу какой ни на есть орденок, он бы и не вздумал стреляться!

Но ответ С.Я. Адливанкина был непохож ни на одно из тех объяснений, которые мне раньше — да и потом — приходилось слышать.

— Много еще будут об этом гадать, спорить, — задумчиво сказал он. — Полная правда, наверно, выяснится не скоро. Но одно мне ясно. Только тот, кто жил в то время, может понять, каким шоком было для всех нас то, что случилось с нашей жизнью в самый канун его самоубийства. Представьте, магазины ломятся от товаров. Швейцарский сыр, икра, балык, розовая свежайшая ветчина, фрукты, Абрау-Дюрсо и прочее… И вдруг вы входите в магазин, а кругом — пустые прилавки. На всех полках только один-единственный продукт: «Бычьи семенники». Маяковский, знаете ли, был очень чувствителен к таким вещам…

Не скрою, это объяснение С.Я. Адливанкина, когда я его услышал, показалось мне каким-то мелким, обывательским.

Не мог же, в самом деле, Маяковский покончить с собой из-за того, что с прилавков магазинов вдруг исчезли швейцарский сыр, икра, балык и свежайшая ветчина.

Но дело было не в ветчине и не в швейцарском сыре.

Это был крах мировоззрения .

* * *

Из тьмы скептических, критических, сатирических и иных полемических выпадов ненавистников социализма едва ли не самый ясный и простой принадлежит русскому поэту Алексею Константиновичу Толстому.

Прошу прощения за непомерно длинную цитату, но она хороша тем, что заменит мне множество других — политических, экономических, философских и всяких иных высказываний этого рода, на которые я тут мог бы сослаться:

Порой веселой мая
По лугу вертограда,
Среди цветов гуляя,
Сам друг идут два лада…

Ей весело, невесте,
«О, милый! — молвит другу, —
Не лепо ли нам вместе
В цветах идти по лугу?»

И взор ее он встретил,
И стан ей обнял гибкий.
«О, милая! — ответил
Со страстною улыбкой, —

Здесь рай с тобою сущий!
Воистину все лепо!
Но этот сад цветущий
Засеют скоро репой!»

«Как быть такой невзгоде! —
Воскликнула невеста, —
Ужели в огороде
Для репы нету места?»

А он: «Моя ты лада!
Есть место репе, точно,
Но сад испортить надо
Затем, что он цветочный!»

«А роща, где в тени мы
Скрываемся от жара,
Ее, надеюсь, мимо
Пройдет такая кара?»

«Ее порубят, лада,
На здание такое,
Где б жирные говяда
Кормились на жаркое;

Иль даже выйдет проще,
О жизнь моя, о лада.
И будет в этой роще
Свиней пастися стадо».

«О друг ты мой единый! —
Спросила тут невеста, —
Ужель для той скотины
Иного нету места?»

«Есть много места, лада,
Но наш приют тенистый
Затем изгадить надо,
Что в нем свежо и чисто!»

«Но кто же люди эти, —
Воскликнула невеста, —
Хотящие, как дети,
Чужое гадить место?»

Им имена суть многи,
Мой ангел серебристый,
Они ж и демагоги,
Они ж и анархисты…

Весь мир желают сгладить
И тем ввести равенство,
Что всё хотят загадить
Для общего блаженства.

При всем отвращении, которое автор этой злой сатиры испытывает к тем, кто «всё хотят загадить для общего блаженства», в одном он им все-таки не в силах отказать: блаженство там или не блаженство, но в случае, если этот безумный проект будет осуществлен, безусловно будет достигнута по крайней мере главная его цель: всеобщая сытость. Что другое, но «жирные говяда» будут, и мяса на жаркое хватит всем.

Сады и рощи вырубят, соловьев «за бесполезность» истребят, но зато не будет больше в мире голодных: всех накормят.

С этим, в общем, были согласны все отрицатели и разоблачители социалистического идеала. Мир, изображенный Замятиным в его антиутопии, ужасен. Но голода там нет: все сыты. Так же обстоит дело и в «прекрасном новом мире» Олдоса Хаксли. То же и у Маяковского в «Клопе»: карточку любимой девушки прикнопить некуда, с поэзией тоже дело плохо, но деревья «мандаринятся» — срывай и ешь в свое удовольствие.

В романе Юрия Олеши «Зависть» — тот же конфликт, то же противоречие. Поэта Кавалерова автор сталкивает с «колбасником» Бабичевым. Поэт впал в ничтожество, «колбасник» торжествует. Мир будущего — это мир «колбасника», строящего грандиозный мясокомбинат «Четвертак». «Колбасник» бездушен и бездуховен, чужд и даже враждебен поэзии. Но он хочет всех накормить дешевой и вкусной колбасой. И, конечно, накормит!

В этом были согласны все. Как бы ни был ужасен и даже страшен мир торжествующего социализма, но это будет мир не голодных, а сытых людей. Что другое, а уж накормить — накормят!

И вот оказалось, что как раз накормить-то и не смогли! Оказалось, что проклятый капитализм — даже в такой жалкой, ублюдочной, подневольной и подконтрольной форме, как НЭП, — справлялся с этой задачей куда лучше, чем «построенный в боях социализм».

Наверно, можно было уговорить себя (как это уже не раз бывало), что бычьи семенники — это временные трудности, порожденные сложностями переходного периода. Но слишком уж очевидно было, что внезапное исчезновение балыка, швейцарского сыра и ветчины и замена всех этих яств бычьими семенниками были прямым следствием удушения последних

остатков капитализма (НЭП) и решительным, крутым поворотом к тому, что страна уже пережила однажды в годы военного коммунизма. И поскольку сворачивать с этого выбранного в 1929 году пути строители социализма не собирались — да и не могли, слишком уж далеко они по этому пути зашли, — эти «временные трудности» стали, как любил выражаться наш вождь, *постоянно действующим фактором* .

* * *

На взятие Парижа немцами в 1940 году Анна Ахматова откликнулась таким стихотворением:

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идет.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, —
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске…

Поэт, — а великий поэт тем более, — отличается от нас, простых смертных, помимо всего прочего еще и тем, что слом эпох он чувствует спинным мозгом. И в тот самый момент, когда этот слом произошел. (Мы начинаем чувствовать и осознавать это потом, когда умершая эпоха «выплывает, как труп на весенней реке».)

Ахматова ощутила смену эпох в августе 1940-го, когда немцы вошли в Париж.

Маяковский почувствовал, что «век вывихнул сустав», десятью годами раньше. И обозначил этот рубеж, этот слом эпох. Правда, не стихами, а собственной смертью. Но смерть поэта, как любил повторять Мандельштам, — это его последний творческий акт.

Если не смысл, то значение этого «последнего творческого акта» Маяковского почувствовал и выразил, пожалуй, только один Пастернак:

Твой выстрел был подобен Этне
В предгорье трусов и трусих.

«Предгорье трусов и трусих» — это вся молчащая, онемевшая страна. Во всяком случае, все те, кто обязан быть ее голосом, но не выполняет (или не может выполнить) это свое предназначение. Это, в сущности, о том же, о чем год спустя скажет Мандельштам:

Мы живем, под собою не чуя страны.
Наши речи за десять шагов не слышны.

Сюжет третий
«БЫЛИ ДВЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ФРАЗЫ…»

Так что же тогда побудило Сталина объявить Маяковского «лучшим, талантливейшим» и — мало того! — превратить эту деловую резолюцию на обращенном к нему письме Л.Ю. Брик в один из главных, как теперь говорят, слоганов целой эпохи?

> Были две знаменитые фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи.
> ***(Борис Пастернак. Люди и положения.)***

Первую из этих двух фраз Сталин произнес на Первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 года. Если цитировать точно, звучала она так: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее».

Страна еще не очнулась от раскулачивания и жуткого голодомора на Украине. Живым свидетельством этого были оборванные,

голодные беспризорники, ютившиеся на московских чердаках и в подвалах и гревшиеся у котлов, в которых варилась густая черная смола для асфальта (мы, мальчишки, называли ее «вар»). На мои детские вопросы, откуда они взялись, отвечали, что это последствия гражданской войны, и мне не приходило в голову, что беспризорники той поры давно уже должны были стать взрослыми.

По какому принципу Пастернак объединил первую знаменитую сталинскую фразу со второй? Не хотел ли он этим сказать, что вторая была такой же лицемерной и лживой, как первая?

Вряд ли.

Скорее эти две фразы слились в его сознании в одну, общую примету времени, потому что обе явились на свет в конце 1935 года.

Итак, дело было в 1935 году. А годом раньше — в 1934-м — в торжественной обстановке проходил Первый Всесоюзный съезд советских писателей.

Доклад о поэзии на этом съезде (полное его название звучало так: «О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР») делал Н.И. Бухарин.

Положение бывшего лидера правой оппозиции было тогда не простым.

В конце 29-го года после изгнания из Политбюро он был назначен начальником Научно-исследовательского сектора ВСНХ СССР. Практически это означало, что отныне он — политический труп. Однако в январе 34-го на «Съезде победителей» он был избран кандидатом в члены ЦК, а 20-го февраля того же года был утвержден на должности ответственного редактора «Известий». Перед ним забрезжила перспектива возвращения в большую политику, пусть и не на прежних ролях. Времена, когда они с другом Кобой были на равных, когда тот предлагал ему что-то вроде дуумвирата («Мы с тобой Гималаи!») — были в далеком прошлом.

Тем не менее, сделать на писательском съезде доклад о поэзии ему было поручено Центральным Комитетом правящей партии, и окончание этого доклада в изданной в том же году стенограмме было обозначено такой ремаркой:

> Бурные аплодисменты всего зала, переходящие в овацию. Крики «ура». Весь зал встает.

Имя Бухарина, стало быть, звучало тогда еще достаточно громко.

В своем докладе Маяковского и Демьяна Бедного он поместил в исторический раздел, сразу после Брюсова. А в главе «Современники» центральное место у него заняли «Тихонов, Сельвинский, Пастернак».

Эти три фамилии я взял в кавычки, как цитату, вспомнив знаменитые в ту пору строки Багрицкого:

> А в походной сумке —
> спички и табак,

Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак.

Эти строки процитировал и Бухарин в своем докладе, прокомментировав их так:

> Это все замечательные поэтические индивидуальности, и на каждом из них следует остановиться особо.

Но остановившись далее «на каждом из них особо», пальму первенства из этих троих он отдал Пастернаку, заключив свой анализ его творчества таким выводом:

> Таков Борис Пастернак, один из замечательнейших мастеров стиха в наше время, нанизавший на нити своего творчества не только целую вереницу лирических жемчужин, но и давший ряд глубокой искренности революционных вещей.

Вывод этот был стократ усилен тем фоном, на котором он прозвучал. Или, лучше сказать, контекстом, в который он был вписан.

Эта высокая оценка Пастернака резко контрастировала с тем, что докладчик перед тем говорил о Демьяне Бедном и Маяковском.

О Демьяне — достаточно откровенно:

> …нам кажется, что теперь поэт не учитывает всех огромных перемен, невероятного роста культуры, усложнения ее, роста ее содержательного богатства, повышенного тонуса других измерений всей общественной жизни. Он берет новые темы, а все остальное остается почти старым. Поэтому он устаревает, и здесь лежит для него явная опасность.

Сказать впрямую, что устарел и Маяковский, что его поэтика в нынешнее время тоже являет собой некий анахронизм, Николай Иванович не посмел. Но намекнул он на это весьма прозрачно:

> Кубарем катились от него враги, а он грозно наступал, его поэзия рычала и издевалась, и росла пирамида творческих усилий этого мощного, оглушительного поэта, — настоящего барабанщика пролетарской революции.

Этот поклон Маяковскому зал встретил бурными аплодисментами. Но рядом с только что прозвучавшими словами о невероятном росте и усложнении культуры его вполне можно было понять в том смысле, что эпоха барабанщиков кончилась, что Маяковский, как и Демьян, — весь в прошлом.

Новое время требует новых песен.

Собственно, это даже и не могло быть понято иначе, в особенности, если эти бухаринские слова о «барабанщике революции» поставить рядом с тем, что в следующей главе своего доклада (как я уже упоминал, она называлась «Современники») Николай Иванович говорил об Асееве:

> *Н. Асеев* — наиболее ортодоксальный «маяковец», труженик стихотворной формы, неутомимый поэт-агитатор, очень злободневный, очень «актуальный», — и притом поэт — несмотря на теоретические свои выпады — большой поэтической культуры…
>
> Безусловная талантливость этого поэта суживается, однако, его теоретической ориентацией.
>
> Он не видит, что «агитка» Маяковского уже не может удовлетворить, что она стала уже слишком элементарной, что сейчас требуется больше многообразия, больше

обобщения, что вырастает потребность в монументальной поэтической живописи, что раскрыты все родники лирики и что даже самое понятие актуальности становится уже иным.
Поэтому, когда сейчас читаешь, например, «Им» (врагам революции):

Ваше оружие —
    мелинит,
паника
    и провокация;
наше —
    уверенность,
        ленинизм,
грамота,
    электрификация, —

то это кажется сухим, слишком газетным, поэтически неубедительным.

Конечно, в 1935 году песенка Бухарина уже была спета. Но он все-таки еще оставался редактором «Известий», членом ЦК. Три года еще должно было пройти, и Ежов должен был сменить Ягоду, и Каменев и Зиновьев на открытых процессах должны были произнести имя Бухарина, называя его своим единомышленником и чуть ли даже не сподвижником в своих грязных шпионских делах.

Все эти планы насчет бывшего своего дружка Коба наверняка уже исподволь вынашивал. Но до реализации этих планов было еще далеко. И пока не мешало на всякий случай напомнить «Бухарчику» не о прошлых, а совсем свежих его политических ошибках и прегрешениях. Ты вот сказал, что Маяковский БЫЛ талантливейшим поэтом уже отгремевшей эпохи. Так вот нет! Не БЫЛ, а — БЫЛ И ОСТАЕТСЯ. И не отгремевшей, а продолжающейся, НАШЕЙ, СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ.

* * *

Наверняка были у Сталина и другие, более важные соображения, побудившие его начертать ту свою знаменитую резолюцию. О некоторых из них я сказал раньше. О некоторых, может быть, так и не сумел догадаться.

Но каковы бы ни были причины сталинского благоволения к просьбам и пожеланиям друзей Маяковского, благоволение было оказано. И по самой полной программе. Друзья поэта ликовали.

Лиля Юрьевна и Примаков жили в Ленинграде. Ей позвонили из ЦК, чтобы она немедленно выехала в Москву, но Лиля в тот вечер была в театре, вернулась поздно, все поезда уже ушли, и она выехала на следующий день.
В день приезда утром она позвонила нам и сказала, чтобы мы ехали на Спасопесковский, что есть новости. Мы поняли, что речь шла о письме.
Примчавшись на Спасопесковский, мы застали там Жемчужных, Осю, Наташу, Леву Гринкруга. Лиля была у Ежова.
Ждали мы довольно долго. Волновались ужасно.
Лиля приехала на машине ЦК. Взволнованная, розовая, запыхавшаяся, она влетела в переднюю. Мы окружили ее. Тут же, в передней, не раздеваясь, она прочла резолюцию Сталина, которую ей дали списать…
Мы были просто потрясены. Такого полного свершения наших надежд и желаний мы не ждали. Мы орали, обнимались, целовали Лилю, бесновались.

По словам Лили, Ежов был сама любезность. Он предложил, немедленно разработать план мероприятий, необходимых для скорейшего проведения в жизнь всего, что она считает нужным. Ей была открыта зеленая улица.

Те немногие одиночки, которые в те годы самоотверженно занимались творчеством Маяковского, оказались заваленными работой. Статьи и исследования, которые до того возвращались с кислыми улыбочками, лежавшие без движения годы, теперь печатали нарасхват. Катанян не успевал писать, я — перепечатывать и развозить рукописи по редакциям.

Так началось посмертное признание Маяковского.

(Галина Катанян. Азорские острова.)

У них не было никаких сомнений, что теперь и однотомник выйдет, и большое, многотомное собрание сочинений Маяковского мгновенно сдвинется с мертвой точки, и музей будет создан, и Триумфальная площадь в Москве станет площадью Маяковского.

Все это сбылось в самое ближайшее время. Так что ликовали они вроде не зря.

Довольно скоро, однако, выяснилось, что не ликовать им надо было по поводу всех этих, как по мановению волшебного жезла свершившихся их надежд, а печалиться. И даже не просто печалиться, а впасть в смертельную тоску.

Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он не повинен.

(Борис Пастернак. Люди и положения.)

«Вводить принудительно», разумеется, стали не настоящего Маяковского, а того, который волею Сталина утвердился в качестве одного из атлантов, поддерживающих фасад сталинской **империи зла** .

Есть два способа убить поэта.

Один из них — простой: самого поэта расстрелять или превратить в лагерную пыль.

Стихи его не печатать, а те, что уже напечатаны, — запретить, изъять из библиотек. А самое имя его сделать неупоминаемым.

Другой способ состоит в том, чтобы поэта канонизировать, превратить в икону, в «священную корову», залить хрестоматийным глянцем.

И, разумеется, высшим его художественным достижением объявить при этом самые барабанные его стихи.

Для Мандельштама Сталин — после некоторых колебаний — выбрал первый способ.

К Маяковскому он применил второй.

СТАЛИН
И ПАСТЕРНАК

ДОКУМЕНТЫ

1

1. XI. 35

Дорогой Иосиф Виссарионович, 23-го октября в Ленинграде задержали мужа Анны Андреевны, Николая Николаевича Пунина, и ее сына, Льва Николаевича Гумилева. Однажды Вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища.

Помимо той ценности, которую имеет жизнь Ахматовой для нас всех и нашей культуры, она мне дорога и как моя собственная, по всему тому, что я о ней знаю. С начала моей литературной судьбы я свидетель ее честного, трудного и безропотного существования. Я

прошу Вас, Иосиф Виссарионович, помочь Ахматовой и освободить ее мужа и сына, отношение к которым Ахматовой является для меня категорическим залогом их честности.

Преданный Вам Пастернак

2

Конец декабря 1935

Дорогой Иосиф Виссарионович! Меня мучит, что я не последовал тогда своему первому желанию и не поблагодарил Вас за чудесное молниеносное освобождение родных Ахматовой; но я постеснялся побеспокоить Вас вторично и решил затаить про себя это чувство горячей признательности Вам, уверенный в том, что все равно, неведомым образом, оно как-нибудь до Вас дойдет.

И еще тяжелое чувство. Я сперва написал Вам по-своему, с отступлениями, повинуясь чему-то тайному, что помимо всем понятного и всеми разделяемого, привязывает меня к Вам. Но мне посоветовали сократить и упростить письмо, и я остался с ужасным чувством, будто послал Вам что-то не свое, чужое.

Я давно мечтал поднести Вам какой-нибудь скромный плод моих трудов, но все это так бездарно, что мечте, видно, никогда не осуществиться. Или тут надо быть смелее и, недолго раздумывая, последовать первому побуждению?

«Грузинские лирики» — работа слабая и несамостоятельная, честь и заслуга которой всецело принадлежит самим авторам, в значительной части замечательным поэтам. В передаче Важа Пшавелы я сознательно уклонился от верности форме подлинника по соображениям, которыми не смею Вас утомлять, для того, чтобы тем свободнее передать бездонный и громоподобный по красоте и мысли дух оригинала.

В заключение горячо благодарю Вас за Ваши недавние слова о Маяковском. Они отвечают моим собственным чувствам, я люблю его и написал об этом целую книгу. Но и косвенно Ваши строки о нем отозвались на мне спасительно. Последнее время меня, под влиянием Запада, страшно раздували, придавали преувеличенное значение (я даже от этого заболел); во мне стали подозревать серьезную художественную силу. Теперь, после того, как Вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение снято, и я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил жизни.

Именем этой таинственности горячо Вас любящий и преданный Вам

Б. Пастернак

3

25 августа 1945, Переделкино

Дорогой Иосиф Виссарионович.

Я с семьей живу временами довольно трудно. Мы получили когда-то скверную квартиру, самую плохую в писательском доме, и неналаженность жизни в ней сама влечет к дальнейшим ухудшеньям. Так, когда я во время войны уехал на несколько месяцев к эвакуированной семье из Москвы, в квартире, как наихудшей в доме, расположилась зенитная точка, и вместе с обстановкой в ней погибли работы и архив моего покойного отца, академика Л. О. Пастернака, недавно скончавшегося в Оксфорде. Приблизительно в это же время у нас умер двадцатилетний сын от костного туберкулеза, нажитого в той же квартире, очень сырой.

Я два года тому назад писал об этом В. М. Молотову. Очень быстро по его распоряжению явилась комиссия от Моссовета, признала помещенье непригодным для проживанья, повторила посещенье и тем дело ограничилось. Я никого не виню, новых домов мало, и естественно, что квартиры достаются только людям чрезвычайным, крупным служащим и лауреатам. Устроиться в бытовом отношении в городе пока для меня мечта

неосуществимая, и я к Вам не с этими тягостями, потому что никогда не осмелился бы докучать Вам ничем неисполнимым. Моя просьба проще. Она, как мне кажется, удовлетворима и справедлива.

Я пять лет работаю над лучшими произведениями Шекспира, и, судя по некоторым откликам у нас и за границей, не без удачи. Не может ли Комитет по делам искусств намекнуть театрам, что в отношении этих пьес они могут довольствоваться собственным вкусом и ставить их, если они им нравятся, не ожидая дополнительных указаний, потому что в театрах, да и не только в них, шарахаются всего, что живет только своими скромными силами и не имеет нескольких дополнительных санкций и рекомендаций. Так было в Московском Художественном Театре с Гамлетом, дорогу которому перешла современная пьеса «Иоанн Грозный».

Поддержка театров явилась бы для меня большим облегчением. Жить одною текущей работой возможно, но трудно. Мне давно за пятьдесят, зимой у меня от переутомления болела и долго была в бездействии правая рука, так что я научился писать левой, у меня постоянно болят глаза. Мне очень совестно беспокоить Вас пустяками, я годы и годы воздерживался от этого, пока был жив Александр Сергеевич Щербаков, который знал меня и выручал в крайностях.

Дача в Переделкине.

25 авг. 1945 г.

Сюжет первый
«ОДНАЖДЫ ВЫ УПРЕКНУЛИ МЕНЯ…»

Этой фразой из первого письма Пастернака Сталину («Однажды Вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища») Борис Леонидович напомнил вождю о реплике, которую тот год назад кинул в знаменитом своем телефонном разговоре с поэтом.

Поводом для этого разговора стал арест Мандельштама и письмо об этом Бухарина Сталину. В конце этого бухаринского письма была приписка: «Пастернак тоже беспокоится».

Пастернак в то время был у Сталина в большом фаворе. Но Бухарин, упомянув в этом контексте Пастернака, видимо, хотел подчеркнуть, что судьбою Мандельштама обеспокоен не только он и что его беспокойство носит не личный, а, так сказать, общественный характер.

Получив записку Бухарина, Сталин позвонил Пастернаку.

Тот телефонный разговор теперь уже стал легендой. Не только в том смысле, что оброс множеством слухов, самых разнообразных пересказов, версий и интерпретаций, а в самом прямом, буквальном. Как всякая легенда, он стал источником не только мемуарных, исторических и квазиисторических, но и чисто художественных откликов и толкований.

Вот, например, Леонид Зорин отвечает на вопрос журналиста о том, как возник у него замысел последнего его романа:

> Одна из причин, заставивших меня взяться за роман, — тот самый несостоявшийся телефонный разговор между Сталиным и Пастернаком. Если помните, в телефонной беседе о Мандельштаме Пастернак сказал Сталину, что хотел бы поговорить о жизни и смерти. Сталин молча повесил трубку. Хотелось представить, каков был бы этот «итоговый» диалог, если бы он произошел… Хотелось понять ход мыслей Сталина.
>
> ***(Леонид Зорин. Сталин все еще жив. «Независимая газета».)***

В романе этот замысел развернут в сложный психологический сюжет. На протяжении всего повествования «ход мыслей Сталина» пытается понять главный герой романа, актер, готовящий себя к исполнению роли вождя на сцене, медленно вживающийся в его образ. Одним из ключевых моментов этого «вживания» и становится тот прерванный разговор:

Я сказал ему, что я бы сумел защитить товарища. Он дал мне понять, что Мандельштам ему не близок… После чего сказал, что хотел бы поговорить со мной и — серьезно. — О чем это? — О жизни и смерти.
Я помолчал и повесил трубку.
Конечно, я так поступил не случайно. Искусство прекратить диалог особое — кто ставит в нем точку, тот и получает преимущество…. Прервать разговор, не прощаясь, — это не каждому дано. Даже и в моем положении.
А кроме того, я был раздражен. Что знает он о жизни и смерти, чтобы судить о них? Ничего… О жизни и смерти знает тот, кто решает, кому умереть, кому нет. Если он полагает, что это Бог, то это серьезное заблуждение. Есть кому это решать, кроме Бога.

(Леонид Зорин. Юпитер. «Знамя», № 12, 2002. Стр. 28—29.)

А вот — поэтический вариант продолжения того легендарного разговора:

«Мы друг друга в беде не бросим,
И ты за него борись.
Вот так!» — говорил Иосиф.
«Да, но…» — возразил Борис
«Живот положить за друга
Прекрасней поступка нет.
А участь живого трупа…»
«Да, но… — возразил поэт, —
Товарищ, скорей, по цеху,
А это не то, что друг».
«Испуг, — отвечал со смехом
Диктатор, — всегда испуг!»
«Да, но… от событий грозных
Тень ляжет на вас со мной.
Нам надо, пока не поздно,
Про вечность…» — Гудки, отбой.
Диктатор при этом слове
Почувствовал вдруг озноб
И свой увидал в сосновых
Венках и знаменах гроб.
Себя ощутил как камень,
Летящий стремглав. Да, но
Летящий стремглав веками,
Всё падающий на дно.

(Александр Тимофеевский. Опоздавший стрелок. М., 2003. Стр. 48.)

Эти художественные интерпретации, быть может, тоже заслуживают внимательного и даже подробного разбора. Но для нашей темы важна прежде всего фактическая сторона дела.

Тут тоже существует множество версий — разных пересказов этого знаменитого телефонного разговора. И хотя источником каждого такого пересказа был рассказ самого Пастернака, отличаются они друг от друга порой разительно.

Чтобы приблизиться к наиболее достоверному варианту, приведу самые известные из них, чтобы попытаться затем отвеять всю шелуху, привнесенную в изложение этого разговора пристрастностью каждого его перелагателя.

Итак:

ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ

Борису Пастернаку позвонил Поскребышев и сказал:

— Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин! И действительно трубку взял Сталин и сказал:

— Недавно арестован поэт Мандельштам. Что вы можете сказать о нем, товарищ Пастернак?

Борис, очевидно, сильно перепугался и ответил:

— Я очень мало его знаю! Он был акмеистом, а я придерживаюсь другого литературного направления! Так что ничего о Мандельштаме сказать не могу!

— А я могу сказать, что вы очень плохой товарищ, товарищ Пастернак! — сказал Сталин и положил трубку.

(Виталий Шенталинский. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. М. 1995. Стр. 239.)

Этот текст взят из следственного дела Мандельштама. Точнее — из свидетельских показаний драматурга Иосифа Прута, записанных при реабилитации Мандельштама.

Версия — наименее достоверная из всех известных (именно поэтому я начал с нее), отражающая скорее ходившие тогда в писательской среде слухи и сплетни, нежели рассказ самого Пастернака Излагая ее, И. Прут сослался на то, что слышал этот рассказ от Семена Кирсанова. От кого услышал его тот — неизвестно. Так что очевидную его недостоверность можно списать на «испорченный телефон».

Но о том, что Б.Л. «перепугался», не сумел защитить товарища, просто-напросто струсил, говорят многие. В том числе и узнавшие о содержании разговора, как все они уверяют, из первых рук.

ВЕРСИЯ ВТОРАЯ

Это случилось незадолго до мандельштамовской ссылки, когда небольшая горстка друзей поэта собралась вместе, чтобы обсудить, как можно ему помочь.

Борис Пастернак запаздывал. Его могли задержать разные обстоятельства, и мы не особенно беспокоились.

Наконец раздался звонок в дверь; Евгений Хазин, хозяин квартиры, где мы собрались, пошел открывать и вернулся с Пастернаком. Борис выглядел огорченным, взволнованным и нервным. «Со мной произошло нечто ужасное! — сказал он. — Ужасное! И я вел себя как трус!»

А затем Пастернак рассказал нам вот что. Сегодня утром, когда он сидел и работал, зазвонил телефон, и ему пришлось подойти. Незнакомый голос поинтересовался — кто у телефона, не товарищ ли Пастернак. Когда Борис ответил утвердительно, голос сообщил: «Подождите, сейчас с Вами будет говорить товарищ Сталин!»

«Я был в шоке!» — рассказывал Пастернак. Через некоторое время голос Сталина произнес с характерным грузинским акцентом:

— Это товарищ Пастернак?

— Да, товарищ Сталин.

— Какое Ваше мнение, как нам поступить с Осипом Мандельштамом? Что нам с ним делать?..

Наверное, не многие из нас могли бы очутиться лицом к липу с диктатором, который вызывал страх у целой страны. Борис Пастернак не был бунтарем, как Мандельштам. Он был мечтателем, и он струсил. Грубое слово. Но так и было.

Вместо того, чтобы просить за Мандельштама, Пастернак промычал что-то вроде: «Вам лучше знать, товарищ Сталин». В сталинском ответе звучала насмешка: «Это все, что Вы можете сказать? Когда наши друзья попадали в беду, мы лучше знали, как сражаться за них!» После этого Сталин бросил трубку.

(Галина фон Мекк. «Такими я их помню…». // «Сохрани мою речь» 3/2, М. 2002, стр. 101-102.)

В этой версии появляется уже новый, чрезвычайно важный мотив. Оказывается, Сталин звонил Пастернаку не просто для того, чтобы узнать его мнение о Мандельштаме. Он хотел

посоветоваться с ним насчет того, как ему поступить с проштрафившимся поэтом, что с ним делать.

Свои мемуары, из которых взят этот фрагмент, Галина Николаевна фон Мекк (кстати сказать, внучка той самой Надежды фон Мекк, которая покровительствовала П.И. Чайковскому) писала уже в эмиграции, в Англии, где оказалась, пройдя через все прелести сталинского ГУЛАГа. Вспоминая даже то, что слышала (поверим ей) собственными ушами и из уст самого Бориса Леонидовича, она, естественно, не могла быть стенографически точна, особенно в передаче прямой речи. И реплика Сталина в ее передаче («Как нам поступить с Осипом Мандельштамом? Что нам с ним делать?»), и ответная реплика Пастернака («Вам лучше знать, товарищ Сталин») — более чем сомнительны.

И все-таки мотив этот (хотя бы даже и как один из ходивших тогда слухов) заслуживает внимания. Тем более, что он возникает и в некоторых других версиях.

ВЕРСИЯ ТРЕТЬЯ

— Вы знаете, что Боря однажды отказался поддержать Мандельштама? Вам это известно или нет?

— Я об этом слышал дважды. И очень бы хотел, чтобы Вы сказали, как Вам это известно.

— Известно очень просто. Мне Боря сам рассказывал. Дело было в том, что Сталин позвонил ему на квартиру. Боря сперва не верил и говорит: «Будет дурака ломать». Наконец, его там всерьез одернули, и он стал слушать. Сталин его спрашивает: «Какого Вы мнения о Мандельштаме?» И Боря струсил, начал объяснять, что он его плохо знает и т.д., хотя был в курсе, что Мандельштам арестован. Сталин страшно обозлился: «Мы так товарищей наших нэ защищали», — и бросил трубку…

—А Вы думаете, что, если бы он твердо защитил, то…

— Видите, какая ситуация… Это было очень рискованно. Но чем было рисковать? Вот когда я сидел в тюрьме (в 1934 г.), меня спрашивали про Оболдуева и я отвечал, что Оболдуев, — мне очень жаль, что я о нем говорил в этом заведении, — замечательный поэт..

— Скажите, то, что Вы рассказали мне о Пастернаке, Вы знаете с его слов или со слов Шкловского?..

— Это он сам рассказывал Марии Павловне… Струсил. Напустил в штаны. А нельзя было. Сталин был такой человек… Конечно, жестокости невероятной, но все-таки… Вот, представляете себе мизансцену. С чего бы Сталину звонить? Ведь могла быть такая штука: ему говорят: «Мы Мандельштама взяли». Он спрашивает: «А стоило?» — «Да за него ни одна душа заступиться не может». — «Ну, как же это «не может»? — говорит Сталин. — Дайте мне Пастернака». Звонит ему и вдруг нарывается…

(С.П. Бобров. Из магнитофонной записи его беседы с В.А– Дувакиным./ / Осип и Надежда Мандельштамы. М., 2002, стр. 201-202.)

Оставим на совести рассказчика все его оценки, в том числе и прямо непристойные («Напустил в штаны» и т.п.). Не будем придираться и к бросающимся в глаза противоречиям его рассказа: сперва он говорит, что сам услышал все прямо и непосредственно «от Бори», а потом, что «Боря» рассказывал, как было дело, не ему, а Марии Павловне…

Мария Павловна — это жена Сергея Павловича, переводчица М.П. Богословская. Ее рассказ тоже сохранился в магнитофонных записях В.Д. Дувакина, и в свое время (чуть позже) мы к нему вернемся.

А сейчас отметим главное из того, что мы услышали от С.П. Боброва.

Весь этот его рассказ, конечно, недостоверен, хотя бы уже потому, что точка зрения рассказчика сильно искажена явным его недоброжелательством по отношению к бывшему другу. Но при всем при том, похоже, что Сергей Павлович искренне верил, что, если бы Борис Леонидович в том разговоре повел себя смелее (как он сам, когда его спросили про Оболдуева), судьба Мандельштама могла бы повернуться иначе.

Ту же мысль — с большей уверенностью и совсем уже впрямую, без обиняков, — высказал в беседе с тем же Дувакиным В.Б. Шкловский.

ВЕРСИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

— Он переписывался со Сталиным, перезванивался со Сталиным — и не защитил Мандельштама. Вы знаете эту историю?

— Нет. Не защитил?

— Да. Сталин позвонил Пастернаку, спросил: «Что говорят об аресте Мандельштама?» Это мне рассказывал сам Пастернак. Тот смутился и сказал: «Иосиф Виссарионович, раз вы мне позвонили, то давайте говорить об истории, о поэзии». — «Я спрашиваю, что говорят об аресте Мандельштама». Он что-то еще сказал. Тогда Сталин произнес: «Если бы у меня арестовали товарища, я бы лез на стенку». Пастернак ответил: «Иосиф Виссарионович, если Вы ко мне звоните об этом, очевидно, я уже лазил на стенку». На это Сталин ему сказал: «Я думал, что Вы — великий поэт, а Вы — великий фальсификатор», — и повесил трубку… Мне рассказывал Пастернак — и плакал.

— Значит, он просто растерялся.

— Растерялся. Конечно. Он мог бы попросить: «Отдайте мне этого, этого человека». Если б знал. Тот бы отдал… А тот растерялся. Вот такая, понимаете ли, история…

(Там же, стр. 48—49.)

Уверенность Виктора Борисовича, что если бы Пастернак попросил Сталина «отдать ему этого человека», тот бы отдал, — конечно, наивна. Прямую речь собеседников Виктор Борисович тоже передает весьма приблизительно. (Кроме реплики Сталина «Я бы на стенку лез», она нам еще встретится). Но из этой версии мы впервые узнаем, что в ответ на упрек вождя Пастернак все-таки не смолчал, слегка далее огрызнулся («Если Вы ко мне звоните об этом, очевидно, я уже лазил на стенку».)

Тот факт, что Пастернак в некотором смысле действительно «лазил на стенку», признают даже явно недоброжелательно относящиеся к нему свидетели.

ВЕРСИЯ ПЯТАЯ

Кого он недолюбливал, так это Мандельштама. И все же, несмотря на свою нелюбовь к Мандельштаму, не кто другой, как Пастернак, решился похлопотать за него перед высшей властью. Обратиться к самому Сталину он не решался. Немыслимо! Стихи, написанные Мандельштамом о Сталине, были невозможно, немыслимо резки и грубы… Тем не менее он обратился к Бухарину с просьбой заступиться за Мандельштама, не спасти его, а хотя бы смягчить его участь.

Бухарин спросил:

— А что он себе напозволял?

— В том-то и дело, что я ничего не знаю. Говорят, написал какие-то антисоветские стихи. Он арестован.

— Постараюсь узнать. И обещаю сделать возможное, вернее, что смогу сделать.

Через несколько дней я обедал у Пастернаков. Помнится, в четвертом часу пополудни раздался длительный телефонный звонок. Вызывали «товарища Пастернака». Какой-то молодой мужской голос, не поздоровавшись, произнес:

— С вами будет говорить товарищ Сталин.

— Что за чепуха! Не может быть! Не говорите вздору!

Молодой человек: Повторяю: с вами будет говорить товарищ Сталин.

— Не дурите! Не разыгрывайте меня!

Молодой человек: Даю телефонный номер. Набирайте!

Пастернак, побледнев, стал набирать номер.

Сталин: Говорит Сталин. Вы хлопочете за вашего друга Мандельштама?

— Дружбы между нами, собственно, никогда не было. Скорее наоборот. Я тяготился общением с ним. Но поговорить с вами — об этом я всегда мечтал.

> Сталин: Мы, старые большевики, никогда не отрекались от своих друзей. А вести с вами посторонние разговоры мне незачем.
> На этом разговор оборвался.
> Конечно, я слышал только то, что говорил Пастернак, сказанное Сталиным до меня не доходило. Но его слова тут же передал мне Борис Леонидович. И сгоряча поведал обо всем, что было ему известно. И немедленно ринулся к названному ему телефону, чтобы уверить Сталина в том, что Мандельштам и впрямь никогда не был его другом, что он отнюдь не из трусости «отрекся от никогда не существовавшей дружбы». Это разъяснение ему казалось необходимым, самым важным. Телефон не ответил.
>
> ***(Н. Вильмонт. «О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли», М. 1989.)***

Автор этой записи — Николай Николаевич Вильмонт — был в то время одним из самых близких к Пастернаку людей. К тому же, как явствует из его рассказа, он сам, собственными ушами, слышал все, что говорил Сталину Пастернак, то есть добрую половину этого разговора. Вторую же половину Борис Леонидович пересказал ему сразу, так сказать, по горячим следам происшедшего на его глазах события. Казалось бы, уж куда достовернее?

Однако тень явного недоброжелательства к «ближайшему другу», я бы даже сказал — с оттенком какого-то тайного злорадства — явно ощущается и в этом пересказе. Не так просты, видно, были эти отношения. То ли потом между друзьями что-то произошло, и это «что-то» наложило свою печать на поздние воспоминания Вильмонта о событиях полувековой давности. То ли оттенок некоторого сальеризма и в золотую пору их дружбы окрашивал отношение Николая Николаевича к Борису Леонидовичу. Вот что рассказывает об этом в своих воспоминаниях З.Н. Пастернак:

> …незадолго до скандала с Нобелевской премией он перестал у нас бывать. Дело было в том, что он переводил «Марию Стюарт» Шиллера для МХАТа. Не знаю почему, но его перевод не приняли, и из МХАТа приехали Ливанов и Марков просить делать перевод Борю. Первым долгом он отказался от него — не хотелось переходить дорогу своему другу. Он дал согласие лишь тогда, когда перевод Н.Н. был официально отвергнут. По-видимому, Н.Н. огорчился и обиделся, и несколько лет мы его у себя не видели. Впервые после размолвки он пришел во время последней Бориной болезни.
>
> ***(З.Н. Пастернак. Воспоминания. М. 1993. Стр. 409—410.)***

Маэль Фейнберг, автор комментариев к воспоминаниям З.Н. Пастернак, сочла нужным сделать тут такое уточнение:

> …недоразумение между Пастернаком и Н. Вильмонтом произошло, как мне рассказывал Вильмонт, не из-за перевода, а из-за неловкого разговора Пастернака с его женой, переводчицей Н. Манн.
>
> ***(Там же, стр. 476.)***

Вряд ли стоит вникать в подробности этой размолвки или доискиваться до других каких-нибудь причин очевидного тайного недоброжелательства, которое ощущается в вильмонтовом пересказе телефонного разговора Пастернака со Сталиным. Отметим только, что полностью доверять этому пересказу нельзя, о чем особенно красноречиво нам говорит

> ВЕРСИЯ ШЕСТАЯ
> К нам иногда заходил О. Мандельштам, Боря признавал его высокий уровень как поэта. Но он мне не нравился. Он держал себя петухом, наскакивал на Борю, критиковал его стихи и все время читал свои. Бывал он у нас редко. Я не могла выносить его тона по отношению к Боре, он с ним разговаривал, как профессор с учеником, был заносчив, подчас говорил ему резкости. Расхождения были не только политического характера, но и поэтического. В конце концов Боря

согласился со мной, что поведение Мандельштама неприятно, но всегда отдавал должное его мастерству.

Как-то Мандельштам пришел к нам на вечер, когда собралось большое общество. Были грузины, Н. С. Тихонов, много читали наизусть Борины стихи и почти все гости стали просить читать самого хозяина. Но Мандельштам перебил и стал читать одни за другими свои стихи. У меня создалось впечатление, о чем я потом сказала Боре, что Мандельштам плохо знает его творчество. Он был, как избалованная красавица — самолюбив и ревнив к чужим успехам. Дружба наша не состоялась, и он почти перестал у нас бывать.

Вскоре до нас дошли слухи, что Мандельштам арестован. Боря тотчас же кинулся к Бухарину, который был редактором «Известий», возмущенно сказал ему, что не понимает, как можно не простить такому большому поэту какие-то глупые стихи и посадить человека в тюрьму… В квартире, оставленной Боре и его брату родителями, мы занимали две комнаты, в остальных трех поселились посторонние люди. Телефон был в общем коридоре. Я лежала больная воспалением легких. Как-то вбежала соседка и сообщила, что Бориса Леонидовича вызывает Кремль. Меня удивило его спокойное лицо, он ничуть не был взволнован. Когда я услышала: «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович», — меня бросило в жар. Я слышала только Борины реплики и была поражена тем, что он разговаривал со Сталиным, как со мной. С первых же слов я поняла, что разговор идет о Мандельштаме. Боря сказал, что удивлен его арестом и хотя дружбы с Мандельштамом не было, но он признает за ним все качества первоклассного поэта и всегда отдавал ему должное. Он просил по возможности облегчить участь Мандельштама и, если возможно, освободить его. А вообще он хотел бы повстречаться с ним, т. е. со Сталиным, и поговорить с ним о более серьезных вещах — о жизни, о смерти. Боря говорил со Сталиным просто, без оглядок, без политики, очень непосредственно.

Он вошел ко мне и рассказал подробности разговора. Оказывается, Сталин хотел проверить Бухарина, правда ли, что Пастернак так взволнован арестом Мандельштама… Я спросила Борю, что ответил Сталин на предло>кение побеседовать о жизни и смерти. Оказалось, что Сталин сказал, что поговорит с ним с удовольствием, но не знает, как это сделать. Боря предложил: «Вызовите меня к себе». Но вызов этот никогда не состоялся. Через несколько часов вся Москва знала о разговоре Пастернака со Сталиным. В Союзе писателей все перевернулось. До этого, когда мы приходили в ресторан обедать, перед нами никто не раскрывал дверей, никто не подавал пальто — одевались сами. Когда же мы появились там после этого разговора, швейцар распахнул перед нами двери и побежал нас раздевать. В ресторане стали нас особенно внимательно обслуживать, рассыпались в любезностях, вплоть до того, что когда Боря приглашал к столу нуждавшихся писателей, то за их обед расплачивался Союз. Эта перемена по отношению к нам в Союзе после звонка Сталина нас поразила.

(З.Н. Пастернак. Воспоминания. М. 1993.)

Эту версию тоже нельзя рассматривать как вполне достоверную. Но она представляет для нас свой, особый интерес. Не только потому, что принадлежит жене поэта, то есть самому близкому к нему человеку, но и потому, что бросает свет на обстоятельства, которые во всех других изложениях описываемого события остались «за кадром».

Взять хотя бы рассказ Зинаиды Николаевны о том, как переменилось после сталинского звонка отношение к Пастернакам в Союзе писателей. Эта маленькая деталь не только красноречиво рисует «их нравы». Она интересна прежде всего тем, что звонок Сталина Пастернаку, несмотря на резкость тона, упреки в трусости и явное нежелание вождя беседовать с поэтом на посторонние темы, в Союзе писателей был воспринят как знак высочайшего благоволения.

Но гораздо важнее в приведенном отрывке рассказ З.Н. об отношениях Пастернака с Мандельштамом. Рассказ этот безусловно правдив, и из него с несомненностью следует, что Пастернак не лукавил, говоря Сталину, что никакой дружбы с Мандельштамом у него не

было. Дружбы и в самом деле не было, были даже расхождения — «не только политического характера, но и поэтического».

То обстоятельство, что в рассказе жены Пастернак выглядит лучше, чем в рассказе Н. Вильмонта, большого значения не имеет. Так же, как и то, что Сталин, если верить Вильмонту, был с Пастернаком груб, а если верить Зинаиде Николаевне, — напротив, любезен. Поверим, что Сталин и в самом деле не бросил трубку, а сказал, что с удовольствием поговорил бы с поэтом и на разные отвлеченные темы, но просто не знает, как это сделать. Суть дела от этого не меняется.

При всем различии этих двух версий, в главном они очень похожи. Похожи тем, что и в рассказе «ближайшего друга», и в воспоминаниях жены поэта особенно ясно виден «угол отклонения» от реальности. Виден так ясно, может быть, как раз потому, что отклоняются они не просто в разные, а в противоположные стороны.

Этот «угол отклонения», конечно, в той или иной мере присутствует в любых воспоминаниях, любых свидетельских показаниях. Но иногда он совсем незаметен, а в иных случаях, — к сожалению, весьма редких, — близок к нулевой отметке.

Как раз вот такой случай являет нам

> ВЕРСИЯ СЕДЬМАЯ
>
> Надя послала телеграмму в ЦК. Сталин велел пересмотреть дело… Потом звонил Пастернаку. Остальное слишком известно…
>
> Бухарин в конце своего письма к Сталину написал: «И Пастернак тоже волнуется». Сталин сообщил, что отдано распоряжение, что с Мандельштамом будет все в порядке. Он спросил Пастернака, почему тот не хлопотал. «Если бы мой друг-поэт попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти». Пастернак ответил, что если бы он не хлопотал, то Сталин бы не узнал об этом деле. «Почему вы не обратились ко мне или в писательские организации?» — «Писательские организации не занимаются этим с 1927 года». — «Но ведь он ваш друг?» Пастернак замялся, а Сталин после недолгой паузы продолжил вопрос: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Это не имеет значения».
>
> Борис Леонидович думал, что Сталин его проверяет, знает ли он про стихи, и этим он объяснил свои шаткие ответы.
>
> …«Почему мы всё говорим о Мандельштаме и Мандельштаме, я так давно хотел с вами поговорить». — «О чем?» — «О жизни и смерти». Сталин повесил трубку.
>
> ***(Анна Ахматова. Кнопки из дневника.)***

Под этими ахматовскими «листками» стоит дата: 8 июля 1963 г.

Трудно сказать, на чем основывалась уверенность Анны Андреевны в том, что «остальное слишком известно». Но то ли из-за этой своей уверенности, то ли из-за вообще свойственной ей склонности к лаконизму, разговор Б.Л. со Сталиным она изложила предельно скупо. Я думаю, гораздо скупее, чем могла бы.

Об этом свидетельствует изложение того же разговора Надеждой Яковлевной, во многом совпадающее с изложением Анны Андреевны буквально.

> ВЕРСИЯ ВОСЬМАЯ
>
> …Пастернак, передавая мне разговор, употреблял прямую речь, то есть цитировал и себя и своего собеседника. Точно так рассказывал мне и Шенгели: очевидно, всем Пастернак передавал это в одинаковом виде, и по Москве он распространился в точном варианте. Я передаю его рассказ текстуально.
>
> Пастернака вызвали к телефону, предупредив, кто его вызывает. С первых же слов Пастернак начал жаловаться, что плохо слышно, потому что он говорит из коммунальной квартиры, а в коридоре шумят дети. В те годы такая жалоба еще не означала просьбы о немедленном, в порядке чуда, устройстве жилищных условий. Просто Борис Леонидович в тот период каждый разговор начинал с этих жалоб. Мы с Анной Андреевной тихонько друг друга спрашивали, когда он нам звонил: «Про коммунальную кончил?» Со Сталиным он разговаривал, как со всеми нами.

> Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и что с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек: почему Пастернак не обратился в писательские организации или «ко мне» и не хлопотал о Мандельштаме: «Если бы я был поэтом и мой друг поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь…»
> Ответ Пастернака: «Писательские организации этим не занимаются с 27 года, а если бы я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего бы не узнали…» Затем Пастернак прибавил что-то по поводу слова «друг», желая уточнить характер отношений с О.М., которые в понятие дружбы, разумеется, не укладывались. Эта ремарка была очень в стиле Пастернака и никакого отношения к делу не имела. Сталин прервал его вопросом: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Да дело же не в этом…» — «А в чем же?» — спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. «О чем?» — «О жизни и смерти», — ответил Пастернак. Сталин повесил трубку. Пастернак попробовал с ним снова соединиться, но попал на секретаря. Сталин к телефону больше не подошел…
> Подобно тому, как я не назвала имени единственного человека, записавшего стихи, потому что считаю его непричастным к доносу и аресту, я не привожу единственной реплики Пастернака, которая, если его не знать, могла бы быть обращена против него. Между тем реплика эта вполне невинна, но в ней проскальзывает некоторая самопоглощенность и эгоцентризм Пастернака. Для нас, хорошо его знавших, эта реплика кажется просто смешноватой.
> ***(Надежда Мандельштам. Воспоминания.)***

Как и в коротком пересказе Ахматовой, в изложении Надежды Яковлевны разговор начинается со слов Сталина, что с Мандельштамом все будет хорошо, все распоряжения на этот счет уже отданы. Стало быть, Пастернаку он звонил совсем не для того, чтобы советоваться с ним, как поступить с опальным поэтом: казнить или помиловать. Так что версия Шкловского насчет того, что если бы у Пастернака хватило смелости сказать Сталину: «Отдайте мне этого человека!», участь Мандельштама была бы иной, окончательно отпадает. Когда Сталин звонил Пастернаку, судьба Мандельштама (на тот момент) им была уже решена.

Рассказ Надежды Яковлевны — самый полный и, я думаю, самый достоверный из всех имеющихся.

Интересно, конечно, было бы узнать и ту реплику Бориса Леонидовича, которую она не захотела процитировать. Может быть, это та, которую приводит Вильмонт? («Дружбы между нами, собственно, никогда не было. Скорее наоборот. Я тяготился общением с ним»). Но, учитывая слова Н.Я. о самопоглощенности и эгоцентризме Бориса Леонидовича, скорее — та, которую приводит Ахматова: «Что мы всё о Мандельштаме и Мандельштаме…»

Гадать, впрочем, тут не приходится, поскольку в одном из еще не рассмотренных нами пересказов того разговора эта реплика как будто приведена. Я имею в виду сделанную В.Д. Дувакиным магнитофонную запись рассказа Марии Павловны Богословской (жены Сергея Боброва), к которой я обещал вернуться. Итак,

> ВЕРСИЯ ДЕВЯТАЯ
> —Я тогда только что приехала из ссылки в Москву, добиваться, чтобы Сергею Павловичу чем-нибудь…
> — Помогли.
> — Да. Или напечатали его… Потому что его после ссылки в Москву не пустили, и он 4 года жил в Александрове. И вот, я приехала добиваться, чтобы что-нибудь из его вещей напечатали… Одним словом, я пошла к Пастернаку. Я шла и все время про себя только и думала: «Не дай мне Бог сразу попасть под чары Пастернака». Пастернак обладал необыкновенным даром обольщать людей, засмотритесь на него — и готово: вы уже проглочены. А мне важно было поговорить о Сергее Павловиче. И я начала разговор о том, что Сергей Павлович сделал и, может, ему возможно как-то помочь… Пастернак сразу нахмурился и сказал, что у него

никаких возможностей нет. «Вы знаете о моем разговоре со Сталиным?» — «Нет, я ничего не слышала, ничего не знаю». Вот тут он мне его и рассказал. Сказал еще: «Мне… неудобно было говорить, у меня были гости…»

— А Вы даже не знали, что Мандельштам арестован?

— Может быть, знала, а вот о том, что шел разговор, чтобы его вернуть или еще что-то, могла не знать. Я не в курсе была, потому что была так поглощена нашими собственными бедами. Так вот, Пастернак мне сказал, что ему звонил Сталин. В тот день у него было много гостей. Он взял трубку — «С Вами будет говорить Иосиф Виссарионович». Он ответил: «Ах, оставьте эти шутки», — и положил трубку. Кажется, чуть ли не до трех раз так было: он брал трубку и не верил, что с ним будет говорить Сталин. Потом, наконец, ему строгим голосом сказали, и…

— Пришлось поверить.

— Да. Сталин его спросил, как он относится к Мандельштаму, что он может сказать о Мандельштаме? «И вот, вероятно, это большая искренность и честность поэта, — сказал мне Пастернак, — я не могу говорить о том, чего не чувствую. Мне это чужое. Вот я и ответил, что ничего о Мандельштаме сказать не могу».

— То есть Пастернак не сказал: «Это большой поэт»?

— Нет, он ничего не сказал. Так он мне говорил, что не сказал ничего. И оправдывал себя тем, что не может кривить душой. А почему этот разговор зашел? Потому что я ему показывала какие-то стихи Сергея Павловича. Он сказал, что это не те стихи Боброва, которые он любит. И кроме того… он вообще бессилен что-нибудь сделать… «Сами понимаете, после этого разговора мой престиж сейчас невысок».

(Осип и Надежда Мандельштамы. М. 2002. Стр. 203-204.)

Если верить этому рассказу (а ему, я думаю, верить можно), реплика Пастернака, которую Н.Я. не захотела цитировать, стало быть, звучала так: «Я не могу говорить о том, чего не чувствую. Мне это чужое».

Конечно, реплика эта была, как говорит Н.Я., «очень в стиле Пастернака», а стиль, как мы знаем — это человек. Но при всем при этом Н.Я., я думаю, была не совсем права, заметив, что эта смешноватая реплика «никакого отношения к делу не имела».

О том, что «к делу» она имела самое прямое и непосредственное отношение, нам довольно ясно дает понять

ВЕРСИЯ ДЕСЯТАЯ

Этот разговор стал впоследствии знаменитым, и ходило и до сих пор ходит много разных версий о нем. Я могу лишь воспроизвести эту историю в том виде, как она мне запомнилась после того, как Пастернак мне ее рассказал в 1945 году. Согласно его рассказу, когда в его московской квартире зазвонил телефон, там, кроме него, его жены и сына, не было никого. Он снял трубку, и голос сказал ему, что говорят из Кремля и что товарищ Сталин хочет говорить с ним. Пастернак предположил, что это какая-то идиотская шутка, и положил трубку. Однако телефон зазвонил снова, и голос в трубке как-то убедил его, что звонок — настоящий. Затем Сталин спросил его, говорит ли он с Борисом Леонидовичем Пастернаком; Пастернак ответил утвердительно. Сталин спросил его, присутствовал ли он при том, как Мандельштам читал стихотворный пасквиль о нем, о Сталине? Пастернак ответил, что ему представляется неважным, присутствовал он или не присутствовал, но что он страшно счастлив, что с ним говорит Сталин, что он всегда знал, что это должно произойти и что им надо встретиться и поговорить о вещах чрезвычайной важности. Сталин спросил, мастер ли Мандельштам. Пастернак ответил, что как поэты они совершенно различны, что он ценит поэзию Мандельштама, но не чувствует внутренней близости с ней, но что, во всяком случае, дело не в этом. Здесь, рассказывая мне этот эпизод, Пастернак снова пустился в свои длинные метафизические рассуждения о космических поворотных пунктах в истории, о которых он хотел поговорить со Сталиным — такая беседа должна была явиться событием огромного исторического значения. Я вполне могу себе представить, как

он в таком духе говорил и со Сталиным. Так или иначе, Сталин снова спросил его, присутствовал ли он или нет при том, как Мандельштам читал свои стихи. Пастернак снова ответил, что самое главное — это то, что ему надо обязательно встретиться со Сталиным, что эту встречу ни в коем случае нельзя откладывать и что от нее зависит всё, так как они должны поговорить о самых главных вопросах — о жизни и смерти. «Если бы я был другом Мандельштама, я бы лучше сумел его защитить», — сказал Сталин и положил трубку. Пастернак попытался перезвонить Сталину, но, совершенно естественно, не смог к нему дозвониться. Вся эта история доставляла ему, видно, глубокое мученье: в том виде, в каком она изложена здесь, он рассказывал ее мне, по крайней мере, дважды.

(Исайя Берлин. Встречи с русскими писателями. В кн.: Исайя Берлин. История свободы. Россия. М. 2001, стр. 456-457.)

Итак, по меньшей мере **дважды** рассказывал Борис Леонидович эту историю сэру Исайе. И дважды в этом его изложении Сталин спросил у него, читал ли ему (или при нем) Мандельштам свое крамольное стихотворение. И дважды он сумел избежать ответа.

Я и раньше — зная только версии, приведенные мною перед этой, — не сомневался, что на протяжении всего этого мучительного для него разговора со Сталиным Пастернака точила одна мысль: знает ли Сталин, что Мандельштам читал ему свое самоубийственное стихотворение? Неужели — знает? А может быть, все-таки не знает?

И вот из рассказа Исайи Берлина мы узнаем, что вопрос этот дважды **прямо ему задавался** .

Даже если предположить, что на самом деле этого не было (ведь рассказывал он сэру Исайе о своем разговоре со Сталиным в 45-м, то есть двенадцать лет спустя), такая «ошибка памяти» только подтверждает, что так и не заданный (пусть даже не заданный) этот сталинский вопрос на протяжении всего их разговора висел над ним, как дамоклов меч.

Отметим это на будущее и перейдем к следующей версии.

Строго говоря, вполне можно было бы ограничиться и приведенными десятью: их более чем достаточно, чтобы составить довольно полное и отчетливое представление о том судьбоносном разговоре. Но я не могу обойти еще одну, одиннадцатую, потому что в ней содержится одна, хоть и не меняющая сути дела, но весьма примечательная подробность, не отмеченная ни в одной из предыдущих десяти. Итак,

ВЕРСИЯ ОДИННАДЦАТАЯ

Когда в коммунальной квартире номер девять четырнадцатого дома Волхонки раздался звонок из Кремля: «С вами будет говорить товарищ Сталин», — Б.Л. едва не онемел; он был крайне неподготовлен к такому разговору. Но в трубке звучал «его» голос — голос Сталина. Вождь говорил на «ты», грубовато, по-свойски: «Скажи-ка, что говорят в ваших литературных кругах об аресте Мандельштама?»

Б.Л., по свойственной ему привычке не сразу подходить к теме конкретно, а расплываться сначала в философских размышлениях, ответил: «Вы знаете, ничего не говорят, потому что есть ли у нас литературные круги, и кругов-то литературных нет, никто ничего не говорит, потому что все не знают, что сказать, боятся». И т.п.

Длительное молчание в трубке, и затем: «Ну хорошо, а теперь скажи мне, какого ты сам мнения о Мандельштаме? Каково твое отношение к нему как к поэту?»

И тут Б.Л. с захлебами, свойственными ему, сам начал говорить о том, что они с Мандельштамом поэты совершенно различных направлений: «Конечно, он очень большой поэт, но у нас нет никаких точек соприкосновения — мы ломаем стих, а он академической школы», и довольно долго распространялся по этому поводу. А Сталин никак его не поощрял, никакими ни восклицаниями, ни междометиями, ничем. Тогда Б.Л. замолчал. И Сталин сказал насмешливо: «Ну вот, ты и не сумел защитить товарища», — и повесил трубку.

Б.Л. сказал мне, что в этот момент у него просто дух замер; так унизительно повешена трубка; и действительно он оказался не товарищем, и разговор вышел не такой, как полагалось бы.

(Ольга Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. М. 1992, стр. 80—81.)

По содержанию разговора эта версия к тому, что мы уже знаем, решительно ничего не добавляет. Но есть в ней, как я уже говорил, одна маленькая деталь, существенно меняющая если не смысл, то, во всяком случае, тон, стилистическую окраску всего этого разговора.

Оказывается, вождь обращался к Пастернаку НА ТЫ!

Не верить Ольге Всеволодовне невозможно: она ведь слышала и записала этот рассказ со слов самого Бориса Леонидовича. Трудно представить, чтобы эта подробность была плодом собственной ее фантазии.

А подробность — впечатляющая.

Впечатляющая настолько, что один литературный критик (Владимир Соловьев), опираясь именно на эту подробность, слепил (сам он, понятно, обозначает это другим, более респектабельным термином: «смоделировал») еще одну, свою версию этого легендарного диалога.

Для полноты картины приведу и ее.

ВЕРСИЯ ДВЕНАДЦАТАЯ

Вот что мы получим, поменяв местоимение в наиболее достоверной записи этого телефонного разговора:

— Говорит Сталин. Ты что, хлопочешь за своего друга Мандельштама?

— Дружбы между нами, собственно, никогда не было. Скорее наоборот. Я тяготился общением с ним. Но поговорить с вами — об этом я всегда мечтал.

— Мы, старые большевики, никогда не отрекались от своих друзей. А вести с тобой посторонние разговоры мне незачем.

И бросил трубку. (Владимир Соловьев. Призрак, кусающий себе локти. М. 1992, стр. 126.)

Сконструировав ту свою «наиболее достоверную» версию, автор «реконструкции» совсем уж пренебрежительно роняет

Тиран развлекался — все вышло, как было им задумано.
Один поэт был уничтожен, другой унижен, раздавлен.
Какая там крепкая четверка!

(Там же.)

Последняя реплика метит в Надежду Яковлевну, которая говорит, что они с Анной Андреевной, обсудив между собой поведение Бориса Леонидовича, дружно пришли к выводу, что он вел себя «на крепкую четверку».

Небрежную «реконструкцию» Соловьева можно было бы и не приводить. Но я счел нужным привести ее не только, как выразился ранее, для полноты картины, а еще и потому, что она бросает некий свет на все предыдущие версии.

Ведь все они — при всей их разноголосице — в конечном счете исходят из того, что «тиран развлекался». Все, в общем, не сомневаются, что едва ли не главная цель этого сталинского телефонного звонка состояла в том, чтобы унизить «небожителя». И все (даже Надежда Яковлевна с Анной Андреевной) выставляют бедному Борису Леонидовичу свою оценку за поведение.

Вильмонт ставит ему тройку, Надежда Яковлевна с Ахматовой — крепкую четверку, Бобров — двойку, Соловьев — чуть ли даже не единицу.

Оценивать поведение Пастернака в его разговоре со Сталиным по пятибалльной системе, а особенно глядя на это из другой исторической эпохи — занятие не только глупое, но и довольно бесстыдное. Но раз уж (с легкой руки Анны Андреевны и Надежды Яковлевны) мы вступили на этот сомнительный путь, осмелюсь высказать и свое мнение.

На мой взгляд, Борис Леонидович провел тот нелегкий разговор на пять с плюсом.

Не осмелился попросить Сталина, чтобы тот отдал ему Мандельштама «на поруки»?

Но ведь Сталин сам начал разговор с того, что дело пересматривается, и с Мандельштамом все будет в порядке.

Молча съел издевательскую реплику Сталина: «Если б мой друг, поэт, попал в беду, я бы на стену лез…»?

Нет, не смолчал. Ответил: «Если бы я не хлопотал, вы бы ничего не узнали…»

Тут еще надо иметь в виду, что у Б.Л., как говорит его жена, создалось впечатление, что Сталин позвонил ему, чтобы проверить Бухарина: не выдумал ли тот, что не он один, а вот еще и Пастернак тоже озабочен судьбой арестованного Мандельштама. Так что этим своим ответом («Если бы я не хлопотал…) он защитил не только себя, но и Бухарина.

Но главное — не это.

Как я уже говорил, все ответы Пастернака, вся логика его поведения диктовалась одной-единственной сверлящей его мыслью: «Знает или не знает Сталин о сакраментальном стихотворении?» И главное: «Знает ли он, что **я знаю** ! Что автор мне его читал!»

Кстати, именно этот довод приводила и Ахматова, объясняя, почему они «с Надей» сочли, что «Борис отвечал на крепкую четверку»:

> …рассказала мне, что в «Les Lettres Francaises» (эту весть Сосинские привезли) напечатано — со слов Триоле — будто Мандельштама погубил Пастернак.
> Своим знаменитым разговором со Сталиным — когда Сталин звонил Пастернаку по телефону после первого ареста Мандельштама.
> — Это совершенная ложь, — сказала Анна Андреевна. — И я и Надя решили, что Борис отвечал на крепкую четверку. Борис сказал все, что надлежало, и с достаточным мужеством. (Он мне тогда же пересказал от слова до слова.) Не на 5, а на 4 только потому, что был связан: он ведь знал те стихи, но не знал, известны ли они Сталину? Не хочет ли Сталин его самого проверить, знает ли он?
>
> ***(Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том второй. М., 1997, стр. 421 — 422.)***

Снизив свою оценку поведения Бориса Леонидовича с пятерки до четверки, Анна Андреевна и Надежда Яковлевна не учли, я думаю, одного весьма важного обстоятельства.

Сознаться (или хотя бы невольно дать понять), что он, Пастернак, тоже знает те стихи, было опасно вдвойне. Ведь такое признание грозило бедой не только (и даже не столько) ему, сколько Осипу Эмильевичу, которого, признавшись, он бы «заложил», засвидетельствовав, что тот не только сочинил «клеветнические» стихи, но и **распространял** их.

Вот он и ушел «в глухую несознанку».

Пастернак говорил со Сталиным так, как, собственно, и надлежит говорить со следователем, старающимся выпытать у подследственного всю подноготную. Но унижения, которому тогда подверг его Сталин, он не забыл.

А Сталин в том разговоре безусловно хотел его унизить. И тем, какой выбрал момент, чтобы бросить трубку, прямо дав понять, что для разговоров с Пастернаком на волнующие того темы («… предрассудки вековые, и гроба тайны роковые», и прочие глупости, о которых болтали Онегин с Ленским) у него нет ни времени, ни желания. Но больнее всего оскорбил и унизил он его этой повторяющейся в разных вариантах брезгливой репликой: «Мы, старые большевики, не так защищали наших друзей…», «Если бы мой друг, поэт, попал в беду, я бы на стенку лез…».

Но зачем, обращаясь к Сталину с просьбой «помочь Ахматовой», он вспомнил об этой прошлогодней реплике вождя? Неужели этим напоминанием он хотел сказать, что, вот, мол, вы тогда попрекнули меня равнодушием к судьбе товарища, так вот теперь своим заступничеством за Ахматову я вам доказываю обратное?

Нет, конечно!

Просто Борис Леонидович не смог скрыть, что та, давешняя реплика вождя больно его задела.

Сюжет второй
«ВАШИ СТРОКИ О НЕМ ОТОЗВАЛИСЬ НА МНЕ СПАСИТЕЛЬНО»

Какие строки тут имеются в виду, сомнений не вызывает. Речь идет о знаменитой сталинской формуле: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Радость Пастернака по поводу того, что титул лучшего поэта страны достался Маяковскому, с грехом пополам понять можно. Об этом он говорит достаточно внятно: «Они (сталинские слова о Маяковском. — Б.С.) отвечают моим собственным чувствам, я люблю его и написал об этом целую книгу». Но почему эти сталинские слова не просто обрадовали его, но и «отозвались на нем спасительно»?

Чем дальше, тем этот туман все более сгущается:

> > Теперь… с меня это подозрение снято, и я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил жизни.
> Именем этой таинственности горячо Вас любящий и преданный Вам…

Какое подозрение теперь снято с него? Как связана высокая сталинская оценка Маяковского с тем, что теперь он, Пастернак, может «жить в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями»? И почему он благодарит Сталина «именем этой таинственности»?

Туман, сплошной туман.

К.И. Чуковский однажды записал в своем дневнике:

> Ахматова рассказывала, что когда к ней приходил Пастернак, он говорил так невнятно, что домработница, послушавшая разговор, сказала сочувственно:
> — У нас в деревне тоже был один такой. Говорит, говорит, а половина — негоже.

Это замечание простодушной домработницы, казалось бы, в полной мере можно отнести и к процитированным выше строчкам из письма Пастернака Сталину. Но на самом деле Борис Леонидович (на свой лад, конечно) сказал именно то, что хотел сказать, и похоже, что Сталин прекрасно его понял.

Итак, попробуем развеять этот обычный пастернаковский туман и по возможности ясно увидеть то, что скрывалось за этим туманом.

Тут мне придется опять вспомнить отрывок из дневника приятеля Бориса Леонидовича Льва Горнунга. Я уже приводил его в главе «Сталин и Маяковский», но в слегка усеченном виде. Теперь приведу полностью:

> Говорили мне, что поэмы «Хорошо!» и «Владимир Ильич Ленин» очень понравились наверху и что было предположение, что Владимир Владимирович будет писать такие же похвалы и главному хозяину. Этот прием был принят на Востоке, особенно при дворе персидских шахов, когда придворные поэты должны были воспевать их достоинства в преувеличенно хвалебных словах, — но после этих поэм Маяковского не стало.
> Борис Леонидович сказал мне, что намеками ему было предложено взять на себя эту роль, но он пришел от этого в ужас и умолял не рассчитывать на него, к счастью, никаких мер против него не было принято. Какая-то судьба его хранила.
> *(Лев Горнунг. Дневник. 3 октября 1936 г. В кн.: Воспоминания о Борисе Пастернаке. М. 1993,*
> ***стр. 80.)***

От этого намеками сделанного предложения он, может быть, и в самом деле пришел в ужас. Но так вот прямо взять и отказаться от него было не просто. Я бы даже сказал,

невозможно. А может быть, это предложение показалось ему не то чтобы заманчивым, но, во всяком случае, не таким уж отвратительным. Может быть, он даже увидел в нем какие-то возможности, отчасти отвечающие его собственным художественным намерениям.

В ночь на 9 ноября 1932 году внезапно умерла жена Сталина Надежда Сергеевна Аллилуева. Ходили слухи о самоубийстве. Говорили даже, что жена вождя не покончила с собой, а была застрелена мужем во время семейной, а может быть, и политической ссоры.

В те дни (17 ноября 1932) в «Литературной газете» появилось такое письмо:

> Дорогой т. Сталин!
> Трудно найти такие слова соболезнования, которые могли бы выразить чувство собственной нашей утраты.
> Примите нашу скорбь о смерти Н. С. Аллилуевой, отдавшей все свои силы делу освобождения миллионов угнетенного человечества, тому делу, которое вы возглавляете и за которое мы готовы отдать свои жизни, как утверждение несокрушимой жизненной силы этого дела.

Письмо подписали все мало-мальски известные тогдашние писатели — Леонов, Олеша, Фадеев, Пильняк, Багрицкий, Шагинян, Катаев, Павленко… Всего было 33 подписи. А после них следовала приписка:

> Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине; как художник — впервые. Утром прочел известье. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел.
> ***Борис Пастернак.***

Трудно сказать, сам ли Пастернак отказался подписать общее письмо или была какая-то другая причина, из-за которой его фамилия не попала в общий список писателей, допущенных к выражению соболезнований. Но в любом случае не может вызывать никаких сомнений тот факт, что это выделение его из общего списка было знаком особой милости, особого благоволения и даже — наверняка! — особого интереса кремлевского властителя к его персоне. Ведь и в общий-то список мог попасть не всякий. Наверняка каждая фамилия тут согласовывалась, придирчиво обсуждалась и тщательно отбиралась. А уж так: вот выделиться, обособиться от всех, — это мог позволить себе только человек, про которого отвечающим за это мероприятие точно было известно, что такое его обособление не только не вызовет августейшего гнева, но, напротив, будет высокому адресату даже приятно.

И можно не сомневаться, что оно действительно было ему приятно.

В разговоре на эту тему Эренбург рассказал (Т.М. Литвиновой), что письмо Пастернака лежало будто бы под стеклом письменного стола в кабинете Сталина.

> — У меня от его рассказа, — заметила по этому поводу Татьяна Максимовна, — сложилось впечатление, что это была не та приписка, а длинное, «пастернаковско-муторное» (до-бухаринское?) письмо и что в его описаниях своих бессонных размышлений фигурировала как основная мысль: как должен чувствовать личную трагедию надличный человек-Вождь.

Даже если это и легенда, то возникла она не на пустом месте. Сталину наверняка импонировало, что такой человек, как Пастернак, «глубоко и упорно» думал о нем. Сурков или Павленко, которые бы «глубоко и упорно думали о Сталине», были ему далеко не так интересны.

Дарованное Пастернаку позволение «присоединиться к письму товарищей» и выразить свои чувства наособицу, не в общем потоке и не в установленном порядке, проистекало из того же источника.

В свете процитированного выше сообщения Льва Горнунга мы можем с уверенностью сказать, что фраза Пастернака — **«Накануне глубоко и упорно думал о Сталине; как**

художник — впервые» — была не просто красивым риторическим оборотом. Этой репликой Пастернак прямо давал понять, что известный «социальный заказ» им принят. Не надо только его торопить. Поэзия дело тонкое. Вот он уже всю ночь упорно думал о Сталине. И не просто думал, а «как художник». То есть присматриваясь, прицеливаясь к своей будущей модели. Стало быть, уже песня зреет.

Давая это свое обещание, Пастернак не обманывал. Он и в самом деле собирался его исполнить.

И исполнил.

1 января 1936 года в «Известиях» появилось стихотворение Пастернака «Мне по душе строптивый норов…»

Имя Сталина в нем названо не было. Но портрет вождя там был дан (при всей индивидуальной неповторимости пастернаковского голоса) в лучших традициях придворной поэзии Востока:

А в эти дни на расстояньи,
За древней каменной стеной,
Живет не человек, — деянье,
Поступок ростом с шар земной.
Судьба дала ему уделом
Предшествующего пробел:
Он — то, что снилось самым смелым,
Но до него никто не смел.
За этим баснословным делом
Уклад вещей остался цел.
Он не взвился небесным телом,
Не исказился, не истлел.
В собранье сказок и реликвий,
Кремлем плывущих над Москвой,
Столетья так к нему привыкли,
Как к бою башни часовой.

Анализируя это стихотворение, С. С. Аверинцев заметил, что Пастернак предпринял в нем попытку «окликнуть с одного полюса мироздания — другой полюс». Из наивной этой попытки, по убеждению Аверинцева, ничего не вышло, да и не могло выйти, потому что

> …у всемогущего носителя власти отнята данная самому последнему из людей способность: ответить на слово в разговоре.
>
> ***(С. С. Аверинцев «Пастернак и Мандельштам: опыт сопоставления».)***

О попытке такой «переклички», а тем более диалога в стихотворении речи нет. Но предположение исследователя возникло не на пустом месте. Строчкам о человеке, живущем «за древней каменной стеной», предшествуют другие, в которых поэт говорит о **себе** .

Мне по душе строптивый норов
Артиста в силе. Он отвык
От фраз и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг…
Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он лавры, бросясь в бой?
С кем протекли его боренья?
С самим собой. С самим собой.
Как поселенье на Гольфштреме,
Он создан весь сквозным теплом.

В его залив вкатило время
Все, что ушло за волнолом.
Он этого не домогался.
Он жил, как все. Случилось так,
Что годы плыли тем же галсом,
Как век, стоял его верстак.

уже в этих — начальных — строчках содержится намек на некое сродство поэта и властителя: они оба — каждый по-своему — воплощают в себе некое историческое начало, вектор исторического процесса.

«Как век стоял его верстак», — говорит поэт об «артисте», в облике которого легко угадывается сам автор. И почти теми же словами — о Сталине: «Столетья так к нему привыкли, как к бою башни часовой».

И хотя поэт и ощущает свою малость в сравнении с человеком, каждый поступок которого «ростом с шар земной», но в то же время он утверждает и некое их равенство. Равенство, основанное на какой-то таинственной связи, существующей между этими двумя «полюсами мироздания»:

И этим гением поступка
Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, словно губка,
Любою из его примет.
Как в этой двухголосной фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знанье друг о друге
Предельно крайних двух начал.

На первый взгляд, не совсем понятно, можем ли мы с уверенностью утверждать, что поэт («артист»), о котором идет тут речь — не кто иной, как сам автор: если он говорит о себе, то почему в третьем лице? Однако никаких сомнений в том, что Пастернак разумел тут именно себя, ни у кого никогда не возникало. Да он и сам не делал из этого тайны: прямо написал однажды, что в этом стихотворении **«разумел Сталина и себя».** И пояснил, что это была

> …искренняя, одна из сильнейших (последняя в тот период) попытка жить думами времени и ему в тон.
>
> ***(Борис Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах, т. 2, стр. 620.)***

Как видим, мысль о Пастернаке и Сталине как о двух полюсах, двух крайних точках мироздания внушил своим интерпретаторам сам Пастернак. Но, в отличие от них, в его представлении эти два «крайние начала» не просто противостоят друг другу: между ними существует некая мистическая связь.

Строки о поэте, который «тяжелеет, словно губка, любою из его примет», как и приписка Пастернака к «письму товарищей» по поводу смерти Аллилуевой, содержат в себе некое — уже новое! — обещание. Они довольно прямо намекают на то, что поэт уже забеременел («тяжелеет») заданной ему темой, что цитируемое стихотворение — лишь первый подступ к ней: полное воплощение и разрешение этой грандиозной темы — впереди.

Тут Пастернак, быть может, и слегка лукавил. Но вера его **«в знанье друг о друге предельно крайних двух начал»** была искренней.

Сталин, однако, на эту пастернаковскую попытку «окликнуть с одного полюса мироздания — другой полюс» никак не отозвался. И это как будто подтверждает мысль С. С. Аверинцева о невозможности диалога между поэтом и носителем верховной власти.

В реальности, однако, все было гораздо сложнее. На самом деле Сталин и Пастернак все-таки вели между собою некий диалог. И продолжался он не те несколько минут, в течение которых длился так грубо оборванный Сталиным их телефонный разговор.

Этот напряженный, полный намеков и умолчаний, но тем не менее достаточно внятный для обоих диалог они вели друг с другом не минуты, не часы и не дни, и даже не месяцы, а **годы.**

* * *

Но тут возникает такой вопрос: а почему, собственно, после того, как Маяковский покончил с собой, не оправдав надежд Сталина на то, что именно он станет главным его воспевателем, вождь обратил свой взор именно на Пастернака? Неужели он и впрямь считал, что, кроме этого «небожителя», нет других кандидатов на освободившуюся вакансию **первого поэта** ?

у самого Пастернака на этот счет не было ни малейших сомнений. Он был уверен, что ни о какой другой кандидатуре тут не могло быть и речи просто потому, что Сталин, — конечно! А как же иначе? — придерживается того же «гамбургского счета», из которого в своих представлениях о распределении мест на российском Парнасе исходит он сам.

А он еще в 1921 году высказался об этом так:

Нас мало. Нас, может быть, трое
Донецких, горючих и адских
Под серой бегущих корою
Дождей, облаков и солдатских
Советов, стихов и дискуссий
О транспорте и об искусстве.

Мы были людьми. Мы эпохи.
Нас сбило и мчит в караване…

И — мимо! — Вы поздно поймете…

Комментаторы полагают, что третьим в этой плеяде тогда — в 1921 году — он числил Асеева. Но два года спустя на подаренном Цветаевой экземпляре своей книги «Темы и вариации», куда вошло это стихотворение, он написал:

Несравненному поэту Марине Цветаевой. «Донецкой, горючей и адской».

Ну, а что касается первых двух, тут ни у кого никогда не было никаких сомнений.

Сомнения могли быть только насчет того, кого из них двоих числить первым, а кого — вторым.

Борис Леонидович бессчетно возвращался к одному и тому же воспоминанию.
Московской ночью, бредя откуда-то из гостей, он и Маяковский присели на скамейку безлюдного в этот поздний час Тверского бульвара.
— Я был тогда очень знаменит, — рассказывал Пастернак. — Мы сидели молча, и вдруг Маяковский попросил:
— Пастернак, объявите меня первым поэтом. Ну что вам стоит.
И, помолчав, добавил:
— А я сейчас же объявлю вас вторым.
Из-за частых повторений (кстати, для Пастернака несвойственных!) я запомнил этот рассказ дословно.

(Василий Ливанов. Невыдуманный Борис Пастернак. Воспоминания и впечатления.)

Пастернак, в отличие от Маяковского, титулу «первого поэта» особого значения не придавал. Когда случалось ему заговорить на эту тему, о самом понятии этом неизменно отзывался пренебрежительно. Даже с легким презрением.

Но для Маяковского он делал исключение.

Вот в письме к Цветаевой (23 мая 1926 г.) он пишет, что хочет заслонить ее от этого нелюбимого, как он говорит, словосочетания — «первый поэт»:

> Ты — большой поэт. Это загадочнее, превратнее, больше «первого». Большой поэт — сердце и субъект поколения. Первый поэт — объект дивованья журналов и даже… журналистов. Мне защищаться не приходится. Для меня, в моем случае — первый, но тоже и большой как ты, т.е. таимый и отогреваемый на груди поколеньем, как Пушкин между Боратынским и Языковым — Маяковский. Но и первый.
>
> ***(Марина Цветаева — Борис Пастернак. Письма 1922—1936 годов. М. 2004. Стр. 209.)***

Но и Маяковский, неизменно стремившийся быть первым, для Пастернака тоже готов был сделать исключение.

Выступая 23 марта 1927 года на диспуте «ЛЕФ ИЛИ БЛЕФ?», он процитировал критика А. Лежнева:

> «Маяковский, конечно, не только поэт, но вождь, глашатай, даже теоретик школы. Этим он коренным образом отличается от Пастернака… Эпоха, в зависимости от своих требований, ставит то одного, то другого в главный фокус литературы. Когда время ломки искусства… выдвигает вперед футуризм и его знаменосца Маяковского, Пастернак остается в тени…

И тут же, же от себя, Владимир Владимирович добавил:

> Когда время выдвигает Пастернака, Маяковский остается в тени.
>
> ***(Владимир Маяковский. Поли. собр. соч. Том двенадцатый. М. 1959. Стр 336.)***

После доклада Бухарина на Первом писательском съезде, после командировки в Париж на съезд писателей-антифашистов, где весь зал при его появлении встал, а потом, после его выступления провожал долго не смолкающей овацией, у Пастернака были все основания считать, что теперь время выдвинуло его, а Маяковский ушел в тень. И вот — сталинские слова вновь все расставили по своим местам. Сама эпоха устами вождя выдвинула Маяковского «в главный фокус литературы», а он, Пастернак, теперь, наконец, опять уйдет в тень.

Он не кривил душой и не лукавил, уверяя Сталина, что такая перспектива его радует. Еще бы она его не радовала! Ведь помимо всего прочего, она означала, что Сталин уже не ждет от него выполнения того «социального заказа», который, по словам Л. Горнунга, привел его в ужас.

Да и без этого «заказа» он был далек от желания попасть в сонм приближенных к трону. Выступая на Первом съезде, отчасти уже попавший в этот круг «приближенных», он говорил:

> …При огромном тепле, которым окружают нас народ и государство, слишком велика опасность стать литературным сановником. Подальше от этой ласки…
>
> ***(Первый всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М. 1934. Стр. 549.)***

Тут он тоже был искренен, говорил то, что думал и чувствовал.

И все-таки не так все это было просто, в чем у нас еще будет случай убедиться.

К этой щекотливой теме мы еще вернемся. А пока — только о том, чего можно коснуться, оставаясь в рамках этого сюжета.

В очерке «Люди и положения», писавшемся весной 1956-го и осенью 1957-го, когда тема эта была уже не актуальна (Сталин в то время был уже мертв и даже похоронен — не только политически, но и физически: вынесен из Мавзолея), Борис Леонидович счел нужным еще раз к ней обратиться:

> Были две знаменитые фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к поре Съезда писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ей. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю.
>
> ***(Борис Пастернак. Поли. собр. соч. Том 3. М. 2004. Стр. 337.)***

Грандиозный мировой скандал вокруг романа «Доктор Живаго» поместил его в самый центр этой «выставочной витрины». И нельзя сказать, чтобы, очутившись вдруг в ее «зеркальном блеске», он чувствовал себя там так уж неуютно.

Вот несколько отрывков из его писем той поры:

> За эти несколько дней я испытал счастливое и подымающее чувство спокойствия и внутренней правоты и ловил кругом взгляды, полные ужаса и обожания. Я также при этом испытании натолкнулся на вещи, о которых раньше не имел понятия, на свидетельства и доказательства того, что на долю мне выпало счастье жить большой значительной жизнью, в главном существе даже неизвестной мне.
> Ничего не потеряно, я незаслуженно, во много раз больше, чем мною сделано, вознагражден со всех сторон света.
>
> ***(21 августа 1957.)***

> Я утопаю в грудах писем из-за границы. Говорил ли я Вам, что однажды наша переделкинская сельская почтальонша принесла их мне целую сумку, пятьдесят четыре штуки сразу. И каждый день по двадцати. В какой-то большой доле это все же упоенье и радость…
>
> ***(2 декабря 1958.)***

В 1956 году Пастернак написал очень важное для тогдашнего его душевного состояния, поистине программное стихотворение — «Быть знаменитым некрасиво…». И вот, спустя два года, став знаменитым, он словно бы начисто забыл об этой своей заповеди. Он не просто радуется своей знаменитости, но прямо-таки упивается ею!

Упоминание об этом понадобилось мне тут потому, что эта, — казалось бы, такая неожиданная — реакция на вдруг пришедшую к нему знаменитость бросает некий дополнительный свет на процитированный выше отрывок из его очерка «Люди и положения».

Впрочем, и без этого дополнительного света в том отрывке явственно ощущается некоторая уязвленность:

> Я люблю свою жизнь и доволен ей. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте.

Конечно, он был искренне рад, что Сталин позволил ему уйти «в тень». Но не был ли он при этом и несколько разочарован?

Вскоре, однако, выяснилось, что Сталин про него не забыл.

И не только не забыл, но и, судя по всему, еще имел на него кое-какие виды.

Сюжет третий
«НЕ ТРОГАЙТЕ ЭТОГО НЕБОЖИТЕЛЯ…»

Так будто бы отреагировал Сталин, когда наткнулся на фамилию Пастернака в представленном ему списке «врагов народа», санкцию на арест которых он должен был дать.

Очень может быть, что это — легенда. Но указание «не трогать» Пастернака им действительно было дано. Хоть и в несколько иных обстоятельствах.

В марте 1936 года, после разгромной статьи «Правды» о Шостаковиче, началась кампания по борьбе с формализмом. По размаху, который приняла эта идеологическая кампания, и по значению, которое она имела для судеб искусства (да и не только искусства!) в нашей стране, она может быть сравнима с последовавшими в иные, более поздние времена кампаниями, спровоцированными постановлением ЦК о Зощенко и Ахматовой и знаменитой статьей той же «Правды» о группе театральных критиков-антипатриотов. Собственно, с нее-то, с этой кампании против формализма в искусстве, все и началось.

Тон был задан сверху. И тон этот был таков, что никто из выступавших по ходу этой «дискуссии» (называлось это именно вот так: дискуссией) и пикнуть не мог, — не то что словечка, даже междометия какого-нибудь, направленного не на одобрение высочайших указаний, не смел произнести.

Общественный статус Пастернака в то время был уже не тот, каким он был два года и даже год назад, когда его возили в Париж и когда ему звонил Сталин.

Тут, кстати, уместно напомнить рассказ З.Н. Пастернак о том, как был воспринят сталинский телефонный звонок Борису Леонидовичу, так сказать, на бытовом уровне:

> …швейцар распахнул перед нами двери и побежал нас раздевать. В ресторане стали нас особенно внимательно обслуживать, рассыпались в любезностях, вплоть до того, что когда Боря приглашал к столу нуждавшихся писателей, то за их обед расплачивался Союз. Эта перемена по отношению к нам в Союзе после звонка Сталина нас поразила.
>
> ***(З.Н. Пастернак. Воспоминания. М. 1993.)***

Несмотря на больно задевшую его сталинскую фразу, оставившую от этого разговора в его душе неприятный осадок, сам разговор Борис Леонидович тоже воспринял как знак величайшего благоволения.

Вот как писал он о нем в письме родителям 23 июня 1934 года:

> Спасает меня одно то, что ко мне очень (в самых разнообразных и прямо друг другу противоположных частях общества) хорошо относятся. На прошлой неделе мне даже (в первый раз в жизни) позвонил по телефону сам Сталин, и вы не представляете себе, ЧТО это значит.
>
> ***(Полн. собр. соч. Том 8, стр. 721.)***

За минувшие с тех пор два года положение его резко переменилось.

Теперь его уже не стеснялись атаковать в печати в выражениях, еще год назад совершенно немыслимых.

23 февраля 1936 года в «Комсомольской правде» появилась статья «Откровенный разговор. О творчестве Бориса Пастернака». Статья была без подписи, то есть редакционная. Это означало, что она знаменует начало кампании против Пастернака. «Комсомолка» — это, конечно, не «Правда». Но люди посвященные знали, что «Правда» тоже готовит статью

против Пастернака, что такая статья уже написана и появится на страницах ЦО в самые ближайшие дни. Неизвестно было только, появится она за подписью автора или без подписи — как редакционная. В этом последнем случае она стала бы следующим витком идеологической кампании, начавшейся статьей «Сумбур вместо музыки».

Но и в качестве авторской, а не редакционной, она ничего хорошего Пастернаку не сулила, поскольку автором ее был человек; в то время весьма влиятельный. Это был Исай Лежнев, занимавший в то время пост заведующего отделом литературы и искусства «Правды».

Исая Лежнева не следует путать с Абрамом Лежневым, которого Маяковский сочувственно цитировал в 1927 году в своем выступлении на дискуссии «ЛЕФ ИЛИ БЛЕФ?» Они были не то что не родственники, но даже не однофамильцы. Скажем так: «однопсевдонимцы». («Девичья» фамилия первого была Альтшуллер, «девичья» фамилия второго — Горелик.)

Абрам Лежнев, которого цитировал Маяковский, в 20-е годы был одним из теоретиков литературной группы «Перевал», в прошлом — социал-демократом-меньшевиком, и, естественно, в середине 30-х сгинул в сталинских лагерях.

Прошлое его «однопсевдонимца» по части чистоты его партийных риз тоже было небезупречным. В 1922—1926 гг. он издавал и редактировал журнал «Новая Россия», в котором, кстати, напечатал булгаковскую «Белую гвардию»-

(Булгаков вывел его в своем «Театральном романе» под фамилией «Рудольфи».) После закрытия этого «сменовеховского» журнала он был выслан за границу. Но в 1934 году он направил Сталину некий трактат, в котором высказывал свои соображения о политическом будущем России. Соображения эти так пришлись Сталину по душе, что автора трактата он тотчас же назначил заведующим отделом литературы и искусства «Правды». А когда тот растерянно возразил, что он беспартийный, Сталин невозмутимо произнес: «Я сам дам вам рекомендацию в партию». И дал.

Исай Лежнев в тот момент был, стало быть, доверенным лицом Сталина, так что его статья о Пастернаке, даже в том случае, если бы она и не стала редакционной, готовила поэту весьма печальную участь.

Таковы были обстоятельства, предшествовавшие выступлению Пастернака на писательском собрании 13 марта 1936 года.

Официально это называлось дискуссией. Но какая уж тут могла быть дискуссия! Все ораторы дружно клеймили формализм как главное зло, угрожающее советскому искусству, литературе, поэзии. Некоторые, впрочем, клеймили и другой жупел: натурализм.

Речь Пастернака на этой «дискуссии» произвела впечатление разорвавшейся бомбы.

Он не только отказался принять участие в разоблачении формализма и натурализма, но прямо дал понять, что оба эти определения, в сущности, пустые, ничего не значащие слова, не имеющие никакого отношения к реальности.

Статья «Сумбур вместо музыки» в его выступлении названа не была. Но все прекрасно поняли, что говорил он именно о ней. Об этом можно судить по такому, например, обмену репликами между ним и В.П. Ставским.

> …это уж очень выпирает, — формализм — натурализм, натурализм — формализм. Я не поверю, что это пишется от чистого разума, что каждый пишущий так и дома разговаривает, в семье… Это неправда.
> (Аплодисменты).
> (С т а в с к и й: Ты о каких статьях говоришь?)
> О всяких статьях.
> (С т а в с к и и: Статья — статье рознь, надо все-таки разграничивать.)
>
> ***(Лазарь Флейшман. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. М. 2005. Стр. 475.)***

Смысл этого начальственного окрика (Ставский в то время был секретарем Союза писателей; через три месяца, после смерти Горького, он станет Генеральным секретарем СП СССР) сомнений не вызывает: ты, мол, ври, да не завирайся. О других статьях говори все, что вздумается, но Боже тебя упаси хоть намеком коснуться той, которую приказал напечатать, а может быть, даже и лично продиктовал САМ ХОЗЯИН.

От прямого ответа на вопрос Ставского («Ты о каких статьях говоришь?») Пастернак уклонился. Но и говорить, что статью «Сумбур вместо музыки» он вовсе даже и не имел при этом в виду, тоже не стал. Понимайте, мол, как хотите.

И все его прекрасно поняли. И те, кто ему аплодировали. И те, кто по долгу службы должны были докладывать о происходящем КУДА НАДО:

> Центральным событием второго дня дискуссии было выступление Бориса Пастернака. Начав с критики методов ведения дискуссии, Пастернак пришел к отрицанию правомерности самой дискуссии и, развивая эту мысль, пришел к антисоветским, по существу, выводам…
> Первоначально выступление Пастернака имело огромный успех у аудитории, но, по мере того как отчетливей становился антисоветский характер его речи, выражения одобрения его речи становились все сдержанней.
>
> ***(Из агентурной сводки НКВД. Там же, стр. 469—470.)***

Вот какие слова уже пошли в ход: «антисоветские выводы», «антисоветский характер». И тут надо сказать, что слова эти появились не только в тайном донесении энкавэдэшного сексота. Они прозвучали сразу, уже на самой «дискуссии»:

> Во время речи Пастернака с мест слышались реплики: «Надо его одернуть»…
> *Сусанна Мар:* «Это целиком антисоветское, реакционное выступление…»
>
> ***(Там же, стр. 470.)***

Эпитеты «антисоветский», «антисоветское» наверняка возникли бы и по поводу главного пафоса той пастернаковской речи. Но Борис Леонидович дал для них дополнительный повод, откровенно признавшись в своем выступлении, что поначалу он не понял и не принял партийный курс на коллективизацию.

Это немедленно отметила «Комсомольская правда», напечатав еще одну редакционную статью, в продолжение и развитие той, которая появилась на ее страницах 23 февраля.

Тон газеты, естественно, стал теперь резче. Этот новый «откровенный разговор» был уже не «О творчестве Бориса Пастернака», а о выплеснувшихся в его речи явно «не наших» его политических взглядах:

> В своей путаной и во многом ошибочной речи поэт Б. Пастернак попытался огульно охаять все выступления нашей печати и оправдать критикуемое формалистическое уродство в искусстве…
> Не поняв огромного принципиального значения борьбы с формализмом, борьбы, продиктованной народной любовью и возросшими требованиями к искусству, Пастернак счел возможным в 1936 году бросить советской печати чудовищный упрек в «орании» на писателей…
> Пастернак, не стесняясь, без краски стыда, рассказал на московском собрании писателей о том, что он-де поверил в коллективизацию лишь перед самым съездом писателей, т.е. тогда, когда она была уже в основном завершена, когда самый отсталый крестьянин на личном опыте уже давно «поверил» в нее. Поэт отстал от такого крестьянина на годы…
> Пора бы Пастернаку понять всю вредную ошибочность своей позиции, своего отношения к борьбе за большое социалистическое народное искусство.
>
> ***(«Аве вынужденные реплики. «Комсомольская правда», 1936, 16 марта.)***

В тот же день на эту тему высказалась и «Правда».

Это была не статья, а репортаж, скромно озаглавленный: «С общемосковского собрания писателей». Но, вопреки всем законам жанра, репортерский отчет о писательском собрании почти целиком был посвящен Пастернаку.

Вот что там о нем говорилось:

> Б. Пастернак для начала заявил, что он-де не понимает статей о формализме и натурализме, напечатанных в последнее время, да и вообще ему, Пастернаку, сдается, что лучше было бы совсем не писать на эту тему. И о современной тематике тоже-де не следует говорить. Поэт есть прорицатель, он должен прорицать, идти впереди своего времени, а вы, критики, хотите, чтобы я изображал сегодняшнюю жизнь, людей своего времени и т.п.
>
> Претенциозность выпирала из всей речи Пастернака, пренебрежение к читателю, претензия на писательскую непогрешимость делали его речь наивной; претензии на роль пророка, возвещающие миру истины, скрытые от глаз обыкновенных смертных, делали ее смешной…
>
> …Удовлетворить подобными дешевыми средствами уже нельзя ни писательскую общественность, ни колоссально выросшие культурно миллионы читателей — рабочих и колхозников.
>
> ***(«Правда», 16 марта 1936 г.)***

В соответствии с уже прочно установившимися правилами той игры Пастернака надо было заставить покаяться, признать, что выступление его было ошибочным и даже вредным. Такое покаяние, разумеется, еще не означало, что виновный будет прощен. Но это была обязательная часть ритуала.

Накануне на Пастернака было оказано обычное в таких случаях кулуарное давление. То есть не совсем кулуарное, конечно, а вполне официальное. Он был вызван в ЦК к заместителю заведующего отделом культпросветработы ЦК А.И. Ангарову (впоследствии, разумеется, расстрелянному), который внятно объяснил поэту, чем ему грозит его «бунт на корабле».

Пастернак вроде как внял уговорам и в день появления обеих статей — 16 марта — вновь выступил на продолжающейся «дискуссии».

Это — второе — его выступление по форме, как это и полагалось, было вроде как покаянным. Но по существу ни от одного положения предыдущей своей речи он не отказался:

> Я не жалею того, что сделал это… И сегодня я все-таки повторяю пожелание о том, чтобы немножко повысить уровень разговоров обо всем этом не только у нас сейчас, но и впредь, чтобы устранен был этот тон высокомерия, а то получается совершенно дискредитирующее, невыгодное распределение ролей…
>
> По-моему, наше искусство несколько обездушено, потому что мы пересолили в идеализации общественного…
>
> Не торопитесь, подождите, вы увидите, что это очень спокойная мысль и может быть допустима…
>
> Трагизм присутствует в радостях, трагизм — это достоинство человека и серьезность его, его полный рост, его способность, находясь в природе, побеждать ее. (Голос: «Совершенно неверно», шум.)
>
> ***(Лазарь Флейшман. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. Стр. 480—481.)***

Эта его мысль, о которой он сказал, что она «может быть допустима», в той обстановке была, разумеется, совершенно недопустима. Это была самая что ни на есть настоящая крамола. Как, впрочем, и все остальные мысли, высказанные им в той его речи.

На первый, не очень внимательный взгляд крамола эта была смягчена и даже слегка замаскирована полагающимся в таких случаях утверждением, что «партия всегда права».

Не произнести эту обязательную формулу в тех обстоятельствах Пастернак не мог. Но он и ее «оформил» по-своему, по-пастернаковски:

> …Я буду говорить так, как подсказывается моей судьбой… Тысячу раз меня бы истерзали третьи руки, если бы в это дело не вмешивалась партия, благодаря ей я и существую.
> У меня бывали случаи, когда на меня готовы были налететь за обмолвку или еще что-нибудь такое, но только вмешательство, прикосновение партии, то отдаленнейшее прикосновение, которое формирует нашу жизнь, дает лицо эпохе, составляет мою жизнь, кровь и судьбу, — только это вмешательство отвращало это. Вот, в «шкурной» форме, что для меня партия.
> ***(Там же, стр. 478.)***

Все в этом неожиданном в устах Пастернака и, как можно было бы подумать, насквозь лицемерном, вымученном, насильственно выжатом из него монологе обретает совершенно иной, простой и ясный смысл, стоит только слово «партия» всюду заменить словом «Сталин». При такой замене каждая из этих фраз дышит искренностью и правдой.

Это был сигнал «SOS», брошенный им Сталину: «Ты столько раз уже спасал меня от готовых меня растерзать «третьих рук»! Спаси и сейчас!»

Но те, кто готовился его «растерзать», были уверены, что на сей раз заступаться за него, отвращать надвигающуюся на него беду, отводить от него занесенную для расправы руку «партия» (читай — Сталин) не станет.

В этих новых обстоятельствах мягкая статья И. Лежнева уже не годилась. Надо было принимать другие, более крутые меры.

На следующий день после второго выступления Пастернака, 17 марта, стенограмма первого его выступления была послана Сталину.

По логике вещей ее должны были отправить «главному арбитру» еще 14-го. Но, видно, решили дождаться публичного отречения поэта от его «антисоветских» высказываний. А поскольку отречение не состоялось, было принято единственно возможное в тех обстоятельствах решение.

К посланной Сталину стенограмме было приложено письмо главного редактора «Правды» Л.З. Мехлиса:

> ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ
> На общемосковском собрании писателей, посвященном задачам художественной литературы, вытекающим из статей «Правды» об извращениях в искусстве, выступил поэт Пастернак, речь которого является хорошо продуманным антисоветским выпадом.
> Начав с того, что он, Пастернак, до писательского съезда «не понимал коллективизации», что она казалась ему «ужасом, концом света» (это как раз в то время, когда тов. Бухарин призывал равняться на него всех советских поэтов), Пастернак заявил, что не понимает сейчас «кампании» против извращений и уродств в искусстве и что «человек должен пойти напролом, может быть, его каменьями побьют», но он не должен «слушаться критики, которая ему распределяет темы».
> Пастернак пытался охаять всю работу советской печати в области борьбы с левацким уродством и трюкачеством в искусстве, характеризуя все выступления критики как грубый окрик («орут на один голос»), сравнивая ее с врачом, который принимает с «немытыми руками» только что родившегося ребенка, утверждая, что за всеми появившимися в последнее время статьями «любви к искусству не чувствуется», предостерегая «от произвола».
> Принимая во внимание, что на общемосковском собрании писателей развернутой критики выступлений Пастернака не было, редакция просит разрешения подвергнуть критике речь Пастернака в «Правде».

(Александр Галушкин. «Сталин читает Пастернака». В кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Stanford, 2000. Stanford Slave Studies. Vol. 22, стр. 48—49.)

Эта проектируемая Мехлисом статья, если бы она появилась, означала бы следующий виток набирающей все новые обороты идеологической кампании. По замыслу Мехлиса, она должна была стать даже более впечатляющей, чем начавшая кампанию статья «Сумбур вместо музыки». В той статье, при всей ее резкости, опера Шостаковича «хорошо продуманным антисоветским выпадом» все-таки названа не была.

Лазарь Флейшман, комментируя это письмо Мехлиса, весьма резонно замечает:

> Можно полагать, что главный редактор не стал бы беспокоить вождя нескромной просьбой, если бы он не полагал, что инициатива его будет встречена сочувственно. Чиновники такого ранга идти на «намеренный риск» не способны.
>
> ***(Лазарь Флейшман. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. Стр. 486.)***

Соображение верное. Но к этому надо добавить, что у Мехлиса были и свои, более весомые основания рассчитывать на безусловную поддержку вождем любых его инициатив.

Он был не совсем обычным чиновником, и тут, пожалуй, стоит сказать об этом несколько слов.

Лев Захарович Мехлис с 1922 года был одним из секретарей Сталина. Из них, даже самых приближенных к вождю сталинских выкормышей (Товстуха, Поскребышев) только он один сделал официальную партийную и государственную карьеру. Перед войной он будет начальником ПУРа (Политического управления Красной Армии), потом народным комиссаром Государственного контроля, во время войны — членом Военных советов армий и фронтов, после войны — опять министром Государственного контроля. Благополучно переживет все чистки и умрет в своей постели в один год со Сталиным.

Он был, пожалуй, самым «непотопляемым» из сталинских любимчиков и, быть может, обладал и какими-то особыми, неведомыми нам качествами, которые помогли ему утвердиться в этой роли. Но одна из причин его возвышения, и едва ли не главная, хорошо известна.

> В 1927 году… он уйдет на три года учиться в Институт Красной профессуры. Но в 1930 году он придет к Сталину и без труда докажет ему, что центральный орган партии «Правда» не ведет нужную работу по разъяснению партии, какую роль играет личное руководство Сталина. Сталин сейчас же назначит его главным редактором «Правды». И тут он окажет Сталину незаменимую услугу. «Правда» задает тон всей партии и всем партийным организациям. Мехлис в «Правде» начнет изо дня в день писать о великом и гениальном Сталине, о его гениальном руководстве. Сначала это произведет странное впечатление. Никто Сталина в партии гением не считает, в особенности те, кто его знает…
>
> В 1927 году… это казалось неприличным. В 1930 году время пришло, и Мехлис из номера в номер «Правды» задавал тон партийным организациям: «Под мудрым руководством нашего гениального вождя и учителя Сталина». Это нельзя было не повторять партийным аппаратчикам на ячейках. Два года такой работы, и уже ни в стране, ни в партии о товарище Сталине нельзя было говорить, не прибавляя «великий и гениальный».
>
> ***(Борис Важанов. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. М. 1990. Стр. 132—133.)***

К этому, пожалуй, стоит еще добавить, что, хорошо зная своего шефа, Мехлис отлично умел играть на его слабостях, безошибочно чувствовал, каких «болевых точек» надо коснуться в том или ином случае, чтобы достичь желаемой цели.

С этой точки зрения его донос на Пастернака являет собой подлинный шедевр этого специфического жанра. В нем тщательно взвешено и продумано каждое слово, каждое обвинение. Чего стоит, например, брошенное мимоходом имя Бухарина рядом с крамольным высказыванием Пастернака о коллективизации. Или акцент на сравнении тех, кто критиковал Шостаковича, с врачом, который «немытыми руками» принимает ребенка! Он прямо дает понять, что сказано это было не о ком ином, как об авторе статьи «Сумбур вместо музыки». А автором ее, как мы уже знаем, был сам Сталин.

В общем, отправляя Сталину это свое письмо, Мехлис мог не сомневаться, что его инициатива вождем будет поддержана

Но этого не произошло.

Сталин не только не дал соизволения на публикацию предлагаемой Мехлисом статьи, но неожиданно распорядился начавшуюся кампанию на этом прекратить.

«Дискуссия» в Союзе писателей по инерции еще тлела. Но в печати о борьбе с формализмом больше не появилось ни слова.

Я не буду вдаваться в анализ причин, по которым Сталин решил на сей раз ограничиться музыкой и театром (статья 9 марта в «Правде» о «Мольере» Булгакова и о Втором МХАТе), не позволив погрому перекинуться на литературу. Наверняка были у него тут какие-то свои — политические — расчеты. Это вообще был его любимый ход: развязать погром, а потом — осудить «перегибы» и спихнуть все «издержки» им самим развязанной гнусной, а то и кровавой кампании на «третьи руки». Но каковы бы ни были на этот раз главные стимулы и политические расчеты, факт остается фактом. Именно ЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВО отвело меч палача, занесенный над головой «небожителя» и уже готовый на него обрушиться. Снова — уже не в первый и, как мы еще увидим, не в последний раз — подтвердилась вера Пастернака «в знанье друг о друге предельно крайних двух начал».

* * *

В апреле 1936 года в торжественной обстановке проходил съезд ВЛКСМ, на который были приглашены и писатели. (Воспитание молодежи было их прямой прерогативой, а кому же еще руководить этим процессом, если не комсомолу.)

К.И. Чуковский подробно описал в своем Дневнике одно из наиболее впечатливших его событий этого праздника:

> Вчера на съезде сидел в 6-м или 7-м ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в передние ряды (рядом со мной было свободное место). Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали — счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой — все мы так и зашептали. «Часы, часы, он показал часы» — и потом, расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах.
>
> Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: «Ах, эта Демченко, заслоняет его!»
>
> ***Домой мы шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей радостью. (К Чуковский. Дневник. 1930—1969. М. 1994. Стр. 141.)***

Эта запись со времени первого ее появления в печати цитировалась бессчетно. И, разумеется, комментировалась.

Комментировалась по-разному. Кто-то изумлялся, что такие незаурядные, известные независимостью своих суждений и уже не слишком молодые люди поддались этому массовому психозу. Иные из изумлявшихся говорили об этом с презрением, иные — с сочувствием, искренним желанием понять и простить. Кто-то высказывал предположение, что все это Корней Иванович записал для ОТВОДА ГЛАЗ: вдруг его Дневник попадет в чужие руки! (Предположение не такое уж глупое: такие случаи бывали, и об одном из них я со временем расскажу.)

Лазарь Флейшман в своей книге о Пастернаке и литературном движении 1930-х годов комментирует ее по-своему. Как выглядит в этой истории Чуковский, его нимало не интересует. Его интересует только, как выглядит в ней Пастернак. Я бы даже сказал, что главная цель его комментария состоит в том, чтобы выгородить Пастернака, отделить его от сервильного, раболепствующего Чуковского:

> Попытки некоторых современных критиков представить это показание в качестве непреложного свидетельства «сервилизма» поэта или его захваченности «сталинским мифом» несостоятельны, поскольку полностью противоречат всем имеющимся прямым и косвенным высказываниям Пастернака 30-х годов и всей системе его политических воззрений, как она сложилась в советские годы…
> Встает также вопрос, до какой степени общая картина массовой экзальтации при появлении в зале вождей и неистовства аудитории включает и Пастернака. Дневниковая запись вполне достоверно воссоздает картину упоения, с каким зал и, очевидно, автор дневника встретили Сталина, но транспонировать ее персонально на соседа Чуковского никаких оснований нет. То, что священный трепет обуял (как свидетельствует запись) Чуковского, вовсе не означает, что он охватил и Пастернака,
>
> ***(Лазарь Флейшман. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. Стр. 506-507.)***

При всей трогательности этой попытки защитить Пастернака от «несправедливых наветов», я думаю, что он в такой защите не нуждается. Не сомневаюсь, что картина, нарисованная Чуковским в этой его записи, довольно точно отражает душевное состояние обоих.

Конечно, тут надо учитывать и то, что массовый психоз заразителен. И то, что, демонстрируя друг другу свой восторг, оба персонажа слегка переигрывали (сублимация страха). Но у Пастернака были свои, гораздо более весомые, чем у Чуковского, причины, чтобы при появлении Сталина впасть в эйфорию.

Ведь только что, всего лишь месяц тому назад Сталин, ЕГО СТАЛИН, спас его, защитил от расправы. И не в том даже дело, что защитил, а в том, что подтвердил вот эту самую его веру в «знанье друг о друге предельно крайних двух начал». Ну, как тут ему было не ревновать к «какой-то Демченко», которая смеет заслонять от него ЕГО СТАЛИНА. Ведь именно он, а не Демченко должен был стоять рядом с НИМ, разговаривать с НИМ.

Впрочем, нет! Этого он не хотел, к этому не стремился.

Его отношения со Сталиным были таковы, что он ни в коем случае не пожелал бы, чтобы они были выставлены всем напоказ. Не пожелал бы, наверно, даже, чтобы они стали очными. Решительно предпочел бы, чтобы они оставались вот такими же неуловимыми, таинственными. И чтобы не иссякала его уверенность, что и без посредства почты и телеграфа его особое, очень личное, интимное отношение к вождю и впредь — каким-то «неведомым образом» — доходило до адресата.

Сюжет четвертый
«ВЫЯСНИТЕ, ЧТО ПАСТЕРНАК ХОЧЕТ КОНКРЕТНО»

Последнее — 1945 года — письмо Пастернака Сталину заключает фраза:

> Мне очень совестно беспокоить Вас пустяками, я годы и годы воздерживался от этого, пока был жив Александр Сергеевич Щербаков, который знал меня и выручал в крайностях.

За этой короткой репликой тоже скрывается некий сюжет.

После окончания Парижского конгресса Пастернак выехал из Парижа в Лондон, а оттуда — пароходом — в Ленинград.

На пароходе он оказался в одной каюте с А.С. Щербаковым,

> …и две ночи подряд изводил его разговорами. Щербаков сначала кивал, потом пытался не слушать, потом засыпал, потом просыпался — а Пастернак в душной каюте все сидел на кровати и говорил, говорил.
> Одни считают, что это был бред. Другие — что Пастернаку важно было прикинуться душевнобольным перед чиновником, которому предстояло писать отчет об антифашистском конгрессе, а конгресс-то, в общем, провалился…
> ***(Дмитрий Быков. «Борис Пастернак», М. 2005, стр. 546.)***

Притворяться душевнобольным Пастернаку не было никакого резона, — не он же отвечал за успех или провал конгресса. Да, по правде говоря, ему и не надо было притворяться, чтобы произвести впечатление душевнобольного: он и в самом деле был тогда невменяем. И уезжал в Париж в плохом душевном состоянии, а там душевно совсем расклеился: достаточно напомнить, что он вернулся домой, так и не повидавшись с родителями, с которыми больше никогда в жизни ему уже не сркдено было встретиться.

И вот в этом полубезумном состоянии он изливал Щербакову все, что у него наболело, тот, задремывая, слушал его вполуха и кивал, а Борису Леонидовичу казалось, что вот, нашелся, наконец, человек, который его понимает, которому, как родному, можно открыть все, что томит и терзает его душу:

> ИЗ ПИСЬМА ТИЦИАНУ ТАБИДЗЕ
> *6 сентября 1935 г.*
> Щербакову, с которым я разделял каюту по пути из Лондона в Ленинград, я много рассказывал о Вас. Это было самое худшее время моих испытаний, какая-то болезнь души, ощущенье конца без видимого наступления смерти, сама тоскливая немыслимость.
> ***(Борис Пастернак. Полн. собр. соч. Том 9, стр. 45.)***

> ИЗ ПИСЬМА З.Н. ПАСТЕРНАК
> *12 июля 1935 г.*
> Я приехал в Ленинград в состоянии острейшей истерии, т.е. начинал плакать при каждом сказанном кому-нибудь слове…
> У Щербакова список вещей, задержанных на ленинградской таможне. Попроси его, он поможет тебе их выручить…
> ***(Там же, стр. 33—34.)***

Щербаков помог. Он дал Зинаиде Николаевне официальное письмо на Ленинградскую таможню, помог ей добыть билет на поезд в Ленинград (с этим тогда тоже были большие трудности). Все это он делал скорее по долгу службы, нежели по особому душевному расположению к соседу по каюте. Но у Бориса Леонидовича укрепилась уверенность, что Щербаков — его добрый ангел, к которому, в крайнем случае, он всегда может обратиться. И обращался. Как правило, в связи с разными бытовыми проблемами.

Но однажды в своем обращении к нему затронул более существенную для него и весьма щепетильную тему.

Тут нужна маленькая предыстория.

31 января 1939 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о награждении ста семидесяти двух советских писателей орденами. Пастернака в списке награжденных не было. Но старый его друг и однокашник Асеев — был. (Был он и в числе первых лауреатов Сталинской премии.)

На эту государственную (правительственную) ласку Асеев откликнулся стихами:

> Вколото
> эмаль и золото
> не только в мой пиджачный лацкан, —
> пыланьем ордена,
> вниманьем родины
> весь труд писательский возвышен и обласкан.

На эти лакейские стишки и на всю шумиху, связанную с награждением писателей орденами (а шумиха была большая: по всей стране шли митинги, писатели сочиняли и подписывали благодарственные письма «товарищу Сталину»), язвительно откликнулся из Парижа Вл. Ходасевич:

> …Всё это и жалко, и смешно, и грустно до последней степени.
> ***(«Возрождение», 17 февраля 1939 года.)***

Естественно предположить, что реакция Пастернака должна была быть примерно такой же, как у Ходасевича,

В тот момент она, наверно, такой и была. Но какая-то заноза в его душе по этому поводу, видимо, все-таки осталась. Это прорвалось в двух его письмах к А.С. Щербакову, написанных позже и как будто бы тоже по сугубо бытовым поводам:

> ИЗ ПИСЬМА А.С. ЩЕРБАКОВУ
> *16 июля 1943 г.*
> Моя квартира в Лаврушинском разгромлена до основания именно как бедная, на которой было написано, что она не знатная и за нее не заступятся.
> Она необитаема, в ней не осталось обстановки. Полностью уничтожен плод давних и многолетних работ моего отца, академика, поныне живого и находящегося в Англии, в Оксфорде…
> Как раз пример отца, его близость со старой Москвой и большими суровыми людьми вроде Льва Толстого с детства повелительно и непобедимо сложили мой характер. По своим нравственным правилам я не мог извлекать выгод из своих былых успехов (как на съезде писателей, за границей и пр.), которыми на моем месте воспользовался бы всякий… Мне кажется, я сделал не настолько меньше нынешних лауреатов и орденоносцев, чтобы меня ставили в положение низшее по отношению к ним.
> Мне казалось мелким и немыслимым обращаться к Иосифу Виссарионовичу с этими страшными пустяками.
> Любящий Вас
> Б. Пастернак.
> ***(Борис Пастернак. Полн. собр. соч. Том 9, стр. 349.)***

> ИЗ ПИЬМА А.С. ЩЕРБАКОВУ
> *5 мая 1944 г.*

> В лучшие годы удач я изнемогал от сознания спорности и неполноты сделанного. Это естественно. То, что было крупно и своевременно у Блока, должно было постепенно выродиться и обессмыслиться в Маяковском, Есенине и во мне. Это тягостный процесс. Он убил двух моих товарищей и немыслимо затруднил мою жизнь, лишив ее удовлетворенности. Этого не знают наши подражатели. Каково бы ни было их положение, все это литературная мелочь, незатронутая испепеляющим огнем душевных перемен, умирания и воскресений.
> Все это старое я сбросил, я свободен. Меня переродила война и Шекспир. Вероятно, формой я владею теперь уже во сне и не сознаю ее и не замечаю. Я поглощен содержанием виденного и испытанного, историческим содержанием часа, содержанием замыслов.
> Я ничего не прошу. Но пусть не затрудняют мне работы в такой решающий момент, ведь я буду жить не до бесконечности, надо торопиться… Надо напомнить, что я не дармоед даже и до премии и без нее…
> Простите, что занял у Вас так много времени и говорю с Вами без обиняков. Вы единственный, обращение к кому не унижает меня.
> Неизменно верный Вам и любящий Вас
> Б. Пастернак.
> ***(Там же, стр. 374.)***

Ему казалось, что он говорит «без обиняков». Так оно, в сущности, и было. Для него это был — предел ясности, который он мог себе позволить, затрагивая столь щекотливую тему. Щербаков, однако, из этих его «обиняков» мало что понял. На одном из этих писем он начертал такую резолюцию:

> Тов. Александров. Выясните, что Пастернак хочет конкретно.
> *А. Щербаков.*

Между тем понять, «что хочет Пастернак конкретно», было не так уж трудно. Он хотел, чтобы его труд был оценен так, как он того заслуживал. Иными словами, он хотел принадлежать к сонму обласканных.

Написав, что понять, чего хочет Пастернак, было не так уж трудно, я, пожалуй, слегка поторопился. Человеку такой складки, как Щербаков, наверно, не так уж просто было извлечь рациональное зерно из того сумбура, какой обрушил на него Пастернак.

В самом деле: какая связь между тем, что его квартира разгромлена — и горестной судьбой Маяковского и Есенина, Шекспиром, переродившей его войной и какими-то подражателями, не затронутыми «испепеляющим огнем душевных перемен»?

С Щербаковым Пастернак объяснялся на том же, своем, «пастерначьем» языке, на каком он обращался к Цветаевой.

Вернее, это был даже не язык, не способ выражения мысли, а сама мысль, скачущая, парящая, то взмывающая в небеса, то спускающаяся на землю, движущаяся по каким-то своим, особенным законам.

Уследить за причудливыми пируэтами этой пастернаковской мысли не всегда могли даже самые умудренные из его коллег:

> Позднее закатное солнце бьет в большие раскрытые окна без занавесок. Далеко, во главе стола, сидит Горький с Раскольниковым по одну руку и Всеволодом Ивановым — по другую, курит, покашливает, как уже неоднократно было подмечено. Один за другим встают писатели и произносят приветственные слова на тему «Добро пожаловать!» Помню, что речь Пастернака удивила многих, вероятно, и Горького. Слушали, недоумевая, с вопросительным выражением: где-то ты сядешь?..
> Сделав несколько замысловатых виражей над головами присутствующих, побывав где-то очень далеко, вылетев в одно окно и влетев в другое, он все же приземлился на три точки.

Горький покашливал и покуривал…

(Василий А. Катанян. Распечатанная бутылка. Нижний Новгород. 1999. Стр. 132—133.)

Этим свойством своей натуры Пастернак умело пользовался. Не хочу сказать, что он наигрывал, притворялся. Но в разных сложных ситуациях хватался за него, как утопающий за соломинку. И «соломинка» выручала.

Был, например, такой случай.

В январе 1937 года начался второй из знаменитых московских процессов. Обвиняемыми на нем были Пятаков, Радек, Сокольников, Серебряков… Как полагалось согласно уже утвердившемуся ранее ритуалу, 25 января было созвано заседание президиума правления Союза писателей, на котором была принята соответствующая резолюция. Ее подписали 25 именитых писателей, среди которых были Всеволод Иванов, А. Афиногенов, М. Шагинян, И. Сельвинский, Б. Пильняк. Текст этой резолюции тотчас же появился в печати. Выдержан он был в обычном тогдашнем стиле — ни по лексике, ни по фразеологии (о смысле я уже не говорю) ни единым атомом, ни единой молекулой это писательское воззвание не отличалось от таких же клишированных, штампованных резолюций, подписанных людьми, к изящной словесности отношения не имеющими.

Вот — самая суть этой резолюции, ее, так сказать, квинтэссенция:

> Ответ на эти преступления может быть лишь один. Пять месяцев тому назад народ уничтожил банду Зиновьева — Каменева. Так же должно быть поступлено и с ныне пойманной группой бандитов.
>
> Писатели единодушно требуют поголовного расстрела участников этой банды. Писатели помнят слова Горького: «Если враг не сдается — его уничтожают».
>
> ***(«Литературная газета», 26 января 1937 года.)***

Пастернак на заседание президиума, принявшего эту резолюцию, был приглашен специальной повесткой. Но он на это заседание не явился. Прислал письмо, которое, как ему, вероятно, казалось, могло заменить речь, которую в тех условиях требовалось, но которую он не в силах был произнести.

Начиналось оно так:

> О чем думаю я, когда минутами выхожу из глубокого потрясения? Все эти годы складывались наши нравы, язык наших собраний, наш печатный слог. Как часто в это затаскивалась рука обмана, как часто, останавливаясь перед высокопарной недосказанностью и внутренне ей не веря, я, как оказывается, наталкивался на умышленную и заведомую недомолвку?
>
> ***(«Независимая газета», 17 декабря 1991 года. Публикация А.Ю. Галушкина.)***

Уже из этого начального абзаца, при всей его — обычной для Пастернака — туманности, ясно видно, что «наши нравы, язык наших собраний, наш печатный слог» ему не по душе и присоединять свой голос к голосу коллег он не собирается.

А в финале этого его послания выясняется, что не хочет он присоединяться не только к стилистике обязательных в этом случае выступлений, но и к их содержанию. Не то что к требованию «поголовного расстрела участников этой банды» не хочет он присоединить свой голос, но даже к простому выражению уверенности в их вине. Единственное, на что он способен, — это выразить свое недоумение по поводу предъявленных им обвинений:

> Сто лет, начиная от декабристов, готовилась русская революция, и вот она пришла, та самая, о которой думал Пушкин, с тем самым Кромвелем, который, может быть, мечтался ему…

> Чего же тогда они хотели, если это чудо не остановило их, чему всю молодость служили? Этого никогда не пойму я, и не ищу, и боюсь понять, ибо как я стал бы после этого жить дальше?
>
> ***(Там же.)***

Разумеется, писательское начальство это письмо не удовлетворило. На Пастернака был оказан новый нажим. Давление было таким сильным, что на этот раз он не смог устоять. И сочинил новое письмо — по форме в президиум, а по существу для печати.

Это второе его письмо было совсем коротким.

Скороговоркой пробормотав, что на заседании президиума он отсутствовал по болезни, и согласившись (все-таки!) присоединить свою подпись к подписям товарищей, он далее высказался так:

> Родина — старинное, детское, вечное слово, и родина в новом значении, родина новой мысли, новое слово поднимается в душе, и в ней сливается, как сольются они в истории, и все становится ясно, и ни о чем не хочется распространяться, но тем горячее и трудолюбивее работать над выражением правды, открытой и ненапыщенной, и как раз в этом-то качестве недоступной подделке маскирующейся братоубийственной лжи.
>
> ***(Там же.)***

Казалось бы, давившие на Пастернака партийные бонзы добились от него того, чего хотели, — присоединил свой голос с голосу товарищей. Чего ж еще? А в невнятицу последующих туманных строк можно и не вникать. Но, судя по всему, они все-таки вникли. Повертели эту записку так и этак, посмотрели ее на свет и, поразмыслив, решили все-таки ее не публиковать. Сделав при этом вид, что не поняли (а может быть, и в самом деле не поняв), куда нацелены слова «небожителя» о ненавистной ему «маскирующейся братоубийственной лжи».

* * *

Закончив первое свое письмо Щербакову фразой — «Мне казалось мелким и немыслимым обращаться к Иосифу Виссарионовичу с этими страшными пустяками», Пастернак был искренен. Обращаться с этими «пустяками» к Сталину он действительно не хотел — с ним, как он полагал, ему приличествовало вести разговоры лишь на высокие темы: о жизни, о смерти. Но на возможность обращения к САМОМУ все-таки намекнул.

А спустя год все-таки решил воспользоваться этой возможностью.

Щербаков к тому времени уже умер, и единственным человеком, к которому он мог обратиться, как к родному, теперь был только он, Сталин. К нему он и обратился. И именно с теми самыми «пустяками», с которыми незадолго до того обращался к тому, с кем плыл на пароходе из Лондона в Ленинград в одной каюте. И про бытовые трудности. И про квартиру (самую бедную во всем доме). И про академика отца. И даже то, что не причислен к сонму лауреатов, тоже не преминул отметить.

> Мы получили когда-то скверную квартиру, самую плохую в писательском доме, и неналаженность жизни в ней сама влечет к дальнейшим ухудшеньям. Так, когда я во время войны уехал на несколько месяцев к эвакуированной семье из Москвы, в квартире, как наихудшей в доме, расположилась зенитная точка, и вместе с обстановкой в ней погибли работы и архив моего покойного отца, академика Л. О. Пастернака, недавно скончавшегося в Оксфорде… Я никого не виню, новых домов мало, и естественно, что квартиры достаются только людям чрезвычайным, крупным служащим и лауреатам.

Что касается этих постоянных намеков на то, что он заслужил лауреатство не меньше многих, удостоившихся этой награды («… я не дармоед даже и до премии и без нее»), тут надо сказать, что толкало его на эти намеки отнюдь не ущемленное авторское самолюбие. Во всяком случае, не только оно.

В стране к тому времени уже прочно установилась жесткая табель о рангах, в соответствии с которой распределялись все жизненные блага (квартиры, пайки, даже писательские гонорары: поэту-лауреату причиталось двадцать рублей за строчку, а не увенчанному лауреатскими лаврами — четырнадцать). Так что вопрос о лауреатстве для Пастернака с его большой семьей и множеством не входивших в семью людей, которым он считал своим долгом помогать материально, — это был вопрос выживания. И постоянно всплывавшие в его письмах (и к Щербакову, и к Сталину) упоминания о лауреатстве были не проговорками, нечаянно вырвавшимися из подсознания, а намеренными, хорошо продуманными намеками на то, чего в жизни ему не хватает и что он вправе был бы иметь.

Об этом прямо свидетельствует такой пассаж из его письма О.М. Фрейденберг, написанного и отправленного примерно в то же время:

> Ничего не могу сообщить тебе нового, соотношения сторон моей жизни прежние, мне очень хорошо внутренне, лучше, чем кому-либо на свете, но внешне, даже ко мне, к моему Шекспиру, для того, чтобы он пошел на сцене, требуется производство в камер-юнкеры, то самое, чего мне никогда не дадут и потребность в чем тебя с моей стороны так удивляет. Но у меня все сложилось бы совершенно по-иному, и я, может быть, сделал бы много нового, если бы на меня стал работать театр.
>
> ***(Борис Пастернак. Поли. собр. соч. Том 9, стр. 458-459.)***

Именно в этом и состоял главный смысл письма Пастернака к Сталину, написанного в августе 1945 года, — главная его просьба. В переводе с «пастернаковского» она означала: не хотите сделать меня лауреатом («камер-юнкером», как Николай Павлович Пушкина, хотя, между нами говоря, по моим заслугам могли бы дать и «камергера») — ну и не надо. Обойдусь. Но тогда распорядитесь по крайней мере, чтобы в театрах для меня сделали исключение и обращались со мной так, как если бы я был лауреатом —

> …потому что в театрах, да и не только в них, шарахаются всего, что живет только своими скромными силами и не имеет нескольких дополнительных санкций и рекомендаций. Так было в Московском Художественном Театре с Гамлетом, дорогу которому перешла современная пьеса «Иоанн Грозный».

За последними строчками скрывается целый сюжет, тайный смысл которого состоит в том, что жалуется тут Пастернак Сталину не на администрацию Московского Художественного Театра, а на самого Сталина.

* * *

В 1939 году В.И. Немирович-Данченко решил поставить на сцене МХАТа «Гамлета». Поначалу для этой постановки им был выбран перевод Анны Радловой. При чтении он показался режиссеру вполне пригодным, но, когда дело дошло до первых попыток сценического воплощения, он ему разонравился. Немирович высказался в том смысле, что со сцены перевод Радловой звучит несколько легковесно. Тогда была предпринята попытка соединить ее перевод с «академическим» переводом М. Лозинского. Но тут сразу же стало ясно, что «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Владимир Иванович мечтал о переводе, в котором шекспировский «Гамлет», не утратив ни грана своей философской глубины, звучал бы современно, остро, «разговорно».

И тут оказалось, что такой перевод уже существует.

Это был перевод Пастернака

Тезка и близкий друг Бориса Леонидовича Борис Ливанов, всю жизнь мечтавший сыграть Гамлета и уже назначенный Немировичем на эту роль, принес пастернаковский перевод в театр, а затем представил восторженно принявшим его режиссерам и самого переводчика.

В ноябре 1939 года Немирович отправил Радловой, с которой у театра был договор, письмо, в котором объяснял, почему ее переводу театр решил предпочесть перевод Пастернака:

> Перевод этот исключительный по поэтическим качествам, это несомненно событие в литературе. И Художественный театр, работающий свои спектакли на многие годы, не мог пройти мимо такого выдающегося перевода «Гамлета»… Ваш перевод я продолжаю считать хорошим, но раз появился перевод исключительный, МХАТ должен принять его.

Зная о близких отношениях двух Борисов, Немирович поручил Ливанову вместе с Пастернаком поработать над театральным вариантом его перевода, чтобы добиться предельной выразительности, естественности и «разговорности» каждой произносимой со сцены реплики.

Они работали вдвоем. И не только над текстом пьесы. Ливанов рисовал мизансцены будущего спектакля. Вместе с Пастернаком искал наиболее выразительный внешний облик своего Гамлета — грим, костюм.

В семье Ливановых сохранился экземпляр первого издания пастернаковского «Гамлета» с такой дарственной надписью:

> Человеку, с которым это написано:
> Борису Ливанову —
> Гамлету
>
> *Б. Пастернак.*
> 18. VI. 41.
> *Переделкино.*

А через четыре дня началась война. Казалось бы, тут уж не до «Гамлета». Но в сентябре 41-го Пастернак пишет Ливанову:

> Вчера я прямо с боевой стрельбы отправился к Храпченке, и тут я узнал вещи ошеломляющие. По его словам, в Новосибирске будут продолжать играть Гамлета в новом сезоне, и для его подготовки где бы то ни было никаких препятствий не встречается. Мало того: он упрекнул меня, зачем я бросил работу по «Ромео», а на мои слова, — кому-де нужен сейчас Шекспир, ответил что-то вроде «глупости»…

Итак, даже такое событие, как разразившаяся великая война, не стало препятствием для театральных планов Немировича-Данченко.

Но в апреле 1943 года Немирович умирает. А вскоре мхатовскому «Гамлету» судьба нанесла второй удар: умирает продолжавший репетиции и изо всех сил стремившийся довести спектакль до премьеры В.Г. Сахновский.

Репетиции в тот момент были уже практически закончены. Спектакль был готов к выпуску. Но тут случилось то, чему не помешала ни война, ни смерть Немировича-Данченко, ни смерть Сахновского.

В судьбу мхатовского «Гамлета» вмешался и безоговорочно ее решил сам Сталин.

Говорят, что невольным виновником этого запрета стал Б. Ливанов. На каком-то кремлевском приеме он будто бы подошел к Сталину и попросил помочь ему советом. Как,

мол, по его мнению, надо играть Гамлета. На что Сталин будто бы ответил: «А зачэм надо его играть?»

Эту историю в несколько приглаженном виде изложила Ольга Ивинская в своих воспоминаниях о Пастернаке. Ссылается она при этом на рассказ самого Ливанова:

> …О роли Гамлета Ливанов мечтал всю жизнь и рассказывал, что в свое время на приеме в Кремле даже у самого Сталина просил совета — как лучше сыграть эту роль. Сталин ответил, что с таким вопросом лучше обратиться к Немировичу-Данченко, но что лично он играть Гамлета не стал бы, ибо эта пьеса пессимистическая и реакционная.
>
> ***(Ольга Ивинская. В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком. М. 1972. Стр. 324.)***

Нечто подобное рассказывает в своих воспоминаниях о Пастернаке Андрей Вознесенский. И тоже якобы со слов самого Бориса Леонидовича:

> Пастернак так рассказывал мне его историю. Получив постановку «Гамлета» во МХАТе и главную роль, Ливанов для пущего торжества над противниками решил заручиться поддержкой Сталина. На приеме в Кремле он подошел с бокалом к Сталину и, выкатив преданные глаза, спросил: «Вы всё знаете, скажите, как надо играть Гамлета?» Расчет был точен. Если вождь ответит, скажем, «Гамлет — лиловый или зеленый», то Ливанов будет ставить по-своему, говоря, что выполняет указание. Но Сталин ответил: «Я думаю, Гамлета не надо вообще играть». И, насладившись эффектом, добавил: «Это характер декадентский». С тех пор при жизни вождя «Гамлета» не ставили на нашей сцене.
>
> ***(Андрей Вознесенский. Мне 14 лет. Воспоминания о Борисе Пастернаке. М. 1993. Стр. 577.)***

Василий Борисович Ливанов (сын Бориса Николаевича) эту версию категорически отвергает.

Он приводит подробную запись разговора отца со Сталиным, на который ссылаются Ивинская и Вознесенский (сам разговор, оказывается, все-таки был). Запись эта была сделана Евгенией Казимировной Ливановой, женой Бориса Николаевича:

> Он часто рассказывал. И теперь пишу то, что отчетливо запомнилось.
> …Прием в Кремле первых лауреатов Сталинской премии. Год — 1940-й. Один стол для членов правительства, в центре — Сталин. Столы для приглашенных стояли к правительственным торцами…
> Вошел Сталин и, с приветственным жестом обращаясь к каждому, называл по фамилии…
> Переходя от одной группы гостей к другой, Сталин оказался около меня. Сел на стул и предложил мне сесть на стоящий рядом. Начался разговор о Художественном театре. Между прочим сказал:
> — Вы не вовремя поставили «Три сестры». Чехов расслабляет. А сейчас такое время, когда люди должны верить в свои силы.
> — Это прекрасный спектакль!
> — Тем более, — сказал Сталин.
> Потом спросил о «Гамлете», который театр в это время репетировал. Я стал рассказывать о замысле нашего спектакля. Сталин внимательно слушал, иногда задавал вопросы, требующие точного, недвусмысленного ответа…
> Заканчивая разговор, Сталин спросил:
> — Ваш Гамлет — сильный человек?
> — Да.
> — Это хорошо, потому что слабых бьют, — сказал Сталин.
>
> ***(Василий Ливанов. Невыдуманный Борис Пастернак. Воспоминания и впечатления.)***

Вот будто бы и все, что в тот раз было сказано Сталиным о Гамлете. Получается, что, в отличие от «Трех сестер», намерение театра ставить «Гамлета» Сталин не только не осудил, но даже как бы и одобрил.

Но в другой главе тех же своих воспоминаний В.Б. Ливанов замечает:

> Ходил упорный слух, что Сталин с опаской относится к теме гамлетизма… Выход спектакля гарантировался бесспорным авторитетом Немировича-Данченко.

И там же:

> О сталинском запрете «Гамлета» во МХАТе Борис Ливанов узнал на генеральной репетиции, стоя на сцене в гриме и костюме принца Датского.

Стало быть, играть «Гамлета» Сталин все-таки запретил.

Тут нет противоречия: разговор Сталина с Ливановым на приеме в Кремле происходил в 1940 году, а запрет играть «Гамлета» последовал спустя четыре года, уже после смерти Немировича-Данченко.

Но как бы то ни было, Пастернак, конечно, знал — не мог не знать! — что запретил играть во МХАТе «Гамлета» не кто иной, как сам Сталин. И тем не менее он все-таки пожаловался Сталину на этот запрет, сделав вид, что верит, будто театр остановил спектакль, потому не имел на сей счет «дополнительных санкций и рекомендаций». Мало того! Сделал вид, будто верит, что случилось это еще и потому, что его «Гамлету» «дорогу перешла современная пьеса «Иоанн Грозный». А ведь он и тут прекрасно знал, что этой «современной пьесе» покровительствовал не кто иной, как сам Сталин. Знал даже — не мог не знать! — что и писалась эта «современная пьеса» по прямому его, Сталина, заказу.

Речь шла о драматической дилогии А.Н. Толстого, двух его пьесах — «Орел и орлица» и «Трудные годы». Первая была принята к постановке Малым театром. На сцене МХАта была поставлена вторая.

Сталин внимательно следил за работой А.Н. Толстого над этими его пьесами. Читал (во всяком случае, просматривал) варианты, делал свои замечания. Обо всем этом можно судить по недавно опубликованным письмам А.Н. Толстого к Сталину. Вот одно из них, написанное 24 ноября 1943 года:

> Дорогой Иосиф Виссарионович,
> уже после того, как я послал Вам обе переработанные пьесы — мне пришлось в первой пьесе «Орел и орлица» написать еще одну картину, чтобы конкретнее выступала линия противной стороны, — феодалов и Курбского.
> Таким образом, в первой пьесе, которую я сейчас посылаю Вам в последней редакции, вместо четвертой — выброшенной — картины сейчас — три новых картины: 4-я, — взятие Грозным Пскова, 5-я, — княжеский заговор в Москве, связанный с Курбским, и 6-я, — бегство Курбского.
> В остальных восьми картинах, в соответствии с новыми картинами, усилена и заострена линия абсолютизма Грозного. Пьеса, мне кажется, выиграла от этих переделок и в исторической правдивости и в усилении роли самого Грозного. Художественный театр, Малый московский и ленинградский Большой драматический очень хотят приступить к работе. Но пьесы пока еще не разрешены к постановке и печати. Помогите, дорогой Иосиф Виссарионович, благословите начать работу в театрах, если Вы согласитесь с моими переделками.
> С глубоким уважением
> Алексей Толстой
>
> ***(«Власть и художественная интеллигенция». Стр. 501.)***

Об этой переписке А.Н. Толстого с вождем Пастернак, разумеется, знать не мог. Но у него не было ни малейших сомнений в том, КТО был заказчиком этих пьес. И отношение к ним у него было самое недвусмысленное.

О том, что он начинает работу над пьесой «Иван Грозный», А.Н. Толстой объявил в начале 1941 года — в ответ на присуждение ему Сталинской премии за роман «Петр I».

Пастернак так откликнулся на это известие:

> ИЗ ПИСЬМА О.М. ФРЕЙДЕНБЕРГ
> *4 февраля 1941, Переделкино*
> …я стал приходить в отчаяние. Атмосфера опять сгустилась. Благодетелю нашему кажется, что до сих пор были слишком сентиментальны и пора одуматься. Петр Первый уже оказывается параллелью не подходящей. Новое увлечение, открыто исповедуемое, — Грозный, опричнина, жестокость.
> ***(Борис Пастернак. Полн. собр. соч. Том 9. Стр. 203.)***

«Благодетель» — это, конечно, о Сталине. Слово взято из романа Замятина «Мы», где им обозначен верховный властитель утопического Единого Государства, выполняющий также функции палача.

Впервые опубликован он был в 1924-м. Но — по-английски. Затем появилось чешское издание (1926), а вскоре и французское (1929). Первое полное издание романа «Мы» на русском языке вышло только в 1952 году, в Нью-Йорке. Но в 1927 году в пражском журнале «Воля России» были напечатаны главы из этого романа.

В начале 20-х Замятин не только охотно давал читать рукопись романа близким и не очень близким знакомым (он еще не терял надежды опубликовать его на родине), но и не раз выступал с публичными чтениями как отрывков из романа, так и полного его текста. (В московском и ленинградском отделениях Всероссийского союза писателей, в других литературных аудиториях.) В общем, роман Замятина «Мы», задолго до того как было осуществлено первое его издание, если воспользоваться более поздней формулировкой, был «широко известен в узких кругах». Так что Пастернак наверняка его знал.

Год спустя — 14 марта 1942-го — Пастернак прочел в газете «Литература и искусство» статью М.С. Живова «На чтении пьесы А. Толстого «Иван Грозный». На сей раз реакция его была еще более бурной:

> ИЗ ПИСЬМА В.В. И Т.В. ИВАНОВЫМ
> *8 апреля 1942, Чистополь*
> …из отчета Живова в «Литературе и искусстве» (кто-то принес с собой газету) мы узнали о толстовском Грозном… Все повесили головы, в каком-то отношении лично задетые. Была надежда, что за суматохою передвижений он этого не успеет сделать. Слишком оголена символика одинаково звучащих и так разно противопоставленных Толстых и Иванов и Курбских. Итак, ампир всех царствований терпел человечность в разработке истории и должна была прийти революция со своим стилем вампир и своим Толстым и своим возвеличеньем бесчеловечности. И Шибанов нуждался в переделке.
> ***(Борис Пастернак. Полн. собр. соч. Том 9. Стр. 281.)***

Нет сомнений, что в 1945 году, когда Пастернак писал последнее свое письмо Сталину, у него уже не было никаких иллюзий ни о роли «Благодетеля» в жизни страны, ни о его исторических концепциях, ни о его эстетических воззрениях и вкусах. Рассчитывать при этом, что Сталин посочувствует ему по поводу того, что «Гамлету» на сцене МХАТа «перешла дорогу» пьеса А.Н. Толстого об Иване Грозном, разумеется, не приходилось.

На что же в таком случае он рассчитывал, сочиняя и отправляя это письмо?

Неужели на «производство в камер-юнкеры»?

Сюжет пятый

«Я СВЯТОГО БЛАЖЕННЕЙ…»

Почему этой строкой из раннего пастернаковского стихотворения я решил озаглавить сюжет, относящийся к совсем другим временам, можно даже сказать, к совсем другой эпохе, станет ясно ближе к развязке этого сюжета.

А пока — о его надеждах на «производство в камер-юнкеры».

Вообще-то чин «камер-юнкера» у него уже был. Пожалуй, даже и «камергера». Есть фотография, где за столом президиума Первого писательского съезда он сидит между М. Горьким и В. Ставским — будущим секретарем, а после смерти Горького Генеральным секретарем Союза советских писателей.

В ноябре 1937 года он неожиданно откликнулся на смерть дагестанского ашуга Сулеймана Стальского и в посвященной ему заметке вдруг с ностальгической нежностью вспомнил те дни, когда и он тоже был «возвышен и обласкан»:

> Программа съезда разрасталась. Прибывающие делегации раздвигали вширь его распорядок. Ораторам не предвиделось конца, и их речи переносились с утра на вечер, с заседания на заседание. Тем временем сухо потрескивающие юпитеры фотографов раскаляли и без того жаркую атмосферу битком набитого Колонного зала. И вот, чуть-чуть очумелые, мы как в лихорадке носились из президиума в почтовое бюро и помещение для машинисток, к мандатному столу или в фойе, куда нас вызывали записками. Озаренные люстрами, в пропотевшем до нитки летнем платье мы садились, вставали, совещались, звонили в звонок и призывали к порядку.
>
> ***(Борис Пастернак. Полн. собр. соч. Том 5. Стр. 246.)***

Откуда вдруг у него эта ностальгия по тем временам, когда он тоже был среди тех «мы», которые «совещались, звонили в звонок и призывали к порядку»?

В ноябре 1937 года, в это страшное время быть в числе тех, кто «призывает к порядку», ему вряд ли хотелось. Но тоска по «камер-юнкерству», которым еще недавно он обладал и которого теперь лишился, как видно, его все-таки томила.

На самом деле, однако, этого «камер-юнкерства» его не лишили. Оно оставалось при нем и в 37-м, и в 45-м, и в более поздние годы.

Собственно, это было не «камер-юнкерство», а совсем другой социальный статус, в каком-то смысле даже более высокий, чем «камергерство». Утверждая это, я имею в виду не дачу в Переделкине и не разные другие — мелкие и не очень мелкие привилегии, а нечто неизмеримо более ценное.

В мемуарах эсерки Олицкой, которые мне однажды случилось прочесть, меня особенно поразил один эпизод.

Дело было, если не ошибаюсь, в конце 20-х. То есть времена были — по терминологии А.А. Ахматовой — еще «вегетарианские».

Брат автора воспоминаний служил в каком-то советском учреждении. И вот в один прекрасный (на самом деле — ужасный) день было у них собрание, на котором весь трудовой коллектив дружно, как тогда полагалось, должен был принять резолюцию с требованием расстрелять очередную «банду вредителей» — то ли фигурантов «Шахтинского дела», то ли проходивших по делу «Промпартии».

Один за другим выступали ораторы. Накал страстей нарастал. Уже зачитали текст людоедской резолюции. С минуту на минуту должно было начаться голосование.

Для брата мемуаристки проголосовать за смертную казнь неизвестных ему и, как он был уверен, ни в чем не повинных людей — было немыслимо. Невозможно! И вот — перед самым голосованием он потихоньку вышел «в буфет», надеясь, что когда он вернется, процедура голосования будет уже завершена.

Но не тут-то было.

Когда он вошел в зал заседания, председательствующий сказал:

— А-а, вот и вы, товарищ Олицкий! Очень хорошо! Вопрос серьезный, резолюция должна быть принята единогласно, и мы решили вас подождать.

Поднять руку вместе со всеми он так и не смог. И — поехал на Соловки…

Времена, повторяю, были «вегетарианские». Десять лет спустя простой совслужащий, осмельсь он поступить таким же образом, ссылкой на Соловки (где у него все-таки был шанс уцелеть) не отделался бы. Он был бы превращен, как тогда говорили, в лагерную пыль.

А Пастернак так поступал не однажды. И всякий раз это каким-то чудом сходило ему с рук.

Такая вот была ему дана загадочная привилегия, не полагавшаяся ни камер-юнкерам, ни камергерам.

Первый раз это случилось в августе 1936 года.

15 августа было объявлено о начале нового открытого процесса над Каменевым и Зиновьевым. Началось оголтелое газетное улюлюканье. Страницы газет были заполнены откликами «трудящихся». Все они единодушно требовали для обвиняемых смертной казни. Вот заголовки этих тогдашних газетных откликов: «Врагам народа нет пощады!», «Сурово наказать гнусных убийц!», «Омерзительная шайка бандитов!», «Раздавить гадину!», «Расстрелять убийц!»

Писатели, разумеется, не остались в стороне от этого всеобщего воя и визга. Можно даже сказать, что их голоса звучали громче других. Собственно, иначе и быть не могло, ведь они были «бойцами идеологического фронта» — как же было им не стать застрельщиками этой начавшейся новой идеологической кампании!

21 августа в «Правде» появилось пространное письмо писателей. Заголовок его гласил: «Стереть с лица земли!». Текст письма тоже не отличался какими-либо стилистическими изысками. На том же убогом железобетонном языке, на каком были изложены требования всех прочих «трудящихся», писатели требовали того же, чего требовали все.

Под письмом стояло шестнадцать подписей. Некоторые из подписавших это воззвание теперь уже прочно забыты, но имена многих из них кое-что скажут и сегодняшнему читателю.

Перечислю всех:

В. Ставский, К. Федин, П. Павленко, Вс. Вишневский, В. Киршон, А. Афиногенов, Б. Пастернак, Л. Сейфуллина, И. Жига, В. Кирпотин, В. Зазубрин, Н. Погодин, В. Бахметьев, А. Караваева, Ф. Панферов, Л. Леонов.

Из тех, кто забыт, двое были тогда крупными партийными функционерами: В. Ставский — генеральным секретарем Союза советских писателей; В. Кирпотин — заведующим сектором литературы отдела культпросветработы ЦК ВКП(б).

Это я к тому, что Пастернак оказался тут в компании безусловных камергеров. Можно даже сказать, — камергеров первого ряда.

Это, разумеется, отражало его официальное положение в государственной табели о рангах: те, кто составлял подобные списки, взвешивая на своих незримых весах каждое имя, хорошо знали, кто имеет право быть удостоенным такой чести. Тем более, что шестнадцать писателей, якобы подписавших эту бумагу, сделали это, как было объявлено, «по поручению президиума Правления Союза советских писателей».

Слово «якобы» тут выскочило у меня непроизвольно, но оговоркой оно не было, потому что по крайней мере один из тех, чье имя стояло под эти письмом, его не подписывал. Мало того! Он отказался его подписать.

С его отказом, разумеется, не посчитались, и имя его под письмом, напечатанным в «Правде», стояло в одном ряду с послушно подписавшими его «камергерами».

М. Цветаева, которой эта страничка «Правды», как видно, попалась на глаза (или кто-то рассказал ей о ней), выразила по этому поводу — в письме к А. Тесковой — свое негодование:

> Вот Вам — вместо письма — последняя элегия Рильке, которую кроме Бориса Пастернака никто не читал. (А Б.Л. — плохо читал: разве можно после такой элегии ставить свое имя под прошением о смертной казни..?!)
>
> ***(Марина Цветаева. Собр. соч. в семи томах. Том 6. Стр. 443—444.)***

Марина Ивановна, давно уже живущая в эмиграции, не знала теперешних советских нравов: ей и в голову не пришло, что подпись Пастернака была поставлена под письмом шестнадцати не то что без его согласия, а прямо против его воли.

Когда подпись его появилась в газете, махать после драки кулаками он не стал. Это было не только невозможно, но и вполне бессмысленно.

Кое-кто из сегодняшних читателей, может быть, скажет, — а если не скажет, то подумает:

— Ну, если не стал, значит, все-таки согласился, чтобы подпись его под тем позорным письмом все-таки стояла! Да и откуда это известно, что он не соглашался ее поставить? Может быть, это просто миф! Легенда, сочиненная даже не им, а его многочисленными поклонниками!

Нет, это не миф и не легенда.

Как говорится, «это не факт, это действительно было», и тому есть документальное подтверждение:

> ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЦК ВКП(б) СЕКРЕТАРЯМ ЦК ВКП(б) ОБ ОБСУЖДЕНИИ ПИСАТЕЛЯМИ ПРИГОВОРА ПО ДЕЛУ ТАК НАЗЫВАЕМОГО «ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКОГО ЦЕНТРА»
>
> *29 августа 1936 г.*
>
> 25 августа состоялось заседание президиума ССП, на котором обсуждался приговор Верховного Суда над троцкистско-зиновьевским центром. Из беспартийных на нем выступали В. Инбер, Леонов, Ромашов, Погодин, Луговской, Олеша и Тренев.
>
> В. Инбер признала свое выступление на митинге плохим, сказала, что она является родственницей Троцкого и потому должна была особенно решительно выступить с требованием расстрела контрреволюционных убийц.
>
> Остальные писатели единодушно выразили свое одобрение приговору Верховного Суда.
>
> Следует однако отметить, как плохое, выступление Олеши; он защищал Пастернака, фактически не подписавшего требование о расстреле контрреволюционных террористов, говоря, что Пастернак является вполне советским человеком, но что подписать смертный приговор своей рукой он не может.
>
> Зам. зав. отделом культпросветработы ЦК ВКП(б)
> А. Ангаров Зав. сектором литературы
> В. Кирпотин
>
> ***(«Власть и художественная интеллигенция». Стр. 318-321.)***

О том, как поступали не с «камергерами», а с простыми смертными, отказавшимися проголосовать за смертный приговор, мы уже знаем. Но незадолго до начала процесса над Зиновьевым и Каменевым власти ясно дали понять, что уклониться от этого всенародного единогласия не позволят ни «камергеру», ни «тайному советнику», ни «сенатору».

14 июля 1936 года в «Правде» появилась статья, красноречиво озаглавленная: «Враг, с которого сорвана маска». Этим врагом был объявлен крупнейший советский математик, академик Н.Н. Лузин. Из числа разных других вменявшихся ему в вину «антисоветских поступков» особо был выделен его отказ поставить свою подпись под письмом, одобряющим приговор Л.К. Рамзину и его подельникам по процессу «Промпартии»:

> В 1930 г. во время процесса «Промпартии» физики и математики Москвы подписали обращение к ученым за рубежом с призывом поднять протест против интервенционистских намерений по отношению к СССР некоторых иностранных держав. На этом собрании не было подписи академика Лузина. Его позорное и недвусмысленное поведение в то время, его жалкие и нечестные увертки сейчас ссылками на болезнь, политическую неграмотность, незнание политической обстановки и прочее, разоблачают профессора Люстерник, Хинчин, Соболев и другие… Антисоветский характер имел в 1930 г. уход Лузина из университета, когда были разоблачены вредители. Сейчас Лузин признает, что это была его «огромная политическая ошибка».
>
> ***(«Враг, с которого сорвана маска. В комиссии Академии наук по делу господина кузина». «Правда», 14 июля 1936 г.)***

Итак, «провинился» академик Лузин в 1930-м, то есть шесть лет назад. Процесс «Промпартии» был уже давно забыт. И главный обвиняемый по тому давнему делу академик Л.К. Рамзин год назад (в 1935-м) был уже торжественно амнистирован.

Какой же смысл был в том, чтобы вдруг вытащить на страницы «Правды» это старое дело, клеймить и разоблачать почтенного математика, на всю страну объявляя его врагом и презрительно именуя не товарищем, даже не гражданином, а «господином Лузиным»?

Смысл в этой публикации «Правды» мог быть только один.

Это было назидание, предостережение каждому, кто посмеет отказаться от одобрения нового приговора над новыми разоблаченными преступниками.

Сообщение «Правды» о разбирательствах в специально созданной «Комиссии Академии наук по делу господина Лузина» яснее ясного говорит о том, что могло ждать Пастернака за его отказ поставить свою подпись под требованием смертной казни Зиновьеву и Каменеву. Но почему-то это сошло ему с рук.

Сквозь пальцы посмотрели и на другой его отказ принять участие в общей идеологической кампании, случившийся в том же году.

3 декабря 1936 года «Правда» поместила большую редакционную статью «Смех и слезы Андре Жида». Этот знаменитый французский писатель, считавшийся другом Советского Союза, вернувшись из поездки по СССР, опубликовал книгу, в которой критиковал советский общественный и государственный строй, сетовал на отсутствие многопартийности, свободы слова, подозрительное единомыслие всех граждан страны, набравших в рот воды. Особенно в той его книге досталось советским писателям, которых он обвинял в трусости, бездарности, в отсутствии у них собственного мнения.

На сей раз коллективные письма, осуждающие «ренегата», не предполагались. Видимо, начальство решило, что в этом случае лучше обойтись индивидуальными откликами, клеймящими предателя.

Особенно важно было для них получить такой отклик от Пастернака, который сошелся с Жидом еще в Париже и во время его пребывания в СССР не раз с ним встречался. Но Пастернак публично осудить книгу Жида решительно отказался. Он сказал, что не может сделать это, потому что книгу эту не читал. Это объяснение раздражило не только давивших на него партийных функционеров, но и некоторых его коллег. А.К. Гладков вспоминает, как один из них, обозначенный в его мемуарах как «литератор В.» (вероятно, это был Всеволод Вишневский), негодовал по этому поводу:

> «Ну и что ж, что не читал? — говорил он. — Я тоже не читал. Можно подумать, что все остальные читали! И чего ему — больше всех надо? Ведь «Правда» написала, что книжка — вранье…»
>
> ***(А. Гладков. Встречи с Пастернаком М. 2002, стр. 57.)***

Приведя эту реплику, Гладков далее замечает:

В этом эпизоде уже был в зародыше тот конфликт Пастернака с Союзом писателей, который так драматично определился в дни Нобелевской премии. Ведь тогда тоже большинство осуждавших Б.Л. не читало его романа.

(Там же.)

Я думаю, что такая экстраполяция не совсем правомерна. «Литератор В.», о котором тут вспоминает Гладков, даже если это был и не Вс. Вишневский, выразил этой репликой позицию лишь той части писателей, которые либо сами были начальством, либо разделяли мнение начальства по этому поводу. Основная же, так сказать, беспартийная «писательская масса» относилась к «ренегатству» Жида с пониманием. Все ведь знали, что знаменитый француз в своей книге написал правду.

Среди писателей в те дни ходила такая эпиграмма:

Стоит Фейхтвангер у дверей
С весьма унылым видом.
Боюсь я, как бы сей еврей
Не оказался Жидом.

Но острить они могли меж собой, в кулуарах. А отважиться на прямой отказ от осуждения «ренегата» вряд ли кто-нибудь из них осмелился бы. Да и в кулуарных разговорах вряд ли кто-нибудь из них рискнул бы оправдывать поведение Жида. А Пастернак делал это открыто, легко и непринужденно:

ИЗ СПЕЦСПРАВКИ СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ГуТБ НКВД СССР О НАСТРОЕНИЯХ СРЕДИ ПИСАТЕЛЕЙ

9 января 1937 г.

В своей критике поведения Пастернака Ставский указал на то, что в кулуарных разговорах Пастернак оправдывал А. Жида.

Б. Пастернак (рассказывая об этом кулуарном разговоре с критиком Тарасенковым): «… Это просто смешно. Подходит ко мне Тарасенков и говорит: «Не правда ли, мол, какой Жид негодяй».

А я говорю: «Что мы с вами будем говорить о Жиде… Что это все прицепились к нему — он писал, что думал, и имел на это полное право, мы его не купили».

А Тарасенков набросился: «Ах, так, а нас, значит, купили. Мы с вами купленные».

Я говорю: «Мы — другое дело, мы живем в стране, имеем перед ней обязательства».

(«Власть и художественная интеллигенция». Стр. 346-348.)

Позже ему все эти его вольности, конечно, припомнили и вынудили даже слегка покаяться. Но в тот горячий момент заставить его публично выступить против Жида так и не смогли.

К слову сказать, помимо всяких других — вполне понятных — соображений, это было для него невозможно еще и потому, что не кто иной, как он, в своих откровенных беседах с Жидом открыл французскому коллеге глаза на то, что происходило в то время в нашем благословенном отечестве.

Пастернак навестил Жида в день его прилета в Москву, 18 июня, а спустя неделю гость был у него дома на обеде. Некоторые детали о их разговорах привел в своих воспоминаниях о беседе (в 1941 г.) с А. Жидом А.В. Бахрах:

«К своим скупым рассказам он добавлял только то, что по понятным причинам не могло тогда попасть ни в его книги, ни в «Дневник».

Он боялся рассказывать о своей огромной симпатии к Пастернаку, которая — он это подчеркивал — пробудилась у него молниеносно чуть ли не при первой встрече. Он говорил, что Пастернак открыл ему глаза на происходящее вокруг,

предостерегал его от увлечения теми «потемкинскими деревнями» или «образцовыми колхозами», которые ему показывали».

(Лазарь Флейшман. «Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов». Стр. 550—551.)

О том, как Пастернаку удалось уклониться от публичного поношения Радека, Пятакова, Сокольникова и других фигурантов второго большого московского процесса, я уже рассказал. Но самым безумным, самым отчаянным его поступком был решительный его отказ подписаться под коллективным письмом, одобряющим расстрел Тухачевского и всех его подельников.

В 1937 году я забеременела. Мне очень хотелось ребенка от Бори, и нужно было иметь большую силу воли, чтобы в эти страшные времена сохранить здоровье и благополучно сохранить беременность до конца. Всех этих ужасов оказалось мало. Как-то днем приехала машина. Из нее вышел человек, собиравший подписи писателей с выражением одобрения смертного приговора военным «преступникам» — Тухачевскому, Якиру и Эйдеману. Первый раз я увидела Борю рассвирепевшим. Он чуть не с кулаками набросился на приехавшего, хотя тот ни в чем не был виноват, и кричал: «Чтобы подписать, надо этих лиц знать и знать, что они сделали. Мне же о них ничего неизвестно, я им жизни не давал и не имею права ее отнимать. Жизнью людей должно распоряжаться государство, а не частные граждане. Товарищ, это не контрамарки в театр подписывать, и я ни за что не подпишу!» Я была в ужасе и умоляла его подписать ради нашего ребенка. На это он мне сказал: «Ребенок, который родится не от меня, а от человека с иными взглядами, мне не нужен, пусть гибнет».

Тогда я удивилась его жестокости, но пришлось, как всегда в таких случаях, ему подчиниться. Он снова вышел к этому человеку и сказал: «Пусть мне грозит та же участь, я готов погибнуть в общей массе», — и с этими словами спустил его с лестницы.

Слухи об этом происшествии распространились. Борю вызвал тогдашний председатель Союза писателей Ставский. Что говорил ему Ставский — я не знаю, но Боря вернулся от него успокоенный и сказал, что может продолжать нести голову высоко и у него как гора с плеч свалилась. Несколько раз к нему приходил Павленко, он убеждал Борю, называл его христосиком, просил опомниться и подписать. Боря отвечал, что дать подпись — значит самому у себя отнять жизнь, поэтому он предпочитает погибнуть от чужой руки. Что касается меня, то я просто устала укладывать его вещи в чемодан, зная, чем все это должно кончиться…

Ночь прошла благополучно. На другое утро, открыв газету, мы увидели его подпись среди других писателей! Возмущению Бори не было предела. Он тут же оделся и отправился в Союз писателей. Я не хотела отпускать его одного, предчувствуя большой скандал, но он уговорил меня остаться… Приехав из Москвы в Переделкино, он рассказал мне о разговоре со Ставским. Боря заявил ему, что ожидал всего, но таких подлогов он в жизни не видел, его просто убили, поставив его подпись.

На самом деле его этим спасли. Ставский сказал ему, что это редакционная ошибка. Боря стал требовать опровержения, но его, конечно, не напечатали.

(Борис Пастернак. Второе рождение Письма к З.Н. Пастернак. З.Н. Пастернак. Воспоминания. М. 1993. Стр. 295-296.)

Тем дело могло бы и кончиться, хотя кто его знает? Все эти его «взбрыки» литературному начальству, надо полагать, уже сильно надоели. Сколько еще можно было цацкаться с этим «христосиком»! В раздражении могли доложить вождю, и неизвестно еще, как бы он на это отреагировал. «Мог бы и полоснуть».

Друзья Пастернака посоветовали ему, не дожидаясь дальнейшего развития событий, самому написать Сталину, объясниться.

Об этом рассказала в своих воспоминаниях о Пастернаке З.Н. Масленникова

Поскольку в ее записи рассказа Пастернака об этом, едва ли не самом драматическом эпизоде его жизни есть некоторые краски и детали, в воспоминаниях З.Н. Пастернак не отмеченные, приведу эту ее запись полностью:

> Я еще раз обращался к Сталину. В тридцать седьмом году, когда был процесс по делу Якира, Тухачевского и других, среди писателей собирали подписи под письмом, одобряющим смертный приговор. Пришли и ко мне. Я отказался дать подпись. Это вызвало страшный переполох. Тогда председателем Союза писателей был некий Ставский, большой мерзавец. Он испугался, что его обвинят в том, что он недосмотрел, что Союз — гнездо оппортунизма и что расплачиваться придется ему. Меня начали уламывать, я стоял на своем. Тогда руководство Союза приехало в Переделкино, но не ко мне, а на другую дачу, и меня туда вызвали. Ставский начал на меня кричать и пустил в ход угрозы. Я ему ответил, что если он не может разговаривать со мной спокойно, то я не обязан его слушать, и ушел домой.
> Дома меня ждала тяжелая сцена. З. Н. была в то время беременна Леней, на сносях, она валялась у меня в ногах, умоляя не губить ее и ребенка. Но меня нельзя было уговорить. Как потом оказалось, под окнами в кустах сидел агент и весь разговор этот слышал…
> В ту ночь мы ожидали ареста. Но, представьте, я лег спать и сразу заснул блаженным сном. Давно я не спал так крепко и безмятежно. Это со мной всегда бывает, когда сделан бесповоротный шаг.
> Друзья и близкие уговаривали меня написать Сталину. Как будто у нас с ним переписка, и мы по праздникам открытками обмениваемся! Все-таки я послал письмо.
>
> ***(Зоя Масленникова. Портрет Бориса Пастернака. М. 1995. Стр. 88.)***

Письмо это пока не найдено. Но о чем в этот раз он писал вождю, более или менее известно — из его рассказа об этом, записанного той же З. Масленниковой:

> Я писал, что вырос в семье, где очень сильны были толстовские убеждения, всосал их с молоком матери, что он может располагать моей жизнью, но себя я считаю не вправе быть судьей в жизни и смерти других людей. Я до сих пор не понимаю, почему меня тогда не арестовали.
>
> ***(Там же.)***

Пожалуй, в этот раз он — как никогда ранее — был близко к аресту. И быть может, именно по этому поводу и была (если была) произнесена та легендарная сталинская реплика: «Не трогайте этого небожителя». (По другой версии — «этого блаженного».)

Была эта фраза произнесена или нет, но именно таков был его полуофициальный статус. Не камер-юнкер, не камергер, не тайный советник, а — *блаженный* . И именно этот статус, определенный ему Сталиным, и был его *охранной грамотой* .

В 1947 году тучи над Пастернаком снова сгустились. На сей раз это было связано не с какими-то личными его прегрешениями, а с общей удушливой атмосферой, которая царила тогда в литературе после печально знаменитого постановления ЦК о Зощенко и Ахматовой.

Сталин скомандовал навести порядок в идеологии, и тотчас последовали новые чистки и зачистки.

Была учреждена газета «Культура и жизнь», орган отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС. Отдел возглавлял Г.Ф. Александров, и он же возглавил новую газету, которая тут же в писательских кругах получила прозвище «Александровский централ». В каждом номере этого жуткого издания появлялась какая-нибудь новая разоблачительная статья. Все гадали, какая из двух газет, определявших культурную политику партии, — «Правда» или «Культура и жизнь» — теперь *главнее* . И по всему было видно, что главнее — «Александровский централ». Именно он выражает волю САМОГО.

В марте 1947 года Пастернака все чаще стали упоминать на разных писательских собраниях в обычном тогда «проработочном» духе. Неожиданно с резкой речью против него выступил А. Фадеев, который, конечно, лучше, чем кто другой, знал, «кому быть живым и хвалимым, кто должен быть мертв и хулим». То и дело мелькали ругательные упоминания имени Пастернака и в газетах. Все ждали нового постановления ЦК, и никто не сомневался, что главным объектом грядущего идеологического погрома станет именно Пастернак. Не сомневались и в том, что ожидаемый этот погром если и не превзойдет кампанию по поводу Зощенко и Ахматовой, то уж, во всяком случае, ей не уступит.

Прошел слух, что специального постановления ЦК о Пастернаке не будет, а будет изничтожающая его большая статья в «Культуре и жизни», которая будто бы уже написана и ждет своего часа. Это, разумеется, ни в коем случае не означало, что приговор опальному поэту будет мягче, а масштаб обрушившейся на него грозы — скромнее.

> И вот, наконец, ожидавшаяся проработочная статья появилась. Это было 22 марта 1947 года. Я уже с нетерпением ждал ее, но, прочитав, вздохнул облегченно: при всей недобросовестности и тупости в ней не было окончательного «отлучения». Стало ясно, что на этот раз вопрос об исключении Пастернака из ССП не будет поставлен.
>
> ***(А. Гладков. Встречи с Пастернаком. М. 2002. Стр. 182.)***

Исключение из ССП, если бы оно произошло, имело бы двоякий смысл. Во-первых, писатель, исключенный из ССП, повисал над пропастью. Кончатся ли на этом его злоключения? Раздавленный политически и морально, уцелеет ли он физически? Или будет превращен в лагерную пыль?

В случае с Зощенко и Ахматовой Сталин дал указание их не арестовывать. Но до поры до времени об этом его указании никто не знал.

Каково было «морально-политическое» состояние человека, повисшего над пропастью, объяснять не надо. Но была в этом «висении над пропастью» еще и другая, по сравнению с перспективой ареста второстепенная, но тоже весьма важная сторона. Исключенные из ССП Зощенко и Ахматова были лишены всех материальных благ, которые им давало это членство. Их лишили продовольственных карточек — попросту говоря, обрекли на голод. Зощенко вернулся к ремеслу, которым пробавлялся после Гражданской войны: стал заниматься сапожничеством. Пастернака минула и эта кара.

> 20 апреля я снова встретил Б.Л. в Лаврушинском переулке… О статье в «Культуре и жизни» мы и на этот раз не говорили. Он упомянул о ней только обиняком, сказав: «Решили все-таки не дать мне умереть с голоду: прислали договор на перевод «Фауста».
>
> ***(А. Гладков. Встречи с Пастернаком. Стр. 183.)***

Я не стану утверждать, что эта милость была ему оказана по прямому указанию Сталина. Но это и неважно. Ясно одно: охранная грамота, некогда пожалованная ему вождем, не утратила своей силы.

В конце января 1953-го по личному указанию Сталина в «Правде» готовилось к опубликованию коллективное письмо с требованием самой суровой кары для только что разоблаченных «убийц в белых халатах», а также с одобрением каких-то прямо не названных репрессивных мер по отношению к попавшим в плен сионизма всем живущим на территории СССР «лицам еврейской национальности». Под текстом письма заранее были проставлены имена тех, кто его должен был подписать. Это были все знаменитые советские евреи: Герои Социалистического Труда, орденоносцы, лауреаты Сталинских премий. Были среди них и те, чье еврейское происхождение ни у кого не вызывало сомнений: Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, Самуил Маршак, Исаак Дунаевский, Матвей Блантер, Марк Рейзен… Были и другие, о еврейском происхождении которых мало кто знал, да и сами они, пожалуй, давно

уже о нем забыли (бывший нарком вооружений, а теперь первый зам. министра среднего машиностроения Б.Л. Ванников, авиаконструктор С.А. Лавочкин). Был, разумеется, в этом списке И.Г. Эренбург. Был и главный еврей Советского Союза — АМ. Каганович.

Пастернака в этом списке не было.

Не может быть сомнений, что Сталин, если и не составлял этот список сам, то наверняка его просматривал и вносил в него какие-то свои уточнения и коррективы. Однако не стану утверждать, что именно он распорядился не включать в него Пастернака. Быть может, те, кто составлял список и представил его на высочайшее утверждение, и сами не хотели связываться с «небожителем». Но я вспомнил тут эту историю не для того, чтобы порассуждать о том, почему в списке именитых советских евреев не оказалось Пастернака. В данном случае не Пастернак интересует меня, а Сталин. Точнее — стиль сталинского поведения в делах такого рода.

Эренбург, как известно, подписать это письмо отказался. (Подробно об этом будет рассказано в главе «Сталин и Эренбург».) Он написал Сталину письмо, в котором объяснял, что такое обращение советских евреев, если оно будет опубликовано, нанесет сокрушительный удар по мировому коммунистическому движению и по движению сторонников мира, в котором он, Эренбург, играл весьма важную роль.

Завершалось это его письмо Сталину таким абзацем:

> Вы понимаете, дорогой Иосиф Виссарионович, что я сам не могу решить эти вопросы и поэтому осмелился написать Вам. Речь идет о важном политическом акте, и я решаюсь просить Вас поручить одному из руководящих товарищей сообщить мне — желательно ли опубликование такого документа и желательна ли под ним моя подпись. Само собой разумеется, что если это может быть полезным для защиты Родины и для движения за мир, я тотчас подпишу «Письмо в редакцию».
>
> ***(Государственный антисемитизм в СССР. 1938—1953. Аокументы. М. 2005. Стр. 479.)***

К мнению Эренбурга Сталин прислушался. Распорядился написать другой, сильно смягченный текст «Письма в редакцию» — с учетом всех замечаний, высказанных в письме Эренбурга. А потом и этот, смягченный вариант тоже не решился напечатать. Но Эренбургу (через Маленкова) передал повеление это письмо все-таки подписать. И тот — куда деваться! — это приказание выполнил.

Несколько иначе, но по сути так же поступил он и с Кагановичем.

Когда Михайлов принес ему на подпись текст «обращения», он сказал:

— Я не подпишу. Я член Политбюро, а не какой-нибудь этот вот…

Михайлов на это возразил, что действует по поручению Сталина.

— Скажите товарищу Сталину, — ответил на это храбрый Лазарь, — что я не подпишу. Я ему сам объясню.

И потом, как он рассказывал об этом Феликсу Чуеву *(Ф. Чуев. «Каганович, Шепилов». М. 2001, стр. 239—240)* , увидевшись со Сталиным, он повторил этот свой довод:

— Я не еврейский общественный деятель, а член Политбюро.

Сталин этот демарш соратника принял к сведению. Кагановичу тот же текст письма был послан отдельно, без общего списка, и Лазарь Моисеевич его, разумеется, подписал. А потом его фамилия оказалась в том же общем списке. В числе тех, кто должен был подписать первый вариант «Письма в редакцию», он шел четвертым и был обозначен так: *«КАГАНОВИЧ А.М., Герой Социалистического Труда, Депутат Верховного Совета СССР».* Во втором варианте подпись его было шестой.

Поначалу здесь подпись его была обозначена без указания всех его должностей и регалий: только фамилия и инициалы. Но имена и титулы «подписантов» подверглись потом рукописной правке, и после фамилии Кагановича в этом исправленном тексте появилось уточнение: «Член ЦК КПСС». Чья рука внесла это уточнение, неизвестно. Но по чьему

указанию оно было сделано, можно не гадать: дать указание на такое обозначение его статуса мог только сам Хозяин. Это был его ответ на реплику Лазаря: «Я не еврейский общественный деятель, я член Политбюро».

Окунув соратника в общее коллективное дерьмо, вождь весьма прозрачно дал ему понять: «Вчера ты был членом Политбюро, сегодня — всего лишь член ЦК, а кем будешь завтра, это мы еще посмотрим!»

Таков был сталинский стиль.

Даже статус члена Политбюро (куда уж выше!) не мог быть *охранной грамотой* на вечные времена. А статус *блаженного* , выходит, мог.

Казалось бы, что ему мешало лишить Пастернака этого его статуса: ведь он сам его ему и присвоил?

То-то и дело: сам присвоил, а отменить — не мог. Потому что *блаженный* , даже если его убить, все равно останется *блаженным* , и кровь его падет на властителя.

> В русской религиозно-культурной традиции, с которой Сталин, как бывший семинарист, был отлично знаком, царь и юродивый были, как указывают специалисты, «связаны незримой, но прочной нитью». Сталин, считавший себя русским царем, несомненно ощущал эту связь. Тут была смесь эмоции и расчета. Инициируя и обыгрывая свои контакты с «новыми юродивыми» из сферы культуры, Сталин, несомненно, реализовывал какие-то свои глубинные психологические импульсы. Но он также учитывал опыт своих предшественников — таких, как Иван Грозный. Как и они, Сталин, будучи абсолютным властелином, все же не решался полностью игнорировать народную молву, осознавая ее силу… Вот почему в высшей степени характерны эпизоды контактов Сталина с Михаилом Булгаковым или Пастернаком, мгновенно приобретшие мифический статус в среде советской интеллигенции.
>
> ***(Соломон Волков. Шостакович и Сталин: художник и царь. М. 2004. Стр. 107—108.)***

Если согласиться с тем, что в этом объяснении (царь и юродивый «связаны незримой, но прочной нитью») есть некое рациональное зерно (а оно в нем, безусловно, есть), мы неизбежно придем к выводу, что вера Пастернака в «знанье друг о друге предельно крайних двух начал» была не такой уж иллюзорной. За ней, за этой вроде ни на чем не основанной верой, как оказалось, и впрямь стояла некая реальность. Попросту говоря, эта пастернаковская строка, по-видимому, выразила не только отношение Пастернака к Сталину, но и отношение Сталина к Пастернаку.

Сюжет шестой
«КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ ЗАБРЫЗГАН ГРЯЗЬЮ…»

Этой строкой начинается короткое стихотворение Пастернака, в котором выплеснулась неожиданная и в некотором отношении даже загадочная его реакция на события 1956 года:

Культ личности забрызган грязью,
Но на сороковом году
Культ зла и культ однообразья
Еще по-прежнему в ходу.

И каждый день приносит тупо,
Так что и вправду невтерпеж,
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож.

И культ здоровья и мещанства
Еще по-прежнему в чести,
Так что стреляются из пьянства,
Не в силах этого снести.

Последняя строка намекает, — собственно, даже не намекает, а прямо указывает, — на самоубийство Фадеева, случившееся 16 мая 1956 года. (Стихотворение было написано под непосредственным впечатлением от этого события, поразившего тогда многих.)

Но в марте того же года прогремел XX съезд партии, и еще не утихло громкое эхо от потрясшего страну и мир закрытого (и тут же ставшего открытым) доклада Хрущева, разоблачившего кровавые преступления Сталина. И процитированное стихотворение Пастернака было, конечно, его реакцией и на это событие тоже. Пожалуй даже, на него в большей степени, чем на выстрел Фадеева.

То, что «свиноподобные рожи» новых властителей страны его не чаровали, понять можно. Как можно понять и то, что отнюдь не отмененный докладом Хрущева «культ зла и культ однообразья», а также повседневно утверждающийся «культ здоровья и мещанства» вызвал у него рвотный рефлекс и даже отчаяние.

И все-таки — реакция странная.

В особенности эта первая строка, в которой слышится явное неприятие того положения вещей, при котором культ Сталина оказался «забрызган грязью». В ней слышится даже что-то вроде сожаления по поводу того, что Сталин был низвергнут со своего пьедестала. Что-то даже вроде ностальгии по поводу канувшей в прошлое величественной сталинской эпохи.

Каково в последние годы жизни Сталина было отношение Пастернака к «Благодетелю», мы вроде уже знаем.

Вряд ли откровения хрущевского доклада добавили к тому, что он знал и думал о Сталине, что-нибудь новое.

> Б.Л. читает характеристику Макбета. Я рассказываю ему, как однажды в разговоре о процессах 1936— 1938 годов В.Э. Мейерхольд сказал: «Читайте и перечитывайте «Макбета»!..»
> Б.Л. охает, замолкает, потом говорит:
> — Нет, не будем об этом. Это слишком страшно… — Помолчав. — Вот видите, какой живой этот великан Шекспир. Он нам внушает ассоциации, от которых страшно…
>
> ***(А. Гладков. Встречи с Пастернаком. М. 2002. Стр. 96-97.)***

Эти ассоциации возникали тогда не у одного Мейерхольда

Разве не о том же — с достаточной степенью внятности — сказала Ахматова:

Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники грозного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Будем читать над свинцовой рекой;
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пеньем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцей дрожать, —
Только не эту, не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать!

Стихотворение называется «Лондонцам» и говорит оно как будто — так, во всяком случае, уверяют комментаторы, — о британцах, переживающих налеты и бомбардировки

гитлеровской авиации. Но это — для маскировки. Подлинный адрес стихотворения сомнений не вызывает. Не лондонцы, а именно мы — «участники грозного пира», переживающие не написанную Шекспиром двадцать четвертую драму, которая стократ страшнее всех двадцати трех его трагедий и которую «уже мы не в силах читать».

Степень ясности этого ахматовского иносказания не менее очевидна, чем степень прозрачности другого ее намека;

> В Кремле не надо жить. Преображенец прав,
> Здесь зверства древнего еще кипят микробы:
> Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы,
> И Самозванца спесь — взамен народных прав.

Стихотворение про двадцать четвертую драму Шекспира Ахматовой удалось напечатать в «Избранном» 1943 года. (Маскировка удалась.) А о публикации этого стихотворения она решилась заговорить только в 1956-м. Но даже и тогда сразу же от этой попытки отказалась:

> Анне Андреевне очень хотелось дать «Стансы». Мне, разумеется, тоже… Сначала голос хоть и трагический, но величавый и спокойный, а потом вдруг, при переходе во второе четверостишие, удар неистовой силы. Вру, не «при переходе», а без всякого перехода, как удар хлыстом: «В Кремле не надо жить»…
> А в последних двух строках — полный и точный портрет Сталина…
> — Как вы думаете, все догадаются, что это его портрет, или вы одна догадались? — спросила Анна Андреевна.
> —Думаю, все.
> — Тогда не дадим, — решила Анна Андреевна. — Охаивать Сталина позволительно только Хрущеву.
>
> ***(Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том второй. М. 1997. Стр. 207.)***

Тем не менее она была рада, что настало время, когда Сталина уже позволено было охаивать — хотя бы только и одному Хрущеву.

А вот Пастернак почему-то не был этому рад.

Что же это? Может быть, минутное раздражение? Или впечатление от самоубийства Фадеева заслонило от него все другие тогдашние его впечатления?

Тут надо сказать, что, пожалуй, не меньше, чем первая строка этого стихотворения, поражает последняя его строка, в которой слышится прямое сочувствие тем, кто «стреляются от пьянства, не в силах этого снести». Хотя застрелился Фадеев, как мы знаем, отнюдь не «от пьянства», а совсем по другим причинам. И наше сочувствие застрелившемуся было бы куда сильнее, если бы он застрелился тогда, когда ему по должности приходилось подписывать согласие на аресты бывших друзей, а не тогда, когда они вдруг стали возвращаться «с того света». (Ходили слухи, что один из вернувшихся, бывший его дружок и соратник по РАППу — критик Иван Макарьев плюнул ему в лицо при встрече).

Конечно, это странное стихотворение Пастернака отражает и вполне конкретное, «сиюминутное» состояние души поэта, под воздействием которого оно родилось. Но — не только это.

В истоках этой его загадочной душевной реакции лежали и другие, гораздо более глубокие и прочные основания.

14 марта 1953 года, то есть через пять дней после похорон Сталина, Пастернак писал Фадееву:

> Дорогой Саша!
> Когда я прочел в «Правде» твою статью «О гуманизме Сталина», мне захотелось написать тебе. Мне подумалось, что облегчение от чувств, теснящихся во мне всю последнюю неделю, я мог бы найти в письме к тебе.

> Как поразительна была сломившая все границы очевидность этого величия и его необозримость! Это тело в гробу с такими исполненными мысли и впервые отдыхающими руками вдруг покинуло рамки отдельного явления и заняло место какого-то как бы олицетворенного начала, широчайшей общности, рядом с могуществом смерти и музыки, существом подытожившего себя века и могуществом пришедшего ко гробу народа.
> Каждый плакал теми безотчетными и неосознаваемыми слезами, которые текут и текут, а ты их не утираешь, отвлеченный в сторону обогнавшим тебя потоком общего горя, которое задело за тебя, проволоклось по тебе и увлажило тебе лицо и пропитало собою твою душу.
> А этот второй город, город в городе, город погребальных венков, поднявшийся на площади! Словно это пришло нести караул целое растительное царство, в полном сборе явившееся на похороны.
> Как эти венки, стоят и не расходятся несколько рожденных этою смертию мыслей.
> Какое счастье и гордость, что из всех стран мира именно наша земля, где мы родились и которую уже раньше любили за ее порыв и тягу к такому будущему, стала родиной чистой жизни, всемирно признанным местом осушенных слез и смытых обид!
> Все мы юношами вспыхивали при виде безнаказанно торжествовавшей низости, втаптывания в грязь человека человеком, поругания женской чести. Однако, как быстро проходила у многих эта горячка.
> Но каких безмерных последствий достигают, когда не изменив ни разу в жизни огню этого негодования, проходят до конца мимо всех видов мелкой жалости по отдельным поводам к общей цели устранения всего извращения в целом и установлению порядка, в котором это зло было бы немыслимо, невозникаемо, неповторимо!
> Прощай. Будь здоров.
> Твой Б. Пастернак.
> ***(Борис Пастернак. Поли. собр. соч. Том 9. Стр. 722-723.)***

Прочитав это письмо (впервые оно было напечатано в 1996 году в журнале «Континент», тогда же я его и прочел), я был изумлен до крайности.

Я вспомнил, что меня, когда я увидел мертвого Сталина, тоже больше всего поразили его руки. Но думал я при этом не о том, что они «исполнены мысли», и не о том, что они «впервые отдыхают». До корней волос пронзило меня, что эти небольшие, короткопалые, покрытые редкими рыжеватыми волосками руки еще недавно держали в своих чуть припухлых ладонях судьбу целого мира. И, само собой, мою судьбу тоже. И тут же явившаяся мысль, что эти страшные руки уже наконец мертвы, что они, как выразился поэт, «впервые отдыхают», а значит, ничего больше не могут со мной сделать, эта утешительная мысль сразу убрала холодок, леденивший мою спину.

Я, правда, в отличие от Бориса Леонидовича, эти сталинские руки увидал не в те похоронные дни, а позлее, когда Сталин лежал уже не в гробу, а в стеклянном ящике, в Мавзолее. Но об этом я тогда не подумал. Подумал: какими разными глазами мы глядели на эти «впервые отдыхающие» руки и как разительно отличается то, что чувствовал, глядя на них, я, от того, что чувствовал он.

Дело, однако, было не только в чувствах. Еще больше поразили меня мысли, возникшие у него, когда он глядел на эти сталинские руки.

> Какое счастье и гордость, что из всех стран мира именно наша земля, где мы родились и которую уже раньше любили за ее порыв и тягу к такому будущему, стала родиной чистой жизни, всемирно признанным местом осушенных слез и смытых обид!

Вот-те на! И это думает Пастернак, тот самый Пастернак, который десятью годами раньше написал про «Благодетеля», которому уже мало Петра в роли образца для

подражания, нужен кровопийца Иван. Тот самый Пастернак, который стиль сталинского исторического и художественного мышления в противоположность «стилю ампир» назвал «стилем вампир».

Это он, Пастернак, зовет проходить «мимо всех видов мелкой жалости по отдельным поводам» ради «установления порядка, в котором… зло было бы немыслимо»!

Что, интересно знать, он подразумевает под «мелкой жалостью по отдельным поводам»? Неужели жалость к миллионам безвинно загубленных человеческих душ? («Лес рубят, щепки летят»?)

Тут надо еще не забывать, по какому поводу он все это пишет. По поводу появившейся в «Правде» 12 марта 1953 года и только что прочитанной им статьи Фадеева «Гуманизм Сталина». В ней Фадеев писал о принципиальном отличии сталинского гуманизма от «всех и всяческих форм христианского гуманизма» и от всех разновидностей старого «классического гуманизма буржуазно-демократического толка». Неужели это могло прийтись по душе Пастернаку, который только что обрел свое новое (или, как он уверял, былое, старое) христианское миросозерцание:

Ты значил всё в моей судьбе,
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о Тебе
Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я Твой Завет
И как от обморока ожил.

Как могло это у него совместиться с сочувственным пониманием нового, антихристианского, фадеевского (сталинского) гуманизма?

Наверно, подумал я, на него подействовала мрачно-торжественная обстановка тех похоронных и послепохоронных дней. Вероятно, отразилось и в настрое, и в стилистике этого письма и некоторое приспособление его автора к чувствам, наверняка испытываемым в те дни тем, к кому письмо было обращено.

Но никто ведь не заставлял его в те дни писать именно Фадееву. У него самого возник этот душевный порыв. Значит, была в этом его порыве какая-то доля искренности. Или?..

Вообще-то к Фадееву он относился хорошо. Но цену ему знал и никаких иллюзий насчет него не строил. Заговорив о нем с А. Гладковым (в Чистополе, в 1942 году), он нарисовал такой портрет этого гуманиста сталинского толка:

> — В Переделкине Фадеев иногда, напившись, являлся ко мне и начинал откровенничать. Меня смущало и обижало, что он позволял себе это именно со мной… Фадеев лично ко мне хорошо относится, но, если ему велят меня четвертовать, он добросовестно это выполнит и бодро об этом отрапортует, хотя и потом, когда снова напьется, будет говорить, что ему меня жаль и что я был очень хорошим человеком. Есть выражение «человек с двойной душой». У нас таких много. Про Фадеева я сказал бы иначе. У него душа разделена на множество непроницаемых отсеков, как подводная лодка. Только алкоголь все смешивает, все переборки поднимаются…
>
> ***(А. Гладков. Встречи с Пастернаком. М. 2002. Стр. 109.)***

У Пастернака таких непроницаемых переборок в душе не было. И человеком с двойной душой он тоже не был. Поэтому, поломав голову над этим его письмом к Фадееву и так и не поняв, как мог он все это ему тогда написать, я решил, что он просто-напросто испугался.

Сам Фадеев именно так объяснил один свой не очень понятный поступок.

Он очень высоко ценил роман Василия Гроссмана «За правое дело». Но Сталин дал команду этот роман растоптать, и он его растоптал. Если бы Сталин приказал четвертовать автора, он бы его четвертовал. В этом не было ничего неожиданного, а тем более непонятного. Непонятное и неожиданное началось потом, когда Сталин был уже мертв. Именно вот тогда, когда в этом уже не было никакой необходимости, Фадеев вдруг ударил по Гроссману и его роману с удесятеренной силой и яростью.

— Зачем ты это сделал? — спросил у него потом кто-то из близких ему людей.

И он честно ответил:

— Испугался… Подумал, что вот сейчас-то и начнется самое страшное.

Вот так же и Пастернак, подумал я, испугался, что сейчас начнется самое страшное, и решил заявить Генеральному секретарю Союза писателей о своей лояльности.

Нет, это не значит, что, сочиняя это свое письмо Фадееву, он лицемерил или притворялся. Он был по-своему искренен. Но это была искренность особого рода. Это была, подумал я, сублимация страха. (На страницах этой книги мы еще не раз столкнемся с этим феноменом.)

Но хоть догадка эта как будто бы все объясняла, припомнив некоторые другие факты и обстоятельства духовной эволюции Бориса Леонидовича Пастернака, я вынужден был от нее отказаться. Во всяком случае, несколько ее скорректировать.

* * *

7 марта 1953 года в письме к Галине Игнатьевне Гудзь, в котором обсуждались совсем другие, сугубо литературные проблемы и темы, он писал:

> Февральская революция застала меня в глуши Вятской губ. на Каме, на одном заводе. Чтобы попасть в Москву, я проехал 250 верст на санях до Казани, сделав часть дороги ночью, узкою лесной тропой в кибитке, запряженной тройкой гусем, как в Капитанской дочке.
>
> Нынешнее трагическое событие застало меня тоже вне Москвы, в зимнем лесу, и состояние здоровья не позволит мне в дни прощанья приехать в город. Вчера утром вдали за березами пронесли свернутые знамена с черной каймою, я понял, что случилось. Тихо кругом. Все слова наполнились до краев значением, истиной.
>
> ***(Борис Пастернак. Полн. собр. соч. Том 9. Стр. 721.)***

Обращаясь к этому адресату, у него не было никакой нужды сублимировать страх или приспосабливаться к собеседнику. А душевное состояние, отразившееся в этом его письме, — то же, что в письме к Фадееву. Стало быть, в выражении своих чувств по поводу случившегося он был тогда искренен.

А вот что касается высказанных им в том его письме мыслей:

> Мы говорим… о Сталине и о том, о чем любили поговорить люди тридцатых и сороковых годов, — знает ли он о всех преступлениях режима репрессий? Естественно, что эту часть разговора я записывал в очень сокращенном и зашифрованном виде.
>
> После небольшой паузы Б.Л. говорит:
>
> — Если он не знает, то это тоже преступление, и для государственного деятеля, может быть, самое большое…
>
> Далее Б.Л. говорит о Сталине, называет его «гигантом дохристианской эры человечества».
>
> Я переспрашиваю: может быть, «послехристианской эры»?
>
> Но он настаивает на своей формулировке и длинно мотивирует ее. Но я этого не записал.
>
> ***(А. Гладков. Встречи с Пастернаком. Стр. 113.)***

Со своими иллюзиями по поводу того, что Сталин будто бы может не знать о преступлениях созданного им режима, Борис Леонидович, как мы знаем, вскоре расстался. А вот мысль о Сталине как «гиганте дохристианской эры», как видно, его не покидала. Во всяком случае, какими бы ни были те его длинные объяснения, которые Гладков не записал, одно несомненно: мысль Фадеева об особом гуманизме Сталина, не имеющем ничего общего с христианскими ценностями, отвечала и каким-то его собственным мыслям.

Труднее, — как будто бы даже невозможно, — соотнести с его собственными мыслями ту фразу из его письма, которая вызвала у меня прямую ассоциацию с расхожей репликой тех незабываемых лет: «Лес рубят — щепки летят!»

Однако и эта мысль была ему не чужой. Во всяком случае, однажды он выразил ее с редко свойственной ему прямотою и внятностью.

28 октября 1935 года покончил с собой молодой комсомольский поэт Николай Дементьев. (Тот самый, с которым объяснялся в известных своих стихах Эдуард Багрицкий: «Коля, не волнуйтесь, дайте мне…»)

Б.Л. откликнулся на это событие стихами. Они назывались — «Безвременно умершему»:

Немые индивиды,
И небо, как в степи,
Не кайся, не завидуй, —
Покойся с миром, спи.

Как прусской пушке Берте
Не по зубам Париж,
Ты не узнаешь смерти,
Хоть через час сгоришь.

Эпохи революций
Возобновляют жизнь
Народа, где стрясутся,
В громах других отчизн.

Страницы века громче
Отдельных правд и кривд.
Мы этой книги кормчей
Живой курсивный шрифт.

Затем-то мы и тянем,
Что до скончанья дней
Идем вторым изданьем,
Душой и телом в ней.

Но тут нас не оставят.
Лет через пятьдесят,
Как ветка пустит наветвь,
Найдут и воскресят.

Побег не обезлиствел,
Зарубка зарастет.
Так вот — в самоубийстве ль
Спасенье и исход?

Стихотворение не без обычной пастернаковской мути, конечно. Казалось бы, при чем тут Париж и знаменитая немецкая пушка «Длинная Берта»? Где имение — и где наводнение?

Но и эта причудливая ассоциация разгадывается сравнительно легко. Гром, грянувший в Париже в 1789-м, отозвался «в громах других отчизн», то есть у нас. И, как и там, у нас тоже все жертвы, все тяготы, все кровавые ужасы и несправедливости будут оправданы — лет через пятьдесят, когда «зарубка зарастет» и «ветка пустит наветвь».

Ну, а общий смысл стихотворения и вовсе ясен как стеклышко. «Страницы века громче отдельных правд и кривд». И потому — что бы там ни случилось в жизни Николая Дементьева, какой бы «кривдой» не был он ужален в самое сердце, — кончать с собой ему не надо было. Самоубийство — не спасенье и не исход. И тот факт, что молодой комсомольский поэт пренебрег этой истиной, говорит лишь о том, что за бестолочью ранивших его душу «отдельных правд и кривд» он не сумел разглядеть «бронзовый профиль истории». (С этой формулой мы тоже еще встретимся на страницах этой книги.)

Смысл стихотворения оказывается даже более ясным, чем смысл многих других тогдашних стихов Пастернака. И конечно, не «молодого стрелка» утешал в этом стихотворении Борис Леонидович, а себя. Не ему, а себе старался внушить, что «мы той книги кормчей живой курсивный шрифт». Вот это давнее его самовнушение и откликнулось теперь в его письме Фадееву.

Ну, а что касается его восклицания — «Все мы юношами вспыхивали при виде безнаказанно торжествовавшей низости, втаптывания в грязь человека человеком, поругания женской чести…» — тут в его искренности и вовсе не может быть никаких сомнений. Этим он жил всю жизнь. Это стало наиважнейшим мотивом его большого романа и самых пронзительных, прощальных его стихов:

Прощайте, годы безвременщины!
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья.

Итак, все мысли, выплеснувшиеся в том его письме Фадееву, — это были ЕГО мысли. Старые, новые, в разное время по-разному его волновавшие, но никем ему не навязанные, его собственные.

И его собственным, тоже никем ему не навязанным было владевшее им тогда ощущение величия уходящей эпохи.

Это ощущение не оставляло его и позже. И однажды выплеснулось по поводу и в форме, не оставляющих сомнения в подлинности этого его чувства.

ИЗ ПИСЬМА Д.А. ПОЛИКАРПОВУ
16 января 1959 года

…страшный и жестокий Сталин не считал ниже своего достоинства исполнять мои просьбы о заключенных и по своему почину вызывать меня по этому поводу к телефону. Государь и великие князья выражали письмами благодарность моему отцу по разным негосударственным поводам. Но, разумеется, куда же им всем против нынешней возвышенности и блеска.

Повторяю, писать могу только Вам, потому что полон уважения только к Вам и выше оно не распространяется… Никому, кроме Вас, я писать не буду, ничего другого предпринимать не стану.

(Борис Пастернак. Полн. собр. соч. Том 10. Стр. 415.)

Дмитрий Алексеевич Поликарпов, к которому обращено это письмо, был в то время заведующим отделом культуры ЦК КПСС. Это был тот самый Поликарпов, которому Сталин

некогда сказал свою знаменитую фразу: «В настоящий момент у меня нет для тебя других писателей: хочешь работать, — работай с этими».

Это был человек неординарный. Когда он умирал (от рака), он сказал жене, что если умрет после 15-го числа, пусть она — так и быть! — возьмет «кремлевку» (полагающийся ему кремлевский паек) за этот месяц. А если он отдаст концы до 15-го, чтобы ни в коем случае не смела его брать: обманывать партию он ей не разрешил.

В то время, я думаю, уже не много осталось цековских чиновников, которые проявляли бы такую суровую щепетильность в своих отношениях с «партийной кормушкой».

Но неординарность, я бы даже сказал, уникальность «дяди Мити», как все за глаза его звали, проявлялась не только в этом.

В отличие от подавляющего большинства тогдашних партийных бонз он был идейным. Он был последышем тех «неистовых ревнителей», которые исполняли свои партийные обязанности, как выразился однажды Маяковский, «не по службе, а по душе». Всем, кого «дядя Митя» курировал, за кем следил своим бдительным оком, от этого было только хуже.

Но ведь не это же его качество привлекло к нему Бориса Леонидовича Пастернака! И не оно заставило его написать, что только к нему одному из цековских идеологических бонз он полон уважения.

Так что же?

Когда разразился скандал вокруг присуждения ему Нобелевской премии, разбираться с проштрафившимся «небожителем», то есть расхлебывать всю эту кашу, по должности выпало «дяде Мите». Вот тут-то, по ходу этих их встреч и переговоров и возникли у этих двух — таких разных! — людей какие-то отношения, похожие на человеческие.

> …Поликарпов откашлялся, торжественно встал и голосом глашатая на площади возвестил, что… Пастернаку позволяется остаться на родине. Теперь, мол, его личное дело, как он будет мириться со своим народом.
> — Но гнев народа своими силами нам сейчас унять трудно, — заявил при этом Поликарпов. — Мы, например, просто не можем остановить завтрашний номер «Литературной газеты»…
> — Как вам не совестно, Дмитрий Алексеевич? — перебил его Боря. — Какой там гнев? Ведь в вас даже что-то человеческое есть, так что же вы лепите такие трафаретные фразы? «Народ!», «Народ!» — как будто вы его у себя из штанов вынимаете. Вы знаете прекрасно, что вам вообще нельзя произносить это слово — народ.
> Бедный Дмитрий Алексеевич шумно набрал воздуху в грудь, походил по кабинету, и, вооружившись терпением, снова подступил к Боре.
> — Ну, теперь все кончено, теперь будем мириться, потихоньку все наладится, Борис Леонидович… — А потом вдруг дружески похлопал его по плечу, — эх, старик, старик, заварил ты кашу…
> Но Боря, разозлившись, что при мне его назвали стариком (а он себя чувствовал молодым и здоровым…), сердито сбросил руку со своего плеча:
> — Пожалуйста, вы эту песню бросьте, так со мной разговаривать нельзя.
> Но Поликарпов не сразу сошел с неверно взятого им тона:
> — Эх, вонзил нож в спину России, вот теперь улаживай…
> Боря вскочил:
> — Извольте взять свои слова назад, я больше разговаривать с вами не буду, — и рывком пошел к двери.
> Поликарпов послал мне отчаянный взгляд:
> — Задержите, задержите его, Ольга Всеволодовна!
> — Вы его будете травить, а я буду его держать? — ответила я не без злорадства, — возьмите свои слова назад!
> — Беру, беру, — испуганно пробормотал Поликарпов.
>
> ***(Ольга Ивинская. В плену времени. М. 1972. Стр. 286—287.)***

Таких сцен там, надо полагать, было еще немало. Едва только утих первый, главный скандал, как вдруг вспыхнул новый. Пастернак написал стихотворение «Нобелевская премия» («Я пропал, как зверь в загоне…») и отдал его первому подвернувшему под руку западному корреспонденту. В ответ последовали новые репрессии. Тотчас были расторгнуты все договоры на его переводы Шекспира, рассыпаны наборы уже готовящихся к выходу их изданий. Вот по этому поводу Поликарпов и уговаривал его написать Хрущеву.

Свое отношение к новым кремлевским властителям Пастернак, как мы уже знаем, выразил весьма недвусмысленно:

И каждый день приносит тупо,
Так что и вправду невтерпеж,
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож.

В это же самое время Ахматова не стеснялась говорить о себе: «Я — хрущевка!» Она была благодарна Хрущеву за разоблачение сталинских преступлений, за распущенные лагеря и вышедших на свободу зэков, среди которых, между прочим, был ее сын.

Эренбург, которому, как и Пастернаку, при Хрущеве досталось круче, чем при Сталине, тем не менее отозвался о нем скорее благожелательно:

Смекалист, смел, не памятлив, изменчив,
Увенчан глупо, глупо и развенчан…
Не только от сохи и от утробы
Он власть любил, но не было в нем злобы,
Охоч поговорить, то злил, то тешил,
И матом крыл, но никого не вешал.

Ну, а что касается хрущевской «оттепели», тут и говорить нечего — это ведь не кто иной, как он, дал имя его десятилетнему царствованию.

К «оттепели», наступившей после лютых сталинских холодов, Пастернак тоже отнесся так же.

С удовлетворением отметил, что —

Смягчается времен суровость…

Поделился даже своими надеждами на новые, еще более благодетельные перемены:

Воспоминание о полувеке
Пронесшейся грозой уходит вспять,
Столетье вышло из его опеки.
Пора дорогу будущему дать.

Но писать письмо Хрущеву, искать у него помощи и защиты — не хотел.

Обращаться к «жестокому и страшному Сталину» он не считал для себя зазорным. А обратиться к Хрущеву, который «и матом крыл, но никого не вешал», было ему поперек души. К Поликарпову еще куда ни шло. А к Хрущеву — ни за что, ни за какие блага!

И это не потому, что Сталин к нему благоволил, а Хрущев позволил своим холуям публично сравнивать его со свиньей. Нет, дело тут было не в личной обиде.

Со Сталиным у него **были отношения** . (Так, во всяком случае, ему казалось.) Даже с Поликарповым у него были — какие-никакие, но все-таки личные — отношения. А с Хрущевым никаких личных отношений у него не было и быть не могло.

Под нажимом Поликарпова (а может быть, и не его одного) он потом Хрущеву все-таки написал. Сдержанно, почти официально. Не «дорогой», как Сталину, а «глубокоуважаемый», хотя обращение «Дорогой Никита Сергеевич» в этих случаях тогда было уже частью обязательного ритуала. И уж конечно, без изъявлений преданности и любви. И без всяких этих своих «таинственностей».

Но, написав, он его все-таки не отправил.

СТАЛИН И МАНДЕЛЬШТАМ

ДОКУМЕНТЫ

1

Н.И. БУХАРИН — И.В. СТАЛИНУ

Дорогой Коба,

На дня четыре-пять я уезжаю в Ленинград, так как должен засесть за бешеную подготовку к съезду писателей, а здесь мне работать не дают: нужно скрыться (адрес: Академия наук, кв. 30). В связи с сим я решил тебе написать о нескольких вопросах:

1). Об Академии наук. Положение становится окончательно нетерпимым. Я получил письмо от секретаря партколлектива т. Кошелева (очень хороший парень, бывший рабочий, прекрасно разбирающийся). Это — сдержанный вопль. Письмо прилагаю. Если бы ты приказал — как ты это умеешь, — все бы завертелось. В добавление скажу еще только, что за 1934 г. Академия наук не получила никакой иностранной литературы — вот тут и следи за наукой!

2). О наследстве «Правды» (типографском). Выло решено, что значительная часть этого наследства перейдет нам. На последнем заседании Оргбюро была выбрана комиссия, которая подвергает пересмотру этот тезис, и мы можем очутиться буквально на мели. Я прошу твоего указания моему другу Стецкому, чтобы нас не обижали. Иначе мы будем далеко выброшены назад. Нам действительно нужно старое оборудование «Правды» и корпуса.

3). О поэте Мандельштаме. Он был недавно арестован и выслан. До ареста он приходил со своей женой ко мне и высказывал свои опасения на сей предмет в связи с тем, что он подрался (!) с Алексеем Толстым, которому нанес «символический удар» за то, что тот несправедливо якобы решил его дело, когда другой писатель побил его жену. Я говорил с Аграновым, но он мне ничего конкретного не сказал. Теперь я получаю отчаянные телеграммы от жены Мандельштама, что он психически расстроен, пытался выброситься из окна и т.д. Моя оценка О. Мандельштама: он — первоклассный поэт, но абсолютно несовременен; он — безусловно не совсем нормален; он чувствует себя затравленным и т.д. Т.к. ко мне все время апеллируют, а я не знаю, что он и в чем он «наблудил», то я решил написать тебе об этом. Прости за длинное письмо. Привет.

Твой Николай.

P.S. О Мандельштаме пишу еще раз (на обороте) потому, что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста Мандельштама и никто ничего не знает.

2

РЕЗОЛЮЦИЯ И.В. СТАЛИНА НА ПИСЬМЕ Н.И. БУХАРИНА

Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие.

И. СТАЛИН

3

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ ССП В.П. СТАВСКОГО НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР Н.И. ЕЖОВУ О ПОЭТЕ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМЕ[1]

16 марта 1938 г.

Уважаемый Николай Иванович!

В части писательской среды весьма нервно обсуждался вопрос об Осипе Мандельштаме.

Как известно — за похабные клеветнические стихи и антисоветскую агитацию Осип Мандельштам был года три-четыре тому назад выслан в Воронеж. Срок его высылки окончился. Сейчас он вместе с женой живет под Москвой (за пределами «зоны»).

Но на деле — он часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом — литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него «страдальца» — гениального поэта, никем не признанного. В защиту его открыто выступали Валентин Катаев, И. Прут и другие литераторы, выступали остро.

С целью разрядить обстановку О. Мандельштаму была оказана поддержка через Литфонд. Но это не решает всего вопроса о Мандельштаме.

Вопрос не только и не столько в нем, авторе похабных, клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа. Вопрос об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь.

За последнее время О. Мандельштам написал ряд стихотворений. Но особой ценности они не представляют — по общему мнению товарищей, которых я просил ознакомиться с ними (в частности, тов. Павленко, отзыв которого прилагаю при сем).

Еще раз прошу Вас помочь решить этот вопрос об Осипе Мандельштаме.

С коммунистическим приветом

В. Ставский.

4

О СТИХАХ О. МАНДЕЛЬШТАМА

Я всегда считал, читая старые стихи Мандельштама, что он не поэт, а версификатор, холодный, головной составитель рифмованных произведений. От этого чувства не могу отделаться и теперь, читая его последние стихи. Они в большинстве своем холодны, мертвы, в них нет того самого главного, что, на мой взгляд, делает поэзию — нет темперамента, нет веры в свою строку.

Язык стихов сложен, темен и пахнет Пастернаком.

Едва ли можно отнести к образцам ясности и следующие строки:

Где связанный и пригвожденный стон?
Где Прометей — скалы подспорье и пособье?
А коршун где — и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?

1 Обращение В.П. Ставского к Н.И. Ежову и приложенную к нему рецензию П. Павленко я решил включить в этот раздел, т.к. оба эти документа, в сущности, тоже адресованы Сталину. И Сталин наверняка ознакомился с ними, перед тем как дать санкцию на второй арест О. Мандельштама.

Мне трудно писать рецензию на эти стихи. Не любя и не понимая их, я не могу оценить возможную их значительность или пригодность. Система образов, язык, метафоры, обилие флейт, аорий и проч., все это кажется давно где-то прочитанным.

Относительно хороши (и лучше прочих) стихи пейзажные, хороши стихотворения: 1) «Если б меня наши враги взяли…», 2) «Не мучнистой бабочкою белой…» и 3) «Мир начинается, страшен и велик…»

Есть хорошие строки в «Стихах о Сталине», стихотворении, проникнутом большим чувством, что выделяет его из остальных. В целом же это стихотворение хуже своих отдельных строф. В нем много косноязычия, что неуместно в теме о Сталине.

У меня нет под руками прежних стихов Мандельштама, чтобы проверить, как далеко ушел он теперь от них, но — читая — я на память большой разницы между теми и этими не чувствую, что, может быть, следует отнести уже ко мне самому, к нелюбви моей к стихам Мандельштама.

Советские ли это стихи? Да, конечно. Но только в «Стихах о Сталине» мы это чувствуем без обиняков, в остальных же стихах — о советском догадываемся. Если бы передо мною был поставлен вопрос — следует ли печатать эти стихи, — я ответил бы — нет, не следует.

Петр Павленко

Сюжет первый
«ИЗОЛИРОВАТЬ, НО СОХРАНИТЬ»

Судьба Мандельштама — едва ли не самая драматическая в русской литературе советского периода. Не потому, что ему выпал жребий более ужасный, чем многим другим его собратьям. Трагическая развязка его судьбы была такой же, как у Бабеля, Пильняка, Артема Веселого, Ивана Катаева, — всех не перечислишь. Отличается от них Мандельштам тем, что был он, пожалуй, из них всех самым независимым, самым нетерпимым.

«Нетерпимости у О. М. хватило бы на десяток писателей», — замечает в своих воспоминаниях вдова поэта Надежда Яковлевна Мандельштам.

Нетерпимость была не просто свойством его души. Она была его священным принципом, его девизом:

> Чем была матушка-филология, и чем стала… Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала пся кровь, все-терпимость.
>
> ***(Четвертая проза.)***

В той же «Четвертой прозе» он высказался на эту тему еще резче, еще исступленнее:

> Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю…
>
> Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей — ведь дети должны за нас продолжать, за нас главнейшее досказать — в то время как их отцы запроданы рябому черту на три поколения вперед.

«Рябой черт» — это о Сталине.

В разговорах — только вдвоем, с глазу на глаз, шепотом, — такое, может быть, еще можно было услышать. Но прочесть!.. Не могу назвать ни одного из его собратьев по перу, кто отважился бы написать нечто подобное.

Но одной этой яростной репликой Мандельштам не ограничился.

В ноябре 1933 года он написал небольшое стихотворение, в котором свое отношение к «рябому черту» выразил еще более ясно и недвусмысленно:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца, —
Там помянут кремлевского горца

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто мяучит, кто плачет, кто хнычет,
Лишь один он бабачит и тычет.

Как подковы кует за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него, — то малина.
И широкая грудь осетина.

Некоторые современники (из тех немногих, кому это стихотворение тогда стало известно) отзывались о нем пренебрежительно. Они отвергли его именно из-за его лобовой резкости и прямоты:

> Эренбург не признавал стихов о Сталине. Он называл их «стишками»… Илья Григорьевич справедливо считает их одноплановыми и лобовыми, случайными в творчестве О. М.
>
> ***(Надежда Мандельштам. Воспоминания.)***

Еще резче выразился Б.Л. Пастернак. Выслушав стихотворение из уст автора, он просто отказался обсуждать его достоинства и недостатки:

> Как-то, гуляя по улицам, забрели они на какую-то безлюдную окраину города в районе Тверских Ямских, звуковым фоном запомнился Пастернаку скрип ломовых извозчичьих телег. Здесь Мандельштам прочел ему про кремлевского горца. Выслушав, Пастернак сказал: «То, что Вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу Вас не читать их никому другому».
>
> ***(Заметки о пересечении биографий Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака. Память. Исторический сборник. Париж. 1981, стр. 316.)***

Мандельштам, конечно, и сам прекрасно понимал, что, сочиняя — а тем более читая вслух, хотя бы и самым надежным слушателям из числа своих знакомых, — это стихотворение, он совершает акт самоубийства:

> Утром неожиданно ко мне пришла Надя, можно сказать, влетела. Она заговорила отрывисто. «Ося сочинил очень резкое стихотворение. Его нельзя записать. Никто, кроме меня, его не знает. Нужно, чтобы еще кто-нибудь его запомнил. Это будете вы. Мы умрем, а вы передадите его потом людям. Ося прочтет его вам, а потом вы

выучите его наизусть со мной. Пока никто не должен об этом знать. Особенно Лева».
Надя была очень взвинчена. Мы тотчас пошли в Нащокинский. Надя оставила меня наедине с Осипом Эмильевичем в большой комнате. Он прочел: «Мы живем, под собою не чуя страны» и т.д. все до конца — теперь эта эпиграмма на Сталина известна. Но прочитав заключительное двустишие — «что ни казнь у него, то малина. И широкая грудь осетина», он вскричал:
— Нет, нет! Это плохой конец. В нем есть что-то цветаевское. Я его отменяю. Будет держаться и без него… — И он снова прочел все стихотворение, закончив с величайшим воодушевлением:

Как подковы дарит за указом указ —
Кому в лоб, кому в пах,
Кому в бровь, кому в глаз!!

— Это комсомольцы будут петь на улицах! — подхватил он сам себя ликующе. — В Большом театре… на съездах… со всех ярусов… — И он зашагал по комнате.
Обдав меня своим прямым огненным взглядом, он остановился:
— Смотрите — никому. Если дойдет, меня могут… РАССТРЕЛЯТЬ!
(Эмма Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. 1998, стр. 51.)

Это было сказано не для красного словца. Конечно, могли расстрелять. Строго говоря, даже не могли не расстрелять. С момента ареста (его арестовали в ночь с 13 на 14 мая 1934 года) он — по собственному его признанию — все время готовился к расстрелу: «Ведь у нас это случается и по меньшим поводам». Но когда он читал свою «эпиграмму» Эмме Григорьевне, эта жуткая перспектива маячила где-то на периферии его сознания как реальная, но все-таки не неизбежная угроза. В тот момент (это ясно видно из всего его поведения) он был упоен своей поэтической удачей и гораздо больше, чем страхом перед неизбежной расплатой, озабочен тем, чтобы стихотворение «держалось».

Запись Э. Герштейн неопровержимо свидетельствует, что сам Мандельштам вовсе не считал, что это его стихотворение — не факт поэзии, а всего лишь некий политический жест.

В наше время взгляд на стихотворение Мандельштама про «кремлевского горца» как на лобовую и, выражаясь языком зощенковских героев, «маловысокохудожественную» эпиграмму стал уже общим местом.

Журналист Э. Поляновский, расследовавший историю гибели Мандельштама, высказывает даже сожаление по поводу того, что столь ничтожное стихотвореньице погубило поэта. Больше того: предположение, что это мелкое «литературное озорство» предопределило трагическую развязку его судьбы, представляется ему прямо-таки оскорбительным:

Принято считать, что единственное стихотворение погубило Мандельштама. Можно, конечно, пойти на костер и за единственное, если оно стало итогом жизни, невероятным последним взлетом. Но обличительный стих, как и хвалебный, — тоже невысокой пробы, здесь также не нужно быть Мандельштамом, чтобы написать его, в нем нет ни одного слова из тех, что знал только он один. Это не стихотворение, а скорее лобовая эпиграмма. Последняя строка грубо приколочена.

Что ни казнь у него, — то малина.
И широкая грудь осетина.

«Что ни казнь» и «грудь» в подбор — даже неграмотно…
Думать, что единственная, лишь однажды, несдержанность чувств привела его на эшафот — слишком прискорбно и несправедливо. Это упрощает и принижает поэта, низводя его до нечаянного литературного озорника.

(Эдвин Поляновский. Гибель Осипа Мандельштама. Петербург — Париж. 1993, стр. 107.)

Примерно в том же духе, — хотя и гораздо корректнее, — высказывается на эту тему другой наш современник — литературовед, посвятивший (тем не менее) этому короткому стихотворению специальное исследование:

> …Это был выход непосредственно в биографию, даже в политическое действие (сравнимое, с точки зрения биографической, с предполагавшимся участием юного Мандельштама в акциях террористов-эсеров). Тяга к внеэстетическим сферам, устойчиво свойственная Мандельштаму, какой бы герметический характер ни принимала его лирика, в условиях 30-х годов разрешилась биографической катастрофой.
>
> ***(Е.А. Тоддес. Антисталинское стихотворение Мандельштама (к 60-летию текста). В кн.: Тыняновский сборник. Пятые Тыняновские чтения. Рига — Москва, 1994, стр.199.)***

«Тяга к внеэстетическим сферам» — это, конечно, более тактичная формула, чем раздраженная (и явно испуганная) реакция Пастернака («То, что Вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии»), но по существу — то же самое.

Художественную, эстетическую ценность стихотворения отметила, пожалуй, только одна Ахматова. Это видно из протокола допроса Мандельштама, записанного рукой следователя, где на вопрос: «Как реагировала Анна Ахматова при прочтении ей этого контрреволюционного пасквиля и как она его оценила?», подследственный отвечает:

> — Со свойственной ей лаконичностью и поэтической зоркостью Анна Ахматова указала на «монументально-лубочный и вырубленный характер» этой вещи…
>
> ***(Виталий Шенталинский. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. М. 1995, стр. 236.)***

Поэтическую мощь, вот эту самую «вырубленность» образного строя стихотворения спустя целую эпоху почувствовал и по-своему выразил другой поэт — Фазиль Искандер. Он даже высказал весьма неординарное предположение, что именно этими своими качествами стихотворение впечатлило и самого Сталина:

> Ужас перед обликом тирана, нарисованный поэтом, как бы скрывает от нас более глубокий, подсознательный смысл стихотворения: Сталин — неодолимая сила. Сам Сталин, естественно, необычайно чуткий к вопросу о прочности своей власти, именно это почувствовал в первую очередь.
>
> Наши речи за десять шагов не слышны.
>
> Конец. Кранты. Теперь что бы ни произошло — никто не услышит.
>
> А слова как тяжелые гири верны.
>
> Идет жатва смерти. Мрачная ирония никак не перекрывает убедительность оружия. Если дело дошло до этого: гири верны.
>
> Он играет услугами полулюдей.
>
> Так это он играет, а не им играют Троцкий или Бухарин. Так должен был воспринимать Сталин…

> Думаю, что Сталину в целом это стихотворение должно было понравиться… Стихотворение выража-
> ло ужас и неодолимую силу Сталина. Именно это он внушал и хотел внушить стране. Стихотворение доказывало, что цель достигается…
>
> ***(Фазиль Искандер. Поэты и цари. М. 1991, стр. 51-52.)***

С мнением Искандера, предполагающим столь чуткую восприимчивость Сталина к сокровенному смыслу поэтического слова, можно и не согласиться. Но сама возможность такого прочтения подтверждает, что «эпиграмма» Мандельштама на Сталина, как пренебрежительно именовали это стихотворение некоторые современники, несет в себе заряд большой поэтической силы. Образ тирана, запечатленный в этих шестнадцати строчках, при всей своей лубочности («Тараканьи смеются усища и сияют его голенища») и в самом деле словно вырублен из цельного куска и по-своему монументален. («Его толстые пальцы, как черви, жирны, и слова, как пудовые гири, верны…», «Как подковы кует за указом указ, — кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз…») И даже одного только первого двустишия, в котором отчаяние поэта отлилось в чеканную и емкую поэтическую формулу («Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны…»), было бы довольно, чтобы поставить это стихотворение в один ряд с пушкинскими строчками: «Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу…» и лермонтовским: «Страна рабов, страна господ…».

При всем при том (что там говорить, прав, прав современный исследователь) — факт создания этого стихотворения был и несомненным, прямым **политическим действием** , разрешившимся «биографической катастрофой», то есть тем самым **актом самоубийства** , о котором говорил Пастернак. Поэтому может сложиться впечатление, что именно в создании Мандельштамом этого знаменитого антисталинского стихотворения и состоял его **последний творческий акт** .

Но на самом деле это был только первый шаг. Только завязка сюжета, которая лишь предопределила его трагическую развязку. Сам же сюжет разворачивался довольно причудливо. Совсем не по установившемуся тогда шаблону.

*** * ***

После того как Мандельштам был арестован (это случилось, как уже было сказано, в ночь с 13 на 14 мая 1934 года), по просьбе жены поэта за него взялся хлопотать Н.И. Бухарин.

Раньше об этих его хлопотах мы знали только из мемуаров Надежды Яковлевны. Но сравнительно недавно письмо Бухарина Сталину, в котором говорится об аресте Мандельштама, было обнародовано, так что теперь у нас есть возможность более точно, а главное, более подробно узнать, как было дело.

Одним из первых объявил, что это письмо «обнаружилось» в Президентском архиве, Эдвард Радзинский. Из текста его сообщения можно было понять, что обнаружил его там не кто иной, как он. Однако привел он в этом своем сообщении лишь ту часть бухаринского письма, где речь шла о Мандельштаме, сделав при этом вид, что публикует письмо полностью. Другая публикация (Письма Н.И. Бухарина последних лет. Август — декабрь 1936 г. Публикация Юрия Мурина// Источник. 1993. № 2. С. 12.) была еще более фрагментарной: там был приведен только постскриптум бухаринского письма и резолюция Сталина. Полный же текст этого письма появился в печати совсем недавно. Целиком, в том виде, в каком оно было написано, его привел Леонид Максименков в своей работе «Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932— 1946) Сталин, Бухарин, Жданов, Щербаков и другие».

Первые два пункта этого письма (об Академии наук и о судьбе типографского наследства «Правды») к нашей теме никакого отношения не имеют, и, казалось бы, приводя текст бухаринского письма, я вполне мог бы их опустить — без малейшего ущерба для сути

дела. Но я счел необходимым — в первом (документальном) разделе этой главы — привести текст этого письма полностью, потому что весь тон его, — да и не только тон, а вся его, так сказать, композиция, — красноречивы необычайно.

Не случайно Бухарин не счел для себя возможным обратиться к другу Кобе с письмом (или хоть запиской), целиком посвященным судьбе Мандельштама, а решился затронуть тему его ареста лишь в общем письме, в ряду других, более важных (общегосударственных) проблем и вопросов. И не случайно заговорил он на эту щекотливую тему не в первом и даже не во втором, а лишь в третьем пункте своего письма, как бы давая тем самым понять, что сие хоть и важно, но важно — «в-третьих».

Не менее красноречива тут и стилистика всех трех пунктов. По пункту первому он высказывает пожелание, чтобы Сталин **приказал** («как ты это умеешь»). По второму — просит дать **указание** своему другу Стецкому. Что же касается пункта третьего, то тут он, в сущности, ничего не просит, а как бы просто ставит «друга Кобу» в известность о том, какое создалось положение: жена поэта шлет ему «отчаянные телеграммы», Пастернак «в полном умопомрачении», все к нему апеллируют, а он толком даже и не знает, в чем арестованный поэт провинился, чем «наблудил», может быть, дело носит вовсе даже и не политический, а сугубо бытовой характер («подрался с Алексеем Толстым»), — вот и «решил написать и тебе об этом».

Все это я отмечаю отнюдь не в укор Бухарину. Заступиться за опального поэта он мог только вот в такой деликатной, осторожной форме. Вопрос и сам по себе был непростой. А тут еще — особое положение, в котором оказался тогда бывший лидер правой оппозиции. Времена, когда они с другом Кобой были на равных, когда тот предлагал ему что-то вроде дуумвирата («Мы с тобой Гималаи!»), были в далеком прошлом. Но были в этом прошлом (по времени — не таком уж и давнем) эпизоды, о которых теперь лучше было не вспоминать.

> Перед тем, как встретиться с группой писателей 26 октября 1932 года (мне пришлось присутствовать на этой встрече, выступать и говорить со Сталиным), состоялась предварительная встреча писателей-коммунистов со Сталиным, Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым, Бухариным, — тоже на квартире у Горького.
> Выпили. Фадеев и другие писатели обратились к Сталину с просьбой рассказать что-нибудь из своих воспоминаний о Ленине. Подвыпивший Бухарин, который сидел рядом со Сталиным, взял его за нос и сказал: «Ну, соври им что-нибудь про Ленина». Сталин был оскорблен. Горький, как хозяин, был несколько растерян. Сталин сказал:
> — Ты, Николай, лучше расскажи Алексею Максимовичу, что ты на меня наговорил, будто я хотел отравить Ленина.
>
> ***(Корнелий Зелинский. В июне 1954 года. Минувшее. Исторический альманах 5. Париж. 1988. Стр. 77.)***

Автор этих воспоминаний сам на той встрече не был (был на следующей) и эпизод этот пересказал будто бы со слов присутствовавшего на ней Фадеева. Пересказал явно не без вранья. Трудно поверить, чтобы в 1932 году, даже в подпитии, Бухарин осмелился взять Сталина за нос.

Но нет дыма без огня. Вот как изобразил эту сцену один из тех, кто при ней присутствовал:

> За ужином расселись без чинов. Опрокинув одну, другую рюмку, стали и вовсе пересаживаться с места на место.
> Сталин сел на свободный стул рядом с Бухариным, чего тот давно ожидал. Кто-то из писателей попросил:
> — Товарищ Сталин, расскажите про Ленина.
> — Ленин — человек-гора!
> Фадеев подал реплику:

— Вы тоже люди-горы.

Фадеев это сказал искренне, без какой-либо подготовительной заминки. Она естественно родилась в приподнятой атмосфере вечера. Сталин замолчал, пристальным взглядом посмотрел на Фадеева, скосил глаза на Бухарина, Ворошилова — и ответил:

— Хэ! Воробьевы горы.

Это произвело сильное впечатление, никому не почудилось в словах Сталина ни лицемерия, ни наигрыша.

Помолчав, Сталин начал рассказывать о болезни Ленина. При этом он встал и крепкой щепотью ухватился за бородку Бухарина. И так держа, продолжал рассказывать, заглядывая в глаза и время от времени спрашивая:

— Верно? Бухарин кивал.

— Товарищ Ленин тяжело переживал болезнь. Я встретил его на лестнице. Товарищ Ленин плачет. Он взял с меня честное слово, что, когда наступит необратимое ухудшение, я дам ему яду. Неотвратимое ухудшение наступило. Товарищ Ленин, орел революции, не мог больше летать. Он сказал: «Ты дал честное слово, дай мне яд!»

Я не мог изменить своему честному слову и не мог дать ему яд. Тогда я вынес вопрос на Политбюро. И партия освободила меня от обещания дать Ленину яд. В протоколах Политбюро есть такой пункт. И есть записанное решение, освобождающее товарища Сталина от невозможного обещания.

Рассказывая эту историю, Сталин продолжал держать Бухарина за бородку.

— Помнишь? — спросил он.

И Бухарин кивком ответил — помню. А может быть, Сталин помогал ему кивать, дергая твердой рукой за бородку.

(Валерий Яковлевич Кирпотин. Ровесник железного века. Мемуарная книга. М. 2006. Стр. 188—189.)

Вот каково было тогдашнее положение «Бухарчика» в ареопаге новых партийных вождей.

Сегодня мы с вами даже не в силах и вообразить, насколько опасной, смертельно опасной была для Бухарина даже такая робкая его попытка заступиться за опального поэта. (Л. Максименков, комментируя этот поступок Бухарина, не зря называет его **подвигом** .) А то, что сделал он это в хорошо продуманной, предельно тактичной форме, как раз и свидетельствует о том, что опасность такого заступничества очень хорошо понимал. Даже если и в самом деле не знал о том, что послужило причиной его ареста

Надежда Яковлевна считает, что не знал.

Вот как описывает она свой первый разговор с ним об арестованном муже:

Не написал ли он чего-нибудь сгоряча? Я ответила — нет, так, отщепенческие стихи, не страшнее того, что Н. И. знает.

Я солгала. Мне до сих пор стыдно. Но скажи я тогда правду, у нас не было бы воронежской передышки.

(Надежда Мандельштам. Воспоминания.)

Получается, что действительно не знал. А когда узнал — пришел в ужас:

Проездом из Чердыни в Воронеж я снова забежала к Николаю Ивановичу. «Какие страшные телеграммы вы присылали из Чердыни», — сказала Короткова (секретарь Бухарина) и скрылась в кабинете. Вышла она оттуда чуть не плача. «Н. И. не хочет вас принимать — какие-то стихи…» Больше я его не видела — Ягода прочел ему стихи про Сталина, и он, испугавшись, отступился…

(Там же.)

На самом деле, однако, тут все не так ясно.

Когда Мандельштама арестовали, о его «эпиграмме на Сталина» знали многие. И прямо связывали его арест с этой «эпиграммой».

Вот, например, такой факт.

Б.Л. Пастернак «в полном умопомрачении от ареста Мандельштама» обратился за помощью не только к Бухарину. Кинулся он и к Демьяну Бедному.

Он знал, что за несколько лет до своего ареста Мандельштам попросил Демьяна похлопотать за кого-то. Демьян тогда хлопотать отказался, но при этом пообещал, что если дело коснется самого Мандельштама, он обязательно за него заступится. Неизвестно, напомнил ли Пастернак Демьяну об этом обещании. Известно только, что в ответ на просьбу помочь Демьян ответил категорически: «Ни вам, ни мне в это дело вмешиваться нельзя».

Что-то такое, стало быть, уже слышал.

Тогда, в 1934-м, положение Демьяна казалось более прочным, чем у Бухарина. Но и он тоже висел на волоске после того, как неосторожно сказанул где-то, что терпеть не может, когда Сталин листает редкие книги в его библиотеке своими жирными пальцами. (Кстати, отсюда и строка Мандельштама: «Его толстые пальцы, как черви, жирны…»)

Когда стало известно, что Мандельштам арестован за стихи о Сталине, друзья и близкие поэта поняли, что надеяться не на что. Да и раньше, до ареста, все, кто знал эти стихи, не сомневались, что он за них поплатится жизнью. А уж после ареста… Следователь прямо угрожал расстрелом не только автору крамольного стихотворения, но и всем «сообщникам» (то есть тем, кому Мандельштам его прочел).

И вдруг произошло чудо.

Мандельштама не только не расстреляли, но даже не послали «на канал». Он отделался сравнительно легкой ссылкой в Чердынь, куда вместе с ним разрешили выехать й его жене. А вскоре и эта ссылка была отменена. Мандельштамам разрешено было поселиться где угодно, кроме двенадцати крупнейших городов страны (тогда это называлось «минус двенадцать»). Не имея возможности долго выбирать (знакомых, кроме как в двенадцати запрещенных городах, у них не было нигде), Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна наугад назвали Воронеж.

Причиной «чуда» было личное распоряжение Сталина.

Надежда Яковлевна, как мы уже знаем, считает, что тут возымели свое действие хлопоты Бухарина.

Не сомневается в этом и Л. Максименков, обнародовавший полный текст бухаринского письма Сталину, подробно его описавший и внимательно проанализировавший:

> В январе 34-го на съезде «победителей» Бухарин был избран кандидатом в члены ЦК. Усилилась его роль в Академии наук. Но для истории советской культуры и литературы более значительным оказался факт, не зафиксированный в явных решениях Политбюро. Где-то в мае — июне была подготовлена новая повестка дня Первого съезда писателей. Радикально измененная, она поручала Бухарину выступить на съезде с докладом о советской поэзии. Докладчик получал карт-бланш для трактовки советской поэзии и советских поэтов. На некоторое время Бухарин назначался наместником Сталина в царстве поэзии, чрезвычайным комиссаром с мандатом «Инстанции». Мандельштама (под гарантию Пастернака) спасут именно благодаря этому монаршему мандату.
>
> ***(Леонид Максименков. Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932—1946). Сталин, Бухарин, Жданов, Щербаков и другие. Вопросы литературы. 2003, № 4. Стр. 256.)***

И в завершение сюжета:

> Бухарин отсрочил на несколько лет гибель Мандельштама. В этом — главный итог его кратковременного наместничества в царстве советской поэзии летом тридцать четвертого года
>
> ***(Там же, стр. 258.)***

Что касается мандата, наместничества, чрезвычайного комиссарства, а тем более «карт-бланша», — все это в высшей степени сомнительно. О том, какими жалкими были полномочия этого «чрезвычайного комиссара», можно судить по тому, с какой отчаянной наглостью кинулась в прениях на утвержденного высочайшей инстанцией докладчика свора «неистовых ревнителей» (Демьян Бедный, Алексей Сурков, Безыменский, Жаров). Как нахально, с полным сознанием своего права, учили они вчерашнего «любимца партии» той самой «азбуке коммунизма», в преподавании которой еще совсем недавно он считался едва ли не высшим авторитетом.

Кстати, во второй части своей работы Л. Максименков публикует письмо (в сущности, донос) Жданова Сталину, в котором на эту тему говорится следующее:

> Больше всего шуму было вокруг доклада Бухарина, и особенно вокруг заключительного слова. В связи с тем, что поэты-коммунисты Демьян Бедный, Безыменский и др. собрались критиковать его доклад, Бухарин в панике просил вмешаться и предотвратить политические нападки. Мы ему в этом деле пришли на помощь, собрав руководящих работников съезда и давши указания о том, чтобы тов. коммунисты не допускали в критике никаких политических обобщений против Бухарина. Критика, однако, вышла довольно крепкой. В заключительном слове Бухарин расправлялся со своими противниками просто площадным образом. Кроме этого, он представил дело так, что инстанция одобрила все положения его доклада вплоть до квалификации отдельных поэтов, канонизации Маяковского и т.д., в то время как ему прямо указывалось, что в вопросе о квалификации поэтического мастерства того или иного поэта он может выступать лишь от себя… Я посылаю Вам неправленую стенограмму заключительного слова Бухарина, где подчеркнуты отдельные выпады, которые он не имел никакого права делать на съезде.
>
> ***(Вопросы литературы. 2003, № 5, стр. 259—261.)***

Намерениям «поэтов-коммунистов» напомнить Бухарину обо всех его политических грехах и ошибках был, значит, сделан легкий укорот. Но свору «неистовых ревнителей» на докладчика с цепи все-таки спустили. И Сталин в своем ответе на донос Жданова не смог скрыть искреннего удовольствия, полученного им при известии, что «Бухарчику» от них все-таки крепко досталось:

> Бухарин подгадил, внеся элементы истерики в дискуссию (хорошо и ядовито отбрил его Д. Бедный.)
>
> ***(Там же, стр. 265.)***

Вот, стало быть, каковы на самом деле были «чрезвычайные полномочия» этого «наместника» Сталина «в царстве поэзии», вот чего стоил этот якобы полученный им от Сталина «карт-бланш».

Но с утверждением Л. Максименкова, что именно письмо Бухарина Сталину спасло Мандельштама от гибели, спорить вроде не приходится.

Об этом как будто неопровержимо свидетельствует резолюция, оставленная Сталиным на тексте бухаринского письма:

> *Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие.*

В оригинале письма Бухарина пункт третий (тот самый, где речь о Мандельштаме) сталинской рукой был отчеркнут красным карандашом. Первый и второй пункты ни специальных пометок, ни резолюций не удостоились: Коба сразу усек, что в письме «Бухарчика» было важно во-первых, а что — во-вторых и в-третьих.

Леонид Максименков полагает, что эта сталинская резолюция адекватно отражает непосредственную реакцию вождя, искреннее его возмущение теми, кто посмел самовольно,

без его ведома арестовать Мандельштама. Причиной же этого возмущения было не уязвленное самолюбие диктатора («Сами подумали, сами посоветовались и сами решили?..»), а грубое нарушение установленного порядка. Мандельштам, оказывается, был **номенклатурным поэтом** . (Одна из глав работы Л. Максименкова так прямо и называется: «Мандельштам — номенклатурный поэт».)

> В чем суть неординарности события? Сталин об аресте, похоже, искренне ничего не знал. Без ведома ЦК, «инстанции» (Политбюро, Оргбюро, Секретариата), Культпропа и оргкомитета Союза писателей арестовали номенклатурного поэта. В те дни начинался прием в члены ССП. Такой арест мог повредить кампании и подготовке к съезду.
>
> ***(Вопросы литературы. 2003, № 4. Стр. 245.)***

> Повторяем, что Мандельштам был номенклатурным поэтом. Его имя было включено в список-реестр, который был подан Сталину в момент создания оргкомитета ССП в апреле 1932 года и который вождь со вкусом главного кадровика огромной страны исчеркал характерными цифрами, стрелками и фамилиями кандидатов.
>
> В части списка, заключительной по месту, но не по политическому значению, состоявшей из 58 «беспартийных писателей», были имена Пастернака, Бабеля, Платонова, Эрдмана, Клюева и Мандельштама… Фамилий Михаила Булгакова, Анны Ахматовой и Михаила Кузмина в этом списке не было. Список был охранной грамотой. В условиях византийского значения списков для России Осипа Эмильевича можно было считать реальным членом номенклатуры ССП образца 1932 года. Отныне нельзя было просто так арестовывать упомянутых в списке поэтов и писателей.
>
> ***(Там же, стр. 250.)***

Информация интересная. Но вывод…

При всей — внешней — его убедительности он представляется мне весьма и весьма сомнительным.

«Кто дал им право!» — возмущается вождь. Но кому это — «им»? Кто эти таинственные «они», посмевшие арестовать Мандельштама? Ведь мы с вами прекрасно знаем, что никаких «они» на самом деле не было. Был «Он». И только «Он».

Когда Орджоникидзе возмутился обыском, который сделали у одного из руководителей подведомственного ему наркомата (кажется, у Пятакова), Сталин сказал ему:

— Что ты возмущаешься? Это такая организация… Они и у меня могут обыск сделать.

Шутка.

Сталинская резолюция по поводу ареста Мандельштама шуткой, конечно, не была. Но, как и реплика, брошенная им в разговоре с Серго, она была чистейшей воды лицемерием.

О том, что Мандельштам арестован, Сталин, конечно, знал. Мало того: к тому моменту, когда до него дошло бухаринское письмо, арестовавшие Мандельштама «они» уже давным-давно получили от Него указание, как «им» надлежит в этом случае действовать.

На письме Бухарина даты нет. Но определить, когда оно было написано и отправлено, нетрудно.

Л. Максименков датирует его первой половиной июня, исходя из информации, содержащейся в первых его двух пунктах. (Подготовка к съезду писателей, дата заседания Оргбюро, на котором рассматривался вопрос об использовании оборудования старой типографии «Правды».)

Но для нас гораздо важнее другая подробность этого письма, содержащаяся в представляющем для нас главный интерес третьем его пункте.

«Я получаю, — пишет там Бухарин, — отчаянные телеграммы от жены Мандельштама, что он психически расстроен, пытался выброситься из окна…»

Из окна Мандельштам пытался выброситься в Чердыни. А то, что он с Надеждой Яковлевной оказался в Чердыни, было, как мы знаем, чудом. И причиной этого чуда было личное распоряжение Сталина. Его фраза: «Изолировать, но сохранить».

Эту сталинскую фразу Надежда Яковлевна услышала из уст следователя, который вел дело Мандельштама. Она называет его «Христофорович» — не по аналогии с Бенкендорфом, как можно было бы предположить, а просто потому, что, по иронии судьбы, именно такое было у него отчество. Николай Христофорович Шиваров — вот как его звали. Оперуполномоченный 4-го отделения СПО ОГПУ, специалист по писателям.

> Стихи следователь называл «беспрецедентным контрреволюционным документом», а меня соучастницей преступления:
> «Как должен был на вашем месте поступить советский человек?» — сказал он, обращаясь ко мне. Оказывается, советский человек на моем месте немедленно сообщил бы о стихах в органы, иначе он подлежал бы уголовной ответственности… Через каждые три слова в устах нашего собеседника звучали слова «преступление» и «наказание». Выяснилось, что я не привлечена к ответственности только потому, что решили «не поднимать дела». И тут я узнала формулу: «изолировать, но сохранить» — таково распоряжение свыше — следователь намекнул, что с самого верху, — первая милость… Первоначально намечавшийся приговор — отправка в лагерь на строительство канала — отменен высшей инстанцией. Преступника высылают в город Чердынь на поселение… И тут Христофорович предложил мне сопровождать О.М. к месту ссылки. Это была вторая неслыханная милость, и я, разумеется, тотчас согласилась…
>
> ***(Надежда Мандельштам. Воспоминания.)***

Вряд ли можно сомневаться в том, что «высшей инстанцией», отменившей первоначальный приговор, был сам Сталин. Кто еще посмел бы решить «не поднимать дела», заведенного по поводу «беспрецедентного контрреволюционного документа», мишенью которого был сам Хозяин.

Итак, резолюция Сталина на бухаринском письме вовсе не была руководством к действию. Даже Л. Максименков, интерпретирующий ее иначе, чем я, отмечает:

> «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие…» Особенность этой сентенции Сталина в том, что она не обращена ни к кому конкретно. Нет фамилии адресата… Если ответ на вопрос «кто виноват?» подразумевается («они»), то конкретного указания: «что делать?» в сталинской мысли не было. Звучал риторический вопрос и субъективная оценка факта…
>
> ***(Вопросы литературы. 2003, № 4. Стр. 246.)***

> Мнение Сталина («Безобразие…») не обращено ни к кому персонально… Это не закон, а именно сентенция философско-созерцательного плана.
>
> ***(Там же, стр. 244.)***

Так что же, получается, что заступничество Бухарина никак на судьбе Мандельштама не отразилось?

Нет, это не совсем так. Ведь после этого письма ссылка в Чердынь была заменена на более мягкую, которую Н.Я. называет «воронежской передышкой».

Было ли это смягчение участи опального поэта прямым следствием бухаринского письма, неизвестно. Но мы точно знаем, что письмо Бухарина, — во всяком случае, одна подробность этого письма, — пробудило у Сталина новый интерес к делу Мандельштама и к его судьбе.

* * *

Подробностью, обратившей на себя особое внимание Сталина, был постскриптум бухаринского письма. Точнее — упоминание в этом постскриптуме имени Пастернака.

Узнав, что «небожитель», как он однажды его назвал, «в полном умопомрачении от ареста Мандельштама», Сталин позвонил Пастернаку.

Все варианты этого знаменитого телефонного разговора были рассмотрены нами в главе «Сталин и Пастернак», и рассматривая каждый из них, мы всякий раз убеждались, что, ведя с Пастернаком этот свой следовательский разговор-допрос, тиран развлекался. Он играл с поэтом, как кошка с мышью.

Это была любимая его игра.

Да, конечно, он хотел его унизить. И не только повторяющейся в разных вариантах брезгливой репликой («Мы, старые большевики, не так защищали наших друзей…», «Если бы мой друг, поэт, попал в беду, я бы на стенку лез…»), но и тем, какой выбрал момент, чтобы бросить трубку: прямо дал понять, что для разговоров с Пастернаком «о жизни и смерти» у него нет ни времени, ни желания.

Но не только же для того, чтобы «поиграть» в свою любимую игру, звонил он Пастернаку!

Так для чего же?

Какая была тут у него главная, тайная цель?

Надежда Яковлевна объясняет это так:

> Пастернак спросил секретаря, может ли он рассказывать об этом разговоре или следует о нем молчать. Его неожиданно поощрили на болтовню — никаких секретов из этого разговора делать не надо… Собеседник, очевидно, желал самого широкого резонанса. Чудо ведь не чудо, если им не восхищаются…
> Цель чуда была достигнута — внимание перенеслось с жертвы на милостивца, с ссыльного на чудотворца
>
> ***(Надежда Мандельштам. Воспоминания.)***

При всей убедительности этого соображения оно все-таки не объясняет самую природу чуда, причину его.

Почему Сталин проявил такое неожиданное мягкосердечие? Почему велел «изолировать, но сохранить»? Зачем звонил Пастернаку?

Этот вопрос не мог обойти ни один из биографов Мандельштама. И каждый из них пытался как-то на него ответить.

> Стихи о Сталине дошли по назначению: преступление против высшей власти было налицо и, по обычаям тех лет, заслуживало смертной казни или, по меньшей мере, отправки в исправительный трудовой лагерь «на перековку». Сталин же отправил Мандельштама всего лишь на три года в ссылку, да еще в сопровождении жены. Как объяснить эту необычную милость?

Это размышляет автор самой известной на Западе монографии о Мандельштаме Никита Струве. И предлагает такую разгадку необъяснимого сталинского решения:

> 1934-й, пожалуй, наименее кровавый из сталинских годов. После страшного кровопускания коллективизации власть дает стране передышку: начинается выработка «самой демократической конституции в мире», на мази Первый съезд Союза писателей, готовится мировой антифашистский конгресс в Париже. Сурово наказать поэта еврейского происхождения за стихи, которые нельзя будет обнародовать, настолько они убийственны, — это могло помешать спокойному проведению всех этих мероприятий.
>
> ***(Никита Струве. Осип Мандельштам. Лондон. 1988, стр. 85.)***

Объяснение не слишком убедительное. А ссылка на еврейское происхождение поэта и вовсе комична. (Предположение, что еврейское происхождение Мандельштама могло затруднить Сталину расправу над поэтом, рождено, надо полагать, распространенным в среде русской эмиграции представлением, согласно которому советская власть воспринималась как власть откровенно и безусловно еврейская.)

Да и предположение, будто расправа с крамольным поэтом могла помешать Сталину провести съезд писателей в Москве и антифашистский конгресс в Париже, тоже достаточно наивно.

Нет, теми, кто жил тогда не в Париже (или Лондоне), а в Советском Союзе, поразительно мягкий приговор Мандельштаму не зря был воспринят как истинное чудо.

Н.Я. Мандельштам, как я уже говорил, полагает, что чудо это объяснялось заступничеством Бухарина и — в немалой степени — дошедшей до Сталина реакцией Пастернака. По ее свидетельству, примерно так же думала на этот счет и А.А. Ахматова:

> Хлопоты и шумок, поднятый вокруг первого ареста О. М… какую-то роль, очевидно, сыграли, потому что дело обернулось не по трафарету. Так по крайней мере думает А.А. Ведь в наших условиях даже эта крошечная реакция — легкий шум, шепоток — тоже представляет непривычное, удивительное явление.
>
> ***(Надежда Мандельштам. Воспоминания.)***

Дело действительно обернулось не по трафарету. Но я думаю, что оно приняло столь неожиданный оборот совсем по другой причине.

Сюжет второй
«НО ОН МАСТЕР?»

Я думаю, что ключевой репликой в том разговоре Сталина с Пастернаком был настойчивый вопрос Сталина:

— Но он мастер? Мастер? И ответ Пастернака:

— Да не в этом дело.

Вот предположение, которое кажется мне наиболее вероятным.

Сталин хотел получить от Пастернака квалифицированное заключение о реальной ценности поэта Осипа Мандельштама. Он хотел узнать, как котируется Мандельштам на поэтической бирже, как ценится он в своей профессиональной среде.

Именно в этом, на первый взгляд, странном и необъяснимом интересе я вижу разгадку так называемого чуда.

Сталин всю жизнь испытывал суеверное уважение к поэзии и поэтам.

Мандельштам это остро чувствовал. Недаром он говорил жене:

— Чего ты жалуешься, поэзию уважают только у нас. За нее убивают. Только у нас. Больше нигде…

Уважение Сталина к поэтам проявлялось не только в том, что поэтов убивали.

Сталин прекрасно понимал, что мнение о нем потомков во многом будет зависеть от того, что о нем напишут поэты. Разумеется, не всякие, а те, стихам которых суждена долгая жизнь.

Узнав, что Мандельштам считается крупным поэтом, он решил до поры до времени его не убивать. Он понимал, что убийством поэта действие стихов не остановишь. Стихи уже существовали, распространялись в списках, передавались изустно.

Убить поэта — это пустяки. Это самое простое. Сталин был умнее. Он хотел добиться большего. Он хотел заставить Мандельштама написать другие стихи. Стихи, возвеличивающие Сталина.

Разумеется, это всего лишь гипотеза. Но возникла она не на пустом месте. Вспомним свидетельство хорошо информированного современника, которое я уже приводил однажды. (И даже не однажды.)

> Говорили мне, что поэмы «Хорошо!» и «Владимир Ильич Ленин» очень понравились наверху и что было предположение, что Владимир Владимирович будет писать такие же похвалы и главному хозяину. Этот прием был принят на Востоке, особенно при дворе персидских шахов, когда придворные поэты должны были воспевать их достоинства в преувеличенно хвалебных словах, — но после этих поэм Маяковского не стало.
>
> Борис Леонидович сказал мне, что намеками ему было предложено взять на себя эту роль, но он пришел от этого в ужас и умолял не рассчитывать на него, к счастью, никаких мер против него не было принято. Какая-то судьба его хранила.
>
> ***(Лев Горнунг. Аневник. 3 октября 1936 г. В кн.: Воспоминания о Борисе Пастернаке, М. 1993, стр. 80.)***

Если Сталин прямо намекал, что хочет быть воспет Пастернаком, почему у него не могло быть таких же намерений и в отношении Мандельштама?

Но тут возникает такой вопрос.

Почему ему было важно, чтобы его воспевали именно Пастернак и Мандельштам? В конце концов, не все ли равно — кто? В поэтах не было недостатка.

Кажется, ведь это он сам сформулировал известный лозунг. «У нас незаменимых нет».

В отличие от своих учеников и последователей Сталин был не настолько наивен, чтобы надеяться на то, что великими поэтами в будущем будут считаться те, кого он сегодня назначит на эту должность. Сталин прекрасно понимал, что в таком сложном и тонком деле, как литература, незаменимые люди должны быть. Но он полагал, что вся их незаменимость лежит в сфере узкой специализации, в сфере мастерства. «Незаменимый» в рамках привычных для Сталина понятий — это значило «уникальный специалист», «спец». А если «спец» действительно уникальный, важно, чтобы тебя обслужил именно он, а не кто другой. Точно так же, как если бы речь шла о хирургическом вмешательстве, важно, чтобы оперировал выдающийся хирург, а не заурядный.

В этом (как и во многом другом) Сталин был верным учеником Ленина:

> Известие о том, что Вас лечит новым способом «большевик», хотя и бывший, меня ей-ей обеспокоило. Упаси Боже от врачей-товарищей вообще, врачей-большевиков в частности! Право же, в 99 случаях из 100 врачи-товарищи «ослы», как мне раз сказал один хороший врач. Уверяю Вас, что лечиться (кроме мелочных случаев) надо *только* у первоклассных знаменитостей. Пробовать на себе изобретения большевика — это ужасно!!.. Если поедете зимой, *во всяком случае* заезжайте к первоклассным врачам в *Швейцарии и Вене* — будет непростительно, если Вы этого не сделаете!
>
> ***(В.И. Ленин — А.М. Горькому. Начало ноября 1913 г.)***

Стихи, возвеличивающие Сталина, писали многие поэты. Но Сталину было нужно, чтобы его воспел именно Мандельштам. Во-первых, конечно, потому, что он, как ему доложили, был выдающимся специалистом в своем деле, мастером. А кроме того, еще и потому, что он был — «чужой». У Сталина был острый интерес к «чужим». К Булгакову, например. Не случайно он смотрел «Дни Турбиных» пятнадцать раз и не случайно заставил Поскребышева в ночь смерти Булгакова звонить и справляться: «Правда ли, что писатель Булгаков умер?»

Пастернак тоже был «чужим». Сам так себя ощущал и никогда не делал из этого секрета.

Когда следователь, занимавшийся реабилитацией Мейерхольда, начал разбирать его дело, он обнаружил, что, помимо всех прочих обвинении, Мейерхольду инкриминировалась

связь с Пастернаком, Олешей и Эренбургом. Эренбург (единственный, чье имя из этой тройки было ему знакомо) объяснил, что ни Пастернак, ни Олеша никогда репрессированы не были, что оба они — честные советские писатели, имеющие большие заслуги перед советской литературой. Следователь встретился с Пастернаком и задал ему традиционный вопрос о Мейерхольде: «Вы были его другом?» Пастернак искренно удивился: «Что вы! Я никогда не был достаточно советским человеком для этого!»

Эстетическим идеалом Сталина был фасад Российской Империи: старая русская военная форма с погонами, деньги, похожие на царские трешки и пятерки, «царский» портрет генералиссимуса на здании Моссовета (левая нога на полшага впереди правой, в левой руке перчатки)…

Неограниченный властелин полумира, создатель государственной машины, с которой не могла сравниться ни одна империя прошлого, земной бог, официальный титул которого (величайший гений всех времен и народов, корифей науки, гениальный полководец, основоположник, создатель, зачинатель, и прочая, и прочая, и прочая) далеко превосходил количеством и пышностью определений полный титул российских самодержцев, он до конца своих дней не мог отделаться от комплекса неполноценности, от завистливого равнения на последнего отпрыска рухнувшей монархии. Я уверен, что лучшим комплиментом для Сталина, высшей оценкой созданной им империи были бы принятые всерьез полунасмешливые строки поэта: «Амуниция в порядке, как при Николае».

Венцом этого эстетического идеала, лучшим украшением фасада этого великолепного здания могли бы стать две-три оды, написанные двумя-тремя настоящими поэтами. Как сказал бы Паниковский, — «с раньшего времени, теперь таких нет!».

(Эстетические идеалы правителей сталинского государства я сравниваю с эстетическими идеалами Паниковского не ради красного словца. Молотов с упоением говорил в какой-то своей речи: «Ни для кого не секрет, что А.Н. Толстой — это не кто иной, как бывший граф Алексей Николаевич Толстой…». Им ужасно импонировало, что они имеют в своем распоряжении бывшего графа. Это графство в сочетании с знаменитой фамилией давало им иллюзию, что Толстой у них настоящий, и сами они настоящие.)

Свидетельство Пастернака подтвердило Сталину, что Мандельштам — настоящий.

Впрочем, это, наверно, было известно ему и раньше. До ареста Мандельштам получал совнаркомовскую пенсию в двести рублей. Получению пенсии способствовал Молотов. Она была дана, как пишет Н.Я. Мандельштам, «за заслуги в русской литературе при невозможности использовать в литературе советской».

Если вдуматься, уже сама эта формулировка представляет собой еле заметную трещину в монолите революционной ортодоксальности. Выходит, будучи справедливо отторгнутым советской литературой (самой передовой литературой мира и т.д.), можно в то же время представлять собой некую ценность, так сказать, по гамбургскому счету.

Эта двойная бухгалтерия, это инстинктивное уважение к гамбургскому счету было в высшей степени характерно для Сталина.

Ленин ощущал себя скорее создателем нового гамбургского счета, более истинного, нежели все, существовавшие когда-либо прежде. Он был родоначальником великой переоценки всех ценностей, создателем новой, естественно, самой совершенной, системы отсчета. Ломая и взрывая все общепринятое, он мог позволить себе презрительную гримасу по отношению к любому авторитету.

> Ходили в театр смотреть «Сверчка на печи» Диккенса. Уже после первого действия Ильич заскучал, стала бить по нервам мещанская сентиментальность Диккенса, а когда начался разговор старого игрушечника с его слепой дочерью, не выдержал Ильич, ушел с середины действия.
>
> ***(Н.К. Крупская. Что нравилось Ильичу из художественной литературы.)***

У Сталина была психология узурпатора, психология человека, незаконно утвердившегося на интеллектуальном троне. Корифей науки инстинктивно считался с научными и художественными авторитетами, особенно с «чужими».

Отношение Ленина к европейским знаменитостям касалось не только врачей. С не меньшим почтением относился он и к другим буржуазным спецам — например, к инженерам. (Пока не вырастили кадры своих.) Но на писателей, а тем более на философов это его почтение не распространялось. Писатель, признанный Западом, в глазах Ленина мог оказаться и ничтожеством, и филистером, и кем угодно. В глазах Сталина — никогда. Мнение «чужих» оыло для Сталина очень высокой меркой.

Будучи сам неудавшимся стихотворцем, Сталин в этой области безотчетно готов был прислушаться к мнению авторитетов.

Не зря он так настойчиво домогался у Пастернака: «Но ведь он же мастер? Мастер?»

В ответе на этот вопрос для него было все. Крупный поэт — это значило крупный мастер. Другого значения слова «поэт» Сталин не понимал. А если «мастер», значит, сможет возвеличить «на том же уровне мастерства», что и разоблачил. И тогда возвеличивающие стихи перечеркнут те, разоблачительные. Если все дело в мастерстве, то как смогут потомки отличить стихи, написанные «под нажимом», от стихов, родившихся по естественному велению души? Все это пустяки. В «мистику» Сталин не верил. Он для того и пощадил Мандельштама, для того и отправил его не «на канал», а в Воронеж. Он ждал, что этот простой расчет принесет плоды.

И дождался.

* * *

Мандельштам понял намерения Сталина. (А может быть, ему намекнули, помогли их понять.) Так или иначе, он оказался **заложником** этих сталинских планов, этих невысказанных, но достаточно понятных сталинских намерений. Доведенный до отчаяния, загнанный в угол, он решил попробовать спасти жизнь ценой нескольких вымученных строф. Он решил написать ожидаемую от него «оду Сталину».

Вот как вспоминает об этом вдова поэта:

> У окна в портнихиной комнате стоял квадратный обеденный стол, служивший для всего на свете. О. М. прежде всего завладел столом и разложил карандаши и бумагу. Для него это было необычным поступком — ведь стихи он сочинял с голоса и в бумаге нуждался только в самом конце работы. Каждое утро он садился за стол и брал в руки карандаш: писатель как писатель! Не проходило и получаса, как он вскакивал и начинал проклинать себя за отсутствие мастерства: «Вот Асеев — мастер! Он бы не задумался и сразу написал!..» Попытка насилия над самим собой упорно не удавалась.
>
> ***(Надежда Мандельштам. Воспоминания.)***

В конце концов «попытка насилия над собой» все-таки удалась.

В результате явилась на свет долгожданная «Ода», завершающаяся такой торжественной кодой:

И шестикратно я в сознанье берегу, —
Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы,
Его огромный путь через тайгу
И ленинский Октябрь — до выполненной клятвы.
Правдивей правды нет, чем искренность бойца
Для чести и любви, для воздуха и стали
Есть имя славное для сильных губ чтеца,

Его мы слышали, и мы его застали.

Казалось бы, расчет Сталина полностью оправдался. Стихи были написаны. Теперь Мандельштама можно было убить. (Что и было сделано.)

Но Сталин ошибся.

Мандельштам не был мастером. Он был поэтом. Он написал стихи, возвеличивающие Сталина. И, тем не менее, план Сталина потерпел полный крах. Потому что такие стихи мог написать Лебедев-Кумач. Или Долматовский. Или Ошанин. Кто угодно! Чтобы написать такие стихи, не надо было быть Мандельштамом. Чтобы получить такие стихи, не стоило вести всю эту сложную игру.

Справедливости ради следует отметить, что Лебедев-Кумач или Долматовский бесхитростно срифмовали бы «стали» и «Сталин». Мандельштам, инстинктивно озабоченный соображениями элементарного вкуса, обманул привычные ожидания читателей последней, чуть менее банальной, строкой: «Его мы слышали, и мы его застали…». Явно превышают возможности Долматовского, Ошанина и Лебедева-Кумача слова: «Для сильных губ чтеца». Но — «Есть имя славное» — это уже чистый, беспримесный, стопроцентный Лебедев-Кумач.

Все-таки зря Сталин отказался встретиться с Пастернаком и поговорить с ним «о жизни и смерти».

Хотя он бы все равно ничего не понял. Не мог он понять, что означает досадливая фраза Пастернака: «Да не в этом дело», сказанная в ответ на простой и ясный вопрос: «Но он же мастер? Мастер?»

Конечно, Сталин не без основания считал себя крупнейшим специалистом по вопросам «жизни и смерти». Он знал, что сломать можно любого человека, даже самого сильного. А Мандельштам вовсе не принадлежал к числу самых сильных.

Но Сталин не знал, что сломать человека — это еще не значит сломать поэта.

Он не знал, что поэта легче убить, чем заставить его воспеть то, что ему враждебно.

* * *

Мандельштам не был мастером, он был поэтом. Если это не риторическая фигура, надо попытаться понять, что конкретно она означает.

Мандельштам ткал свою поэтическую ткань не из слов. Этого он не умел. Его стихи были сотканы совсем из другого материала.

Невольная свидетельница рождения едва ли не всех его стихов (невольная, потому что у Мандельштама никогда не было не то что «кабинета», но даже кухоньки, каморки, где он мог бы уединиться), Н.Я. Мандельштам свидетельствует:

> Стихи начинаются так: в ушах звучит назойливая, сначала неоформленная, а потом точная, но еще бессловесная музыкальная фраза. Мне не раз приходилось видеть, как О.М. пытается избавиться от погудки, стряхнуть ее, уйти. Он мотал головой, словно ее можно выплеснуть, как каплю воды, попавшую в ухо во время купания. Но ничто не заглушало ее — ни шум, ни радио, ни разговоры в той же комнате… У меня создалось такое ощущение, что стихи существуют до того, как написаны. (О.М. никогда не говорил, что стихи «написаны». Он сначала «сочинял», потом записывал.) Весь процесс сочинения состоит в напряженном улавливании и проявлении уже существующего и неизвестно откуда транслирующегося гармонического и смыслового единства, постепенно воплощающегося в слова.
>
> ***(Надежда Мандельштам. Воспоминания.)***

Пастернак, которому все это было знакомо с младенчества («Так начинают. Года в два от мамки рвутся в тьму мелодий, щебечут, свищут, — а слова являются о третьем годе»),

потому-то и поморщился досадливо на вопрос Сталина («Но ведь он же мастер?»), что вопрос этот предполагал принципиально иное представление о существе дела. Представление это, резонно казавшееся Пастернаку чудовищной чушью, так как оно находилось в вопиющем противоречии со всем его опытом, предполагает, что единый и нераздельный процесс отчетливо делится на «содержание» и «форму», причем собственно писание стихов состоит как раз в том, что для «содержания» подбирается соответствующая «форма».

Идущих этим путем Мандельштам в «Разговоре о Данте» назвал «переводчиками готового смысла». Тут слово «мастер» было бы вполне уместно. Но оно имело бы смысл скорее уничижительный, нежели комплиментарный.

В том же «Разговоре о Данте» Мандельштам сравнивает «форму» с губкой, из которой выжимается «содержание». Если «губка» суха, из нее ничего не выжмешь.

Таков был единственный доступный ему способ творить.

Очень характерно, что, ощутив невозможность написать стихи иным способом, Мандельштам позавидовал не кому-нибудь, а именно Асееву.

Асеев — «мастер», в понимании Мандельштама, вовсе не потому, что владеет некими ремесленными приемами, которыми он, Мандельштам, не владеет. Дело не в этом.

Асеев — «мастер» прежде всего потому, что «поиски максимальной яркости выражения и незаношенности речи», как он сам признавался, всю жизнь были для него главным и, может быть, даже единственным стимулом поэтической работы. Слово, словесная ткань стиха — в этом для Асеева начало и конец работы поэта, с этого все начинается и к этому все сводится, даже когда порыв и вдохновение истинного творца он противопоставляет механическому версификаторскому умению виршеплета-ремесленника:

> Стихи можно научиться рифмовать и аллитерировать, но придать им силу и выразительность таким сочетанием слов, которые бы переосмысливали обычное в необычное, раскрывали бы сущность явления не через длительное изложение, а молниеносно, озаренно, пронизывая как электричеством смысла слова, отдаленно живущие в обиходе, — этому научиться нельзя; для этого надо быть поэтом, а не виршеплетом.
>
> ***(Николай Асеев. Зачем и кому нужна поэзия. М. 1961, стр. 46.)***

Как обстояло бы дело, если бы Асеев, очутившись в положении Мандельштама, решил написать стихи, прославляющие Сталина? Сталин — гений. Это было для него аксиомой. Задача состояла бы в том, чтобы «оформить» эту аксиому с максимальной «художественностью», то есть не банально, стремясь к «максимальной яркости и незаношенности речи», к максимальной остроте и выразительности словесного и образного построения.

Нет, он бы не кривил душой. Он был бы даже по-своему искренен. Но эта искренность не была бы результатом полного, абсолютного самообнажения.

Асеев, пользуясь термином Мандельштама, был «переводчиком готового смысла». Разница между Мандельштамом и Асеевым была не в том, что они по-разному относились к Сталину и к советской действительности. Разница была в том, что Асеев умел писать стихи, не самообнажаясь, не вытаскивая на поверхность, не выявляя в стихе весь запас своих подспудных, тайных впечатлений, идущих из подсознания, из самих глубин личности. А Мандельштам этого не умел.

Попытаться написать стихи, прославляющие Сталина, — это значило для него прежде всего найти где-то на самом дне своей души хоть какую-то точку опоры для этого чувства.

Не случайно, фиксируя процесс создания «Оды», Н. Я. Мандельштам всячески подчеркивает искусственность этого акта, выразившуюся в совсем не свойственном Мандельштаму стремлении сочинять за столом, с карандашом в руке («…писатель как писатель!»).

Впрочем, по ее же свидетельству, долго усидеть за столом Мандельштаму не удавалось:

> Не проходило и получаса, как он вскакивал и начинал проклинать себя за отсутствие мастерства: «Вот Асеев — мастер!..»
> …Потом, внезапно успокоившись, ложился на кровать, просил чаю, снова поднимался, через форточку кормил сахаром соседского дворового пса — чтобы добраться до форточки, надо было влезть на стол с аккуратно разложенной бумагой и карандашами, — снова расхаживал взад и вперед по комнате и, прояснившись, начинал бормотать. Это значит, что он не сумел задушить собственные стихи и, вырвавшись, они победили рогатую нечисть.
>
> ***(Надежда Мандельштам. Воспоминания.)***

Чтобы лучше объяснить, что я имею в виду, проделаем такой простой эксперимент.

Внимательно вглядимся (вслушаемся) в самые сильные, поэтически выразительные строки «Оды». (Каких, надо признать, там немало.)

Когда б я уголь взял для высшей похвалы —
Для радости рисунка непреложной, —
Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно и тревожно…
.....
Я б поднял брови малый уголок
И поднял вновь и разрешил иначе:
Знать, Прометей раздул свой уголек, —
Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!

Да, это — не Долматовский и не Лебедев-Кумач. Это Мандельштам.

И вот это:

Сжимая уголек, в котором всё сошлось,
Рукою жадною одно лишь сходство клича,
Рукою хищною — ловить лишь сходства ось —
Я уголь искрошу, ища его обличья…

И это:

Пусть недостоин я иметь друзей,
Пусть не насыщен я и желчью и слезами...

И вот это:

Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, что солнце светит.

Поэтическая сила и выразительность этих строк обусловлена тем, что они рождены прикосновением поэта к реальным, глубоко затрагивающим его темам. Скажем, с отношением его к творческому процессу:

Сжимая уголек, в котором всё сошлось,
Рукою жадною одно лишь сходство клича,
Рукою хищною — ловить лишь сходства ось —
Я уголь искрошу, ища его обличья…

Или с отношением поэта к двусмысленности своего положения:

Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!..

То есть рождены эти строки обращением поэта **внутрь себя** .

Но стоит только ему приблизиться к главному предмету своего лирического словоизлияния, то есть к тому, ради чего, собственно, и затеяно все это рискованное предприятие, — как в голосе его начинают звучать фальшивые ноты.

Рядом с сильными и выразительными, поэтически яркими и индивидуальными строчками появляются беспомощные, почти пародийные. В лучшем случае — никакие:

И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,
Какого не скажу, то выраженье, близясь
К которому, к нему, — вдруг узнаешь отца…

На всех готовых жить и умереть
Бегут, играя, хмурые морщинки…

И шестикратно я в сознаньи берегу,
Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы,
Его огромный путь — через тайгу
И ленинский октябрь — до выполненной клятвы.

Для чести и любви, для доблести и стали
Есть имя славное для сжатых губ чтеца —
Его мы слышали и мы его застали.

Видно, что поэт все время как бы ходит вокруг да около. Но стоит ему приблизиться вплотную к заданной теме, как он сразу же попадает в плен казенных эпитетов, штампованных оборотов, в пошлые рамки казенного, газетного славословия: «мудрый», «отец», «шинель» и т. п.

Исключение составляет, пожалуй, только одно четверостишие:

Он свесился с трибуны, как с горы,
В бугры голов. Должник сильнее иска.
Могучие глаза решительно добры,
Густая бровь кому-то светит близко…

Строки эти кажутся живыми, потому что к их мертвому остову сделана искусственная прививка живой плоти, крошечный кусочек живой ткани — словосочетание «бугры голов».

Н.Я. Мандельштам вспоминает, что, мучительно пытаясь сочинить «Оду», Мандельштам повторял: «Почему, когда я думаю о нем, передо мной всё головы, бугры голов? Что он делает с этими головами?»

Разумеется, Мандельштам не мог не знать, «что он делает с этими головами». Но этому знанию в «Оде» не было места.

Изо всех сил стараясь убедить себя в том, что «Он» делает «с ними» не то, что ему мерещилось, а нечто противоположное, то есть доброе, Мандельштам невольно срывается на крик:

Могучие глаза решительно добры…

Не просто глаза, но — могучие! Не просто добры, но — решительно добры!

Впрочем, прививка реального, увиденного («бугры голов») невольно сообщает черты относительного правдоподобия всему остальному — вымученному, мертвому.

О четверостишии, начинающемся строкой: «Уходят вдаль людских голов бугры…» Н.Я. Мандельштам в своей «Книге третьей» сообщает:

> Это четверостишие было найдено мной и Харджиевым на каком-то черновике Мандельштама (кажется, черновик «Не сравнивай, живущий несравним…») … Само четверостишие вошло в «Оду» — О.М. старался втиснуть туда свои находки…

И замечает по этому поводу:

> Искусственно задуманное стихотворение, в которое О.М. решил вложить весь бушующий в нем материал, стало маткой цикла противоположно направленных, с «Одой» несовместимых и «Оде» враждебных стихов.

Замечание это в полной мере приложимо и к самой «Оде»: в ней тоже соседствуют — не просто даже соседствуют, а плотно примыкают друг к другу — противоположно направленные, несовместимые с «Одой» и даже враждебные заданному ее смыслу строки.

Контраст между строками, имеющими какую-то точку опоры в душе поэта, и строками, такой опоры не имеющими, разителен, даже если строки эти стоят рядом. Но при этом создается иллюзия, что они образуют единое художественное целое:

Пусть недостоин я иметь друзей,
Пусть не насыщен я и желчью и слезами…

Строки выразительные и сильные. Но рифмующиеся с ними следующие две строки, уже непосредственно прославляющие Сталина, как уже было сказано, просто пародийны:

Он мне все чудится в шинели, в картузе
На чудной площади с счастливыми глазами.

И само слово «картуз», которым обозначена сталинская фуражка военного образца, и «маловысокохудожественные» эпитеты (площадь — чудная, глаза — счастливые) — всё это убого до крайности. Но сила и выразительность предыдущих двух строк заслоняют эту убогость, даже как бы заражают эти убогие строки своей поэтической энергией.

Примерно то же происходит и в другом его стихотворении, где упоминается Сталин:

Если б меня наши враги взяли
И перестали со мной говорить люди,
Если б лишили меня всего в мире:
Права дышать и открывать двери
И утверждать, что бытие будет
И что народ, как судия, судит, —
Если б меня смели держать зверем,
Пищу мою на пол кидать стали б, —
Я не смолчу, не заглушу боли,
Но начерчу то, что чертить волен,
И, раскачав колокол стен голый
И разбудив вражеской тьмы угол,
Я запрягу десять волов в голос
И поведу руку во тьме плугом…

Тут не вполне ясно, кто они — эти «враги», которые могут лишить поэта «права дышать и открывать двери». Одно несомненно: опасность оказаться вновь в «подвалах Лубянки» для Мандельштама в то время, когда рождались эти строки (февраль 1937 г.), была гораздо более реальна, чем весьма сомнительная перспектива попасть в лапы гестапо. И уж совсем несомненно то, что строки «Я не смолчу, не заглушу боли, Но начерчу то, что чертить волен», по смыслу не просто близки, но чуть ли не прямо повторяют те, что выплеснулись у него в 35-м, после первого ареста:

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Контраст между этим началом стихотворения и финальными его строчками — разителен.

Я говорю не столько даже о смысловом, сколько о художественном, поэтическом контрасте:

И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.

Поражают эти финальные строки в сравнении с предыдущими не столько даже тем, что такая концовка из художественной логики стихотворения не вытекает, сколько тем, что они — никакие, пустые, не наполненные. Что, кстати сказать, подтверждается версией, согласно которой у Мандельштама был другой, противоположный по смыслу, вариант последней, концовочной строки: «Будет **губить** разум и жизнь — Сталин».

Н.Я. Мандельштам в «Книге третьей» решительно утверждает, что истинным является именно этот вариант. Вот ее комментарий:

> Последние две строки пришли к нему неожиданно и почти испугали его: «Почему это опять выскочило?» Возник вопрос, как это записать. Я предложила подставную последнюю строку, «…будет будить».

Совершенно очевидно, какой вариант отражал истинное представление поэта о том, кого он уже однажды назвал «душегубцем». (В стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны…» был такой вариант строки о «кремлевском горце»: «Душегубца и мужикоборца…»)

Антисталинская «эпиграмма» не была внезапным порывом, неожиданным взрывом минутного настроения. Отношение к Сталину у Мандельштама было вполне определенное, и он даже не старался делать из этого тайну. Откровенные свои суждения на этот счет не стеснялся высказывать в разговорах с людьми мало знакомыми, а то и совсем не знакомыми — сразу, при первом же знакомстве:

> Устроившись, пригласила к себе на скромное новоселье Мандельштамов. Стали садиться за стол — глядь, Осип Эмильевич куда-то исчез. Куда он мог подеваться? Его не было ни у телефона, ни на кухне, ни в прочих местах. Наконец я догадалась заглянуть в кабинет к отцу.
> Папа стоял посреди комнаты и с высоты своего роста с некоторым недоумением слушал Мандельштама. А он, остановившись на ходу и жестикулируя так, как будто он подымал обеими руками тяжесть с пола, горячо убеждал в чем-то отца:

— …он не способен сам ничего придумать…
— …воплощение нетворческого начала…
— …тип паразита…
— …десятник, который заставлял в Египте работать евреев…
Надо ли объяснять, что Мандельштам говорил о Сталине?
(Эмма Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. 1998. Стр. 26.)

И тем не менее в строку: «Будет губить разум и жизнь Сталин», в это — «губить» — как-то не верится. Во-первых, трудно представить себе, чтобы тогдашнее отношение Мандельштама к Ленину и Сталину было на интеллектуальном и политическом уровне будущих решений XX съезда. Противопоставление «плохому» Сталину «хорошего» Ленина — не в его, не в мандельштамовом духе.

Ну, а кроме того, такая поправка дела совершенно не меняет. От замены апологетического глагола «будить» на разоблачающий «губить» стихи лучше не становятся. Даже наоборот. Легкость, с какой строка заменяется другой, прямо противоположной по смыслу, лишь ярче оттеняет искусственность, неподлинность, мертворожденность этого концовочного четверостишия.

* * *

Для того чтобы попытка прославления Сталина удалась, у такого поэта, как Мандельштам, мог быть только один путь: она должна была быть искренней. Он должен был найти в своей душе хоть маленький уголок, хоть крошечный закоулок, не выходя из которого можно было бы убедить себя, что Сталин — не только палач и тупица, играющий «услугами полулюдей», «тип паразита» и «воплощение нетворческого начала», но и человек, с которым связаны какие-то светлые надежды.

Точкой опоры для мало-мальски искренней попытки примирения с действительностью сталинского режима для Мандельштама могло быть одно только это чувство: надежда. Прежде всего — надежда на перемены.

Конечно, в такой надежде всегда есть какая-то доля самообмана. Поэт на то и пророк, чтобы беспощадно прозревать бесплодность, безусловную обреченность такого рода надежд. И все-таки, по исконной человеческой слабости, он хочет надеяться на перемены.

Если бы это была только надежда на перемены в его личной судьбе, тут была бы только слабость, но еще не было бы самообмана. Но по самой природе своей души озабоченный не только личной судьбою, поэт пытается выразить некие общественные надежды.

И тут-то и начинается самообман, самоуговаривание:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Так уговаривал себя Пушкин.

Его «Стансы» не были ни предательством, ни даже отказом от своих убеждений, так как в них содержался некий «урок царям», некий совет, а цари, как известно, не очень любят, чтобы им давали советы. Особенно такие:

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

В совете этом была даже известная смелость, но был в то же время и некий моральный компромисс. Что ни говори, все-таки «казни», омрачившие начало царствования того, к кому обращался Пушкин, — это были не просто какие-то абстрактные казни. Казнили людей, с которыми поэт был хорошо знаком, приятельствовал, а с иными был даже связан самой искренней и нежной дружбой.

Забегая несколько вперед, отметим, что стихи, отразившие первую искреннюю попытку Мандельштама примириться с действительностью сталинского режима, тоже были «Стансами». Не исключено, что в самом выборе поэтической формы содержался намек на родство этих его «Стансов» с пушкинскими, то есть на то, что эти его стихи являют собой некий компромисс, что примирение его с действительностью хотя и искренно, но в то же время продиктовано давлением каких-то внешних сил.

Впрочем, суть не в этом.

Важно то, что спустя более чем столетие после своего появления на свет пушкинские «Стансы» вдруг вновь обрели неожиданную актуальность.

За четыре года до того, как Мандельштам написал свои «Стансы», другой поэт — Б. Пастернак, отнюдь не побуждаемый никакими внешними силами, написал стихи, откровенно перекликающиеся со знаменитыми пушкинскими:

Столетье с лишним — не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.

Хотеть, в отличье от хлыща
В его существованье кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.

И тот же тотчас же тупик
При встрече с умственною ленью,
И те же выписки из книг,
И тех же эр сопоставленье…

Но лишь сейчас сказать пора,
Величьем дня сравненье разня:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Итак, вперед, не трепеща
И утешаясь параллелью,
Пока ты жив, и не моща,
И о тебе не пожалели.

При всем очевидном и нарочито подчеркнутом оптимизме финала, при самом искреннем желании автора признать «величье дня» нынешнего, при столь же очевидном намерении его повторить, применительно к новым обстоятельствам, то, что столетье назад сказал Пушкин, стихи эти гораздо менее определенны, менее однозначны, нежели пушкинские.

Пушкин прямо говорит, что в надежде славы и добра он глядит в будущее без страха.

Пастернак говорит совсем о другом. О том, что есть огромная сила в **соблазне** смотреть на вещи так, как смотрел Пушкин. Он говорит: я бы тоже хотел смотреть в будущее

без боязни. О, как бы я хотел! Как бы это было хорошо, если бы я мог, подобно Пушкину, не считая это соблазном, глядеть в будущее без страха, верить и надеяться!

Собственно говоря, стихи Пастернака — это плач о невозможности для него такого взгляда. Поэтому самоуговаривание в его стихах звучит гораздо обнаженней и трагичней, чем в пушкинских.

«Итак, вперед, не трепеща!» — это окрик, понукание самому себе. И это признание того, что в душе он трепещет, чувствуя, зная, что рано или поздно все кончится недобром.

Очень трудно человеку жить с сознанием, что вся рота шагает не в ногу и один только он, злополучный прапорщик, знает истину. Особенно если «рота» эта — 160-миллионный народ.

Очень мучительно ощущать свое социальное одиночество, очень болезненно это чувство отщепенчества, даже если в основе его лежит прозорливость, ощущение безусловного знания истины.

Очень естественно для нормального здорового сознания хотеть — «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком».

Пастернак в тогдашних своих стихах не столько утверждал свою правоту, сколько оправдывался:

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой?
И с тем, что всякой косности косней?

Перед кем он оправдывался? Уж конечно, не перед теми, кто мог заподозрить его в нелояльности, в недопустимом для советского человека пренебрежении к всенародному обязательству выполнить пятилетку в четыре года.

Он оправдывался, пытаясь доказать всем, и прежде всего самому себе, что, раздираясь противоречиями, он озабочен соображениями высшей, мировой справедливости. Он убеждал себя, что некий нравственный закон, управляющий его душой, велит ему отказаться от себя, дабы «счастье сотен тысяч» предпочесть положенному на другую чашу весов «пустому счастью ста».

Когда-то, давным-давно, Мандельштам написал, что поэт ни при каких обстоятельствах не должен оправдываться. Этого, говорил он:

> Непростительно! Недопустимо для поэта! Единственное, чего нельзя простить!
> Ведь поэзия есть сознание своей правоты.
> ***(О. Мандельштам. «О собеседнике», 1913.)***

Пастернак оправдывался, и это значит, что у него не было тогда **сознания своей правоты** . В лучшем случае было сознание своего права оставаться самим собой, невзирая на свою неправоту. Права, обусловленного странностью профессии, вакансия для которой в данную историческую эпоху, к несчастью, опасна, если не пуста. Отступаться же от этой профессии он не хочет, да и не может в силу некоторых специфических особенностей своей духовной конституции.

К Пастернаку сознание своей правоты, которое Мандельштам полагал главной прерогативой поэта, пришло позже. Окончательно оно завладело им в послевоенные годы. И, как это часто случалось с русскими писателями, не просто завладело, но трансформировалось в представление о великой миссии, предназначенной ему судьбой. Миссии едва ли не мессианской. (Следствием, прямым результатом этого его нового сознания явился замысел романа «Доктор Живаго».)

В отличие от Пастернака у Мандельштама «сознание своей правоты» было уверенным, абсолютным, непримиримым.

Людям начитанным в мемуарной литературе о Мандельштаме это утверждение может показаться более чем сомнительным. Многие близкие к нему современники нередко утверждают прямо противоположное:

> …По-видимому, для него был силен соблазн уверовать в нашу официальную идеологию, принять все ужасы, каким она служила ширмой, и встать в ряды активных борцов за великие идеи и за прекрасное социалистическое будущее. Впрочем, фанатической убежденности в своей правоте при этих заскоках у него не было… Я не сомневаюсь, что если бы я резко разошелся с ним в этих областях, то наша дружба стала бы невозможной. Но когда он начинал свое очередное правоверное чириканье, а я на это бурно негодовал, то он не входил в полемический пыл, не отстаивал с жаром свои позиции, а только упрашивал согласиться с ним. — «Ну, Борис Сергеевич, ну ведь правда же это хорошо». А через день-два: «Неужели я это говорил? Чушь! Бред собачий!»
>
> ***(Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Санкт-Петербург. 1999, стр. 166.)***

Это — в начале 30-х, до его антисталинского стихотворения. Но вот небольшой отрывок из последнего письма Осипа Эмильевича тому же Кузину, датированного 10 марта 1938 года — из Саматихи, того самого санатория, где спустя полтора месяца (2 мая того же года) его настигнет второй, последний арест:

> Еще не знаю, что с собой делать. Как будто еще очень молод. Здесь должно произойти превращение энергии в другое качество. «Общественный ремонт здоровья» — значит, от меня чего-то доброго ждут, верят в меня. Этим я смущен и обрадован. Ставскому я говорил, что буду бороться в поэзии за *музыку зиждущую* . Во мне небывалое доверие ко всем *подлинным* участникам нашей жизни, и волна вторичного доверия идет ко мне. Впереди еще очень много корявости и нелепости, — но ничего, ничего, не страшно!
>
> ***(Там же, стр. 532.)***

В то самое время, когда он уверял Ставского, что будет бороться в поэзии «за музыку зиждущую», этот самый Ставский уже сочинял свой донос «НАРКОМВНУДЕЛ тов. Ежову Н.И.» с официальной просьбой от имени Союза писателей «решить вопрос об Осипе Мандельштаме», то есть, говоря попросту, посадить его.

Судьба его фактически уже решена, а он все продолжает свое «правоверное чириканье», что-то такое плетет насчет того, что в него верят, и из последних сил уговаривает себя: «Ничего, ничего, не страшно!»

Какое уж тут сознание своей правоты!

Но это всё — «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон».

В стихах Мандельштама (до катастрофы, о которой речь впереди) нет и следа этого «правоверного чириканья».

В тот самый год, когда Пастернак «мерился пятилеткой» и самобичевался, проклиная свою интеллигентскую косность, Мандельштам открыто провозглашал готовность принять мученический венец:

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей, —

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы

Мне в своей первобытной красе.

Разница между отношением Пастернака и Мандельштама к «веку», в котором им обоим выпало жить и творить, была огромна.

В отличие от Пастернака Мандельштама ощущение своего социального отщепенчества не пугало. Наоборот. Оно давало ему силу, помогало утвердиться в столь необходимом ему сознании своей правоты. Демонстративно, запальчиво славил он все то, чего у него никогда не было, лишь бы утвердить свою непричастность, свою до конца осознанную враждебность «веку-волкодаву»:

Я пью за военные астры, за все, чем корили меня:
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня,
За музыку сосен савойских, Полей Елисейских бензин,
За розу в кабине роллс-ройса и масло парижских картин…

Если скользить по поверхности смысла, это очевидное отличие Мандельштама от Пастернака единственным своим источником имеет разницу политических взглядов. Возникает предельно ясная в своем убожестве схема. Пастернак всем сердцем сочувствовал социальному эксперименту, начатому в октябре 1917 года, он верил в нравственную непогрешимость революции. Отсюда его готовность к самобичеванию, к «перековке». Мандельштаму революция не нравилась. Ему нравилась барская шуба. Он был дипломированным лакеем крупной буржуазии, о чем смотри подробно в книге А. Волкова «Поэзия русского империализма». (*М. Гослитиздат, 1935*). Демонстративно подчеркнутое желание пить «за рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин» как будто бы сообщает этой примитивной схеме дополнительную убедительность.

Но стихи, как, впрочем, всякое эмоциональное высказывание, ни в коем случае не следует понимать прямо, тем более — буквально. Не только в стихах, но и в жизни человек часто утверждает нечто прямо противоположное тому, что чувствует.

Вспомним конец стихотворения:

Я пью, но еще не придумал — из двух выбираю одно:
Веселое асти-спуманте иль папского замка вино…

«Я еще не придумал» — это ведь не значит, что он еще не решил, каким именно вином наполнить бокал, провозглашая тост за барскую шубу и розу в кабине роллс-ройса. Это значит: «Я не придумал, что бы такое вам еще соврать!»

Конец стихотворения обнажает правду: все сказанное — сказано в запальчивости. На самом деле не было в его жизни ни барской шубы, ни роллс-ройсов, ни всех прочих аксессуаров той жизни, за которую он «пьет», ни даже вина, которое он мог бы за все это выпить. Кстати, о шубе.

> Шуба из «Астр» связана с забавным инцидентом. В конце 20-х годов одна вельможная, а потом погибшая дама жаловалась Эмме Герштейн, что М. всегда казался ей совершенно чуждым человеком — она, мол, не может забыть, в какой шикарной шубе он разгуливал по Москве в начале нэпа… Мы только ахнули. Шубу эту с плеч какого-то дьячка мы купили на базаре в Харькове — рыжий, вылезший енот, запахивающийся наподобие рясы.
>
> ***(Надежда Мандельштам. Воспоминания.)***

Нет, я не собираюсь доказывать, что Мандельштам не был «певцом русского империализма». Сегодня в такого рода доказательствах, к счастью, уже нет нужды.

Я хочу лишний раз подчеркнуть, что в действительности Мандельштам сочувствовал нравственным и даже политическим целям русской революции, во всяком случае, ничуть не

меньше Пастернака. Лозунги пролетарской революции имели для его души, быть может, даже большую притягательность:

Ужели я предам позорному злословью —
Вновь пахнет яблоком мороз —
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?

Да и как мог он чувствовать иначе! Ведь он был потомком «разночинцев», которые «рассохлые топтали сапоги», — плотью от плоти тех российских интеллигентов, которые давным-давно истово ждали этого часа.

Даже горестный возглас Ахматовой — «Все расхищено, предано, продано», — по официальной версии советского литературоведения до конца обнаживший ее буржуазную декадентскую душу, — даже он был по сути своей возгласом великой надежды, признанием бесспорной правоты случившегося:

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?..

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам…
Никому, никому не известное,
Но от века желанное нам

Нет, разница между Мандельштамом и Пастернаком была не в том, что они по-разному относились к революции.

Они по-разному смотрели в будущее. Пастернак еще на что-то надеялся. Он не хотел верить дурным предчувствиям. Он готов был усомниться в своей правоте, успокаивая себя нехитрыми доводами, напоминающими известное рассуждение Васисуалия Лоханкина: «А может быть, так надо? Может быть, именно в этом и есть великая сермяжная правда?»

Мандельштам не мог заглушить доводами разума то, что знало его сердце.

Пастернак жил тоже не на Олимпе. Его тоже преследовал образ «кровавых костей в колесе».

Но для Пастернака петровская дыба, призрак которой нежданно воскрес в XX веке, была всего лишь нравственной преградой на пути его духовного развития. Преградой чисто абстрактной. Вопрос стоял так: имеет ли он моральное право через эту преграду переступить? Ведь и кровь, и грязь — все это окупится немыслимым будущим братством всех людей!

Душе Мандельштама плохо давались эти резоны, потому что в качестве объекта всех пыток и казней он неизменно пророчески видел себя. Не кому-то, а именно ему кидался на плечи «век-волкодав». Не чьи-то, а именно его кровавые кости хрустели в пыточных застенках.

Не случайно почти во всех его стихах, написанных в это время, так упорно, так настойчиво, так неотвязно преследует его ощущение своей загнанности, обреченности, сознание неизбежной гибельности своего пути:

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

(Декабрь, 1930)

Помоги, Господь, эту ночь прожить:
Я за жизнь боюсь — за Твою рабу —
В Петербурге жить — словно спать в гробу.
(Январь, 1931)

Единственный выход — спрятаться, убежать:

Мы с тобой на кухне посидим.
Сладко пахнет белый керосин.

Острый нож, да хлеба каравай…
Хочешь, примус туго накачай,
А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,
Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.
(Январь, 1931)

Но и спрятаться невозможно:
Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину-Москву…
(Апрель, 1931)

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать…
(Ноябрь, 1933)

Впрочем, безысходность, завладевшая сердцем поэта, была рождена предчувствием не только физической гибели. Еще страшнее было то, что несло гибель его душе, делу его жизни — поэзии:

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки-баю
Кулацкому паю пою.

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель
Достоин такого рожна

Может ли найтись для поэта перспектива более жуткая, чем:

Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.

Что касается этой, последней угрозы, то ее Пастернак видел, пожалуй, с не меньшей ясностью. Тут он был проницателен ничуть не менее Мандельштама:

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила…
А сзади, в зареве легенд,
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.

Однако, в отличие от Мандельштама, Пастернаку, при всей его проницательности, не чуждо было это мазохистское стремление славить «радость своего заката»:

Всю жизнь я быть хотел, как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нытья
И хочет быть, как я.

«Нытье» — это уже словечко советского лексикона. К нему так и просится эпитет — «интеллигентское».

Желанье быть «как все» естественно трансформировалось у Пастернака в комплекс интеллигентской неполноценности. А отсюда уже так близко было до «комплекса советского человека», до святой и простодушной веры в правоту «века-волкодава».

Мандельштам не хотел быть «как все».

> Однажды в Болшеве к нему пристали философские и литературоведческие дамочки, просили стихи и уверяли, что «вы наш поэт» … Он им ответил, что надо понимать: если существует его поэзия, значит, нет их науки, или наоборот, а потому миролюбивой всеядности нет места.
>
> ***(Надежда Мандельштам. Воспоминания.)***

Особенности своей духовной конституции, которые Пастернак, оправдываясь, называл «тем, что всякой косности косней», искренно полагая, что они затрудняют его путь к тем, кто прав, — именно эти особенности Мандельштам рассматривал как своеобразную гарантию непреложности и неколебимости своей правоты.

И тем не менее, как это ни парадоксально, в какой-то момент Мандельштам тоже захотел «труда со всеми сообща». Вопреки своей всегдашней трезвости и безыллюзорности он даже еще острее, чем Пастернак, готов был ощутить в своем сердце любовь и нежность к жизни, прежде ему чужой. Потому что из этой жизни его насильственно выкинули.

Сюжет третий
«ГОЛОВОЙ ПОВИННОЙ ТЯЖЕЛ…»

Осознав, что его лишили права чувствовать себя «советским человеком», Мандельштам вдруг с ужасом ощутил это как потерю:

Упиралась вода в сто четыре весла,
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.

Там я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.

И со мною жена — пять ночей не спала,
Пять ночей не спала — трех конвойных везла…

Я смотрел, отдаляясь на хвойный восток —
Полноводная Кама неслась на буек…

И хотелось бы тут же вселиться — пойми —
В долговечный Урал, населенный людьми,

И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели — беречь, охранять.
(Май, 1935)

Чувство это было подлинное, невыдуманное, реальное. И Мандельштам ухватился за него, как утопающий за соломинку, стал судорожно раздувать эту крохотную искорку, чтобы, не дай Бог, она не угасла, стал беречь и лелеять ее как единственную возможность выжить:

Люблю шинель красноармейской складки,
Длину до пят, рукав простой и гладкий
И волжской туче родственный покрой,
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.
Проклятый шов, нелепая затея
Нас разлучили. А теперь, пойми —
Я должен жить, дыша и большевея,
И перед смертью хорошея,
Еще побыть и поиграть с людьми.
(Май — июнь, 1935)

Он сам еще даже не понимал, что с ним произошло. Он думал, что он — все тот же, прежний, несломленный, одержимый неистребимым сознанием своей правоты:

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.
(Май, 1935)

А «блестящий расчет» тем временем уже дал в его душе свои первые всходы. И «шевелящиеся губы» непроизвольно лепили уже совсем иные слова:

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:

На Красной площади всего круглей земля
И скат ее твердеет добровольный…
(Май, 1935)

Почвой, на которой проросло это странное семя, было завладевшее душой поэта сознание противоестественности своего насильственного отторжения от жизни, нормальное человеческое желание «побыть с людьми».

Когда-то, в доброе старое время, факт ареста сам по себе еще не делал это естественное желание столь трагически неосуществимым. Человек был отторгнут от жизни, но связь его с людьми не прерывалась.

Сталинская тюрьма представляла в этом смысле совсем особый случай.

Здесь сам факт насильственного изъятия из жизни сразу отнимал у заключенного право на сочувствие, хотя бы тайное, тех, кто остался на воле. Отнимал даже право на их жалость.

Мандельштам столкнулся с этим тотчас же после ареста, по дороге в Чердынь.

> В переполненных вагонах, на шумных вокзалах, на пароходе, словом, всюду никто не обращал внимания на такое экзотическое зрелище, как двое разнополых людей под конвоем трех солдат. Никто даже не обернулся и не посмотрел на нас. Привыкли они что ли к таким зрелищам или боялись «заразы»? Кто их знает, но думаю, что это было проявлением особой советской вежливости: раз ссылают, да еще под конвоем, видно, так и надо… Это равнодушие толпы очень огорчало О.М.: «Раньше они милостыню арестантам давали, а теперь даже не поглядят». Он с ужасом говорил, что на глазах такой толпы можно сделать что угодно — растерзать, убить арестанта, а зрители повернутся спиной.
>
> ***(Надежда Мандельштам. Воспоминания.)***

Потрясло Мандельштама не просто равнодушие. С равнодушием и даже с враждебностью толпы арестант мог столкнуться и по дороге в царскую ссылку. Но тут было другое. Это было столкновение с монолитом, именуемым «морально-политическим единством советского народа». Не зря, оказавшись в Чердыни, озабоченная тяжелым психическим состоянием Мандельштама, Надежда Яковлевна расспрашивала ссыльных эсеров и меньшевиков, хорошо помнивших царские тюрьмы: «А раньше тоже из тюрьмы выходили в таком виде?»

Ссыльные в один голос отвечали, что прежде арест почему-то так не действовал на психику заключенного.

Мандельштам с ужасом ощутил, что фактом ареста его обрекли на полное, абсолютное отщепенчество. А жизнь, между тем, продолжалась. Люди смеялись, плакали, любили. В Москве строили метро.

Между ним и всей этой нормальной жизнью сразу возникла пропасть. И у него появилась естественная потребность уверить себя, что его выкинули из этой жизни несправедливо, что он этой жизни вовсе не чужой, что его с ней связывают узы кровной, внутренней, духовной близости. Близости, которую надо таить про себя, в которой даже нельзя никому признаться — все равно не поверят:

Ну, как метро? Молчи, в себе таи,
Не спрашивай, как набухают почки…
А вы, часов кремлевские бои —
Язык пространства, сжатого до точки.
(Апрель, 1935)

Н.Я. Мандельштам считает эти настроения последствием травматического психоза, который Мандельштам перенес вскоре после ареста. Болезнь была очень тяжелой, с бредом, галлюцинациями, с попыткой самоубийства.

Говоря о том, как быстро Мандельштам сумел преодолеть эту тяжелейшую психическую травму, она замечает:

> Единственное, что мне казалось остатком болезни, это возникавшее время от времени желание примириться с действительностью и найти ей оправдания. Это происходило вспышками и сопровождалось нервным состоянием, словно в те минуты он находился под гипнозом. В такие минуты он говорил, что хочет быть со всеми и боится остаться вне революции, пропустить по близорукости то грандиозное, что совершается на наших глазах.

Можно, конечно, считать это болезнью. Но тогда придется признать, что болезнь эта была чрезвычайно широко распространена

Вряд ли в ту пору можно было найти в стране интеллигента, который в той или иной форме не был бы тронут этой болезнью.

Болезнь поощрялась, культивировалась, считалась необходимой и благотворной, так сказать, болезнью роста. Официальное наименование у нее было — «перековка».

Много было самых разнообразных средств, с помощью которых человека толкали в объятия этой странной болезни. Было, например, такое слово: «двурушничество». Этим словом клеймили каждого, кто имел какие-либо сомнения, хотя бы даже не принципиальные, частные, ничтожные. Каждого, кто по своему психологическому складу хоть несколько отличался от общепринятого стереотипа.

Признаться кому-либо в своих сомнениях — значило сделать на себя донос. Признаться в них самому себе — значило признать себя двурушником А это очень неприятно — думать о себе: «Я — двурушник». Или — еще того хуже — в ужасе повторять трагикомическую, но вполне адекватную идиотизму происходящего формулу: «Я — не наш!»

Оставался только один выход: запретить себе сомневаться. Каленым железом выжечь из своего сознания все, что хоть на микрон отклоняется от всеобщего, предписанного и узаконенного единомыслия.

Так возникало ежедневное стремление интеллигента — по великолепному, пророческому слову Щедрина — «самообыскаться». Так начинался самогипноз, самоуговаривание. Ежедневные заклинания типа:

— Я не хочу остаться вне революции, я должен быть со всеми, я не имею права пропустить по близорукости (или из-за личной обиды) то грандиозное, что совершается на наших глазах!.. (Возможны варианты.)

Сталинская тюремная и лагерная машина отличалась от всех аналогичных систем, помимо всего прочего, еще и тем, что она была призвана воздействовать не только на слабую плоть арестованного, но и на его душу. Это была гигантская мельница, перемалывавшая души людей и формующая некую новую, унифицированную, стандартную душу.

Вовсе не случайно многие политические заключенные, попавшие в сталинские лагеря только потому, что не хотели «разоружиться перед партией», то есть отказаться от каких-то пунктов каких-то «платформ» и резолюций, спустя двадцатилетие, выйдя на свободу, с ужасом смотрели на своих лишившихся иллюзий современников как на циников, для которых не осталось ничего святого.

Мандельштам, разумеется, не имел с этими людьми ничего общего. Но если мы хотим понять, что делалось в его душе, мы не в праве с пренебрежением отмахиваться и от этих слабых душ, не вынесших свалившейся на них тяжести и настойчиво убеждавших себя, что они сохранили свои подлинные убеждения и взгляды. Они искренне думали, что сохранили душу свою невзирая на все телесные муки. Между тем на самом деле они лишь на долгие годы законсервировали однажды явившийся в их душе страх перед сознанием полного, абсолютного своего социального одиночества

Поэт всегда в конфликте с современниками (а иногда и с потомками), но это не столько социальный конфликт, сколько конфликт с самой человеческой природой.

Суть противоречия лежит не в сфере социологии. Это явление совершенно особого свойства.

* * *

Что же это за «высокая страсть», что за странная, необъяснимая сила, из века в век заставляющая поэтов, как говорил Пушкин, — «для звуков жизни не щадить»?

Что вынудило слабого, запуганного, боящегося физических страданий Мандельштама написать стихи о Сталине, почти наверняка чреватые для него гибелью? Мало того! Не только сочинить, но, сочинив, прочесть — и не двум-трем особо избранным, а **одиннадцати** знакомым?

> Однажды утром О.Э. прибежал ко мне один (без Н.Я.), в сильном возбркдении, но веселый. Я понял, что он написал что-то новое, чем было необходимо немедленно поделиться. Этим новым оказалось стихотворение о Сталине. Я был потрясен им, и этого не требовалось выражать словами. После паузы остолбенения я спросил О.Э., читал ли он это еще кому-нибудь. — «Никому. Вам первому. Ну, конечно, Наденька…». Я в полном смысле умолял О.Э. обещать, что Н.Я. и я останемся единственными, кто знает об этих стихах. В ответ последовал очень веселый и довольный смех, но всё же обещание никому больше эти стихи не читать О.Э. мне дал. Когда он ушел, я сразу же подумал, что немыслимо, чтобы стихи остались неизвестными по крайней мере Евг. Як. (брату Н.Я.) и Анне Андр. При первой же ее встрече с О.Э. А Клычкову? — Нет, не сдержит он своего обещания. Слишком уж ему нужно
> *Читателя! Советчика! Врача!*
> Буквально дня через два или три О.Э. со сладчайшей улыбкой, точно бы он съел кусок чудного торта, сообщил мне: «Читал стихи (было понятно, какие) Борису Леонидовичу». У меня оборвалось сердце. Конечно, Б.Л. Пастернак был вне подозрений (как и Ахматова, и Клычков), но около него всегда увивались люди (как и вокруг О.Э.), которым я очень поостерегся бы говорить что-нибудь. А самое главное — мне стало ясно, что за эти несколько дней О.Э. успел прочитать страшные стихи еще не одному своему знакомцу. Конец этой истории можно было предсказать безошибочно. Даже несколько удивительно, что в надлежащее место стихи попали только через год.
>
> ***(Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Санкт-Петербург. 1999. Стр. 176—177.)***

Первая жена Виктора Борисовича Шкловского — Василиса Георгиевна (они с Мандельштамами были тогда очень близки) уверяет, что однажды Осип Эмильевич устроил даже публичное чтение этого стихотворения:

> — А он вам читал «Горца»?
> — Представь себе, он собрал людей, чтобы читать этого «Горца». Я говорила: «Что вы делаете?! Зачем? Вы затягиваете петлю у себя на шее». Но он: «Не могу иначе…» И было несколько человек, и тут же донесли. Вот я двух людей так вот умоляла: Белинкова и Осипа Эмильевича. Белинков то же самое — «Раз я уже написал, то чтоб я не читал…»
> — А Осип Эмильевич тебе сперва прочел это стихотворение?
> — Нет-нет, он собрал нас всех и прочел. Тут же, моментально донесли.
> — Это у нас было, да?
> — Нет, что ты. У нас! У нас мы бы ему не позволили. Если бы у нас! Мы бы его загнали в кухню. Никогда! А он нас собрал. Причем много народу. Вот где, я не помню. Я даже не знала, что он будет читать. У меня такое впечатление, что это было в домоуправлении (Все смеются.) — в каком-то… общественном месте…
>
> ***(Осип и Надежда Мандельштамы. М. 2002. Стр. 109.)***

Что же заставило его поступать так чудовищно неосторожно? Гражданские чувства? Ненависть к тирану? Жажда разоблачить и унизить ненавистную ему темную силу деспотизма? Осмеять ее хотя бы перед одиннадцатью слушателями?

Мотивы деятельности революционера тут были бы вполне понятны и очевидны. Революционер поступает так в пропагандистских целях. Он вербует потенциальных сторонников, единомышленников.

Поэт движим иными мотивами. Соображения целесообразности ему чужды.

> Виновата ли я, что не повыгоняла всех друзей и знакомых и не осталась с глазу на глаз с О. М., как делало большинство моих современников? Мою вину умаляет только то, что О.М. все равно удрал бы из-под присмотра и прочел недопустимые стихи… первому встречному. Режим самообуздания и самоареста был не для него.
>
> ***(Надежда Мандельштам. Воспоминания.)***

Но дело было не только в сугубо индивидуальных особенностях данного характера.

У Арсения Тарковского есть стихотворение, в котором выразительно запечатлен неповторимый облик О. Мандельштама:

Эту книгу мне когда-то
В коридоре Госиздата
Подарил один поэт;
Книга порвана, измята,
И в живых поэта нет.

Говорили, что в обличье
У поэта нечто птичье
И египетское есть;
Было нищее величье
И задерганная честь.

Как боялся он пространства
Коридоров! Постоянства
Кредиторов! Он, как дар,
В диком приступе жеманства
Принимал свой гонорар…

Гнутым словом забавлялся,
Птичьим клювом улыбался,
Встречных с лету брал в зажим,
Одиночества боялся
И стихи читал чужим.

Но эти строки — особенно последняя — представляют собою нечто большее, чем просто рисунок с натуры. Тут присутствует какое-то, быть может, невольное, но очень важное обобщение. Не случайно стихотворение называется «Поэт», а непосредственно вслед за процитированными строчками следует восторженное: «Так и надо жить поэту…»

Пушкинский Гринев, как мы помним, читал свои стихи Швабрину. Не найдя в нем сочувствия, он поклялся, что уж от роду не покажет ему своих сочинений. Но Швабрин посмеялся над этой угрозою. «Посмотрим, — сказал он, — сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузьмичу графинчик водки перед обедом…»

Следует признать, что негодяй Швабрин был прав. Поэт одержим желанием читать свои стихи кому угодно. Не найдя достойных слушателей, он не пренебрегает недостойными:

> Осип Эмильевич написал новые стихи. Состояние у него было возбужденное. Он кинулся через дорогу от дома к городскому автомату, набрал какой-то номер и начал читать стихи, затем кому-то гневно закричал: «Нет, слушайте, мне больше некому читать!» Я стояла рядом, ничего не понимая. Оказывается, он читал следователю НКВД, к которому был прикреплен.
>
> ***(Н.Е. Штемпель. Мандельштам в Воронеже. // Осип Мандельштам. Воронежские тетради. Воронеж, 1999. Стр. 238.)***

Тут действует сила более грозная, нежели авторское тщеславие. Это своего рода инстинкт.

Тот же инстинкт побуждает поэта творить, совершенно не заботясь о какой бы то ни было целесообразности этого занятия и полностью пренебрегая его последствиями, сплошь и рядом трагическими.

Если бы нашлась в мире власть, додумавшаяся до того, чтобы запретить поэтам под страхом смерти писать стихи какими-либо иными размерами, кроме ямба, во что бы то ни стало обнаружились бы безумцы, которые, ежесекундно рискуя жизнью, продолжали бы писать хореем, амфибрахием, дактилем и анапестом, свободным стихом и т.д., и т.п.

Можно предположить, что означенные безумцы действовали бы так, а не иначе, потому что рассматривали бы запрет пользоваться амфибрахием или хореем как незаконное посягательство на их священные, исконные прерогативы. Люди не раз шли на костер за свои убеждения, какими бы нелепыми эти убеждения ни казались их более здравомыслящим современникам, не говоря уже о потомках. Разве право писать стихи амфибрахием менее священно, нежели право разбивать яйца с тупого конца?

Однако же тут есть разница, и очень существенная. Свифтовские тупоконечники (так же, как русские раскольники) шли на мучительную смерть во имя великого принципа, они гибли «за идею».

Поэт, который продолжал бы писать амфибрахием, пренебрегая грозящей ему за это смертной карой, поступал бы так отнюдь не «из принципа», а просто потому, что при всем своем желании не смог бы поступить иначе. Тут действовал бы все тот же могучий и властный инстинкт.

Маяковский говорил, что если выйдет такое постановление, он будет писать ямбом. Но он мог надеяться, что люди будущего простят ему то, что он ради них наступал на горло собственной песне.

У Мандельштама не могло быть таких надежд. Совершался величайший в истории социальный эксперимент. Каждый, кто хотя бы в душе своей подверг сомнению политическую, экономическую или нравственную правомочность эксперимента, покушался на само будущее.

Настоящее было фундаментом, на котором воздвигалось прекрасное завтра. Ощутить себя чужим сталинскому настоящему значило вычеркнуть себя не только из жизни, но и из памяти потомства. Вот почему Мандельштам не выдержал. Вот почему он стал так судорожно и неумело «перековываться»:

> Изменяй меня, край, перекраивай, —
> Чуден жар прикрепленной земли! —
> Захлебнулась винтовка Чапаева —
> помоги, развяжи, раздели!

Из последних сил он пытается убедить себя в том, что прав был — тот, «строитель чудотворный», а он, Мандельштам, заблуждался, и чем скорее он откажется от своих заблуждений, тем вернее приблизится к истине:

> Я должен жить, дыша и большевея,
> Работать речь, не слушаясь, сам-друг,

Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню все — немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.

И не ограблен я и не надломлен,
Но только что всего переогромлен —

Ограбленный и надломленный, он пытается уверить себя в обратном — в том, что он наконец-то оправился от тяжелой болезни.

Первопричиной этой духовной трансформации было вовсе не только грубое давление извне. Поэты, как я уже говорил, такому давлению неподвластны.

Причина «грехопадения» Мандельштама коренилась отнюдь не в слабости его, не в готовности к компромиссу. Мандельштам не уступил грубой силе, не сдался. С ним случилось нечто худшее. Он утратил сознание своей правоты.

* * *

Ну, а как же инстинкт?

Ведь инстинкт — он на то и инстинкт, чтобы действовать вопреки сознанию, вопреки всем велениям разума, логики, здравого смысла. Человека можно убедить, обмануть, опутать сетью искусственных логических построений, наконец, запугать. Но можно ли вторгнуться в заповедную область его подсознания, посягнуть на его инстинкты?

Оказывается, даже тут применима могучая формула века: «Нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять».

Поэт — пророк высших сил. Его душа неподвластна земным владыкам, потому что она находится в номенклатуре непосредственно у Господа Бога. Поэт может забыть об этом, он может поддаться лести, подкупу или уступить грубой силе, — все равно из этого ничего не выйдет. Он не может сам, по собственному усмотрению располагать своим поэтическим (пророческим) даром, потому что этот дар — не его собственность, он принадлежит не ему.

Вот как высказался на этот счет Л.Н. Толстой:

> Есть глубокий по смыслу рассказ в «Книге Чисел» о том, как Валак, царь Моавитский, пригласил к себе Валаама для того, чтобы проклясть приблизившийся к его пределам народ израильский. Валак обещал Валааму за это много даров, и Валаам, соблазнившись, поехал к Валаку, но на пути был остановлен ангелом, которого видела ослица, но не видел Валаам. Несмотря на эту остановку, Валаам приехал к Валаку и взошел с ним на гору, где был приготовлен жертвенник с убитыми тельцами и овцами для проклятия. Валак ждал проклятия, но Валаам вместо проклятия благословил народ израильский.
> 23 гл. (11) «И сказал тогда Валак Валааму: что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь?
> (12) И отвечал Валаам и сказал: не должен ли я в полности сказать то, что влагает господь в уста мои?..»
> И так и ушел Валаам, не получив даров, потому что вместо проклятья благословил врагов Валака.
> То, что случилось с Валаамом, очень часто случается с настоящими поэтами-художниками. Соблазняясь ли обещаниями Валака — популярностью или своим ложным, навеянным взглядом, поэт не видит даже того ангела, который останавливает его… и хочет проклинать, и вот благословляет.
> ***(Л.Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 41, М. 1957, стр.374.)***

Выходит, что поэт может даже утратить сознание своей правоты, оказаться в плену чьих-то чужих, как говорит Толстой, — ложных, навеянных взглядов, — и все равно, если он настоящий поэт, ему не удастся изменить истине, проклясть то, что по воле высших сил он должен благословить.

Но, может быть, вековая уверенность поэта в том, что душа его неподвластна земным владыкам, — просто наивный самообман?

А может быть, тут другое? Может быть, Сталину удалось то, что не удавалось никому из царей земных? Может быть, он и в самом деле добился того, чтобы золотая рыбка поэзии служила ему и была у него на посылках?

Как бы то ни было, именно в государстве нового типа поэт впервые утратил свою гордыню, впервые усомнился в том, что ему удастся сохранить в неприкосновенности свою тайную свободу.

Первым высказал это сомнение Александр Блок. 13 февраля 1921 года на торжественном заседании, посвященном 84-й годовщине смерти Пушкина, Блок произнес свою пророческую речь «О назначении поэта».

По мысли Блока, служение поэта можно разделить на три стадии, три этапа, три дела.

> Первое дело, которого требует от поэта его служение, — бросить «заботы суетного света» для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину. Это требование выводит поэта из ряда «детей ничтожных мира».
>
> Бежит он, дикий и суровый,
> И звуков и смятенья полн…
>
> Дикий, суровый, полный смятенья, потому что вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт рождения…
> Таинственное дело совершилось: покров снят, глубина открыта, звук принят в душу. Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова; звуки и слова должны образовать единую гармонию. Это — область мастерства.
> ***(Александр Блок. Том шестой. М. —Л. 1962, стр. 163.)***

Оговорив, что мастерство тоже требует вдохновенья и что поэтому никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести нельзя, Блок переходит к последнему, третьему этапу:

> Наступает очередь для третьего дела поэта: принятые в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир. Здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью.
> ***(Там же, стр. 164.)***

Чернь — это категория людей, исконно враждебных поэту и его назначению в мире. По самой сути своей эти люди призваны ему мешать. Но на протяжении всей истории человечества они научились мешать поэту лишь в самом последнем его, третьем деле.

> …Люди догадались выделить из государства один только орган — цензуру, для охраны порядка своего мира, выражающегося в государственных формах. Этим способом они поставили преграду лишь на третьем пути поэта: на пути внесения гармонии в мир; казалось бы, они могли догадаться поставить преграды и на первом и на втором пути: они могли бы изыскать средства для замутнения самых источников гармонии; что их удерживает — недогадливость, робость или совесть, — неизвестно…

Так говорил Блок. И, то ли из суеверия, то ли побуждаемый каким-то смутным предчувствием, он добавил:

> А может быть, такие средства уже изыскиваются?
> ***(Там же, стр. 165.)***

Трудно сказать, какие были у Блока реальные основания для этого предположения. Важно, что уже тогда, в 1921 году, Блок считал такое покушение на высшую, внутреннюю, тайную свободу художника в принципе возможным.

И он оказался прав.

* * *

В одной из своих статей о Мандельштаме Э.Г. Герштейн заметила, что после стихотворения про кремлевского горца —

> Сталин как творческая тема больше не существовал для Мандельштама. Она была исчерпана эпиграммой «Мы живем, под собою не чуя страны…» Осталась тема личной зависимости от Сталина, разработанная в разных ракурсах.
> ***(Эмма Герштейн. Поэт поэту — брат. Знамя, № 10, 1999, стр. 156.)***

Если бы это было так!

То-то и горе, что в какой-то момент тема «личной зависимости от Сталина» слилась в его сознании с темой его кровной связи с веком. Понятия «век» (от которого его пытаются оторвать) и «советское государство» слились для него в единое целое, в нерасторжимое единство. И синонимом, символом века стал для него Сталин:

Средь народного шума и спеха
На вокзалах и площадях
Смотрит века могучая веха
И бровей начинается взмах.

Я узнал, он узнал, ты узнала —
А теперь куда хочешь влеки:
В говорливые дебри вокзала,
В ожиданье у мощной реки.

Далеко теперь та стоянка,
Тот с водой кипяченой бак —
На цепочке кружка-жестянка
И глаза застилавший мрак.

Шла пермяцкого говора сила,
Пассажирская шла борьба,
И ласкала меня и сверлила
От стены этих глаз журьба.

Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чащах,
И в товарищах городах.

Не припомнить того, что было —
Губы жарки, слова черствы —
Занавеску белую било,
Несся шум железной листвы.

А на деле-то было тихо —
Только шел пароход по реке,
Да за кедром цвела гречиха,
Рыба шла на речном говорке.

И к нему — в его сердцевину —
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел.

Как ни относись к этим стихам, как ни воспринимай их, одно несомненно. Как небо от земли отличаются они от тех, казенно-прославляющих рифмованных строк, которые Мандельштам так трудно выдавливал из себя, завидуя Асееву, который, в отличие от него, был — «мастер».

На этот раз стихи вышли совсем другие: обжигающие искренностью, несомненностью выраженного в них чувства.

Иначе быть не могло. Тут достаточно было сделать только первый шаг. Дальше уже все дороги вели в Рим.

Тропинка, которая привела в этот «Рим» Мандельштама, впоследствии превратилась в торную дорогу, в хорошо наезженную колею. След, оставшийся после его блужданий во мраке, превратился в схему, ставшую одним из стандартов, одним из непременных нормативов ортодоксального советского искусства.

Н.Я. Мандельштам в первой книге своих воспоминаний рассказывает, что, прочитав отзыв Сталина на сказку Горького «Девушка и смерть», Осип Эмильевич сказал: «Мы погибли…»

Она замечает при этом, что слова эти он повторял потом часто. Увидав, например, на обложке какого-то иллюстрированного журнала, как Сталин протягивает руку Ежову. Да и мало ли их было тогда, куда более зловещих и жутких сигналов, предвещающих неизбежную гибель — не только его собственную, гибель всей русской интеллигенции, всей русской культуры, гибель самой России. Но впервые, — свидетельствует Надежда Яковлевна, — он произнес эти слова именно вот тогда, когда прочитал знаменитую реплику Сталина о горьковской сказке.

Странная вещь, непонятная вещь! Да что, в конце концов, такого уж страшного было в этом дурацком сталинском замечании? В особенности если сравнить его с другими — откровенно людоедскими — высказываниями, а тем более деяниями «отца народов»!

Но слова Сталина о горьковской сказке не зря наполнили душу Мандельштама таким леденящим ужасом. Черт с ним, пусть дружески протягивает руку Ежову. В конце концов, это его дело. И ничего такого уж особенно нового нет в этом трогательном рукопожатии властителя и палача. Чего там! «Власть отвратительна, как руки брадобрея». Но тут эти «руки брадобрея» потянулись к Гете, прикоснулись к «Фаусту»…

Ладно бы еще, если б эта дурацкая сталинская реплика была просто личным, частным мнением Иосифа Виссарионовича Джугашвили. Но вылетевшая из уст вождя, она, как и все, что из них вылетало, мгновенно обретала силу закона, высочайшего указа: отныне всем и каждому предписывается считать, что **эта штука посильнее, чем «Фауст» Гете.**

Сталин ввел государственную монополию на духовную жизнь каждого члена общества.

По давней традиции, унаследованной от русских императоров, он сам, лично объединил в своем лице светскую и духовную власть. Но он пошел гораздо дальше русских царей. Он

являлся в то же время как бы незримым духовником и цензором каждого мыслящего члена общества.

Каждое свое душевное движение, каждый поступок поверять мысленным обращением к Сталину (или к его портрету), затаив дыхание, гадать, одобрит Сталин или нет, нахмурится или улыбнется, поощрит или упрекнет, — все это стало нормой мироощущения советского человека:

Усов нависнувшею тенью
Лицо внизу притемнено.
Какое слово на мгновенье
Под ней от нас утаено?

Совет? Наказ? Упрек тяжелый?
Неодобренья строгий тон?
Иль с шуткой мудрой и веселой
Сейчас глаза поднимет он?

(Твардовский. К портрету Сталина.)

Трагическая ирония состоит в том, что создателем этой нормы, ее предтечей, ее основоположником был тот единственный поэт, который позволил себе открытый бунт, тот, кто проклял сияющие голенища «кремлевского горца». Он первый принял и узаконил духовную цензуру Сталина, признал законность ее власти над своей бедной заблудшей душой:

Шла пермяцкого говора сила,
Пассажирская шла борьба,
И ласкала меня и сверлила
От стены этих глаз журьба.

В «Книге третьей» Н.Я. Мандельштам об этих стихах сказано так:

> Тоже побочный продукт «оды» (тематический), но совсем в другом смысле — это победа настроений «оды» и того болезненного возбуждения, которое она вызвала. Я ничего не говорила про эти стихи — все же они могли спасти О.М., а мешать попытке спастись я не могла. Но он все же чувствовал мое отношение — и эти стихи всегда вызывали у него отчуждение и почти враждебность ко мне… С самой «одой» мне было гораздо легче примириться, чем с этой группой стихов.
> «Ода» была насильственным и искусственным продуктом, а в «Средь народного шума» и «Как дерево и медь» все же чувствовался настоящий поэтический голос.

О стихотворении «Как дерево и медь», положим, еще можно сказать, что оно побочный продукт «оды» и «того болезненного возбуждения, которое она вызвала».

В нем действительно «чувствуется настоящий поэтический голос». Но вот именно — чувствуется.

В «оде», как мы это уже выяснили, этот настоящий поэтический голос ведь тоже чувствуется. Местами.

Нечто похожее мы ощущаем и здесь:

Как дерево и медь — Фаворского полет, —
В дощатом воздухе мы с временем соседи,
И вместе нас ведет слоистый флот
Распиленных дубов и яворовой меди.

И в кольцах сердится еще смола, сочась,
Но разве сердце — лишь испуганное мясо?
Я сердцем виноват — и сердцевины часть
До бесконечности расширенного часа.

Час, насыщающий бесчисленных друзей,
Час грозных площадей с счастливыми глазами…
Я обведу еще глазами площадь всей
Этой площади с ее знамен лесами.

Слова — «Я сердцем виноват» и «сердцевины часть» — прямо указывают на генетическую близость этого стихотворения тому, с которым Н.Я. поставила его в один ряд. Но строка о площадях «с счастливыми глазами» напоминает о самых беспомощных строчках «оды». Последние две строки: «Я обведу еще глазами площадь всей Этой площади с ее знамен лесами» — тоже оттуда, из «оды». И косноязычие их — не поэтическое косноязычие Мандельштама, оно — совсем иного свойства.

Но тут же, рядом — совершенно гениальная, воистину мандельштамовская строка: «Но разве сердце — лишь испуганное мясо?»

При кажущемся отрицании такого якобы кощунственного предположения тут слышится и толика сомнения: а что, если это действительно так? Если сердце, изнемогающее от боли, рожденной сознанием его вины, — и впрямь всего лишь «испуганное мясо»? То есть, если самую основу чувства вины, гнездящейся в его сердце, действительно составляет всего лишь испуг (страх)?

Уже одной такой строки было бы довольно, чтобы услышать в этом стихотворении не просто настоящий поэтический голос, как выразилась о нем Надежда Яковлевна, но — **голос Мандельштама** .

И все-таки оно несопоставимо с тем, которое Н.Я. поставила с ним рядом.

В стихотворении «Средь народного шума и спеха…» нет и следа этой чересполосицы ясных — и невнятных, живых — и мертвых, безжизненных, вымученных строк. Оно все — от начала до конца — выговорилось на одном дыхании. И прямо-таки поражает своей органической цельностью, неподдельной, из самой души идущей и за душу берущей искренностью:

Не припомнить того, что было —
Губы жарки, слова черствы —
Занавеску белую било,
Несся шум железной листвы.

А на деле-то было тихо —
Только шел пароход по реке,
Да за кедром цвела гречиха,
Рыба шла на речном говорке.

И к нему — в его сердцевину —
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел.

Так что же? Неужели Сталин в своих предположениях был все-таки прав? Неужели он действительно был непревзойденным специалистом по вопросам «жизни и смерти»?

Неужели он лучше, чем кто другой, знал меру прочности человеческой души и имел все основания не сомневаться в результатах своего эксперимента?

* * *

О душевном состоянии Мандельштама в это время можно судить по эпизоду, о котором рассказывает Э.Г. Герштейн:

> И опять такой же вечер.
> Осип Эмильевич снова лежит на тахте, но взгляд у него застывший. Я сижу напротив, разговор наш еле цедится. Наконец, он произносит:
> — Понимаете? Кто-то прислал мне новую итальянскую книгу об архитектуре. А ведь в Италии фашизм…
> Он беспокойно о чем-то размышляет.
> — По-настоящему, я должен пойти в ГПУ и сообщить об этом. Что вы так на меня смотрите?
> Глаза у него совершенно стеклянные, как тогда, когда он приехал из Чердыни.
> — А разве вы не пошли бы в ГПУ, если бы, например, узнали о политическом заговоре против нашей страны? Или военную тайну фашистов, которая угрожает нашему государству? Конечно, пошли бы. Да, да… Вы и сейчас можете пойти… Да! В ГПУ должны пойти вы. Вы скажете: «Поэту Мандельштаму присылают из фашистской Италии литературу. Он не знает, кто ему подбрасывает эти книги. Это — провокация. Нужно принять меры, чтобы оградить советского поэта от…» и т.д., и т.д.
> Я слушаю его в смятении.
> К счастью, в это время вернулась Надя. Я ушла, ничего ей не сказав о нашем разговоре, торопясь на последний трамвай.
> Мне было ужасно тяжело. То Мандельштам назначает меня для хранения тайны его антисталинского стихотворения, то посылает в ГПУ делать сообщения.
>
> ***(Э. Герштейн. Мемуары. Стр. 68—69.)***

Совершенно очевидно, что это «двоемыслие» Мандельштама было не чем иным, как сублимацией страха

Но страх, оледенивший его душу, не убил в нем поэта.

> Поразительно, — говорит о воронежской ссылке Мандельштама Ахматова, — что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен.
>
> ***(Осип Мандельштам и его время. М. 1995. Стр. 35.)***

Но она же — вот так рисует его жизнь в этой самой воронежской ссылке:

> А в комнате опального поэта
> Дежурят страх и Муза в свой черёд.
> И ночь идет,
> Которая не ведает рассвета.

«В свой черёд» — это значит, что страх отступал, когда «на дежурстве» его сменяла Муза.

В том же феврале написаны «Стихи о неизвестном солдате», в которых с потрясающей, пронзающей душу силой он выразил сознание своего родства с миллионами безвестных жертв «века-волкодава», сознание кровной связи своей судьбы с их судьбою:

Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте,
Доброй ночи, всего им хорошего
От лица земляных крепостей…

Наливаются кровью аорты
И звучит по рядам шепотком:
— Я рожден в девяносто четвертом,
Я рожден в девяносто втором…
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья с гурьбой и гуртом,
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем.

Можно ли было яснее и непреложнее выразить уверенность в том, что и его — раньше ли, позже — не минет чаша сия.

Как же могли в той же душе, почти одновременно с этими, родиться строки, исполненные казенного — и в то же время искреннего — восторга:

Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах
И в товарищах реках и чащах,
И в товарищах городах.

Этот феномен, в отличие от того, что описан Оруэллом, можно было бы назвать не двоемыслием, а **двоечувствием** . Стихи Мандельштама воронежского периода являют собой едва ли не уникальный пример такого двоечувствия.

Здесь, в Воронеже, им были написаны все стихи, в которых с необыкновенной силой выразилась мучительная попытка примирения с действительностью сталинского режима:

Я должен жить, дыша и большевея…
Люблю шинель красноармейской складки…
На Красной площади всего круглей земля…
Если б меня наши враги взяли…
Моя страна со мною говорила…
А вы, часов кремлевские бои…
Захлебнулась винтовка Чапаева…
Я слышу в Арктике машин советских стук…
Я кружил в полях совхозных…
Средь народного шума и спеха…

Но в то же самое время, там же, в Воронеже, были написаны и совсем другие стихи, противоположные этим не только по мысли, но и по чувству, по ощущению своего места в мире:

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок…
От замкнутых я, что ли, пьян дверей?
И хочется мычать от всех замков и скрепок.

Или это:

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя:
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.

Или вот это:

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чортова —
Как ее не вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,
Нрава он был не лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама…

И, наконец, вот это:

Еще не умер я, еще я не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В прекрасной бедности, в роскошной нищете
Живи спокоен и утешен, —
Благословенны дни и ночи те
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастен тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит.

Сколько здесь внутреннего достоинства, уверенного спокойствия! И с каким грустным, снисходительным сочувствием говорит поэт о тех, кто это достоинство утратил, кто «сам полуживой, у тени милостыни просит». Но эти, последние строки, — они ведь тоже о себе! В его письме к Чуковскому, написанном в это же время, есть строки, дословно совпадающие с этими, стихотворными:

> Я тень. Меня нет. У меня есть только право умереть. Меня и жену толкают на самоубийство. В Союз писателей — обращаться бесполезно. Они умоют руки. Есть один только человек в мире, к которому по этому делу можно и должно обратиться. Ему пишут только тогда, когда считают своим долгом это сделать. Я за себя не поручитель, себе не оценщик. Не о моем письме речь. Если Вы хотите спасти меня от неотвратимой гибели — спасти двух человек — помогите, уговорите других написать…

Сомнений нет: это он, он сам был в роли тени, просящей милостыни у тени.

Не только в стихах (стихи — дело таинственное), но и в разговорах с близкими, в одном и том же каком-нибудь страстном монологе соседствуют утверждения как будто несовместимые и по смыслу, и по своему эмоциональному настрою.

Вот он восклицает с отчаянием:

> — Я опять стою у этого распутья. Меня не принимает советская действительность!..

И тут же:

> — Я трижды наблудил: написал подхалимские стихи (это о летчиках), которые бодрые, мутные и пустые… Я гадок себе. Во мне подымается все мерзкое из глубины души. Меня голодом заставили быть оппортюнистом. Я написал горсточку настоящих стихов и из-за приспособленчества сорвал голос на последнем. Это начало большой пустоты.
>
> ***(С.Б. Рудаков. Их письма к жене. 2 августа 1935 года.)***

Только что я высказал уверенность, что стремление Мандельштама «найти во всем исторический смысл», — было не чем иным, как сублимацией страха. Сказанное, однако, не означает, что это был страх перед угрозой физической расправы. Одними репрессиями — или угрозой репрессий — феномен «двоечувствия» Мандельштама не объяснить.

Как же понять, как объяснить это парадоксальное психологическое состояние, когда человек испытывает одновременно два противоположных, взаимоисключающих чувства (скажем, чувство собственного достоинства и чувство предельной униженности, упрямое сознание своей правоты и острое чувство вины), и оба эти чувства переживает с максимальной, предельной искренностью?

Это парадоксальное состояние было описано академиком И.П. Павловым и его учениками:

> У нас находится на излечении больная с чрезвычайно расслабленной нервной системой. Когда ей показывают красный цвет и говорят, что это не красный цвет, а зеленый, она с этим соглашается и заявляет, что, всмотревшись внимательно, она действительно убедилась, что это не красный, а зеленый цвет. Чем это объяснить? Академик Павлов говорит, — парадоксальным состоянием. При нем теряется реакция на сильный возбудитель. Действительность, действительный красный или иной цвет — это сильный возбудитель. А слова: красный, зеленый и т. д. — это слабые возбудители того же рода. При болезненной нервной системе, при ее парадоксальном состоянии теряется восприимчивость к действительности, а остается восприимчивость только к словам. Слово начинает заменять действительность. В таком состоянии, по мнению академика Павлова, находится сейчас все русское население.
>
> ***(Н.А. Гредескул. Журнал «Звезда», 1927.)***

И там же:

> Рефлекс свободы — есть основной жизненный рефлекс. Животное, лишенное свободы, рвется, кусается, бьется о клетку, отказывается есть и пр. Но этот рефлекс не только можно подавить, но и заменить условным рефлексом на те же воздействия. Если известным образом комбинировать голод и дачу пищи животному и терроризировать животное наказаниями, то можно совершенно усмирить его, приучить его к тому, что оно будет вилять хвостом в ответ на действия, лишающие его свободы, и смотреть в глаза тому, в чьей власти меры репрессии.

Конечно, человек — не животное. Хотя… при тех неограниченных средствах воздействия, которыми располагает палач…

Чекисты в своей практике, как мы знаем, не гнушались и тех старых, испытанных средств воздействия, к которым прибегали палачи всех времен и народов. Пытки, побои, самые гнусные и самые жестокие издевательства — все эти так называемые недозволенные методы ведения следствия широко использовались следователями НКВД. Но Сталин великолепно понимал, что в некоторых случаях даже эти «сильнодействующие» средства могут не сработать. Он знал, что есть нечто более страшное для психики подследственного, чем самая изощренная пытка.

Обычно до всех этих психологических тонкостей он не снисходил. Рассказывают, что когда ему доложили, что арестованные врачи не хотят признаваться в своих мнимых преступлениях, он молча ткнул себя кулаком в зубы, показывая — жестом, — что надо делать в этом случае.

Но при этом нельзя сказать, чтобы душа подследственного его так-таки уж совсем не интересовала. Просто, как истый материалист, он исповедовал доктрину, суть которой исчерпывающе, — хотя и не без иронии, — выразил Николай Олейников:

Но наука доказала,
Что душа не существует,
Что печенка, кости, сало —
Вот что душу образует.

И все-таки он знал, что существуют и другие — не только физические — способы воздействия на душу подследственного.

На одном из кремлевских совещаний Миронов в присутствии Ягоды, Гая и Слуцкого докладывал Сталину о ходе следствия по делу Рейнгольда, Пикеля и Каменева. Миронов доложил, что Каменев оказывает упорное сопротивление: мало надежды, что удастся его сломить.

— Так вы думаете, Каменев не сознается? — спросил Сталин…

— Не знаю, — ответил Миронов…

— Вы не знаете? — спросил Сталин, с подчеркнутым удивлением, пристально глядя на Миронова. — А вы знаете, сколько весит наше государство, со всеми его заводами, машинами, армией, со всем вооружением и флотом?

Миронов и все присутствующие с удивлением смотрели на Сталина, не понимая, куда он клонит.

— Подумайте и ответьте мне, — настаивал Сталин.

Миронов улыбнулся, думая, что Сталин шутит. Но Сталин шутить не собирался. Он смотрел на Миронова вполне серьезно.

— Я вас спрашиваю, сколько все это весит? — настаивал он.

Миронов смешался. Он ждал, все еще надеясь, что Сталин превратит все в шутку, но Сталин продолжал смотреть на него в упор в ожидании ответа. Миронов пожал плечами и, подобно школьнику на экзамене, сказал неуверенным голосом:

— Никто не может этого знать, Иосиф Виссарионович. Это из области астрономических цифр.

— Ну, а может один человек противостоять давлению такого астрономического веса? — спросил Сталин.

— Нет, — ответил Миронов.

— Ну так вот, не говорите мне больше, что Каменев или кто-то другой из арестованных способен выдержать это давление.

(Александр Орлов. Тайная история сталинских преступлений. М. 1991, стр. 124—125.)

Именно этого давления и не вынес Мандельштам.

* * *

Эренбург в своих воспоминаниях рассказывает, что, когда Мандельштама арестовали врангелевцы и посадили в одиночку, он начал стучать в дверь, а на вопрос надзирателя, что ему нужно, ответил: «Вы должны меня выпустить, я не создан для тюрьмы!»

Вряд ли есть на свете люди, созданные для тюрьмы. Но все люди в той или иной мере наделены способностью к адаптации, умением приспосабливаться к любым условиям существования. Мандельштам этой способности был лишен начисто. В отличие от того же Ходасевича, который даже свой предсмертный стон собирался «облечь в отчетливую оду» и много в этом преуспел, Мандельштам органически не был приспособлен к тому, чтобы остаться вне Истории. Это было для него страшнее тюрьмы.

> Есть великая славянская мечта о прекращении истории в западном значении слова… Это — мечта о всеобщем духовном разоружении, после которого наступит некоторое состояние, именуемое «миром». Мечта о духовном разоружении так завладела нашим домашним кругозором, что рядовой русский интеллигент иначе не представляет себе конечной цели прогресса, как в виде этого неисторического «мира». Еще недавно сам Толстой обращался к человечеству с призывом прекратить лживую и ненужную комедию истории и начать «просто» жить. В «простоте» — искушение идеи «мира»:
>
> Жалкий человек…
> Чего он хочет?.. Небо ясно,
> Под небом места много всем.
>
> Навеки упраздняются, за ненадобностью, земные и небесные иерархии. Церковь, государство, право исчезают из сознания как нелепые химеры, которыми человек от нечего делать, по глупости, населил «простой», «Божий» мир и, наконец, остаются наедине, без докучных посредников, двое — человек и Вселенная:
>
> Против неба, на земле,
> Жил старик в одном селе…
>
> Мысль Чаадаева — строгий перпендикуляр, восстановленный к традиционному русскому мышлению. Он бежал, как чумы, этого бесформенного рая.
> ***(О. Мандельштам. «Петр Чаадаев».)***

Приведенный отрывок отчасти объясняет ужас Мандельштама перед необходимостью жить вне истории, природу его неприспособленности к этому внеисторическому существованию.

Толстой мог жить вне истории, потому что в его распоряжении была другая вечность, гораздо более прочная: Царство Божие.

Для Мандельштама не было другой вечности, кроме Истории. Эта зыбкая земная вечность была ему дороже «десяти небес».

Впрочем, когда исчезает вечность, у художника остается еще одно, последнее прибежище, последняя гарантия нерасторжимости его связи с истиной: совесть.

* * *

Поэт — дитя гармонии. Поэтому каждое проявление дисгармонии для него мучительно, нестерпимо.

Совесть — это тот орган, посредством которого художник чутко реагирует на каждое (даже минимальное, мимолетное) нарушение мировой гармонии.

То, что для простого смертного в достаточной степени обыденно, тривиально, в душе поэта может вызвать взрыв:

Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
Дай-ка я на тебя погляжу —
Ведь лежать мне в сосновом гробу!

А она мне соленых грибков
Вынимает в горшке из-под нар,
А она из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.

— Захочу, — говорит, — дам еще…
Ну, а я не дышу, — сам не рад.
Шасть к порогу — куда там! — в плечо
Уцепилась и тащит назад.

Тишь да глушь у нее, вошь да мша,
Полуспаленка, полутюрьма. —
Ничего, хороша, хороша!
Я и сам ведь такой же, кума.

Что это за «шестипалая неправда», общность с которой, так страшно самобичуясь, ощущает поэт?

Н.Я. Мандельштам прямо связывает этот образ со Сталиным:

> О шестипалости — это, конечно, фольклор, но, кроме того, кличка была и «рябой», и «шестипалый»… Как, ты не знаешь: у него на руке (или на ноге) — шесть пальцев… И об этом будто в приметах охранки.
>
> ***(Надежда Мандельштам. Книга третья.)***

Совесть — рабочий инструмент художника. Это тот орган, посредством которого художник проникает в суть вещей. Поэтому совесть у художника всегда воспалена, она всегда болит.

Некогда предполагалось, что именно это свойство художника и должно быть гарантией его непогрешимости, гарантией нерасторжимости его связи с истиной.

Однако случилось так, что именно оно стало источником особой его уязвимости, его ахиллесовой пятой.

В этом тоже проявилась уникальность взаимоотношений, сложившихся между художником и государством нового типа.

Стальная дубинка сталинского государства ударила Мандельштама в самое больное место: в совесть.

Все шло к тому, чтобы неясный комплекс вины, терзавший душу поэта, принял четкие и определенные очертания вины перед Сталиным.

Сталин говорил от имени вечности, от имени Истории, от имени народа, от имени вековой мечты русской интеллигенции — от имени ее Христа. Он узурпировал даже право говорить от имени самой поэзии, от лица таинственного «ключа Ипокрены».

До поры до времени все эти многочисленные аргументы не действовали на Мандельштама, они были бессильны перед присущим ему сознанием своей правоты.

И вдруг все мгновенно изменилось.

Случилось это «средь народного шума и спеха, на вокзалах и площадях», там, где «шла пермяцкого говора сила, пассажирская шла борьба». Дело тут было уже не в самом Сталине, не в низкорослом и низколобом «кремлевском горце» с жирными пальцами, а в его идеальных чертах, в его облике, в его портрете, который вся эта голодная, нищая толпа вобрала в свою душу, приняла и узаконила так же бессознательно, как она приняла и узаконила словосочетание «враг народа»:

Средь народного шума и спеха,
На вокзалах и площадях
Смотрит века могучая веха
И бровей начинается взмах.

Я узнал, он узнал, ты узнала,
А теперь куда хочешь влеки —
В говорливые дебри вокзала,
В ожиданья у мощной реки.

Дело было не в Сталине, а в народе, к которому Мандельштам впервые прикоснулся своей судьбой, беде которого он причастился, из одной кружки с которым пил:

Далеко теперь та стоянка,
Тот с водой кипяченой бак,
На цепочке кружка-жестянка
И глаза застилавший мрак.

Приложившись губами к этой жестяной кружке, Мандельштам испытал вдруг непреодолимое желание разделить с народом не только его судьбу, но даже и его заблуждения:

А теперь куда хочешь влеки…

Подобно Толстому, который понял, что нельзя очиститься в одиночку, что это есть «величайшая нечистота», Мандельштам не хотел один обладать истиной: «Если народ вне истины, пусть лучше я буду не с истиной, а с народом».

Это чувство слитности со страной, с ее многомиллионным народом было таким мощным, таким всепоглощающим («сильнее и чище нельзя причаститься!» — говорил Маяковский), что оно незаметно перевернуло, поставило с ног на голову все представления Мандельштама об истине, всю его Вселенную:

Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила — и вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла…

Страну, бывшую для него прежде некоей абстракцией, он вдруг увидел воочию («как очевидец»), приобщился к ней, к ее повседневной жизни, пил с нею из одной кружки. И сквозь дальность ее расстояний, сквозь эти орущие, спешащие куда-то толпы людей, сквозь это великое переселение народов он вдруг, как сквозь гигантскую стеклянную чечевицу, заново увидел крохотный лучик адмиралтейской иглы. И этот крохотный лучик, тысячекратно усиленный этой гигантской линзой, зажег его.

Вряд ли слово «чечевица» возникло тут случайно. Уж слишком легко ассоциируется оно с чечевичной похлебкой, за которую библейский Исав продал свое первородство. Не исключено, что подсознательно Мандельштам ощущал происходящую с ним перемену предательством, изменой самому себе. Как бы то ни было, в великой сутолоке спешащих людских толп ему померещился некий созидательный смысл, и он уже готов увидеть в Сталине нового «строителя чудотворного», а в происходящем вокруг — не крах, не конец, но продолжение Санкт-Петербурга, продолжение великого дела Петра, которое тоже ведь началось с такого же бессмысленного перемещения людских толп, с крови, грязи и нищеты, а завершилось — великом городом над Невой, было увенчано адмиралтейской иглой и пушкинским «Медным всадником».

Когда-то, еще до ареста, Мандельштама ужасала мысль о неизбежном конце петербургского периода русской истории. Душа его не могла смириться с концом Санкт-Петербурга, города «Медного всадника» и «Белых ночей».

Но по пути в первую свою ссылку, в Чердынь, «средь народного шума и спеха», Мандельштаму показалось, что петербургский период русской истории продолжается. Лучик петровского Адмиралтейства не угас, он вошел составной частью в этот кровавый пожар.

Мандельштам инстинктивно ухватился за эту надежду, как за последнюю возможность спасенья.

Принять ее — значило признать, что «душегубец и му-жикоборец» прав, что он воистину — «строитель чудотворный».

Но не принять ее было еще страшней: ведь это значило «выпасть» из истории, остаться в стороне от этого «народного шума и спеха», от великого исторического дела. А к бытию вне истории, к внеисторическому существованию, как я уже говорил, Мандельштам был не приспособлен.

Признать разумность происходящего — это было для Мандельштама гораздо больше, чем отказаться от одной исторической концепции и принять другую. Это значило для него не просто отречься от прежних своих взглядов. Это значило отречься от самого себя, от своей души, стереть, выжечь каленым железом из самых глубин подсознания свою прежнюю личность. И он пошел на это.

Слова Мандельштама о том, что он входит в жизнь — «как в колхоз идет единоличник», — не были риторической фигурой. Он действительно как бы вступал в мир заново, отказавшись от всего накопленного им прежде духовного имущества, от всех — без исключения! — даже самых интимных, самых дорогих ему «предметов» своего духовного обихода

Российским интеллигентам, вступившим в жизнь на заре нашего века, досталось пройти через такие испытания, какие и не снились их отцам и дедам. Нет на свете казней и пыток, которые не были бы им знакомы по личному опыту. Немудрено, что их мысль, как магнитная стрелка к северу, неизменно обращалась в эту сторону:

> Но бывает и худшее горе, оно бывает тогда, когда человека мучают долго, так что он уже «изумлен», то есть уже «ушел из ума», — так об изумлении говорили при пытке дыбой, — и вот мучается человек, и кругом холодное и жесткое дерево, а руки палача или его помощника, хотя и жесткие, но теплые и человеческие.
> И щекой ласкается человек к теплым рукам, которые его держат, чтобы мучить. Это — мой кошмар.
>
> ***(Виктор Шкловский. Сентиментальное путешествие.)***

Этот кошмар потом стал реальностью для многих. И вот даже Мандельштам, менее чем кто бы то ни было затронутый духом приспособленчества и конформизма, даже упрямый, независимый, «жестоковыйный» Мандельштам — и тот испытал искреннейшее желание прильнуть щекою к теплым ладоням мучивших его палачей:

На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко,

Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо.
Сухомятная русская сказка! Деревянная ложка —ау!
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?

Если вы окажетесь во власти людей, сделанных из дерева или из железа («Гвозди бы делать из этих людей…»), и однажды в руках одного из них увидите ненароком томик Пушкина, не будет ничего удивительного в том, что деревянные (или железные) руки, держащие книгу вашего любимого поэта, вдруг покажутся вам теплыми, человеческими.

На том же заседании, посвященном 84-й годовщине смерти Пушкина, где Блок говорил о назначении поэта, Владислав Ходасевич высказал предположение, что желание ежегодно отмечать пушкинскую годовщину рождено предчувствием надвигающейся непроглядной тьмы. «Это уславливаемся, — говорил он, — каким именем нам аукаться. Как перекликаться в надвигающемся мраке».

Человек, у которого отняли все, хотел сохранить последнее свое духовное прибежище, последнюю зацепку, последнюю свою связь с самим собою.

Мандельштаму не оставили даже этого. Его убедили, что даже Пушкин принадлежит не ему, а его конвоирам:

Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов,
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов.
Молодые любители белозубых стишков,
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!

Тот самый Мандельштам, который сопротивлялся дольше всех, который не хотел ни за что на свете «присевших на школьной скамейке учить щебетать палачей», испытал вдруг потребность вступить со своими палачами в духовный контакт. Захотев, подобно Ходасевичу, аукнуться с кем-нибудь в надвигающемся мраке, он не нашел ничего лучшего, как крикнуть «ау!» — «трем славным ребятам из железных ворот ГПУ».

Вступая в жизнь заново, «как в колхоз идет единоличник», Мандельштам внутренне смирился с тем, что «обобществили» все его духовное достояние, даже Пушкина.

У него отняли все, не оставив ни малейшей зацепки, ни даже крохотного островка, где он мог бы утвердить свое нетронутое, не уничтоженное, не распавшееся сознание. Единственное, за что он еще мог ухватиться, — было вот это, вновь нажитое: летящая по ветру белая занавеска, кружка-жестянка, «тот с водой кипяченой бак». И можно ли упрекать его в том, что он вцепился в эту занавеску, как в последнюю ниточку, связывающую его с жизнью.

Жить, «дыша и большевея», вступить в жизнь заново, «как в колхоз идет единоличник», — это был единственный выход. Никакой другой альтернативы не было и быть не могло. Существовал только этот, необсуждаемый вариант. Не зря о необходимости жить «большевея» Мандельштам не говорит: «Я хочу». Он говорит: «Я должен!». Это вопль человека, загнанного в ловушку.

Суть художественного творчества состоит в том, чтобы вытащить из себя все самое глубинное, самое тайное, самое сокровенное. Ощутить внезапную боль от самых тайных своих душевных царапин, идущих из детства, из подсознания, из самых глубин личности, — вытащить все это на поверхность и запечатлеть, зафиксировать в слове.

В стихах Мандельштама о его вине перед Сталиным («….и ласкала меня, и сверлила со стены этих глаз журьба…»), при всей их искренности, почти неощутима связь этого конкретного чувства с самыми основами личности художника. Как будто все прежние его жизненные впечатления, знакомые «до прожилок, до детских припухлых желез», были стерты до основания. Не так, как стирался прежний текст на старинных пергаментах, проступавший все-таки сквозь новую запись, а как стирается старая, уже ненужная запись с магнитофонной ленты.

В известном смысле эти, искренние стихи Мандельштама свидетельствуют против Сталина даже сильнее, чем те, написанные под прямым нажимом, едва отличимые от Лебедева-Кумача. Они свидетельствуют о вторжении сталинской машины в самую душу художника.

Мандельштама держали в Воронеже как заложника. Взяв его в этом качестве, Сталин хотел продиктовать свои условия самой Вечности. Он хотел, чтобы перед судом далеких потомков загнанный, затравленный поэт выступил свидетелем его, Сталина, исторической правоты.

Что говорить! Он многого добился, расчетливый «кремлевский горец». В его распоряжении были армия, и флот, и Лубянка, и самая совершенная в мире машина психологического воздействия, официально именуемая морально-политическим единством советского народа. А всему этому противостояла такая малость — слабая, раздавленная, кровоточащая человеческая душа.

Но неужели это и есть — итог, последнее звено, трагическая развязка?

Неужели игру, начатую этим нетривиальным, нешаблонным, столь необычным для него ходом (звонком Пастернаку, резолюцией «изолировать, но сохранить»), Сталин все-таки выиграл?

Неужели все сводится к тому же ужасному финалу, что и роман Джорджа Оруэлла, то есть к тому, что герой нашего повествования, точь-в-точь как затравленный, замордованный герой этого романа, перед тем как погибнуть, **полюбил Большого Брата?**

С этим не мирится, не хочет примириться душа.

Но мало ли с чем душе не хочется, а все-таки приходится мириться!

Нет, дело не в том, что прийти к такому выводу — обидно. Гораздо существеннее другое. То, что это — **неправда** .

Сюжет четвертый
«ЖЕЛТОГЛАЗЫЙ ГОН»

Сам Мандельштам на этот вопрос («Неужели они его все-таки сломали? Неужели он сдался?») ответил стихами:

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета —
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Но те, к кому были обращены эти строки, и без него знали, что, пока он жив, губы его будут шевелиться и лепить те же самые, свободные, не подчиняющиеся их железным установкам, а значит, смертельно опасные для них слова.

И они приняли свои меры.

Письмо Ставского Ежову с просьбой «помочь решить вопрос об Осипе Мандельштаме» (то есть, попросту говоря, арестовать его) было составлено довольно ловко. Оно безусловно было рассчитано на то, что его будет читать Сталин. И тут был один деликатный момент.

Напомнить ли вождю, что речь идет о том самом Мандельштаме, который сочинил стихи про «кремлевского горца», чьи «толстые пальцы, как черви жирны, а слова, как пудовые гири верны»? Нет, вымолвить это было невозможно. Реакция Хозяина в этом случае была непредсказуема.

Но и не напомнить ему об этих стихах тоже было нельзя.

И он пишет:

> Вопрос не только и не столько в нем, авторе похабных, клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа.

«О руководстве партии и всего советского народа» — это изящный эвфемизм. Это значит — о Нем, о Сталине.

Но почему «вопрос не только в нем»?

Потому что этот вопрос однажды уже был решен. Тот, первый арест Мандельштама вызвал гневную резолюцию вождя («Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие!»). И за этот свой гнусный стишок Мандельштам уже был наказан. Причем наказание ему определил сам вождь. А дважды за одну вину не наказывают. Значит, нужно найти другой аргумент, подтверждающий необходимость крутых мер.

И такой аргумент находится:

> …он часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом — литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него «страдальца» — гениального поэта, никем не признанного. В защиту его открыто выступали Валентин Катаев, И. Прут и другие литераторы.

Вот в чем главное зло, главная опасность. Оказывается, автору тех похабных клеветнических стишков сочувствуют. Ему помогают. Его подкармливают. А ведь не может быть, чтобы эти сочувствующие и подкармливающие не знали, ЗА ЧТО он был наказан. Значит, и тем похабным клеветническим его стишкам они тоже сочувствуют. Значит, эти похабные стишки еще живут и отравляют чье-то сознание вредоносным ядом!

Намек сработал безошибочно.

На письме Ставского Ежову стоит дата: 16 марта 1938 года. А штамп «4-го отдела ГУГБ» на том же письме свидетельствует, что получено оно было этим ведомством 13 апреля. Около месяца, стало быть, держал у себя Ежов это письмо, решая, давать или не давать ему ход. Впрочем, решал, надо полагать, не он, а Сталин, которого Ежов с доносом Ставского, конечно же, не мог не ознакомить.

А о том, что главный аргумент Ставского свое действие на решающую инстанцию оказал, свидетельствует сохранившаяся в следственном деле Мандельштама справка, подписанная начальником 9-го отдела ГУГБ Юркевичем:

> По отбытии срока ссылки Мандельштам явился в Москву и пытался воздействовать на общественное мнение в свою пользу путем нарочитого демонстрирования своего «бедственного положения» и своей болезни.
> Антисоветские элементы из литераторов, используя Мандельштама в целях враждебной агитации, делают из него «страдальца», организуют для него сборы среди писателей. Сам Мандельштам лично обходит квартиры писателей и взывает о помощи.
> По имеющимся сведениям, Мандельштам до настоящего времени сохранил свои антисоветские взгляды. В силу своей психической неуравновешенности Мандельштам способен на агрессивные действия.
> Считаю необходимым подвергнуть Мандельштама аресту и изоляции.
>
> ***(Виталий Шенталинский. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. М. 2005, Стр. 245.)***

Та же тема постоянно варьируется и в допросах Мандельштама, протоколы которых сохранились в его следственном деле:

> ВОПРОС. Вы ездили в Ленинград?
> ОТВЕТ. Да, ездил.
> ВОПРОС. Расскажите о целях ваших поездок в Ленинград.
> ОТВЕТ. В Ленинград я ездил для того, чтобы получить материальную поддержку от литераторов. Эту поддержку мне оказали Тынянов, Чуковский, Зощенко и Стенич.

ВОПРОС. Кто оказывал вам материальную поддержку в Москве?
ОТВЕТ. Материальную поддержку мне оказывали братья Катаевы, Шкловский и Кирсанов.
(Там же. Стр. 247.)

В новом деле Мандельштама, конечно, не обошлось без упоминания о главном его преступлении:

…написал резкий контрреволюционный пасквиль против тов. Сталина и распространял его среди своих знакомых путем чтения.
(Там же. Стр. 245.)

Но поскольку за ту свою вину он уже понес наказание, надо было доказать, что подследственный, как было сказано в той же справке Юркевича, «до настоящего времени сохранил свои антисоветские взгляды».

Тут неоценимую помощь следствию оказала приложенная к письму Ставского рецензия П. Павленко, хотя она была написана весьма дипломатично; я бы даже сказал — уклончиво.

* * *

В том же феврале того же 1937 года, когда Мандельштам написал свое покаянное стихотворение, обращенное к Сталину («Головой повинной тяжел…»), было написано другое стихотворение, давшее одному исследователю (Самуилу Лурье) серьезный повод для того, чтобы назвать его **причиной смерти** поэта.

В своем очерке на эту тему (кстати сказать, так прямо и озаглавленном — «Причина смерти») он внимательно вчитывается в текст «экспертного заключения» Петра Павленко, послужившего основанием для последнего ареста Мандельштама, приведшего его к гибели:

…Приходилось намекнуть — не кому-нибудь, а Кормчему, просчетец, мол, с вашей стороны, недосмотр! Но, само собой, не в том смысле, что кто-нибудь гениальней вас понимает литературу, — а что подло воспользовался вашим великодушием гнусный классовый враг…
И Петр Андреевич намекнуть взялся. Написал, что и новые стихи Мандельштама темны и холодны… И для примера выписал строфу: добирайтесь, мол, до смысла сами, а я затрудняюсь:

Где связанный и пригвожденный стон?
Где Прометей — скалы подспорье и пособье?
А коршун где — и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?

Поскольку это единственная цитата в его доносе, — а этот донос (или экспертное заключение, — как вам угодно) убедил Ежова и Сталина, что с Мандельштамом пора кончать, — давайте ненадолго займемся литературоведением. Вчитаемся вместе с ними в четыре роковые строки.
И нам придется признать, что будущий сталинский четырежды лауреат не оплошал — указал на главный, неизлечимый, нестерпимый порок…
И как деликатно указал, и как смело! Другой бы не отважился. Другой вообще не дерзнул бы критиковать стихи о Сталине, — а они, конечно же, о Сталине: кто еще у нас Прометей?

Тому не быть — трагедий не вернуть
Но эти наступающие губы —

Но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.

Он эхо и привет, он веха — нет, лемех…
Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех —
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.

> То есть кто-нибудь другой, верхогляд и ротозей, решил был, чего доброго, что все в порядке: психбольница и ссылка не прошли человеку даром, и наконец-то он поправился и сочиняет то, что все, — пока что еще не совсем как все, но лиха беда начало, а навык — дело наживное. Главное — направление мысли: кого в 1933-м обозвал, говорят, кремлевским горцем — теперь античный титан… Так пускай себе живет старик потихоньку, — дать ему комнату и французского какого-нибудь классика — переводить для денег…
> Ведь и могло так повернуться, если бы не Петр Андреевич! Это он заметил, что сколько автор ни старался, стихи все-таки получились не о Прометее, а о коршуне — он жив и опасен — и на кого, палач желтоглазый, с выпущенными на лету когтями, похож!
>
> ***(Самуил Лурье. Успехи ясновидения. Санкт-Петербург. 2002. Стр. 219—221.)***

В этом проницательном и тонком анализе сомнительно лишь одно: то, что стихи эти о Сталине, что Прометей — это Сталин. («Кто еще у нас Прометей?») Получается, что поэт искренне хотел воспеть «отца народов», изобразив его Прометеем, но не вышло: «сколько автор ни старался, стихи все-таки не о Прометее, а о коршуне».

Я думаю, что смысл стихотворения и изначально был в другом. В том, что время великих трагедий прошло и его не вернуть. По совпадению собственной своей судьбы с судьбой узника-Прометея, казалось бы, он сам мог бы претендовать на эту роль. Но и ему не дано стать «скалы подобьем и пособьем». Нет, Прометеев нынче нет.

А вот коршун — есть! И этот «желтоглазый гон» его когтей, «летящих исподлобья» — примета такая же документально точная, как «шестипалая неправда» в другом его стихотворении, где проглядывает тот же образ.

> …Крестинский мне сказал про Сталина: «Это дрянной человек, с желтыми глазами».
>
> ***(Л. Троцкий. Моя жизнь. Опыт автобиографии. М. 1991. Стр. 427.)***

Так что в самой сути своей догадка Самуила Лурье безусловно верна, смысл павленковского доноса он угадал правильно.

Смысл этот был простой: «Сколько волка ни корми, он в лес смотрит…»

Ну и, конечно: «Горбатого могила исправит».

Разумеется, опытные сталинские следователи состряпали бы Мандельштаму дело и без наводки Петра Андреевича. Да и наводка его предназначалась не им, а — Хозяину. Никому другому, быть может, и в голову бы не пришло подсунуть Сталину туманный стишок опального поэта про «желтоглазый гон» когтей коршуна, «летящих исподлобья».

Следовательский нюх у Павленко был отличный, и его донос достиг своей цели.

СТАЛИН И ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

ДОКУМЕНТЫ

1
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ – СТАЛИНУ
Ессентуки 26 июня 1924

Иосиф Виссарионыч, родной!

Очень здесь хорошо. Я в первый раз в своей жизни почувствовал, что, в сущности, я же никогда так не отдыхал. Даже не имел представления, как можно отдыхать. Мозг похож на воду источника, из которого я пью: прозрачный, с легенькими пузырьками.

Говорю это к тому, что имею намерение агитировать вас приехать сюда хоть на один месяц, если нельзя на больший срок. Отдохнете, и ваша ясная голова станет еще яснее и заиграет этакими свежими пузырьками.

Не дураки буржуи были, что ездили сюда стаями ежегодно. Известный вам сторож Григорий рассказывает мне преинтересные вещи, хоть записывай. Он тут с 1900 года. Насмотрелся.

Присматриваюсь к нынешней публике и я. Какая смесь одежд и лиц. Контрасты. Приметил я одного рабочего. Парализованные ноги иксом. Полуволочатся. Руки тоже вертятся как у Ларина. Но кое-как ходит. И много ходит. Потом можно видеть нэпманочку поразительной красоты и несравненного изящества. Я ее мысленно прозвал «мировая скорбь», потому что она вечно хнычет, стонет, заламывает ручки: «зачем люди рождаются, если надо умирать», «зачем в жизни так много жестокого» и т. п. А позавчера, когда я в парке около полдня грелся на солнышке и полудремал, меня разбудило чье-то веселое мурлыканье на непонятном языке. Что-то вроде бесконечного «чум-бара, чу-чу-чум-бара… ». Оглянулся. Кто поет? Оказалось, вот этот самый полупарализованный рабочий. Поет, едри его мать, хоть бы что! Никакой тебе скорби, ни мировой, ни иной. Меня даже, знаете, вроде электрическим током вдарило. Нет меры пролетарской силе, сказывающейся в его нутряном, несокрушимом оптимизме. — «Живе-е-ем!!»

Вчера вечером видел у источника картиночку: очередь человек двести. Сзади всех стоит с кружечкой Атарбеков. Знаменитый, по вечекистским якобы жестокостям, Атарбеков. Перед ним линия затылков и нэпманских нарядов. Получив свою воду, Атарбеков подошел ко мне, явно расстроенный.

— Вижу, Демьяша, не чисто я работал. Вон того видишь. Я его должен был вывести в расход. А теперь стой за ним в очереди. Дай ему, сукиному сыну, брюшко прополоскать.

Рабочие, те не церемонятся:

— Куда, нэпман, прешь? Не видишь, очередь!

Нэпман покорно становится в очередь, боясь даже поворчать. На всяком месте политграмота.

Вчера же, когда мы разговаривали с Атарбековым, мимо нас по аллее прошло строем около двухсот работниц молодых и пожилых. Идут весело по трое. Мы решили, что с какого-либо собрания. Но представьте мой ужас, когда я, вернувшись к своему флигелю, увидал, что весь дворик запружен этими самыми работницами. Как увидали меня, такое подняли, беда! «Кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали». Ораторша мне заявила, намекая на проволоку вокруг флигеля, что нет таких проволочных заграждений, которых бы не атаковали работницы, желая повидать и приветствовать своего любимца. Поднесли цветы. Я со вкусом лобызался, отвечая на приветствия, еле-еле удерживался, чтоб не заплакать самым идиотским образом. Нервы стали паршивые. А потом и трогательны очень эти работницы. Чистосердечно вам скажу: при нынешних спорах о «партлинии в литературе и искусстве» — мне эти розы от простых баншиц и поломоек дороже всего на свете, и нет такого иезуитско-талмудического аргумента, который бы в моих глазах мог противостоять простым словам нехитрого привета: — «любим мы тебе очень»!

И больше ничего. Да большего и быть не может.

Все это очень хорошо. Я очень рад возможности поделиться с вами моим радостным настроением. Вот только не знал, как быть дальше. «Заявок» тут сделано на меня без числа. И обидеть боюсь, и лечиться надо. А от водников телеграмма, видимо, под впечатлением моего фельетона о евпаторийском железнодорожнике: чтобы я с курорта возвращался непременно через Баку — Каспий — Волга и описал также житье водников. Этого я сделать, к сожалению, не могу.

Разболтался я в этом вашем веселом флигельке. Не обессудьте. Главное-то ведь в том, что я вам настоятельно советую побывать здесь.

Говорят, вы здесь лечились не ахти как аккуратно. Я о себе не могу этого сказать. Питаюсь скудно и все такое, как мне предписано. Увидим, что выйдет. Пока успеха не заметно. Должно быть, крепко запущена эта проклятущая подагра.

Газеты получаю решительно все и аккуратно. Амнистионные нотки вашего «доклада секретарям укомов» не без лукавства. К сожалению, не на ком проверить впечатления. Оппозиция ведь преимущественно центрально-городская штучка.

На сем месте точка. До встречи… если не случится чего глупого, потому что в Ессентуках изрядно «шалят». В вагоне у меня задержано и передано в уголовку двое. Каждую ночь, что я здесь, где-либо происходит сюрприз с ограблением. А так как при мне жена и дочурка, то страхи к ночи принимают ощутительные размеры.

На счастье, я глух на одно ухо, и когда этим ухом сплю, то другое все равно ничего не слышит.

Ну, всего!

Крепко вас любящий

P. S. У вас там от жары собаки бесятся, а у нас здесь все время с прохладцей. А не слишком ли будет жарко зимой… если урожай подведет. Ненадежный это товарищ, Урожай. Нестойкий, сукин сын. Почистить бы его. Скажите там Ярославскому. Он мужик «старательный». В партийные «кулаки» метит.

(см. на обороте).

P. P. S. Смеялся очень, читая разъяснения Раковского о прахе Маркса, насчет которого, де, не хлопотали. Вспомнил я новый анекдот, будто «англичане согласились выдать нам прах Маркса в обмен на… прах Зиновьева!» Остроумные черти!

Слушайте, приезжайте. А потом мы будем «на Типлис гулялся».

Легкомысленный ДЕМЬЯН

2
СТАЛИН – ДЕМЬЯНУ БЕДНОМУ

Дорогой Демьян!

Пишу Вам с большим опозданием. Имеете право ругать меня. Но Вы должны принять во внимание, что я необыкновенный лентяй насчёт писем и вообще переписки.

По пунктам.

1. Это очень хорошо, что у Вас «радостное настроение». Философия «мировой скорби» не наша философия. Пусть скорбят отходящие и отживающие. Нашу философию довольно метко передал американец Уитман: «Мы живы, кипит наша алая кровь огнём неистраченных сил». Так-то, Демьян.

2. «И обидеть боюсь, и лечиться надо», — пишете Вы. Мой совет: лучше обидеть пару-другую посетителей и посетительниц, чем не лечиться по всем правилам искусства. Лечитесь, лечитесь, обязательно лечитесь. Не обидеть посетителей — это интересы минуты. Немножечко обидеть их во имя серьёзного лечения — это уже интересы более длительные. Оппортунисты тем, собственно, и отличаются от своих антиподов, что интересы первого порядка ставят выше интересов второго порядка. Нечего и говорить, что Вы не будете подражать оппортунистам.

3. «Амнистионные нотки Вашего доклада секретарям укомов не без лукавства», — пишете Вы. Вернее было бы сказать, что тут есть политика, которая, вообще говоря, не исключает и некоторого лукавства. Я думаю, что, после того как разбили вдребезги лидеров оппозиции, мы, т. е. партия, обязаны смягчить тон в отношении рядовых и средних оппозиционеров для того, чтобы облегчить им отход от лидеров оппозиции. Оставить генералов без армии — в этом вся музыка. Оппозиция имеет тысяч сорок — пятьдесят человек в партии; большинство из них хотело бы бросить своих лидеров, но мешает им своё собственное самолюбие или грубость, кичливость некоторых сторонников ЦК, изводящих булавочными уколами рядовых оппозиционеров и тормозящих тем самым их переход на нашу сторону. «Тон» моего доклада направлен против таких сторонников ЦК. Так, и только так, можно разрушить оппозицию, после того как её лидеры осрамлены на весь свет.

4. «Не подведёт ли нас урожай», — спрашиваете Вы. Он уже подвёл нас немножечко. Если в прошлом году собрали (валовой сбор) два миллиарда семьсот миллионов с лишним, то в этом году ожидается миллионов на 200 меньше. Это, конечно, удар по экспорту. Поражённых неурожаем хозяйств, правда, нынче в пять раз меньше, чем в 1921 году, и мы без особых усилий можем справиться с этим злом своими собственными силами. В этом можете не сомневаться. Но всё же удар остаётся ударом. Впрочем, нет худа без добра. Мы решили использовать обострившуюся готовность крестьянства сделать всё возможное для того, чтобы застраховать себя в будущем от случайностей засухи, и мы постараемся всемерно использовать эту готовность в целях проведения (совместно с крестьянством) решительных мер по мелиорации, улучшению культуры земледелия и пр. Думаем начать дело с образования минимально необходимого мелиоративного клина по зоне Самара — Саратов — Царицын — Астрахань — Ставрополь. Откладываем на это дело миллионов пятнадцать — двадцать. В следующем году перейдём к южным губерниям. Это будет начало революции в нашем сельском хозяйстве. Местные люди говорят, что крестьянство окажет серьёзную поддержку. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Бич засухи, оказывается, необходим для того, чтобы поднять сельское хозяйство на высшую ступень и застраховать нашу страну от случайностей погоды навсегда. Колчак научил нас строить пехоту, Деникин — строить конницу, засуха учит строить сельское хозяйство. Таковы пути истории. И в этом нет ничего неестественного.

5. «Приезжайте», — пишете Вы. К сожалению, не могу приехать. Не могу, потому что некогда. Советую Вам устроить «на Баку гулялся», — это необходимо. Тифлис не так интересен, хотя он внешне более привлекателен, чем Баку. Если Вы не видали еще лесов нефтяных вышек, то Вы «не видали ничего». Уверен, что Баку даст Вам богатейший материал для таких жемчужинок, как «Тяга».

У нас, в Москве, полоса съездов еще не прошла. Речи и прения на V конгрессе — дело, конечно, хорошее, но это, собственно говоря, одна декорация. Много интереснее дружеская беседа с делегатами Запада (а также Востока), которую мы все здесь вели. Я имел длительную беседу с немецкими, французскими, польскими рабочими. Великолепный революционный «материал»! По всему видно, что там, на Западе, растёт ненависть, настоящая революционная ненависть к буржуазным порядкам. С радостью слушал я их простые, но сильные речи об их желании «устроить революцию по-русски» у себя дома. Это новые рабочие. Таких еще не бывало на наших конгрессах. До революции еще, конечно, не так близко, но что дело идёт к революции — в этом можно не сомневаться. Меня поразила ещё одна черта у этих рабочих: тёплая и сильная, почти материнская любовь к нашей стране и колоссальная, неограниченная вера в правоту, в способности, в могущество нашей партии. От недавнего скепсиса остались рожки да ножки. Это тоже не случайность. Это тоже признак нарастающей революции.

Так-то, Демьян.

Ну, довольно, пока. Крепко жму руку.

Ваш И. Сталин

15. VII. 24 г.

3
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ – СТАЛИНУ О ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА И ДИКТАТУРЕ ПАРТИИ

28 августа 1924 г.

Родной!

Вместо кабардиночки Вы огрели меня трактатом. Это уже подлинные «мысли вслух». Я оказался в лестной и приятной для меня роли оселка, на котором Вы оттачиваете свой кинжал. Что этот стальной кинжал, приобретя блеск и остроту, будет потом всажен, куда следует, в этом я ни на минутку не сомневаюсь. Пока Вы рекомендуете мне «не размножать, не копировать, не кричать». (Считаю необходимым по этому случаю оттенить раз и навсегда, что в моих встречах и разговорах тема «я и Сталин» абсолютно исключена из общения, как тема личная, интимная, как то «нутряное», к чему я отношусь особенно бережно. Не зря же я — сам свой переписчик. Я очень скрытен, как ни странно прозвучало бы для всех, кто привык видеть мою широкую, «открытую» физиомордию. Наедине с собою я хмур. «Андрон Хмурый» — это я сам. Но об этом много говорить. Обратимся к делу.

То, что я «липовый» теоретик — в данном случае не является бедой, так как с такой «липой» в большинстве-то случаев подлинным теоретикам приходится иметь дело. От хорошей «липы» требуется одно: уметь разбираться в том, что ей преподносится, выбирая из преподношений самое пользительное. Трактат Ваш я обсасывал и так, и этак. Поерзал опять по анониму. А потом подошел к теме не Вашим и не «анонимным» путем, а своим, привычным, испытанным, тем путем, каким я подхожу к разрабатываемой мною художественной — и вместе агитационной — теме. На этом пути — могу гордиться — у меня «рюх» не бывало и «ноздря» моя меня не подводила. Я всегда не только чувствую, но вижу своего читателя: как он морщится, как плюется, как ухмыляется, как умиляется. И я знаю, какие слова нужны в каждом отдельном случае. Однажды Владимир Ильич прощупывал меня: чем, дескать, объясняется «колдовство» моего языка, трогающего сердце под серой шинелью. А болел тогда — в начале 1919 года — Владимир Ильич одним вопросом: будут ли наши мужики воевать с белогвардейцами или сплошают? И какими словами убеждать их, возбуждать, заражать боевым пылом? И трогательно теперь вспомнить, как цепко ухватился Ильич за книгу, которую я ему подсунул: «Причитания северного края», собранные Барсовым, часть вторая. ПЛАЧИ ЗАВОЕННЫЕ, РЕКРУТСКИЕ И СОЛДАТСКИЕ». Один уже вид второго тома — сравнительно с первым, — показывает, что книга не просто у Ильича полежала на столе. Ильич говорил мне, ознакомившись с «Завоенными плачами»: «не любит наш мужик воевать. Вон сколько наплакал. Одначе, нельзя ли его этим же языком расшевелить? Нападая на старую солдатчину, так оплаканную, ВЕСЕЛО писать о новой армии?»

Ильич уловил секрет? Именно так, ВЕСЕЛО я и писал все свои фронтовые вещи. Революция наша была голодная, но веселая. Вера была.

И вот еще какой был случай у меня. Но уже с Зиновьевым, зимою, во время профдискуссии в Екатеринбурге. Зиновьев увидал группку красноармейцев, уставившихся на вокзале в большую доску, на которой плакатно было выведено четверостишие, гласившее примерно то, что наша советская страна будет такой,

Где мироедам места нет,
А труженикам — рай.

Точно не помню. Было что-нибудь поскладнее. Зиновьеву стихи не понравились: «тоже рай нашел! И какой это дурак писал?» «Да я же писал!» — пришлось мне ответить: «это мои стихи».

Зиновьеву не понравился «рай». А дощатый плакат на холодном перроне холодного Екатеринбурга холодных и голодных людей убеждал, что будет «рай». И люди верили. Иначе бы у нас ни черта не вышло.

Интуитивно я протаптываю какие-то свои пути. Мышление мое агитационное. О чем бы я ни думал и что бы я ни читал, я прежде всего улавливаю агитационную, побеждающую, убеждающую будущность. И этим чаще всего определяются мои оценки. С таким вот «нетеоретическим» мерилом я подхожу теперь к Вашему «трактату» и к анонимке. То есть: как бы «вольготно» я чувствовал себя, агитируя за эту или за другую формулировку? Что будет звучать убедительнее: «диктатура пролетариата» или «диктатура партии»? Обсосавши трактат и анонимку, и обиюхавши даже их, я должен сыскать свои агитационно-убедительные слова в пользу одной из формулировок. Я ищу. А в голове уже играет ироническое слово:

п а р т ч в а н с т в о.

И этим решается все. На эту тему я мог бы много и превесело писать, но вы, мой хороший друг, такая умница, что в этом не нуждаетесь. Самое сильное у анонима — это цитаты из Ильича, которые не одного меня ошарашили. После Вашего письма эти цитаты, особенно те, что подверглись у анонима талмудическому «обрезанию», выглядят иначе. Ваша цитата — «получается, в общем и целом, формально не коммунистический, гибкий, сравнительно широкий, весьма могучий пролетарский аппарат, посредством которого, при руководстве партии, осуществляется диктатура класса» — эта цитата имеет решающий характер и в моих глазах представляется опорным пунктом.

Ильич о диктатуре пролетариата говорил еще, что она «есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и административная, против сил и традиций старого общества».

При каких же условиях партия, руководящая рабочим классом, может вести успешно эту борьбу? Только в том случае, говорит Ильич, когда партия «пользуется доверием всего честного в данном классе и умеет следить за настроением массы и влиять на него». Это не quos ego! «вот я вас»! И хорош «диктатор», который должен добиваться доверия и «следить за настроением»… подлинного, конечно, диктатора.

В качестве «оселка» я бы мог Вам принести большую, чем ныне, пользу, если бы чего не понял в Вашем письме или с чем не согласился. Этого, «к сожалению», нет. И понятно, и согласен, и благодарен. Есть над чем подумать. И надо думать, потому что после Вашего письма я довольно-таки ясно представляю себе, какая бы получилась война, если бы она не ограничилась тем, что было до сих пор сказано. Это почище спора о «демократии», который является только одной производной частью нынешнего разногласия. На беду, это вопрос, при своей широте, и крайне острый. Можно сделать «перегиб» в сторону умаления партии. Ведь острота споров и заключается в «перегибах». И в «третьем радующемся». Если самые лучшие муж и жена круто заспорят, хотя бы распринципиально, спор может кончиться тем, что либо муж кого-то вы[ебе]т, либо у него жену у[е]бут. Я уверен, что мы с вами и от чужого не откажемся, и своего не упустим, а если упустим, так потому, что — «она блядь». Хотя бы и увешанная цитатами.

Интересно все-таки.

Жму руку.

ДЕМЬЯН

28/8 24 г. Кремль

4
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ — СТАЛИНУ

О «ПРОТЕКЦИОННОМ» ВАГОНЕ

4 декабря 1925 г.

ЦК ВКП(б)

Тов. СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!

В конце минувшего ноября месяца мне из ЦКК было сообщено, что состоится специальное заседание президиума ЦКК для обсуждения вопроса о протекционных вагонах, а в частности, и о моем вагоне и что мое присутствие на означенном заседании необходимо.

Я сообщил, что предпочту, чтобы вопрос о моем вагоне решался без меня. Мне казалось, что вопрос об оставлении в моем распоряжении вагона не может возбудить никаких сомнений, так как целесообразность такой привилегии доказана семилетней практикой.

На днях я получил нижеследующую выписку из протокола № 118 заседания президиума ЦКК от 23 XI с. г.

СЛУШАЛИ:

О протекционных вагонах и пользовании протекционным вагоном тов.

Демьяном Бедным.

ПОСТАНОВИЛИ:

4. Не возражать против оставления за Демьяном Бедным протекционного вагона с тем, чтобы он был использован исключительно для деловых поездок по разовым мандатам (Прин[ято] 3 голосами против 2-х).

ОСОБОЕ МНЕНИЕ т.т. Ярославского и Чуцкаева. «Считать, что в интересах поддержки престижа тов. Д. Бедного, как коммуниста и как пролетарского поэта, необходимо отменить расход на содержание протекционного вагона (превышающий 10 000 рублей в год).

Итак, постановление об оставлении в моем распоряжении вагона прошло всего большинством одного голоса: три против двух. Эти два — авторитетные товарищи и члены президиума ЦКК, т.т. Ярославский и Чуцкаев. Могу ли я пренебречь их «особым мнением».

Я сделал естественный вывод, что при таком расхождении мнений в составе Президиума ЦКК я не могу дальше пользоваться протекционным вагоном без особого постановления Центрального Ком. партии, подтверждающего несомненную, установленную фактами, целесообразность такого пользования.

Аргументировать лично в пользу такого постановления ЦК я не в состоянии по той же самой причине, по какой я отказался это делать перед президиумом ЦКК. Мне пришлось бы давать самому себе оценку, разъяснять методы моей работы и их своеобразие, ссылаться на ту исключительно важную роль, какую вагон играл в моей работе в фронтовое и последующее время, говорить о плодотворности того контакта в любой момент с любым местом, какой создается наличием «всегда готового», оборудованного для моей работы вагона, и т. д. и т. д.

Уже самая необходимость в такого рода с моей стороны аргументации доказывала бы, что во мнении если не всей руководящей части партии, то значительной ее группы произошло явное снижение оценки моей работы. Тогда о чем говорить? Надо будет сделать дальнейший вывод — и только. А у поэтов, как известно, выводы делаются сами собою:

Их голос сорванный дрожит
От незаслуженной обиды.

Нельзя, однако, не отметить странности «особого мнения». Вагон надо отобрать у меня для поддержки моего «престижа». Стало быть, я целых семь лет, пользуясь вагоном, непрерывно ронял свой престиж. Товарищу Ярославскому полезно было бы проделать со мною одну, не дутую, не прорекламированную в газетах, поездку в любой провинциальный город и убедиться, насколько «уронен» мой престиж. Он с удивлением убедился бы в том, что не только благодаря вагону престиж не уронен, но сам злополучный вагон превратился в

сюжет трогательной легенды: «тов. Ленин дал Демьяну Бедному вагон, чтобы Демьян ездил по России да смотрел, хорошо ли народ живет» (см. журн[ал] «Печ[ать] и револ[юция]» за тек[ущий] год).

«Дал Ленин». Разве это не верно? «Ленин» мне много дал, ничего не отбирал. Нужно ли, чтобы легенда о вагоне приобрела внезапный конец: — «умер Ленин, и вот у Демьяна…», или «Проштрафился Демьян, и вот у него…». Пользы от обоих вариантов мало.

«Особое мнение». Было время, вы помните его, Иосиф Виссарионович, так как вам пришлось тогда ратовать за меня — было время, когда меня чуть политически не угробила таким вот «а-ля Ярославский» подходом покойная Конкордия Самойлова. Сколько усилий было сделано Владимиром Ильичем, чтобы вернуть меня в старую «Правду». Противодействие Самойловой и ее группы было сломлено. Самойловой пришлось уйти. Теперь через двенадцать лет — можно взвесить, много ли бы выиграла партия, если бы победила Самойлова. («И пишет в «Правде» по складам элементарная мадам».) Такой ли уж это несущественный пустяк — вышвырнуть из арсенала партии мои десять томов, десять снарядов со взрывчатой начинкой!.. Самойлова была по-своему честной. Но она меня «ела». Будь она теперь членом президиума ЦКК — а это могло быть так, она, вне всякого сомнения, осталась бы тоже при «особом мнении». Элементарность.

Я больше скажу, раз уж мне волей-неволей пришлось писать это письмо, которое останется в партархиве и попадет на глаза нашим партпотомкам, я считаю, что я окреп и существую, как «Демьян Бедный», имея потенциально «против себя» громаднейшую часть, «подавляющее большинство» нашей, более меня старой, верхушечной партинтеллигенции, в оформлении революционного сознания и воли которой я не участвовал и потому кажусь ей «явлением десятого разряда». Ольминский пишет (Эпоха «Звезды» и «Правды»), что на меня, нового пришельца, «старики косились». Это мягко сказано. Меня чуть не погубили! Дальше было не легче. «Подавляющее» большинство меня не подавило только потому, что не оно решало целиком дело. Были читатели. Был Ильич и еще кое-кто. И я сам не из навоза сделан: упорствовал. Не скрою: я тоже интеллигентщину недолюбливал. Она труслива. Прихорашивается. «Упрощается».

— Ах, как бы чего мужик или рабочий не сказал!

— Ах, как бы он чего не подумал!

Маскарад прежде бывших добрых старых народолюбцев. Кому он был нужен? Мужик, скажем, барина нюхом берет. Его не обманешь. Страх твой он уловит. У меня этого страху никогда не было и быть не могло. «Вот я — таков, каков уж есть, мужик и сверху и с изнанки. С отцом родным беседу весть я не могу без перебранки». И разве я не перебранивался с мужиками? Натурально. В Калуге, напр., был случай на крестьянском совещании: осердившись, я стал «крыть» мужиков. А они с криками: «Крой! Тебе можно!» — бросились ко мне и чуть не задушили своей лаской. Этой потехе был свидетель тов. Л. Сосновский.

А вот у т. Ярославского есть страх. Он боится за меня. Думает, что меня надо «прихорашивать». «Поддержать престиж»… отнятием вагона. Недавно другой интеллигент, тоже член ЦКК, тов. Смидович, пошел еще дальше в желании «поддержать» мой престиж: он настоятельно рекомендовал мне, отдыхая на солнышке в Сочи, чтобы я надел лапти, взял посох и ушел на несколько лет в странничество. Какой это стариной пахнет! И каким незнанием народа! В этом отношении насколько трезв М. И. Калинин. Когда заграничные, уже чужие, враждебные, интеллигенты стали в газетах подхихикивать тоже насчет вагона, Калинин резонно ответил: «очевидно, они иначе не мыслят: если ты крестьянин или рабочий, то, какую бы ты обязанность ни исполнял, можешь продвигаться по святой Руси на крыше вагона или пешком, с посохом в руках на манер деревенских юродивых, на посмешище врагов рабочих и крестьян» («За эти годы», стр. 9).

Но в отношении меня т. Смидович — а он для меня лицо собирательное, обобщенное — договорился прямо до чудовищных вещей: «Ничего б я вам так не пожелал, Демьян, как того, чтобы на вас обрушилось какое-либо ужасное несчастье. Тогда ваш талант засверкал бы новыми красками. Мы могли бы насладиться дивными стихами…» и т. д.

Крайне своеобразное мнение тов. Смидовича напомнило мне о существовании в прежние блаженные времена особых, тонких ценителей соловьиного пения, которые придерживались того мнения, что для того, чтобы соловей запел исключительно хорошо, надо, чтобы на него тоже «обрушилось ужасное несчастье»: надо ему выколоть глаза, ослепить его.

В применении ко мне можно сказать, что я без вагона в изрядной таки мере «ослепну», но чтоб я лучше от этого запел, сомнительно.

Вот к чему может привести, ничем худым не вызванная, «поддержка» моего престижа.

«Худое», впрочем, как можно догадаться, заключается в том, что я ездил лечиться в вагоне. Правда, я не только лечился, но и работал, так как при мне было все, что мне было нужно. Работаю-то я все-таки как целое «учреждение», как добрый «цех поэтов». Это же неоспоримо? Если бы я, как было условлено с тов. Орджоникидзе, сделал поездку по Кавказу, то отпал бы «личный» момент в пользовании вагоном? Разве не было лучше то, что он, вагон, был бы под рукой, а не вызывать его из Москвы. К чему ж создавать неудобства ради «формы»? Но, к сожалению, у меня так сложились обстоятельства, что мне пришлось ехать скорей в Москву. И не по личным делам. У меня их нет: я весь в своей работе. Даже когда я ковыряю пальцем в носу, то это не значит, что я только этим и занят, а не обдумываю, скажем, ответ на «особое мнение».

В постановлении ЦКК, как знак недоверия ко мне по вагонной части, предложено мне пользоваться вагоном только по «разовым мандатам». Против этого я категорически протестую, так как этим создается ненужная, формальная, отнимающая много времени, обременительная канитель. У меня секретарей нет гонять каждый раз за мандатами. Да и вопрос о доверии не пустяк. Если ЦК утвердит вагон за мной, я просил бы об оставлении прежнего порядка пользования вагоном по постоянному персональному, на мое имя, мандату НКПСа. Иначе мне пользоваться им, в сущности, невозможно. Я никогда не буду гарантирован, что мой вагон «всегда готов», а не угнан в какую-либо поездку. «Постоянный» вагон с «разовыми» мандатами — это какой-то нонсенс.

С товарищеским приветом

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

P. S. Я прошу извинения, что я все-таки был пространен в письме, тогда как я мог в качестве ответа на «особое мнение» ограничиться просто ссылкой на нижеследующую давнюю мою басню, как будто специально написанную в предвидении казуса с вагоном.

КОНЬ И ВСАДНИК

Какой-то всадник благородный,
Покамест был он на войне,
Не чаял, кажется, души в своем Коне:
Сам по три дня сидит, случалося, голодный,
А для Коня добудет и сенца,
И овсеца,
Накормит вовремя и вовремя напоит!
Но кончилась война, и честь Коню не та:
Товарищ боевой двух добрых слов не стоит,
Иль стоит… доброго кнута!
Насчет овса уж нет помину:
Кормили вьючную скотину
Соломой жесткой и сухой,
А то и попросту трухой.
В работе черной Конь в погоду, в непогоду
То тащит кладь, то возит воду…
Но подошла опять война,

И тощему Коню вновь почесть воздана:
Оседлан пышно Конь, причищен и приглажен.
Однако же когда, суров и важен,
В доспехи бранные наряжен,
Сел Всадник на Коня, Конь повалился с ног
И, как ни силился, подняться уж не мог.
— Хозяин! — молвил он, вздохнув: — по доброй воле
Ты обратил Коня в забитого осла, —
Так не ищи ж во мне ты прежней прыти боле:
Нет прыти у меня: СОЛОМА УНЕСЛА!
1914 г.

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

5
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ — СТАЛИНУ
ЭПИГРАММА НА ТРОЦКОГО «В ЧЕМ ДЕЛО?!»
8 октября 1926 года

Демьян БЕДНЫЙ Москва Кремль 8/X 1926 г.
Иосиф Виссарионович!
Посылаю — для дальнейшего направления — эпиграмму, которая так или иначе должна стать партийным достоянием. Мне эта хуёвина с чувствительными запевами — «зачем ты Троцкого?!..» надоела. Равноправие так равноправие! Демократия так демократия!
Но именно те, кто визжит (и не из оппозиции только!), выявляют свою семитическую чувствительность…

В ЧЕМ ДЕЛО?!
Эпиграмма

Скажу — (Куда я правду дену?)
Язык мой мне врагов плодит.
А коль я Троцкого задену,
Вся оппозиция галдит.

В чем дело, пламенная клака?
Уж растолкуй ты мне добром:
Ударю Шляпникова — драка!
Заеду Троцкому — погром!

6
ЗАПИСКА СТАЛИНА
И ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО
«О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ тов. ДЕМЬЯНА БЕДНОГО»
9 июля 1928 г.

СТАЛИН – В ПОЛИТБЮРО

Членам П. Б.

Демьян Бедный в опаснейшем положении: у него открыли 7% сахара, он слепнет, он потерял 1/2 пуда веса в несколько дней, его жизни угрожает прямая опасность. По мнению врачей, нужно его отправить поскорее заграницу, если думаем спасти его. Демьян говорит, что придется взять с собой жену и одного сопровождающего, знающего немецкий язык. Я думаю, что надо удовлетворить его.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО

П. 32. Слушали: О состоянии здоровья тов. Демьяна Бедного

П. 32. Постановили:

Немедленно направить тов. Демьяна Бедного для лечения заграницу с двумя сопровождающими (после правки Сталина: «…с женой и одним сопровождающим, знающим немецкий язык»).

2. Справиться с врачами о дне отправки и обязать тт. Менжинского и Карахана устроить дело отправки инкогнито» (добавлено: «тт.»),

СТ.

Выписки: Самсонову, Демьяну Бедному, Чичерину, Менжинскому (было: «Трилиссеру»).

Итоги голосования: «За» — Рыков, Рудзутак, Молотов, Бухарин, Томский, Калинин, Куйбышев, Ворошилов.

7
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ – СТАЛИНУ
ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ НА ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИЮ
20 сентября 1928 г.

Дорогой мой, хороший друг.

После девятинедельного отсутствия я снова дома. Вы меня не узнаете, до чего я стал «элегантен». Здорово меня немцы отшлифовали. Был у меня вчера Молотов, и я ему красочно изобразил, какова разница между немецкими врачами и нашими партачами. Молотов прямо руками разводил. Разведете и Вы, когда я повторю Вам то же самое.

До Берлина я доехал в плохом состоянии. В Берлине меня нагнал проф. Фромгольдт, и мы втроем: я, сопровождающий от ГПУ и Фромгольдт, махнули во Франкфурт-на-Майне к этому самому знаменитому проф. Ноордену.

Немецкая знаменитость оказалась не дутою. У него, у Ноордена, знаете, тоже ясная голова. Все его приемы чертовски просты, методы ясны ребенку, а повторить их никто не может с такой четкостью и с такими результатами. Сахар в моче у меня исчез и два месяца не обнаруживается, хотя исследования производились трижды в день. Кровь имела у меня вместо предельной нормы в 120 — ровно вдвое: 237—240. Да еще ацетоны роковые! Ацетоны исчезли вместе с мочевым сахаром. Сахар в крови — «блютцуккер» — сдавался не сразу. Задержался на 175. Потом дошел до 147. Потом дал 123. Потом опять к 147. Было предположение, что здесь будет моя диабетическая точка. И вдруг сахар сорвался и полетел к 115. Старый Ноорден, несмотря на свою выдержанность, крякнул: «гленценд». Блестяще. После этого меня переправили в Баден-Баден к сыну Ноордена в санаторию. В Б[аден]-Б[аде]не шлянье по горам, ванны, массаж и т д. Блютцуккер пошел еще ниже и заболтался между 90 и 100. В таком положении вернулся я во Франкфурт «на проверку». Неделя проверки показала, что кровь у меня «ганц нормаль» и что я могу ехать домой. Ехать, однако, с тем, чтобы ровно через полгода вернуться снова к старому Ноордену для того, как пишет в аттестате Ноорден, «чтобы блестящий результат зафиксировать на долгое время». Жить эти полгода я должен по Ноорденовскому расписанию: питаться тем, что он указал, и так, чтобы не прибавлять и не терять веса. Потеряно больше пуда, и опасно сразу терять больше. При

повторном лечении я должен буду потерять еще полпуда для того, чтобы иметь свой совершенно нормальный — по моему росту — вес.

Как трудно самому работать под Ноордена, показал первый московский день. Вчера утром я стал на весы, так как должен был держать Ноорденовский «овощной день». Сегодня проверился: два фунта с четвертью потери в один день. Небывалая штука. Я должен, значит, что-то делать, чтобы таких падений не было. Предстоит, словом, несколько надоедливая самовозня. Но что поделаешь. Самочувствие же у меня распрекрасное и настроение тоже.

В «неметчину» я приехал немым. Меня это так озлобило, что я с азартом стал усваивать немецкий язык. Азарт в чтении был такой, что Ноордены меня пробовали осаживать. Тем не менее, я арендовал немку и два часа в день насиловал ее своими «немецкими» разговорами. Пускался в разговоры, где только было можно и с кем угодно. Нахальство было большое. А результат еще больший. Газеты я читаю свободно, и книги — трудные — почти свободно, а обыкновенные читаю легко-легко. Предвидятся дальнейшие успехи, так как я прикупил немецких книжонок и очень даже замечательных книжонок, которые читаю запоем: книги политические, касающиеся современного Германии, или такие, как вышедшие на днях пресловутого генерала Гофмана, которые мною будут весьма использованы, как и многое другое. В моих будущих писаниях неметчина займет большое место. С немцами нам придется расхлебывать сообща политич[ескую] кашу. Хорошие в общем люди. Точней: много хороших людей, набирающихся понемногу ума-разума, и с каждым днем их делается больше. Некуда им податься.

Да, так это я о чтении. Но я и насобачился в разговоре настолько, что никакой беглейтер «для разговора» мне больше не нужен. Разве для чего другого. Все эти полгода буду два часа ежедневно тренироваться в разговоре с немкой. Во вторичную поездку поеду достаточно мобилизованным, чтобы нахвататься еще больше впечатлений, чем теперь. Хотя и теперь их — на большую книгу. Попробую, что выйдет. Накануне отъезда из Берлина мне знакомый приказчик в книжном магазине преподнес многословную рекламу о выходящей на днях книге «Ди вирклихе ляге ин Русслянд». Автор — «Лео Троцки». Согласно извещению «из этой книги мир впервые узнает истину относительно борьбы между «Троцки» и… одним моим приятелем, опирающимся на «коммунистише бюрократии». «Мит цальрейшен документаришен Бевейзен» «страдальчески жалобный голос» «лейденшафтлихь анклягенде Штамме» Троцкого известит мир, что «унтер дем геген-вертиге Режиме дер Большевизмус ейне рашес Энде ентгегентрейбт»! «При современном режиме большевизм идет к скорому концу»! Что и требовалось доказать! Предвидится «ди публицистише сенсацион»! А я буду иметь еще одну книжицу для упражнений в немецком языке! Она мною заказана и будет получена с первой почтой.

Даже на основании того, что я мог увидеть за такой короткий срок и при таких не совсем благоприятных условиях для наблюдений — я все же пришел к непоколебимому выводу, что если что и идет к концу, то не нынешний, ненавистный Троцкому большевизм. Для этого совсем не нужно пользоваться аргументом «буржуазия разлагается». Наоборот, внешне все сверкает и ошарашивает. Но надо быть совершенно слепым, или абсолютно глупым, или в корне нечестным человеком, чтобы не увидеть, не уразуметь и не признать, что в Европе старый порядок не идет, а неудержимо летит к концу. Потеряна ориентация. И пропал здоровый инстинкт, как он пропадает у существ, которые обречены на гибель. В сущности, это могло бы быть ясно самим обреченным, что дело их конченое. Моментами того или другого из современных горе-политиков «осеняет»: погибаем. Но каждый погибающий — как я со своим диабетом — внезапно испугавшись, спешит успокоить себя надеждами, которые тем обольстительнее, чем они несбыточнее.

Мне очень хочется оформить печатно свои впечатления, но я боюсь, не будет ли моя работа скороспелой и не верней ли будет взяться серьезно за такую книжицу после второй поездки. Я знаю, я чувствую, что кое-что я увидел «по-своему». Но боюсь, поторопившись, сделаться смешным. А мне уже это не пристало. Посмотрим, увидим. Но пока я полон замыслов и желания скорее взяться за работу. Я имел достаточный досуг и соответствующую

обстановку, чтобы немного пораздумать о себе, о своей бывшей работе, чтобы без излишней, неискренней скромности сказать самому себе: многое я мог бы сделать лучше, но и то, что сделано, сделано не плохо, и никто другой моей работы пока сделать не может. И скромность тут ни при чем, если я скажу, что чертовски недостает немецким коммунистам вот такого немудрого писателя, как я: немецкий Д. Б[едны]й мог бы иметь еще большее значение, так как в Германии почти все грамотны. Столько материалу для высмеивания и разжигания. И грубый юмор так немецкое простонародье любит!

Дописался я до саморасхваливанья. Это потому, что крепко соскучился по всём родном, по вас, и… по самом себе. Заграницей я был чужой.

Подумал я было махнуть к Вам туда, в Сочи, да передумал, лучше пошлю письмо сначала. Может, Вы так скоро вернетесь, что уж лучше Вас здесь дождаться, а кроме того, тяжело мне будет глядеть — на зажаренного барашка и прочую приятную остроту, к чему нельзя и прикоснуться. Такая досада!!

Баба моя влюбилась в Европу. Вот чистота! Вот порядок!Вот!.. Вот!.. Вот!..

И на это пальцем ткнет, и на это. Димочке, и Светику,и Тамарочке, и Сусанночке!.. Детей много, и каждому есть что взять, а взять не на что. Измучилась бедная женщина. Станет у иного магазинного окна и умирает, умирает. Оттащишь, а она в следующее окно уставится. Глаза мутные, изо рта слюни.

Вот до чего была смешная и жалкая! У нее, наверное, тоже диабет. Потому что эта болезнь, оказывается, есть результат «перекалки», «перерасхода» своей энергии, организм «отказывается» работать, а сильные волнения именно и дают такую перекалку. И сам теперь буду изображать «цацу», которую нельзя волновать, на которую нельзя наседать, которая, вообще, уже ни к черту не годится, но еще пытается шевелить лапками.

Впрочем, Ноорден в ответ на мое скептическое замечание, что я все равно долго не протяну, ответил остроумно и не без лукавства: «у Вас еще будет достаточно времени, чтобы сделать много справедливого и… несправедливого».

Умный старик.

А кончу я свое «коротенькое» письмо одним пожеланием: не болезни ради, а ради иных результатов, побывать бы Вам под шапкой-невидимкой месяц-другой заграницей. Ай-ай-ай, как бы это, представляю я, было хорошо. Ай, как хорошо. Этак с трубочкой в зубах сощурились бы Вы, да поглядели, да усмехнулись, да крякнули, да дернули бы привычно плечом, а потом бы сказали: «во-первых… во-вторых… в-третьих…»

Коротко и ясно.

Ясная вы голова. Нежный человек. И я Вас крепко люблю.

Ваш ДЕМЬЯН

20 сентября 1928 г.

Кремль

8
ПИСЬМО Д.БЕДНОГО И.В. СТАЛИНУ
8 декабря 1930 г.

Иосиф Виссарионович!

Я ведь тоже грамотный. Да и станешь грамотным, «как дело до петли доходит». Я хочу внести в дело ясность, чтобы не было после нареканий: зачем не сказал?

Пришел час моей катастрофы. Не на «правизне», не на «левизне», а на «кривизне». Как велика дуга этой кривой, т. е. в каком отдалении находится вторая, конечная ее и моя точка, я еще не знаю. Но вот, что я знаю, и что должны знать Вы.

Было — без Вас — опубликовано взволновавшее меня обращение ЦК. Я немедленно его поддержал фельетоном «Слезай с печки». Фельетон имел изумительный резонанс: напостовцы приводили его в печати, как образец героической агитации, Молотов расхвалил

его до крайности и распорядился, чтобы его немедленно включили в серию литературы «для ударников», под каковым подзаголовком он и вышел в отдельной брошюре, — даже Ярославский, никогда не делавший этого, прислал мне письмо, тронувшее меня (см. приложение). Поэты — особенный народ: их длебом не корми, а хвали. Я ждал похвалы человека, отношение к которому у меня всегда было окрашено биографической нежностью. Радостно я помчался к этому человеку по первому звонку. Уши растопырил, за которыми меня ласково почешут. Меня крепко дернули за эти уши: ни к черту «Слезай с печки» не годится! Я стал бормотать, что вот у меня другая любопытная тема напечатана. Ни к черту эта тема не годится!

Я вернулся домой, дрожа. Меня облили ушатом холодной воды. Хуже: выбили из колеи. Я был парализован. Писать не мог. Еле-еле что-то пропищал к 7 ноября.

7 ноября мы с Вами встретились. Шуточно разговаривая с Вами, я надумал: дурак я! Зачем я бездарно излагаю ему в прозе план фельетона, когда могу написать этот фельетон даровито и убедить его самим качеством фельетона.

Я засел за работу. Работал каторжно. Тяжело было писать при сомнительном настроении, да еще в гриппу. Написал. Сдал в набор. Около 12 ч[асов] ночи в редакции произошла заминка: Ярославский считал, что вводная часть, будучи слишком исторической, ослабляет вторую, агитационную, не выбросить ли эту вводную часть? Я не сопротивлялся. Но Ярославский, увидя, должно быть, по моему огорченному лицу, что мне этим причиняется боль, сказал: но все же пусть идет, раз набрано и сверстано. Ярославский уехал. Я остался со своими раздумьями. Я знал то, чего он, Ярославский, не знал: у меня будет придирчивый читатель в Вашем лице. А вдруг не удастся мне покорить этого читателя?

Подумавши, я категорически заявил Мехлису и Савельеву: снимаю первую часть! Пошел переполох, так как позднее время, а тут переверстка. Дали знать Ярославскому. Тот меня вызвал к телефону и настойчиво предложил «не капризничать», как ему казалось. Пусть идет весь фельетон. Уговорить меня было не трудно.

Вот и все!

Живой голос либо должен был мою работу похвалить, либо дружески и в достаточно убедительной форме указать на мою «кривизну». Вместо этого я получил выписку из Секретариата. Эта выписка бенгальским огнем осветила мою изолированность и мою обреченность. В «Правде» и заодно в «Известиях» я предан оглашению. Я неблагополучен. Меня не будут печатать после этого не только в этих двух газетах, насторожатся везде. Уже насторожились информированные Авербахи. Охотников хвалить меня не было. Охотников поплевать в мой след будет без отказа. Заглавия моих фельетонов «Слезай с печки» и «Без пощады» становятся символическими. 20 лет я был сверчком на большевистской печке. Я с нее слезаю. Пришло, значит, время. Было ведь время, когда меня и Ильич поправлял и позволял мне отвечать в «Правде» стихотворением «Как надо читать поэтов» (см. седьм[ой] т[ом] моих сочинений, стр. 22, если поинтересуетесь). Теперь я засел тоже за ответ, но во время писания пришел к твердому убеждению, что его не напечатают или же, напечатав, начнут продолжать ту политику по отношению ко мне, которая только согнет еще больше мою кривую и приблизит мою роковую катастрофически конченную точку. Может быть, в самом деле, нельзя быть крупным русским поэтом, не оборвав свой путь катастрофически. Но каким же после этого голосом закричала бы моя армия, брошенная полководцем, мои 18 полков (томов), сто тысяч моих бойцов (строчек). Это было бы что-то невообразимое. Тут поневоле взмолишься: «отче мой, аще возможно есть, да мимо идет мене чаша сия»!

Но этим письмом я договариваю и конец вышеприведенного вопроса; «обаче не якоже ан хощу, но якоже ты»! С себя я снимаю всякую ответственность за дальнейшее.

Демьян Бедный

9
ПИСЬМО И.В. СТАЛИНА Д.БЕДНОМУ

12 декабря 1930 г.

Т[овари]щу Демьяну Бедному.

Письмо Ваше от 8.XII получил. Вам нужен, по-видимому, мой ответ. Что же, извольте.

Прежде всего о некоторых Ваших мелких и мелочных фразах и намеках. Если бы они, эти некрасивые «мелочи», составляли случайный элемент, можно было бы пройти мимо них. Но их так много и они так живо «бьют ключом», что определяют тон всего Вашего письма. А тон, как известно, делает музыку.

Вы расцениваете решение [Секретариата] ЦК, как «петлю», как признак того, что «пришел час моей (т. е. Вашей) катастрофы». Почему, на каком основании? Как назвать коммуниста, который, вместо того, чтобы вдуматься в существо решения [исполнительного органа] ЦК и исправить свои ошибки, третирует это решение, как «петлю»?

Десятки раз хвалил Вас ЦК, когда надо было хвалить. Десятки раз ограждал Вас ЦК (не без некоторой натяжки!) от нападок отдельных групп и товарищей из нашей партии. Десятки поэтов и писателей одергивал ЦК, когда они допускали отдельные ошибки. Вы все это считали нормальным и понятным. А вот, когда ЦК оказался вынужденным подвергнуть критике Ваши ошибки, Вы вдруг зафыркали и стали кричать о «петле». [Почему], на каком основании? Может быть, ЦК не имеет права критиковать Ваши ошибки? Может быть, решение ЦК не обязательно для Вас? Может быть, Ваши стихотворения выше всякой критики? Не находите ли, что Вы заразились некоторой НК^риятной болезнью, называемой зазнайством? Побольше скромности, т. Демьян.

Вы противопоставляете т. Ярославского мне (почему-то мне, а не Секретариату ЦК), хотя из Вашего письма видно, что т. Ярославский сомневался в необходимости напечатания первой части фельетона «Без пощады», и лишь поддавшись воздействию Вашего «огорченного лица» — дал согласие на напечатание. Но это не все. Вы противопоставляете далее т. Молотова мне, уверяя, что он не нашел ничего ошибочного в Вашем фельетоне «Слезай с печки» и даже «расхвалил его до крайности». Во-первых, позвольте усомниться в правдивости Вашего сообщения насчет т. Молотова. Я имею все основания верить т. Молотову больше, чем Вам. Во-вторых, не странно ли, что Вы ничего не говорите в своем письме об отношении т. Молотова к Вашему фельетону «Без пощады»? А затем, какой смысл может иметь Ваша попытка противопоставить т. Молотова мне? Только один смысл: намекнуть, что решение Секретариата ЦК есть на самом деле не решение этого последнего, а личное мнение Сталина, который, очевидно, выдает свое личное мнение за решение Секретариата ЦК. Но это уж слишком, т. Демьян. Это просто нечистоплотно. Неужели нужно еще специально оговориться, что постановление Секретариата ЦК «Об ошибках в фельетонах Д. Бедного «Слезай с печки» и «Без пощады» принято всеми голосами наличных членов Секретариата (Сталин, Молотов, Каганович), т.е. единогласно? Да разве могло быть иначе? Я вспоминаю теперь, как Вы несколько месяцев назад сказали мне по телефону: «оказывается между Сталиным и Молотовым имеются разногласия. Молотов подкапывается под Сталина» и т. п. Вы должны помнить, что я грубо оборвал Вас тогда и просил не заниматься сплетнями. Я воспринял тогда эту Вашу «штучку», как неприятный эпизод. Теперь я вижу, что у Вас был расчетец — поиграть на мнимых разногласиях и нажить на этом некий профит. Побольше чистоплотности, т. Демьян…

«Теперь я засел, — пишете Вы, — тоже за ответ, но во время писания пришел к твердому убеждению, что его не напечатают или же, напечатав, начнут продолжать ту политику по отношению ко мне, которая только согнет еще больше мою кривую и приблизит мою роковую катастрофически конченную точку. Может быть, в самом деле, нельзя быть крупным русским поэтом, не оборвав свой путь катастрофически».

Итак, существует, значит, какая-то особая политика по отношению к Демьяну Бедному. Что это за политика, в чем она состоит? Она, эта политика, состоит, оказывается, в том, чтобы заставить» «крупных русских поэтов» «оборвать свой путь катастрофически». Существует, как известно, «новая» (совсем «новая»!) троцкистская «теория», которая

утверждает, что в Советской России реальна лишь грязь, реальна лишь «Перерва». Видимо, эту «теорию» пытаетесь Вы теперь применить к политике ЦК в отношении «крупных русских поэтов». Такова мера Вашего «доверия» к ЦК. Я не думаю, что Вы способны, даже находясь в состоянии истерики, договориться до таких антипартийных гнусностей. Недаром, читая Ваше письмо, я вспомнил Сосновского…

Но довольно о «мелочах» и мелочных «выходках». Их, этих «мелочей», такая прорва в Вашем письме («придирчивый читатель», «информированный Авербах» и т.п. прелести), и так они похожи друг на друга, что не стоит больше распространяться о них. Перейдем к существу дела.

В чем существо Ваших ошибок? Оно состоит в том, что критика обязательная и нужная, развитая Вами вначале довольно метко и умело, увлекла Вас сверх меры и, увлекши Вас, стала перерастать в Ваших произведениях в клевету на СССР, на его прошлое, на его настоящее. Таковы Ваши «Слезай с печки» и «Без пощады». Такова Ваша «Перерва», которую прочитал сегодня по совету т. Молотова. «Вы говорите, что т. Молотов хвалил фельетон «Слезай спечки». Очень может быть. Я хвалил этот фельетон, может быть, не меньше, чем т. Молотов, так как там (как и в других фельетонах) имеется ряд великолепных мест, бьющих прямо в цель. Но там есть еще ложка такого дегтя, который портит всю картину и превращает ее в сплошную «Перерву». Вот в чем вопрос и вот что делает музыку в этих фельетонах.

Судите сами.

Весь мир признает теперь, что центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию. Революционеры всех стран с надеждой смотрят на СССР как на очаг освободительной борьбы трудящихся всего мира, признавая в нем единственное свое отечество. Революционные рабочие всех стран единодушно рукоплещут советскому рабочему классу и, прежде всего, русскому рабочему классу, авангарду советских рабочих как признанному своему вождю, проводящему самую революционную и самую активную политику, какую когда-либо мечтали проводить пролетарии других стран. Руководители революционных рабочих всех стран с жадностью изучают поучительнейшую историю рабочего класса России, его прошлое, прошлое России, зная, что кроме России реакционной существовала еще Россия революционная, Россия Радищевых и Чернышевских, Желябовых и Ульяновых, Халтуриных и Алексеевых. Все это вселяет (не может не вселять!) в сердца русских рабочих чувство революционной национальной гордости, способное двигать горами, способное творить чудеса.

А Вы? Вместо того, чтобы осмыслить этот величайший в истории революции процесс и подняться на высоту задач певца передового пролетариата, ушли куда-то в лощину и, запутавшись между скучнейшими цитатами из сочинений Карамзина и не менее скучными изречениями из «Домостроя», стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения, что нынешняя Россия представляет сплошную «Перерву», что «лень» и стремление «сидеть на печке» является чуть ли не национальной чертой русских вообще, а значит и русских рабочих, которые, проделав Октябрьскую революцию, конечно, не перестали быть русскими. И это называется у Вас большевистской критикой! Нет, высокочтимый т. Демьян, это не большевистская критика, [а клевета на наш народ], *развенчание* СССР, *развенчание* пролетариата СССР, *развенчание* русского пролетариата.

И вы хотите после этого, чтобы ЦК молчал! За кого Вы принимаете наш ЦК?

И Вы хотите, чтобы я молчал из-за того, что Вы, оказывается, питаете ко мне «биографическую нежность»! Как Вы наивны и до чего Вы мало знаете большевиков.

Может быть, Вы, как человек «грамотный», не откажетесь выслушать следующие слова Ленина:

«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т. е. 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни

демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что насилия вызывали отпор из нашей Среды, из Среды великорусов, что эта Среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика. Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы». Откровенные и прикровенные рабы — великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать эти слова. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было. Теперь ее мало, но она уже есть. Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещиками, капиталистами» (см. Ленина «О национальн[ой] гордости великороссов»).

Вот как умел говорить Ленин, величайший интернационалист в мире, о национальной гордости великороссов. А говорил он так потому, что он знал, что: «Интерес (не по-холопски понятый) национальной гордости великороссов совпадает с социалистическим интересом великорусских (и всех иных) пролетариев» (см. там же).

Вот она, ясная и смелая «программа» Ленина. Она, эта «программа», вполне понятна и естественна для революционеров, кровно связанных с рабочим классом, с народными массами.

Она непонятна и не естественна для выродков типа Лелевича, которые не связаны и не могут быть связаны с рабочим классом, с народными массами.

Возможно ли примирить эту революционную «программу» Ленина с той нездоровой тенденцией, которая проводится в Ваших последних фельетонах?

[Ясно], что невозможно. Невозможно, так как между ними нет ничего общего.

Вот в чем дело и вот, чего Вы не хотите понять. Значит, надо Вам поворачивать на старую, ленинскую дорогу, несмотря ни на что. [Других путей нет]

В этом суть, а не в пустых ламентациях перетрусившего интеллигента, с перепугу болтающего о том, что Демьяна хотят якобы «изолировать», что Демьяна «не будут больше печатать» и т. п. [Понятно?

Вы требовали от меня ясности. Надеюсь, что я дал Вам достаточно ясный ответ.]

И. Сталин

10
ИЗ ПИСЬМА СТАЛИНА КАГАНОВИЧУ
29 сентября 1931 г.

Стихотворение Демьяна не читал и не собираюсь читать, так как уверен, что не стоит читать. Тоже фрукт: лезет в политику, а вихляет более всего именно в политике. Уверен, что он мог написать глупость про «Москву», — у него хватит на это наглости. Следовало бы привлечь к ответу, во-первых, редактора «Известий», во-вторых, Демьяна (и Литвинова). Почему бы в самом деле не привлечь их к ответу?

11
ИЗ ПИСЬМА СТАЛИНА КАГАНОВИЧУ
7 июня 1932 г.

Удалось, наконец, прочесть пьесу Демьяна Бедного «Как 14 дивизия в рай шла» (см. «Новый Мир»). По-моему, пьеса вышла неважная, посредственная, грубоватая, отдает кабацким духом, изобилует трактирными остротами. Если она и имеет воспитательное значение, то скорее всего отрицательное.

Мы ошиблись, приложив к этой плоской и нехудожественной штуке печать ПБ. Это нам урок. Впредь будем осторожны, в особенности — в отношении произведений Демьяна Бедного.

12
ИЗ ПИСЬМА КАГАНОВИЧА СТАЛИНУ
12 июня 1932 г.

Насчет оценки «Демьяновой ухи» я с Вами целиком согласен. Я прочитал и новую и старую вещь, новую он сделал еще более грубо и халтурно. Для того чтобы быть народным, пролетарским писателем, вовсе не требуется приспособленчества к отрицательным сторонам наших масс, как это сделал Демьян Бедный. Я удивляюсь прямо, как Ворошилов мог быть в восторге от этой вещи, тем более что у Демьяна в пьесе много двусмысленностей.

13
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ – СТАЛИНУ
О ВЫСЕЛЕНИИ ИЗ КРЕМЛЯ
3 сентября 1932 г.

Москва, Кремль 3 сентября 1932 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Моя личная жизнь, загаженная эгоистичным, жадным злым, лживым, коварным и мстительным мещанством, была гнусна. Я сделал болезненную, запоздалую попытку вырваться из грязных лап такой жизни. Это — мое личное. Пусть оно будет вынесено за стены Кремля — личное. Я умоляю ЦК, умоляю Вас: не смешивайте меня с личным, размежуйте меня с личным, отделите меня от него, сохраните меня, как испытанную и не отработанную еше рабочую силу. Мне через семь месяцев — 50 лет. Насколько меня — при надорванном здоровье — еще хватит, я бы хотел еще поработать, поработать крепко, чтобы достойно завершить свою революционную службу.

Я прошу об одном: не разрушать того изумительного аппарата, какой мною за мой почти четвертьвековый писательский век создан. Мой рабочий кабинет и моя библиотека представляют нечто в своем роде единственное. Это сложная писательская ротационка. Книги — не только моя слабость, но и сила. Это — неотделимая и существеннейшая часть моего писательского организма, мой творческий — специально налаженный — инвентарь. Без моего «аппарата» я не могу жить, не могу работать. Вам надо посмотреть на этот стройный, упорядоченный, крепкий и грандиозный аппарат, чтобы убедиться: сорвать его с места, не разломав его, не погубив его нельзя. Это — симфония книжная, слагавшаяся в Кремле 15 лет. Это — продолжение моего мозга. Разрушение этого аппарата опустошит меня, разобьет, парализует. Я — не научный работник, могущий во время работы бегать по библиотекам за справками. Я — поэт. И мой инструмент, каким я его создал, должен быть во время работы под руками. Я и он — одно.

Я прошу сохранить меня в писательски-организованном виде в чистом виде, как Д. Бедного только. Я прошу сохранить в Кремле мой творческий «бест», оставив мне из покидаемой квартиры ровно столько помещения, сколько займут книги и кабинет (*подчеркнуто Сталиным*). Личное будет за пределами этого беста. Здесь будут только —

письменный стол и книги, письменный стол и книги, и ничего больше. Здесь я буду нести свою службу, приходить сюда для спокойной, ничем не замутненной работы, живя лично вне Кремля.

Я прошу не о личном. Я прошу о сохранении того общественно-ценного, что во мне есть и что еще партии не может не пригодиться. Удаленный из Кремля, вырванный с корнем из того места, которое связано живыми нитями со всем Союзом, я усохну, погибну. Мне горько и страшно не только говорить об этом, но подумать только. Сказать это, однако, я должен хотя бы уже для того, чтобы после нельзя было меня же упрекнуть: — зачем не сказал?

Самый искренний привет
ДЕМЬЯН БЕАНЫЙ

14
СТАЛИН — ДЕМЬЯНУ БЕДНОМУ ПО ПОВОДУ ЕГО ПИСЬМА О ВЫСЕЛЕНИИ ИЗ КРЕМЛЯ
4 сентября 1932 года. 4.IX.32 г.

Товарищ Демьян!

Само собой понятно, что помещение для книг и кабинет нужно оставить за Вами. Что касается личной стороны дела и связанного с нею переезда из Кремля, то это вызвано необходимостью не допускать скандалов (вызываемых, конечно, не Вами), которых не должно быть в стенах Кремля.

Странно было бы рассматривать переезд из Кремля (Попытку «оторвать» Вас или «отдалить» от партии, от дела. Сами знаете, что сотни ответственных и уважаемых живут вне Кремля (в том числе М. Горький), однако, не вызывает ни у кого сомнения насчет их близости к партии, к Кремлю.

Привет!
И. СТАЛИН

15
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ – СТАЛИНУ В ОТВЕТ НА ЕГО ПИСЬМО
5 сентября 1932 г.

Демьян Бедный
Москва, Кремль 5 сентября 1932.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

За мною последнее слово, слово безграничной благодарности. Особенно я тронут тем обстоятельством, что не меня Вы признаете источником той мути, которая, надеюсь теперь уляжется.

Поскольку моя рабочая обстановка, мое святое святых остается в сохранности и неприкосновенности, мне больше желать нечего. Можно будет уверенно и спокойно работать.

Ваш ответ меня утешил, ободрил, оживил. Внутреннее страдание часто является источником надломленного творчества. Источник заражающе-бодрого творчества — внутреннее ликование: оно должно ко мне вернуться. Вместе с окрепшей верой, что партии я нужен и партия меня, временами большого дурака, бережет.

Сердечный, благодарный привет!
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

16
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ — СТАЛИНУ НАКАНУНЕ СВОЕГО ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ
5 апреля 1933 г.

Секретно

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Ничего я так не боюсь, как своих собственных писем. И особенно писем к Вам. Но… Вчера навестили меня два товарища — Гронский и Савельев — и кратко ознакомили меня с тем обменом мнений, который — в связи с моей 50-летней датой — происходил вчера в ПБ.

Самая возможность именно такого, а не иного обмена мнений уже показывает, что радоваться мне нечему, а восхищаться собою не приходится и подавно. Умудрился-таки я создать для себя обстановочку. И виноват в этом один я, только я. Отрицать это было бы малодушной глупостью. Что с того, что многие частности я мог без труда опровергнуть? Например, будто я не был на съезде колхозников и не писал о колхозах. И на открытии съезда я был, и открытие съезда приветствовал стихами во всю первую полосу — во всю полосу! — «Комсомолки». Я собирался не пропустить ни одного заседания, а в газете заявил, что во время съезда дам ежедневные отклики. Но если человеку не везет, так уж не везет; с первого заседания я вернулся больным и полторы недели пролежал в гриппу с ужасной ангиной, что может быть подтверждено лечившим меня кремлевским горловиком. Я потерял не только съезд, но и возможность откликнуться на красноармейский юбилей, что тоже истолковывается не в мою пользу. Или другой пример: я, дескать, написал басню, где «высмеивал товарищей», и эту басню даже напечатал. Насколько я был далек от мысли, не то что намерения, высмеивать друзей, показывает то, что инкриминируемую мне басню я послал в Сочи Вам. Хитрил? Нашел, кого перехитрить! И очень мне это было нужно. Басня вернулась с Вашей пометкой: «вялая». А она просто была неудачная и, как всякая неудачная или недоделанная вещь, искажала подлинные намерения автора: высмеять «лесных заговорщиков». Не одобренная Вами вещь не только нигде не предлагалась к печати, но от нее вряд ли можно сыскать след и в рукописях. Много бы частностей я мог разъяснить и опровергнуть их истолкование, но зачем мне опровергать частности, если невозможно опровергнуть главного: что в целом я кругом виноват? Что с того, что в презентовском «творчестве» на рубль лжи, а на копейку извращенной правды? Я себе и этой копейки простить не могу: она лишила меня Вашего доверия и дружбы, она создала возможность такого обмена мнений как вчерашний обмен. Стану ли я оправдываться тем, что вот Николай Первый, осматривая новое помещение академии художеств, увидал — «хорошую казарму», кто что видит — а секретарь Анат[оля] Франса, Брюссон, сочинил такие дневники, что честная критика писала о них: «Брюссон преподнес нам содержание ночного горшка, а не содержание души гениального писателя, — от брюссоновского подношения мы вправе брезгливо отвернуться, обратившись к творениям Франса». Презентовская бредовая мазня — тоже «стенгазета из ватерклозета». Не в гнойной луже больного, бездарного и завистливого бумагомараки можно найти мое подлинное отображение во весь рост. И все же презентовские измышления я ставлю себе в жестокую вину. Недосмотрел! Поскользнулся в презентовской луже. Хорошо, что в ней не потонул. Но непростительно, что я неосторожно подставил себя такому «фотографу». Мало меня покарали за это. Заслуживаю большей кары. Я сам себя казню за это так, как никто.

Конечно же, все это привело к некоторым изменениям во мне. Савельев сказал: «ты перестал улыбаться». Не до улыбок мне, — и с возрастом, претерпев партийные и личные несчастья, я стал сосредоточеннее.

«Не ищешь встреч со старыми товарищами».

Верно. Я стал замкнутее. Но замкнутость — не отчуждение. Никогда я не буду вам чужим, и не станете вы мне чужими, дорогие мои товарищи! В предстоящих боях — не

исключено — многие из вас лягут костьми. Я лягу там, где ляжете вы. И я хотел бы, чтобы лег раньше всех: я с радостью готов такой ценой вернуть к себе нарушенное доверие.

Говорилось о моих «колебаниях». И тут есть моя вина. Вина моя в том, что сам я этих колебаний в себе не приметил. Все время был убежден, даже до озорства, что на меня-то при всех обстоятельствах партия может положиться, как на каменную гору. Только таким убеждением я и мог держаться. В настоящее время оно у меня еще крепче после того, как в положении, представлявшемся мне непереносимым, я обнаружил удивившую меня самого выносливость. Я сам себя узнал лучше. Суждения обо мне некоторых товарищей я объясняю тем, что меня истолковывают. Я живу надеждой, что меня узнают. По работе. Работа сейчас для меня — все. Даже в «Комсомолке» я стал писать, помня Ваши слова, Иосиф Виссарионович: «Свяжитесь с молодежью!»

Иосиф Виссарионович! Мне как-то даже совестно, что вот некстати подошла эта возрастная дата и вынудила Политбюро судить и так, и так: и плох Демьян, и сохранить бы его. Твердо, искренне Вам говорю, что мне этот горестный, не во время подкравшийся «юбилей» самому встал поперек горла. Не озабочивайтесь, пожалуйста, какую бы этому юбилею придать расцветку? Не обязательно нужно награждать меня «орденом Ленина», поскольку возникают сомнения, что я его заслуживаю, или опасения, не пришлось бы меня этого ордена лишать. Пусть само ненаграждение будет истолковано уже как лишение, — пусть даже проскользнет самая дата неотмеченной, — все равно, все равно никто не услышит моей жалобы. Улыбаться только мне трудно. И работать будет еще трудней. Но работать я буду. Буду работать в твердой уверенности, что подлинный мои праздник не уйдет, не уйдет от меня. Праздничным днем будет тот день, когда много грязи и шелухи стряхнется, свеется с меня, — когда устранятся дре сомнения, и партия, ЦК и Вы, дорогой Иосиф Виссарионович, без колебания скажете мне: «ты — наш, мы тебе верим!»

Всего не скажешь. Об одном прошу: поверьте искренности этого письма и тому, что это не какой-то тактический прием и что никаких личных моментов оно не преследует.

О личном говорить не приходится: оно целиком поглощено тем, что составляет стержень моей жизни: горячо поработать и честно завершить путь, с которого у меня нет и быть не может никакого поворота.

Сердечный привет!

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

17
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ – СТАЛИНУ С ПРОСЬБОЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НОВОЙ ДАЧИ
15 апреля 1935 года

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
МОСКВА
Рождественский бульвар, д. 15, кв. 2
Апреля 15 дня 1935 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Обращаюсь я к Вам, как правило, только тогда, когда мне уже податься некуда, когда — крайность. Еще три дня назад, услыхав мои сетования, Ворошилов посоветовал мне: «Пиши Сталину». Я три дня колебался, так как не хотел ставить всего на карту, а мое все базируется на созданной для внутреннего подкрепления утешительной мысли, что какая-то часть Вашего расположения ко мне сохранена и что если я обретаюсь порой в очень нерадостном состоянии, то потому что «Сталин же этого не знает». (Словесная формулировка, собственно, моей жены.) А если бы знал…

Речь идет о моем сильно накренившемся здоровье и о возможности так работать, как бы мне хотелось и как бы я мог.

Тяжело отразилось на моем здоровье следующее обстоятельство: с осени 1931 года по сей день я не имею ни зимнего, ни летнего здорового отдыха, томясь безвыездно в городе. У меня нет загородного приюта и нет никакой возможности его создать. Лето 32 года и лето 33 года свелось к тому, что я на своем фордике, когда уже было дышать нечем, уезжал за город, «в кусты», как диктовалось шоферу. Отдышавшись часа три «в кустах», я возвращался обратно.

В прошлом 34 году я после долгих мытарств снял в деревне Баковке пол-избы у лесного сторожа. Но тут оказала себя с неожиданной стороны моя популярность; дворик маленький, голый, заборчик тоже реденький, а вокруг заборчика вечная толчея любопытных, вечное заглядывание и осматривание меня, — осматривание это кончилось тем, что меня приняли за самозванца, что я какой-то проходимец, назвавшийся Д. Бедным, который не мог же вот тут рядом с Буденным ютиться в крестьянской полуизбе. Во избежание дальнейших кривотолков мне пришлось смотаться.

Поехал я тогда к Енукидзе, он хозяин дома, где я живу, авось и с дачей что-либо для меня выдумает. Енукидзе начал с того, что стал в подробностях показывать мне свою — действительно, до невозможности великолепную — дачу. Под конец взмыло у меня горькое чувство и я сказал доброму хозяину: «Хорошо живешь, Енукидзе. Что я в сравнении с тобою? Я живу в деревне на сеновале».

Добрый хозяин, улыбаясь, ожег меня, как хлыстом, таким ответом: «И на сеновале можно хорошо и уютно устроиться. Коврами, напр., сено устлать. Вот Аванесов так жил».

Я буквально опешил перед безмерностью такого бесстыдства. Овладев собой, я сказал доброму хозяину иронически: «Для того, чтобы сказать о тебе, ты пьешь счастье полнодной чашей, тебе не достает достойной твоего жилья чаши. Я тебе подарю ее».

— Подари, — сказал хозяин.

Чаши я, несмотря на многократные напоминания при встречах, не дарил.

Но подарил ему ее совсем недавно, когда ему уже было не до нее, до этой прекрасной чаши. Пусть пьет из нее то, что в нее нальется.

В моей жизни это редчайший случай ответа на обиду. Доказательством силы этой обиды служит уже одно то, что я не удержался от того, чтобы вспомнить ее даже в этом письме.

Убедясь, что дачу, воздух и здоровье мне надо добывать самому, я вынужден сделать попытку — устроить сие при помощи аппарата, строящего недалеко от Баковки и от Буденного писательские дачи. Я исхлопотал себе участок земли, примыкающий к Буденному. Прижался я к какому соседу с умыслом, стройка производится ВЦИКом большая, авось что-либо и мне перепадет, вода, например, и свет, опять же и дорога соседу выложена прекрасная, а и без того уже добиваю моего заезженного форда.

Получился, однако, двойной просчет. Дача моя еле-еле оформилась в тот сруб, в ту уродину, которая изображена на прилагаемом снимке. Строить дальше ее не из чего и не на что. Я стою, так[им] образ[ом], перед потерей четвертого лета. Дачи нет. А если бы мне удалось это дупло застеклить хотя б по-летнему, то все равно… подъезда к даче нету. Семен Михайлович твердо усвоил старое мнение, что «сосед мой — враг мой». Поэтому, когда я стал просить его — позволить хотя бы в дурную погоду проскочить на машине через его участок, я получил отказ в самой непристойной форме. Наладить проезд мимо Буденного тоже оказалось мне не под силу. Этот проезд нужен не только мне, а группе колхозов, буквально воющих от созданного Буденным бездорожья. Выход есть только один: у Буденного прихвачено земли и лесу более 11 гектаров, участок форму имеет такую: ружье, — в прикладе, далеко от дула и от мушки, дом. Если у самой мушки — на узкой полоске сдвинуть забор влево на 11 саженей, колхозы — и я — получат проезд, прекратится ругань, вой, ржанье лошадей, карабканье пешеходов у буденновского забора.

Вот какое дело, родной Иос[иф] Вис[сарионович]! Теперь «Сталин знает». Я жажду — здоровья и работы. В тираж выходить мне рано. И не нужно это никому, кроме наших врагов. Я удивительно, незаслуженно счастлив поздним счастьем в моем новом, покойном, культурном и скромном домашнем быту. И весь я — по линии творческих замыслов — в бодром, радостном уверенном певучем настроении. Гири — только те, на которые я здесь сетую. Чего бы я хотел? По существу, немногого: чтобы мне сделали то, чего я не имею возможности сделать сам, никакой возможности. В лучшем случае, Хозотдел ВЦИКа мог бы убрать к черту мой нескладный сруб и поставить для меня более пристойную деревянную дачу комнаты в 4—5 с необходимыми жилпостройками. Я почти уверен, что мою «стройку» — так она неудачна — и достраивать умный инженер не захочет.

Дорогой Иосиф Виссарионович, я был бы удручен, если б Вы на секунду подумали, что мое письмо диктуется хоть тенью «личного» интереса. У меня нет тут ничего личного. Это, если хотите, у поэта чисто профессиональная потребность, чуя приток вдохновения, поэт — по Пушкину —

Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы…

Надо ли законность этого доказывать? Сердечный привет!

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

P. S. Прилагаю полученный мною пробный экземпляр моих басен в кукрыниксовском оформлении. Не делаю на нем надписи, так как готовится особо переплетенный экземпляр, который будет подписан автором и художниками.

18
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ. МОСКВА КРЕМЛЬ
Июля 16 дня 1935 года

И. В. СТАЛИНУ ЗА ВСЕ!

Для благодарного поклона
Нужна не только голова.
Чтоб избежать в письме шаблона,
Нужны особые слова.
Я в первый раз пред поворотом —
Еще одним — моей судьбы,
Отерши лоб, покрытый потом,
Себя почувствовал банкротом
В искусстве письменной резьбы.

Есть утомляемость у стали,
И устает крепчайший мозг,
Смеется день, сверкают дали,
Но — после ласки — нервы сдали:
Я превратился в мягкий воск.

Чтоб укрепить себя заметней
Покоем, нужным для души,

Я до конца погоды летней
Дни проведу свои в тиши.

Чтоб, дав потом «Пегасу» шпоры,
Творить в сознаньи, что творю
В тепле уюта, за который
Я нежно Вас благодарю.

19
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ – СТАЛИНУ
(ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ БАСНОПИСЦА КРЫЛОВА)
5 августа 1944 г.

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович,

Вы сами, прочтя это письмо, решите, имел ли я право и необходимость беспокоить Вас. Речь идет о писательском оружии — слове.

Слово писателя должно быть доходчиво. Доходчивое слово становится действенным. Два примера доходчивости и действенности я приведу из своей практики.

Первый пример. В 1914 году на петербургских заводах прокатилась волна рабочих возмущений в связи с массовыми отравлениями. Возмущения эти в некоторых случаях подавлялись оружием. Откликом на это были в «ПРАВДЕ» мои четыре строчки:

На фабрике — отрава.
На улице — расправа.
И тут свинец, и там свинец.
Один конец!

Вся динамика в последней строчке: один конец! Вали, ребята! — И ребята валили трамваи, превращая их в баррикады, чем был изрядно испорчен аромат встречи Николая II с Пуанкаре.

Второй пример — через 30 лет, т. е. пример нынешнего года. Помимо работы в газетах я веду в порядке боевой самонагрузки художественно-агитационную (плакатную) работу на заводе «Серп и молот», всячески подбодряя сталеваров. Неприметная работа, но важная. Весной нынешнего года завод очутился в тяжелом положении: угрожала нехватка сырья, а уральские заводы-поставщики туго откликались не только на письма «Серпа и молота», но и на наркоматские понукания. Затревожился и я и обратился лично к заводам-поставщикам с «дружеским письмом», как я озаглавил посланный туда мой пространный плакат-беседу. Эффект был поразительный. На мое имя последовали немедленно два ответа, в копиях при сем прилагаемые. Директор Новотагильского завода заверил меня, что в последующие месяцы выполнение заказов для завода «Серп и молот» нашим заводом будет своевременно, а другой завод трогательно молнировал, что вместо 200 тонн чугуна, которые были отгружены «до получения дружеского письма поэта Демьяна Бедного», отгружено 1015 тонн. Я имел таким образом возможность проверить свое агитационное мастерство: я его не растерял и слово мое доходчиво.

Мастерству этому я учился — и учусь! — у классиков. Первоучителем моим — еще на школьной скамейке — был народнейший из народных писателей, гениальный баснописец И. А. Крылов. Неспроста я обратил на себя внимание и выдвинулся как баснописец. Все знали, что басня как словесное оружие, как одна из труднейших литературных форм, выпав из рук умершего Крылова, никем уж не была поднята, а в учебниках теории поэзии так и отмечалось: «басня — вымершая литературная форма».

Оброненное Крыловым оружие я бесстрашно поднял и воскресил «вымершую форму», взяв ее, как сказали бы теперь, на вооружение рабочего класса. В радикальной «большой прессе» появился ряд статей обо мне, одна из которых даже была озаглавлена: «Внук дедушки Крылова».

И вот приключился такой казус: в минувшее воскресенье был опубликован во всех газетах обширный список лиц, коим поручено организовать столетние поминки дедушки Крылова. Но внука-то на эти поминки и не пригласили.

Я было решил претерпеть и это. Но, к сожалению, сие не прошло незамеченным: в писательской — и не только в писательской — среде пошли кривотолки: с Демьяном все-таки дело обстоит неладно, подальше от него.

В редакциях газет потянуло холодком с примесью самого неприкрытого хамежа, так — в частности — в «Правде» помощник т. Поспелова вернул мне именно басню, лежавшую в запасе и ранее одобренную, а после того, как вчера эта басня появилась в «Труде», вышеозначенный молодой и осторожный человек изрек мне язвительно: — басню-то свою вы все-таки пропихнули! — Оказывается, я уже должен басню «пропихивать». И какой «уважительный» стиль! Это мне-то, у кого за спиной тридцать пять лет литературно-революционной работы и чье словесное мастерство не кто иной, как Горький, неоднократно — до своих последних дней — ставил в образец молодым писателям, надо пропихивать!

Я жду дальнейших осложнений. Мне будет все трудней и трудней «пропихивать» свой материал и вообще — работать.

Как мне можно помочь? В поминальную комиссию назначать меня уже неудобно, да и надобности в этом нет. По своему безножию (после «ударчика» еле ползаю) я бы в комиссию и не пошел, а по косноязычию (та же причина) мне в комиссии делать нечего. Но пойдут предъюбилейные статьи. Не только Крылов, но и «басня, как таковая», как особый жанр, должна быть освещена: у басни интересная история, Эзоп был рабом. Достаточно упомянуть, что мы басенную форму неплохо использовали, и что в этом основная заслуга — моя, и кривотолки исчезнут, а в редакциях несколько опамятуются и перестанут хамить.

Всего бы этого, конечно, не было, если бы я не обретался в том положении, в каком обретаюсь с 1938 г.

Для выхода из партии есть много дверей, и одними из них я удостоился проследовать. Но обратно в партию есть дорога одна: работа, подвиг. Так я смотрю на свою работу. И когда неожиданно возникла ситуация, при которой я могу лишиться работы, это значит, что я лишусь возможности вернуться в партию. В этом главное!

Кончаю письмо приветствием и поздравлением с успехами, равных которым история не знает. Это что-то сказочное.

Желаю Вам доброго, крепкого-крепкого здоровья и долгих, долгих, долгих лет жизни на счастье нашей родины!

Демьян БЕДНЫЙ

5/VIII.44

Сюжет первый
«БУДЕМ НА ТИПЛИС ГУЛЯЛСЯ…»

11 марта 1923 года в «Правде» появилось стихотворение Демьяна Бедного, многих тогда удивившее.

Начать с того, что было оно вроде как на религиозную тему. Называлось — «Моисей». И эпиграф ему был предпослан из «Второзакония»:

> И рече Господь к Моисею: сия земля ею же кляхся Аврааму и Исааку и Иакову, глаголя: семени вашему ю. И показах ю очесам твоим и тамо не внидеши.

Вообще-то на религиозные темы Демьяну случалось высказываться и раньше. И довольно часто. Точнее — на **антирелигиозные** . А в этом стихотворении ничего антирелигиозного не было. И Библия, против ожидания, цитировалась Демьяном не глумливо, как это обычно у него бывало, а всерьез и вроде как бы даже почтительно.

Да и само стихотворение, следующее за этим эпиграфом, рядовым читателям «Правды» не могло не показаться загадочным:

Долгий, долгий, тернистый, мучительный путь
И предел роковой пред Страною Обета.
Как ужасна — ужасна! — символика эта…
В скорбных думах, с душою тревожно-недужной
Суеверно молю я судьбу: «Пощади!»
Требуй жертвы любой — много жертв впереди! —
Вырви сердце мое, только нас огради,
Нас, идущих когортой стальною и дружной,
От библейской символики — злой и ненужной.

Если символика эта «злая и ненужная», зачем же вдруг она ему понадобилась?

И с чего это вдруг самый ярый из воинствующих безбожников вдруг ударился в библейскую тематику?

Поди пойми!

Но те, кому это стихотворение было адресовано, поняли:

> …поняли, особенно у нас в Институте Красной Профессуры. В стихотворении была… неумолимая жестокая правда, от которой некуда было деться.
> Такое стихотворение, да еще напечатанное в «Правде», предупреждало: болезнь Ильича необратима…
> Поэт, живший в Кремле и хорошо осведомленный о болезни Ленина, не мог прямо написать о близкой гибели вождя. Он воспользовался библейской метафорой о человеке, который довел всех до земли обетованной, но сам туда не войдет.
>
> ***(Валерий Кирпотин. Ровесник железного века. Мемуарная книга. М. 2006. Стр. 287—289.)***

Стихотворение Демьяна, как уже было сказано, появилось на страницах «Правды» 11 марта 1923 года. А на следующий день, 12 марта, в той же «Правде» был напечатан первый правительственный бюллетень о состоянии здоровья больного Ленина. И с этого дня такие бюллетени печатались ежедневно. Сопровождались они обычно такими обнадеживающими комментариями:

> Наш Ильич заболел… Для того, чтобы он снова встал в строй, он должен на время совсем отойти от работы. Ильич снова будет с нами!
>
> ***(«Красноярский рабочий», 7 апреля 1923 года.)***

Врачебные прогнозы были не столь оптимистичны. Но как бы то ни было, до смерти Ленина, которая случилась, как известно, в январе 1924 года, **оставалось еще десять месяцев** . А Демьян его фактически **уже похоронил** .

В том, что поэт «не мог прямо написать о близкой гибели вождя», разумеется, ничего удивительного не было. Удивительно было другое: то, что ему позволили сказать это даже вот в такой завуалированной, метафорической форме.

Впрочем, слово «позволили» тут вряд ли уместно. Правильнее было бы сказать: «поручили». А поручить ему это мог тогда только один человек: Сталин. Именно он отвечал за состояние здоровья Ленина, за его жизнь и смерть. 18 декабря 1922 года пленум ЦК ВКП(б) специальным постановлением возложил на Сталина персональную

ответственность за соблюдение режима, установленного для Ленина врачами. Известная ссора Сталина с Крупской случилась именно потому, что она «превысила свои полномочия», попыталась взять на себя роль связного между Лениным и Политбюро, в то время как это было только его, Сталина, прерогативой. Больше того! Именно к Сталину, как мы знаем, обратился Ленин с просьбой дать ему яд, если его мучения станут нестерпимыми. Ленин будто бы сказал ему при этом: «Обращаюсь к Вам, потому что Вы самый жестокий из всех членов Политбюро, только Вы способны выполнить такую просьбу». Сталин дал Ленину честное слово, что просьбу его исполнит. Но исполнить ее якобы не смог и даже обращался в Политбюро, чтобы с него сняли это данное им Ленину честное слово.

Дать Демьяну это непростое партийное поручение (сообщить народу, что Ленин больше уже не встанет) мог Сталин не только потому, что у него одного повернулся бы язык прямо сформулировать такой щекотливый «социальный заказ», но еще и потому, что из всех «вождей» только у него были тогда с Демьяном достаточно близкие, доверительные отношения.

Ярче всего об этой их близости свидетельствует реплика Демьяна из его письма Сталину. «… Приезжайте! А потом мы будем «на Типлис гулялся».

Сталин не терпел ни малейшего проявления фамильярности:

> В назначенный час, когда все уже были разгорячены выпитым, Фадеев затянул своим высоким голосом «Дуню». С удивительной находчивостью он подбирал рифмы к фамилии Горького, Молотова, Ворошилова. Сталин слушал, курил трубку, улыбался.
>
> Ходит Дуня меж проталин,
> А за ней — товарищ Сталин.
> Эх, Дуня, Дуня — я!
> Дуня — ягодка моя!
>
> Фадеев пропел очередной куплет. Что-то, короче, чем на секунду, блеснуло в глазах Сталина. Что это было, я не мог определить: может быть, удивление, что посмел, может быть, гнев (Сталин, по рассказам, был обидчив).
> Я и сейчас не могу сказать, что это было. Но я внимательно следил за Сталиным и всегда потом помнил: что-то пробежало в его глазах, но тут же погасло.
> ***(Валерий Кирпотин. Ровесник железного века. Стр.191.)***

Фамильярная реплика Демьяна («Будем на Типлис гулялся»), казалось бы, должна была вызвать у Сталина еще более раздраженную реакцию, чем вполне невинная фадеевская частушка. Сталин, как известно, тяготился своим неистребимым грузинским акцентом. Да и само свое «грузинство» склонен был, скажем так, не выпячивать. «Мы, русские люди старшего поколения, сорок лет ждали этого дня» — сказал он в день победы над Японией. Светлана Аллилуева в своих воспоминаниях подчеркивает, что все бытовые привычки у него были чисто русские. Вспоминает даже фразу старшего брата Василия: «Ты знаешь, оказывается наш папа раньше был грузином». Когда Берия заменил однажды всю русскую охрану его «ближней дачи» грузинами, он вспыхнул: «Ты что же, думаешь, что русские меньше любят товарища Сталина, чем грузины?» И распорядился немедленно убрать грузин и вернуть русских.

Ну, а реплика Демьяна: «Будем на Типлис гулялся» не просто намекала на его «грузинство» и неистребимый грузинский акцент. Между нами говоря, шутка эта была довольно-таки дурного тона и вполне могла обидеть даже и не такого обидчивого человека, как Сталин. Сталин, конечно, свою задетость этой репликой никогда бы Демьяну не показал. В крайнем случае — просто промолчал бы, сделал вид, что ничего не заметил. Но он даже поддержал эту вульгарную шутку, легко и непринужденно подхватил и этот брошенный ему мяч:

> «Приезжайте», — пишете Вы. К сожалению, не могу приехать. Не могу, потому что некогда. Советую Вам устроить «на Баку гулялся», — это необходимо. Тифлис не так интересен, хотя он внешне более привлекателен…

В то время ссориться с Демьяном он еще не собирался. А может быть, Демьян был ему тогда так мил, что эта неуклюжая Демьянова шутка и в самом деле его никак не задела.

* * *

Стихотворение «Моисей» Демьян, как уже было сказано, написал и напечатал за десять месяцев до смерти Ленина. А вот какой стихотворный фельетон он напечатал в «Правде» за **десять дней** до его смерти:

Игра обогащена новою фигурою
Этакого, скажем, львиного наименования,
Впадать в панику нет основания:
Стальной слон нашего фронта единого
Не задрожит от рычания львиного,
Как не дрожал он до 17 года,
Когда фигуры этого рода,
Большевистской игре не особенно мирволя,
Пребывали вне шахматного поля.

Смысл этих «звериных метафор» был более чем прозрачен.

Фигура «львиного наименования» — это, конечно, Лев Давыдович. За несколько дней до появления этого Демьянова фельетона — 8 января в «Правде» был напечатан «Бюллетень о состоянии здоровья Л.Д. Троцкого», в котором сообщалось о предоставлении ему двухмесячного отпуска «согласно его желания и заключения консилиума». Ну, а кто «Стальной слон нашего фронта единого» — гадать тоже не приходится. Эпитет «стальной» не менее прозрачен, чем относящийся к Троцкому эпитет — «львиный». Этим своим стихотворным фельетоном (он назывался «Чья «Правда» правдистее») Демьян ясно и недвусмысленно дал понять, НА КОГО он ставит в неизбежной после близкой смерти Ленина борьбе за освободившийся ленинский трон.

Борьба эта, однако, затянулась. И был момент, когда и у Демьяна, который «жил в Кремле и был хорошо осведомлен», возникла некоторая неясность насчет окончательного исхода этой борьбы.

Это случилось два года спустя, когда очередная антисталинская оппозиция в очередной раз потребовала опубликовать ленинское «Завещание», в котором умирающий вождь предлагал сместить Сталина с должности генсека. Демьяну показалось, что на сей раз чаша весов заколебалась, и он разразился в связи с этим басней «Лесные звери», в которой вновь всплыли те же «звериные» метафоры. Но здесь мысль автора была выражена уже не столь отчетливо. Скорее даже — туманно:

Однажды летом
В лесу — (в каком лесу не важно, суть не в этом)
Был нелегальный сход зверей.
Сошлись районщики из дебрей, пустырей, —
Кто был с решающим, кто с гостевым билетом,
Но без билетов — ни-ни-ни!
Порядок. Боже сохрани!
.....

Чтоб избежать опасных драк,
Зверье, как я уже сказал первоначально,
На фракции свои, кто в лес, кто в буерак,
Собралися тайком, украдкой, нелегально.
В дискуссиях прошли, не знаю я, года,
Иль месяцы, или недели,
Но только звери вдруг смекнули: «Ай, беда!
Да мы же в зеркало ни разу не глядели
И не видали до сих пор
Того, что в жизни нам должно служить опорой,
То бишь картины той, из-за которой
У нас ведется лютый спор!»
.....
А сзади всех зверей и маленьких зверушек
Рычал, от споров ошалев,
Косматый Лев.
Во времена царей Саула и Давида
Львы были страшные и страшен львиный гнев.
А этот Лев был трепаного вида
И промышлял себе он корм
Не силою обычаев старинных,
А в качестве защитника звериных
Демократических реформ.
.....
Что приключилося с сановным демократом!
Забыв высокие слова,
Зверей стал крыть он богоматом:
«Вот ваша правда какова!
Не видеть в зеркале, что вещею картиной
Законы все и все права
Осуществляются одной лишь волей львиной,
А не какой-нибудь другой?
Демократических моих когтей вам мало?!»
Тут зарычал он так до исступленья шало
И стал показывать демократизм такой,
Что звери все — куда попало!

Тут все ясно. Кто Лев — объяснять не надо. И что это за зеркало, за картина такая, из-за которой у них «ведется лютый спор» и которая в жизни им должна «служить опорой».

До некоторой степени эта нарисованная баснописцем картина отражала реальное положение дел.

Что касается «Льва», то он действительно считал, что «вещею картиной», то есть ленинским Завещанием «все права» передавались именно ему:

> Ленин предлагал обдумать организационную сторону дела. Он намечал создание при ЦК комиссии по борьбе с бюрократизмом. Мы оба должны были войти в нее. По существу эта комиссия должна была стать рычагом… для создания таких условий в партии, которые дали бы мне возможность стать заместителем Ленина, по его мысли — преемником на посту председателя Совнаркома.
> Только в этой связи становится полностью ясен смысл так называемого завещания… Бесспорная цель завещания облегчить мне руководящую работу.
> ***(Л. Троцкий. Моя жизнь. М. 1991. Стр. 455.)***

Соответствовала реальности и картина всеобщего страха, который испытывают звери, заслышав грозное рычание «Льва».

> …В 1925 году Бухарин ответил мне в частной беседе на мою критику партийного зажима: « У нас нет демократии, потому что мы боимся вас».
>
> ***(Л. Троцкий. Моя жизнь. М. 1991. Стр. 464.)***

Троцкого боялись все — и Сталин, и на том этапе поддерживавший Сталина Бухарин, и находившиеся (вместе с Троцким) в оппозиции к Сталину Каменев с Зиновьевым. Поэтому нападать на Троцкого и поливать его ядом своей художественной сатиры Демьян мог без опаски. А вот прямо стать на чью-нибудь сторону в войне Сталина с другими двумя «левыми» членами Политбюро (Каменевым и Зиновьевым) он «опасывался». И поэтому мораль, заключающая вторую его «звериную» басню, была весьма туманной:

> Мораль? Что ж, на мораль обычно я не скуп.
> Но басня так проста, как пуп…
> Мне могут возразить. Хоть знаю я и сам,
> Что в басне важные опущены моменты,
> Но не охоч я — бить направо по усам
> И тут же отпускать налево комплименты.
> Где драться надобно, там я драчун лихой,
> Но комплиментщик я — плохой!

«Бить направо по усам» — это понятно о ком: в ту пору в Политбюро Сталин еще блокировался с правыми. А «отпускать налево комплименты» — это про Зиновьева с Каменевым.

'Сталину такая уклончивость баснописца вряд ли могла прийтись по душе.

В то время он уже осуществлял полный контроль над партийной печатью, и басня Демьяна, разумеется, оказалась у него на столе. (Да Демьян и сам ни за что не решился бы печатать ее без сталинского согласия.)

Решать единолично судьбу этого демьяновского изделия Сталин, однако, не стал. Пустил его «вкруговую» на голосование.

> ИЗ ПИСЬМА МОЛОТОВА СТАЛИНУ
> *12 сентября 1926 г.*
> Посылаю тебе, по настойчивой просьбе Демьяна, его новое «стихотворенье». Ждет твоего отзыва — печатать ли? От себя скажу, что мне оно не нравится, что-то гниловато, претенциозно, а главное — мутно-мутно. Чего-то он, видимо, ждет, где-то изучает новую почву… Есть в этом на мой нюх дурной привкус Найду его — выругаюсь. Как ты скажешь?
>
> ***(Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917—1956. Документы. М. 2005. Стр. 119.)***

Тут еще слышится некоторая нотка сомнения. Но в следующем своем письме генсеку Молотов, уже успевший заручиться еще двумя-тремя мнениями, вновь возвращается к этой теме и теперь высказывается уже более решительно:

> ИЗ ПИСЬМА МОЛОТОВА СТАЛИНУ
> *20 сентября 1926 г.*
> Еще о басне Демьяна. Не знаю, что ты писал ему. Мне ты пишешь, что эта «басня — худосочная штука». Сие плохо понимаю. Мне кажется, что Демьян описал в этой басне историю с завещанием Ильича. Заметь, что как ни прикрыты начала и концы, а, в конце концов, в зеркало смотрится не больше и не меньше как шесть (6) зверей… Я спрашивал ряд наших товарищей о смысле басни. Обычный ответ —

> «не понимаю». То же сказал и Бухарин сначала, а когда я высказал свои предположения, Бухарин сказал, что абсолютно согласен с этим. Говорил об этом еще (и в первую голову) только Демьяну. Он, конечно, отпирается. Мне кажется, для Демьяна эта басня — плохой симптом, как ты думаешь?
>
> ***(Там же)***

На то обстоятельство, что «смотрятся в зеркало» в Демьяновой басне не больше и не меньше как шесть зверей. Молотов обратил внимание Сталина потому, что Ленин в своем Завещании счел нужным охарактеризовать именно **шестерых** своих соратников: Троцкого, Сталина, Каменева, Зиновьева, Бухарина и Пятакова Это была, таким образом, дополнительная улика, подтверждающая, что «Демьян описал в этой басне историю с завещанием Ильича».

Надо ли напоминать, что любой намек на эту историю был для Сталина весьма болезненным. (Лет десять спустя за одно только упоминание о будто бы существовавшем «завещании Ильича» можно было получить «десять лет без права переписки».) Так что, надо думать, эту басню Сталин не забыл. И со временем она Демьяну еще отрыгнется.

* * *

Но пока их отношения еще безоблачны. Демьян в одном письме даже называет Сталина своим приятелем. И Сталин как будто не возражает. В других Демьяновых письмах постоянно мелькают такие его обращения к Сталину: «Родной», «Ясная вы голова. Нежный человек. И я Вас крепко люблю», «Крепко Вас любящий…» Так что «комплиментщик» он был не такой уж плохой.

Помимо рассыпанных там и сям комплиментов, бросается в глаза в этих его письмах отличное знание всех сталинских симпатий и антипатий и совсем недурное умение играть на этих его слабостях.

Вот, например, он пишет:

> Вспомнил я новый анекдот, будто «англичане со-г гласились выдать нам прах Маркса в обмен на… прах Зиновьева!» Остроумные черти!

Пишется это в июне 1924 года. Сталин и Зиновьев в это время еще союзники. (Еще до смерти Ленина сложился «триумвират» — Сталин, Зиновьев, Каменев — и теперь, оттеснив Троцкого, они втроем и правят страной.) Но Демьян не сомневается, что «остроумный» антизиновьевский анекдот придется Сталину по душе.

Всякий раз, когда речь заходит о Троцком, Демьян не брезгает легкими антисемитскими выпадами, явно играя на юдофобских настроениях Сталина: А

> Партийные старозаконники расплодили идолопоклонников. Талмудисты и фарисеи.

> …Именно те, кто визжит (и не из оппозиции только!), выявляют свою семитическую чувствительность.

Последняя реплика предваряет его эпиграмму на Троцкого которую он препровождает Сталину. И сама эпиграмма тоже не без антисемитского душка:

> В чем дело, пламенная клака?
> Уж растолкуй ты мне добром:
> Ударю Шляпникова — драка!
> Заеду Троцкому — погром!

То есть как раз про вот эту самую «семитическую чувствительность».

Тут надо сказать, что называя Сталина «нежным человеком» (эпитет, казалось бы, трудно совместимый с обликом Кобы), Демьян, быть может, и не совсем лукавил. Похоже, что к нему в ту пору Сталин и впрямь относился с нежностью. Настоял на немедленной его отправке на лечение в Германию. Заступился за него, когда была предпринята попытка отобрать у него полагающийся ему «по штату» персональный («протекционный») вагон.

О том, как Сталин отреагировал на вопль Демьяна по отбираемому у него вагону, мы можем судить по мемуарному свидетельству Александра Жарова. Мемуарист относит эту рассказываемую им историю к 1929 году. Но скорее всего дело было раньше. Во всяком случае, эпизод этот можно считать эпилогом, завершившим конфликт Демьяна с партийными органами, пытавшимися отнять у него «протекционный» вагон:

> …Мария Ильинична (речь идет о М.И. Ульяновой, сестре Ленина. — Б.С.) еще работала в «Правде», но уже выполняла и новые обязанности по линии партконтроля. Я однажды вошел в ее редакционный кабинет в момент, когда она звонила по телефону Сталину. Я хотел выйти. Но Мария Ильинична остановила меня кивком головы.
>
> Разговор был о том, что вагон, в котором с разрешения Ленина разъезжал по фронтам во время гражданской войны Демьян Бедный, теперь ему не нужен. Вагон стоит без действия где-то в тупике. И Марии Ильиничне поручено спросить у Сталина: согласен ли он с тем, чтобы демьяновский вагон был передан кому-то другому, кто в нем нуждается.
>
> Мария Ильинична говорила спокойно. Вдруг голос ее дрогнул. Сталин, видимо, оборвал ее, произнес какую-то фразу и положил трубку.
>
> Я смутился, когда Мария Ильинична посмотрела на меня:
>
> — Садитесь, Жаров… Вы слышали, что он сказал?
>
> — Нет.
>
> — Он сказал: «Согласен. Пусть отберут вагон у Демьяна Бедного и отдадут ему мой вагон».
>
> После этого никто, конечно, не покушался на демьяновский вагон, хотя обладатель его сам был не прочь расстаться с ним.
>
> ***(Воспоминания о Демьяне Бедном. М. 1966. Стр. 235.)***

Помимо путаницы с датой, автор этих мемуаров ошибся и в своем предположении, будто Демьян и сам был не прочь расстаться со своим вагоном. Но это — не его вина. Не исключено, что именно так информировал (то есть дезинформировал) Марию Ильиничну тот, кто сообщил ей о решении Президиума ЦКК. Что же касается самой истории, а главное, телефонной реплики Сталина, то в достоверности ее сомневаться не приходится: тут сразу — безошибочно — узнается **его** стиль, **его** «почерк». Он всегда знал, в какой момент поставить последнюю точку в разговоре.

Кстати, лишать Демьяна его права на «протекционный» вагон никто и не собирался. Речь шла лишь о том, чтобы этот его вагон не был «персональным», так сказать, принадлежащим ему лично. По новому порядку вещей, который предлагал Президиум ЦКК, просто всякий раз, по надобности, Демьян должен был писать соответствующую заявку и получать так называемый «разовый мандат». При этом, разумеется, неизбежно возникал бы вопрос: а для какой надобности в данный момент потребовался ему вагон — для деловой или, может быть, какой–нибудь приватной поездки? Это, конечно, было бы уже не так удобно, тем более, что Демьян постоянно пользовался своим вагоном и для сугубо частных, личных поездок.

Вот рассказ одного из свидетелей приезда Демьяна на отдых в Ессентуки в 1924 году:

> В «синем» вагоне он, оказывается, путешествовал с собственной «лабораторией» — у него была часть его библиотеки с неизменными филологическими словарями и энциклопедией Брокгауза — Ефрона…
>
> ***(Воспоминания о Демьяне Бедном. М. 1966. Стр. 55.)***

Отказываться от таких удобств ему, разумеется, не хотелось.

Любопытен один из главных аргументов, выдвигаемый Демьяном в пользу оставления за ним персонального вагона. Обладание этим собственным вагоном, объясняет он, не только ничуть не уронило его в глазах рабочих и крестьян, но, наоборот, только еще больше возвысило, ибо

> …сам злополучный вагон превратился в сюжет трогательной легенды: «тов. Ленин дал Демьяну Бедному вагон, чтобы Демьян ездил по России да смотрел, хорошо ли народ живет» (см. журнал «Печать и революция» за текущий год).
> «Дал Ленин. Разве это не верно? Ленин мне много дал, ничего не отбирал. Нужно ли, чтобы легенда о вагоне приобрела внезапный конец — «умер Ленин, и вот у Демьяна…», или «Проштрафился Демьян, и вот у него…»

Этот лукавый ход (Ленин, мол, дал, а вот Сталин хочет отнять) сработал безошибочно.

А что касается «трогательной легенды», на которую Демьян тут ссылается, то она настолько выразительна и влечет за собой такие — далеко идущие — ассоциации, что ее. пожалуй, стоит привести полностью — в том самом виде, в каком она была изложена на страницах упомянутого в письме Демьяна Сталину журнала «Печать и революция»:

> На одном из перегонов польского фронта при отступлении из Полесья застрял в тупике вагон Демьяна Бедного. Осень. Холодный дождик. Кучками бродят красноармейцы. Кто-то заинтересовался вагоном:
> — Чей такой? Что за комиссар?
> — Не комиссар. Демьян Бедный.
> — Какой Бедный?
> — Дурак ты! Бедного Демьяна не знаешь?
> — Кто такой? Говори.
> — Был такой в царское время барин… хваткий, богач всесветный. Чего только, чего нету!.. Было у него 12 автомобилей и 10 пудов золота. Не нравились ему царские порядки. Как революция пришла, пробрался он к Ленину и говорит:
> — Вот тебе золота 10 пудов и 12 автомобилей. Ничего мне теперь не нужно. Дай ты мне только один вагон, чтобы мог я по фронту ездить. Погляжу, как народ за правду воюет.
> Обрадовался Ленин, дал ему вагон из царского поезда, и ездит тот человек по всему фронту в своем вагоне… Был барин, а теперь в другом образе: Демьян Бедный — с бедными, значит, заодно… День сухарем живет, а ночью песней… Демьяна Бедного песни вся дивизия знает.
>
> ***(Л. Войтоловский. Демьян Бедный. «Печать и революция», 1925, № 4.)***

Эта легенда о бывшем богатом барине, который отдал Ленину все свои богатства, получив взамен вагон из «царского поезда», вероятно, связана с другой легендой — о царском» (великокняжеском) происхождении Демьяна. Но эту последнюю многие склонны были считать даже и не легендой, и не слухом, а самой что ни на есть доподлинной реальностью. Вот, например, как говорил об этом хорошо знавший Демьяна Иван Михайлович Гронский:

> *— Многое в биографии и поведении Бедного до конца не ясно.*
> Советую вам сходить к Вере Руфовне (*жене Д. Бедного. — Б.С* .). Поинтересуйтесь. Особенно происхождением Бедного. Вы, наверное, знаете, что Бедный был сыном Константина Константиновича Романова… Не удивляйтесь… Ведь ни для кого не

было секретом, что на столе у Бедного стоял портрет Константина Константиновича. Когда я встречался с ним еще до революции, он был тогда студентом-белоподкладочником в Университете. Потом, когда Бедный примкнул к революционному движению, к нему приходил комендант императорского двора и просил вернуть все, что у Демьяна было от К.Р. Бедный вернул. Когда Бедный был за границей, с ним очень хотела встретиться графиня Клейнмихель, которая и была его матерью. Да и не надо забывать, что начинал Демьян с верноподданнических стихов.

Все это мне рассказал сам Демьян, когда ему пришлось решать вопрос о своей семье. Он жил тогда у Лидии, а я посоветовал ему вернуться в старую семью, к Вере Руфовне. Вот тогда он мне все это и рассказал.

— Сталин за все это мог арестовать Бедного.

Мог. Правда, у меня был разговор со Сталиным, когда я рекомендовал не арестовывать Демьяна. Да и у Сталина был сложный характер.

(Вячеслав Нечаев. Ненаписанные воспоминания. Беседы с И.М. Гронским. «Минувшее. Исторический альманах. 16». М. — СПб. 1994. Стр. 106.)

В какой мере достоверна эта версия «царского» (великокняжеского) происхождения Демьяна, судить не берусь. Но дыма без огня не бывает, а тут сквозь дым и огонь проглядывает.

В статье о Демьяне Бедном, напечатанной в первом томе первой советской «Литературной энциклопедии» (1930 г.), биография Демьяна представлена в традиционном тогдашнем духе: родился и рос в бедной крестьянской семье, страшное, нищее детство, каторжная совместная жизнь с матерью, обращение которой с ним было, по его собственным словам, «зверское». Затем: «Тринадцати лет был отдан в киевскую военно-фельдшерскую школу». И тут вдруг, без всякого перехода — биографический прыжок еще более фантастический:

Двадцати одного года (1904) поступил на историко-филологический факультет петербургского университета.

(Литературная энциклопедия. Том первый. М. 1930. Стр. 378.)

Как? Каким образом? Загадка!

В особенности, если к этому добавить уже личное воспоминание И.М. Гронского, который говорит, что до революции встречался с Демьяном, который был тогда **студентом-белоподкладочником** .

В автобиографической поэме Демьяна «Горькая правда», в которой немало строк посвящено рассказу о крестьянском происхождении автора и его тяжелом нищенском детстве, есть и такая загадочная строфа:

От блеска почестей, от сонмища князей,
Как от греховного бежал я наважденья.
В иной среде, иных друзей
Нашел я в пору пробужденья.

О том, как он оказался в этом «сонмище князей», среди «блеска почестей», от которых потом бежал, в поэме не сообщается.

В современном (пятитомном) биографическом словаре («Русские писатели. 1900—1917») этот туман несколько рассеивается:

В авг. 1896 поступил в Киев, воен-фельдшер. школу. Как лучший ученик вскоре был представлен инспектору-попечителю воен. уч. заведений вел. кн. Константину Константиновичу (поэтич. псевд. К.Р.). По окончании школы (1900) служил в воен. лазарете в Елизаветграде. Позже вел. князь разрешил Б. в порядке исключения

сдать экстерном экзамены за курс гимназии в Елизаветграде и учиться дальше (с условием отслужить в армии еще 2 года по окончании учения). В 1904 он поступил на ист. –филол. ф-т Петерб. ун-та, лекции в котором слушал по 1908. Звание действительного студента (до 1914) давало ему право жить в Петербурге и заниматься лит. деятельностью.

(Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. 1. М. 1989. Стр. 195.)

Тут тоже много неясного. Слушать лекции — это одно, а иметь звание «действительного студента» — совсем другое. И почему слушал лекции по 1908 год, а звание студента сохранил до 1914-го?

Выяснилось, однако, что Константин Константинович Романов к устройству его судьбы действительно руку приложил. Так что держать на своем столе портрет великого князя некоторые основания у него были.

Другое дело, что в те времена это было небезопасно: Вячеслав Нечаев, слушавший и записавший рассказ И.М. Гронского, не зря тут кинул реплику, что ведь «Сталин за все это мог арестовать Бедного».

Разумеется, мог. Но мог и по любому другому какому-нибудь поводу. А мог и без всякого повода

Что же касается великокняжеского происхождения знаменитого пролетарского поэта, то для Сталина (который, если этот факт действительно имел место, не мог, конечно, о нем не знать) это было скорее плюсом, чем минусом.

Сталин любил выдвигать людей с темным (темным с ортодоксальной большевистской точки зрения) прошлым. Благодаря этому темному прошлому и постоянному страху разоблачения ему было удобнее держать их в руках. Так, например, он выдвинул на первые роли Вышинского, которой в прошлом не только был меньшевиком, но после февраля, кажется, даже подписал ордер на арест Ленина. Не на первые, но тоже достаточно важные роли выдвинул он и Д. Заславского, который в досоветском своем прошлом был (страшно вымолвить!) сионистом.

Вот так же и «великокняжеское» прошлое Демьяна могло не только не мешать, но даже помогать Демьяну в его вхождении в самый верхний слой партийного и советского истеблишмента. Разумеется, до тех пор, пока он делал то, что было нужно Сталину.

А он — старался.

*** * ***

22 января 1928 года в парижской белоэмигрантской газете «Дни», выходившей под редакцией А.Ф. Керенского, появилась подвальная статья некоего Семена Верещака — «Сталин в тюрьме. Воспоминания политического заключенного».

Автор этой статьи был эсером, со Сталиным пересекался в разных местах заключения, на этапах и тюремных пересылках. В 1908 году — в бакинской Баиловской тюрьме, в 1912-м — в Нарымском крае, в селе Колпашёве, где Коба провел несколько дней до переезда в местечко Нарым. Там, в Нарымском крае, у ссыльных было бюро, делившееся на северное — в Нарыме и южное — в Колпашёво. Верещак был членом южного бюро, где ему случилось писать и подписывать подложный паспорт Свердлову. Все побеги из ссылки совершались, как он пишет, через и при посредстве этого бюро. Последний раз он Сталина видел в 1917 году —уже в Петрограде, на 1-м Съезде Советов, куда он, Верещак, прибыл как делегат от Тифлисского гарнизона.

В общем, ему было что вспомнить о человеке, который к тому времени уже воспринимался как главная фигура в партийно-государственной хунте, правившей большевистской «Совдепией».

Статья Верещака попалась на глаза Демьяну Бедному, и он использовал ее для решения задачи, которая тогда еще прямо поставлена не была, но, как видно, уже носилась в воздухе.

Демьян однажды написал о себе:

Во времена оны,
Читая мои боевые фельетоны,
Ильич сказал (должно быть, не зря)
«У нашего Демьяна хорошая ноздря!»

Вот эта самая «хорошая ноздря» и на этот раз помогла Демьяну унюхать главное веяние времени. Он раньше многих (а может быть, даже раньше всех) почувствовал, что уже готова почва для создания культа Сталина. Пора было в эту хорошо взрыхленную и унавоженную почву бросить **первое зерно** . И тут очень кстати ему пришлась вот эта самая статья живущего в эмиграции эсера Семена Верещака.

Статья эта, когда я ее прочел, меня, признаюсь, слегка насторожила. Кое-что в ней показалось мне довольно странным.

Особенно странно выглядело у белоэмигрантского автора настойчивое выпячивание выдающейся роли Кобы в истории революционного движения в Закавказье. Получалось, что Сталин был самой крупной, самой яркой фигурой среди закавказских большевиков. Безусловным, всеми признаваемым их вождем:

> Видных фигур в литературном, политическом и общественном отношении большевики в Закавказье не имели. Джугашвили, Шаумян, Джапаридзе, Махарадзе — вот и всё. Из них только Алеша Джапаридзе, как работник по профсоюзному рабочему движению, был до некоторой степени известен и популярен. Главой и душой активных закавказских большевиков был всегда Коба.

> Таких людей большевистская партия имела мало. Я знал двоих — Кобу и Свердлова. Это были активисты-организаторы, профессионалы крупных масштабов.

> Марксизм был его стихией, в нем он был непобедим… Под всякое явление он умел подвести соответствующую формулу из Маркса. На непросвещенных в политике молодых партийцев такой человек производил сильное впечатление. Вообще же в Закавказье слыл Коба как второй Ленин.
>
> ***(Семен Верещак. Сталин в тюрьме. Воспоминания политического заключенного. «Дни», 22.01.1928.)***

Таких апологетических характеристик Сталин тогда (в 1928 году) еще не удостаивался и в советской печати. Знаменитая книжка Лаврентия Берии «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье», где Сталину была уготована роль «закавказского Ленина», увидела свет только в 1935-м, то есть семь лет спустя. Да и до того, как Мехлис, назначенный ответственным редактором «Правды», взял курс на создание культа Сталина, тоже должно было пройти еще целых два года.

Были, конечно, в статье Верещака и другие характеристики Кобы, отнюдь не столь для него лестные:

> Развит был Коба крайне односторонне, был лишен общих принципов, достаточной общеобразовательной подготовки. По натуре своей всегда был малокультурным, грубым человеком. Всё это в нем сплеталось с особенно выработанной хитростью…

> Внешность Кобы и его политическая грубость делали его выступления всегда неприятными. Его речи были лишены остроумия и носили форму сухого изложения… Глядя на неразвитый лоб и маленькую голову, казалось, что, если ее проткнуть, как газ из газового резервуара, с шумом вылетит весь капитал Карла Маркса.
>
> …Была в нем и другая черта, — это способность подстрекать других, а самому оставаться в стороне.
>
> ***(Там же.)***

Если бы не набор и таких, малопривлекательных черт, на которые Семен Верещак, рисуя портрет своего знаменитого сокамерника, тоже не поскупился, читая эти воспоминания о молодом Сталине, я бы, ей-богу, не мог отделаться от мысли, что автор их — «наш человек в Гаване». (А в том, что в каждом белоэмигрантском издании такой «наш человек» наверняка был, можно не сомневаться.)

В том, как ловко Демьян использовал в своих целях эти воспоминания С. Верещака, была и еще одна маленькая странность.

Статья «Сталин в тюрьме» в парижской газете «Дни», как уже было сказано, появилась 22 января. А ответ на нее Демьяна был напечатан в «Известиях» 7 февраля. То есть всего две недели спустя.

Если бы дело происходило не в Советском Союзе, а в какой-нибудь европейской стране, это было бы совершенно нормально. Но «в условиях нашего климата»…

Я живо представил себе такую картинку.

Идет Демьян по Москве, скажем, по какой-нибудь там Тверской, в один из последних дней января 1928 года. Мороз и солнце, день чудесный. И настроение у Демьяна чудесное. И вот подходит он к газетному киоску, и среди множества других газет — глядь! — лежит газета «Дни», издаваемая в городе Париже Александром Федоровичем Керенским. Демьян, ясное дело, заинтересовался. Дай, думает, куплю. Интересно же, чего они, сволочи, там про нас пишут!

И купил! И прочел! И тут же сел за свой старенький «Ундервуд»…

Не скрою, сперва я засомневался. Черт его знает! Может быть, в конце 20-х годов парижскую эмигрантскую газету и в самом деле можно было вот так вот запросто купить в московском газетном киоске? Но довольно быстро установил, что газету эту со статьей Верещака Демьян получил другим способом. В порядке, так сказать, особой льготы, полагающейся ему по штату:

> Демьян Бедный.
> Москва, Кремль. апреля 22,1932 г.
> В СЕКРЕТАРИАТ ЦК ВКП(б)
> Уважаемые товарищи,
> В моей газетной продукции, как это легко установить, темы так называемые «белогвардейские» занимали всегда весьма и весьма видное место. Внимательный читатель белогвардейских газет, я систематизировал материал и нередко давал большие сводные фельетоны о белогвардейских делах-делишках, чаяниях и упованиях. Недавним распоряжением Сектора печати я включен в число лиц, которым доставка белых газет ни к чему. *Это распоряжение начисто обрывает у меня возможность продолжать работу по линии схваток с белой эмигрантской прессой.* Нужно ли это? Не следовало ли, наоборот, максимально снабжать меня материалом, который и без того ограничивался только «Возрождением», «Последними новостями» и «Социалистическим вестником»?
> Прошу о рассмотрении означенного недоразумения.
> С товарищеским приветом.

Д. БЕДНЫЙ

(Счастье литературы. 1925—1938. Документы. М. 1997. Стр. 117-118.)

В указанной книге к этой публикации сделаны такие примечания:

> 1. Распоряжение сектора печати последовало после решения Секретариата ЦК ВКП(б) 15 марта 1931 г. «О выписке, пользовании и хранении белоэмигрантской периодической литературы», в котором утверждался список лиц, получающих эти издания. Эмигрантские газеты и журналы были приравнены к секретным документам ЦК.
> 2. Согласно беспротокольному постановлению ЦК ВКП(б) 6 января 1930 г. Д. Бедному было разрешено выписывать на 1930 г. следующие издания: «Руль», «Последние новости», «Дни», «Возрождение», «Социалистический вестник», «Воля России».
>
> ***(Там же, стр. 118.)***

Так что и в 1928 году газета Керенского «Дни», быть может, тоже входила в круг «белоэмигрантских» изданий, которые ему позволено было выписывать. А может быть — кто знает? — именно этот номер ему подкинули, как представляющий особый интерес для целей контрпропаганды? Все-таки уж очень быстрой по нашим российским темпам была в этот раз его реакция.

Но, в конце концов, так ли уж важно, кем был на самом деле этот Семен Верещак и как попала к Демьяну его статья? Важно то, как он, Демьян, эту статью использовал.

А использовал он ее по полной программе.

В «Известиях» этот демьяновский фельетон занял почти целый подвал.

Открывался он стихотворным (раешным) текстом самого Демьяна:

> У Саши Керенского и его политической родни
> Есть в Париже белая газета «Дни».
> Газета зарубежная,
> К большевикам не больно нежная.
> Было б неслыханное диво,
> Если б в ней писалось о большевиках правдиво.
> Но… сила большевистской правды такова,
> Что, сколь она врагами ни закрывается,
> И сквозь вражеские слова
> Иной раз эта правда прорывается.
> Привожу последний пример.
> В «Днях» (22, 23.01 с.г.) намедни некий бывший эс-эр,
> Семен Верещак по прозванию,
> Попробовал товарища Сталина предать ошельмованию:
> «Я, — разбахвалился эс-эровский Семен, —
> Знаю сего большевистского имя-река
> С давних-предавних времен.
> (Двадцать лет — это ж нынче два века!)
> Я о нем столько свидетельств приведу,
> Его прозвище подпольное — Коба.
> Мы с ним в 1908 году
> В Бакинской тюрьме очутились оба.
> Я его знаю насквозь.
> Хоть мы шли политически врозь,
> Мы встречались на общих «пересылках и этапах»,
> У жандармов очутившись в лапах».

— — — —

Семен Верещак нынче в белой эмиграции.
Ему не по сердцу большевистские «операции».
В частности, у этого представителя «демократии»
Нету к Сталину ни малейшей симпатии.
Ему не нравится — ни сталинский нос,
Ни цвет сталинских волос,
Ни сталинский голос — ни единого витка! —
Ни сталинская походка.
Но… дадим лучше слово
Самому Верещаку,
Каким он рисует Сталина былого
В ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЕ В БАКУ.

И далее идет довольно большой фрагмент из статьи Верещака. Даже не фрагмент, а выборка, состоящая из нескольких фрагментов. Разумеется, отобраны они так, что Сталин в них предстает в облике того романтического героя, каким годы спустя его стали изображать советские художники, в совершенстве овладевшие методом социалистического реализма.

Всю эту выборку, составленную, надо сказать, довольно ловко, я тут приводить не стану. А процитирую из нее только один эпизод, с легкой руки Демьяна впоследствии ставший хрестоматийным:

> В синей сатиновой косоворотке, с открытым воротом, без пояса и головного убора, с перекинутым через плечо башлыком, всегда с книжкой…
> Когда в 1909 году, на первый день Пасхи, первая рота Сальянского полка пропускала через строй, избивая весь политический корпус, Коба шел, не сгибая головы под ударами прикладов, с книжкой в руках.

Далее следовал довольно эффектный стихотворный комментарий Демьяна:

Вот посмотрите-ка!
Как оскандалилась вражеская критика,
Сталин — не эсеровского романа герой,
Но правда любые прорывает плотины.
Разве «сталинское прохождение сквозь строй»
Не сюжет для героической картины?!
Обращаюсь к писателям, особенно к тем,
Что танцуют на обывательско-мещанском канате:
Вы не имеете героических тем?
Нате!

Честно говоря, эта нарисованная Верещаком и подхваченная Демьяном картина поначалу показалась мне не слишком правдоподобной. С чего бы это, подумал я, рота солдат станет избивать, пропуская сквозь строй, весь корпус политических заключенных! Да еще — **на первый день Пасхи!**

И само это избиение, и в особенности Коба, идущий сквозь строй с книжкой в руках, — уж очень все это выглядело литературно. Я бы даже сказал — театрально.

Это еще больше укрепило мои подозрения насчет того, что автор этих воспоминаний — «наш человек в Гаване». Но, заглянув в первый том книги Троцкого о Сталине, я не без удивления там прочел:

> Московский «историк» Ярославский пересказывает Верещака: «Сталин проходил сквозь строй солдат, читая Маркса». Имя Маркса здесь привлечено по той же

причине, по которой в руке Богородицы оказывается роза. Вся советская историография состоит из таких роз. Коба с «Марксом» под прикладами стал предметом советской науки, прозы и поэзии. Между тем такое поведение не имело в себе ничего исключительного. Тюремные избиения, как и тюремный героизм, стояли в порядке дня.

(Лев Троцкий. Сталин. Том 1. М. 1990. Стр. 171.)

Ирония автора направлена на псевдоисторика Емельяна Ярославского, на других советских фальшивомонетчиков — историков, писателей, поэтов. Но само свидетельство Верещака Троцкий сомнению не подвергает.

Кстати сказать, в этой своей книге о Сталине он уделил воспоминаниям Верещака несколько страниц, выделив в них, разумеется, совсем не те фрагменты, которые выбрал из них и привел в своем фельетоне Демьян Бедный. Но никаких сомнений в подлинности этих воспоминаний Лев Давыдович при этом не высказал.

В заключение этого сюжета нельзя не отметить, что в числе писателей, которые откликнулись на предложение Демьяна («Вы не имеете героических тем? Нате!»), оказался и Михаил Афанасьевич Булгаков. Сцена, в которой молодой Сталин с высоко поднятой головой проходит сквозь игрой избивающих его солдат, вошла в его пьесу «Батум».

Но написал ее Булгаков по-своему.

Как главного зачинщика тюремных беспорядков Сталина переводят в другую тюрьму:

Начальник тюрьмы делает знак надзирателям. Те выбегают в подворотню и там становятся цепью под стеной.
Сталин *(взяв сундучок).* Прощайте, товарищи!..
Начальник тюрьмы *(тихо).* У, демон проклятый…
Когда Сталин равняется с первым надзирателем, лицо того искажается.
Первый надзиратель. Вот же тебе!.. Вот же тебе!.. *(Ударяет ножнами шашки Сталина.)*
Сталин вздрагивает, идет дальше. Второй надзиратель ударяет Сталина ножнами.
Сталин швыряет свой сундучок. Отлетает крышка. Сталин поднимает руки и скрещивает их над головой, так, чтобы загородить себя от ударов. Идет. Каждый из надзирателей, с которым он равняется, норовит его ударить хоть раз.

Как видите, сцена, написанная Булгаковым, довольно сильно отличается от той «героической картины», которую нарисовал в своих воспоминаниях Семен Верещак и которую разрекламировал Демьян. У него «сквозь строй» проходит не весь корпус политических заключенных, а один Сталин. И сквозь строй не солдат, а надзирателей. И не с книгой он идет, а с сундучком. И бьют его надзиратели не прикладами ружей, а ножнами шашек. И бьют не потому, что получили такой приказ, а потому что он, видать, сильно им досадил своей строптивостью. То есть в этом коллективном избиении главную роль играет личная неприязнь надзирателей к Сталину, личная их к нему ненависть.

При такой интерпретации сцена становится более реалистической, более достоверной. Но много при этом и теряет.

Для романтического образа молодого революционера, каким хотел изобразить героя своей пьесы Булгаков, сцена, описанная Верещаком, представляла поистине счастливую находку. И, тем не менее, от главной, самой эффектной ее детали (избиваемый герой идет сквозь строй, читая книгу) драматург отказался.

То ли потому, что этот эффект и ему тоже показался искусственным, слишком уж театральным. Но, скорее всего, потому что сцена эта — с подачи Демьяна — в то время стала уже, как заметил Троцкий, расхожим штампом «советской науки, прозы и поэзии».

Тут, конечно, с неизбежностью возникает и такой вопрос: а как Булгакова-то занесло «под своды таких богаделен»?

Ответу на него мы посвятим отдельный сюжет, когда дело дойдет до главы «Сталин и Булгаков». А пока — вернемся к Демьяну.

Сюжет второй
«ПРИШЕЛ ЧАС МОЕЙ КАТАСТРОФЫ»

Трудно сказать, как сложилась бы жизнь Демьяна Бедного, если бы не революция. Но можно с уверенностью сказать, что даже если он действительно был внебрачным сыном великого князя Константина Константиновича, вагон из «царского поезда» в личное пользование вряд ли в этом случае был бы ему предоставлен. Не кровное родство с особами царствующей фамилии, а большевистский переворот поселил Демьяна в Кремле, бок о бок с новыми хозяевами страны, обеспечил ему роль любимца и баловня главного Хозяина.

Именно эта роль, в которую он уже вжился (выгрался), внушила ему ложное сознание незыблемости этого своего положения партийного вельможи, ощущение полной, абсолютной своей неуязвимости. И это же ощущение — именно оно! — при первом же нанесенном ему ударе вызвало у него сознание непоправимого краха.

Этот нанесенный ему удар был, надо сказать, весьма чувствителен. В особенности, если учесть, что гром грянул с самого неба:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКП(б) О ФЕЛЬЕТОНАХ ДЕМЬЯНА БЕДНОГО «СЛЕЗАЙ С ПЕЧКИ», «БЕЗ ПОЩАДЫ»

6 декабря 1930 г.

№ 26. П. 74 г — О фельетонах Демьяна Бедного «Слезай с печки», «Без пощады».

а) ЦК обращает внимание редакций «Правды» и «Известий», что за последнее время в фельетонах т. Демьяна Бедного стали появляться фальшивые нотки, выразившиеся в огульном охаивании «России» и «русского» (статьи «Слезай с печки», «Без пощады»); в объявлении «лени» и «сидения на печке» чуть ли не национальной чертой русских («Слезай с печки»); в непонимании того, что в прошлом существовало две России, Россия революционная и Россия антиреволюционная, причем то, что правильно для последней, не может быть правильным для первой; в непонимании того, что нынешнюю Россию представляет ее господствующий класс, рабочий класс и прежде всего русский рабочий класс, самый активный и самый революционный отряд мирового рабочего класса, причем попытка огульно применить к нему эпитеты «лентяй», «любитель сидения на почке» не может не отдавать грубой фальшью.

ЦК надеется, что редакции «Правды» и «Известий» учтут в будущем эти дефекты в писаниях т. Демьяна Бедного.

б) ЦК считает, что «Правда» поступила опрометчиво, напечатав в фельетоне т. Д. Бедного «Без пощады» известное место, касающееся ложных слухов о восстаниях в СССР, убийстве т. Сталина и т. д., ибо она не могла не знать о запрете печатать сообщения о подобных слухах.

(Счастье литературы. Государство и писатели-1925—1938. Документы. М. 1997. Стр. 85.)

Демьян воспринял это постановление как личную катастрофу– И только. Он не понял, что это начало *большого поборота* . Можно даже сказать, начало нового периода истории советского государства.

В том, что он этого не понял, нет ничего удивительного. Ведь это не поняли ни Ярославский, ни даже Молотов, сперва расхваливший его фельетон «Слезай с печки», и только потом, после того как в дело вмешался Сталин, поправившийся. Да и сам Сталин, как уверяет Демьян, поначалу этот фельетон тоже похвалил.

Тут надо, пожалуй, еще добавить, что в тот момент этот обозначившийся (именно вот этим самым постановлением и обозначившийся) идеологический поворот был еще не так крут. Так что удивляться непонятливости Демьяна тут особенно не приходится.

Удивляться надо тому, что **шесть лет спустя** , когда поворот этот уже не просто обозначился, а в полной мере состоялся, переиначив, повернув на сто восемьдесят градусов самые основы большевистской идеологии, Демьян снова **наступил на те же грабли** . И получил новый, на сей раз еще более сокрушительный удар.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) О ЗАПРЕТЕ ПЬЕСЫ Д.БЕДНОГО «БОГАТЫРИ»

14 ноября 1936 г.

№ 44. п. 202 — О пьесе «Богатыри» Демьяна Бедного.

Утвердить следующий проект постановления Комитета по делам искусств: Ввиду того, что опера-фарс Демьяна Бедного, поставленная под руководством А.Я.Таирова в Камерном театре с использованием музыки Бородина,

а) является попыткой возвеличения разбойников Киевской Руси, как положительный революционный элемент, что противоречит истории и насквозь фальшиво по своей политической тенденции;

б) огульно чернит богатырей русского былинного эпоса, в то время как главнейшие из богатырей являются в народном представлении носителями героических черт русского народа;

в) дает антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа, так как оно способствовало сближению славянских народов с народами более высокой культуры,

Комитет по делам искусств при СНК Союза ССР постановляет:

1) Пьесу «Богатыри» с репертуара снять, как чуждую советскому искусству.

2) Предложить т. Керженцеву написать статью в «Правде» в духе настоящего решения.

(Власть и художественная интеллигенция. Стр. 333.)

Получив этот новый сокрушительный удар, Демьян сперва и тут ничего не понял. В растерянности, я бы даже сказал, в прострации стал оправдываться, прибегая к тем же доводам, к каким прибегал шесть лет назад. Валил все на тогдашних партийных функционеров, которые вовремя его не поправили, не предупредили, не уберегли от ошибки:

> Проходит пьеса, и Репертком, и Главискусство — никто не сигнализировал. Ну, вот что Керженцев? Я поздравляю, что у него такие светлые глаза, но почему он не видел этого год назад? Ведь не было бы тогда моего позора! Думаю, что ему тоже протерли глаза. Если он видел, то почему мне не сказал? Мог ли Репертком пропустить такое дело?… Удивляюсь, как Керженцев не заметил, как другие инстанции не заметили.
>
> Где же был Керженцев? Ну, Сталин мог не прочесть, но ведь Керженцев должен был прочесть… Если бы мне на другой день сказали: «Да что ты, сукин сын…» Я бы был поражен, схватился бы за остатки волос, но дело бы можно было поправить…
>
> …Ведь Керженцев же умный, как же он проглядел? Ну, хорошо, я проглядел. Я ставлю свою голову. Но почему Керженцев не помог? Тут у меня большая обида на контролирующие органы.
>
> ***(Стенографическая запись беседы Демьяна Бедного со Ставским. 17 ноября 1936 г. Власть и художественная интеллигенция. Стр. 436—438.)***

Керженцев в то время и в самом деле мог бы уже кое-что понимать. Когда я говорю, что большой идеологический поворот к моменту этого постановления уже определился с полной

ясностью, я имею в виду «Замечания Сталина, Жданова и Кирова по поводу конспектов учебника «Истории СССР» и учебника «Новой истории». «Замечания» эти были написаны еще летом 1934 года, так что Керженцев мог знать о них и раньше. Но в январе 1936-го они уже были опубликованы в «Правде», превратившись таким рбразом в основополагающий партийный документ, уже с полной ясностью обозначивший *новый курс* .

Собственно, из обращенного непосредственно к нему резкого письма Сталина 1930 года Демьян тоже уже мог бы понять, что взят новый идеологический и политический курс Издеваться над Россией, которая еще недавно именовалась *тюрьмой народов* , никто теперь ему больше уже не позволит. Отныне Россию следует прославлять:

> Весь мир признает теперь, что центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию. Революционеры всех стран с надеждой смотрят на СССР как на очаг освободительной борьбы трудящихся всего мира, признавая в нем единственное свое отечество. Революционные рабочие всех стран единодушно рукоплещут советскому рабочему классу и, прежде всего, русскому рабочему классу, авангарду советских рабочих как признанному своему вождю, проводящему самую революционную и самую активную политику, какую когда-либо мечтали проводить пролетарии других стран. Руководители революционных рабочих всех стран с жадностью изучают поучительнейшую историю рабочего класса России, его прошлое, прошлое России, зная, что кроме России реакционной существовала еще Россия революционная, Россия Радищевых и Чернышевских, Желябовых и Ульяновых, Халтуриных и Алексеевых. Все это вселяет (не может не вселять!) в сердца русских рабочих чувство революционной национальной гордости, способное двигать горами, способное творить чудеса.
>
> А Вы? Вместо того, чтобы осмыслить этот величайший в истории революции процесс и подняться на высоту задач певца передового пролетариата, ушли куда-то в лощину и, запутавшись между скучнейшими цитатами из сочинений Карамзина и не менее скучными изречениями из «Домостроя», стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения…

Тут надо отметить, что, утверждая свой новый курс, Сталин пока еще делает это довольно осторожно. Прошлое России, говорит он, не следует огульно охаивать, потому что «центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию» и «революционеры всех стран с надеждой смотрят на СССР… признавая в нем единственное свое отечество». Иными словами, прошлое России следует рассматривать, исходя из **интересов мировой революции** .

Тут Сталин говорил на старом, ленинском, хорошо Демьяну понятном языке. И это Демьян, конечно, понял. Как наверняка понял он и то, что ему, советскому поэту, надлежит рукоплескать «русскому рабочему классу, авангарду советских рабочих как признанному своему вождю, проводящему самую революционную и самую активную политику, какую когда-либо мечтали проводить пролетарии Других стран».

Рукоплескать русскому рабочему классу он, разумеется, был согласен. И так же — с чистой душой — он согласен был вместе с Лениным и Сталиным рукоплескать великорусской нации, из которой вышли Радищев, Чернышевский, Желябов, другие выдающиеся революционеры.

Но могло ли ему прийти в голову, что запрет на охаивание великого исторического прошлого русского рабочего класса должен, оказывается, распространяться и на князя Владимира, крестившего Русь, и даже на самый факт крещения Руси?

Признавая теперь и эту свою ошибку (а как ему было ее не признать?), он растерянно оправдывался:

> Во мне сказалась, во-первых, старая отрыжка антирелигиозника. Очень я долго на этом деле работать привык. С этой верой обращался непочтительно. И сказались какие-то старые навыки.

(Стенографическая запись беседы. Демьяна Бедного со Ставским. Власть и художественная интеллигенция. Стр. 434.)

Конечно, дело было не только в привычке, не только в старых навыках. И тезис постановления Политбюро, утверждающий, что крещение Руси было «положительным этапом в истории русского народа, так как оно способствовало сближению славянских народов с народами более высокой культуры», надо полагать, ошеломил тогда не одного Демьяна.

И все-таки это второе Демьяново «наступление на грабли» изумляет.

Как мог он так промахнуться?

* * *

Ответом на этот вопрос — не полным, конечно, но кое-что все-таки объясняющим, — может служить стихотворение Николая Глазкова о линкоре.

Собственно, оно не о линкоре, а о поэте. О том, что настоящий поэт «больше всего похож на линкор, на линейный корабль»:

Пока еще бури нет роковой,
Эсминцы волненью в такт
Качаются. Если сделать рукой,
То будет примерно — так.

Какой-нибудь ялик безумно кружим
От обыкновенной волны,
И только линкор стоит недвижим,
Поскольку ему хоть бы хны.

Но если буря поставит рекорд,
Хотя не в рекордах счастье,
Тогда раскачивается и линкор.
И станет линкор качаться.

Вдруг все закончится в мире волн,
И скажешь, что в море их нет,
Однако будет качаться линкор,
Хоть море надолго стихнет.

И не побежит ни одна волна
В тот самый штиль после шторма.
Какой-нибудь ялик, как статуя на
Крыше большого дома.

И будет очень заметно, как
Эсминцы качаться кончают.
Однако буре ненужно в такт
Линкор все равно качает.

И в этот самый текущий момент,
Когда успокоится море,
Какой-нибудь ялик-интеллигент

Заговорит о линкоре.

И скажет ялик: каждый из нас,
Когда было нужно, падал.
Да здравствует, скажет, советская власть,
А линкор — мракобес, консерватор.

Переведем эту поэтическую метафору на язык тогдашних политических реалий.

Одной из причин крутого идеологического поворота, жертвой которого стал Демьян, было то, что на политическом языке того времени называлось частичной стабилизацией капитализма. Стало ясно, что в ближайшие годы нет никаких реальных надежд на ожидавшуюся в 20-х годах мировую революцию.

Со временем выяснилось, что эта самая стабилизация капитализма была отнюдь не частичной, и о мировой революции вообще забыли. Но тогда о ней еще помнили, на нее еще надеялись.

Русская революция, разразившаяся в октябре 1917 года, в официальной советской терминологии именовалась Великой Октябрьской Социалистической. Сейчас ее не то что великой, но и просто революцией никто не называет: презрительно именуют большевистским государственным переворотом. А между тем великой ее называли не только красные, победившие в Гражданской войне, но и белые, эту войну проигравшие. Именно так назвал ее, например, оказавшийся в 1922 году в эмиграции, в Париже, русский философ Георгий Петрович Федотов.

Великая революция, а русская революция была именно такой, писал он, именуется современниками и потомками великой не только потому, что она характеризуется включением в сферу своего действия огромных территорий и объемом охваченных движением людских масс. Прежде всего она характеризуется глубиной и мощностью произведенного катаклизма. Вся жизнь переворачивается до дна. Создается иллюзия, что все корни ее, уходящие в историческую почву, перерублены. Революционное отрицание старого мира носит всеобъемлющий характер. Оно направлено одновременно не только на Бога, царя, отечество, собственность, быт, нацию, но даже на мораль, культуру, семью.

В момент свершения великой революции неизменно возникает иллюзия, что старый мир будет разрушен «до основанья». Отныне — всё новое! Вплоть до летоисчисления и названий месяцев. Но проходят годы, и на смену брюмеру, жерминалю и прериалю опять приходят январь, март и апрель. Выясняется, что кое-что от старого мира можно и сохранить, хотя бы такой пустяк, как названия месяцев или дней недели.

В этом смысле идеологический поворот, жертвой которого стал Демьян, был исторически неизбежен. Но «какой-нибудь ялик-интеллигент» так не рассуждал. Он жил и действовал в соответствии со своей природой. (Если оставаться в пределах глазковской метафоры, — «когда было нужно, падал».)

Вот, скажем, Константин Симонов, юношеское сознание которого формировалось в системе старых, революционных координат. Позже он сам сформулирует это так:

Я шкурой знал, когда сквозь строй прошел там.
Знал кожей сжатых кулаков своих:
Мир неделим на черных, смуглых, желтых,
А лишь на красных — нас.
И белых — их.

На белых — тех, что, если приглядеться,
Их вид на всех материках знаком,
На белых — тех, как мы их помним с детства,
В том самом смысле. Больше ни в каком.

На белых — тех, что в Африке ль, в Европе
Мы, красные, в пороховом дыму
В последний раз прорвем на Перекопе
И сбросим в море с берега в Крыму!

В искренности этих стихов сомневаться не приходится. Но — «когда было нужно», автор их — одним из первых — сменил эту революционную систему координат на другую. И мир в этой его новой системе координат оказался разделен уже не на *красных и белых* :

По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют,
Но трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился.

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

Да, шла война, которая не зря с первых же своих дней стала называться отечественной. Но автор этих стихов (несомненно, тоже искренних) еще до войны почувствовал, что ветер переменился. И написал поэму «Ледовое побоище».

А для Демьяна этот поворот почему-то оказался не таким легким.

Казалось бы, ну какой он «линкор»? Смешно! Тоже ведь, «когда было нужно, — падал»:

> Вот во время процесса троцкистов я думал, вот я вам покажу теперь. Хлестко написал, в стиле насмешки. Меня вызвал Каганович и говорит: «Это здорово, но не такой тон требуется». А я говорю:
> «Да ведь я уже написал несколько стихов». И вот тут я пошел домой, обдумал все и надиктовал стихи, которые получились одними из лучших моих стихов.
>
> ***(Стенографическая запись беседы Демьяна Бедного со Ставским. Власть и художественная интеллигенция. Стр. 439.)***

Эти его стихи выглядели так:

«Пей, Лёвка, за успех!» — «За наше дело, Гришка!» —
За первый, «кировский», бутон.
День будет для меня и светел и хрустален,
Когда разоблачать уж нас не сможет Сталин».

На Сталина убийц вели!
Не удалось дойти к нему бандитским рожам.
Мы Сталина уберегли.
Не уберечь его — не можем!
Мы бережем его, как голову свою,
Как сердце собственное наше!..
и т.д.

«Надиктовать» еще сотни две (или — сколько прикажут) таких стихотворных строк для него труда не составляло. Рука была набита, а моральных препон — никаких.

Так что же помешало ему так же легко откликнуться на новый зов партии? На новый ее крутой поворот?

Ну да, Керженцев виноват, другие «контролирующие органы». Не вызвали, не предупредили, не поправили. Но только ли в этом была причина его катастрофы?

Нет, тут дело было серьезнее.

Как ни дико это прозвучит по отношению к такому сервильному стихотворцу, как Демьян Бедный, главной причиной постигшей его катастрофы было то, что этот крутой идеологический поворот, жертвой которого он стал, **затронул самые основы его мировоззрения.**

*** * ***

Владимир Солоухин в одном из последних своих, уже вполне откровенно антиленинских сочинений рассказал такую, судя по всему, сильно его травмировавшую историю:

> Это было в Кахетии, на даче у Георгия Леонидзе. Ведь во время таких вот «декад», помимо официальных встреч и «мероприятий», «разбирают» нас, участников, по своим домам грузинские писатели. То Ираклий Абашидзе, то Константин Гамсахурдия, то Иосиф Нонешвили… Теперь вот Георгий Леонидзе на своей даче…
>
> В этот раз настроение сложилось такое, что поэты (и прославленные поэты!) начали вдруг один за другим читать не свои, а чужие стихи… Зазвучали Гумилев, Цветаева, Блок… Кто-то прочитал «Мать» Николая Дементьева, кто-то «Зодчих» Дмитрия Кедрина, кто-то «Прасковью» Исаковского. Так шло, пока Сергей Васильев не встал и не оперся руками в край стола, словно собирался не стихи читать, а произносить речь на московском писательском собрании. Он выдвинул вперед тяжелый свой подбородок, оперся кулаками (а рукава засучены) о край стола и… заговорил:
>
> — Да, дорогие друзья, да, да и да. Как только мы начинаем читать любимые стихи, сразу идут Гумилев и Блок. Хорошо, что прозвучали тут милые наши, можно сказать, современники: и Коля Дементьев, и Боря Корнилов, и Паша Васильев. Но я вам сейчас прочитаю одно прекрасное, воистину хрестоматийное стихотворение поэта, имя которого никогда, к сожалению, не возникает уже много лет в наших поэтических разговорах. Что-то вроде дурного тона. А между тем — напрасно. И я сейчас, идя наперекор установившейся традиции, назову это имя — Демьян Бедный.
>
> Тут действительно шумок пробежал по застолью, так неожиданно это оказалось для всех, хотя и непонятно было, то ли это одобрительный шумок, то ли от удивления.
>
> — Да, да и да! И чтобы показать вам, какой это был все-таки превосходный поэт, я прочитаю сейчас одно его стихотворение. Это маленький шедевр, забытый, к сожалению. А забывать такие стихи нам не следовало бы…
>
> ***(В.А. Солоухин. При свете дня. В кн.: «Под крышей Мавзолея», Тверь. 1998. Стр. 7—8.)***

Этот маленький шедевр забытого поэта, как и Солоухин в своем рассказе о том запомнившемся ему застолье, я приведу тут полностью:

> Был день, как день, простой, обычный,
> Одетый в серенькую мглу.

Гремел сурово голос зычный
Городового на углу.
Гордяся блеском камилавки,
Служил в соборе протопоп.
И у дверей питейной лавки
Шумел с рассвета пьяный скоп.
На рынке лаялись торговки,
Жужжа, как мухи на меду.
Мещанки, зарясь на обновки,
Метались в ситцевом ряду.
На дверь присутственного места
Глядел мужик в немой тоске, —
Пред ним обрывок «манифеста»
Желтел на выцветшей доске.
На каланче кружил пожарный,
Как зверь, прикованный к кольцу,
И солдатня под мат угарный
Маршировала на плацу.
К реке вилась обозов лента.
Шли бурлаки в мучной пыли.
Куда-то рваного студента
Чины конвойные вели.
Какой-то выпивший фабричный
Кричал кого-то разнося:
«Прощай, студентик горемычный!»
.....
Никто не знал. Россия вся
Не знала, крест неся привычный,
Что в этот день, такой обычный,
В России… Ленин родился!

Дочитав стихотворение до конца, Сергей Васильев обвел собравшихся торжествующим и умильным взором. Собравшиеся закивали: да, да, забываем нашу классику, хрестоматийные наши стихи.

> Прокофьев потянулся чокаться к декламатору, а сам толкал Доризо, сидящего по соседству: «Кольк, Кольк, а?» И вот-вот расплачется от умиления: «Кольк, Кольк, вот как надо писать-то».

В общем, все умилялись и ликовали. И только один из всех, сидевших за тем столом, не участвовал в этом всеобщем ликовании. Это был, как вы, наверно, уже догадались, сам рассказчик — Владимир Алексеевич Солоухин.

Его эти стихи Демьяна не то что не восхитили. Они его глубоко возмутили. Мало сказать возмутили — оскорбили! Чувство у него было такое, словно ему плюнули в душу.

> Не знаю уж, как получилось, то ли я насупился угрюмо над своим бокалом, не поднимая глаз, то ли какие-то особенные ледяные эманации, флюиды излучались от меня на все застолье, но только все как-то вдруг замолчали и уставились на меня выжидательно, вопросительно, словно предчувствуя, что я сейчас могу встать и высказаться. Хозяин дома, как чуткий и опытный тамада, тотчас и дал мне слово.
> Хочу отметить: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». Хочу отметить, что миг преодоления чугунного земного притяжения, миг, когда человек, преодолевая в первую очередь сам себя, поднимается на брустверр, над которым

> свистят пули, и уже не думает больше ни о чем, даже о том, много ли секунд или минут отпущено ему на то, чтобы ни о чем больше не думать, должен отметить, что этот миг преодоления себя — великий миг.

Смысл этой тирады, являющей собою странную смесь косноязычного пафоса с многозначительным и нарочитым канцеляритом (троекратно повторенное «хочу отметить»), как видно, состоит в том, чтобы дать нам понять: то, что произошло после того, как он встал со стаканом вина в недрожащей руке, было именно вот таким *великим мигом* в его, Солоухина, жизни. А может быть, даже и не только в ней,

А произошло вслед за этим то, что он произнес — тост не тост, речь не речь, но такой вот монолог:

> — Персонаж только что прочитанного пасквиля на Россию назвал однажды Льва Толстого срывателем всех и всяческих масок. Очень ему нравился этот процесс, включая и ту стадию, когда вместо «масок» начинают срывать уже одежды со своей собственной матери, стремясь обнажать и показывать всему свету ее наиболее язвенные места. Для родного сына занятие не очень-то благородное и похвальное. Но Толстой был хоть гений… Что же мы услышали здесь, извергнутое в свое время, если не ошибаюсь, в 1927 году, грязными и словоблудными устами Демьяна Бедного, который по сравнению со Львом Толстым не заслуживает, конечно, другого названия, кроме жалкой шавки, тявкающей из подворотни…
> Я сознательно груб. Но мои эпитеты… слишком слабы и ничтожны, чтобы выразить состояние, в которое меня привело слушание этого стихотворения, а точнее сказать, стихотворного пасквиля на Россию.

Это только зачин. Главное — впереди. Воспроизвести тут этот монолог целиком было бы затруднительно, — уж больно он многословен. Но в этом и нет нужды. Приведу лишь самую его суть, стараясь, однако, сохранить не только смысл, но и весь, так сказать, его эмоциональный настрой, весь его пафос:

> Что такое Россия в 1870 году? Творит Достоевский, звучат новые симфонии и оперы Чайковского. В расцвете творческих сил Толстой. Роман за романом издает Иван Сергеевич Тургенев («Вешние воды» 1872 г., «Дым» — 1867 г., «Новь» — 1877 г.). Александр Порфирьевич Бородин создает «Богатырскую симфонию», оперу «Князь Игорь», а как химик открывает в 1872 году (одновременно с Ш.А. Вюрцем) альдольную конденсацию. Не знаю, право, что это такое — альдольная конденсация, — но верно уж факт не менее важный, нежели пожарный на каланче. Да, так вот, звучат симфонии и оперы русских композиторов, в деревнях звучат народные песни, хороводы. Сошлемся на Некрасова: «Будут песни к нему хороводные из села на село долетать, будут нивы ему хлебородные (хлебородные, заметьте) безгреховные сны навевать». Менделеев уже открыл свою периодическую таблицу, Тимирязев вот-вот начнет читать свои блестящие лекции. В Москве возводится грандиозное ослепительно белое златоглавое сооружение — памятник московскому пожару, Бородину и вообще победе над Наполеоном. В России от края до края бурлит 18 000 ежегодных ярмарок. Через восемь лет Россия, жертвуя своей кровью, освободит ближайшую родственницу, сестру Болгарию, от турецкого ига… Я думаю, если бы поднять газеты того времени, мы найдем там много такого, что можно было бы почитать с гордостью за Россию, за ее общественную жизнь, за ее дела. Ведь именно на эти годы (и на 1870-й в том числе) приходится активная научно-исследовательская деятельность, скажем, Пржевальского и Миклухо-Маклая.
> И что же поэт-пасквилянт выбрал из всей российской действительности того времени, чтобы показать свету?.. Серенькая мгла. А почему, собственно, в апреле серенькая мгла? Более вероятно, что день был яркий, весенний, грачи прилетели, ледоход на Волге. Городовой на углу и поп в соборе. У дверей питейной лавки шумит пьяный скоп. Очередь, что ли, там за водкой на полкилометра? На рынке

> лаются торговки. Не просто ведь торгуют всевозможной изобильной снедью, а обязательно лаются. А чего бы им лаяться, когда всего полно — и снеди и покупателей?..
> Как же надо было ненавидеть Россию, свою родную мать, чтобы собрать в одно стихотворение все наиболее грязное, мерзкое, да и не просто собрать, но пасквильно, клеветнически преувеличить и даже выдумать и преподнести нам эту вонючую жижу, чтобы мы ее нюхали.

Трудно сказать, произнес ли Солоухин эту свою речь в описываемый момент, или все эти соображения и аргументы пришли ему в голову уже потом, в порядке так называемого «лестничного остроумия». Но это и не важно. Важно, что в этом — то ли реальном, то ли мысленном монологе он, как по несколько иному поводу было сказано в одном рассказе Зощенко, «выразил свою идеологию в полном объеме».

Самое удивительное тут то, что высказал все это какой-никакой, но все-таки литератор. Можно даже сказать — поэт. И уж во всяком случае, человек начитанный, по крайней мере, русскую литературу знающий совсем недурно. Даже в застолье помнит и без ошибки называет, словно он на экзамене, в каком году написан роман Тургенева «Дым», в каком «Новь», а в каком «Вешние воды».

Вот он ссылается на Некрасова, почтительно и даже как будто любовно его цитирует. И мне тут тоже вспомнился не кто-нибудь, а именно он, Николай Алексеевич Некрасов. Такое вот его стихотворение, — нельзя сказать, чтобы совсем уж для него нетипичное:

Бесконечно унылы и жалки
Эти пастбища, нивы, луга,
Эти мокрые, сонные галки,
Что сидят на верхушке стога;

Эта кляча с крестьянином пьяным,
Через силу бегущая вскачь
В даль, сокрытую синим туманом,
Это мутное небо… Хоть плачь!

Но не краше и город богатый:
Те же тучи по небу бегут;
Жутко нервам — железной лопатой
Там теперь мостовую скребут.

Начинается всюду работа;
Возвестили пожар с каланчи;
На позорную площадь кого-то
Провезли — там уж ждут палачи.

Проститутка домой на рассвете
Поспешает, покинув постель;
Офицеры в наемной карете
Скачут за город: будет дуэль.

Торгаши просыпаются дружно
И спешат за прилавки засесть:
Целый день им обмеривать нужно,
Чтобы вечером сытно поесть.

Чу! из крепости грянули пушки!

Наводненье столице грозит…
Кто-то умер, на красной подушке
Первой степени Анна лежит.

Дворник вора колотит — попался!
Гонят стадо гусей на убой;
Где-то в верхнем этаже раздался
Выстрел — кто-то покончил с собой.

Не то что луча, даже крохотной искорки света не мелькнет в этом царстве мрака. Если скачут куда-то в наемной карете офицеры, так непременно чтобы стрелять друг в друга. Если гонят стадо гусей, так уж конечно на убой. Если кто-то удостоился награды (Анны первой степени), так и того в гробу везут. Утро в городе начинается с того, что кого-то везут на площадь, где уж ждут палачи. Даже просто когда очищают лопатой снег с мостовой — и то «жутко нервам». И, как последняя точка — выстрел самоубийцы «в верхнем этаже».

По сравнению с этой жуткой картиной пейзаж, нарисованный в злополучном «словоблудном пасквиле» Демьяна, кажется солнечной идиллией.

Тут можно было бы, конечно, сказать, что Некрасов был мизантропом, что болезненной мрачностью изображаемых им картин российской действительности он резко отличается от других русских поэтов. Но тут же вспоминаются пушкинские «Дорожные жалобы», где эта самая российская действительность предлагает поэту только вот такие жуткие варианты его грядущей судьбы:

Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.

Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.

Как не вспомнить тут еще более отвратные картины той же российской действительности, нарисованные Блоком:

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в божий храм.

Три раза преклониться долу,
Семь — осенить себя крестом,
Тайком к заплеванному полу
Горячим прикоснуться лбом.

Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад…

А, воротясь домой, обмерить

На тот же грош кого-нибудь,
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть,

И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом переслюнить купоны,
Пузатый отворив комод…

Перечень этих картин завершается восклицанием:

Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Но сами картинки-то каковы! И с каким сладострастием отбирает поэт из всего, что видит вокруг, все самое грязное, мерзкое… Пол в Божьем храме у него не какой-нибудь, а *заплеванный* . И если случается русскому человеку надобность пересчитать купоны, то он норовит не просто пересчитывать, перелистывать их, а *переслюнивать* .

Выходит, не только Демьян Бедный, но и Пушкин, и Некрасов, и Блок, и мало ли кто еще (примеров тут можно припомнить множество и, когда понадобится, мы их еще припомним) — выходит, они все тоже были злостными, как нынче принято выражаться, *русофобами* ?

Нет, конечно!

В первом из приведенных мною в этой главе писем Сталина к Демьяну есть фраза, которую потом у нас часто цитировали как один из главных философских постулатов вождя. И, разумеется, как руководство к действию:

> Философия «мировой скорби» не наша философия. Пусть скорбят отходящие и отживающие.

Немудрено, что все советские стихотворцы — все как один! — со временем стали оптимистами.

В связи с этим не могу не рассказать тут такую историю.

В Тбилиси на каком-то важном собрании писателей доклад о поэзии делал Иосиф Н. — поэт весьма скромного дарования, не шибко преуспевший ни в трудах, ни в личной жизни, и к тому же довольно-таки — мягко говоря — непривлекательной наружности.

Доклад его, как полагалось, сплошь состоял из призывов к торжеству жизнеутверждающей, бодрой поэзии.

— Мы оптимисты!.. Советская поэзия должна быть пронизана духом оптимизма!.. — патетически восклицал он.

Когда доклад кончился, кто-то из внимавших докладчику задумчиво сказал:

— Подумать только!.. Байрон… Лорд, красавец, богач, умница, гений — пессимист!.. А наш Иосиф… Урод, дурак, бездарность, нищий — оптимист!

Увы, тут ничего не поделаешь: большой поэт почти всегда пессимист. Он всегда готов повторить вслед за Шекспиром: «Все мерзостно, что вижу я вокруг…» Это — едва ли не главное свойство его натуры: ведь поэт — дитя гармонии, поэтому любое проявление дисгармонии задевает, ранит больнее, чем простого смертного.

К Демьяну Бедному, как вы понимаете, все это никакого отношения не имеет. Его «русофобия» проистекает совсем из другого источника.

* * *

В том же 1927 году Демьян Бедный опубликовал еще одно «русофобское» стихотворение. На этот раз «русофобское», пожалуй, даже и без кавычек. Старая Россия теперь изобличалась и ниспровергалась им уже не на эмпирическом, бытовом, а на философском, точнее — *историософском* уровне:

Страна святителей, монахов,
Церковных ликов и свечей,
Порфироносных вертопрахов,
Синемундирных палачей,

Страна погромов и парадов,
Дворцов и — рядом — свальных куч,
Страна изысканных нарядов
И прелых, каторжных онуч, —

Страна невиданных просторов.
Страна безмерной тесноты,
Страна культурных разговоров,
Страна звериной темноты…

Страна насилья и бесправья,
Страна терпенья без конца,
Была ты книгой без заглавья,
Без сердцевины, без лица.

Казалось, дни твои уж спеты
И нет спасенья впереди.
Тебя кляли твои поэты:
«Сгинь, наважденье! Пропади!»

Ты в муках гибла, пропадала
И, разоренная дотла,
Свой жребий тем лишь оправдала,
Что миру Ленина дала!

Все строфы этой поэтической инвективы, предваряющие последнюю, могут показаться не более чем пустопорожней риторикой, этаким поэтическим ходом, призванным как можно эффектнее оттенить смысл заключительного двустишия. Иными словами, все эти проклятия России и ее историческому прошлому — не что иное, как *словесный пьедестал* , возведенный только лишь для того, чтобы как можно величественной выглядела венчающая его фигура Ленина.

На самом деле, однако, во всех этих строфах очень ясно и с некоторой даже художественной убедительностью выразилась очень стройная и цельная историческая и политическая концепция.

Автором этой концепции был не кто иной, как В.И. Ленин.

Именно он ее создал, подчинил ей всю свою жизнь и политическую деятельность, из нее исходил во всех поворотах своей стратегии и тактики.

Л. Троцкий, рассказывая о своих спорах с Лениным по поводу Брестского мира, вспоминает такой их диалог. Речь шла о том, хватит ли у немцев сил для наступления. Троцкий считал, что не хватит, отсюда и знаменитая его позиция: «Ни мира, ни войны», то есть «Мир не подписываем, но воевать не будем». В этой формуле он видел огромный резон,

поскольку дальнейшее развитие событий в этом случае неизбежно приведет к революции в Германии.

Ленин с этим, в общем, был согласен. Но колебался. И эти свои колебания выразил так:

> — Конечно, тут есть свои плюсы. Но это слишком рискованно. Если бы мы должны были погибнуть для победы германской революции, мы были бы обязаны это сделать. Германская революция неизмеримо важнее нашей. Но когда она придет? Неизвестно. А сейчас нет ничего более важного на свете, чем наша революция. Ее надо обезопасить во что бы то ни стало.
>
> ***(Л. Троцкий. Моя жизнь. М. 1991. Стр. 367.)***

Не Россию, стало быть, «надо обезопасить», а революцию. То есть не судьбой страны, измученной и обескровленной войной, озабочено новое правительство России, сидящее в Кремле, а только лишь судьбой грядущей мировой революции.

На Россию Ленину было в общем-то наплевать. Россия интересовала лишь постольку, поскольку она была самым слабым звеном в цепи мирового империализма, наиболее пригодным для того, чтобы эту цепь разорвать. Он не раз повторял, что причудливая логика истории привела к тому, что именно отсталой России суждено было разорвать эту зловещую цепь, и благодаря этому Россия из отсталой вдруг стала самой передовой страной мира. Но если завтра революция победит в какой-нибудь из передовых стран Европы, Россия тотчас же вновь станет отсталой — «уже в новом, социалистическом смысле» страной.

Именно эту концепцию и выразил в своем стихотворении Демьян.

Все историческое прошлое России, все тысячелетнее ее нелепое и бессмысленное существование оправдано тем, что она дала миру Ленина, то есть открыла человечеству путь к всемирной социалистической революции — торжеству «земшарной республики Советов».

Демьян эту концепцию, судя по всему, воспринял и усвоил не только замечательной своей «ноздрей», но и душой. А иначе вряд ли в его исполнении она приняла бы такую выразительную и художественно убедительную форму. Но тут ему еще помогла его начитанность. Недаром в его распоряжении была его великолепная библиотека. Книги, собранные в ней, он, видать, не только ласкал рукой страстного библиомана, но и читал. В иных случаях далее весьма внимательно.

Да, та поистине садистская (или, если угодно, мазохистская) жестокость, с которой Демьян в этом своем стихотворении перечеркнул все прошлое своей родной страны, в его собственном представлении наверняка была связана с идеями Ленина и даже Маркса с Энгельсом, которые все историческое прошлое человечества рассматривали как его предысторию. Но в русской литературе эта жестокая мазохистская нота возникла задолго до Ленина и даже до Маркса. И стихотворение Демьяна, о котором идет речь, замечательно как раз своей почти пародийной традиционностью. Оно вобрало в себя, лишь слегка нивелировав и приведя к относительному стилистическому единству, буквально все сколько-нибудь известные поэтические формулы, в которых выразилось отношение самых разных русских поэтов к своей родине:

Природа наша — точно мерзость:
Смиренно-плоские поля…
В России самая земля
Считает высоту за дерзость.
(Дмитрий Веневитинов)

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ!
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.

(Михаил Лермонтов)

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и покорной,
И всякой мерзости полна.
(Алексей Хомяков)

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирную денницу возрожденья!
(Владимир Печерин)

Бог метелей, Бог ухабов,
Бог мучительных дорог.
Станций — тараканьих штабов,
Вот он, вот он, русский Бог.

Бог голодных, Бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он, русский Бог.
(Петр Вяземский)

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная.
(Николай Некрасов)

Россия, нищая Россия…
(Александр Блок)

Века нищеты и безволья!
Позволь же, о родина-мать,
В сырое, в пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать.
(Андрей Белый)

Как видно из этого, без особых затруднений подобранного мною перечня цитат, все — буквально все! — жалобы и проклятия, адресованные Демьяном старой, дореволюционной России, были произнесены уже давным-давно. И с неизмеримо большей поэтической силой, страстью и горечью.

По-настоящему новым, оригинальным у Демьяна оказался, таким образом, только один мотив, вылившийся в финальных, заключающих стихотворение строчках:

Свой жребий тем лишь оправдала,
Что миру Ленина дала.

Но и этот мотив, в сущности, не нов. Он представляет собой не что иное, как модификацию тоже традиционного, тютчевского:

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя.

Вся мерзость, бедность, нищета, вся униженность, все долготерпенье русского народа, несвойственная другим народам его покорность, готовность безропотно жить этой скотской жизнью — все это оправдано тем, что именно вот отсюда, из этой темной, забитой, замордованной, несчастной страны придет **спасение для всего мира** .

У Тютчева (или у Достоевского) — это Христос. У Демьяна Бедного — Ленин.

Но есть еще одна черта, в которой, пожалуй, даже еще отчетливее проявилась несамостоятельность историософских воззрений Демьяна, его зависимость от традиционных представлений старой русской интеллигенции.

Разные и даже во всем враждебные друг другу русские интеллигенты — славянофилы и западники, дворяне и разночинцы, атеисты и верующие, пламенные народолюбцы и монархисты, кондовые реалисты и изломанные декаденты — в одном они были едины. Всеми ими владело одно, как нынче принято это называть, амбивалентное чувство. «И страсть, и ненависть к отчизне» — так назвал это странное чувство Александр Блок.

Слова Демьяна («Тебя кляли твои поэты…») не содержали ни малейшего преувеличения, а строка, вобравшая в самую суть этого всеобщего проклятия («Сгинь, наважденье! Пропади!»), тоже была почти дословной цитатой:

Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!..

Довольно, не жди, не надейся!
Исчезни, мой бедный народ!
(Андрей Белый)

Чем же так прогневал своих поэтов бедный русский народ?Может быть, вот этой самой своей рабской покорностью?

Нет, главное его несчастье в другом:

> …Мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принаддежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространяется.

Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошлого и без будущего, среди плоского застоя.

…Выделенные по странной воле судьбы из всеобщего движения человечества, не восприняли мы и традиционных идей человеческого рода… Если мы хотим подобно другим цивилизованным народам иметь свое лицо, необходимо как-то вновь повторить у себя все воспитание человеческого рода.

Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих.

Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное… В чужих краях, особенно на Юге, где люди так одушевлены и выразительны, я столько раз сравнивал лица своих земляков с лицами местных жителей и бывал поражен этой немотой наших лиц.

Опыт времен для нас не существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет. Одиноки в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли… От нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины…

Мир пересоздавался, а мы прозябали в наших лачугах из бревен и глины.

(П. Я. Чаадаев. Полное собрание сочинений и избранные письма. Том 1. М. 1991. Стр.323—330.)

Вот из какого источника черпал Демьян Бедный свой мрачный пафос, вот у кого он заимствовал обнаженную беспощадность своих формулировок.

Он взял их на вооружение, потому что, как ему казалось, эти мысли старого опального философа совпадали с мироощущением молодого класса-гегемона, от имени которого говорил он:

Была ты книгой без заглавья,
Без сердцевины, без лица.

Да, так оно действительно и было. Мы действительно прозябали в своих лачугах, в то время как где-то там, на Западе, мир перекраивался и пересоздавался заново. Но ведь все это в прошлом! Теперь мы навсегда покинули свои лачуги из бревен и глины. Теперь мы, именно **мы** , выйдя из своих лачуг, перекраиваем наново всю Вселенную!

Формулировки Чаадаева вполне могли показаться совпадающими с его собственными мыслями и чувствами.

В разговоре со Ставским, который я цитировал, свое опрометчивое глумление над крещением Руси Демьян назвал «отрыжкой старого антирелигиозника». Да, конечно, на этот путь его толкнул Ленин, не устававший с бешеной яростью клеймить и разоблачать «поповщину».

Но даже и тут не обошлось у него без Чаадаева;

В то время, когда среди борьбы между исполненным силы варварством народов Севера и возвышенной мыслью религии воздвигалось здание современной

цивилизации, что делали мы? По воле роковой судьбы мы обратились за нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии, к предмету глубокого презрения этих народов.

(П.Я. Чаадаев. Стр 331.)

Эта чаадаевская мысль оказала мощное воздействие на формирование мировоззрения Демьяна. Как оказалось, именно она лежала в основе его сатирического глумления над крещением Руси:

Византия от Рима отошла и дала нам наиболее порочную форму христианства. Как это христианство ни является прогрессивным, но форма была настолько жуткая для нас, что дала и обоготворение царской власти, дала нам московских государей. Эта идеология византизма держала нас до Октября, т.е. если византизм был прогрессивен на тот момент, то потом он стал для нас хуже татарского ига, он отвратил нас на сотни лет от Запада. Даже поляки рыцарство свое создавали, войско создавали, и эти войска били Россию. Византизм этот был обскурантизм. При всех тех культурных явлениях, как, например, грамота, и вообще, учитывая всю культуру, мы говорили не о культуре, которую принес византизм, а больше говорили об ужасах, которые он нам дал. Да и сама конструкция восточного православия была не к укреплению русского государства.

(Стенографическая запись беседы Демьяна Бедного со Ставским. 17 ноября 1936 г. Власть и художественная интеллигенция. Стр. 435.)

И тут тоже Демьяна подвела его замечательная библиотека, его проклятая начитанность. Читал он, конечно, не только Чаадаева, но и прочитанное в других ученых книгах ложилось на эту чаадаевскую мысль, укрепляло ее, подтверждало:

…В области крещения… я был подкреплен (не знаю, как это сказать) сильными знаниями. Потому что я руководствовался таким трудом, как труд проф. Голубинского. Проф. Голубинский был самым выдающимся историком русской церкви. У него замечательный труд. Теперь готов я этот труд сжечь. Он пишет о крещении, об этом выборе веры с прискорбием… Этот авторитет был для меня несокрушим… Вообще, крещение, как его историки описывали, считалось в полной мере легендой. Так что я шел по теме легендарной. Вообще же, о крещении у меня не было мысли. Сейчас я думаю, какая у меня была подсознательная подкладка… Настолько внедрилось мне в голову это православие, самодержавие, народность, что эти три понятия представлялись мне в формах невежественных. Мне это представлялось: «бей жидов, спасай Россию», — славянофильством. Я только бил по этим трем титанам. Ведь я не думал, когда писал, а теперь голову ломаю. Уж очень долго перед моими глазами звучало это православие, самодержавие и народность. Очень долго. Причем как нечто единое. И вот под впечатлением того отвратительного впечатления от православия, самодержавия и народничества я и выкинул штуку. И получилась чепуха. Ведь я привык думать, что Византия пришла к нам с крещением. А византизм было страшное для меня слово. Ведь мы с крещением получили византизм, Восток. Мы повернулись спиной к Западу.

(Там же. Стр. 434-435.)

В этом своем стремлении, как тогда говорили, разоружиться перед партией (а как сказали бы мы сегодня, воспользовавшись метким словечком Щедрина, *самообыскаться*) Демьян был предельно искренен. Он не изворачивался, не врал, а прямо-таки выворачивался наизнанку. Яснее ясного об этом свидетельствует сбивчивость, косноязычие этого его монолога-признания: «Под впечатлением впечатления…», оговорка: «народничество» вместо «народность».

Особенно красноречива его оговорка по поводу книги профессора Голубинского: «Это замечательный труд. Теперь я готов его сжечь».

Звучит дико: если труд замечательный, если ты даже и сейчас, упоминая о нем, продолжаешь считать его замечательным, — зачем же его сжигать? Видимо, он хотел ска– что-нибудь в таком роде: «Этот труд, который я ошибочно считал замечательным…». По логике, наверно, так?

Нет, не так.

Тут же выясняется, что никакая это была не оговорка:

> Да что говорить, словом, крещение я проморгал, я теперь только понимаю это. И тут я оглядываюсь на один случай: однажды Сталин сказал мне, ткнувши пальцем в библиотеку: «Это твой классовый враг». Я тогда посмеялся, а смотри, как получается правильно. Я эту библиотеку уничтожу, если уцелею. Ее сжечь надо.
>
> ***(Там же. Стр. 435.)***

В VII веке арабы, завоевав Египет, сожгли знаменитую Александрийскую библиотеку. Это не было трагической случайностью. Завоеватели действовали по приказу своего вождя. А он этот свой приказ объяснил так:

— Если все, что написано в собранных здесь книгах, есть в Коране, они не нужны. А если в них то, чего в Коране нет, — они вредны.

Именно это имел в виду и Сталин. И Демьян оценил прозорливость и мудрость вождя.

* * *

Как уже было сказано, постановление Политбюро о «Богатырях» Демьяна Бедного обозначило начало того «поворота всем вдруг», окончательным завершением которого стал роспуск Коминтерна, смена государственного гимна, сталинской тост за великий русский народ. Тут тоже надо отдать дань прозорливости нашего вождя, который уже тогда, в 1936 году, видимо, смекнул, что за колхозы и весь этот его сталинский социализм вряд ли кто захочет умирать. Иное дело — за Родину, за Россию…

Тогда, в 1936-м, не все — даже из ближайшего сталинского окружения — поняли смысл этого идеологического поворота. Да и те, кто понял, не сразу сообразили, почему поводом для него стало такое, в сущности, ничтожное событие, как постановка Таировым Демьяновых «Богатырей».

> Во время одной из встреч с Бедным в Мамонтовке он прочитал мне «Богатырей». Я тогда куда-то уезжал надолго и просил Демьяна никому не показывать пьесы. По возвращении в Москву я надеялся обсудить все с Демьяном. Таиров, который рассчитывал на очередную победу, как с «Оптимистической трагедией», взял эту пьесу к постановке. Когда я вернулся в Москву, то был приглашен на генеральную репетицию, на которую я не смог попасть, а был на премьере. Спектакль мне не очень понравился. По правде сказать, много было там накручено. Конечно, реакция на спектакль могла быть значительно мягче. Или вообще оставить этот спектакль без внимания, как, например, было с пьесой Алексея Толстого «На дыбе». Но Сталин был заинтересован, чтобы окончательно «задвинуть» Бедного.
>
> ***(Вячеслав Нечаев. Ненаписанные воспоминания. Беседы с И.М. Гронским. «Минувшее. Исторический альманах. 16». М. – СПб. 1994. Стр.105—106.)***

Иван Михайлович Гронский в ту пору еще входил в главный штаб сталинского управления литературой. Незадолго до этого он был председателем Оргкомитета СП, ответственным редактором «Известий», а тогда, в 36-м, — главным редактором «Нового мира». И вот даже он не понял политического смысла грозы, разразившейся над Демьяновыми «Богатырями».

Во всяком случае, он довольно ясно дает понять, что в желании Сталина «окончательно задвинуть» Демьяна, помимо соображений сугубо политического свойства, был и какой-то личный мотив.

Такой мотив у Сталина действительно был.

Сюжет третий
«ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ Я МОЛЧАЛ?»

До декабрьского письма 1930 года Демьян в своих письмах обращался к Сталину так: «Иосиф Виссарионыч, родной!», «Родной!», «Дорогой мой хороший друг!». Это — в личных письмах. Обращаясь к вождю с официальными просьбами (скажем, о «протекционном вагоне»): «Дорогой Иосиф Виссарионович!» Соответственно и Сталин отвечал ему так же: «Дорогой Демьян!»

Письмо от 8 декабря 1930 года начинается обращением: «Иосиф Виссарионович». Не то что не «родной» и не «дорогой», даже не «уважаемый».

Сталин, соответственно, отвечает ему на эту, мягко говоря, невежливость уже без всякого обращения:

> Т[овари]щу Демьяну Бедному.
> Письмо Ваше от 8.XII получил. Вам нужен, по-видимому, мой ответ. Что же, извольте.

Совсем другой тон. А тон, как отметил Сталин в том же своем письме, создает музыку.

Стало быть, и музыка теперь пошла совсем другая.

У Демьяна этот обиженный, оскорбленный и раздраженный тон вскоре сменился извиняющимся, подобострастным, даже униженным. У Сталина же, наоборот, во всех его упоминаниях о Демьяне стало звучать постоянное и все более усиливающееся раздражение, даже злость. Это была не просто резкость политической отповеди. Это было какое-то глухое ЛИЧНОЕ раздражение.

Письмо Демьяну, начинающееся словами «Вам нужен мой ответ. Извольте», Сталин включил в собрание своих сочинений, как имеющее принципиальное, политическое значение. Но при этом многое из него убрал. (В документальном разделе все потом вычеркнутые части текста этого письма заключены в квадратные скобки.) Выходит, Сталин и сам сознавал, что в свою политическую отповедь Демьяну внес некое личное раздражение, к делу отношения не имеющее.

Для этого личного раздражения были у него свои причины. И удивляться надо не тому, что он не смог этого раздражения сдержать, а скорее тому, что он не дал ему полную волю.

А непосредственным поводом для этого раздражения стало следующее.

В конце 1934-го — начале 1935 года закатилась звезда одного из ближайших сталинских соратников — Авеля Софроновича Енукидзе. Он был снят с поста секретаря ЦИК, выведен из ЦК, исключен из партии. Это было только начало его заката. Спустя два года — в 1937-м — он был расстрелян.

К объяснению причин этой внезапной немилости вождя к недавнему своему другу и соратнику я еще вернусь в главе о Булгакове. (В связи с его пьесой «Батум».) Здесь же упоминание об этом событии мне понадобилось лишь постольку, поскольку оно стало завязкой другого сюжета, не столь значительного, но имеющего самое прямое отношение к предмету моего повествования.

Падение Авеля Енукидзе повлекло за собой его выселение из Кремля и начало так называемого «Кремлевского дела» — о будто бы существовавших террористических замыслах среди сотрудников правительственных учреждений. Арестовали 78 человек. Среди арестованных были сотрудники секретариата ЦИК СССР и сотрудники кремлевских служб, в том числе и самые мелкие — вплоть до уборщиц. Все это липовое дело было создано с

единственной целью: прикрыть, замаскировать истинную причину падения Авеля Енукидзе. Надо было сделать вид, что за этим его падением стоят не личные амбиции и личное раздражение Сталина, а серьезные политические причины. В числе арестованных по этому «Кремлевскому делу» оказался ответственный секретарь журнала «Советское строительство» Михаил Яковлевич Презент. Журнал этот издавал ЦИК, и Презент был человеком близким к Авелю Софроновичу. Но причиной его ареста была не только его близость к впавшему в опалу бывшему секретарю ЦИК.

Одной из главных, а быть может, даже и главной причиной особого интереса органов НКВД к фигуре М.Я. Презента был его дневник, слух о котором еще до его ареста распространился в московской литературной — и не только литературной — среде.

> К тому времени институт «сексотов» — тайных осведомителей — был уже широко развит и проникал во все поры государственного аппарата, общественной жизни, партийных и комсомольских организаций… Все чувствовали себя под неусыпным надзором невидимых, но бдительных «сексотов». Даже люди, облеченные, казалось бы, полным доверием «отца народов», находились под наблюдением. По этому случаю известный бард революции Демьян Бедный рассказал Раскольникову в моем присутствии следующую историю.
>
> Одно время Сталин приблизил к себе Демьяна Бедного, и тот сразу стал всюду в большой чести. В то же время в круг близких друзей Демьяна затесался некий субъект, красный профессор по фамилии Презент. Эта личность была приставлена для слежки за Демьяном. Презент вел дневник, где записывал все разговоры с Бедным, беспощадно их перевирая. Однажды Сталин пригласил Демьяна Бедного к себе обедать. «Он знает, что я не могу терпеть, когда разрезают книгу пальцем, — говорил Демьян Раскольникову. — Так, представьте себе, Сталин взял какую-то новую книгу и нарочно, чтобы подразнить меня, стал разрывать ее пальцем. Я просил его не делать этого, а он только смеется и продолжает нарочно разрывать страницы».
>
> Возвратившись из Кремля, Демьян рассказывал, какую чудесную землянику подавали у Сталина на десерт. Презент записал: «Демьян Бедный возмущался, что Сталин жрет землянику, когда вся страна голодает». Дневник был доставлен «куда следует», и с этого началась опала Демьяна.
>
> ***(М. Канивез. Моя жизнь с Раскольниковым. «Минувшее. Исторический альманах». 7. М. 1992. Стр. 94—95.)***

Автор этих мемуаров Муза Васильевна Канивез была женой Ф.Ф. Раскольникова, так что эту историю Демьян вполне мог рассказать Федору Федоровичу в ее присутствии Но многое в этом изложении запомнившегося ей рассказа «барда революции» напоминает игру в испорченный телефон.

Как мы уже знаем, М.Я. Презент вовсе не был «красным профессором». Не был он и «сексотом», специально приставленным к Демьяну для слежки за ним. И, как мы сумеем убедиться, записывая в своем дневнике кое-какие изречения Демьяна, Презент даже и не думал нарочно их перевирать.

Есть в изложении Музы Васильевны и другие несообразности, свидетельствующие о том, что далеко не всему из того, что она сообщает, можно верить. Вот, например, она мимоходом роняет о Демьяне, отобедавшем у Сталина: «Возвратившись из Кремля…» Но если бы Демьян обедал со Сталиным в Кремле, ему никуда оттуда не надо было бы возвращаться, поскольку он и сам в то время еще жил в Кремле. К тому же тот обед у Сталина, на который был приглашен Демьян и во время которого происходили все описанные ею события (было это 17 мая 1929 года), происходил не в Кремле, а на даче Сталина в Зубалове.

Подлинная история злополучного дневника М.Я. Презента впервые была рассказана журналистом Валентином Скарятиным («Сретенка, Малый Головин, 12…2. «Журналист»,

1993, № 7). Более подробно она изложена в книге Б.Ф. Соколова «Сталин, Булгаков, Мейерхольд… Культура под сенью великого кормчего» (М. 2004).

В книге этой сообщается, что Презент был арестован 11 февраля 1935 года. И далее следует фраза:

> В тот же день дневник оказался на столе у Сталина, а затем был возвращен Ягоде для предметного разбирательства.
>
> ***(Б.Ф. Соколов. Сталин, Булгаков, Мейерхольд… Культура под сенью великого кормчего. М. 2004. Стр. 66.)***

Если бы это было действительно так, то есть если бы дневник Презента попал Сталину на глаза только в феврале 1935 года, моя версия о причине вдруг возникшей резкой антипатии Сталина к Демьяну рассыпалась бы, как карточный домик. Но, как выяснилось, с дневником Презента Сталин имел возможность ознакомиться еще в сентябре 1930 года. И наверняка этой возможностью воспользовался:

> Копия страниц части дневника из линованной тетради представляет собой фрагменты записей рукописного текста. Валентин Скарятин, который ввел фрагменты дневника в общественно-политический и научный оборот, в одной из первых публикаций писал о дневниках: «Когда в начале 35 года Презент был арестован по «кремлевскому делу», в руки «органов» попали и все его дневниковые тетради…» Скарятин считал, что «Дневники» были обнаружены в январе — феврале 1935 г. С учетом ставшей доступной позднее информации можно составить несколько иную хронологию… Имеющийся в РГАСПИ экземпляр рукописных страниц из тетради, которая подходит под определение «дневник», обрывается сентябрем 1930 г. Судя по протоколам допроса, проведенного в феврале 1935 г. с арестованным по «кремлевскому делу» Презентом, примерно тогда же прошел первый обыск в квартире у Михаила Яковлевича (жил он рядом с «Гранд Отелем» на Театральной площади). Тогда же и были конфискованы его дневники. Тем не менее, Презент при этом не был репрессирован, а продолжил свою работу в Секретариате ЦИК Союза ССР.
>
> ***(Большая цензура. М. 2005. Стр. 280.)***

Тот факт, что Сталин был знаком с дневниками Презента задолго до его ареста в феврале 1935 года, подтверждается еще одним документом, настолько выразительным, что его стоит привести здесь полностью:

> САВЕЛЬЕВ, ГРОНСКИЙ — СТАЛИНУ
> О ПОСЕЩЕНИИ ДЕМЬЯНА БЕДНОГО
> НАКАНУНЕ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ СО ДНЯ
> ЕГО РОЖДЕНИЯ
> *3 апреля 1933 г. (не ранее)*
> Сов. секретно Секретарю ЦК ВКП(б) тов. И. В. Сталину
> Дорогой Иосиф Виссарионович!
> Вчера вечером были у т. Демьяна Бедного.
> Когда мы пришли, т. Д. Бедный переписывал свой фельетон «Утиль-богатырь», и, естественно, разговор зашел об этом фельетоне, о важности сбора утильсырья и т. д. Только спустя некоторое время разговор перешел на юбилей Демьяна, и в этом разговоре мы передали ему содержание выступлений на Политбюро.
> Информацию Демьян выслушал сравнительно спокойно, хотя и перебивал нас репликами, в которых пытался опровергнуть те или иные утверждения о его настроениях и фактах непартийного поведения. В длительной беседе Демьян пытался доказать, что у него никогда не было отхода от линии партии, что у него не было даже шатаний и сомнений. Мы в свою очередь напоминали ему разговоры и споры, которые были между нами и Демьяном в 1929—1931 годах. В частности, мы указывали на неправильность его позиции по вопросу о таких произведениях, как

«Слезай с печки» и т. д., а затем напомнили разговор о колхозном движении, имевший место в конце 1931 г., когда на вопрос Гронского о том, почему Демьян не пишет о колхозах, он ответил: «Вы вот все говорите о колхозах, об успехах, а народ голодает. Надо еще посмотреть, что даст нам колхозное движение». Этих своих высказываний, носящих право-оппортунистический характер, Демьян во вчерашней беседе не отрицал, но объяснил их «особой чувствительностью поэта».

Затем мы остановились на его позиции за последнее время и его стремлении изолироваться от партии, и на том, что он молчал и не выступал на ряде партийных собраний и т. д. На это Демьян давал явно неудовлетворительные ответы (болезнь, семейные неприятности и пр.).

И, наконец, по вопросу о дневниках Презента. Демьян сначала пытался отрицать какую-либо свою причастность к этим дневникам и даже в реплике бросил, что это есть какая-то «провокаторская штука» т. Прокофьева, и только в конце концов все же признал, что вина за дневники лежит на нем. «Я, — говорил Демьян, — возился с этой сволочью (т. е. Презентом), близко подпустил его к себе и кое-что лишнее при нем, вероятно, болтал».

Во время разговора Демьян усиленно подчеркивал, что он не отойдет от партии, будет работать по заданиям партии и под ее руководством.

Во время беседы Демьян спрашивал, как ему поступить? Он решил написать письмо в ЦК, с чем мы согласились, причем он просил нас остаться, чтоб прослушать то, что он напишет в ЦК. Демьян сел за машинку и через полчаса прочитал нам письмо на имя тов. Сталина. Письмо это мы раскритиковали. Указали Демьяну на то, что он отделывается общими фразами, когда надо признать свою вину за совершенно конкретные поступки и осудить свое шатание в труднейшее для партии время. Демьян пытался переработать письмо, но из этого у него ничего не получилось.

Сегодня утром Демьян позвонил по телефону Гронскому и прочитал новый текст письма, которое, как он заявил, будет немедленно отослано в ЦК.

Пересылаем Вам для сведения взятый нами у Демьяна черновик его первого письма на имя т. Сталина.

С ком. приветом.

М. САВЕЛЬЕВ

И. Гронский

P.S. Считаю нужным отметить, что беседа с т. Демьяном мне показала, что им еще не изжиты его колебания и отчужденность от партийной среды.

М. САВЕЛЬЕВ

(«Большая цензура». Стр. 279—280.)

Из текста этого донесения видно, что весь этот сюжет, в том числе и все, что было связано с дневниками Презента, обсуждалось на Политбюро. Протоколы этого заседания Политбюро не сохранились, но фраза — «мы передали ему содержание выступлений на Политбюро» — говорит о том, что провести беседу с Демьяном Гронскому и Савельеву было поручено именно решением этого высокого партийного органа.

Демьян, как видно из этого документа, поначалу ушел в «глухую несознанку», но потом разоткровенничался. И степень его откровенности в некотором отношении даже поражает. Особенно такая его реплика: «Вы вот все говорите о колхозах, об успехах, а народ голодает». Она прямо корреспондирует с другой его репликой, записанной Презентом: «Сталин жрет землянику, когда вся страна голодает». Выходит, Презент свои разговоры с Демьяном записывал чуть ли не со стенографической точностью. Во всяком случае, не «беспощадно их перевирая», как это изобразила в своих воспоминаниях М.В. Канивез.

Как бы то ни было, в этих Презентовых записях Сталин узнал себя. А главное, узнал истинное отношение к себе Демьяна.

Впрочем, некоторые из этих записей не несли в себе ничего для него нового.

Например, такая:

> Сегодня в третьем часу дня Демьян, его дочь Тамара, А.В. Ефремин и я поехали в Зубалово — Демьян к Сталину, а мы в ожидании Демьяна — в сосновый лес…
> Около 5 ч. Демьян вернулся, и мы покатили в город. «Сколько оптимизма в этом человеке! — рассказывал Демьян о Сталине. — Как скромно живет! Застал я его за книгой. Вы не поверите: он оканчивает вторую часть «Клима Самгина». А я первую часть бросил, не мог читать. Но если б вы знали, чем он разрезает книгу! Пальцем! Это же невозможно. Я ему говорю, что если бы Сталин подлежал партийной чистке, я бы его за это вычистил».
>
> ***(Б.Ф. Соколов. Сталин, Булгаков, Мейерхольд… Культура под сенью великого кормчего. М. 2004. Стр. 71.)***

Вот, значит, как было дело. Демьян, стало быть, и от самого Сталина не скрывал, что его прямо-таки корежит, когда тот разрывает страницы новой, никем до него не читанной книги пальцами. Но одно дело говорить об этом, подобострастно пошучивая, самому Сталину — и совсем другое болтать об этих дурных сталинских повадках кому ни попадя. А ведь Демьян делился этими своими впечатлениями не с одним Презентом.

В главе «Сталин и Мандельштам» я уже рассказывал о том, как Б.Л. Пастернак «в полном умопомрачении от ареста Мандельштама» кинулся за помощью к Демьяну Бедному.

Он знал, что за несколько лет до своего ареста Мандельштам попросил Демьяна похлопотать за кого-то. Демьян тогда хлопотать отказался, но при этом пообещал, что если дело коснется самого Мандельштама, он обязательно за него заступится. Неизвестно, напомнил ли Пастернак Демьяну об этом обещании. Известно только, что в ответ на просьбу помочь Демьян ответил категорически: «Ни вам, ни мне в это дело вмешиваться нельзя».

В той главе я высказал осторожное предположение, что эта реплика связана с тем, что Демьян, быть может, уже что-то слышал о крамольном мандельштамовском стихотворении. Может быть, до него даже уже дошла и строка Мандельштама «Его толстые пальцы как черви жирны», навеянная его, Демьяна, собственными жалобами на то, что Сталин листает редкие книги в его библиотеке своими жирными пальцами. Теперь же я склоняюсь к предположению, что эта фраза Демьяна («Ни вам, ни мне в это дело вмешиваться нельзя») связана скорее с попавшими на глаза Сталина дневниками Презента. Ведь к моменту ареста Мандельштама (1934 г.) Демьян уже точно знал, что Сталин эти дневники читал. И имел все основания предполагать, что из всех его реплик о Сталине, записанных простодушным Презентом, фраза о пальцах, которыми вождь разрывает страницы еще никем не читанных книг, была не самой невинной.

Кстати, в дневнике Презента, хранящемся в РГАСПИ, многие страницы вырваны. И скорее всего вырвал их не кто иной, как сам Сталин. То ли в припадке ярости, то ли — и это более вероятно, — руководствуясь холодным расчетом: зачем ему было хранить для потомства сведения — или даже просто сплетни, — пятнающие чистоту его иконописного облика?

Все это, конечно, домыслы. Но одно несомненно: того, что он прочел о себе в дневниках Презента, Сталин Демьяну не простил:

> Когда встал вопрос о награждении Демьяна Бедного орденом Ленина, Сталин внезапно выступил против. Мне это было удивительно, ибо генсек всегда поддерживал Демьяна.
> Во время беседы с глазу на глаз он объяснил, в чем дело. Достал из сейфа тетрадочку. В ней были записаны довольно нелестные замечания об обитателях Кремля. Я заметил, что почерк не Демьяна. Сталин ответил, что высказывания подвыпившего поэта записаны неким журналистом по фамилии Презент.
> Я предупредил Демьяна Бедного, чтобы он был осторожнее в высказываниях, но помирить его со Сталиным так и не удалось. Было принято решение обсудить его благоглупости на заседании Комитета партийного контроля. Сталин настаивал, чтобы я явился на заседание и выступил против Демьяна Бедного. Подозревая, чем

> это может кончиться, я заявил, что буду против ареста поэта и участия в этом принимать не хочу.
> — Мы не собираемся арестовывать Демьяна Бедного, и я лично тебя прошу прийти и покритиковать его.
> — Еще раз заявляю вам, я не пойду на КПК.
> — Я даю тебе слово революционера, что арестован он не будет. Ты можешь моему слову поверить?
> На КПК я пошел. Кроме меня и Демьяна, там присутствовали Шкирятов и Караваева.
> Сталин слово сдержал. Поэт остался на свободе. Но через две недели после того, как меня поместили во внутреннюю тюрьму НКВД, Демьян был исключен из партии.
>
> ***(М. Гронский. «Из прошлого». «Известия». 1991 г.)***

Опасение — и даже уверенность, — что результатом разбирательства персонального дела Демьяна на КПК станет его арест, возникло у Гронского не на пустом месте. Именно так в то время, как правило, это и происходило. Ну, а кроме того, хорошо зная Сталина, он не сомневался, что, решив раздавить Демьяна, партийными взысканиями тот не ограничится. Тем более, что оснований для ареста «наблудившего» поэта — по логике и «правовым нормам» того времени — было предостаточно.

Для следователей НКВД тут довольно было только одной фразы из сталинского письма 1930 года:

> …договориться до таких антипартийных гнусностей. Недаром, читая Ваше письмо, я вспомнил Сосновского.

Сосновский был видным троцкистом, и эта сталинская реплика вполне могла служить основанием для обвинения Демьяна в троцкизме. А страшнее этого обвинения в то время трудно было что-нибудь придумать.

Да и докладная записка самого Гронского тоже давала некоторые основания для вмешательства в судьбу Демьяна не Ттолько партийных, но и следственных органов:

> …своих высказываний, носящих правооппортунистический характер, Демьян во вчерашней беседе не отрицал.

Ну и дневник Презента, конечно, тоже мог свидетельствовать (если бы такие свидетельства понадобились) о «правооппортунистических» настроениях Демьяна. Вот, например, Презент записывает его рассказ о праздновании 50-летия Сталина на даче в Зубалове:

> …В середине праздника… приехала тройка — Рыков, Томский и Бухарин. Кто-то предложил тост за них, но Калинин, избранный тамадою, сказал: «Раз поздно приехали, так и тост им попозже». — Эх, если б я написал пьесу, изобразил бы я, как сидят эти люди особняком и каждый из гостей боится с ними заговорить, — говорит Демьян. — А раньше, бывало, — говорит, — я у Рыкова был!..»

В этой записи Сталин вполне мог углядеть симпатию и сочувствие к только что разгромленным «правым».

Свое обещание («слово революционера») не арестовывать Демьяна Сталин сдержал. Но о том, что такой вариант решения Демьяновой судьбы тоже рассматривался, а в недрах карательного ведомства даже уже и готовился, свидетельствует **справка НКВД,** направленная Сталину тотчас после исключения Демьяна из партии.

Вот ее текст.

СПРАВКА НКВД О ДЕМЬЯНЕ БЕДНОМ

9 сентября 1938 г.

Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов) — поэт, член Союза советских писателей. Из ВКП(б) исключен в июле с. г. за «резко выраженное моральное разложение».

Д. Бедный имел тесную связь с лидерами правых и троцкистско-зиновьевской организаций. Настроен Д. Бедный резко антисоветски и злобно по отношению к руководству ВКП(б). Арестованный участник антисоветской организации правых А.И. Стецкий по этому поводу показал:

«До 1932 г. основная задача, которую я ставил перед возглавлявшимися мною группами правых в Москве и Ленинграде, состояла в том, чтобы вербовать в нашу организацию новых людей. Из писателей я установил тогда тесную политическую связь с Демьяном Бедным, который был и остается враждебным советской власти человеком. С Демьяном Бедным я имел ряд разговоров, носивших открыто антисоветский характер. Он был резко раздражен недостаточным, по его мнению, вниманием к его особе. В дальнейших наших встречах, когда стало выясняться наше политическое единомыслие, Демьян Бедный крепко ругал Сталина и Молотова и превозносил Рыкова и Бухарина. Он заявлял, что не приемлет сталинского социализма. Свою пьесу «Богатыри» он задумал как контрреволюционную аллегорию на то, как «силком у нас тащат мужиков в социализм».

Озлобленность Д. Бедного характеризуется следующими его высказываниями в кругу близких ему лиц:

«Я стал чужой, вышел в тираж. Эпоха Демьяна Бедного окончилась. Разве вы не видите, что у нас делается. Ведь срезается вся старая гвардия. Истребляются старые большевики. Уничтожают всех лучших из лучших. А кому нужно, в чьих интересах надо истребить все поколение Ленина? Вот и меня преследуют потому, что на мне ореол октябрьской революции».

Д. Бедный систематически выражает свое озлобление против тт. Сталина, Молотова и других руководителей ВКП(б):

«Зажим и террор в СССР таковы, что не возможна ни литература, ни наука, не возможно никакое свободное исследование. Историю гражданской войны тоже надо выбросить в печку — писать нельзя. Оказывается, я шел с партией, 99,9 процентов которой шпионы и провокаторы. Сталин — ужасный человек и часто руководствуется личными счетами. Все великие вожди всегда создавали вокруг себя блестящие плеяды сподвижников. А кого создал Сталин? Всех истребил, никого нет, все уничтожены. Подобное было только при Иване Грозном».

Говоря о репрессиях, проводимых советской властью против врагов народа, Д. Бедный трактует эти репрессии как ничем не обоснованные. Он говорит, что в результате якобы получился полный развал Красной Армии:

«Армия целиком разрушена, доверие и командование подорвано, воевать с такой армией невозможно. Я бы сам в этих условиях отдал половину Украины, чтобы только на нас не лезли. Уничтожен такой талантливый стратег как Тухачевский. Может ли армия верить своим командирам, если они один за другим объявляются изменниками? Что такое Ворошилов? Его интересует только собственная карьера».

Д. Бедный в резко антисоветском духе высказывался о Конституции СССР, называя ее фикцией:

«Выборов у нас, по существу, не было. Сталин обещал свободные выборы, с агитацией, с предвыборной борьбой. А на самом деле сверху поназначали кандидатов, да и все. Какое же отличие от того, что было?»

В отношении социалистической реконструкции сельского хозяйства Д. Бедный также высказывал контрреволюционные суждения:

«Каждый мужик хочет расти в кулака, и я считаю, что для нас исключительно важно иметь энергичного трудоемкого крестьянина. Именно он — настоящая опора, именно он обеспечивает хлебом. А теперь всех бывших кулаков, вернувшихся из ссылки, либо ликвидируют, либо высылают опять… Но крестьяне

ничего не боятся, потому что они считают, что все равно: что в тюрьме, что в колхозе».
После решения КПК об исключении его из партии Д. Бедный находится в еще более озлобленном состоянии. Он издевается над постановлением КПК:
«Сначала меня удешевили — объявили, что я морально разложился, а потом заявят, что я турецкий шпион».
Несколько раз Д. Бедный говорил о своем намерении покончить самоубийством.

(Б.В. Соколов. Сталин, Булгаков, Мейерхольд… Культура под сенью великого кормчего. М. 2004. Стр. 101-103.)

Какими способами на Лубянке выбивали из Стецкого этот компромат на Демьяна, Сталин, конечно, знал, при этом не сомневался, что некоторое представление о настроениях его бывшего приятеля эти показания все-таки дают.

Настроения — настроениями, и с ними, в конце концов, можно и не считаться. В особенности, если дело ограничивается кухонной обывательской воркотней. Но еще до получения этой «Справки» Сталину было доложено, что свои «антипартийные и антисоветские» взгляды Демьян пытался, как тогда выражались, *протащить* на страницы печати. И не какой-нибудь, а самой «Правды».

* * *

19 июля 1937 года главный редактор «Правды» Л. Мехлис обратился «в инстанцию», как это у них официально называлось, с таким письмом:

Товарищам СТАЛИНУ
МОЛОТОВУ
ЕЖОВУ
Сегодня в редакцию «Правды» явился Демьян Бедный и принес мне поэму под названием «Борись или умирай». Под заголовком поэмы подпись: «Конрад Роткемпфер. Перевод с немецкого». В конце — перевел Демьян Бедный. В этой поэме ряд мест производит странное впечатление (эти места в прилагаемом экземпляре обведены красным карандашом). Особенно странными кажутся строки: «фашистский рай. Какая тема! Я прохожу среди фашистского эдема, где радость, солнце и цветы…», а также строки: «Кому же верить? Словечко брякнешь невпопад, тебе на хвост насыплют соли». И совсем странны строки заключительной части: «Родина моя, ты у распутья, Твое величие превращено в лоскутья».
Когда я указал Демьяну Бедному на эти и некоторые другие места поэмы — он охотно согласился их вычеркнуть. Он предлагал даже напечатать ее без его подписи — просто как перевод с немецкого. К концу разговора выяснилось, что никакой поэмы Конрада Роткемпфера не существует и самое имя этого якобы автора выдумано. Поэма написана Демьяном Бедным. Как он объяснил, — это своеобразный литературный прием.
Экземпляр этой поэмы прилагаю. Прошу указания.
Л. МЕХЛИС

Что-то нехорошее учуял бдительный Мехлис в этом «своеобразном художественном приеме» Демьяна Бедного. А может быть, не только учуял, но и понял. Но не отважился ставить все точки над і.

А поэма и впрямь была странная.
Начиналась она так:
Как новый Данте, я иду фашистским адом.
Фашисты сбилися с копыт,

Ища меня, фашистский следопыт
Не вторгнется ко мне внезапно на дом:
Я стал кочующим номадом.
Вчерашний мой ночлег сегодня мной забыт.
Меня зовут Роткемпфером Конрадом
Вразлад с фамилией моею родовой.
Поэт подпольно-боевой,
Я говорю простым, народным, честным складом.
Отмечу в первый же момент,
Что эта речь моя без вывертов и петель,
Что у меня на все иль есть живой свидетель,
Иль самый точный документ.

Тут сразу бросается в глаза, что эта автохарактеристика мнимого автора поэмы — Конрада Роткемпфера — почти буквально совпадает с той автохарактеристикой, какую Демьян некогда выдал самому себе:

Мой голос огрубел в бою
И стих мой… блеску нет в его простом наряде…
Мой твердый четкий стих — мой подвиг ежедневный.
Родной народ, страдалец трудовой,
Мне важен суд лишь твой,
Ты мне один судья прямой, нелицемерный!
Ты, чьих надежд и дум я выразитель верный,
Ты, темных чьих углов я — «пес сторожевой».

Тождество мнимого автора с подлинным автором поэмы устанавливается, таким образом, сразу, — с самых первых ее строк. И далее — так же очевидно тождество той реальности, которую изображает в своей поэме мнимый ее автор, с той реальностью, в которой живет его советский двойник:

Я говорю: фашистский ад. Одначе,
Фашистами зовется он иначе.
Они кричат, родной позоря край:
Фашистский рай!
Фашистский рай. Какая тема!
Я прохожу среди фашистского эдема,
Где радость, солнце и цветы.
Где над просторами цветущей ржи, пшеницы,
Перекликаются вечерние зарницы,
Где благоденствуют и люди, и скоты,
И птицы.
Чем не эдем?
Настало житие божественно-благое.
Поэты пишут так. Меж тем,
В народной глубине — там слышится другое…

А речи тайные послушать у народа —
Все получается как раз наоборот
Фашистский ад давно пора похерить!
Кому же верить?
Словечко вякнешь невпопад,

Тебе на хвост насыплют соли.
Фашистский рай — народный ад?
Так, что ли?

Все это было настолько прозрачно, что не увидеть в этом изображении «фашистского рая» аллюзию на рай советский было просто невозможно. А в строчках «Словечко вякнешь невпопад, тебе на хвост насыплют соли», — уже впрямую, без всяких аллюзий, звучало нечто личное, автобиографическое. (Недаром Мехлис в своем донесении их особо отметил.)

Не раскусить этот нехитрый Демьянов ход было невозможно. И Сталин, разумеется, его раскусил. О чем прямо дал понять автору:

ЗАПИСКА И.В. СТАЛИНА
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ «ПРАВДЫ»
Л.З. МЕХЛИСУ О БАСНЕ Д. БЕДНОГО
«БОРИСЬ ИЛИ УМИРАЙ»
20 июля 1937 г.
Тов. Мехлис!
На Ваш запрос о басне Демьяна «Борись иль умирай» отвечаю письмом на имя Демьяна, которое можете ему зачитать.
Новоявленному Данте, т.е. Конраду, то бишь… Демьяну Бедному.
Басня или поэма «Борись иль умирай», по-моему, художественно-посредственная штука. Как критика фашизма, она бледна и неоригинальна. Как критика советского строя (не шутите!), она глупа, хотя и прозрачна.
Так как у нас (у советских людей) литературного хлама и так не мало, то едва ли стоит умножать залежи такого рода литературы еще одной басней, так сказать…
Я, конечно, понимаю, что я обязан извиниться перед Демьяном-Данте за вынужденную откровенность.
С почтением
И. Сталин.

(Большая цензура. Стр. 476—477.)

Мехлис, конечно, эти Демьяновы аллюзии тоже разгадал. Но впрямую сказать, что под «фашистским раем» баснописец подразумевает наш, советский «рай», — побоялся. А Сталину бояться было нечего и некого. Так что удивляться тому, что он не скрыл от Демьяна, что хорошо понял суть его «своеобразного художественного приема», не приходится. Удивляться надо тому, что он сделал это в такой мягкой, я бы даже сказал, благодушной форме. Лишь слегка погрозил Демьяну пальцем: «Не шутите».

Демьян, конечно, намек понял, но почел за благо прикинуться непонимающим:

МЕХЛИС — СТАЛИНУ О ПОСЕЩЕНИИ
ДЕМЬЯНОМ БЕДНЫМ РЕДАКЦИИ «ПРАВДЫ»
21 июля 1937 г.
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
В ночь на 21 июля в редакцию был приглашен Демьян Бедный в связи с его «поэмой» «Борись или умирай». Я выполнил поручение ЦК и прочитал ему Ваше письмо.
Прикидываясь дурачком, Демьян говорил:
— Я либо сумасшедший, либо кляча. Стар, не понимаю.
Он всячески пытался представить, что речь в «поэме» идет о конине, о хлебе и т.п. вещах, но отнюдь не о чем-либо другом.
— Придется, — говорил он, — поехать в деревню, поливать капусту, — выражая этим мысль, что писать ему нельзя.
Демьяна, видимо, кто-то серьезно опутал.
Л. МЕХЛИС

Завершая сюжет этим письмом, я хотел было уже заключить, что тем дело и кончилось. Но это было бы неправильно. И не только потому, что спустя год Демьяна все-таки исключили из партии.

Последняя фраза этого письма наверняка произвела на Сталина именно то впечатление, на которое Мехлис рассчитывал: он хорошо знал своего Хозяина. Предположение, что «Демьяна кто-то хорошо опутал», означало, что прикидывающийся дурачком баснописец, по-видимому, сохранил свои связи с какими-то недобитками из бывших оппозиционеров, превратившихся в банду убийц и шпионов. Так что фразочка эта — да и вся эта история — могла оказаться для Демьяна чреватой куда более крупными неприятностями, чем те, которыми он в конце концов отделался.

В том своем письме Демьяну, которое обозначило конец их добрых отношений, Сталин, между прочим, обронил такую многозначительную фразу:

> Как Вы наивны и до чего Вы мало знаете большевиков.

На самом деле большевиков Демьян знал очень даже неплохо. Во всяком случае, былую свою наивность (если таковая некогда и была ему присуща) к тому времени, о котором у нас сейчас идет речь, он уже давно утратил.

Весьма красноречиво об этом свидетельствует, например, такое небольшое его стихотворение:

> От канцелярщины и спячки
> Чтобы избавиться вполне,
> Портрет товарища Землячки
> Повесь, товарищ, на стене.
>
> Бродя в тиши по кабинету,
> Молись, что ты пока узнал
> Землячку только по портрету —
> Куда страшней оригинал.

Землячка (Розалия Самойловна Самойлова, девичья фамилия — Залкинд) была одной из немногих большевиков-«искровцев» (она вступила в РСДРП в 1896 году), не уничтоженных Сталиным. И, кажется, единственной из уцелевших осколков «ленинской гвардии», до последнего дня занимавшей ответственные партийно-государственные посты. В 1939—1943 гг. она была заместителем председателя СНК СССР, затем заместителем председателя КПК при ЦК ВКП(б).

Такая «непотопляемость» Р.С. Землячки, конечно, не могла быть делом случая или простого везения. Были, надо полагать, у нее такие качества, которые Сталин не мог не оценить. Одно из них нам известно.

> Когда после Перекопа красные овладели Крымом, было объявлено во всеобщее сведение, что пролетариат великодушен, что теперь, когда борьба кончена, предоставляется белым на выбор: кто хочет, может уехать из РСФСР, кто хочет, может остаться работать с советской властью. Мне редко приходилось видеть такое чувство всеобщего облегчения, как после этого объявления: молодое белое офицерство, состоявшее преимущественно из студенчества, отнюдь не черносотенное, логикой вещей загнанное в борьбу с большевиками, за которыми они не сумели разглядеть широчайших народных трудовых масс, давно уже тяготилось своей ролью и с отчаянием чувствовало, что пошло по ложной дороге, но что выхода на другую дорогу ему нет. И вот вдруг этот выход открывался, выход к честной работе в родной стране…

> Вскоре после этого предложено было всем офицерам явиться на регистрацию и объявлялось: те, кто на регистрацию не явятся, будут находиться вне закона и могут быть убиты на месте. Офицеры явились на перерегистрацию. И началась бессмысленная кровавая бойня. Всех явившихся арестовывали, по ночам выводили за город и там расстреливали из пулеметов. Так были уничтожены тысячи людей…
> Всем было известно, что во главе этой расправы стояла так называемая «пятаковская тройка»: Пятаков, Землячка и Бела Кун.
>
> ***(В. Вересаев. Литературные портреты. М. 2000. Стр. 484-485.)***

Тройка эта была послана в Крым, как объяснил потом Вересаеву Дзержинский, «с совершенно исключительными полномочиями».

— Но мы не могли думать, — добавил он, — что они **так** используют эти полномочия.

Расстреляно было, по одним сведениям, тридцать, по другим — семьдесят тысяч человек.

Демьян, знавший Землячку «не только по портрету», наверняка мог бы еще много чего добавить к сложившемуся под впечатлением этого рассказа Вересаева нашему представлению о характере этой страшной женщины. Так что уж говорить о его знании Сталина! Можно не сомневаться, что, обращаясь к тем, кому посчастливилось не знать Хозяина лично, он с куда большим основанием, чем о Землячке, мог бы сказать о нем:

> Молись, что ты пока узнал
> ……только по портрету —
> Куда страшней оригинал.

* * *

Последнее письмо Демьяна Бедного Сталину, написанное за год до смерти поэта, связано с юбилеем «дедушки Крылова», в подготовке к проведению которого о Демьяне никто даже и не вспомнил. А ведь не кто иной, как он, вернул к жизни басню, до него именовавшуюся «вымершей литературной формой».

Демьян напоминал о своих заслугах, жаловался на несправедливость. Но это были жалобы человека раздавленного. Раздавленного и физически, и морально.

> …По своему безножию (после «ударчика» еле ползаю) я бы в комиссию и не пошел, а по косноязычию (та же причина) мне в комиссии делать нечего…
> …Всего бы этого, конечно, не было, если бы я не обретался в том положении, в каком обретаюсь с 1938 г.

Претензии его — вернее, просьбы, — были очень скромны. Хотел он совсем немногого:

> Как мне можно помочь? В поминальную комиссию назначать меня уже неудобно, да и надобности в этом нет… Но пойдут предъюбилейные статьи. Не только Крылов, но и «басня, как таковая», как особый жанр, должна быть освещена: у басни интересная история, Эзоп был рабом. Достаточно упомянуть, что мы басенную форму неплохо использовали, и что в этом основная заслуга — моя, и кривотолки исчезнут, а в редакциях несколько опамятуются и перестанут хамить.

Но Сталин вдруг проявил неожиданное великодушие.

Права Демьяна как единственного законного наследника «дедушки Крылова» были восстановлены в полном объеме.

Первое официальное сообщение «К столетию со дня смерти И.А. Крылова» (на которое и отреагировал своим письмом Сталину Демьян) появилось в «Правде» (за подписью ТАСС)

30 июля 1944 года. А 9 августа в той же «Правде» было опубликовано новое информационное сообщение под тем же заголовком. В нем сообщалось, что, во-первых, Совнарком утвердил «т. Демьяна Бедного заместителем председателя Всесоюзного комитета по ознаменованию столетия со дня смерти великого русского поэта-баснописца И.А. Крылова». (Председателем еще раньше был утвержден А.Н. Толстой.) А во-вторых, Совет Народных Комиссаров постановил «издать полное собрание сочинений И.А. Крылова под редакцией Д. Бедного».

11 ноября 1944 года заместитель председателя «комитета по ознаменованию столетия со дня смерти И.А. Крылова» Демьян Бедный обратился к А.С. Щербакову с просьбой разрешить провести торжественное заседание по случаю знаменательной даты в Большом театре 21 ноября. Сценарий ритуального действа был такой: вступительное слово — А.Н. Толстой. Доклад — Н.С. Тихонов (он в то время возглавлял Союз писателей СССР). Выступления: Демьян Бедный (законный наследник и продолжатель «дедушки Крылова»), Максим Рыльский и Аветик Исаакян (представители литератур «братских республик»), А. Сурков и В. Лебедев-Кумач.

Если верить воспоминаниям дочери Демьяна Бедного Людмилы Придворовой, за униженного Демьяна заступился Ворошилов. Он будто бы позвонил Сталину и выразил удивление проявленной по отношению к Демьяну несправедливостью. «Сталин ответил что-то невнятное и положил трубку».

Ворошилов эту ее версию подтвердил. Но как оно там было на самом деле, теперь уже не узнать. Одно несомненно: так круто изменить уже утвержденный ранее сценарий проведения крыловского юбилея мог только Сталин.

* * *

Заключая главу о Сталине и Маяковском, я писал, что есть два способа убить поэта. Один — простой: самого поэта расстрелять или превратить в лагерную пыль. Стихи его не печатать, а те, что уже напечатаны, — запретить, изъять из библиотек. А самое имя его сделать неупоминаемым. Другой способ состоит в том, чтобы поэта канонизировать, превратить в икону, в «священную корову», залить хрестоматийным глянцем. И, разумеется, высшим его художественным достижением объявить при этом самые барабанные его стихи.

Но есть еще и третий способ. Он состоит в том, чтобы сломать поэта, запугать до полусмерти, растлить его. («Испуганный писатель — это уже потеря квалификации», — говорил Зощенко.) И вот — поэт продолжает писать и даже печататься. Но это уже не он, а кто-то другой. Ни тени его — прежнего — не осталось в его гладких, безликих сочинениях. О плохих стихах часто говорят, что они подражательны. А тут даже этого не скажешь. О таких (на вопрос: на что они похожи) Виктор Шкловский презритель-кинул автору-графоману. «На редакционную корзину».

К стихотворной продукции Демьяна Бедного можно относиться по-разному.

И именно так (по-разному) к ней и относились.

Есенин — с нескрываемым пренебрежением:

С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Поэзия моя здесь больше не нужна,

Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Выходит, что если его, Есенина, стихи — это поэзия, то «агитки Бедного Демьяна» — нечто с истинной поэзией невместимое, то есть антипоэзия.

А вот Пастернак держался на этот счет прямо противоположного мнения.

Выступая (в феврале 1936 года) на очередном пленуме Правления Союза писателей СССР, он вдруг заговорил о Демьяне. И вот что он там про него сказал:

> …получается так, что ежели я пишу так, как умею, то, следовательно, я должен то-то и то-то, и, в частности, скажем, должен отрицать Демьяна Бедного. Начну с того, что я предпочитаю его большинству из вас, а дальше скажу и больше. Видите ли, товарищи, мне глубоко безразличны отдельные слагаемые цельной формы, лишь бы только последняя была первична и истинна.. Лишь бы между автором и выражением не затесывались промежуточные звенья подражательства, ложной необычности и дурного вкуса.. И я скажу вам, товарищи, что Демьян Бедный не только историческая фигура революции в ее решающие моменты фронтов и военного коммунизма, он для меня и по сей день остается Гансом Саксом нашего народного движения, и Маяковский, гениальности которого я удивлялся раньше многих из вас и которого любил до обожанья, ни в какое сравнение с натуральностью Демьяновой речи не идет.
>
> ***(Борис Пастернак. Полн. собр. соч. Том 5, М. 2005. Стр. 235—236.)***

Это была его давняя идея. Впервые он высказал ее еще в 1919 году в наброске о Гансе Саксе. И потом не раз к ней возвращался.

Среди «частушек Бедного Демьяна», которые «деревенский комсомол» рьяно наяривал под гармонику и о которых Есенин говорил с таким пренебрежением, были истинные жемчужины. Например, вот эта:

Как родная меня мать
Провожала,
Тут и вся моя семья
Набежала.

— Ах, куда ты, паренек,
Ах, куда ты!
Не ходил бы ты, Ванек,
Во солдаты.

В Красной Армии штыки,
Чай, найдутся,
Без тебя большевики
Обойдутся!

Поневоле ты идешь,
Аль с охоты,
Ваня, Ваня, пропадешь
Ни за что ты…

В общем, как к Демьяну ни относись, одно несомненно: был у него свой голос, свой стиль, свой — сразу, легко и безошибочно узнаваемый — строй речи. И куда только все это девалось после того, как его выварили в семи щелоках бесчисленных сталинских чисток.

Когда началась война, Демьян был прощен. Его опять стали печатать. И не где-нибудь, а в «Правде».

Вот несколько строк из его стихов 1941 года:

Пусть приняла борьба опасный оборот,
Пусть немцы тешатся фашистскою химерой,
Мы отразим врагов. Я верю в свой народ
Несокрушимою тысячелетней верой.
Он много испытал. Был путь его тернист.
Но не затем зовет он родину святою,
Чтоб попирал ее фашист
Своею грязною пятою.

Еще несколько строк из стихотворения, написанного два года спустя:

Россия, — слово о тебе,
О сказочной твоей судьбе,
О мощи, гибельной для наглых сумасбродов,
Пытавшихся грозой грабительских походов
Сжечь все, что в доблестном твоем стоит гербе.

Все идеологические уклоны, сбои и ошибки давно преодолены и изжиты, вытравлены, выжжены дотла. Все правильно в этих новых Демьяновых стихах. Но ни одной молекулы не отыскать в них от прежнего Демьяна. Ни одной живой клеточки, по которой мы могли бы узнать, что это — именно он, Демьян Бедный, а не, скажем, Лебедев-Кумач, произносивший, бывало, с трибуны Верховного Совета длинные речи, состоящие из вот такой же стихотворной жвачки.

Эта метаморфоза тоже могла бы стать «сюжетом для небольшого рассказа». Но сюжет этот как будто не входит границы этой главы, да и всей этой моей книги. Ведь точно такая же метаморфоза произошла, например, с Николаем Тихоновым, так ярко начавшим своими первыми книгами «Орда» и «Брага», а под конец жизни превратившимся в жалкого графомана. Или с Сергеевым-Ценским. Или с Юрием Олешей. Да мало ли с кем еще. Это была общая тенденция.

Причиной каждой из этих метаморфоз была **система** . Созданная Сталиным, конечно, но работавшая автоматически, без его личного участия. Поэтому и метаморфозу, случившуюся с Демьяном Бедным, я не стал бы рассматривать в этой главе, если бы по ходу работы над ней не попался мне на глаза еще и такой документ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК
ВКП(б) «О ФАКТАХ ГРУБЕЙШИХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ ТЕКСТОВ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕМЬЯНА БЕДНОГО»
24 апреля 1952 г.

№ 625. п. 5. — *О фактах грубейших политических искажений текстов произведений Демьяна Бедного.*
Утвердить представленный комиссией в составе тт. Суслова, Шкирятова, Михайлова, Суркова и Кружкова проект постановления ЦК ВКП(б) о фактах грубейших политических искажений текстов произведений Демьяна Бедного (см. приложение).

Приложение к п. 5 пр. Ст. № 625 от 24 апреля 1952 г.
«О фактах грубейших политических искажений текстов произведений Демьяна Бедного»
Проверкой поступивших в ЦК ВКП(б) материалов установлено, что при составлении и редактировании сборников произведений Демьяна Бедного,

изданных Гослитиздатом («Избранное», 1950 г.) и Воениздатом («Родная армия», 1951 г.), допущены произвол и самоуправство в обращении с текстами поэта, в результате чего многие его стихи напечатаны с грубейшими политическими искажениями, доходящими в некоторых случаях до либерально-буржуазной фальсификации текстов Д. Бедного.

Составитель указанных сборников В.Регинин проявил недобросовестное отношение к порученной ему работе: включил в сборники не последние варианты произведений, а более ранние, забракованные самим поэтом, не считаясь с тем, что Д.Бедный улучшал свои произведения, а в ряде случаев вносил в них исправления под влиянием партийной критики.

Редактор Гослитиздата Л.Белов, готовя к печати сборник произведений Д. Бедного «Избранное», проявил недобросовестность, не проверил представленные Регининым тексты и их соответствие внесенным поэтом исправлениям, что привело к опубликованию сборника с искажениями.

Редактор Воениздата А.Колесень при редактировании сборника произведений Д.Бедного «Родная армия» не только не устранил искажений, допущенных Регининым, но самочинно сократил некоторые произведения, — снял важные по своему политическому значению эпиграфы к ним, в результате чего ряд произведений по своему политическому содержанию оказался ухудшенным, а иногда и политически искаженным.

Директор Гослитиздата т. Котов при издании сборника «Избранное» и начальник управления Военного издательства т. Копылов при издании сборника «Родная армия» безответственно отнеслись к подготовке к печати текстов произведений Д.Бедного, полностью передоверив это дело невежественным в текстологии, политически беспечным и недобросовестным составителям и редакторам

ЦК ВКП(б) постановляет:

1. За безответственность при подготовке к выпуску сборника произведений ДБедного «Избранное», в результате чего ряд стихов поэта напечатан с искажением политического смысла, редактору Гослитиздата т. Белову Л.О. объявить строгий выговор.

2. За произвол и самоуправство при редактировании сборника «Родная армия», выразившиеся в сокращении текстов произведений ДБедного и снятии эпиграфов к ним, объявить т. Колесеню А.М. строгий выговор с предупреждением и освободить его от работы в Воениздате.

3. Принять к сведению постановление Президиума Союза советских писателей СССР об исключении Регинина В.А. из членов Союза за произвол и недобросовестность при подготовке текстов произведений ДБедного для сборников «Избранное» и «Родная армия».

Запретить в дальнейшем привлечение В. Регинина к работе по изданию художественных произведений.

4. Объявить выговор директору Гослитиздата т. Котову А.К. и начальнику Воениздата т. Копылову П.Ф. за безответственное отношение к изданию произведений Д.Бедного.

5. Обязать Главполиграфиздат (т. Грачева) навести в издательствах необходимый порядок, который исключал бы возможность повторения произвола и самоуправства в обращении с текстами художественных произведений при подготовке их к печати.

6. Поручить Гослитиздату (т. Котову) выпустить в 1952—1953 гг. собрание сочинений Д.Бедного, обеспечив доброкачественную подготовку текстов произведений поэта.

(«Власть и художественная интеллигенция». Стр. 674-675.)

Судя по неслыханной для столь мелкого повода резкости и грубости тона этого постановления, по составу созданной для разбирательства дела комиссии, в которую вошли партийные функционеры самого первого ранга (Суслов, Шкирятов, Михайлов), а также по масштабу и крутости последовавших репрессивных мер («Запретить в дальнейшем

привлечение В. Регинина к работе по изданию художественных произведений» и т.п.), можно не сомневаться, что гром грянул с самого неба

Итак, дело происходит в апреле 1952 года. Со дня смерти Демьяна Бедного минуло уже семь лет. Сталину остается жить меньше года

В этот последний год своей жизни у Сталина было немало куда более важных забот. Ему предстояло провести XIX съезд партии, на котором ВКП(б) обретет новое название, будет упразднена должность Генсека, а Политбюро станет называться Президиумом. Намечалось отстранение от властных постов (а возможно, даже и физическое устранение) ближайших его соратников: Берии, Молотова, Ворошилова, Кагановича. Готовилось грандиозное, непредсказуемое по своим возможным последствиям дело врачей. Шла война в Корее, которая вот-вот должна была перерасти в Третью мировую.

И вот в этот напряженнейший момент, когда давление пара в котле было уже доведено, можно сказать, до последнего мыслимого предела, Сталин находит время для того, чтобы инициировать постановление ЦК «О фактах грубейших политических искажений текстов произведений Демьяна Бедного».

Уже хорошо знакомые нам ноты личного раздражения вождя отчетливо звучат в тексте этого постановления. Как! Посметь напечатать сочинения Демьяна Бедного без учета тех исправлений, которые Демьян вносил в них «под влиянием партийной критики», то есть той критики, которая исходила лично от товарища Сталина, о чем он только что счел нужным напомнить, включив свое письмо Демьяну в 13-й том собрания своих сочинений.

Яснее ясного это инициированное (а быть может, даже и продиктованное) Сталиным постановление говорит о том, что своему личному участию в деле оскопления «Ганса Сакса» русской революции Сталин придавал исключительно важное значение.

Тексты Демьяна, выправленные, отредактированные и приведенные к некоему общему знаменателю в соответствии с личными указаниями вождя, предстояло поместить в новом собрании сочинений поэта, которое приказано было выпустить не позднее следующего, 1953 года.

Распоряжение вождя было выполнено. Но до выхода в свет этого издания Сталин не дожил. Новое — пятитомное — собрание сочинений Демьяна Бедного, не в пример более скромное, чем девятнадцатитомное, выходившее в 1925—1933 годах, — было завершено в 1954 году. Так что проверить, достаточно ли тщательно сочинения Демьяна в этом новом собрании были очищены от скверны, Сталин уже не мог.

СТАЛИН И ЭРЕНБУРГ

ДОКУМЕНТЫ

1
ИЗ РАБОТЫ И. В. СТАЛИНА «ОБ ОСНОВАХ ЛЕНИНИЗМА»

Ленинизм есть теоретическая и практическая школа, вырабатывающая особый тип партийного и государственного работника, создающая особый, ленинский стиль в работе.

В чём состоят характерные черты этого стиля? Каковы его особенности? Этих особенностей две:

а) русский революционный размах и

б) американская деловитость.

Стиль ленинизма состоит в соединении этих двух особенностей в партийной и государственной работе. Русский революционный размах является противоядием против косности, рутины, консерватизма, застоя мысли, рабского отношения к дедовским

традициям. Русский революционный размах — это та живительная сила, которая будит мысль, двигает вперёд, ломает прошлое, даёт перспективу. Без него невозможно никакое движение вперёд.

Но русский революционный размах имеет все шансы выродиться на практике в пустую «революционную» маниловщину, если не соединить его с американской деловитостью в работе. Примеров такого вырождения — хоть отбавляй. Кому не известна болезнь «революционного» сочинительства и «революционного» планотворчества, имеющая своим источником веру в силу декрета, могущего всё устроить и всё переделать? Один из русских писателей, И. Эренбург, изобразил в рассказе «Ускомчел» (Усовершенствованный коммунистический человек) тип одержимого этой болезнью «большевика», который задался целью набросать схему идеально усовершенствованного человека и… «утоп» в этой «работе». В рассказе имеется большое преувеличение, но что он верно схватывает болезнь — это несомненно.

2
ЭРЕНБУРГ — СТАЛИНУ
Одесса (в Москву), 13 сентября (1934)

Уважаемый Иосиф Виссарионович,

я долго колебался, должен ли я написать Вам это письмо. Ваше время дорого не только Вам, но и всем нам. Если я все же решился написать Вам, то это потому, что без Вашего участья вопрос об организации близких нам литератур Запада и Америки вряд ли может быть разрешен.

Вы, наверное, заметили, насколько состав заграничных делегаций, присутствовавших на съезде писателей, не соответствовал весу и значимости подобного явления. За исключением двух французов — Мальро и Ж.–Р.Блока, чешского поэта Незвала, двух (не перворазрядных, но все же одаренных) немецких беллетристов Плювье и О.М.Графа, наконец, датчанина Нексе на нашем съезде не было сколько-нибудь серьезных представителей западноевропейской и американской литератур. Частично это объясняется тем, что приглашения на съезд, которые почему-то рассылались не Оргкомитетом, а МОРПом, были на редкость плохо составлены. Пригласили отнюдь не тех людей, которых следовало пригласить. Однако главная причина низкого состава иностранных делегаций на нашем съезде это вся литературная политика МОРПа и его национальных секций, которую нельзя назвать иначе, как рапповской.

«Международный съезд революционных писателей», имевший место в Харькове несколько лет тому назад, прошел всецело под знаком РАППа. С тех пор произошло 23 апреля. Для нас это резкая грань между двумя эпохами нашей литературной жизни. На беду, 23 апреля не изменило политики МОРПа.

Кто ведает МОРПом? Несколько венгерских, польских и немецких литераторов третьей величины. Они давно живут у нас, но эта оседлая жизнь никак не отразилась ни на их психике, ни на их творческой работе. Зато они окончательно оторвались от жизни Запада и они не видят тех глубинных перемен, которые произошли в толще западной интеллигенции после фашистского наступления.

Приведу несколько примеров. В Америке тамошние «рапповцы» отталкивают от нас столь значительных писателей, как Драйзер, Шервуд Андерсон, Дос Пассос. Авторов романов они упрекают за «невыдержанность» политической линии того или иного персонажа литературных произведений, причем я говорю не о критике, но об обвинениях в ренегатстве и т.п.

Во Франции орган секции МОРПа журнал «Коммюн» устроил анкету среди писателей. Писатели ответили, но их ответы печатались так: двадцать строк писателя, а после этого сорок строк пояснений редакции, чрезвычайно грубых и полных личных нападок. Такое

поведение секции МОРПа отталкивает от нас даже самых близких нам писателей: Андре Жида, Мальро, Роже Мартен дю Гара, Фернандеса и пр. Достаточно сказать, что даже Барбюс находится на положении едва терпимого.

Что касается немцев, то Радек в заключительном слове на съезде ясно показал узость и, того хуже, чванство литературных кружков, которые захватили руководство немецкой революционной литературой.

Я мог бы добавить, что и в других странах происходит то же самое. В Чехословакии отбросили Ванчуру и Ольбрехта. В Испании в организации состоят несколько снобов и подростков. В скандинавских странах писатели-антифашисты трактуются как «злейшие враги». И т.д.

Положение на Западе сейчас чрезвычайно благоприятно: большинство наиболее крупных, талантливых, да и наиболее известных писателей искренно пойдет за нами против фашизма. Если бы вместо МОРПа существовала широкая антифашистская организация писателей, в нее тотчас же вошли бы такие писатели, как Ромен Роллан, Андре Жид, Мальро, Ж. –Р.Блок, Барбюс, Вильдрак, Дюртен, Жионо, Фернандес, Роже Мартен дю Гар, Геенно, Шамсон, Ален, Арагон; Томас Манн, Генрих Манн, Фейхтвангер, Леонгард Франк, Глезер, Плювье, Граф, Меринг; Драйзер, Шервуд Андерсон, Дос Пассос, Голд и др. Я перечислил всего три страны и авторов, известных у нас по переводам книг. Скажу короче — такая организация за редкими исключениями объединит всех крупных и непродажных писателей.

Политическая программа такой организации должна быть очень широкой и в то же время точной:

1) Борьба с фашизмом.

2) Активная защита СССР.

Западно-европейская и американская интеллигенция прислушивается к «крупным именам». Поэтому значение большой антифашистской организации, возглавляемой знаменитыми писателями, будет весьма велико.

Но для создания подобной антифашистской организации писателей нужны, во-первых, санкция наших руководящих органов, во-вторых, роспуск или коренная реорганизация и МОРПа и его национальных секций.

Всесоюзный съезд писателей сыграет огромную роль в деле привлечения к нам западно-европейской интеллигенции. На этом съезде впервые вопросы культуры и мастерства были поставлены во всем их объеме, соответственно с ростом нашей страны и с ее правом на общемировую духовную гегемонию. Съезд вместе с тем показал, насколько наши писатели, беспартийные, как и партийные, сплочены вокруг партии в ее созидательной работе и в ее подготовке к обороне страны. То, как наши приветствовали делегатов Красной армии, позволит западной интеллигенции понять наше положение внутри страны и нашу органическую связь с делом ее защиты.

В свою очередь, разногласия, сказавшиеся на съезде в вопросах творчества и техники, покажут той же интеллигенции, как изумительно мы выросли за последние годы. Большинство съезда горячо аплодировало тем докладам и выступлениям, которые настаивали на повышении культурного уровня, на преодолении провинциализма, на необходимости исканий и изобретений. Эти речи и эти аплодисменты вызвали также горячее сочувствие среди иностранных писателей, присутствовавших на съезде. Можно смело сказать, что работы съезда подготовили создание большой антифашистской организации писателей Запада и Америки.

Простите, уважаемый Иосиф Виссарионович, что я у Вас отнял столько времени, но мне кажется, что и помимо нашей литературной области такая организация теперь будет иметь общеполитическое боевое значение.

С глубоким уважением

Илья Эренбург

3
ЭРЕНБУРГ — СТАЛИНУ
(Москва) 28 ноября 1935 года

Уважаемый Иосиф Виссарионович,

т. Бухарин передал мне, что Вы отнеслись отрицательно к тому, что я написал о Виноградовой. Писатель никогда не знает, удалось ли ему выразить то, что он хотел. Напечатанные в газете эти строчки о Виноградовой носят не тот характер, который я хотел им придать. Не надо было мне этого печатать в газете, не надо было и ставить имя действительно существующего человека (Виноградовой). Для меня это был клочок романа, не написанного мной, и в виде странички романа, переработанные и, конечно, измененные, эти строки звучали бы совершенно иначе. Мне хочется объяснить Вам, почему я написал этот рассказ. Меня глубоко взволновала беседа с Виноградовой, тот человеческий рост, то напряжение в работе, выдумка, инициатива и вместе с тем скромность, вся та человечность, которые неизменно меня потрясают, когда я встречаюсь с людьми за последнее время. Но все это подлежит обработке, должно стать страницами книги, а не быть напечатанным на газетных столбцах.

Мне трудно себе представить работу писателя без срывов. Я не понимаю литературы равнодушной. Я часто думаю: какая в нашей стране напряженная, страстная, горячая жизнь, а вот искусство зачастую у нас спокойное и холодное. Мне кажется, что художественное произведение рождается от тесного контакта внешнего мира с внутренней темой художника. Вне этого мыслимы только опись, инвентарь существующего мира, но не те книги, которые могут жечь сердца читателей. Я больше всего боюсь в моей работе холода, внутренней незаинтересованности. Вы дали прекрасное определение всего развития нашего искусства двумя словами: «социалистический реализм». Я понимаю это как необходимость брать «сегодня» в его развитии, в том, что имеется в нем от «завтра», в перспективе необыкновенного роста людей социалистического общества. Поэтому мне больно видеть, как словами «социалистический реализм» иногда покрывается натурализм, то есть восприятие действительности в ее неподвижности. Отсюда и происходит тот холод, то отсутствие «сообщничества» между художником и его персонажами, о которых я только что говорил.

Простите, что я отнимаю у Вас время этими мыслями, уходящими далеко от злополучной статьи. Если бы я их не высказал, осталось бы неясным мое писательское устремление: ведь в ошибках, как и в достижениях, сказывается то, что мы, писатели, хотим дать. Отсутствие меры или срывы у меня происходят от того же: от потрясенности молодостью нашей страны, которую я переживаю как мою личную молодость. То, что я живу большую часть времени в Париже, может быть, и уничтожает множество ценных деталей в моих наблюдениях, но это придает им остроту восприятия. Я всякий раз изумляюсь, встречаясь с нашими людьми, и это изумление — страсть моих последних книг. Мне приходится в Париже много работать над другим: над организацией писателей, над газетными очерками о Западе, но все же моей основной работой теперь, моим существом, тем, чем я живу, являются именно это волнение, это изумление, которые владеют мною как писателем.

Я вижу читателей. Они жадно и доверчиво берут наши книги. Я вижу жизнь, в которой больше нет места ни скуке, ни рутине, ни равнодушью. Если при этом литература и искусство не только не опережают жизнь, но часто плетутся за ней, в этом наша вина: писателей и художников. Я никак не хочу защищать двухсот строчек о Виноградовой, и если бы речь шла только об этом, я не стал бы Вас беспокоить. Но я считаю, что, разрешив т. Бухарину передать мне Ваш отзыв об этом рассказе (или статье), Вы показали внимание к моей писательской работе, и я счел необходимым Вам прямо рассказать о том, как я ошибаюсь и чего именно хочу достичь.

Мне особенно обидно, что неудача с этой статьей совпала по времени с несколькими моими выступлениями на творческих дискуссиях, посвященных проблемам нашей

литературы и искусства. Я высказал на них те же мысли, что и в письме к Вам: о недопустимости равнодушья, о необходимости творческой выдумки и о том, что социалистический реализм зачастую у нас подменяется бескрылым натурализмом. Естественно, что такие высказывания не могли встретить единодушного одобрения среди всех моих товарищей, работающих в области искусства. Теперь эти высказывания начинают связывать с неудачей статьи, и это переходит в политическое недоверие. Я думал, что вне творческих дискуссий нет в искусстве движения. Возможно, что я ошибался и что лучше было бы мне не отрываться для этого от работы над романом. То же самое я могу сказать о критике отдельных выступлений нашей делегации на парижском писательском конгрессе, о критике, которую я позволил себе в беседах с тесным кругом более или менее ответственных товарищей. Разумеется, я никогда бы не допустил подобной критики на собрании или в печати. Я яростно защищал всю линию нашей делегации на Западе — на собраниях и в печати. Если я позволил себе в отмеченных беседах критику (вернее самокритику — я ведь входил в состав нашей делегации), то только потому, что вижу ежедневно все трудности нашей работы на Западе. Многое пришлось выправлять уже в дни конгресса, и здесь я действовал в контакте и часто по прямым советам т. Потемкина. Мне дорог престиж нашего государства среди интеллигенции Запада, и я хочу одного: поднять его еще выше и при следующем выступлении на международной арене избежать многих ошибок, может быть, и не столь больших, но досадных. Опять-таки скажу, что, может быть, и здесь я ошибаюсь, что, может быть, я вовсе не пригоден для этой работы. Если я работал над созывом конгресса, если теперь я продолжаю работать над организацией писателей, то только потому, что в свое время мне предложил делать это Цека партии.

Мне говорят, что на собрании Отдела печати Цека меня назвали «пошлым мещанином». Мне кажется, что этого я не заслужил. Еще раз говорю: у каждого писателя бывают срывы, даже у писателя, куда более талантливого, нежели я. Но подобные определения получают сразу огласку в литературной среде и создают атмосферу, в которой писателю трудно работать. Я слышу также, как итог этих разговоров: «Гастролер из Франции». Я прожил в Париже 21 год, но если я теперь живу в нем, то вовсе не по причинам личного характера. Мне думается, что это обстоятельство мне помогает в моей литературной работе. Я связан с движением на Западе, мне приходится часто писать на западные темы, я часто также пишу о Союзе для близких и в органах (печати) в Европе и в Америке, сопоставляя то, что там, и то, что у нас. С другой стороны — об этом я писал выше — ощущение двух миров и острота восприятья советской действительности помогают мне при работе над нашим материалом. Наконец, я стараюсь теперь сделать все от меня зависящее, чтобы оживить работу, скажу откровенно, вялой организации, которая осталась нам от далеко невялого конгресса. Все это, может быть, я делаю неумело, но ни эта моя работа, ни мои газетные очерки о Западе, ни мои последние два романа о советской молодежи, на мой взгляд, не подходят под определение «гастролера из Франции».

Я не связывал и не связываю вопроса о моем пребывании в Париже с какими-либо личными пожеланиями. Если Вы считаете, что я могу быть полезней для нашей страны, находясь в Союзе, я с величайшей охотой и в самый кратчайший срок перееду сюда. Я Вам буду обязан, если в той или иной форме Вы укажете мне, должен ли я вернуться немедленно из Парижа в Москву или же работать там.

Простите сбивчивую форму этого письма: я очень взволнован и огорчен.

Искренно преданный Вам

Илья Эренбург

Москва

Гостиница «Метрополь».

4
ЭРЕНБУРГ – СТАЛИНУ

(Москва,) 21 марта (1938)

Дорогой Иосиф Виссарионович,

мне трудно было решиться отнять у Вас время письмом о себе. Если я все же это делаю, то только потому, что от Вашей помощи зависит теперь вся моя дальнейшая литературная работа.

Я приехал в Союз в декабре (1937 г.). Мне давно хотелось снова взглянуть на нашу страну, подышать нашим воздухом. В декабре был пленум союза писателей, я решил приехать на этот пленум. Перед тем я был в Испании, был на теруэльском фронте. Я запросил редакцию «Известий», корреспондентом которой состою, не возражает ли она против моей поездки, и, получив согласие, приехал.

Предполагал я приехать на короткий срок: мне казалось, что вся моя работа за границей требует скорого возвращения туда и в первую очередь Испания. С самого начала испанской войны я живу этим делом. Я писал об Испании для «Известий», писал в испанские газеты, в Коммунистические журналы Франции, Америки, Чехии, писал статьи, очерки, написал роман. Помимо этого как мог помогал там в деле пропаганды. Сейчас мне тяжело, что я не там. За два месяца в Москве я сделал 50 докладов — на заводах, красноармейцам, вузовцам, все, конечно, об Испании, я видел, какой у нас к этому интерес, и вот сейчас, в такие трудные для Испании дни, в наших газетах только сухие сводки.

Назревают события во Франции. Ведь я все это знаю, я должен об этом писать. Добавлю, что во Франции я оставил литературно-общественную работу в самое горячее время. Незадолго перед отъездом мне удалось одной из моих статей наконец-то поднять против Жида «левых писателей» — группу «Вандреди», Мальро и др. Важно это продолжить, на месте бороться с антисоветской кампанией. Я во Франции прожил с небольшими перерывами около 30 лет и думаю, что сейчас там и в Испании я больше всего могу быть полезным нашей стране, нашему делу.

Редакция «Известий», отдел печати Цека все время мне говорят: «Наверно, скоро поедете…». Мне обидно, больно, что в такое время я сижу без дела, и вот это чувство заставило меня написать Вам. Я очень прошу простить мне, что по этому вопросу обращаюсь лично к Вам, но мы сжились с мыслью, что Вы не только наш руководитель, но и наш друг, который входит во все.

С глубоким уважением

Илья Эренбург

5
ЭРЕНБУРГ — СТАЛИНУ
(Москва,) 15 апреля 1945 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Мне тяжело, что я должен занять Ваше время в эти большие дни вопросом, касающимся лично меня. Прочитав статью Г.Ф.Александрова, я подумал о своей работе в годы войны и не вижу своей вины. Не политический работник, не журналист, я отдался целиком газетной работе, выполняя свой долг писателя. В течение четырех лет ежедневно я писал статьи, хотел выполнить работу до конца, до победы, когда смог бы вернуться к труду романиста. Я выражал не какую-то свою линию, а чувства нашего народа, и то же самое писали другие, политически более ответственные. Ни редакторы, ни Отдел печати мне не говорили, что я пишу неправильно, и накануне появления статьи, осуждающей меня, мне сообщили из изд(ательства) «Правда», что они переиздают массовым тиражом статью «Хватит».

Статья в «Правде» говорит, что непонятно, когда антифашист призывает к поголовному уничтожению немецкого народа. Я к этому не призывал. В те годы, когда захватчики топтали

нашу землю, я писал, что нужно убивать немецких оккупантов. Но и тогда я подчеркивал, что мы не фашисты и далеки от расправы. А вернувшись из восточной Пруссии, в нескольких статьях («Рыцари справедливости» и др.) я подчеркивал, что мы подходим к гражданскому населению с другим мерилом, нежели гитлеровцы. Совесть моя в этом чиста.

Накануне победы я увидел в «Правде» оценку моей работы, которая меня глубоко огорчила. Вы понимаете, Иосиф Виссарионович, что я испытываю. Статья, напечатанная в ЦО, естественно, создает вокруг меня атмосферу отчуждения и моральной изоляции. Я верю в Вашу справедливость и прошу Вас решить заслужено ли это мной.

Я прошу Вас также решить, должен ли я довести до победы работу писателя-публициста или в интересах государства должен ее оборвать.

Простите меня, что Вас побеспокоил личным делом, и верьте, что я искренне предан Вам.

И. Эренбург

6
ЭРЕНБУРГ – СТАЛИНУ
(Москва,) 20 марта 1949

Дорогой Иосиф Виссарионович,

исключительные обстоятельства принуждают меня обратиться к Вам.

С февраля месяца все газеты и журналы оказались для меня закрытыми. Те статьи, которые я написал (для «Красного флота», «Красного сокола», «Смены», «Блокнота агитатора», «Советской литературы», для чешской, испанской радиопередач) не напечатаны или не переданы, хотя редакциями были одобрены. Никакого объяснения мне не дали. Таким образом, я лишен возможности вести ту работу, которую вел, не могу бороться против американского империализма, не могу служить Родине. Я чувствую себя солдатом, которого во время боя лишили оружия.

Одновременно поставлена под удар моя литературная работа. В учебных заведениях предлагают преподавателям не цитировать моих романов «Падение Парижа», «Буря» (Институт иностранных языков), объявляют на лекциях студентам, что я больше не существую как писатель (профессор Литературного института).

Только острота положения и невозможность найти выход заставляют меня беспокоить Вас, прошу мне это простить.

С глубоким уважением

Илья Эренбург

7
ЭРЕНБУРГ – СТАЛИНУ
(Москва,) 2 января 1950

Дорогой Иосиф Виссарионович,

простите, что решаюсь побеспокоить Вас просьбой, связанной с моей работой.

Я работаю над продолжением «Бури». На судьбах различных героев этой книги — советских людей, французов, американцев, немцев — я хочу показать историю послевоенных лет, борьбу за мир. Поездка в США в 1946 г. позволяет мне дать ряд американских глав. Но мне не хватает материала для существенной части романа, протекающей во Франции (во время Парижского конгресса я провел там всего десять дней). Поэтому я прошу разрешить мне поехать на полтора-два месяца во Францию и на две-три недели в Берлин. Если почему-либо невозможно во Францию, в одну из соседних с ней стран (Бельгию, Италию, Швейцарию), где я мог бы собрать материал.

Я осмелился Вас этим потревожить, потому что без этой поездки мне пришлось бы отказаться от книги, над планом которой я работаю последнее время.

Я не могу закончить это письмо, не высказав Вам того, о чем мы все сейчас думаем: не пожелав Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, здоровья и счастья.

С глубоким уважением

И. Эренбург

8
ЭРЕНБУРГ — СТАЛИНУ
(Москва, 3 февраля 1953)

Дорогой Иосиф Виссарионович,

я решаюсь Вас побеспокоить только потому, что вопрос, который я сам не могу решить, представляется мне чрезвычайно важным.

Тов. Минц и Маринин ознакомили меня сегодня с проектом «Письма в редакцию газеты «Правда» и предложили мне его подписать. Я считаю своим долгом изложить мои сомнения и попросить Вашего совета.

Мне кажется, что единственным радикальным решением еврейского вопроса в нашем социалистическом государстве является полная ассимиляция, слияние людей еврейского происхождения с народами, среди которых они живут. Это срочно необходимо для борьбы против американской и сионистической пропаганды, которая стремится обособить людей еврейского происхождения. Я боюсь, что коллективное выступление ряда деятелей советской русской культуры, людей, которых объединяет только происхождение, может укрепить в людях колеблющихся и не очень сознательных националистические тенденции. В тексте «Письма» имеется определение «еврейский народ», которое может ободрить националистов и смутить людей, еще не осознавших, что еврейской нации нет.

Особенно я озабочен влиянием такого «Письма в редакцию» на расширение и укрепление мирового движения за мир. Когда в различных комиссиях, пресс-конференциях и пр. ставился вопрос, почему в Советском Союзе больше не существует еврейских школ или газет на еврейском языке, я отвечал, что после войны не осталось очагов бывшей «черты оседлости» и что новые поколения советских граждан еврейского происхождения не желают обособляться от народов, среди которых они живут. Опубликование «Письма», подписанного учеными, писателями, композиторами и т.д. еврейского происхождения, может раздуть отвратительную антисоветскую пропаганду, которую ведут сионисты, бундовцы и другие враги нашей Родины.

С точки зрения прогрессивных французов, итальянцев, англичан и пр. нет понятия «еврей» как представитель некой национальности, слово «еврей» там означает религиозную принадлежность, и клеветники смогут использовать «Письмо в редакцию» для своих низких целей.

Я убежден, что необходимо энергично бороться против всяческих попыток воскресить и насадить еврейский национализм, который при данном положении неизбежно приводит к измене Родине. Мне казалось, что для этого следует опубликовать статью или даже ряд статей, в том числе подписанных людьми еврейского происхождения, разъясняющих роль Палестины, американских буржуазных евреев и пр. С другой стороны, я считал, что разъяснение, исходящее от редакции «Правды» и подтверждающее преданность огромного большинства тружеников еврейского происхождения Советской Родине и русской культуре, поможет справиться с обособлением части евреев и с остатками антисемитизма. Мне казалось, что такого рода выступления могут сильно помешать зарубежным клеветникам и дать хорошие доводы нашим друзьям во всем мире.

Вы понимаете, дорогой Иосиф Виссарионович, что я сам не могу решить эти вопросы и поэтому я осмелился написать Вам. Речь идет о важном политическом акте, и я решаюсь

просить Вас поручить одному из руководящих товарищей сообщить мне — желательно ли опубликование такого документа и желательна ли под ним моя подпись. Само собой разумеется, что если это может быть полезным для защиты нашей Родины и для движения за мир, я тотчас подпишу «Письмо в редакцию».

С глубоким уважением

И.Эренбург

Сюжет первый
«ДВОЕЖЕНЕЦ»

Для начала — короткая реплика из автобиографии Пастернака:

> В июле 1917 года меня по совету Брюсова разыскал Эренбург. Тогда я узнал этого умного писателя, человека противоположного мне склада, деятельного, незамкнутого.

Себя он считал человеком замкнутым и объяснял это так:

> Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю.
>
> ***(Борис Пастернак. Люди и положения.)***

Эренбург в этом зеркальном блеске чувствовал себя как рыба в воде. Он, правда, любил повторять, что занимается политикой не по призванию, а по необходимости, что это — долг, а не сердечная склонность. Но дилетантом в политике себя отнюдь не считал, да таковым и не был.

> Чехов, будучи еще Антошей Чехонте, говорил, что медицина — его законная жена, а литература — любовница; медицине он долго учился, получил диплом, практиковал. А я, когда мне не было и шестнадцати лет, занялся политикой.
>
> ***(Илья Эренбург. Собр. соч., т. 9, М. 1967. Стр. 470.)***

Политика часто бывала ему в тягость. Но на протяжении всей его жизни она оставалась его «законной женой». Литература, конечно, тоже не была его тайной любовью. Оставаясь в пределах чеховской метафоры, об Эренбурге можно сказать, что он был двоеженцем. Отсюда — двойственность, можно даже сказать раздвоенность его писательского облика.

* * *

Н.К. Крупская в статье «Что нравилось Ильичу из художественной литературы» вспоминает:

> Из современных вещей, помню, Ильичу понравился роман Эренбурга, описывающий войну. «Это знаешь, — Илья Лохматый, — торжествующе рассказывал он. — Хорошо у него вышло».
>
> ***(Ленин о культуре и искусстве. М. — Л. 1938. Стр. 121.)***

«Илья Лохматый» — это партийная кличка Эренбурга.

Для Ленина Эренбург был «Илья Лохматый». Для Сталина — «один из русских писателей». (О большевистском прошлом Эренбурга он в то время, когда вспомнил его рассказ «Ускомчел», может быть, даже еще и не знал.) Но отношение к художественной литературе и к искусству у вождя мирового пролетариата и у самого верного его ученика

было примерно одинаковое. И именно оно стало главной причиной разрыва Эренбурга с его партийным прошлым.

Это признание однажды мне случилось услышать от него самого. Разговор, правда, шел не о Ленине и не о Сталине, а о Троцком.

Положив руку на лежащую перед ним рукопись (это была только что законченная им первая книга его мемуаров, стало быть, время этого разговора можно датировать довольно точно: это был апрель или май 1960-го), он говорил:

— Эту книгу я хотел бы напечатать целиком. Кроме одной главы — о Троцком. Глава о Троцком пойдет в архив. Я сам не хочу ее сейчас печатать.

И на мой немой вопрос:

— Я встретился с ним в Вене, в 1909 году. И очень он мне тогда не понравился.

— Чем? — спросил я.

— Прежде всего отношением к искусству… Может быть, даже из-за этой встречи я решил тогда отойти от партии, от партийной работы… Я не хочу сейчас печатать эту главу, потому что это мое отрицательное отношение к Троцкому может быть ложно истолковано…

Главу эту он тогда все-таки напечатал. (Собственно, не главу, а крохотный эпизод.) Имя Троцкого, правда, там упомянуто не было. Лев Давыдович был назван «видным социал-демократом», а фамилия его была заменена латинской буквой Х. Но своего отрицательного отношения к этому «видному социал-демократу» Илья Григорьевич не утаил и даже не смягчил:

> Х. был со мною ласков и, узнав, что я строчу стихи, по вечерам говорил о поэзии, об искусстве. Это были не мнения, с которыми можно было бы поспорить, а безапелляционные приговоры. Такие же вердикты я услышал четверть века спустя в некоторых выступлениях на Первом съезде советских писателей. Но в 1934 году мне было сорок три года, я успел кое-что повидать, кое-что понять, а в 1909 году мне было восемнадцать лет, я не умел ни разобраться в исторических событиях, ни устроиться поудобней на скамье подсудимых, хотя именно на ней мне пришлось просидеть почти всю жизнь. Для Х. обожаемые мною поэты были «декадентами», «порождением политической реакции». Он говорил об искусстве как о чем-то второстепенном, подсобном.
>
> ***(Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Том первый. М. 1990. Стр. 105.)***

Троцкий и сам недурно писал. (Его партийная кличка в молодые годы была — «Перо».) И писал он не только на политические и экономические темы. Его статьи о литературе, его портреты писателей-современников в свое время составили два солидных тома. Но и в этих своих статьях и портретах об искусстве он неизменно говорил, «как о чем-то второстепенном, подсобном».

Точно так же относился к художественной литературе и искусству и Ленин.

В самом знаменитом раннем своем романе «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников…» Эренбург изобразил Владимира Ильича под именем «Великого инквизитора». Впрочем, под этим именем он фигурирует только в названии главы, в которой появляется. (Глава называется: «Великий инквизитор без легенды».) В дальнейшем он скромно именуется «Главным коммунистом». Но и в том и в другом случае не может быть ни малейших сомнений, насчет того, КТО выведен в саркастическом эренбурговском романе под этими прозрачными псевдонимами.

Беседуя с «Главным коммунистом» на разные темы, Хуренито касается и искусства. Разумеется, в том духе, в каком только и можно было этого ждать от «великого провокатора»:

> — Что вы думаете, — начал Хуренито, — о бездеятельности, разгильдяйстве и дикой расточительности сил, царящих в Советской республике?.. Поэты пишут стихи о мюридах и о черепахах Эпира, художники рисуют бороды и полоскательницы… В театре — мистерии Клоделя. Почему не закрыты все театры, не упразднены поэзия, философия и прочее лодырничество?

— Обо всем этом, — ответил миролюбиво коммунист, — поговорите лучше с Анатолием Васильевичем. Искусство — его слабость, я же в нем ничего не смыслю и перечисленными вами ремеслами совершенно не интересуюсь. Мне кажется гораздо более занимательным писать декреты о национализации мелкого скота, пробуждающие от сна миллионы, нежели читать стихи Пушкина, от которых я сам честно засыпаю. Я с детских лет ничего не читал и не читаю, кроме работ по моей специальности. Я не гляжу на картины, мне интереснее смотреть на диаграммы. Я никогда не хожу в театр, вот только в прошлом году пришлось «по долгу службы» с «гостями республики», и это было еще снотворнее гимназического Пушкина. Чтобы перейти к коммунизму, нужно сосредоточить все силы, все помыслы, всю жизнь на одном — на экономике… Оставьте санскритские словеса, любовные охи, постройки новых или ремонт старых богов, картины, стихи, трагедии и прочее. Лучше сделайте одну косу, достаньте один фунт хлеба!

(Илья Эренбург. «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников…» . М. — Л. 1927. Стр. 226-227.)

Это, конечно, пародия. Но не слишком далеко уклонившаяся от реальности, о чем ярче всего свидетельствует хорошо известная телефонограмма Ленина Луначарскому:

(26 августа 1921 года)
т. Луначарскому.
Принять никак не могу, так как болен. Все театры советую положить в гроб.
Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте.
Ленин

(Ленин и Луначарский. Письма. Доклады. Документы. М. 1971. Стр. 313.)

Эта телефонограмма была, конечно, продиктована Лениным в состоянии крайнего раздражения. Луначарский, видать, сильно его достал своими вечными хлопотами о театрах. Но совпадение этого ответа Ленина Луначарскому с ответом эренбурговского «Главного коммуниста» на вопрос Хуренито, согласитесь, впечатляет. Ведь Эренбург, сочиняя свой первый роман, об этой переписке Владимира Ильича с Анатолием Васильевичем знать ничего не мог: обнародована она была гораздо позже.

Да, о переписке Ленина с Луначарским он тогда еще ничего не знал. Но о Ленине у него давно уже составилось вполне определенное представление. И составилось оно на основе личных впечатлений:

Юнцом наивным и восторженным прямо из Бутырской тюрьмы попал я в Париж. Утром приехал, а вечером сидел уже на собрании в маленьком кафе «Avenue d'Orleanes». Приземистый лысый человек за кружкой пива, с лукавыми глазками на красном лице, похожий на добродушного бюргера, держал речь.
Сорок унылых эмигрантов, с печатью на лице нужды, безделья, скуки слушали его, бережно потягивая гренадин… Я попросил слова. Некая партийная девица, которая привела меня на собрание, в трепете шепнула:
— Неужели вы будете возражать Ленину?
Краснея и путаясь, я пробубнил какую-то пламенную чушь, получив в награду язвительную реплику самого Ленина.

(И. Эренбург. «Тихое семейство». Новости дня. М. 1918, 27 марта.)

Это — когда он еще был «наивным и восторженным». А вскоре, — каких-нибудь несколько месяцев спустя, — когда эту наивную восторженность с него как ветром сдуло, отношения его с Ильичем и вовсе разладились:

В то время выходил в Париже журнал под названием «Les homes d'aujourd'hui» («Люди сегодня»), издаваемый одним карикатуристом-поляком. По-видимому, Эренбург и К° вошли с ним в соглашение на каких-то условиях и те предоставили

им своих сотрудников-художников. Помню, что на одно заседание Эренбург явился с пачкой настоящего журнала (по формату и вообще внешнему виду совершенно тождественного с французским) под заглавием «Les homes d'hier» — «Люди вчера»… Запомнила только сценку в школе Ленина. Ленин вызывает Каменева и задает какой-то вопрос, на который Каменев отвечает не совсем в духе Ленина. Тогда Зиновьев вызывается ответить и отбарабанивает слово в слово по какой-то книге Ленина…

Мы стали расхватывать этот журнал, тут же читать, раздались шутки, смех. Ленин тоже попросил один номер. Стал перелистывать, и по мере чтения все мрачнее и все сердитее делалось его лицо, под конец ни слова не говоря, отшвырнул буквально журнал в сторону… Потом мне передали, что Ленину журнал ужасно не понравился и особенно возмутила карикатура на него и подпись. И вообще не понравилось, что Эренбург отпечатал и, по-видимому, собирался широко распространять.

(Т.И. Вулих. Из воспоминаний.)

Для нас тут важно не столько то, что Ленину не понравился эренбурговский журнал, сколько то, что Ленина и его взаимоотношения с соратниками Эренбург тогда воспринимал юмористически. (Чтобы не сказать — иронически.)

Это подтверждает в своих воспоминаниях о Ленине Г. Зиновьев:

Нас «поливали» не только Мартов и Дан, но и… сторонники Плеханова — вплоть до Эренбурга (его звали тогда Илья Лохматый, он не был еще известным писателем, а не так давно отошел от большевиков и пробовал теперь свои силы на издании юмористического журнала «Бывшие люди», листков против Ленина и проч.).

У Зиновьева, как человека мыслящего исключительно в пределах тогдашней внутрипартийной борьбы, тут возникла естественная (для него) аберрация. На самом деле Эренбург отошел не от большевиков, а от партийных дел и партийного мышления.

Что именно его от них оттолкнуло, мы уже знаем. Но не лишним будет к этому добавить еще одну реплику Ленина, которую приводит Юрий Анненков в своих мемуарах:

— Я, знаете, в искусстве не силен… Искусство для меня — это что-то вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его — дзык, дзык! — вырежем. За ненужностью. Впрочем, — добавил Ленин, улыбнувшись, — вы уж об этом поговорите с Луначарским: большой специалист. У него там даже какие-то идейки…

(Юрий Анненков. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Л. 1991, Стр. 247.)

Ленин по крайней мере признавал, что в искусстве он не специалист, и интересующихся этими проблемами отсылал к Луначарскому. Но Троцкий, судя по всему, готов был счесть себя специалистом и в этой области. Не боги, в самом деле, горшки обжигают. Ну, а уж о Сталине и говорить нечего. Корифей всех наук… Вспомним, как он разбирал малоизвестный рассказ Горького, пренебрегая недовольством присутствующего на этом разборе автора.

Но это — позже.

В то время, когда он читал в Свердловском университете свои лекции об основах ленинизма, корифеем всех наук он себя еще не ощущал. Скорее напротив: чувствовал некоторую неуверенность, когда ему приходилось (а приходилось!) вторгаться в интеллектуальные сферы.

Вячеслав Всеволодович Иванов — сын знаменитого в 20-е годы писателя Всеволода Иванова — рассказывает в своих воспоминаниях об отце, что Сталин, похвалив однажды какую-то его книгу (дело было в 1925 году), сказал, что готов даже сам написать предисловие

к следующей его книге. Всеволод Вячеславович от этой чести отказался, сказав, что хорошая книга ни в каких предисловиях не нуждаемся, а плохую никакое предисловие не спасет.

В такой же роли покровителя, готового защитить писателя, которому трудно приходится в его взаимоотношениях с суровой советской властью, предстает перед нами Сталин в воспоминаниях В. Вересаева о том, как он читал главы из своего романа «В тупике» в гостях у другого тогдашнего «покровителя искусств» — Каменева:

> Я стал расспрашивать Ангарского, кто здесь присутствует.
> — Вот этот — Дзержинский, вот — Сталин, вот — Куйбышев, Сокольников, Курский.
> Одним словом, почти весь тогдашний Совнарком без Ленина, Троцкого, Луначарского. Были еще Воронский, Д Бедный, П.С. Коган…
> Началось обсуждение прочитанного. На меня яро напали. Говорили, что я совершенно не понимаю смысла революции, рисую ее с обывательской точки зрения, нагромождаю непропорционально отрицательные явления и т.п.
> Каменев говорил:
> — Удивительное дело, как современные беллетристы любят изображать действия ЧК. Почему они не изображают подвигов на фронте Гражданской войны, строительства, а предпочитают лживые измышления о якобы зверствах ЧК?
> Раскатывали жестоко. Между прочим, Д. Бедный с насмешкой стал говорить о русской интеллигенции…
> Точно не помню, кто еще что говорил. Помню, еще очень сильно нападал профессор П.С. Коган. Говорили еще многие другие. Потом взял слово Сталин. Он в общем отнесся к роману одобрительно, сказал, что государственному издательству издавать такой роман, конечно, неудобно, но, вообще говоря, издать его следует.
>
> ***(В. Вересаев. Литературные портреты. М. 2000. Стр. 483.)***

Сталин явно бравирует тут широтой своего взгляда на дела литературные. И точно так же он явно бравирует своей начитанностью и широтой своих литературных вкусов, вставляя в рассуждения о ленинском стиле работы в одном случае — ссылку на рассказ Эренбурга, в другом — на рассказ Пильняка. И у того, и у другого репутация у ортодоксальных советских тогдашних (рапповских) литвождей была самая плохая.

Стимул, побудивший Сталина в своих лекциях «Об основах ленинизма» вдруг вспомнить малоизвестный эренбурговский рассказ, конечно, тоже представляет для нас некоторый интерес. Но еще интереснее то прочтение этого рассказа, которое демонстрирует нам в этом своем рассуждении Сталин:

> Русский революционный размах — это та живительная сила, которая будит мысль, двигает вперёд, ломает прошлое, даёт перспективу. Без него невозможно никакое движение вперёд.
> Но русский революционный размах имеет все шансы выродиться на практике в пустую «революционную» маниловщину… Примеров такого вырождения — хоть отбавляй.

Яркий пример такого вырождения русского революционного размаха в маниловщину будто бы и представил нам в своем рассказе Эренбург.

На самом деле же деле рассказ Эренбурга «Ускомчел» — совсем о другом.

Это бросается в глаза сразу, с первых его строк, с тех нескольких первых штрихов, какими писатель набрасывает беглый портрет героя этого своего рассказа:

> …посмотреть на него, скажешь «интеллигент», скорее всего саботажник. Одна бородка недосевная, в минуты патетические энергично выкручиваемая — чего стоит, честная народническая бородка, так и сочатся из нее «добродушие», этика, стихи Некрасова.

Как по-вашему, — похож этот персонаж на человека, одержимого русским революционным размахом?

Похож он скорее на другого героя того же Эренбурга— одного из учеников Хулио Хуренито Алексея Спиридоновича Тишина:

> Я оглянулся и увидел достаточно показательного русского интеллигента, с жидкой, как будто в год неурожая взошедшей бородкой…

Даже бородки у них одинаковые. У одного она — «недосевная», у другого — «взошедшая как будто в год неуро-жая».

Внешность, однако, в этом случае, как оказалось, была обманчива:

> …ибо хоть Возов и предпочитал в душе «музу гнева и печали», т.е. Некрасова в приложении к «Ниве», всем современным выкрутасам футуристическим, хоть и добродушен был до крайности,… хоть и без этики дня прожить не мог,… но при всем этом был Возов не эсером белотелым, а чистой крови коммунистом…

И не только коммунистом, но даже весьма ответственным работником. Чем именно он там у них, в Кремле, ведал, в рассказе не сказано. Сказано туманно, что «определенных функций не имел, а ум свой всеобъемлющий ко всякой диковине прикладывал».

Знакомимся же мы с Возовым в тот момент, когда он, «отделив свет от тьмы, творил, не мудрствуя, мир».

Шесть дней и шесть ночей, без сна и отдыха, рисовал он круги, треугольники и прочие схемы, которые вкупе должны были составить проект Усовершенствованного коммунистического человека. А на седьмой день, когда он, подобно Творцу всей нашей вселенной, опочил от трудов своих, —

> …увидел он напротив себя самого, тоже с бородкой и деловитого. Больше удивленный, нежели испуганный, и сходством разительным и появлением неожиданным в столь поздний час, Возов запросил субъекта:
> — Вы, товарищ, кто такой?
> Субъект же, сцапав мимоходом портфель со стола, ответил:
> — Я? Возов — ускомчел. А теперь мне пора по ниточке в следующий ромб переходить.

Далее события развиваются примерно так, как в андерсеновской «Тени». Тень Возова, — вернее, не тень, а материализовавшийся из нарисованных им кружков, ромбов и треугольничков искусственный его двойник начинает жить самостоятельной жизнью, постепенно опережая, оттесняя, отодвигая на обочину жизни своего создателя. Он успевает раньше него сделать какой-то важный доклад. Опережая его, является к любимой девушке Возова — Тане, пытаясь и тут занять место своего творца.

Тут, правда, он не преуспел, а если что у него и вышло, так только то, что он сумел вызвать у Тани искреннее отвращение к бывшему ее возлюбленному:

> — Таня, что с тобой? Иволга моя родненькая!..
> Но горько отстранилась Таня:
> — Зачем вы снова пришли?
> «Снова!» Страшное, не понимая еще, почувствовал Возов, в голове ветром закружились квадратики, кружки, тяжелый с замочком портфель.
> — Я теперь все поняла. Вам не нужна любовь, только разверстка зачатий, пробирки химические.
> Чужой вы мне…

И кончается рассказ тоже не по Андерсену.

Герой рассказа, как и хозяин андерсеновской тени, впадает в ничтожество и гибнет. Но созданный по его безумному проекту «ускомчел» не торжествует, а тоже гибнет вместе со своим создателем.

Но крах терпит не только проект Возова, породивший на свет недолговечного «ускомчела». Столь же очевидный и несомненый крах терпит и другой — большой — проект, созданный учителями и вдохновителями Возова:

> Но тогда началось самое ужасное. Огромные, стеклянные дома, бетонные городища, пружинистые люди, скакуны в квадратных рубахах, смешались с игуменьями, с кельями, с подворьями, с былой полнотелой, любодеянной, кровавой суетой. Люди мигом насиживали просторные квадратики, и становились они уютными, жаркими, смрадными, как монашьи норы… Новое было в явной стачке с прежним, так что стерлась между ними грань, и пошли безобразить у Чудова разновековые двойнички.

Эти огромные стекляннные дома и бетонные городища, эти просторные квадратики жилья напоминают незадолго до этого эренбурговского рассказа написанную антиутопию Е. Замятина — «Мы». С той, впрочем, весьма существенной разницей, что у Замятина «ускомчелы» торжествуют. И торжествует бездушный, механический мир победившей утопии, раздавливая в лепешку бунтующего живого человека. Эренбург же — бегло, несколькими штрихами, но достаточно убедительно — показал в этом маленьком своем рассказе всю беспочвенность, выморочность, обреченность коммунистической утопии.

Ничего этого Сталин в рассказе Эренбурга не прочел, не разглядел, не увидел. Для него этот рассказ — не более чем сатира «на болезнь «революционного» сочинительства и «революционного» планотворчества, имеющая своим источником «веру в силу декрета, могущего всё устроить и всё переделать».

Что же это? Какой-то органический дефект восприятия? Или правильно прочесть рассказ ему помешала неподлинность, несерьезность стимула, побудившего его обратиться к этому рассказу?

Но разве не с тем же явлением сталкиваемся мы, читая знаменитую статью Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции»?

Стимул, заставивший Ленина написать эту статью, был более чем серьезен. Строя свою идеологическую вселенную, Ленин не мог обойти Толстого. И эту гору, эту глыбу, стоящую на его пути, надо было как-то вписать в свою картину мира, приспособить к своим целям.

При всей разнице между Лениным и Сталиным, — не говоря уже о гигантской разнице между великими творениями Л.Н. Толстого и маленьким, между нами говоря, довольно слабеньким рассказом Эренбурга, — в самом подходе вождя мирового пролетариата и продолжателя его дела к истолкованию художественного текста мы видим нечто общее. Собственно, это один и тот же подход.

У Михаила Зощенко есть рассказ «В пушкинские дни». Герой этого рассказа — управдом — произносит речь о Пушкине, в которой он, между прочим, сообщает:

> …гипсовый бюст великого поэта установлен в конторе жакта, что, в свою очередь, пусть напоминает неаккуратным плательщикам о невзносе квартплаты.

Не очень ясно представляя себе, что такое Пушкин, зачем он нужен и почему вокруг его имени поднята вся эта шумиха (дело происходит в 1937 году, когда по всей стране, с огромным размахом отмечалось столетие со дня гибели Александра Сергеевича), он — весьма разумно — хочет использовать это непонятное явление в своих целях.

В сущности, именно так поступил Ленин с Л.Н. Толстым, а Сталин с рассказом Эренбурга.

Это тот самый подход, который в свое время отвратил Эренбурга от Троцкого: «Он говорил об искусстве как о второстепенном, подсобном». Именно это, как мы помним, было главным стимулом, заставившим молодого Эренбурга отойти от партийной работы.

В тот момент ему, вероятно, казалось, что он навсегда порывает и с политикой. Но уйти от политики, порвать свою связь с этой первой своей, «законной» женой ему, как мы знаем, не удалось.

Эту связь он сохранил до последнего дня своей долгой жизни.

* * *

Евгений Замятин свое письмо Сталину (июнь 1931 года), в котором просил разрешить ему покинуть СССР и уехать за границу, начал такой патетической фразой:

> …приговоренный к высшей мере наказания — автор настоящего письма — обращается к Вам с просьбой о замене этой меры другою.

Далее он объяснял, что для него, как для писателя, высшей мерой наказания, то есть смертным приговором, является невозможность писать и печататься.

Он ясно дал понять, что ни при каких обстоятельствах, никогда не примкнет к «лагерю реакции», то есть к литераторам-белоэмигрантам, с которыми у него нет и не может быть ничего общего. И даже намекнул, что и там, за гранили, хотел бы (и мог бы) остаться советским писателем:

> Илья Эренбург, оставаясь советским писателем, давно работает главным образом для европейской литературы — для переводов на иностранные языки: почему же то, что разрешено Эренбургу, не может быть разрешено и мне?
>
> ***(Е. Замятин. Сочинения. Том четвертый. Мюнхен. 1988. Стр. 314.)***

Один из биографов Эренбурга, процитировав эту замя-тинскую реплику, сделал к ней такое примечание:

> …не нужно преувеличивать независимость парижской жизни Эренбурга от советской метрополии. Чрезвычайно интересную подробность мы находим в письме Замятина к Сталину, где он просит отпустить его за границу на тех же условиях, что и Эренбурга. Можно только догадываться, что за этим стояло.
>
> ***(Борис Парамонов. «Портрет еврея: Эренбург».)***

О чем догадался Борис Парамонов, догадаться не трудно. Оставив эти догадки на его совести, отметим, однако, что даже в 20-е годы (о 30-х, когда Эренбург был парижским корреспондентом «Известий», и говорить нечего) положение Эренбурга, обретавшегося тогда в «мачехе Российских городов» (так Ходасевич назвал тогдашний Берлин), и в самом деле сильно отличалось от положения других «берлинских русских».

Вот как описывал эту его тогдашнюю жизнь Виктор Шкловский, живший в то время в том же Берлине:

> …весна.
> Из Prager Diele вынесут на улицу столики, и Илья Эренбург увидит небо.
> Илья Эренбург ходит по улицам Берлина, как ходил по Парижу и прочим городам, где есть эмигранты, согнувшись, как будто ищет на земле то, что потерял. Впрочем, это неверное сравнение — не согнуто тело в пояснице, а только нагнута голова и округлена спина. Серое пальто, кожаное кепи. Голова совсем молодая. У него три профессии: 1) курить трубку, 2) быть скептиком, сидеть в кафе и издавать «Вещь», 3) писать «Хулио Хуренито».

Последнее по времени «Хуренито» называется «Трест Д.Е.». От Эренбурга исходят лучи, лучи эти носят разные фамилии, примета у них та, что они курят трубки.
Лучи эти наполняют кафе.
В углу кафе сидит сам учитель и показывает искусство курить трубку, писать романы и принимать мир и мороженое со скептицизмом.
Природа щедро одарила Эренбурга — у него есть советский паспорт.
Живет он с этим паспортом за границей. И тысяча виз.

(Виктор Шкловский. Z00. Письма не о любви. Л. 1929. Стр. 105.)

Природа, как вы понимаете, тут ни при чем. Советским паспортом Эренбурга одарила не природа.

Легкая ирония Шкловского (в отличие от злой догадки Парамонова) безобидна. Но при этом чувствуется, что этот дар, полученный Эренбургом то ли за какие-то неведомые нам заслуги, то ли просто по прихоти судьбы, в глазах Шкловского имеет весьма большую ценность.

Еще бы! Ведь сам он, чтобы получить (точнее — вернуть себе) этот советский паспорт, должен был подписать *акт о безоговорочной капитуляции:*

ЗАЯВЛЕНИЕ В ВЦИК СССР
Я не могу жить в Берлине.
Всем бытом, всеми навыками я связан с сегодняшней Россией. Умею работать только для нее.
Неправильно, что я живу в Берлине… Я хочу в Россию…
Я поднимаю руку и сдаюсь.
Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж…
Не повторяйте одной старой Эрзерумской истории; при взятии этой крепости, друг мой Зданевич, ехал по дороге.
По обеим сторонам пути лежали зарубленные аскеры. У всех у них сабельные удары пришлись на правую руку и в голову.
Друг мой спросил:
— Почему у всех них удар пришелся в руку и голову?
Ему ответили:
— Очень просто, аскеры, сдаваясь, всегда поднимают правую руку.

(Там же. Стр. 119—120.)

Такой акт о безоговорочной капитуляции подписал каждый эмигрант, решивший вернуться на родину. Разумеется, не дословно такой же: каждый волен был выбрать свою форму. Но каждый заплатил за возвращение в СССР свою цену. А.Н. Толстой — одну. Андрей Белый — другую. Страшно расплатился за свой советский паспорт муж Цветаевой — Сергей Эфрон.

Счастливчик Эренбург, одаренный советским паспортом «от природы», ничего платить вроде был не должен. Но и он свою цену за него уплатил тоже.

* * *

Жизнь Эренбурга за границей в 20-е годы, хоть и с советским паспортом, была нелегка.

Чтобы не вдаваться в долгие объяснения, приведу одно (только одно) письмо Эренбурга Н.И. Бухарину:

Париж (в Москву) 15 апреля (1925)
Дорогой Николай Иванович,
не сердитесь прежде всего за мою «мертвую хватку». Монотонность моих писем диктуется монотонностью жизни. Я знаю, что я далеко не Пушкин, а вы — далеко-

далеко не Николай Павлович (не судите за каламбур!). И все же обстоятельства заставляют меня повторять исторические жесты.
Вам ли говорить, что Эренбург не эмигрант, не белый, не «пророк нэпа» и пр. и пр.? Если я живу в Париже и посещаю кафэ, то от этого не становлюсь ни Алексинским, ни Зинаидой Гиппиус. Местожительство не определяет, надеюсь, убеждений. Я работаю для Советской России, живу с ней, не в ней. И вот…
И вот… Слушайте. Нет в СССР собаки, которую бы не повесили (на) меня. Факты:
1) *Главлит запретил* переиздание *«Курбова»,* который вышел в 1923 г.
2) *Главлит запретил* переиздание *«Жанны* », которая вышла в 1924 г.
3) *Главлит не пропускает «Рвача»* (это мой новый роман).
Таким образом, меня не печатают, *механически ликвидируют* . Судите сами — справедливо ли это? Плоха ли, хороша ли «Жанна», другой вопрос — я пытался создать детективно-сентиментальный роман революции, один опыт из десяти других, но ведь в ней контрреволюции даже Лелевич не отыщет.
Значит, это мера, направленная *не против книги* , а вообще — *против меня* .
Я много думал и работал над «Рвачом». Это оборотная сторона нэпа. Не раз в книге я подчеркиваю, что это лишь оборотная сторона. Если я даю ее, а не лицевую, то потому, что я сатирик, а не одописец. Каждому свое. Но вся книга исходит *от октября* как зачина. Объективизм изложения не скрывает пристрастий автора. Я дал книгу в Госиздат. Ионов ее оплевал и прислал мне 2 строки: «Книга в пределах СССР выйти не может» (храню записку!). Теперь ее зарезал Главлит. Я не хотел давать книг частным и(здательст)вам. Но Госиздат меня не издает. А Главлит не разрешает частным и(здательст)вам печатать меня.
Я не имел никакого отношения к эмиграции. Меня хают здесь на каждом перекрестке. Это естественно. Но почему же меня хают в России? Я печатаю здесь 1000 штук «Рвача» на одолженные деньги с тем, чтобы послать книгу руководителям Эркапе и спросить — «почему вы это запрещаете?».
Зачем мне в таком случае писать? Для кого?..
Я очень прошу Вас сделать все возможное для снятия запрета на меня. Вы, кажется, читали «Жанну» и «Курбова» — Вы знаете, что это не «контрреволюция». Возьмите (скажите по телефону) в Главлите «Рвача» и вы убедитесь, как и почему это написано.
Вся моя надежда теперь на Вас.
Ответьте мне , дорогой Николай Иванович, обязательно, хоть два слова *по адресу парижского полпредства* . Если мои литдела устроятся, возможно, скоро увидимся, т.к. собираюсь летом или осенью в Сибирь. Продолжаю (хоть и натощак, хоть и зря) работать. Пишу рассказы о фашистах франц(узских) и итальянских.
Крепко жму Вашу руку.
Илья Эренбург
а) *«5 повестей»* (переиздание) *конфисковано.*
б) *Госиздат не переиздает* разошедшегося *«Хуренито».*
в) *Репком запретил «Киносеверу»* делать фильм по «Жанне».

(Илья Эренбург. Дай оглянуться… Письма. 1908— 1930. М. 2004. Стр. 422—424.)

В то время, когда писалось это письмо, Бухарин был еще в полной силе. Больше того! Это был пик, самая верхняя точка его политической карьеры. Триумвират (Сталин — Зиновьев — Каменев) уже распадался, и Николай Иванович по роли, которую он играл, по своему политическому значению практически был вторым человеком в тогдашнем советском руководстве. Но и тогда, в 1925 году помочь Оренбургу он уже ничем не мог. То есть не мог помочь ему выйти за пределы того заколдованного круга, в котором тот оказался.

Чтобы решить (решить кардинально) эренбурговские проблемы, о которых тот писал в этом своем письме, нужна была самая маленькая малость. Та самая, о которой говорил Остап Бендер монархисту Хворобьеву, страдавшему оттого, что ему постоянно снились советские сны:

— Главное — это устранить причину сна. Основной причиной является самое существование советской власти. Но в данный момент я устранить ее не могу. У меня просто нет времени.

Николай Иванович Бухарин не мог устранить причину, мешавшую Эренбургу печататься в СССР, не из-за недостатка времени: у него на то были совсем другие основания. Так обстояло дело в 1925 году.

В 1931-м, когда Замятин просил Сталина, чтобы тот предоставил ему статус, Эренбурга, дела обстояли еще хуже. Гораздо хуже.

> …в последние годы жизни Маяковского, когда не стало поэзии ничьей, ни его собственной, ни кого бы то ни было другого, когда повесился Есенин, когда, скажем проще, прекратилась литература…
>
> ***(Борис Пастернак. Люди и положения. Автобиографический очерк.)***

Литература, стало быть, прекратилась, когда Маяковский был еще жив. Самоубийство Маяковского подвело под минувшей эпохой, когда еще что-то было возможно, кровавую черту.

И Николай Иванович Бухарин в 1931 году был уже не тот что в 1925-м. Уже не член Политбюро и даже не член ЦК, а раскаявшийся лидер разгромленной правой оппозиции.

Правда, он еще оставался редактором «Известий». И единственное, что он мог сделать для своего бывшего товарища (когда-то они учились в одной гимназии, и это именно он, Бухарин, вовлек гимназиста Эренбурга в подпольную большевистскую организацию) — это предложить ему должность парижского корреспондента «Известий».

Благодаря этому своему официальному статусу Эренбург, продолжая жить в Париже, оставался советским человеком. Но — **не советским писателем** .

Он пытался обрести этот статус, сочиняя статьи и очерки, разоблачающие акул мирового империализма. (Они вошли в его книгу «Хроника наших дней». М. 1935.) Но это была дань его первой, нелюбимой жене, политике. А вторая жена — любимая! — тоже предъявляла свои права.

Так дальше продолжаться не могло. Надо было принять кардинальное решение. Может быть, самое трудное и самое важное в его жизни:

> В 1931 году я почувствовал, что я не в ладах с самим собой. Я задумался над недавним прошлым и, пока ночные грузовики грохотали, звенели, настойчиво спрашивал себя, как мне дальше жить…
>
> Я о многом думал по ночам: о гуманизме, о цели и средствах…
>
> Я не отказывался от того, что мне было дорого, ни от чего не отрекался, но знал: придется жить сжав зубы, научиться одной из самых трудных наук — молчанию. Критики, которые обо мне писали, указывали на 1933 год как на дату поворота: они знали книгу «День второй». А я знаю, почему я поехал в Кузнецк, — все было додумано в 1931 году, не перед котлованами строек, а на улице Котантен, под ночное звяканье бидонов…
>
> ***(Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Том первый. М. 1990. Стр. 542-544.)***

В переводе с туманного языка изящной словесности на грубый язык деловой прозы это означало примерно следующее.

Выбор у него был небольшой. Или становиться эмигрантом, отщепенцем, устраивать свою судьбу в Париже, около Гиппиус и Мережковского, только на неизмеримо более жалких ролях. Или не валять дурака, а становиться советским писателем — со всеми вытекающими из этого решения последствиями. То есть — перестать терзаться вечными проклятыми вопросами о цели и средствах (если средства преступны, значит, и с целью тоже не все ладно) и «научиться одной из самых трудных наук — молчанию».

* * *

Роман «День второй» сделал Эренбурга не просто советским писателем, но, как тогда говорили, одним из ведущих. В официозной истории советской литературы этот его роман стоит в одном ряду с такими классическими произведениями советской прозы 30-х годов, как «Соть» Леонида Леонова, «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян, «Цемент» и «Энергия» Федора Гладкова, «Время, вперед!» Валентина Катаева.

Если говорить о том, что критики называют авторской позицией, место в этом ряду эренбурговскому «Дню второму» принадлежит по праву. Но разница между этим его романом и всеми перечисленными выше сочинениями корифеев социалистического реализма не просто велика. Она — огромна. Отличается он от них одним: немыслимым, невозможным, недостижимым для них **уровнем правды.**

Все советские «производственные» романы — все до одного — были фальшивы. Попросту говоря — лживы.

Роман Эренбурга был обнаженно правдив.

Конечно, и он отдал дань официальной концепции сталинской индустриализации страны. (Куда же без этого!) Роман называется «День второй». И эпиграф к нему — из Книги Бытия:

> Да будет твердь среди воды.
> И стало так. И был вечер,
> и было утро, день второй.

Это означало, что новый прекрасный мир только создается, что мы в самом начале этого пути. За «днем вторым» последует «день третий», а затем — четвертый, и пятый, и шестой. И если не мы, то потомки наши увидят небо в алмазах. И скажут, как сказал Господь, довольный результатами своих трудов, что все сделанное — «хорошо весьма».

Да, с концепцией в этом его романе все было в порядке. Но…

Сам он в своих воспоминаниях написал, что увиденное им в Кузнецке вызвало у него ужас и восхищение. Наверно, было и восхищение. Быть может, внушенное извне или самому себе внушаемое, но — искреннее. Но ужас, испытанный им, уж точно был искренним, неподдельным. И то, что его ужаснуло в увиденных им картинах Кузнецкстроя, он от читателя не утаил, не оставил в своих блокнотах и записных книжках, честно вынес на страницы романа:

> У людей были воля и отчаянье — они выдержали. Звери отступили. Лошади тяжело дышали, забираясь в прожорливую глину; они потели злым потом и падали. Десятник Скворцов привез сюда легавого кобеля. Кобель тщетно нюхал землю. По ночам кобель выл от голода и от тоски. Он садился возле барака и, томительно позевывая, начинал выть. Люди не просыпались: они спали сном праведника и камней. Кобель скоро сдох. Крысы попытались пристроиться, но и крысы не выдержали суровой жизни. Только насекомые не изменили человеку. Они шли с ним и в тайгу. Густыми ордами двигались вши, бодро неслись блохи, ползли деловитые клопы. Таракан, догадавшись, что не найти ему здесь иного прокорма, начал кусать человека…
>
> В бараке № 28, как и в других бараках, люди выкидывали из тюфяков сено и забирались в полосатые мешки. Начесанные бока горели.
>
> Но люди не звери: они умели жить молча. Днем они рыли землю или клали кирпичи. Ночью они спали.

Такой вот мелодией начинался этот роман. И эта мелодия, то становясь громче и заглушая все другие, то затихая, но не умолкая ни на минуту, звучит на протяжении всей этой страшной книги:

> День и ночь рабочие строили бараки, но бараков не хватало. Семьи спали на одной койке. Люди чесались, обнимались и плодились в темноте. Они развешивали вокруг коек трухлявое зловонное тряпье, пытались оградить свои ночи от чужих глаз, и бараки казались одним громадным табором. Те, что не попадали в бараки, рыли землянки. Человек приходил на стройку, и тотчас же, как зверь, он начинал рыть нору. Он спешил — перед ним была лютая сибирская земля, и он знал, что против этой зимы бессильны и овчина, и вера. Земля покрылась волдырями: это были сотни землянок.
>
> У строителей были лихорадочные глаза от бессонных ночей. Они сдирали с рук лохмотья отмороженной кожи. Даже в июле землекопы нападали на промерзшую землю. Люди теряли голос, слух и силы.
> По привычке в душной темноте бараков строители еще обнимали женщин. Женщины беременели, – рожали и кормили грудью. Но среди грохота экскаваторов, кранов и лебедок не было слышно ни поцелуев, ни воплей рожениц, ни детского смеха.
>
> Зимой на стройке любовь была бессловесной и тяжелой. Ванька Мятлев привел как-то в барак смешливую Нюту. Нюта не смеялась. Она робко глядела на спящих людей. Сосед Ваньки, рыжий Камков, не спал. Он почесывал голый живот и сквернословил. Ванька боялся, что Нюта уйдет, и шепотом приговаривал: «Только на четверть часика!» Потом Ванька прикрыл их головы пиджаком. Они не могли запрятать свою любовь от людей, но они прятали свои глаза. Ванька сказал: «А теперь тебе пора домой!» Нюта закуталась в овчину и убежала. На постройке ГРЭСа, возле чадных жаровен, по ночам скрещивались руки, спецовки, юбки и сапоги. Люди любили жадно и молча. Вокруг них была жестокая зима.

Забегая слегка вперед, не могу не привести тут хоть несколько строк из критического отклика на этот эренбурговский роман, появившегося 18 мая 1934 года на страницах «Литературной газеты»:

> В романе И. Эренбурга люди потерялись в хаосе новостройки, они заблудились в канавах, экскаваторах и кранах. Такая странная вещь в романе приключилась не только с «отрицательными» типами, но и «положительными». А это уже клевета… Можно без труда доказать, что это произведение является апологией австро-марксистской брехни о «пятилетке, построенной на костях ударников».
>
> ***(А. Гарри. «Жертвы хаоса». «Литературная газета», 18 мая 1934 г.)***

Обвинение в клевете теперь уже можно легко оспорить. Вероятно, автор романа не согласился бы и с тем, что его роман «является апологией австро-марксистской» точки зрения на сталинские методы индустриализации страны. Но то, что металлургический гигант в романе Эренбурга возводится «на костях ударников» (и не только ударников), и в самом деле можно доказать без труда.

Недаром Бабель, читавший роман в рукописи, дочитав очередную порцию, как рассказывает об этом Эренбург в своих мемуарах, то и дело повторял: «Ну, если напечатают, это будет чудо…»

Чудо, однако, произошло.

Природу этого чуда Эренбург — в тех же своих мемуарах — объяснил так:

> В тридцатые — сороковые годы судьба книги порой зависела от случайности, от мнения одного человека. Это было лотереей, и мне повезло — несколько месяцев

> спустя я получил длинную телеграмму от издательства: высылают договор, поздравляют, благодарят.
>
> ***(Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Том первый. М. 1990. Стр. 562.)***

Надо ли гадать, кто был тот «один человек», мнение которого решило судьбу эренбурговского романа. Но в этом своем довольно-таки уклончивом объяснении Эренбург слегка лукавит. Ему действительно повезло. Но основой этого его везения был не случайный выигрыш в лотерее, а удачный, я бы даже сказал, хорошо рассчитанный — хоть и рискованный — шахматный ход.

Закончив роман, 11 марта 1933 года Эренбург дипломатической почтой отправил рукопись — единственный беловой экземпляр — С. И. Гусеву, которого, видимо, по старой памяти числил заведующим отделом печати ЦК ВКП(б), кем тот в это время уже не был. Сергей Иванович Гусев (это была прочно прилепившаяся к нему партийная кличка: настоящее его имя было — Яков Давидович Драбкин) был старым большевиком, в далеком прошлом членом «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», Так что партийный его стаж исчислялся с 1896 года. Таких реликтовых фигур в то время в живых оставалось уже немного, — всех их можно было пересчитать по пальцам, — и дни Сергея Ивановича тоже были уже сочтены. Как раз в это самое время Сталин отправил его в Казахстан. Возвратившись откуда в Москву, он вскоре умер. Похоронили его (замуровали прах) в Кремлевской стене, что, впрочем, потом не помешало загнать его дочь — знаменитую впоследствии мемуаристку Лизу Драбкину на семнадцать лет в лагеря.

Сталин Гусева терпеть не мог. Во-первых, потому что тот был одно время близок с Зиновьевым (исполнял обязанности управляющего делами Северной Коммуны, когда Зиновьев был ее главой). А во-вторых, потому что он был каким-то боком причастен к скандалу вокруг «Повести непогашенной луны» Пильняка.

Эренбург всего этого не знал.

Так или иначе, рукопись его романа к Гусеву не попала. Наркоминдельцы переправили ее в издательство «Советская литература». Кстати сказать, даже не распечатав полученный для передачи Гусеву пакет, работники издательства вполне могли отправить этот пакет в том же нераспечатанном виде в редакционную корзину. Но Эренбург как-никак был специальным корреспондентом «Известий», имя его появлялось на страницах этого советского официоза постоянно. Как автору романа это ему, впрочем, не помогло. Прочитав рукопись, сотрудники издательства вернули ее дочери Ильи Григорьевича Ирине, сказав ей: «Передайте вашему отцу, что он написал плохую и вредную вещь». Отказались печатать роман (даже отрывки из него) и другие редакции — «Молодая гвардия», «Литературная газета». И тогда…

Но тут я опять предоставляю слово самому Эренбургу:

> Я решился на отчаянный поступок: напечатал в Париже несколько сот нумерованных экземпляров и послал книги в Москву — членам Политбюро, редакторам газет и журналов, писателям.
>
> ***(Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Том первый. М. 1990. Стр. 562.)***

Вячеслав Попов и Борис Фрезинский, авторы «Хроники жизни и творчества Ильи Эренбурга в документах, письмах, высказываниях и сообщениях прессы, свидетельствах современников», в третьем томе этого уникального издания сообщают:

> Составителям известны следующие экземпляры книги:
> № 1. Экземпляр автора…
> № 2. Экземпляр И.В. Сталина…
> № 9. Экземпляр О.Г. и А.Я. Савичей («Дорогим кроликам Саве и Але с любовью. Илья Эренбург: 13/5 1933»)…
> № 13 Экземпляр В.Г. Лидина («Владимиру Германовичу Лидину с любовью Илья Эренбург»)…

№ 33. Экземпляр С.С. Прокофьева («Сергею Прокофьеву дружески. Илья Эренбург. 1933. Париж»)…
№ 400. Экземпляр Е.П. Петрова («Евгению Петровичу Петрову дружески Илья Эренбург»)…
В «Каталоге библиотеки А.М. Горького» (М., 1981) не указан номер экземпляра, подаренного Горькому, но приведен автограф «А.М. Горькому с уважением И. Эренбург: 34, rue Cotanten, Paris»

(Вячеслав Попов, Борис Фрезинский. Илья Эренбург в 1932—1935 годы. СПб. 2001. Стр. 61.)

Итак, отпечатано и разослано было не меньше четырехсот экземпляров. Но судьбу книги, как уже было сказано, решил один человек. И этим «одним человеком» был, разумеется, не обладатель 13-го экземпляра Владимир Германович Лидин, и не обладатель 33-го Сергей Сергеевич Прокофьев, и не обладатель 400-го Евгений Петрович Петров, и даже не Алексей Максимович Горький, а тот, кому изначально предназначался первый из этих нумерованных экземпляров (номинально — второй, поскольку № 1-й автор оставил себе), — Иосиф Виссарионович Сталин.

* * *

30 августа 1934 года Жданов и Каганович отправили Сталину (в Сочи, где он тогда отдыхал) намеченный ими список Правления Союза писателей и состав Президиума.

Фамилия Эренбурга значилась во второй части списка — среди членов Пленума, которых вводить в состав Президиума не предполагалось.

Сталин список в целом утвердил, но в ответном письме (он ответил Кагановичу и Жданову в тот же день) внес в него небольшие коррективы:

СТАЛИН — КАГАНОВИЧУ, ЖДАНОВУ
30 августа 1934 г.
Секретарем правления Союза писателей можно наметить либо Угарова, либо Щербакова… Состав президиума нужно пополнить Каменевым, Демьяном, Юдиным, Эренбургом.

(Сталин и Каганович. Переписка. 1931—1936 гг. М. 2001. Стр. 465.)

В составе членов Пленума, не вошедших в состав Президиума, были — Николай Асеев, Демьян Бедный, Безы-менский, Новиков-Прибой, Пастернак, Шагинян, Вересаев, Маршак, Леонид Соболев, Всеволод Вишневский, Погодин, Тренев, Янко Купала, Павло Тычина, Лахути, Самед Вургун. Тут и будущие лауреаты, и будущие секретари ССП, и делавший на том съезде — сразу после доклада Горького — содоклад о детской литературе С.Я. Маршак. Но ввести в Президиум из всего этого списка Сталин предложил только двоих: Демьяна Бедного и Эренбурга. (Каменев и Юдин не в счет, это — партийные функционеры, а не писатели.)

Демьян, каково бы ни было в тот момент отношение к нему Сталина, оставался культовой фигурой, не только живым классиком, но и символом высших достижений революционной (недавно еще — пролетарской) поэзии. Эренбург же был человек в этой иерархии совсем новый. Никогда прежде он в нее не входил.

Что же побудило Сталина вдруг выдвинуть его в ранг, как потом стали их называть, **колонновожатых** ? Неужели так уж пришелся ему по сердцу только что одобренный им (лучше сказать — разрешенный) роман Эренбурга «День второй»?

Маловероятно.

Естественнее предположить, что причиной этого внезапного возвышения Эренбурга стало его обращение к Сталину с предложением распустить МОРП («Международное объединение революционных писателей») и создать вместо этой узкосектантской

(рапповского толка) организации — более широкую и влиятельную, объединяющую всех крупных зарубежных писателей-антифашистов.

Но эта догадка сразу же рушится, поскольку ввести Эренбурга в президиум ССП Сталин распорядился 30 августа, а письмо Эренбурга Сталину с этими его предложениями было написано две недели спустя — 13 сентября.

Тем не менее, с ходу отбрасывать это предположение все-таки не стоит.

Внятно сформулировал эти свои идеи Эренбург действительно только через две недели после окончания писательского съезда. Но в общей форме они, я думаю, и раньше были доложены Сталину.

Доложены, надо полагать, Бухариным.

Бухарин — и раньше, и потом — к своим письмам Сталину, начинавшимся неизменным обращением «Дорогой Коба», имел обыкновение прилагать некоторые письма Эренбурга, адресованные ему, но могущие представлять интерес и для «дорогого Кобы».

К этому не мешает добавить, что письмо Эренбурга Сталину с предложением распустить МОРП отправлено было из Одессы, где в то время был и Бухарин. Там они с Николаем Ивановичем вдвоем, надо полагать, и обсудили эту эренбурговскую идею. Бухарин ее одобрил и посоветовал Илье Григорьевичу изложить ее Сталину.

Сталин на эренбурговское письмо отреагировал мгновенно:

> СТАЛИН — КАГАНОВИЧУ
> *23 сентября 1934 г.*
> 1) Прочтите письмо т. Эренбурга. Он прав. Надо ликвидировать традиции РАПП в МОРПе. Это необходимо. Возьмитесь за это дело вместе со Ждановым. Хорошо бы расширить рамки МОРП а) борьба с фашизмом, б) активная защита СССР) и *поставить во главе МОРПа* т. Эренбурга. Это большое дело. Обратите на это внимание.
> *(Сталин и Каганович. Переписка. Стр. 493.)*

Каганович, разумеется, эту инициативу Сталина горячо поддержал и тотчас принял ее к исполнению:

> КАГАНОВИЧ — СТАЛИНУ
> *28 сентября 1934 г.*
> Строго секретно.
> Сочи. Сталину.
> Целиком согласен с Вашим предложением о МОРП и Эренбурге. Сейчас Жданова нет, он в Ставрополе. Когда он приедет, мы это проведем.
> *(Там же. Стр. 501—502.)*

Не прошло и недели, и Каганович уже докладывает Сталину, что дело двинулось:

> КАГАНОВИЧ — СТАЛИНУ
> *3 октября 1994 г.*
> Здравствуйте, Дорогой т. Сталин!
> 1. Вызывали мы представителей Международного объединения революционных писателей. Сейчас они подготовят проект постановления президиума, в котором они должны будут признать, что элементы рапповщины у них имеются и что они этим затормозили привлечение более широких кругов писателей, стоящих на позиции борьбы с фашизмом, войной и за защиту Советского Союза. И из беседы с ними видно, как своевременно Ваше предложение.
> В их постановлении должно быть сформулировано прямо о ликвидации МОРПа.
> Одновременно готовятся проекты выступления советской делегации, французской и американской с предложением ликвидировать МОРП и собрать совещание, лучше бы всего в Париже, где бы присутствовали и такие писатели, о которых пишет Эренбург. На таком совещании можно было бы создать Оргкомитет по

созыву конференции или съезда писателей, стоящих на позициях борьбы с фашизмом, войной и за защиту СССР. Все это неоформленные нигде проекты, которые как только будут готовы, будут посланы Вам или выждут в Москве до совместного с Вами обсуждения.

(Там же.Стр.508—509.)

Проект был серьезный, и Эренбургу в его реализации отводилась едва ли не главная роль. Не только потому, что он был инициатором, можно даже сказать, автором этого проекта.

Роль Горького, как главного вербовщика друзей Советского Союза на Западе, была к этому времени уже практически исчерпана. Он сохранил связи лишь с некоторыми корифеями культурного и интеллектуального европейского истеблишмента (Ролланом, Уэллсом, Жидом). А для осуществления нового сталинского проекта, подсказанного Эренбургом, нужно было налаживать связи с западными писателями новой генерации, с которыми у Горького контактов не было. Лучшей кандидатуры на эту роль, чем Эренбург, Сталину было не найти. Он подходил по всем статьям: жил в Париже (в отличие от Горького, который в это время уже прочно осел в Союзе и практически был «невыездной»), имел обширные европейские связи и, наконец, последнее, самое важное, — был вполне управляем, сохраняя при этом видимость «беспартийности» и даже некоторой независимости.

В ноябре 1934 года в Париже советский посол передал Эренбургу, что Сталин намерен лично обсудить с ним весь круг вопросов, поднятых в его письме. Но когда Эренбург — в том же месяце — приехал в Москву, намеченная встреча его со Сталиным не состоялась.

Видимо, Сталин, после бесед с писавшим о нем книгу А. Барбюсом (он прибыл в Москву 22 сентября), решил, распустив МОРП, поставить во главе новой организации писателей не И.Э., а Барбюса.

А.И. Стецкий, сообщив И.Э., что намеченная встреча со Сталиным не состоится, предложил надиктовать стенографистке все его соображения о перестройке МОРП, что и было сделано.

(Комментарий Б. Фрезинского. В кн.: Илья Эренбург. На цоколе истории. Письма. 1931—1967. М. 2004. Стр. 137-138.)

Решение Сталина поставить во главе новой организации писателей не Эренбурга, а Барбюса было не лишено смысла. «Для пользы дела» Эренбургу лучше было не засвечиваться, а играть свою (как предполагалось и раньше, ключевую) роль в реализации проекта, оставаясь за кулисами и лишь изредка появляясь на сцене. А для Эренбурга, для его будущей судьбы это сталинское решение было истинным благом. Возглавив не только по существу, но и формально эту новую организацию прогрессивных писателей Запада, он неизбежно превратился бы в партийного (или беспартийного) функционера. И тогда — не сносить бы ему головы, как не сносили ее Михаил Кольцов, Бруно Ясенский и многие другие верные сталинские клевреты.

Ну, а что касается знаменитого международного конгресса писателей в защиту культуры, проходившего в Париже 21—25 июня 1935 года (в нем приняли участие 230 писателей из 35 стран), то он был в полном смысле этого слова детищем Эренбурга. Хотя, как это часто бывает с выросшими детьми, доставил своему «родителю» много горестей, разочарований и разных других отрицательных эмоций.

Сохранилось письмо Эренбурга Бухарину, — не личное письмо, написанное по личным поводам, а скорее официальный документ, что-то вроде доклада, сообщения, донесения, не лишенного, впрочем, и откровенных личных просьб и признаний.

Письмо это показалось Бухарину содержащим столь важную информацию, что он счел нужным переслать его Сталину. (На что автор послания, может быть, и не рассчитывал.)

Начиналось оно без обращения, что уже само по себе подчеркивало, с одной стороны, официальный его характер, а с другой — выдавало скопившееся в душе автора раздражение:

> Вы были до некоторой степени свидетелем того, как этот конгресс родился. Частично Вы толкнули меня на это дело. Прибегаю к Вашей помощи: Вы втащили, помогите выйти. Вы наверно знаете, с какими трудностями собрался этот конгресс. Барбюс писал мне письма, обвиняя в «саботаже, измене» и пр. Конгресс родился буквально у меня на квартире, где собирался десяток французских и немецких писателей, его подготовивших. Я хотел расширить рамки, избегать морповских «земляков». Меня обвиняли в том, что я «интригую» и пр. Москва, несмотря на мои вопросы, молчала. Я все же продолжал работу, хотя для меня этот конгресс был бедствием. Я считал своим долгом довести его до конца. Еще накануне за два дня до открытия съезда мне приходилось уговаривать Жида и др., которые в последнюю минуту хотели отказаться. Во время съезда должен был опять-таки удерживать его, да и некоторых других французских писателей, нам дружественных, от прямого или косвенного выступления против нас.
>
> ***(Эренбург — Бухарину о Парижском конгрессе в защиту культуры.Большая цензура. М. 2005. Стр. 382.)***

И дальше — на протяжении всего письма — такие же отчаянные жалобы на то, как мешали ему вести его тонкую, сложную работу, как тупо, топорно, неуклюже действовали официальные советские организаторы конгресса, каким бездарным, только вредившим делу был состав советской делегации.

Делегация состояла из десяти человек. Писателей, известных на Западе, из них было только два — А.Н. Толстой и Всеволод Иванов. (Не считая самого Эренбурга, который для собравшихся был, как он сам себя аттестовал, — «полупарижанин».) Из остальных разве что только имя Михаила Кольцова было кое-кому известно. (Да и то как журналиста, а не писателя.)

Никто из западных участников конгресса понятия не имел, кто такие — Анна Караваева, Киршон, Панферов, Тихонов, Луппол, Щербаков. Двое последних не то что на Западе, но и в Советском Союзе как писатели были неизвестны. Да они и не были писателями. Литературовед и историк Иван Капитонович Луппол в то время был директором Института мировой литературы им. Горького. Александр Сергеевич Щербаков — партийный функционер, в недалеком будущем весьма видный. Но для западных интеллектуалов, что называется, — «пусто-пусто».

Как видно из этого списка, делегация составлялась из персон, удельный вес которых определялся тем местом, которое каждый из ее членов занимал в официальной советской табели о рангах. Не только «гамбургский счет», но и просто степень известности данного лица в расчет не принимались.

Поначалу предполагалось, что в составе делегации будут Горький и Шолохов. Но они (по разным причинам) в Париж не приехали. Лишь в последний день заседания конгресса эту тупую ситуацию слегка изменило появление Бабеля и Пастернака. (О том, как и почему они там появились, — чуть позже.)

Сталин, как мы знаем, идею Эренбурга создать вместо сектантского, рапповского МОРПа широкий фронт писателей-антифашистов — понял и оценил. Конгрессу, на который отправлялась эта делегация, он придавал исключительно важное значение. Когда ему сообщили, что западные участники конгресса недоумевают, почему среди членов советской делегации нет Пастернака, он распорядился немедленно отправить «небожителя» в Париж. И распоряжение это было дано в форме прямо-таки военного приказа:

> …К нам на дачу приехали из Союза писателей просить Бориса Леонидовича срочно выехать на конгресс. Он был болен и наотрез отказался, но отказ не приняли и продолжали настаивать на поездке. Пришлось ехать в Москву, чтобы позвонить секретарю Сталина Поскребышеву и просить освобождения от поездки. При этом телефонном разговоре я присутствовала. Борис Леонидович отговаривался болезнью, заявил, что ехать не может и не поедет ни за что. На это Поскребышев сказал: «А если бы была война и вас призвали — вы пошли бы?» — «Да, пошел

> бы». — «Считайте, что вас призвали»… На другой день после разговора с Поскребышевым, почему-то ночью, за Борисом Леонидовичем в Загорянку пришла машина. Мне не позволили его проводить, я волновалась, объясняла, что он болен и его нельзя отпускать одного. Мне отвечали, что его везут одеваться в ателье, где ему подготовили новый костюм, пальто и шляпу… Это было неудивительно: в том виде в котором ходил Борис Леонидович, являться в Париж было нельзя.
>
> ***(З.Н. Пастернак. Воспоминания. В кн.: Борис Пастернак. Второе рождение. М. 1993. Стр. 281—282.)***

Таким же спешным порядком был отправлен в Париж и нелюбимый Сталиным Бабель.

Все это говорит о том, что Сталин был крайне заинтересован в том, чтобы советские писатели, приехавшие на конгресс, произвели на своих европейских коллег должное впечатление. То есть чтобы делегация советских писателей на этом конгрессе состояла из людей известных и влиятельных. А состав этой делегации он, надо полагать (такой уж у него был обычай), не только утверждал, но и формировал сам, лично. Как же он мог, если даже и не составить, то хоть утвердить делегацию, на 80% состоящую из безликих номенклатурных фишек?

Чтобы ответить на этот вопрос, мне придется сделать небольшое отступление в год 1920-й.

В том году В.Д. Бонч-Бруевич принял решение выселить К.С. Станиславского из его родового особняка, поскольку особняк этот ему (Бончу) понадобился для кремлевской автобазы. Луначарский написал по этому поводу Ленину душераздирающее письмо, в котором объяснял, кто такой Станиславский, и умолял дать возможность великому режиссеру закончить свои дни в его родовом особняке. Ленин сперва склонен был пойти в этом вопросе Луначарскому навстречу. Но Бонч заупрямился. Вопрос СЕМЬ РАЗ обсуждался на заседаниях Малого Совнаркома. Чаша весов склонялась то в сторону Луначарского, то в сторону Бонча. Наконец было принято постановление:

1. Решение о выселении Станиславского из его особняка утвердить.

2. Учитывая роль и значение Станиславского в искусстве, предоставить ему помещение таких же размеров и такого же качества

Ленин это постановление подписал, и Станиславский был переселен в тот дом в Леонтьевском переулке, где и прожил до конца своих дней.

Решение, согласитесь, совершенно идиотское. Не проще и не разумнее ли было подыскать и реквизировать для автобазы Кремля какой-нибудь другой дом? Но Ленину эта простая мысль почему-то в голову не пришла. А ведь он, как к нему ни относись, идиотом все-таки не был. И все невыгоды (моральные, политические) такого идиотского решения не мог не сознавать.

Почему же он его принял?

А потому, что он уже был заложником им самим созданной системы. Система же диктовала свои жесткие условия: Станиславского обижать было нельзя, но и Бончу отказать в его притязаниях тоже было уже невозможно.

Вот так же и Сталин, составляя (утверждая) список правления и президиума Союза писателей, по одним соображениям распорядился ввести в него Эренбурга, по другим — Демьяна Бедного, по третьим — Юдина, по четвертым — Каменева. (Каменева он терпеть не мог, но на его кандидатуре настаивал Горький, который в тот момент ему был еще нужен.)

Так же был сформирован и состав советской делегации на Парижском конгрессе. По одним соображениям в нее надо было включить Анну Караваеву, по другим — Киршона, по третьим Панферова. А когда Андре Жид собрался идти в советское посольство, чтобы уговаривать посла (Потемкина) пополнить делегацию Бабелем и Пастернаком, Сталин тут же скомандовал срочно отправить в Париж обоих. Болен — не болен, какая разница. На войне как на войне. «Считайте, что вас призвали».

Эренбург в этом механизме принятия сталинских решений тогда еще не разбирался. Он искренне считал, что этот неудачный состав делегации — плод чьей-то (отнюдь не сталинской) некомпетентности. Посоветовались бы с ним, все было бы иначе.

> …Будь Бабель здесь — с его знанием языка и толковостью — с первого дня, можно было бы выпустить совделегата с полемикой, тогда как остальные ограничивались только чтением по бумажке. Если брать таких людей, как Жид, Мальро и пр., то присутствие Бабеля, Пастернака, Тынянова, Федина, Шолохова могло бы с первого дня поставить нашу делегацию в иное, куда более выгодное положение… Доклады были канцелярские — не чувствовалось в них за редкими исключениями, что их писали писатели. Всеволоду Иванову предложили прочесть доклад о том, сколько у нас писатели зарабатывают, чем вызвали неприятное изумление конгресса и принизили авторитет этого хорошего писателя… Было много и чудовищного… Андре Жид, Мальро и др. не раз говорили: «Мы защищаем советскую культуру, а потом ваши товарищи выходят и наглядно опровергают то, что мы говорим»…
> Дело очень серьезно: поскольку мы заинтересованы в симпатиях французской интеллигенции, мы не должны оттолкнуть от себя Жида, Мальро, Геено… Я никого лично не обвиняю, да и глупо обвинять людей, которые сами хорошо не понимали, перед кем они должны говорить, как говорить, о чем. Я только думаю, что, взвалив на меня огромную часть дела созыва конгресса, можно было бы проявить доверие ко мне и хотя бы мимоходом спросить моего совета о составе нашей делегации и о характере наших выступлений с точки зрения наибольшей эффективности этого у Запада. Этого никто не сделал. Не подумайте, что речь идет о самолюбии, просто обидно за наше общее дело.
>
> ***(Эренбург — Бухарину о Парижском конгрессе в защиту культуры. Большая цензура. Стр. 382-384.)***

Эти жалобы время от времени перемежаются более или менее оптимистическими утверждениями, что конгресс, в общем, удался. Конечно, все могло получиться гораздо лучше, но и так тоже вышло неплохо. Но этот сдержанный оптимизм тут же заглушают новые стоны, новые жалобы. А кончается письмо вполне ясно выраженным желанием выйти из этой сомнительной и малопродуктивной игры:

> Во время конгресса моя роль была успокаивать французов и сглаживать наши «гаффы» — роль достаточно неблагодарная. Как и раньше, со мной не советовались: мне объявляли. Все это в порядке вещей, так как я — беспартийный, никакого поста не занимаю, просто писатель Эренбург. Но сейчас я ставлю вопрос о дальнейшем. Меня выбрали в секретариат организации вместе с Кольцовым. Значит, мне придется опять-таки уговаривать французов мириться с нашими своеобразностями (что хорошо) и несообразностями (что хуже). На первом же заседании секретариата наши делегаты выступили с предложениями, о которых я не знал. В Москве, может быть, это и привычно, а главное, там все люди свои и сходит все с рук. Здесь это невозможно. Вы знаете, как я попал во всю эту перепалку, помогите мне высвободиться. Я не считаю, что моя работа в таких условиях может быть продуктивной. Это просто меня изведет, а пользы даст весьма мало… Во всяком случае, Вы должны помочь мне освободиться от этой «работы», которая при таких условиях не может дать никаких положительных результатов, а меня может доконать. Я жду Вашего скорого и подробного ответа на это письмо: о моей роли в секретариате Международной организации писателей.
>
> ***(Там же. Стр. 384.)***

Я уже упоминал, что Бухарин счел нужным переслать эренбурговское письмо Сталину. При этом я заметил, сам автор письма на такой поворот дела вряд ли рассчитывал. Теперь, внимательно перечитав этот последний, заключительный абзац (особенно вот эту фразу: «Вы знаете, как я попал во всю эту перепалку, помогите мне высвободиться»), я подумал: а что, если он именно на это как раз и рассчитывал? И именно к «Хозяину», а не к «Бухарчику»

обращал этот свой вопрос о том, стоит ли ему оставаться в секретариате Международной писательской организации?

Может быть, втайне даже надеялся, что вождь скажет: «Нет-нет, пусть не уходит. Учтем его пожелания и в дальнейшем будем более внимательно прислушиваться к его мнению».

Ну, а если вождь решит иначе, — ладно, мол, пусть занимается своим писательством и не лезет в политику, не годится он для этого дела! — что ж, может быть, это будет даже и к лучшему. Может быть, и в самом деле пора уже ему перестать быть «двоеженцем», навсегда вернуться к главной, любимой своей жене — литературе.

Все это, конечно, только предположения, догадки. Но мысль об «отставке» ему в голову, безусловно, приходила. Об этом свидетельствует еще один его шаг… Шаг не шаг, но, во всяком случае, — некое движение в этом направлении.

Движению этому предшествовал еще один эпизод. Еще одна, новая его обида.

* * *

Еще одним организатором Парижского конгресса был Михаил Кольцов. На нем как раз лежала именно организационная, то есть практическая сторона дела.

За месяц-полтора до начала конгресса, в мае 1935 года он послал Щербакову инструкцию по подготовке и отправке на конгресс советской делегации. Инструкция эта была обозначена пометкой: «Только лично» — и такой предупреждающей фразой: «Внимание: важна каждая деталь».

Хоть тут и впрямь важна каждая деталь, я приведу из этой подробной, обстоятельной инструкции только несколько пунктов:

> 1) ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ. Ориентировочный размер для докладов — 10—12 страниц на машинке. Для выступлений — 6—8 страниц. Перевод тщательно отредактировать, особенно французский (воспользоваться помощью литредакторов из «Журналь де Моску»). Размножить (ротатор, хорошая бумага)…
> 4) ЭКИПИРОВКА. Для экономии валюты сшить всем едущим в Москве по 1 летнему пальто, серому костюму за счет Союза… Не шить всем из одной материи!!
> 5) ПРОЕЗД Разбиться на две-три группы, с маршрутами: а) морем из Ленинграда или Гельсингфорса на Дюнкирхен или Амстердам, б) через Польшу — Германию (кратчайший путь), в) через Вену — Базель. Прибытие групп в Париж — не в один день (желательные даты я сообщу)…
> 7) ДЕНЬГИ. Каждому из делегатов выдать при отъезде по сто рублей, предупредив, что это аванс в счет суточных. Остальные деньги взять чеком на Париж.
> 8) СВЯЗЬ, а) Диппочта (следить за сроками ее отправки), б) шифр — через «Правду», Мехлиса. г) Телефон — вызывать меня из Москвы, по номеру в часы, какие укажу. Условные обозначения в разговоре: Горький — Анатолий, Барбюс — Андрей, Эренбург — Валентина.
>
> ***(Борис Фрезинский. Великая иллюзия — Париж, 1935. Материалы к истории Международного конгресса писателей в защиту культуры. Минувшее. Исторический альманах. 24. М. — СПб. 1998. Стр. 188—189.)***

Все учел предусмотрительный Кольцов. Пароли, шифры, явки, адреса, деньги. Предупредил даже, чтобы костюмы шили не из одной материи, а делегаты прибыли в Париж разными маршрутами, из разных мест и не в один день. И тем не менее… Представьте, какими глазами глядели писатели Запада на этот высадившийся в Париже десант, на эту зондеркоманду в одинаковых летних пальто и серых костюмах, с одинаковыми речами и докладами, размноженными на ротаторе на хорошей бумаге. В особенности когда эти речи и доклады, пропитанные, как позже скажет Набоков, «тюремным запахом советских библиотек», они стали зачитывать с трибуны по бумажке, где даже не самый худший из них,

Всеволод Иванов, вынужден был бубнить заранее заготовленную чушь о том, какие высокие у них, советских писателей, гонорары.

Немудрено, что появление на трибуне в последний день конгресса сперва Бабеля, а потом Пастернака было встречено овацией. Овация началась еще до того, как они начали говорить. А уж когда заговорили…

> Исаак Эммануилович речи не написал, а непринужденно, с юмором рассказал на хорошем французском языке о любви советских людей к литературе. С Борисом Леонидовичем было труднее. Он сказал мне, что страдает бессонницей, врач установил психостению… Он написал проект речи — главным образом о своей болезни. С трудом его уговорили сказать несколько слов о поэзии. Наспех мы перевели на французский язык одно из его стихотворений. Зал восторженно аплодировал.
>
> ***(Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Том второй. М. 1990. Стр. 58-59.)***

Что касается Бабеля, так оно все, наверно, и было. Не так даже было и важно, о чем он там говорил. Важно было, что говорил не по бумажке, импровизировал. И говорил на хорошем французском языке. К тому же был он на редкость обаятелен и остроумен. Да что говорить! На фоне других советских речей и докладов это был луч света в темном царстве.

А вот насчет Пастернака Илья Григорьевич слукавил. Тут все было совсем не так, как он рассказывает об этом в своих мемуарах.

Сперва приведу полный текст его выступления, — в той редакции, в какой он был воспроизведен в книге «Международный конгресс писателей в защиту культуры. Париж, июнь 1935. Доклады и выступления. М., 1936»:

> Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли; она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях; она навсегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи, и, таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником.
>
> ***(Борис Пастернак. Полн. собр. соч. Том пятый. М. 2004. Стр. 229.)***

Это все, что Эренбургу удалось из него выдавить.

Но больше ничего ему было и не нужно. Потому что дело тут было не в том, что скажет Пастернак, а в самом Пастернаке. В его облике, в его голосе, в неподражаемом своеобразии его живой речи:

> Он подошел к микрофону; тотчас же зал наполнился тем мучительным «ммм», которое у Пастернака предшествует речи. Зал сразу понял, кто перед ним; это было ощущение живого поэта, зубра, вымершего в Европе, большой совести, большой детскости.
>
> ***(Илья Эренбург. Книга для взрослых. М. 1936. Стр. 151.)***

Эренбургу только это и было нужно: представить Пастернака этаким большим ребенком, лепечущим нечто не слишком вразумительное о том, что поэзия — в траве, стоит только нагнуться, чтобы поднять ее. Но Борис Леонидович ребенком не был. И в той, заранее им написанной речи, в которой, как уверяет Эренбург, он хотел говорить «главным образом о своей болезни», на самом деле он собирался сказать (и даже, кажется, сказал) совсем о другом:

> Я сказал: «Я понимаю, что это конгресс писателей, собравшихся, чтобы организовать сопротивление фашизму. Я могу вам сказать по этому поводу только одно. Не организуйтесь! Организация — это смерть искусства Важна только личная

независимость. В 1789, 1848, 1917 годах писателей не организовывали ни в защиту чего-либо, ни против чего-либо. Умоляю вас — не организовывайтесь!»

(Исайя Берлин. Встречи с русскими писателями. 1945 и 1956. В кн.: Воспоминания о Борисе Пастернаке. М. 1993. Стр. 520—521.)

Легко представить, в какой ужас пришел Эренбург, прочитав (или даже услышав: ведь Пастернак уверяет, что все это он не только собирался сказать, но и сказал) эти слова. О том, чтобы сохранить этот текст в стенограмме, разумеется, не могло быть и речи. Эренбург то ли сам сочинил другой, то ли из всего пастернаковского монолога оставил лишь несколько фраз.

Председательствовавший в день выступления Пастернака Н. Тихонов тоже был в шоке от его речи. Он потом рассказывал, что готовить ее для стенограммы ему и Эренбургу помогала Цветаева. Втроем они будто бы и слепили эти невнятные фразы в тот текст, который вошел в стенограмму, а потом был опубликован.

Пастернак об участии Тихонова и Цветаевой не знал и всю вину за искажение текста его речи возлагал на Эренбурга.

А.К. Тарасенков, работавший тогда в «Знамени», где печаталась эренбурговская «Книга для взрослых», дал Пастернаку номер журнала, сказав, что Эренбург там пишет о нем. Хотел даже прочесть это место вслух. Но Пастернак не пожелал слушать, взял журнал и ушел.

Через час — звонок. «Это вы, Толя? Я хочу вам сказать, что прочел страницы Эренбурга обо мне… Все это неверно. Не так… Он, конечно, пишет обо мне с самыми лучшими намерениями, я это знаю, но все же это все неверно. Вот в Париже я говорил ведь серьезные вещи, а он все свел к фразе о том, что «поэзия в траве». Я превращен в какого-то инфантильного человека, я вовсе этого не хочу.

(А.Н. Тарасенков. Пастернак. Черновые записи. 1930—1939. В кн.: Воспоминания о Борисе Пастернаке. М. 1993. Стр. 168.)

Но самое интересное в этой истории (для чего я, собст-енно, ее и рассказал), что Эренбургу за нее влетело не только от обидевшегося на него Пастернака, но и от начальства.

В «Известиях», а потом — полностью — в «Литературном критике» печатались очерки Эренбурга о Парижском конгрессе. И в одном из них он, разумеется, рассказал и о выступлении Пастернака. В этом его рассказе была такая фраза:

Когда Тихонов перешел к оценке поэзии Пастернака, зал стоя, долгими аплодисментами приветствовал поэта, который доказал, что высокое мастерство и высокая совесть отнюдь не враги.

Безобидная реплика эта вызвала резко негативную реакцию в печати. Возник даже легкий международный скандал.

Отчасти причиной этого крутого начальственного окрика было, конечно, имя Пастернака, упомянутое в положительном контексте. Но основной гнев начальства был направлен на слово «совесть». Слово это всегда вызывало у большевиков судорогу отвращения. Начало этой славной традиции положил сам Ильич в одной из своих статей о Л.Н. Толстом:

Либералы выдвигают на первый план, что Толстой — «великая совесть»… Разве это не выдвигает на первый план того, что выражает предрассудок Толстого, а не его разум, что принадлежит в нем прошлому, а не будущему, его отрицанию политики и его проповеди нравственного усовершенствования, а не его бурному протесту против всякого классового господства?

(В.И. Ленин о литературе и искусстве. М. 1957. Стр. 209.)

Применительно к Пастернаку, — вернее, к реплике Эренбурга о нем, — тут добавилась еще прямо выраженная обида за других советских писателей, у которых (так были

истолкованы эти эренбурговские слова) с совестью будто бы дело обстояло не так хорошо, как у Бориса Леонидовича.

> Когда я был в Москве, я говорил с т. Ангаровым касательно моих очерков о парижском конгрессе. На столе т. Ангарова лежала выписка из одной моей телеграммы, касающаяся Пастернака. Т. Ангаров сказал мне, что он проверял, правильно ли утверждение, будто я говорю, что совесть поэта есть только у Пастернака.
>
> ***(Из письма И. Эренбурга А.С. Щербакову. Минувшее 24. Стр. 232.)***

Упоминающийся в этом письме А.И. Ангаров был в то время заместителем заведующего отделом культурно-просветительной работы ЦК ВКП(б). Возникший у него внезапный интерес к реплике Эренбурга о Пастернаке был продиктован отнюдь не личным любопытством. Это была реакция на донос кого-то из тех коллег Ильи Григорьевича, кто почувствовал себя лично задетым этим его злополучным высказыванием.

На самом деле Эренбург о том, что из всех советских поэтов совесть есть только у Пастернака, разумеется, не го-ворил, и такое грубое искажение смысла его реплики глубоко его возмутило. Но основания для обид были. Овацию-то устроили только одному Пастернаку. И устроили, как объяснил это Эренбург, именно потому, что только с ним, с его обликом — и даже с только что произнесенной им речью — сопрягалось это сакраментальное слово «совесть».

Начальственный окрик Эренбургу по этому поводу был высказан в редакционной статье «Комсомольской правды». Статья называлась «Откровенный разговор» и посвящена была Пастернаку. Реплика Эренбурга упоминалась там мимоходом и оценивалась как «сомнительный комплимент» поэту. В какой-то французской газете тут же появилась заметка: «Москва дезавуирует Эренбурга». Именно это и дало Эренбургу повод обратиться с письмом к высокому начальству (адресовано оно было А.С. Щербакову, но автор, видимо, предполагал, что свой ответ тот согласует с более высокой, а может быть, и самой высокой инстанцией), в котором дал понять, что готов совсем уйти из политики в «изящную словесность»:

> Тон статьи в «Комсомолке», которая дана как редакционная, заставляет меня задуматься над словами т. Ангарова и над отношением ко мне руководящих литературной политикой товарищей. Если она совпадает с «Комсомольской правдой», то я с величайшей охотой буду впредь воздерживаться от каких-либо литературно-общественных выступлений и в Союзе и на Западе. Очень прошу вас ответить мне на этот вопрос.
>
> ***(Минувшее 24. Стр. 232—233.)***

Ответ последовал не сразу, и начинался он ссылкой на болезнь, помешавшую автору письма ответить на заданный ему вопрос немедленно. Но есть все основания предполагать, что задержка ответа была вызвана не только болезнью Александра Сергеевича. Ответ, надо полагать, согласовывался. Об этом говорит не только смысл, но и тональность этого ответа, достаточно определенная и в то же время уклончивая, вежливо сдержанная и в то же время не оставляющая места для каких-либо дальнейших переговоров, а тем более ультиматумов:

> *23 марта 36 г.*
> *Москва*
> Дорогой Илья Григорьевич!
> Я на 12 дней выбыл из строя (болел), поэтому отвечаю на Ваше письмо с опозданием, за что прошу извинения.
> Первый вопрос, какой мне задал в Москве Мальро, был такой: «Я прошу от своего имени и от имени А. Жида объяснить мне — какие крупные разногласия разделяют советских писателей и Эренбурга». На этот вопрос я ответил: «Разногласий,

которые бы разделяли советских писателей и Эренбурга, — нет, ибо Эренбург сам советский писатель. Речь может идти о творческих разногласиях у ряда советских писателей с писателем Эренбургом. Эти разногласия были и есть, происходят они в рамках советской литературы». Так ответил я Мальро.
Признаться, я не понял сначала вопроса Мальро. Стал он мне понятен через несколько дней, когда я получил Ваше письмо.
Вы зря ставите так вопрос: «с величайшей охотой буду впредь воздерживаться от каких-либо литературно-общественных выступлений и в Союзе, и на Западе».
Известно, что Ваши литературно-общественные выступления никем не навязаны, что они являются результатом внутреннего Вашего убеждения. Почему же отказываться от выступлений, которые продиктованы внутренним убеждением.
Вообще метод «отставки», как Вы знаете, сочувствия обычно не встречает.
Что касается главного — отношения к Вам, я могу только повторить то, о чем я Вам неоднократно писал и говорил.
Вы имеете свою оценку творчества Пастернака, с которой иные могут соглашаться или не соглашаться.
Разрешите этим людям о несогласии с Вами писать и говорить.
Делать же отсюда какие-либо выводы об отношении к Вам товарищей — нет оснований.

(Минувшее 24. Стр. 233.)

Письмо это являет собой истинный шедевр самой изысканной, я бы даже сказал куртуазной дипломатии. Оно полно тончайших шпилек и намеков. О какой, мол, отставке, Илья Григорьевич, может идти речь, — ведь вы же не порученец какой-нибудь, не «агент влияния». Вы не на службе, все ваши выступления продиктованы внутренним убеждением, — зачем же вам от них отказываться? Но тут же, в следующей же фразе слово «отставка» (самим Эренбургом, кстати, не произнесенное) вдруг появляется. И сама фраза несет в себе тайную, хотя и не слишком скрываемую угрозу:

> Вообще метод «отставки», как Вы знаете, сочувствия обычно не вызывает.

Невзначай брошенная реплика эта заставляет вспомнить хорошо известный факт из биографии Пушкина. Возмущенный перлюстрацией его письма к жене, Александр Сергеевич написал Бенкендорфу, что по семейным обстоятельствам вынужден оставить службу. Николай Павлович, к которому фактически было обращено это письмо, высказался (в разговоре с пытавшимся смягчить гнев царя Жуковским) по этому поводу так:

> — Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку. Но в таком случае между нами все кончено.

Еле-еле удалось Жуковскому этот инцидент уладить.

Трудно сказать, имел ли в виду Щербаков этот исторический прецедент, или исходил из собственного своего «бенкендорфовского» опыта. Но начитанный Эренбург эту историю наверняка помнил. Во всяком случае, намек Щербакова он понял и об отставке больше не заговаривал. Так до конца дней и остался «двоеженцем».

Сюжет второй
«Я ВЫРАЖАЛ НЕ СВОЮ ЛИНИЮ, А ЧУВСТВА НАШЕГО НАРОДА»

Эта фраза — из письма Эренбурга Сталину, написанного 15 апреля 1945 года, то есть на другой день после появления в «Правде» статьи Г.Ф. Александрова «Товарищ Эренбург упрощает». Статья эта была шоком — не только для Эренбурга, но и для миллионов его читателей. Она стала шоком даже и для тех из прочитавших ее, кого меньше всего в этой

ситуации интересовал Эренбург. Ведь эта статья обозначила некий идеологический поворот, для которого предъявленные Эренбургу обвинения были только поводом.

Ни у кого из прочитавших статью, да и у тех, кто ее не читал, а только слышал о ней, не могло быть и тени сомнений в том, что истинным ее автором был не Г.Ф. Александров, — хоть тот и был в тогдашней партийной иерархии фигурой не мелкого ранга: он был начальником, как это тогда называлось, Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б).

Всем было ясно, что такая статья могла быть написана и напечатана в «Правде» только по личному указанию Сталина.

Распорядившись написать и опубликовать эту статью, Сталин, как это всегда бывало у него в подобных случаях, решал одновременно несколько важных государственных (пропагандистских, идеологических, дипломатических и даже военных) задач. Не обошлось и без особого, неизменно проявлявшегося во всех важных сталинских начинаниях коварства. (Ко всем этим ответвлениям главного сюжета мы еще вернемся.) Но был тут у него еще и некий личный мотив.

С него и начнем.

* * *

Сегодняшним читателям, — во всяком случае, тем, кому еще нет восьмидесяти, — не просто трудно, а прямо-таки невозможно себе представить, кем был для нас Эренбург во время войны.

Страна вступила в войну в состоянии полной идеологической растерянности. В первые же военные дни в прах разлетелись все идеологические стереотипы, внушавшиеся нам на протяжении многих лет и прочно завладевшие нашим сознанием. Сразу же стала очевидной беспочвенность владевших нами иллюзий — начиная с наивной уверенности, что немецкие пролетарии ни за что не станут стрелять в своих братьев по классу, и кончая столь же наивной убежденностью, что «на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом».

Выйдя из прострации, Сталин потом наспех соорудил вместо рухнувшей в одночасье идеологической схемы другую, призвав на помощь великие тени славных русских полководцев и флотоводцев, в том числе и тех, которые еще вчера третировались как верные слуги ненавистного царского режима В ход были пущены даже антинемецкие сплетни и анекдоты времен Первой мировой войны.

Но это все — позже.

А в первые трагические военные дни волею обстоятельств единственным идеологом страны, вступившей в смертельную схватку с фашизмом, стал Эренбург.

Позже эту роль Эренбурга всячески старались если не замолчать, то смазать. В официозных перечнях выдающихся советских публицистов военного времени имя Эренбурга обычно поминалось вслед за именами Шолохова, Алексея Толстого и Леонида Леонова, хотя для тех, кто еще не забыл 41-й год, не было сомнений, что он в этом ряду по праву должен был стоять первым.

Но на самом же деле он был даже не первым, а единственным.

В тогдашних своих статьях он определил не только идеологию, но и философию той нашей войны. Ее моральное оправдание. Ее нравственную основу.

Мальчикам и девочкам, воспитанным на принципах интернационального всечеловеческого братства, надо было изо дня в день повторять: убей немца!

И он это делал.

Это он пустил принятую и подхваченную всем нашим воюющим народом презрительную кличку «Фриц». А ведь «Фрицем» звали Энгельса. («Фриц» — это уменьшительное от «Фридрих».) В Испании «Фрицем» звали генерала Батова, которого Эренбург знал и любил еще со времен той, Испанской войны.

Добродушного, незлобивого русского человека, готового поделиться с пленным немцем последней закруткой табака, он должен был изо дня в день учить науке ненависти. Потому что, как он написал в одной тогдашней своей статье, война без ненависти так же аморальна, как близость с женщиной без любви.

Но можно ли жить ненавистью, оставаясь при этом человеком?

В другой своей статье военных лет Эренбург сказал, что, помимо всего прочего, мы ненавидим немецко-фашистских захватчиков еще и за то, что вынуждены их убивать.

То есть заниматься этим нечеловеческим, в сущности, античеловеческим делом.

Эти «уроки Эренбурга» были тогда прочно усвоены людьми разных поколений. Они вошли в «состав личности» даже тех, кто, может быть, этого и не осознавал, а сейчас, пожалуй, даже и наедине с собой ни за какие коврижки не признается в этом.

Приведу только один пример.

В романе Александра Солженицына «В круге первом» главный его герой — Глеб Нержин (alter ego автора) — из всех своих товарищей по «шарашке» особо выделяет дворника Спиридона. Именно ему он отдает (дарит на память) перед этапом любимую свою, с трудом выдранную из лап «кума» книжечку Есенина (взять ее с собой на этап ему не дадут).

Спиридон для Нержина (а стало быть, и для автора) — носитель вековой народной мудрости, живого народного сознания, единственной (опять же народной) и потому единственно истинной системы нравственных понятий и ценностей. В общем, этакий современный Платон Каратаев.

И вот с этим Спиридоном происходит у Нержина такой, — может быть, самый важный для автора во всем этом его романе, — разговор:

> — Давно хочу тебя спросить, Спиридон Данилыч, пойми меня верно. Вот слушаю, слушаю я про твои скитания. Крученая у тебя жизнь… Все чего-то ты метался, пятого угла искал — ведь неспроста?.. Вернее, как ты думаешь — с каким… — он чуть не сказал «критерием», — … с меркой какой мы должны понимать жизнь? Ну, например, разве есть люди на земле, которые нарочно хотят злого? Так и думают: сделаю-ка я людям зло?.. Вот ты говоришь — сеяли рожь, а выросла лебеда. Так все-таки, сеяли-то — рожь или думали, что рожь? Может быть, люди-то все хотят доброго — думают, что доброго хотят?.. Убедят себя, что они хорошо делают, а на самом деле выходит худо.
>
> Наверно, не очень ясно он выражался. Спиридон косовато, хмуро смотрел, ожидая подвоха, что ли.
>
> — А теперь, если ты, скажем, явно ошибаешься, а я хочу тебя поправить, говорю тебе об этом словами, а ты меня не слушаешь, даже рот мне затыкаешь, в тюрьму пихаешь — так что мне делать? Палкой тебя по голове? Так хорошо, если я прав, а если мне это только кажется, если я только в голову себе вбил, что я прав? Да ведь если я тебя сшибу и на твое место сяду, да «но! Но!», а не тянет оно — так я и трупов нахлестаю? Ну, одним словом, так: если нельзя быть уверенным, что ты всегда прав, — так вмешиваться можно или нет? И в каждой войне нам кажется — мы правы, а тем кажется — они правы. Это мыслимо разве — человеку на земле разобраться: кто прав? Кто виноват? Кто это может сказать?
>
> — Да я тебе скажу! — с готовностью отозвался просветлевший Спиридон, с такой готовностью, будто спрашивали его, какой дежурняк заступит дежурить с утра. — Я тебе скажу: волкодав — прав, а людоед — нет!
>
> — Как-как-как? — задохнулся Нержин от простоты и силы решения.
>
> — Вот так, — с жестокой уверенностью повторил Спиридон, весь обернувшись к Нержину: — *Волкодав прав, а людоед — нет.*

В этой дважды повторенной (второй раз даже выделенной курсивом) формуле, от простоты и силы которой Нержин аж задохнулся, для автора романа — «смысл философии

всей», ясный и исчерпывающий в своей простоте и ясности ответ на все мучившие его вопросы.

Так вот, эту формулу, эту вершину Спиридоновой (народной) мудрости Солженицын взял у Эренбурга. Из его статьи 42-го года:

> Ненависть не лежала в душе русского человека. Она не свалилась с неба. Ее наш народ выстрадал. Вначале многие из нас думали, что это — война как война, что против нас такие же люди, только иначе одетые. Мы были воспитаны на идеях человеческого братства и солидарности. Мы верили в силу слова, и многие из нас не понимали, что перед нами не люди, а страшные, отвратительные существа. Что человеческое братство диктует нам быть беспощадными к фашистам, что с гитлеровцами можно разговаривать только на языке снарядов и бомб.
> *Волкодав — прав, а людоед — нет* . Одно дело убить бешеного волка, другое — занести свою руку на человека. Теперь всякий советский человек знает, что на нас напала свора волков.
>
> ***(Илья Эренбург. Оправдание ненависти. 26 мая 1942 г. В кн.: Илья Эренбург. Война. Апрель 1942 г. Март 1943 г. М., 1943. Стр. 4.)***[2]

В том, что именно Эренбург, а не Сталин, нашел слова для определения нравственных основ нашего противостояния нацизму, ничего удивительного нет. Тут ему, писателю, как говорится, и карты в руки. Удивительно другое: то, что Эренбург и в чисто политическом смысле оказался трезвее и проницательнее Сталина. Ведь как к Сталину ни относись, но фраером или, как нынче говорят, лохом в политике он уж точно не был. Да и информации о том, как складываются дела на политической карте мира, у него было куда больше, чем у Эренбурга.

24 апреля 1941 года Сталин позвонил Эренбургу. (Это был единственный их прямой разговор.)

Эренбург тогда писал свой роман «Падение Парижа» и с большим трудом печатал уже написанные главы. Редактор «Знамени» — журнала, в котором печатался роман, — при встрече мрачно ему сказал:

— О вашем романе разные суждения. Мы не сдаемся… Но насчет второй части ничего не могу сказать…

Во второй части рассказывалось о событиях 1937— 1938 годов, немцы там еще не появлялись. Но всем было понятно, куда гнет автор. Пакт с Гитлером, определивший всю тогдашнюю идеологическую атмосферу, не оставлял для публикации антифашистского, антигитлеровского романа практически никаких шансов.

> Двадцатого апреля я узнал, что вторую часть «Падения Парижа» не пропустили. Я пришел в скверном настроении, но решил писать дальше.
> Двадцать четвертого апреля я сидел и писал четырнадцатую главу третьей части, когда мне позвонили из секретариата Сталина, сказали, чтобы я набрал такой-то номер: «С вами будет разговаривать товарищ Сталин».
> Ирина поспешно увела своих пуделей, которые не ко времени начали играть и лаять.
> Сталин сказал, что прочел начало моего романа, нашел его интересным, хотел прислать мне рукопись — перевод книги Андре Симона, — это может мне пригодиться. Я поблагодарил и сказал, что книгу Симона читал в оригинале. (Эта книга потом вышла в русском переводе под названием «Они предали Францию», что касается автора — Симона-Катца, то его казнили в Праге незадолго до смерти Сталина.)

2 Об этом — вряд ли случайном — совпадении я узнал из статьи Наума Лейдермана «По принципу антисхемы». «Звезда», 2001, № 8, стр. 201.

> Сталин спросил меня, собираюсь ли я показать немецких фашистов. Я ответил, что в последней части романа, над которой работаю, — война, вторжение гитлеровцев во Францию, первые недели оккупации. Я добавил, что боюсь, не запретят ли третьей части, — ведь мне не позволяют даже по отношению к французам, далее в диалоге употреблять слово «фашисты». Сталин пошутил: «А вы пишите, мы с вами постараемся протолкнуть и третью часть…»
> Люба, Ирина ждали в нетерпении: «Что он сказал?..» Лицо у меня было мрачное: «Скоро война…» Я, конечно, добавил, что с романом все в порядке. Но я сразу понял, что дело не в литературе. Сталин знает, что о таком звонке будут говорить повсюду, — хотел предупредить.
>
> ***(Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Том второй. М. 1990. Стр.228.)***

Итак, о том, что «скоро война», Эренбург узнал от Сталина. Сталин, стало быть, не тешил себя иллюзиями: ясно понимал, что война с гитлеровской Германией неизбежна. Но когда это случилось, он впал в такую глубокую прострацию, что готов был даже начать переговоры с Гитлером, предложив ему (по аналогии с ленинским Брестским миром) отдать Украину и все другие, уже захваченные им к тому времени территории.

Война уже шла, а он продолжал надеяться, что это отдельные провокации каких-то гитлеровских генералов, действующих без согласования с фюрером, и приказывал на них не отвечать. А когда уже не оставалось никаких сомнений, что это война, уехал на свою «ближнюю» дачу, не появлялся в Кремле. А когда ближайшие соратники явились к нему с предложением создать Комитет Государственной Обороны, который на время войны сосредоточит в своих руках всю власть в стране, он, как свидетельствует в своих воспоминаниях Микоян, испуганно забился в угол в полной уверенности, что они явились, чтобы его арестовать.

Выслушав предложение соратников, спросил:

— Кто председатель?

— Конечно, ты, Коба, — ответил Молотов.

И только тогда он слегка успокоился.

И только через одиннадцать дней после начала военных действий (3 июля) страна наконец услышала голос своего вождя. Зубы его стучали о стакан, из которого он пил воду. Всех поразила и неожиданная форма его обращения к нам («Братья и сестры»). Никогда — ни раньше, ни потом, — он к согражданам так не обращался.

Что же это значит? Как все это согласовать с его телефонным звонком Эренбургу, в котором он прямо дал понять, что знает: скорая война с гитлеровской Германией неизбежна?

Да, война неизбежна. В этом сомнений у него не было. Но в понятие «скорая» он вкладывал не тот смысл, какой услышал в его словах Эренбург.

Эренбург в последней книге своих мемуаров саркастически замечает, что Сталин, который не верил никому, поверил Гитлеру.

Это, конечно, ерунда.

Гитлеру он верил так же мало, как всем другим, с кем когда-либо приходилось ему вступать в какие-нибудь договоренности. Но он вел свою игру и твердо рассчитывал на то, что переиграет противника, заставит его изменить назначенный им срок начала военных действий. То есть заставит его играть по своим правилам.

7 марта 1941 года в Югославии произошел подготовленный Сталиным (вероятно, не только им, но и разведками стран антигитлеровской коалиции) государственный переворот. По всей стране шли демонстрации. Демонстранты опрокидывали машины со свастиками, посольство Германии в Белграде было срочно эвакуировано. 5 апреля Кремль подписал с новым правительством Югославии договор о дружбе. На другой день — 6-го — текст этого договора появился на страницах «Известий». И тотчас же последовал ответный ход Гитлера

В тот же день, 6 апреля, танковые и пехотные дивизии вермахта, стоявшие на границе с Советским Союзом, вторглись в Югославию. Германская авиация подвергла Белград массированным бомбардировкам.

Тут Гитлер Сталина как будто переиграл. Но, с другой стороны, все эти события повлекли за собой отсрочку в Реализации плана «Барбаросса».

Когда Сталину доложили, что немецкий Генштаб пересматривает сроки начала войны с Советским Союзом, он предпринял такой маневр.

> …в конце апреля 1941 года военному атташе немецкого посольства в Москве было разрешено совершить поездку на Урал и в Сибирь и посетить здесь несколько военных заводов, выпускавших новые модели танков и самолетов. Эта беспрецедентная возможность немецких военных ознакомиться с секретами СССР была осуществлена по прямому указанию Сталина…
> Отчет об этой поездке был послан в форме нескольких рапортов в Берлин… Советский агент с кодовым именем «Старшина» (обер-лейтенант Гарольд Шульце-Бойзен), работавший в это время в отделе внешних сношений главного штаба ВВС Германии, сообщил в Москву, что «… немцы не ожидали встретить так хорошо налаженную и функционирующую промышленность»…
> ***(Рой Медведев, Жорес Медведев. Неизвестный Сталин. М. 2007. Стр. 256.)***

Это было в конце апреля, то есть в то самое время, когда Сталин звонил Эренбургу.

В начале мая Сталин (решением Политбюро, а затем — соответственно — Указом Президиума Верховного Совета СССР) был назначен Председателем Совета Народных Комиссаров СССР. И тотчас же он сделал следующий обманный ход в своей «игре» с Гитлером. 5 мая он выступил в Кремле на выпускном вечере слушателей военных академий. Это была как бы импровизация. До этого с речами и докладами по военным и военно-стратегическим проблемам он никогда не выступал. А тут вдруг выступил и подробно говорил о том, как изменилась в последнее время Красная Армия, сколько в ней теперь дивизий (было 120 — теперь 300), сколько из них бронетанковых (треть) и сколько военнослужащих в каждой дивизии (15 000 человек).

Все это был полный блеф.

Речь была как бы секретной, но явно рассчитанной на утечку услышанной выпускниками информации. (Эту речь Сталина слушали полторы тысячи человек.) Все это, разумеется, делалось в расчете на то, что Гитлер, когда ему доложат эти «сверхсекретные данные о численности Красной Армии», за которые, как выразился опубликовавший эту речь историк Л. Безыменский, «дорого заплатил бы любой иностранный разведчик», крепко задумается о том, стоит ли ему в этой ситуации начинать войну с Советским Союзом, и уж во всяком случае, в очередной раз пересмотрит календарь своего знаменитого плана «Барбаросса».

Сталин не сомневался, что сумеет навязать Гитлеру свой календарный план» начала войны. А Эренбург, который ничего не знал об этих его планах и надеждах, определил время начала военных действий с точностью до одного дня.

> Первого июня 1941 года, — вспоминает В. Каверин, — мы вместе поехали навестить Ю.Н. Тынянова в Детское Село, и на вопрос Юрия Николаевича: «Как вы думаете, когда начнется война?» — Эренбург ответил: «Через три недели».
> То, что война началась **ровно** через три недели, — это, конечно, была чистая случайность. Но то, что предсказанная им дата оказалась точнее многих других гипотез и предположений, в том числе и расчетов самого Сталина, случайностью не было.

Такую необычайную прозорливость Эренбург в тот раз проявил не впервые.

Тут можно было бы перечислить немало таких его сбывшихся прорицаний. Но я ограничусь только одним эпизодом, относящимся к 1936 году. О нем рассказал в своих воспоминаниях об Эренбурге Алексей Эйснер, тогда молодой русский поэт-эмигрант, а позлее — интербригадовец, адъютант генерала Лукача:

> Дело было весной, когда, вскоре после победы Народного фронта на выборах в Испании, он победил и во Франции. В разгар этого антифашистского медового месяца одна моя добрая знакомая предложила сходить вместе с нею на собрание околопартийных парижских интеллигентов, на котором Эренбург, только что побывавший за Пиренеями, поделится своими наблюдениями.
> Послушать Эренбурга явилось человек сто или полтораста… Неожиданно для нас, как, по-видимому, и для всех присутствующих, Эренбург заговорил о сгущающихся над «гренадской волостью» облаках… На Испанию точит нож коричнево-черный фашизм. В густых тучах, клубящихся над оливковыми плантациями Андалузии и виноградниками Кастилии, просвечивают ликторские пучки и паучьи лапы свастики. В испанском воздухе пахнет порохом. Республика в опасности…
> После собрания взбудораженные слушатели обменивались недоуменными репликами. Эренбурговскую остроту взгляда, оригинальность и литературную отточенность его формулировок, насколько я мог расслышать, признавали все, но выводы большинство так же единодушно находило чрезмерно мрачными, а главное, слишком уж они расходились с мнением других наблюдателей… Что касается моей спутницы, она была категорична:
> — Неисправимый пессимист и страшно сгущает краски. Только третьего дня я была у Мари-Клод и нашла Поля в прекрасном настроении…
> Так как Мари-Клод, с которой Вера состояла в дружбе, была женой не вообще какого-нибудь Поля, но Поля Вайяна-Кутюрье, одного из руководителей коммунистической партии Франции, его хорошее расположение духа снимало всякие сомнения, и я решительно счел неожиданные мрачные прогнозы беспартийного парижского корреспондента «Известий» не внушающими доверия.
> Прошло, однако, всего около двух месяцев, как они — эти мрачные предсказания — сбылись.

Кое-что об истоках этой его необычайной проницательности мы уже знаем. И нам еще не раз представится случай к этой теме вернуться. Но сейчас пора наконец объяснить, что я имел в виду, говоря, что в решении Сталина в последние дни войны вдруг нанести удар по Эренбургу присутствовал и некий личный мотив.

Не вдаваясь в долгие объяснения, для начала перескажу еще один коротенький эпизод, о котором прочел недавно в статье самого осведомленного, самого компетентного исследователя жизненного и творческого пути Эренбурга — Бориса Фрезинского.

Дело было вскоре после войны. В московском ЦДЛ (Центральном Доме литераторов) выступал советский посол в Лондоне, академик И.М. Майский. Вспоминая военные годы, он сказал, что в стране было тогда только два человека, сравнимых по силе своего влияния на общество, — Эренбург и… С его уст уже готово было сорваться второе имя. Но тут оратор, видимо, с ужасом осознал, чем будет для него чревато произнесение в таком контексте имени Сталина, и — как выразился рассказывавший эту историю Фрезинскому украинский писатель Савва Голованивский, на глазах которого все это происходило, — буквально оцепенел.

Говорить об этом вслух было тогда, конечно, смертельно опасно. Но Майский сказал сущую правду. Не только по влиянию, по воздействию на умы и души сограждан, но даже и по официальной тогдашней шкале непререкаемых духовных — да и политических — авторитетов имя Эренбурга не раз поминалось рядом с именем Сталина. В официальной гитлеровской пропаганде, например. (Однажды даже — в специальном приказе Гитлера.)

Но — не только.

Лев Копелев был арестован за несколько месяцев до конца войны. Арестовали его за то, что он громко возмущался бесчинствами наших солдат (дело было в Восточной Пруссии), и не только возмущался, но всеми доступными ему средствами (он был майором) пытался эти бесчинства пресечь.

В доносе, предшествовавшем этому аресту и в значительной мере спровоцировавшем этот арест, сообщалось:

> Он говорил, что тов. Сталин ничего не знает о положении, так как занят международными делами, ругал командование и тов. Эренбурга.
>
> ***(Лев Копелев. Хранить вечно. Книга 1. М. 2004. Стр. 153.)***

Шлейф этого обвинения, впервые сформулированного в том доносе, тянулся за ним на протяжении всего следствия:

> — Подтверждаете ли вы имеющиеся у следствия данные, что он вел разговоры в защиту немцев, критиковал советское командование и писателя Эренбурга?..
>
> ***(Там же. Стр. 303.)***

Ругать «тов. Эренбурга» было таким же государственным преступлением, как «критиковать советское командование», и чуть ли даже не таким же, как выражать недовольство отдельными поступками и высказываниями «лично товарища Сталина».

Конечно, если бы Л. Копелев выражал свое несогласие с какими-то высказываниями или действиями, скажем, маршала Рокоссовского или секретаря ЦК ВКП(б) товарища Жданова, ему бы тоже не поздоровилось. Но выражать свое несогласие с маршалами и секретарями ЦК было государственным преступлением, потому что маршалами и секретарями ЦК их назначил Сталин. Эренбурга же на его должность «тов. Эренбурга» никто не назначал. Строго говоря, дело обстояло даже еще хуже: его на эту должность, вдруг оказавшуюся такой высокой, назначили читатели «Красной звезды», фронтовых газет и боевых листков, которые запрещалось пускать на раскурку, если в них была напечатана очередная статья Эренбурга. Назначили без согласования с товарищем Сталиным.

Это был непорядок.

До поры до времени с этим непорядком приходилось мириться. Но война уже шла к концу, до взятия Берлина оставались считаные дни, и настала пора указать Эренбургу его место. Не то, на котором волею обстоятельств он неожиданно оказался, а то, какое ему назначит товарищ Сталин,

Я, быть может, не совсем правильно назвал этот ход мыслей Сталина его «личным мотивом». Во всяком случае, сам он, конечно же, считал, что действует по соображениям отнюдь не личным, а сугубо государственным.

В стране может быть только один властитель умов и душ. (Как говорил Гитлер, один рейх: один народ, один фюрер.)

Да, конечно, могут и должны быть писатели, журналисты, публицисты, памфлетисты и прочие работники идеологического фронта. Писателям может быть даже позволено чуть больше, чем партийным журналистам и партийным работникам, которые обязаны, как попки, повторять слова вождя. Писатель имеет право слегка разнообразить свой пересказ ЕГО мыслей, так сказать, некоторыми красотами собственного стиля. Это можно. Это — пожалуйста. Но никакой писатель не смеет иметь свой, особый взгляд, скажем, на германский фашизм или на немецкий народ. Товарищ Сталин сказал: «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается». Вот в рамках этого основополагающего высказывания и действуйте.

А у Эренбурга был свой взгляд — и на немецкий народ, и на природу германского фашизма. И этот его взгляд не вполне укладывался в границы простой и ясной сталинской формулы.

Сталинская формула свой (политический) смысл, конечно, имела. Но она была уж слишком простой. (Вот о чем — с куда большим основанием, чем об Эренбурге, можно было и надо было бы написать статью: «Товарищ Сталин упрощает».)

Формула Сталина как бы объявляла, что немецкий народ тут вообще ни при чем. Мы воюем не с немецким народом, а с фашистами. С Гитлером, который как пришел, так и уйдет. На вопрос, откуда приходят Гитлеры и почему им удается охмурить целый народ, эта сталинская формула не отвечала.

Между тем об этом задумывались и с горечью признавали, что немецкий народ тут очень даже при чем, и сами немцы. Во всяком случае, лучшие из них.

Вот что говорил, например, Томас Манн, выступая перед американцами (он уже и сам был в то время был гражданином США) в 1945 году:

> Германия и немцы — такова тема моей сегодняшней беседы с вами, тема довольно рискованная, и не только потому, что самый предмет бесконечно противоречив, многообразен, неисчерпаем; нельзя забывать и о страстях, которые в настоящее время бушуют вокруг него. Говорить о нем sine ira et studio[3] с чисто психологической точки зрения может показаться почти аморальным перед лицом тех невыразимых страданий, которые принес миру этот злополучный народ… Страшная судьба Германии, чудовищная катастрофа, к которой она пришла, завершая новейший период мировой истории, — вот что привлекает всеобщий интерес, пусть даже интерес этот и далек от всякого сострадания. Человеку, родившемуся немцем, в наши дни едва ли пристало взывать к состраданию, защищать и оправдывать Германию. Но разыгрывать из себя непреклонного судью и, угодливо поддерживая безграничную ненависть, которую его народ возбудил против себя, проклинать и поносить этот народ, а себя самого выставлять воплощением «хорошей Германии», в противоположность злой, преступной нации, с которой, мол, он не желает иметь ничего общего, — такому человеку, как мне кажется, тоже не к лицу. Если ты родился немцем, значит, ты волей-неволей связан с немецкой судьбой и немецкой виной.
>
> ***Томас Манн. Собрание сочинений. Том десятый. М. 1961. Стр. 304— 305.)***

Ответ Томаса Манна на вопрос о том, в чем состоит эта немецкая вина, как будто не имеет ничего общего с ответами Эренбурга на этот проклятый вопрос. Но кое-что общее в этих — очень разных — ответах все-таки есть.

Общее это состоит в том, что оба писателя в самом, как теперь говорят, менталитете немецкого народа попытались увидеть нечто такое, что позволило этому умному и цивилизованном народу соблазниться звериной, разбойничьей идеологией гитлеризма.

* * *

Вот что написал однажды К. Симонов, вспоминая о той исключительной роли, которая выпала Эренбургу в военные годы:

> Тогда, в войну, я, наверное, так же, как и другие читатели Эренбурга, не думал над истоками его публицистики.
>
> Тогда, в годы войны, мы, по правде говоря, не знали и истории создания «катюш» и не раздумывали над тем, в результате каких многолетних трудов и усилий они вдруг появились на фронте. Для нас было главным то, что они появились и ударили по фашистам!
>
> Так это было и с прямым и сокрушительным действием военных статей Эренбурга. Люди, причастные к войне, не размышляли над тем, откуда и как он появился, они радовались тому, что он есть!

Теперь мы вроде уже хорошо знаем, «откуда и как он появился», из какого опыта, из каких жизненных впечатлений вырос антифашистский накал его военных статей. Ранняя искушенность в политике, в которой он уже давно не был дилетантом. Антифашистский конгресс писателей в защиту культуры, одним из главных организаторов которого он был. И, наконец, самое главное — война в Испании, в которой, защищая молодую испанскую

3 Совершенно беспристрастно (лат.).

республику от головорезов Франко, Гитлера и Муссолини, приняли участие все антифашисты планеты.

Не буду отрицать, все это, конечно, тоже свою роль сыграло. Но началось это у него раньше. Гораздо раньше.

> Маленьким мальчиком я подъезжал впервые к Берлину. Раскрыв толстую непонятную книгу, похожую не то на Библию, не то на учебник тригонометрии, мать сказала мне:
> — Мы приедем в Берлин в девять часов двенадцать минут.
> Я не поверил ей. Я ведь знал тогда только русские вокзалы, с тремя звонками, с неторопливыми пассажирами, попивающими чай, с флиртующими телеграфистами и душистой черемухой. Я знал, что, если побежать сорвать ветку черемухи, поезд не уедет, — поезд поймет, что нельзя без черемухи. Помолчав, я переспросил:
> — Ну, а часов в десять или в одиннадцать мы все же приедем?
> Тогда мать, усмехнувшись, ответила;
> — Здесь поезда никогда не опаздывают.
> Помнится, когда поезд действительно подошел к вокзалу Фридрихштрассе, и я, взглянув на часы, увидел девять часов двенадцать минут, я не обрадовался, — нет, я испугался. Ничто в тот день не могло исцелить меня от испуга перед непонятной точностью: ни ореховые торты, ни базары, где за одну марку можно было купить сказочный пенал.
> Теперь я знаю: здесь ничто не опаздывает.
> ***(Илья Эренбург. Виза времени. Л. 1933. Стр. 33.)***

> В уличных уборных Берлина… висит надпись: «Не позже чем через два часа после сношения с женщиной поспеши в ближайший санитарный пункт», — и адрес. Я не возражаю. Я только слегка боюсь людей, которые не пропустят этих «двух часов», которые обо всем вспомнят вовремя: подыскать женщину, съесть шницель, предаться любви и забежать в ближайший санитарный пункт. Для них уже не нужны никакие стрелки: они, кажется, рождаются с огромным сигнальным диском в груди.
> ***(Там же. Стр. 35—36.)***

> Я не знаю, уважают ли здесь литературу, но книгу здесь безусловно уважают.
> В России с книгой обращаются, как с проституткой: ее берут на одну ночь. Ее заливают слезами или супом, ее тискают и рвут. Она знает проклятья, нежные признанья, безумствования. Но прочитанная, она не получит права даже на скромное местечко в деревянной богадельне. Ее оставляют в пустом вагоне вместе с окурками и яичной скорлупой…
> В Германии с книгой не безумствуют, не играют ею, — это неотделимая частица семейной жизни. Из нее выдаивают полезные афоризмы и с нее бережно смахивают пыль. Она укорачивает вечера, и она повышает духовный кредит ее владельца. Книга без переплета здесь выглядит неприлично, как женщина нагишом; но и переплет без книги возмутил бы любого немца: а высокие мысли? а веселые анекдоты? а полезные афоризмы?..
> Я решаюсь сказать, что Германия — страна книги… Однообразие формы и свинцовый, тяжелый воздух позволяет говорить о полиграфическом пафосе страны. Люди здесь мнятся мне типографским шрифтом, а дни — образцовой работой огромного линотипа. Даже идеологические и политические страсти напоминают перебранку маниакально-исполнительных корректоров.
> ***(Там же. Стр. 42—43.)***

В своих военных статьях, особенно сорок первого года, Эренбург постоянно цитировал прочитанные им дневники убитых немцев — офицеров, ефрейторов, фельдфебелей. Эти

цитаты он сопровождал своими гневными, саркастическими, презрительными комментариями:

> Передо мной дневник ефрейтора Цохеля из Висбадена, п/я 22408. Цохель не страдает многословием, лаконически он записывает: «На марше. У крестьян хлеб, молоко, масло…», «Привал в Лахове. Вечером свиные котлеты и картофель…»
> Вот что записал ефрейтор Цохель из Висбадена 25 июля:
> «Темная ночь. Звезд нет. Ночью пытаем русских».
> Деловито, спокойно, тем же почерком, что и записи о свиных котлетах…
> Мы знали, что гитлеровцы «несимпатичная раса». Но с каждым днем мы узнаем все о новых и новых преступлениях фашистов. Говорят: «звери». Нет, звери лучше. Звери не мучают для удовольствия. Звери не ведут дневников. Со зверей не взыщешь. Другое дело — ефрейтор из Висбадена, который аккуратно пытает человека, потом берет тетрадку и записывает: «Пытал…»
> ***(Илья Эренбург. Война. Июнь 1941 г. Апрель 1942 г. М. 1942. Стр. 70—71.)***

Мудрено ли, что этот ефрейтор Цохель из Висбадена, одним и тем же ровным, аккуратным почерком записывающий в своем дневнике, как он вечером поедал свиные котлеты с картофелем, а ночью пытал пленных русских, напомнил ему тех ужаснувших его берлинцев, которые «обо всем вспомнят вовремя: подыскать женщину, съесть шницель, предаться любви и забежать в ближайший санитарный пункт».

Но у него были и другие, еще более красноречивые воспоминания. О делах совсем давних, но — один к одному — совпавших с теперешними, сегодняшними его впечатлениями.

В 1914 году, когда началась Первая мировая война, Оренбург стал печатать в «Биржевке» — «Биржевых ведомостях» — свои фронтовые очерки. Потом они составили его небольшую книгу «Лик войны».

Вот одна небольшая цитата из этой ранней, юношеской его книги:

> В Пикардии немцы отошли на сорок — пятьдесят километров. Повсюду видишь одно — сожженные города, деревни, даже одинокие домики. Это не бесчинство солдат; оказывается, был приказ, и саперы на велосипедах объезжали эвакуируемую зону. Это — пустыня. Города Баном, Шонн, Нель, Ам сожжены. Говорят, что немецкое командование решило надолго разорить Францию. Пикардия славится грушами, сливами, повсюду фруктовые сады вырублены. В поселке Шон я сначала обрадовался: груши, посаженные шпалерами, не срублены. Я подошел к деревьям и увидел, что они все подпилены, их было свыше двухсот. Французские солдаты ругались, у одного были слезы на глазах.

Осенью 1943 года, в Глухове, накануне освобожденном нашей армией, он увидел фруктовый сад, а в нем — точно же, как тогда, 1916-м, — аккуратно подпиленные яблони. Листья еще зеленели, на ветках были плоды. И наши солдаты ругались, как 27 лет назад французские солдаты в Шоне.

Ксенофобией Эренбург не страдал. Во всяком случае, он был бесконечно далек от того, чтобы отождествить античеловеческую сущность гитлеризма с немецкой ментально-стью. Но он не мог не видеть, что именно благодаря вот этим самым, издавна ненавистным ему, чертам немецкой ментальности немецкий обыватель оказался способен не просто притерпеться к гитлеровскому режиму и даже не просто принять его, но ощутить этот страшный, бесчеловечный режим в полном смысле этого слова **своим** .

Вышедшая в 1942 году книга Эренбурга «Война», в которую вошли самые первые его военные статьи, открывалась разделом, который назывался «Немцы». Не «Фашисты», а именно «Немцы».

Ничего выделяющего его голос из общего хора в этом не было. Все тогда говорили не «фашисты», а «немцы». Но Эренбург вкладывал в это слово еще и свое личное знание, свой

личный опыт, свою старую, давнюю, личную неприязнь к этой самой немецкой ментальности.

Когда он писал Сталину «Я выражал не свою линию, а чувства нашего народа», он говорил правду. Он, быть может, искренне считал, что никакой своей линии у него нет. Но на самом деле своя линия у него была. Просто до определенного момента она не расходилась с *линией* Сталина.

> Иногда она была естественным выражением официальной линии. Иногда шла параллельно ей. Иногда, как это было после вступления на немецкую территорию, — почти противоречила официальной линии… Когда министры иностранных дел проводят свою линию с такой неслыханной последовательностью, они должны стреляться при перемене линии.
> Эренбург не ушел, он отступил, оставшись «моральной левой оппозицией» к спокойной политике наших оккупационных властей.
>
> ***(Борис Слуцкий. Записки о войне. В кн: Борис Слуцкий. О других и о себе. М. 2005. Стр. 19.)***

А вот в том его утверждении, что он выражал чувства нашего народа, не было уж совсем ни малейшей натяжки, никакого, даже самого крошечного зазора между смыслом этой формулировки и действительным положением дел. Даже уже после появления статьи Г. Александрова «Товарищ Эренбург упрощает», в которой ясно дано было понять, что линия Эренбурга с линией Сталина не совпадает, народ (во всяком случае, доходившие до него отклики отдельных представителей народа) ясно и определенно говорил ему, что поддерживает, продолжает поддерживать ЕГО линию. Это говорили даже те, кто полностью отдавал отчет в том, что эта ЕГО ЛИНИЯ с линией Сталина (как принято было говорить и писать в те времена, с линией партии) не сходится.

> Действующая армия, 25 сентября 1942
> Я на фронте с 22. 6. 41 г. с самого первого дня войны и все время на передовых позициях. Я испытал на своей спине и в своем сердце горечь отступления. Я много видел страданий и боев и все-таки верил в нашу победу. Я верил в победу, когда отходил на 40—50 километров в сутки, а наутро должен был драться с немцами не на жизнь, а на смерть (я отходил из Литвы). И вот я пришел под Ленинград. Здесь мы стояли 4 месяца, я говорил: хорошо, здесь мы стоим без смены уже год, а за это время развернулись бои на юге. Я надеялся, что немцу не отдадут Ростова-на-Дону, но бои идут уже под Сталинградом. Волга в опасности и превеликой опасности. И вот я задаю вопрос: что же это значит? Или мы не в силах были остановить немца далеко от Сталинграда или я ничего не понимаю в вопросах войны. Я потерял мать, жену, сына, не плачу, т.к. я видел больше горя, чем есть у меня слез. Но мы потеряли всю Украину, Кубань и Северный Кавказ — вот от чего у меня сжимается сердце, а враг еще вдобавок и у Сталинграда и лезет вперед.
> Я читаю ваши статьи, и там много примеров, но эти примеры у меня на глазах, я вижу, как дерутся русские воины, и сказать, что они дерутся плохо, нельзя. Они идут в атаку, гибнут, но идут и идут. Но нам не хватает, не хватает как воздух, самолетов и танков. 10—15 танков и очень мало самолетов, когда идет немец, он пускает сотни самолетов и до 50—60 танков. И все-таки успеха не добивается. Разве плохо мы воюем? Вот я и спрашиваю, когда же мы будем пускать столько, сколько нам нужно и танков и самолетов, чтобы гнать немца и бить его? Вы скажете: когда он не будет иметь танки и самолеты, когда он растворится в наших просторах. Но это будет ли, т.к. на него работает вся Европа, а мы должны эвакуировать заводы и терять нефть?
> Вы скажете: я пессимист, нет, я реалист и, несмотря на все наши неудачи, я не теряю сознания и долга, что я русский и Россия в превеликой опасности. Вы спросите, как я воюю, а вот как. Когда наступление, я с пехотой в ее боевых порядках помогаю ей, так как знаю: это гибнут люди и им надо помочь, когда

оборона, я с пехотой и помогаю строить оборону своим артогнем. Как свистят пули, я знаю, и как отряхиваться от засыпавшей тебя земли от разорвавшегося рядом снаряда — умею. Как отбить контратаки немцев знаю — отбивал, и как подорвать немецкий танк — подрывал.
Скажи, Илюша, когда мы погоним немца, как били его наши предки при Гросс-Эггерсдорфе, Кунерсдорфе, и будут ли мои земляки, казаки с Дона, опять в Берлине? Я знаю: будут, будут. Сталин сделает так, что будут, но надо драться и скорее, иначе будет поздно, народ перестанет верить в победу. Надо поспешать. Ведь мы еще не дали сражения народа, сражения России.
Ну, пока, друг. Хотя я тебя не видел, но знаю, что душа у тебя хорошая. Русская. Хорошая у тебя душа. Пиши, если можешь.
Адрес мой: Действующая Красная Армия полевая почта 939. 854-й артиллерийский полк.
Кобыльник Георгий Яковлевич.

(Почта Ильи Эренбурга. М. 2006, Стр. 103—105.)

Волховский фронт; середина апреля 1945
Товарищ Эренбург,
прочитали мы на фронте статью Александрова «Товарищ Эренбург упрощает». Прочитали и удивились. Неужели т. Александров только и делает, что слушает немецкое радио и делает из него выводы?
Пусть лучше послушает наш фронтовой разговор с немцами снарядами и танками. Вы пишете правильно, что Германия есть одна огромная шайка. Надо дать запомнить всем немцам и *вообще всем* , чтобы со страхом 100 лет смотрели на Восток.
Я Вам писал в 1942 году. Сейчас еще пишу.
Победа близка. В 1942 я был лейтенант. В 1945 я майор. Сижу под деревом и под хмурым небом немецким я, простой человек, выдержавший испытания 41 и 42 года.
С приветом к Вам *майор Кобыльник*

(Там же. Стр. 210—211.)

Действующая армия; 26 апреля 1944
Тов. Эренбург!
Читал все Ваши статьи. Читал и «Хватит». Причем не только сам, но и товарищи. Читал статью т. Александрова «Товарищ Эренбург упрощает». Разумеется, т. Александров говорит от имени ЦК и отражает линию партии, однако мой голос и голос моих товарищей с Вами.
С комсомольским приветом
Н.Г.Канищев.

(Там же. Стр. 211.)

Берлин, 3 мая 1945
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ИГ ЭРЕНБУРГУ ДОРОГОЙ ИЛЬЮША СЕГОДНЯ 3/5-45 МЫ ЛЕТЧИКИ ИМЕЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ НАХОДИТЬСЯ В БЕРЛИНЕ В РАЙОНЕ РЕЙХСТАГА НА КОТОРОМ ВОДРУЖЕНО ЗНАМЯ ПОБЕДЫ И ГДЕ МЫ ЧЕСТНО ПОРАБОТАЛИ И ОТМЕЧЕНЫ В ПРИКАЗЕ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ТЧК ОЧЕНЬ УДИВЛЕНЫ ПОЧЕМУ НЕ СЛЫШНО ВАШЕГО ГОЛОСА КТО ТЕБЯ ОБИДЕЛ МЫ ЛЕТЧИКИ СОЕДИНЕНИЯ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА СЛЮСАРЕВА ЧИТАЯ ВАШИ ПРИЗЫВЫ НАЧИНАЯ С ПЕРВОГО ДНЯ ВОЙНЫ МОБИЛИЗОВАЛИ НАС РАБОТАТЬ С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ ЛЮБИМОЙ РОДИНЕ НЕНАВИДИМ ВРАГА НЕ УНЫВАЙ ДОРОГОЙ ДРУГ ШУРУЙ ТАК КАК ТЫ НАЧАЛ = СЛЮСАРЕВ НАЗАРОВ

(Там же. Стр. 211—212.)

Если Н.Г. Канищев, подписавшийся «с комсомольским приветом», то есть человек явно молодой, понимал, что его (и его товарищей) поддержка ЛИНИИ ЭРЕНБУРГА расходится с ЛИНИЕЙ ПАРТИИ, то уж генерал-майор авиации Сидор Васильевич Слюсарев тем более не мог этого не понимать. И хоть и спрашивал в подписанной им телеграмме: «КТО ТЕБЯ ОБИДЕЛ?» — не мог не понимать, КТО. И совсем уж не мог он не понимать, С КЕМ выражает свое несогласие, предлагая Эренбургу «шуровать, как он начал». (Авторы некоторых писем, полученных в то время Эренбургом, писали даже так: «Илья! Упрощай дальше!»)

Все это, конечно, ни в коем случае не означает, что все эти лейтенанты, майоры и генерал-майоры в размолвке Сталина с Эренбургом были ЗА ЭРЕНБУРГА — ПРОТИВ СТАЛИНА. Так они, разумеется, свое отношение к этой «размолвке» не формулировали. Наверно, даже считали, что на самом деле никаких разногласий у Сталина с Эренбургом нет, что все это — «политика». Из каких-то там политических соображений Сталину понадобилось СДЕЛАТЬ ВИД, что ЛИНИЯ ЭРЕНБУРГА — НЕ ЕГО ЛИНИЯ. А на самом деле, в глубине души, он, Сталин, думает и чувствует так же, как они. Просто — по должности — не может, не имеет права говорить обо всем этом с полной откровенностью.

Вот, скажем, написал Эренбург в какой-то своей статье, что союзники (англичане и американцы) берут города «по телефону» и «по фотоаппарату», а мы за каждую новую пядь немецкой земли платим кровью. Ведь так оно и есть на самом деле, и все мы это знаем. Но говорить об этом так прямо нельзя. Во всяком случае, он, Сталин, этого позволить себе не может. И даже не может позволить это Эренбургу: нельзя раздражать союзников. Наверно, «Ильюша» тут и в самом деле слегка погорячился. Приходится соблюдать дипломатию.

То есть подспудная мысль у авторов всех этих писем, если сформулировать ее с грубой прямотой, наверно, свелась бы к тому, что Сталин приказал покритиковать Эренбурга «для виду». (Как много лет спустя, совсем по другом поводу выразился в одной своей песне Галич: «Это ж, рыжий, все на публику!»)

Насчет союзников оно, может быть, так и было. А вот что касается немцев, — тут дело было серьезнее.

Война кончалась. Надо было решать послевоенную судьбу Германии. Какая-то ее часть станет нашей оккупационной зоной… О том, чтобы со временем превратить ее в суверенное германское социалистическое государство, Сталин тогда, наверно, еще не помышлял. Но формула «хороший немец — мертвый немец» уже исчерпала себя. Дело иметь предстояло с живыми немцами, и их надо было поделить на «хороших» и «плохих». И поэтому, говоря о врагах, отныне надо было забыть слово «немцы». Не с немцами была у нас война, а с фашистами.

В 1967 году я составил для большой серии «Библиотеки поэта» том стихов Эренбурга. Книга проходила в издательстве с большим трудом. В категорической форме мне было предложено изъять из нее добрую треть. В первую очередь это касалось военных стихов, в которых то и дело мелькало слово «немцы».

Примерно в это же время я жил летом в маленькой деревне под Рузой. Меня поражали деревенские старухи: рыхлые, ленивые, они целыми днями сидели на завалинке, лузгали семечки и точили лясы. Собственно, поражали меня не они, а одна из них, на этих совсем не похожая. Худая, как жердь, она ни минуту не сидела на месте. То косила траву, то сгребала ее, то бегала кормить кроликов. В общем, дел и забот у нее всегда было полно. И однажды я не выдержал, спросил:

— Баба Катя! Что это ты совсем не такая, как эти, глу-ховские. Будто с другой планеты сюда свалилась!

Она ответила:

— А я и есть не местная. Я ж с под Смоленска. Там у меня в войну немцы избу сожгли с детьми. Заживо детки мои сгорели. Сейчас, конечно, мы их зовем товарищами. А разве ж товарищи так поступают.

Статья Г.Ф. Александрова «Товарищ Эренбург упрощает» тут вроде как ни при чем. А на самом деле — очень даже при чем. Этой статьей Сталин ясно дал понять, что отныне всех немцев, которые объявят себя антифашистами, мы будем считать своими товарищами. А не успевший перестроиться Эренбург продолжал твердить свое. То, что с такой обезоруживающей, трогательной наивностью выразила моя баба Катя: «Разве ж товарищи так поступают!»

* * *

Лев Копелев в своей книге «Хранить вечно», на которую я тут уже ссылался, рассказывает, что, когда его арестовали, допрашивающий его следователь контрразведки показал ему аккуратно отпечатанный листок с предъявленными ему обвинениями:

> «… систематические антисоветские высказывания, выразившиеся в защите немцев, в клевете на союзников, клевете на советскую печать и клевете на советского писателя Эренбурга…»

А далее он сообщает:

> Протокол допроса об Эренбурге был еще в конце первого следствия изъят из дела. Позднее стало понятно — это произошло после статьи Александрова против Эренбурга. Я был уверен, что остаюсь в тюрьме только из-за волокиты, из-за перегруженности следственного аппарата.
>
> ***(Лев Копелев. Хранить вечно. Книга 2. М. 2004. (Стр. 137.)***

Эта его уверенность основывалась на убеждении, что, выражая свое несогласие со статьями Эренбурга, он был прав. И вот теперь эту его правоту подтвердила статья Александрова, то есть — сам Сталин.

В том же духе, когда его судили, высказывался и один из свидетелей защиты:

> Да, мне известно, что в последние месяцы войны он спорил с некоторыми товарищами… Он возражал против отдельных фельетонов Эренбурга, об этом и мы с ним говорили, когда он приезжал с фронта в последний раз в январе 44 года. Потом моя жена — она была комиссаром снайперской школы — виделась с ним на фронте, осенью, уже в Польше, и рассказывала мне об их беседах и спорах. И я отлично помню, когда в «Правде» появилась статья Александрова, я ей сказал: «Смотри, ведь это именно то, что говорил нам Лева, вот, небось, теперь торжествует…» Мы еще не знали, что в это же время он уже был арестован и как раз за это… И когда мы узнали, в чем его обвиняют, мы все были потрясены.
>
> ***(Там же. Стр. 171.)***

Арестован он был за то, что активно — не только на словах — выступал против бесчинств, мародерства, насилия наших солдат в Восточной Пруссии. Те, кого он клеймил и разоблачал, доказывая свое право на все эти бесчинства, ссылались (демагогически, конечно) на Эренбурга, как на своего союзника. И в этих спорах он в запале, случалось, действительно говорил, что Эренбург ему не указ, что он, Эренбург, в своей слепой ненависти к немцам сошел с правильных марксистских позиций. Но Бог правду видит (хоть и не скоро скажет). И вот Бог (то есть Сталин) наконец сказал свое веское слово. Статьей Александрова «Товарищ Эренбург упрощает» он дал команду: немедленно, самым жестоким образом пресечь бесчинства распоясавшихся насильников и мародеров.

В числе тех политических задач, которые Сталин решал этой статьей, была, конечно, и эта. Хотя в распоряжении Верховного Главнокомандующего, как вы понимаете, были и другие, гораздо более действенные способы пресечения этих бесчинств.

Да на первых порах не так уж он и хотел их пресекать. Склонен был отнестись к ним с пониманием и даже поощрять. (Как Суворов, отдававший своим чудо-богатырям взятый штурмом город на разграбление.)

Вот одно из — разумеется, не предназначавшихся для печати — его высказываний того времени — как раз на эту тему.

> Он… налил мне стопку водки и предложил выпить за Красную Армию. Не сразу поняв его намерение, я хотел выпить за его здоровье.
> — Нет, нет, — настаивал он, усмехаясь и испытующе глядя на меня, — именно за Красную Армию! Что, не хотите выпить за Красную Армию?
> Разумеется, я выпил… Сталин спросил — что там было с Красной Армией? Я ему объяснил, что вовсе не хотел оскорблять Красную Армию, а хотел указать на ошибки некоторых ее служащих и на политические затруднения, которые нам это создавало.
> Сталин перебил:
> —Да. Вы, конечно, читали Достоевского? Вы видели, какая сложная вещь человеческая душа, человеческая психология? Представьте себе человека, который проходит с боями от Сталинграда до Белграда — тысячи километров по своей опустошенной земле, видя гибель товарищей и самых близких людей! Разве такой человек может реагировать нормально? И что страшного в том, если он пошалит с женщиной после таких ужасов? Вы Красную Армию представляли себе идеальной. А она не идеальная и не была бы идеальной, даже если бы в ней не было определенного процента уголовных элементов — мы открыли тюрьмы и всех взяли в армию. Тут был интересный случай. Майор-летчик пошалил с женщиной, а нашелся рыцарь-инженер, который начал ее защищать. Майор за пистолет: Эх ты, тыловая крыса! — и убил рыцаря-инженера. Осудили майора на смерть. Но дело дошло до меня, я им заинтересовался и — у меня на это есть право как у Верховного Главнокомандующего во время войны — освободил майора, отправил его на фронт. Сейчас он один из героев. Воина надо понимать. И Красная Армия не идеальна. Важно, чтобы она била немцев — а она их бьет хорошо, — все остальное второстепенно.
> Немного позже, после возвращения из Москвы, я с ужасом узнал и о гораздо большей степени «понимания» им грехов красноармейцев. Наступая по Восточной Пруссии, советские солдаты, в особенности танкисты, давили и без разбора убивали немецких беженцев — женщин и детей. Об этом сообщили Сталину, спрашивая его, что следует делать в подобных случаях. Он ответил: «Мы читаем нашим бойцам слишком много лекций — пусть и они проявляют инициативу!»
> ***(Милован Джилас. Беседы со Сталиным. М. 1990. Стр. 82.)***

том, какую инициативу проявляли наши солдаты и офицеры, ворвавшись в Восточную Пруссию, как раз и рассказывает — с жуткими подробностями — в своей книге Лев Копелев. Именно эти зверские «инициативы» он и старался пресечь всеми доступными ему способами. (За что и поплатился.)

Тут сразу надо сказать, что против «инициатив» такого рода неоднократно выступал в своих статьях и Эренбург, что вызвало открытое неудовольствие и даже протесты некоторых его читателей. Это ясно видно из его ответов на их письма:

> Л.К.Папоку
> (Из Москвы на фронт — п.п.23247)
> 14 марта (19)45
> Дорогой Леонид Карлович,
> сегодня в статье «Рыцари справедливости» я пишу о тех вопросах, которые Вы поднимаете… Я с Вами не согласен. Немцев я ненавижу как Вы, но считаю, что нельзя убивать детей и старух, нельзя насиловать женщин. Мне не жаль немцев, но я думаю о будущем наших людей, об их достоинстве, об их величии и я хочу избавить их от воспоминаний, с которыми трудно жить. Немцы верят в «кровь» и

поэтому убивали всех грудных детей еврейского происхождения. Мы в «кровь» не верим и не можем убивать детей. Нужно уничтожить Германию как государство, раздробить его, заставить взрослых немцев работать над восстановлением разрушенных ими областей. А детей можно и должно перевоспитывать: дети это воск или глина в руках ваятеля. Уничтожить немцев невозможно, да и захватим мы только часть Германии. Нужно обезвредить, добиться раздробления государства. Вот мои мысли.
Желаю Вам боевого счастья и жму Вашу руку.
И. Эренбург

т. Шкилевскому
(Из Москвы на фронт — п.п. 09521-Ю,)
7 апреля 45 г.
Дорогой т. Шкилевский,
я не писал о милосердии к немцам. Это неправда. Я писал о том, что мы не можем убивать детей и старух. Это правда. Я писал, что мы не должны насиловать немок. Это я писал. В марте 1945 года я писал то же, что в марте 1942, но тогда перед нами были только немцы-солдаты, а теперь пред нами и немецкие дети. Мы должны и в победе остаться советскими людьми. Вы можете возмущаться моими статьями, это Ваше право, но не упрекайте меня в том, что я изменился — я писал и в 1942 году «мы жаждем не мести, а справедливости». Всё.
И. Эренбург

(Илья Эренбург. На цоколе истории. Письма 1931 — 1967. М. 2004. Стр. 336-337.)

Сталин этих эренбурговских писем, конечно, не читал. (Он и не мог их прочесть, они были опубликованы лишь недавно.) Быть может, он не прочел и его статью «Рыцари справедливости», на которую Эренбург ссылается и в одном из этих писем, и в своем письме к нему. Но он прекрасно знал, что Эренбург не мог поощрять мародерство и насилие и призывать к поголовному уничтожению немецкого народа.

Но для него все это не имело ни малейшего значения, потому что он знал и другое. Знал, что геббельсовская пропаганда годами лепила образ кровожадного еврея Эренбурга, призывающего стереть с лица земли немецкий народ. Трудно было подыскать другую фигуру, столь удобную для экзекуции, на примере которой Сталин мог бы так наглядно продемонстрировать, насколько неприемлемо для него такое «окончательное решение немецкого вопроса». Поистине тут можно сказать, что если бы Эренбурга не было, его в этот момент надо было бы выдумать.

Ну, а что касается цинизма и даже коварства, с которыми все это было проделано, то по этой части Сталин давно уже никого не мог удивить.

Но в полной мере вся степень этого его цинизма и этого его коварства обнаружилась лишь недавно.

Ответственный сотрудник комиссии по реабилитации при Президенте Российской Федерации Л.Е. Решин, работая в архивах Лубянки, которые по тогдашней его должности были для него доступны, нашел там — и опубликовал на страницах журнала «Новое время» — докладную записку начальника Главного управления контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР В.С. Абакумова Председателю Государственного Комитета Обороны И.В. Сталину.

Вот она:

29 марта 1945 года. № 693/А
Государственный Комитет Обороны тов. Сталину
Считаю необходимым доложить Вам, что в последнее время писатель И. Эренбург, выступая в общественных местах с лекциями о его впечатлениях от поездки в Восточную Пруссию, возводит клевету на Красную Армию.

> 21 марта с. г., читая лекцию начальствующему составу Военной Академии имени Фрунзе, где присутствовало около 150 человек, Эренбург заявил, что культура наших войск, наступающих в Восточной Пруссии, якобы очень низка, и в политическом отношении они подготовлены плохо, не могут организовать порядка, в результате чего военнослужащие допускают самоуправство…
> Еще до этого, 5 марта с. г., выступая в редакции газеты «Красная звезда», Эренбург, делясь своими впечатлениями о поездке по Восточной Пруссии, также допустил неправильные суждения о Красной Армии. Эренбург говорил, что вторые эшелоны Красной Армии якобы на грани разложения, занимаются мародерством, уничтожают и грабят ценности, пьянствуют и не отказываются от «любезностей» немок…
> Далее, коснувшись вопроса о наведении порядка в Восточной Пруссии, Эренбург сказал, что комендантами немецких городов назначают случайных лиц и не дают им никаких указаний, вследствие чего последние занимаются только конфискацией имущества, добывают спирт и пьянствуют… Политработники не знают, как себя вести, а некоторые из них даже показывают пример бойцам в бесчинстве…
> Офицеры Красной Армии, присутствовавшие на лекциях Эренбурга, были в недоумении и между собой говорили о политической вредности этих высказываний, однако никто из них против таких высказываний Эренбурга не выступил.
> Абакумов.
>
> ***(Борис Фрезинский. Все это было в XX веке. Заметки на полях истории. Винница. 2006. Стр. 486—487.)***

Этот доклад Абакумова был послан Сталину 29 марта. В тот же день, надо полагать, он и был им прочитан. А 14 апреля в «Правде» появилась статья Александрова.

Естественно предположить, что именно этот абакумовский донос и натолкнул Сталина на мысль дать залп по Эренбургу. А то, что в статье «Правды» ему вменялись в вину совсем не те его высказывания, о которых доносил Абакумов, а прямо противоположные, то это не только не уменьшает, но даже увеличивает вероятность такого предположения. Это типичный сталинский «ход», типичный выверт его иезуитского мышления.

Фадеев рассказал Эренбургу (и тот этот рассказ записал), как проходило присуждение Сталинской премии его роману «Буря». Сталин спросил, почему этот эренбурговский роман выдвинут на премию второй степени, Фадеев ответил, что, по мнению Комитета по премиям, в романе есть идеологические ошибки. Один из главных героев романа влюблен во француженку.

Сталин сказал:

— А мне эта француженка нравится. Хорошая девушка! И потом так в жизни бывает…

Пересказав эту историю, Эренбург замечает:

> Чем больше я думаю о Сталине, тем яснее вижу, что ничего не понимаю… Сталин отстаивал право Сергея любить Мадо, а вскоре после этого продиктовал закон, запрещавший браки между советскими гражданами и иностранцами… Теперь я спрашиваю себя: не натолкнул ли его мой роман на издание этого бесчеловечного закона? Сказал, что «так бывает», подумал и решил, что так не должно быть…
>
> ***(Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Том третий. М. 1990. Стр. 36-37.)***

В шестой книге своих мемуаров, пытаясь разобраться в своем сложном отношении к Сталину, он написал: «Сталин был человеком большого ума и еще большего коварства».

Эта высокая оценка ума Сталина вызвала возмущенный отклик известного журналиста-международника Эрнста Генри. (Его «открытое письмо Эренбургу», ходившее в Самиздате, многим тогда пришлось по душе.) Но как бы ни переоценивал Эренбург государственный ум Сталина, в «макиавеллиевской» природе его ума у него не было сомнений.

Сюжет третий

«ЭРЕНБУРГ СОГЛАСИЛСЯ…»

Борис Парамонов, на эссе которого об Эренбурге я уже ссылался однажды, так начинает этот свой опус:

> Одна несомненная и неизменная истина пребудет об Илье Эренбурге: в течение всей своей литературной жизни он умел удерживать общественное внимание и на видимом небе советской литературы оставался звездой первой величины. Это некий литературный аналог Микояна: оставался цел и невредим во всех чистках и качках века.
>
> ***(Борис Парамонов. Портрет еврея. В кн.: Борис Парамонов. Конец стиля. М. 1997. Стр. 402.)***

Бегло перечислив далее эренбурговские книги, привлекавшие к себе неизменное «общественное внимание» («Хулио Хуренито», «День второй», «Оттепель», «Люди, годы, жизнь»), он вновь возвращается к аналогии с Микояном, как видно, кажущейся ему и точной, и выразительной:

> На этом, так сказать, литературном посту он продержался чудовищно долго: почти полстолетия. Если и можно говорить об «отставке», то отставка после 63-го была не менее почетной, чем того же Микояна: тиражи, поездки к старому другу Пикассо и пышный, по первому классу, некролог. Конечно, выжил (любимое его словцо) не он один, даже и в литературе. Можно назвать Федина, Леонова, Тихонова, Шкловского — эти тоже оставались в изящной словесности и все же были (стали) литературными мертвецами: кто замолчал, кто писал ерунду, кто просто «скурвился». Эренбург не только не молчал, не только писал все время (хотя бы и ерунду), но и, самое поразительное, не «скурвился»… Многое, конечно, можно сказать об Эренбурге, одного не скажешь: что он стал при жизни мертвецом. Итак, «Эренбург остается жить» — вот эмблема этой судьбы (такую записку выдал ему замнаркома Карахан, когда его выгоняли из общежития наркоминдела). За такие удачи обычно приходится платить, и дорого. Ренегат? За то и пощадили? Но ренегатов было много, и пощадили далеко не всех.
>
> ***(Там же. Стр. 402—403.)***

Природу этой поразительной, едва ли не уникальной *живучести* Эренбурга Парамонов объясняет его еврейством. Не бытовым (пресловутый пятый пункт), но — онтологическим. Недаром же этому своему портрету Эренбурга он дал заглавие: «Портрет еврея». Эренбург у Парамонова не просто еврей, но — олицетворение самой сути еврейства. А в эту еврейскую суть как весьма важная — если не главная — ее составляющая входит вот эта самая *выживаемость* . Историческая — даже не историческая, а сущностная, именно вот онтологическая миссия еврейства (по Парамонову), быть может, именно в том и состоит, чтобы *выживать, выжить* .

Сам Эренбург, когда с ним заговаривали на эту тему (не о еврействе, а о том, каким чудом он уцелел), только пожимал плечами: «Лотерея».

Счастливый выигрыш в лотерее тут, конечно, тоже имел место. Но, как говорил Суворов: «Раз случай, два случай… Помилуй, Бог! Надобно ж когда-нибудь и уменье!»

Уменье — не уменье, но одним только словом «лотерея» эту загадку не объяснишь.

Объяснение Парамонова, однако, не кажется мне убедительным. Во всяком случае, к таким высотам, как он, я не воспаряю. Мое объяснение проще, прозаичнее. Но об этом — чуть позже. А пока я постараюсь припомнить если не все, так хоть некоторые повороты его судьбы, когда он оказывался на самом краю пропасти и вот-вот должен был в эту пропасть свалиться, но всякий раз его удерживала на этом краю одна и та же рука.

* * *

Павел Судоплатов, занимавший разные высокие должности в НКВД и МГБ СССР, тот самый, кому было поручено возглавить «спецоперацию» по «устранению» Троцкого (с чем он успешно справился), одно время работал под непосредственным руководством Л.П. Берии и был довольно с ним близок. В одной из последних глав своих мемуаров он рассказывает:

> В апреле 1953 года в поведении Берии я стал замечать некоторые перемены: разговаривая по телефону в моем присутствии (а иногда и еще нескольких старших офицеров госбезопасности) с Маленковым, Булганиным и Хрущевым, он открыто критиковал членов Президиума ЦК партии, обращался к ним фамильярно, на «ты». Как-то раз в присутствии начальника управления идеологической контрразведки Сазыкина он начал вспоминать, как спас Илью Эренбурга от сталинского гнева. По его словам, в 1939 году он получил приказ Сталина арестовать Эренбурга, как только тот вернется из Франции. На Лубянке Берию ждала телеграмма от резидента НКВД в Париже Василевского, в которой тот высоко оценивал политический вклад Эренбурга в развитие советско-французских отношений и его антифашистскую деятельность. Вместо того чтобы выполнить приказ Сталина, Берия на следующей встрече с ним показал телеграмму Василевского. В ответ Сталин пробормотал:
> — Ну что ж, если ты так любишь этого еврея, работай с ним и дальше.
>
> ***(Павел Судоплатов. Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930—1950 годы. М. 2002. Стр. 548—549.)***

Рассказ этот вызывает большие сомнения.

Я имею в виду не запись Судоплатова (он, скорее всего, более или менее точно записал то, что слышал), а рассказ Берии, который в тот — вершинный — момент своей политической карьеры старался утвердить себя в роли борца со сталинской тиранией и либерала (освободил «врачей-убийц», распорядился арестовать убийц Михоэлса, хотел даже реабилитировать расстрелянных членов Еврейского антифашистского комитета). «Спасение» Эренбурга, защита его от Сталина, уже будто бы распорядившегося его арестовать, — все это хорошо вписывалось в создаваемый им этот свой новый образ.

У Сталина намерение арестовать Эренбурга, быть может, и было (хотя и в этом тоже есть у меня большие сомнения). Но реплика вождя — «Ну что ж, если ты так любишь этого еврея, работай с ним и дальше» — представляется мне совсем уж маловероятной. Прежде всего, потому что Берия с Эренбургом никогда не работал. С Эренбургом Сталин всегда «работал» сам. Лично. И «посредником» в этих его взаимоотношениях с Эренбургом Берия никогда не был. Посредниками в этих случаях (когда в них возникала нужда) бывали совсем другие люди: сперва — Бухарин, в более поздние времена — Маленков, Шепилов.

Жизнь Эренбурга, однако, в этот момент (1939 год) действительно висела на волоске.

Прямую угрозу он ощутил — не мог не ощутить — годом раньше, во время судебного процесса над Бухариным и Рыковым. Близость Эренбурга с «Бухарчиком» ни для кого не была тайной, и вполне можно было ожидать, что в ответах Бухарина на вопросы Вышинского мелькнет и его имя. (Как мелькнуло имя самого Бухарина на предыдущем громком процессе, когда допрашивали Каменева и Зиновьева).

В своих мемуарах Эренбург рассказывает об этом скупо. (Подробнее тогда не мог, а может быть, и не хотел):

> В Москве Бухарина очень долго не арестовывали, допрашивали его не в ГБ, а в ЦК. Ему, например, показывали утверждение Радека о том, что однажды к Радеку на дачу приехали Бухарин и Эренбург, ели яичницу и Бухарин с Радеком вели деловой разговор о захвате власти. Я однажды был с Николаем Ивановичем на Сходне у Радека, и нас действительно накормили глазуньей, но разговор шел не о заговоре, а об охоте — оба были страстными охотниками…

> В начале марта 1938 года один крупный журналист, вскоре погибший по приказу Сталина, в присутствии десяти коллег сказал редактору «Известий» Я.Г. Селиху: «Устройте Эренбургу пропуск на процесс — пусть он посмотрит на своего дружка».
>
> ***(Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Том второй. М. 1990. Стр. 166-167.)***

Более подробный рассказ об этом я слышал из уст самого Эренбурга. Дело, однако, не в подробностях. В разговоре Эренбург был откровеннее. Не темнил, а прямо назвал не названное в мемуарах имя «одного крупного журналиста» (это был М. Кольцов). А главное, эта кольцовская фраза в устном его рассказе прозвучала совсем не так, как он записал ее в мемуарах.

Рассказывал он так. (Я ручаюсь за каждое слово):

— На процесс я идти не хотел. Но мне была передана фраза: «Нет уж, пусть пойдет, посмотрит на своего дружка».

«Передана» эта фраза ему была действительно Кольцовым. Но у Ильи Григорьевича не было сомнений насчет того, КЕМ она была произнесена.

Это была прямая угроза. Смысл ее и тогда был достаточно ясен. Но в 90-е годы, когда открылись (далеко не в полной мере, конечно, но все-таки) архивы Лубянки, мы узнали об этом подробнее.

Вот несколько фраз из протокола допросов И. Бабеля:

> — В 1933 году, во время моей второй поездки в Париж, я был завербован для шпионской работы в пользу Франции писателем Андре Мальро…
>
> — Скажите, где, когда вы установили шпионские связи?
>
> — В 1933 году… Эренбург познакомил меня с Мальро, о котором я был чрезвычайно высокого мнения, представив его мне как одного из ярких представителей молодой радикальной Франции. При неоднократных встречах со мной Эренбург рассказывал мне, что к голосу Мальро прислушиваются деятели самых различных правящих групп, причем влияние его с годами будет расти… Мальро высоко ставил меня как литератора, а Эренбург, в свою очередь, советовал это отношение ко мне Мальро всячески укреплять…
>
> — Уточните характер шпионской информации, в получении которой был заинтересован Мальро…
>
> ***(Виталий Шенталинский. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. М. 1995. Стр. 43—45.)***

Хоть показания эти из Бабеля были выбиты многодневными пытками, он все-таки уклоняется от прямых обвинений Эренбурга в «шпионских связях». Но следователю, ведущему допрос, этого и не нужно. Определение «шпионские» к слову «связи» он, где надо, впишет сам. Ему важно, дообы были названы новые имена фигурантов, которых можно будет привлечь по этому делу. И можно не сомневаться, что имя Эренбурга Бабель назвал не по своей инициативе. Оно было из него выбито следователем. И надо ли объяснять, с какой целью.

Очевидное намерение состряпать дело против Эренбурга подтверждается и протоколами допросов М. Кольцова:

> — Эренбург, являвшийся уполномоченным от Андре Жида и французов, заявил от их и своего имени недовольство составом советской делегации и, в частности, отсутствием Пастернака и Бабеля… На третий день Конгресса Жид передал через Эренбурга ультиматум… или в Париж будут мгновенно вызваны Пастернак и Бабель, или А. Жид и его друзья покидают Конгресс. С Пастернаком и Бабелем, равно как и с Эренбургом, у Жида и ряда других буржуазных писателей ряд лет имеются особые связи. Жид говорил, что только им он доверяет в информации о положении в СССР — «Только они говорят правду, все прочие подкуплены»…
>
> Реакция органов на признания Кольцова была незамедлительной:

«По его показаниям необходимо произвести дополнительные аресты названных им участников антисоветской организации».

(Виталий Шенталинский. Донос на Сократа. М. 2001. Стр. 444—445.)

Уезжая из Испании, Эренбург весьма смутно представлял себе, что ждет его в Москве. Он предполагал вернуться обратно через две недели. Я чуть было уже не написал, что вместо двух недель он «застрял» в Москве на целых пять месяцев, но тут же понял всю неуместность этого слова. На эти пять месяцев он в Москве не «застрял», а повис. На том самом волоске, на котором тогда висела его жизнь.

Обратно в Испанию его не выпускали, и он прекрасно понимал, что это значит.

Я долго думал, что мне делать, и решил написать Сталину… Я написал, что был в Испании свыше года, мое место там, там я могу бороться.

Прошла неделя, две — ответа не было. Самое неприятное в таком положении — ждать, но ничего другого не оставалось. Наконец меня вызвал редактор «Известий» Я.Г. Селих; он сказал несколько торжественно: «Вы писали товарищу Сталину. Мне поручили переговорить с вами. Товарищ Сталин считает, что при теперешнем международном положении Вам лучше оставаться в Советском Союзе. У вас, наверно, в Париже вещи, книги? Мы можем устроить, чтобы ваша жена съездила и все привезла…»

Я пришел домой мрачный, лег и начал размышлять. Совет, переданный мне Селихом (если можно было назвать это советом), мне казался неправильным. Что я здесь буду делать? Тынянов пишет о Пушкине, Толстой — о Петре. Кармен снимает героические экспедиции, мечтает поехать в Китай. Кольцов причастен к высокой политике. А мне здесь сейчас делать нечего. Там я могу быть полезен: я ненавижу фашизм, знаю Запад. Мое место не в Лаврушинском…

Пролежав день, я встал и сказал: «Напишу снова Сталину…» Здесь даже Ирина дрогнула: «Ты сошел с ума? Что ж ты, хочешь Сталину жаловаться на Сталина?» Я угрюмо ответил: «Да». Я понимал, конечно, что поступаю глупо, что, скорее всего, после такого письма меня арестуют, и все же письмо отправил.

Ждать было еще труднее. Я мало надеялся на положительный ответ и знал, что больше ничего не смогу сделать, слушал радио, перечитывал Сервантеса, от волнения почти ничего не ел. В последних числах апреля мне позвонили из редакции: «Можете идти оформляться, вам выдадут заграничные паспорта». Почему так случилось? Этого я не знаю.

(Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Том второй. М. 1990. Стр. 160—161.)

М. Кольцов, рассказывая (брату) о своем последнем разговоре со Сталиным, сказал, что, уже выходя из сталинского кабинета, прочел в глазах вождя: «Слишком прыток».

Вот так же, читая письмо Эренбурга, Сталин, наверно, тоже поморщился: «Слишком настырен». Но в этом случае решил по-другому, не так, как с Кольцовым. Может быть, вспомнил об этом эренбурговском письме год спустя и потому и приказал Берии арестовать нахала? (Если, конечно, Лаврентий все это не выдумал и такое распоряжение Сталиным действительно было ему дано.)

Как бы то ни было, и в 38-м, и в 39-м он уцелел.

Уцелел и десять лет спустя, когда угроза ареста, на этот раз, казалось, уже неминуемая, нависла над ним снова.

Вот как это было:

Судьбу И.Г. Эренбурга в связи с так называемым делом Еврейского антифашистского комитета решил Сталин. В представленном вождю министром госбезопасности СССР В.С. Абакумовым в начале 1949 г. списке лиц, намечаемых к аресту по этому делу, фамилия И.Г. Эренбурга стояла одной из первых. «По агентурным данным, — указывалось, в частности, — находясь в 1937 году в Испании, Эренбург в беседе с французским писателем, троцкистом Андре Мальро

> допускал вражеские выпады против товарища Сталина… В течение 1940—47 гг. в результате проведенных чекистских мероприятий зафиксированы антисоветские высказывания Эренбурга против политики ВКП(б) и Советского государства». Однако вождь, поставив рядом со многими другими фамилиями галочку и начальные буквы слова «Арестовать», напротив фамилии Эренбурга оставил лишь замысловатый полувопросительный значок. Рядом с ним — помета А.Н. Поскребышева: «Сообщено т. Абакумову».
>
> ***(Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917-1953. М. 2002. Стр. 790.)***

Конечно, и на этот раз Сталин решил пощадить Эренбурга совсем не потому, что питал к нему какие-то особые чувства. И никакая это была не лотерея. Дело объясняется просто: Эренбург — и раньше, и тогда, и потом — *был ему нужен* .

*** * ***

21 сентября 1948 года в «Правде» появилась большая статья Эренбурга. Называлась она — «По поводу одного письма».

Она была как бы ответом на письмо некоего Александра Р., студента-еврея из Мюнхена, который обратился к нему, Эренбургу, с жалобами на антисемитизм в Западной Германии и доказывал, что единственное спасение для всех евреев от этой их общей беды — эмиграция в Израиль.

Если не всем, то многим читателям этой статьи уже тогда было ясно, что никакого Александра Р. в действительности не существует, что фальшивое это письмо было состряпано в недрах советского агитпропа, а так называемый ответ Эренбурга этому несуществующему германскому студенту был Илье Григорьевичу **заказан** . И не кем-нибудь, а, конечно, самим Сталиным.

Сейчас эта нехитрая догадка подтверждена обнаруженными (сравнительно недавно) документами.

В архивах отыскалась записка Маленкова Сталину, отправленная ему 18 сентября вместе с оттиском эренбурговской статьи:

> Перед отпуском Вы дали указание подготовить статью об Израиле. Дело несколько задержалось из-за отсутствия в Москве Эренбурга. На днях Эренбург прибыл. Мы с Кагановичем, Поспеловым и Ильичевым имели с ним разговор. Эренбург согласился написать статью.
>
> ***(Советско-израильские отношения. Сборник документов. 1941—1953. т.1, кн. 1, стр. 375—383.)***

На оттиске посланной Сталину статьи Эренбурга — сделанная рукой Поскребышева пометка: «Товарищ Сталин согласен».

Итак, сомнений нет: статья Эренбурга «По поводу одного письма» — чистейшей воды **заказуха** .

Однако самое интересное в этой записке Маленкова не это. Самое интересное и даже поразительное в ней вот эти два слова: «Эренбург согласился». Попробовал бы он не согласиться!!! Но и «товарищ Сталин» тоже выразил свое согласие. С чем же он согласился? По-видимому, с каким-то встречным предложением Эренбурга, не так ли?

Да, именно так.

В начале сентября, уезжая в отпуск, Сталин распорядился подготовить статью о том, как советские евреи должны относиться к государству Израиль. Статья эта, по его замыслу, должна была быть подписана несколькими громкими именами. Первым в этом списке им был назван Эренбург. Естественно, к нему первому и обратились. Но Эренбург, как доложили Сталину, «высказался против того, чтобы статья вышла за несколькими подписями». Он

готов был нести личную ответственность за все, что будет написано в этой статье, но при условии, что напишет это сам — в рамках сталинского заказа, конечно, — напишет **то, что захочет, и так, как захочет.**

* * *

Как ни странно покажется это современному читателю, — сочиняя эту свою статью, Эренбург не кривил душой. Он был искренен. И — мало того! — он писал ее с сознанием выполняемого не только общественного, но и личного нравственного долга, личной своей ответственности перед теми, к кому обращался.

Начать с того, что он никогда не сочувствовал идеям сионизма. Точнее — идее воссоздания еврейского национального очага, самостоятельного еврейского государства

Идея эта его не только не привлекала: чем-то она его даже отталкивала.

Эта «антисионистская» позиция Эренбурга в умах некоторых его критиков сейчас прочно связалась с оголтелым антисионизмом официальной советской пропаганды. Но «антисионизм» Эренбурга не имел ничего общего с этой советской идеологической фобией.

К мечте о создании «маленького, но своего» еврейского государства Эренбург относился примерно так же, как к еврейской литературе на языке «идиш».

> Книги еврейских писателей, которые пишут на «идиш», иногда доходят до нас. Это — книги как книги, нормальная литература, вроде румынской или новогреческой. Там идет хозяйственное обзаведение молодого языка, насаждаются универсальные формы, закрепляется вдоволь шаткий быт, проповедуются не бог весть какие идеи.

Это — из статьи «Ложка дегтя», написанной в 1925 году. Статья эта вошла в его книгу «Белый уголь или слезы Вертера».

Можно предположить, что этот высокомерный, снисходительный тон — порождение великодержавного, великорусского, шовинизма: с вершины русского Парнаса, где обитают такие гиганты, как Гоголь, Толстой, Достоевский, далее звезд первой величины какой-нибудь там румынской, новогреческой или идишистской литературы можно разглядеть разве что в микроскоп.

Но естественное предположение это сразу же опровергается следующей фразой:

> Может быть, этот язык слишком беспомощен, слишком свеж и наивен для далеко не младенческого народа.

Нет, великорусским шовинизмом тут и не пахнет. Это не русская, а именно еврейская гордыня:

> Ведь без соли человеку и дня не прожить, но соль едка, ее скопление — солончаки, где нет ни птицы, ни былинки, где мыслимы только умелая эксплуатация или угрюмая смерть.
>
> Я не хочу сейчас говорить о солончаках, — я хочу говорить о соли, о щепотке соли в супе…
>
> Критицизм — не программа. Это — состояние. Народ, фабрикующий истины вот уже третье тысячелетие, всяческие истины — религиозные, социальные, философские, фабрикующий их миролюбиво, добросовестно, не покладая рук, истины оптом, истины сериями, этот народ отнюдь не склонен верить в спасительность своих фабрикатов…
>
> Шестьсот лет тому назад поэт Раби Сан-Тоб преподнес испанскому королю Педро Жестокому книгу, озаглавленную: «Советы». Стихи докучливого еврея должны были утешать короля в часы бессонницы. Книга начиналась следующим утешением: «Нет ничего на свете, что бы вечно росло. Когда луна становится

полной, она начинает убывать». Конечно, трудно утешить короля подобными истинами. Однако Педро Жестокий, будучи светским кастильцем, ответил поэту не менее мудрой пословицей: «Как хорошее вино иногда скрыто в плохой бочке, так из уст иудея порой исходит истина». Это показывает, что король не дошел до девятой страницы «Советов», — там он прочел бы нечто весьма подозрительное об устах и вине: «Что лучше? Вино Андалузии или уста, которые жаждут? Глупец! Самое прекрасное вино забывается, а жажда, ничем не утоленная, остается».

Мир был поделен. На долю евреев досталась жажда. Лучшие виноделы, поставляющие человечеству романтиков, безумцев и юродивых, они сами не особенно-то ценят столь расхваливаемые ими лозы. Они предпочитают сухие губы и ясную голову.

При виде ребяческого фанатизма, начального благоговения еще не приглядевшихся к жизни племен, усмешка кривит еврейские губы. Что касается глаз, то элегические глаза, классические глаза иудея, съеденные трахомой и фантазией, подымаются к жидкой лазури. Так рождается «романтическая ирония».

Но, пожалуй, с наибольшей ясностью свое отношение к проклятому «еврейскому вопросу» Эренбург выразил в главной своей книге, в своем знаменитом романе «Необычайные похождения Хулио Хуренито».

Роман этот замечателен во многих отношениях. Но более всего поражает он сегодняшнего читателя высказанными в нем — на тот момент казавшимися совершенно невероятными, но вскоре сбывшимися — пророчествами.

Иные из этих пророчеств были достаточно просты. Но и они поражают. Не столько даже тем, что полностью подтвердились дальнейшим развитием событий, сколько своей убийственной конкретностью:

— Чтобы не забыть, я заготовлю текст приглашений, а ты, Алексей Спиридонович, снесешь их завтра в типографию «Унион».

Пять минут спустя он показал нам следующее:

В недалеком будущем состоятся торжественные сеансы
УНИЧТОЖЕНИЯ ИУДЕЙСКОГО ПЛЕМЕНИ В БУДАПЕШТЕ, КИЕВЕ, ЯФФЕ, АЛЖИРЕ
и во многих иных местах

В программу войдут, кроме излюбленных уважаемой публикой традиционных
ПОГРОМОВ
также реставрирование в духе эпохи: сожжение иудеев, закапывание их живьем в землю,
опрыскивание полей иудейской кровью и новые приемы, как-то: «эвакуация», «очистки от подозрительных элементов» и пр. и пр.

—Учитель! — воскликнул в ужасе Алексей Спиридонович. — Это немыслимо! Двадцатый век — и такая гнусность! Как я могу отнести это в «Унион» — я, читавший Мережковского?

— Напрасно ты думаешь, что сие несовместимо. Очень скоро, может быть, через два года, может быть, через пять лет, ты убедишься в обратном. Двадцатый век окажется очень веселым и легкомысленным, а читатели Мережковского — самыми страстными посетителями этих сеансов! Видишь ли, болезни человечества не детская корь, а старые, закоренелые приступы подагры. У него имеются некоторые привычки по части лечения… Где уж на старости лет отвыкать!..

Повторю еще раз: поразительно не то, что пророчество сбылось. Застарелые болезни человечества действительно трудноизлечимы. Поразительно, что предсказания эти сбылись даже в деталях. Были и «эвакуации», и «депортации», и «очистка от подозрительных элементов», и многое другое. Разве только место читателей Мережковского заняли читатели Ницше, Гауптмана, Гамсуна, Эзры Паунда и Габриэля д'Анунцио. Впрочем, читатели

Мережковского тоже были там не в последних рядах. Да и сам Мережковский не побрезговал нанести почтительный визит одному из устроителей этих «сеансов» — синьору Бенито Муссолини, пытаясь (кажется, впрочем, безуспешно) выклянчить у него пенсию.

Главное, однако, не в этих сбывшихся пророчествах, которые автор «Хулио Хуренито» вложил в уста своего героя, почтительно именуемого им Учителем.

Главное — то, что происходит непосредственно вслед за этим примечательным диалогом Учителя и Ученика:

> — Учитель, — возразил Алексей Спиридонович, — разве евреи не такие же люди, как и мы?..
> — Конечно, нет!.. Иудеев можно любить или ненавидеть, взирать на них с ужасом, как на поджигателей, или с надеждой, как на спасителей, но их кровь не твоя, их дело не твое. Не понимаешь? Не хочешь верить? Хорошо, я попытаюсь объяснить тебе это вразумительно. Вечер тих, нежарко, за стаканом легкого вуврэ я займу вас детской игрой. Скажите, друзья мои, если бы вам предложили из всего человеческого языка оставить одно слово, а именно, «да» или «нет», остальное упразднив, какое бы вы предпочли?..

В «игре», затеянной «великим провокатором», участвуют все его ученики — мистер Куль, мсье Дэле, Алексей Спиридонович Тишин, Карл Шмидт, Эрколе Бамбучи, негр Айша и «русский поэт Илья Эренбург».

Каждый из них — не просто представитель той или иной национальности: немец, француз, итальянец, русский… И даже не просто некий национальный тип, вобравший самые узнаваемые черты национального характера немца, француза, итальянца, русского. Уместнее тут было бы другое слово: **архетип** . То есть — образец, квинтэссенция всех типовых свойств американского бизнесмена, французского рантье, русского интеллигента, американского лаццарони…

Итак, «игра» началась:

> — Начнем со старших. Вы, мистер Куль?
> — Конечно, «да», в нем утверждение и основа. Я не люблю «нет», оно безнравственно и преступно… Когда я показываю доллары, все говорят мне — «да». Уничтожьте какие угодно слова, но оставьте долллары и «да», и я берусь оздоровить человечество.
> — По-моему, и «да» и «нет» — крайности, — сказал m-г Дэле, — а я люблю во всем меру. Но что ж, если надо выбирать, то я говорю «да»! «Да» — это радость, порыв, что еще?.. Да! Гарсон, «Дюбоннэ»! Да! Зизи! ты готова? Да, да!
> Алексей Спиридонович, еще потрясенный предыдущим, не мог собраться с мыслями, он мычал, вскакивал, садился и, наконец, завопил:
> — Да! Верую, господи! Причастье! «Да»! Священное «да» чистой тургеневской девушки…
> — Да! Si! — ответил Эрколе. — Во всех приятных случаях жизни говорят «да», и только когда гонят в шею, кричат «нет»!..

Короче говоря, все ученики «великого провокатора», рбьясняя это разными соображениями и подтверждая разными доводами, отвечают, что если бы из всех слов, какие долько существуют в их словаре, им надо было выбрать одно — «да» или «нет», — они решительно выбрали бы «да».

Но вот очередь доходит до первого и самого любимого ученика Хулио Хуренито — русского поэта Ильи Эренбурга:

> — Что же ты молчишь? — спросил меня Учитель.
> Я не отвечал раньше, боясь раздосадовать его и друзей.
> — Учитель, я не солгу вам — я оставил бы «нет». Видите ли, откровенно говоря, мне очень нравится, когда что-нибудь не удается. Я очень люблю мистера Куля, но

мне было бы приятно, если бы он вдруг потерял свои доллары… Конечно, как сказал мой прапрапрадедушка, умник Соломон: «Время собирать камни и время их бросать». Но я простой человек, у меня одно лицо, а не два! Собирать кому-нибудь придется, может быть, Шмидту. А пока что я, отнюдь не из оригинальности, а по чистой совести должен сказать: «Уничтожь «да», уничтожь на свете все, и тогда само собой останется одно «нет»!

Пока я говорил, все друзья, сидевшие рядом со мной на диване, пересели в другой угол. Я остался один. Учитель обратился к Алексею Спиридоновичу:

— Теперь ты видишь, что я был прав. Произошло естественное разделение. Наш иудей остался одиноким. Можно уничтожить все гетто, стереть все «черты оседлости», срыть все границы, но ничем не заполнить этих пяти аршин, отделяющих вас от него. Мы все Робинзоны или, если хотите, каторжники. Дальше — дело характера. Один приучает паука, занимается санскритским языком и любовно подметает пол камеры. Другой бьет головой стенку — шишка, снова бух, снова шишка… Что крепче — голова или стена? Пришли греки, осмотрелись — может быть, квартиры и лучше бывают, без болезней, без смерти, без муки. Например, Олимп. Но ничего не поделаешь, надо устраиваться в этой. А чтобы сберечь хорошее настроение, лучше всего объявить все неудобства — включая смерть (все равно ничего не изменишь) — величайшими благами. Иудеи пришли и сразу бух в стенку. «Почему так устроено?..»

Монолог Хуренито затягивается еще аж на полторы страницы: чувствуется, что эта тема для него (а вернее — для автора) — из самых больных и самых любимых.

Не рискуя длить дальше цитату (она и так слишком затянулась), перехожу сразу к его заключительной фазе:

— Как не любить мне этого заступа в тысячелетней руке? Им роют могилы, но не им ли перекапывают поле? Прольется иудейская кровь, будут аплодировать приглашенные гости, но по древним нашептываниям она горше отравит землю. Великое лекарство мира!..

И, подойдя ко мне, Учитель крепко поцеловал меня в лоб.

Вот оно — кредо Ильи Эренбурга по так называемому еврейскому вопросу.

Его путь — и в жизни, и в литературе — был сплошными метаниями, он весь состоял из крутых поворотов и зигзагов. Но этому своему символу веры он не изменил ни разу.

Да, Эренбург действительно без восторга относился к идее создания еврейского национального государства. Но не потому, что был сторонником ассимиляции. Он не стал патриотом Израиля, потому что был и навсегда остался патриотом еврейской диаспоры. Он был убежден, что только в диаспоре евреям дано сохранить свою сущность, свою (воспользуемся словцом современного философского жаргона) экзистенцию. Создав свое государство, они не приобретут, а потеряют. Нет, кое-что, может быть, и приобретут, но **потеряют себя** .

Противником создания еврейского национального государства он, конечно, не был. Готов был признать, что для тех евреев, которые составят народонаселение этого еврейского национального очага, оно, может быть, было бы не так уж и плохо. Но не дай Бог, если при этом прекратит свое существование двухтысячелетняя еврейская диаспора. Ведь тогда скептическую еврейскую усмешку сменит ребяческий фанатизм, наивное прекраснодушие, слезливое благоговение…

Евреи как этнос, как некая человеческая общность при этом, может быть, даже и выиграли бы. Но каким унылым и тусклым стал бы наш мир без этой исчезнувшей кривой еврейской усмешки:

Устала и рука. Я перешел то поле.
Есть мУка и мукА, но я писал о соли.

Соль истребляли все. Ракеты рвутся в небо.
Идут по полосе и думают о хлебе.
Вот он, клубок судеб. И тишина средь песен.
Даст Бог, родится хлеб. Но до чего он пресен!

Это стихотворение Эренбург написал незадолго до смерти. И — вот что удивительно! — не только написал, но и напечатал. (В последнем прижизненном своем собрании сочинений.)

Напечатать его в пору самой яростной охоты за сионистскими ведьмами ему удалось не потому, что он как-то там особенно хитроумно зашифровал свою мысль. (Какой уж там шифр: все сказано достаточно прямо.) Просто никто уже давно не помнил, **что** он когда-то там «писал о соли». Вот бдительные редакторы и цензоры и не догадались, без какой соли станет пресным хлеб, который уродится после того, как «соль» истребят окончательно и бесповоротно.

* * *

Из всего сказанного выше следует, что, уговаривая своих читателей (в том своем ответе мифическому Александру Р.) не считать Израиль спасением от всех еврейских бед и напастей, Эренбург до некоторой степени был искренен. Но при этом он уверял их, что евреев, разбросанных по планете, объединяет только антисемитизм, а в остальном между ними нет ничего общего. И тут он, конечно, кривил душой. Оправданием ему тут может служить то, что, помимо скептического отношения к идее создания еврейского национального государства, была и другая, куда более серьезная причина, заставившая его написать ту, заказанную Сталиным статью.

Причина эта состояла в том, что он очень ясно видел и понимал то, что видели и понимали тогда очень немногие.

Тут, пожалуй, есть смысл рассказать одну — совсем короткую — историю, героем которой был один мой добрый знакомый — Эдуард Бабаев.

Он был то, что называется, литератор милостью Божией. В детстве его и его дружка — впоследствии известного поэта — Валю Берестова (дело было в Ташкенте) привечали и опекали Ахматова, Алексей Николаевич Толстой, Корней Иванович Чуковский.

— Вам надо записаться в настоящую большую библиотеку, — сказал Корней Иванович, когда Эдик прочел ему свои детские стихи.

А Анна Андреевна добавила:

— И поступить в университет.

Последний совет осуществить было еще труднее, чем первый. И вышло так, что сперва он стал (там, у себя, в Ташкенте) студентом Транспортного института.

Но мечта поступить в университет (разумеется, на филфак) его не оставляла

Кончилось дело тем, что в один прекрасный день он сорвался из дому и сбежал в Москву.

Тут сразу же выяснилось, что мечта перевестись из его института в Московский университет, да еще на факультет, не имеющий ничего общего с институтом, в котором он учился, не то что неосуществима, а прямо-таки безумна. Но знакомство с Ахматовой, Чуковским и А.Н. Толстым открыло ему в Москве многие двери. Он познакомился с Пастернаком, Шкловским, Ираклием Андрониковым. И все они — по мере сил — старались ему помочь. Корней Иванович написал рекомендательное письмо академику В.В. Виноградову. Шкловский никаких писем писать не стал, а тут же позвонил Федору Васильевичу Гладкову, кото-был тогда директором Литературного института, и сказал ему, что, хотя сейчас давно уже не начало, а середина учебного года, этого парня в потертой шинели и разбитых сапогах в институт немедленно надо принять, потому что он талантлив.

Гладков спросил, кто еще, кроме Шкловского, может этого талантливого парня рекомендовать. Шкловский сказал:

— Ахматова.

Гладков хмыкнул и сказал, что гораздо лучше было бы, если б его рекомендовал, например, Эренбург.

И Эдик отправился к Эренбургу.

Повод для такого визита у него был: письмо Надежды Яковлевны Мандельштам, с которой он познакомился — и даже подружился — в том же Ташкенте.

В отличие от Корнея Ивановича и Виктора Борисовича Илья Григорьевич встретил его неласково. Сперва не предложил даже раздеться. Но в самом начале разговора неожиданно спросил:

— Вы пишете стихи?

И когда Эдик ответил утвердительно, закурил трубку, откинулся на спинку кресла и коротко приказал:

— Читайте.

Послушав, сказал:

— Пойдите снимите шинель.

Напряжение первых минут прошло. Но ласковее он не стал. Говорил все так же хмуро, как будто даже недоброжелательно.

Мельком взглянув на рекомендательное письмо Шкловского, которое Эдик ему показал, разразился таким раздраженным монологом:

— Ни у кого не берите никаких рекомендательных писем. Никто не может поручиться, что имена, которые сегодня еще кажутся вполне респектабельными, завтра не окажутся отверженными… Зачем и кому это сейчас нужно ссылаться на авторитет Анны Ахматовой? Одна такая строка может погубить вас…

Вспоминая об этом, Эдик сказал, что никто и никогда не говорил с ним таким тоном. Эренбург почти кричал на него:

— Уезжайте домой. Чем дальше, тем лучше. Бросьте ваш институт, если он вам не по душе. Проситесь в армию, поезжайте в полк, служите. Все будет лучше Литературного института, где вас затравят именно за то, что вас рекомендовала Анна Ахматова, за то, что вы привезли мне письмо вдовы несчастного Мандельштама…

В общем, ушел Эдик от него сильно обескураженный. И странным его советам, конечно, не внял. Вернувшись в Ташкент, после долгих мытарств перевелся все-таки из своего Транспортного в университет. Нет, пока еще не на филфак, а на физмат. Но после весенней сессии добился все-таки перевода на филфак. Правда, с потерей одного года. Но это его не смущало. Он был счастлив.

И вот тут-то и сбылось мрачное пророчество Эренбурга.

Грянуло постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой. И его вызвали куда-то там в деканат или в партком и сказали, что он должен выступить на общем собрании и сказать о том вредном влиянии, которое оказывает поэзия Анны Ахматовой на молодежь.

— Все знают, — сказали ему, — что ты был знаком с этой осужденной общественным мнением поэтессой… Кому как не тебе! Подумай… У тебя впереди еще вся жизнь!

И он подумал. И подал заявление в ректорат с просьбой об «увольнении» из числа студентов филологического факультета.

Я не стану распространяться о том, каких душевных мук это ему стоило. Не столько даже потому, что читатель, обладающий даже не слишком богатым воображением, легко и сам себе это представит, а просто потому, что рассказываю не о судьбе Эдуарда Бабаева (который, к слову сказать, в конце концов все-таки стал филологом), а об Эренбурге.

В отличие от ласкового Корнея Ивановича и доброжелательного Виктора Борисовича, которые искренне хотели помочь талантливому юноше, раздраженно оравший на него Эренбург ХОТЕЛ ЕГО СПАСТИ. Он хотел ПРЕДОСТЕРЕЧЬ его от шага, который мог оказаться для него гибельным.

До постановления ЦК о Зощенко и Ахматовой было еще около года. И ничего об этом готовившемся (тогда, наверно, даже еще и не готовившемся) постановлении Илья Григорьевич, конечно, не знал. Просто не мог знать.

Но он чувствовал, что **дело пахнет керосином** .

И тот же запах, только стократ усиленный, толкнул его написать ответ мифическому Александру Р. — это свое ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ евреям, ошалевшим от известия, что впервые за две тысячи лет у них опять появилось наконец свое государство.

А московские евреи (не только московские, конечно, но о московских я знаю точно) тогда и впрямь ошалели.

Как раз тогда (2 сентября 1948 года) приехала в Москву Голда Меир. Голдой Меир, впрочем, она стала именоват себя позже, а тогда еще звалась Голдой Мейерсон. Но сути дела это не меняло. Она была первым послом (формально — посланником) Израиля в Москве. И пронесся слух, что когда она появилась в московской хоральной синагоге в день празднования еврейского Нового года, толпы вот этих самых ошалевших евреев устроили нечто вроде радения. Собралось их там, как говорили, не то десять, не то двадцать, не то тридцать тысяч человек. Первого израильского посла они приветствовали как Мессию. Многие в экстазе целовали края ее одежды.

Такая же — еще более бурная — демонстрация еврейских национальных чувств разразилась спустя неделю, когда Голда Мейерсон уже вторично прибыла в синагогу по случаю праздника Судного дня. Неисчислимые толпы евреев, восторженно повторявших древнее заклинание «На следующий год — в Иерусалиме», двинулись вслед за израильскими дипломатами, которые решили пройти пешком от синагоги до своей резиденции в гостинице «Метрополь». Это была уже не эйфория, а самая что ни на есть настоящая истерия.

Я очень хорошо помню тогдашнее свое отношение ко всем этим слухам.

Во-первых, я не поверил, что евреев, пришедших поглазеть на Голду, было так много. (Впоследствии подтвердилось, что их там действительно собралось не менее десяти тысяч.) А во-вторых — и это было самое главное — всех припершихся туда, в синагогу, в полном соответствии с тогдашним моим комсомольским миросозерцанием, я счел не только ничтожной количественно, но и безусловно самой отсталой частью московских евреев.

Впрочем, дело тут было не только в моем комсомольстве. Я исходил из убеждения, что **интеллигентный человек** в синагогу не пойдет. А все более или менее знакомые мне евреи были интеллигентами. Стало быть, те, кто собрались там, в синагоге, и устроили все это радение, были из среды самого что ни на есть темного, местечкового еврейского мещанства. Ну, а что касается целования одежд, то это и вовсе вызвало у меня тогда самое искреннее отвращение. Даже, я бы сказал, брезгливость.

Не могу сказать, что сейчас я так уж сильно изменил свое к этому отношение. Нет, мое отношение — и к синагоге, и ко всем этим радениям — осталось прежним.

Но сейчас я лучше понимаю чувства, владевшие евреями, составившими ту толпу. Чувства людей, помнивших (в отличие от меня), что их предки на протяжении двух тысячелетий повторяли как молитву это святое заклинание — «На следующий год — в Иерусалиме». И вдруг узнавших, что эта двухтысячелетняя мечта гонимого народа, рассеянного по всей планете, стала реальностью.

К этому надо еще добавить, что все они были искренне убеждены, что Израиль возродился если не по воле, то, во всяком случае, во многом благодаря личному участию товарища Сталина. Так что радение это для них (во всяком случае, для большинства из них) вовсе не было чем-то нелояльным по отношению к родимой нашей советской власти.

Да, конечно, утверждая, что разбросанных по миру евреев связывают только печи Освенцима и Майданека, Эренбург кривил душой. На самом деле он так, конечно, не думал. Но выполнить сталинский заказ он согласился не «страха ради иудейска», и статью ту написал «не по долгу, а по душе».

Недаром в этой своей статье он вспомнил и процитировал давний ответ Сталина американскому телеграфному агентству «Об антисемитизме».

Процитировал он из этого сталинского ответа лишь несколько строк, но я приведу его здесь полностью:

> Отвечаю на Ваш вопрос.
> Национальный и расовый шовинизм есть пережиток человеконенавистнических нравов, свойственных периоду каннибализма. Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма.
> Антисемитизм выгоден эксплуататорам, как громоотвод, выводящий капитализм из-под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма.
> В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление, глубоко враждебное Советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью.
> И. Сталин.

Этот свой ответ на вопрос американского телеграфного агентства Сталин дал 12 января 1931 года. А впервые опубликован он был в «Правде» 30 ноября 1936-го. Теперь же на дворе стоял 1948-й. И для Эренбурга, конечно, не было тайной, что антисемитизм теперь уже не был «глубоко враждебен Советскому строю». Мало того! Что он уже стал (во всяком случае, начал становиться) одной из фундаментальных основ советского государственного устройства. Напоминая читателям этой своей статьи ту, давнюю сталинскую цитату, Эренбург полагал, что если Сталин статью пропустит и она будет напечатана в «Правде», эти, не ко времени вдруг воскресшие в ней сталинские слова станут чем-то вроде директивы.

Сталин его статью прочел и одобрил. И она появилась в «Правде» — с той самой сталинской цитатой. И у Эренбурга вроде были все основания надеяться, что Сталин понимает, как опасен для будущего страны зарождающийся государственный антисемитизм.

Но у Сталина на этот счет была другая точка зрения и совсем другой сценарий развития событий, в котором Эренбургу была назначена своя, особая роль.

Сюжет четвертый
ОСОБАЯ РОЛЬ

Иосиф Бродский в одном из своих прозаических сочинений (оно называется «Размышления об исчадии ада»), вспоминая о днях, предшествовавших смерти Сталина, говорит, что маленькая их семья в те дни готовилась к отъезду:

> Ибо стало известно, что в результате «дела врачей» (в результате сомневаться не приходилось) всех евреев будут перемещать на Дальний Восток, чтобы тяжким трудом на благо своего социалистического отечества они могли искупить вину своих соплеменников: врачей-вредителей. Мы продали пианино, на котором я все равно не умел играть и которое было бы глупо тащить через всю страну — даже если б и разрешили; отца выгнали из армии, где он прослужил всю войну, и на работу нигде не брали; работала только мать, но и она держалась на волоске. Мы жили на ее зарплату и готовились к депортации, и по рукам ходило письмо, подписанное Эренбургом, Ботвинником и другими видными советскими евреями, которое гласило о великой вине евреев перед советской властью и которое со дня на день должно было появиться в «Правде».

Сомневаюсь, чтобы такое письмо тогда «ходило по рукам». Но слухи действительно были.

Правда, и слухи эти сильно отличались от того, что пишет Бродский. Но он жил тогда в Ленинграде, а я — в Москве. К тому же ему было тогда всего-навсего 13 лет, так что он

вполне мог кое-что перепутать: на воспоминания о тех временах могли наложиться более поздние слухи и впечатления.

Мне было тогда — 26. Но и я не могу сейчас точно сказать, когда эти слухи дошли до меня впервые: в последние недели жизни Сталина или уже после его смерти. Но если и после смерти, то вскоре.

Слухов было много. Но все версии действительно сводились к тому, что вызвали тогда (в феврале 1953-го) куда-то наверх всех именитых советских евреев и предложили им подписать письмо, по сути оправдывающее и даже как бы обосновывающее необходимость высылки всех их соплеменников в места отдаленные. Еврейский народ, дескать, погряз в болоте сионизма, буржуазного национализма, а потому должен быть отправлен на «перевоспитание».

Кто говорил, что именитых евреев, подписавших это письмо, минет общая еврейская участь. Кто, напротив, утверждал, что, подписав, они тем самым признались бы в своей готовности разделить ее.

Это все более или менее совпадает с тем, что рассказывает Бродский.

А вот насчет того, что под тем письмом якобы стояла подпись Эренбурга, мне слышать не приходилось ни разу. Во всех доходивших до меня версиях утверждалось прямо противоположное: подписали будто бы все — и Ойстрах, и Дунаевский, и Ботвинник, и Левитан, и Рейзен, и Ландау, и Маршак, и Гроссман. Говорили, что даже самый главный еврей Советского Союза — Лазарь Моисеевич Каганович — и тот поставил под этим письмом свою подпись. И только Эренбург — единственный из всех! — категорически отказался его подписать.

Рассказывали даже, что Каганович — сам, лично — звонил Эренбургу и уговаривал его подписать. Ничего не поделаешь, мол, надо. А то — еще хуже будет.

Но Эренбург и тут устоял. Сказал, что не подпишет, пока сам Сталин не позвонит ему и не скажет, что надо.

— Статью Бубеннова в сегодняшней «Правде» читал? — помню, спросил меня в те дни мой друг Гриша Бакланов.

Это было именно в том самом феврале. Могу даже сказать более точно: статья Михаила Бубеннова о романе Гроссмана «За правое дело» появилась в «Правде» 13 февраля 1953 года, за три недели до смерти вождя.

Статья была разбойничья, доносительская, откровенно черносотенная. Но к этому мы тогда уже привыкли. А тут звучала какая-то новая нота. От всех предыдущих статей того же рода, которых к тому времени появилось уже немало, она отличалась какой-то особой зоологической злобой и ненавистью. Этой повышенной злобностью она была пронизана вся, от первой своей строки до последней точки.

Но дело было не только в этом.

Каждому прочитавшему ее сразу становилось ясно, что этой статьей власть сделала еще один, новый, следующий шаг по тому пути, о котором было объявлено 13 января сообщением о врачах-убийцах.

Казалось бы, куда уж дальше! Но статья Бубеннова словно двинула стрелку барометра еще на одно какое-то деление.

В ответ на Гришин вопрос я молча кивнул. Да, мол, конечно, читал.

— Ну? Что скажешь?

Я ответил одним словом:

— Жуть.

— Говорят, сам Хозяин приказал печатать, — сказал Гриша.

Больше мы не произнесли ни слова. Да и не нужны тут были никакие слова, и без слов все было ясно.

Не знаю, от кого Гриша слышал, что статья Бубеннова была опубликована по указанию самого Сталина. Может быть, был накануне в «Правде», и кто-то из сотрудников намекнул ему на это. Как бы то ни было, слух этот был верен: позже он полностью подтвердился.

Но самое интересное тут было то, что, услыхав, по чьему указанию была напечатана эта ужаснувшая меня статья, я ничуть не удивился.

В сущности, Гриша не сообщил мне ничего нового.

Я и без того знал (чувствовал): все, что происходит, делается по его приказам. Не только по его воле, а вот именно по его личным указаниям.

Вернее, так: я знал (чувствовал), что осуществляется вполне определенный, уже давно написанный сценарий. Было совершенно очевидно, что события развиваются (нагнетаются) по заранее составленному плану.

Чтобы увидеть это, не надо было обладать какой-то особой проницательностью.

Вот лишь некоторые факты, выстроенные в хронологической последовательности. (Сейчас, выстраивая их, я опираюсь на документы, некоторые из которых были опубликованы в более поздние времена. Но что-то — и даже не что-то, а главное, — обо всех этих событиях уже и тогда ни для кого не было тайной).

13 марта 1952 года было принято секретное постановление начать следствие в отношении всех лиц еврейского происхождения, чьи имена назывались на допросах по делу Еврейского антифашистского комитета

8 мая открылось закрытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР по делу Еврейского антифашистского комитета. Среди обвиняемых: еврейские писатели Перец Маркиш, Лев Квитко, Давид Бергельсон, актер Зускин, академик Лина Штерн.

18 июля всем подсудимым по делу Еврейского антифашистского комитета (кроме биолога Л.С. Штерн, о которой говорили, что Сталин сохранил ей жизнь, думая, что она владеет секретом долголетия) вынесен смертный приговор.

12 августа приговор приведен в исполнение.

13 января 1953 года объявлено об аресте врачей-убийц.

21 января, в день годовщины смерти Ленина, под ленинским портретом опубликован указ о награждении орденом Ленина врача Лидии Тимашук — «за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц».

27 января в белом парадном зале Кремля состоялась торжественная церемония вручения сталинской премии «За укрепление мира между народами» Илье Эренбургу.

13 февраля того же года — в день появления в «Правде» статьи Бубеннова — СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем. Поводом для этого стал взрыв бомбы во дворе советского посольства в Тель-Авиве (три человека были ранены). Это случилось 9 февраля.

Дальше — по слухам — события должны были развиваться так.

В ходе процесса над «убийцами в белых халатах» выяснится, что они действовали не только по заданию иностранных разведок. Что за их спиной стояли враги, пробравшиеся к высшему руководству страны — Молотов, Каганович, Берия. (Так же, как за спиной убийц Менжинского, Куйбышева и Горького якобы стояли Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков, Ягода.)

Все это позволило бы Сталину устроить новую грандиозную чистку в высших эшелонах власти.

Но — не только.

Во всех сталинских планах всегда просматривалось решение сразу нескольких задач. Так и тут.

Осужденных врачей повесят на Красной площади, после чего по доведенной до истерии стране прокатится волна еврейских погромов. И тогда, спасая уцелевших евреев от справедливого гнева народного, их сошлют в места отдаленные, где уже загодя выстроены

для них бараки. И даже точно просчитан процент тех, кто доедет до этих бараков, а кому суждено будет погибнуть в пути.

Ну, а потом — откат. В дело вмешивается Вождь. И начинается волна новых посадок — теперь уже сажают погромщиков: ведь в гигантскую печь ГуЛАГа надо постоянно подбрасывать все новые и новые дрова.

Все это, конечно, было уже из области слухов. И, по правде говоря, я даже не могу сейчас точно сказать, какие из этих слухов доходили до меня уже тогда, а какие относятся к иным, более поздним временам.

Но ясная схема продуманного сценарного плана отчетливо просматривалась — даже если отвлечься от всех этих слухов — в выстроенной в одну линию цепочке всем нам известных фактов.

В этой цепи отдельных событий и фактов теперь уже хорошо была видна динамика — развитие, движение давно спланированного сюжета. Каждому, кто видел, куда это движется (а только слепой мог этого не увидеть), было ясно, что и кампания по борьбе с космополитами (1949 год), и процесс Сланского (1951-й), освещавшийся в наших газетах в откровенно антисемитском духе (о Сланском и его подельниках в советских газетах писали, что они «мечтали превратить Чехословакию в космополитическую вотчину Уолл-стрита, где властвовали бы американские монополии, буржуазные националисты, сионисты»), были первыми звеньями этого далеко идущего плана, прологом и завязкой этого давно написанного сценария.

Нет, первым звеном — теперь в этом уже не могло быть сомнений, — было убийство Михоэлса.

Что-то темное и страшное было уже в самых первых слухах о его гибели.

Потом стало известно, что делом этим поручено заниматься следователю по особо важным делам Льву Шейнину: тому самому, детективными рассказами которого зачитывалась вся Москва. Потом прошел слух, что Шейнин арестован. Почему? За что? Кто говорил — за то, что, сам, будучи евреем, был слишком пристрастен и «копал» не там, где надо. А некоторые шептались, что, «копая», наткнулся на что-то такое, чего знать ему не полагалось.

Так или иначе, похоронен Михоэлс был со всеми подобающими ему почестями.

Но вскоре возглавляемый им театр был закрыт.

А потом стало известно, что арестован один из лучших актеров этого театра, ближайший друг Михоэлса — Вениамин Зускин.

И вот последняя точка: фраза в сообщении о врачах-убийцах про «известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса», через которого таинственный «Джойнт» передавал убийцам свои злодейские приказы.

Весной 53-го я, конечно, ни с кем на эту тему разговаривать бы не стал, и уж тем более ни с кем не стал бы делиться никакими своими предположениями. Но наедине с собой уже и тогда точно знал, ни на секунду не сомневался, что Михоэлса убили «наши».

И то ли поэтому, то ли потому, что уже прозрачно ясен был тогда для меня весь сценарий, не сомневался, что и бомбу во дворе советского посольства в Тель-Авиве тоже, конечно, взорвали «наши». Ясно понимал, что это — новый виток, новое — быть может, самое важное — звено все того же сталинского плана.

Но ярче всего выразилось то, что все это не просто естественное развитие событий, продиктованное самим, так сказать, ходом вещей, что реализуется именно некий хорошо придуманный и продуманный сценарий, — в присуждении Сталинской премии мира Эренбургу.

До Эренбурга премия эта присуждалась только иностранцам, и то, что первым советским «борцом за мир», отмеченным этой высокой наградой, был не Фадеев, не Тихонов, а именно Эренбург, яснее ясного говорило о замысле автора сценария.

Вручение этой премии было обставлено с необычной, даже для тех времен, искусственно подчеркиваемой помпезностью.

Тут я позволю себе прервать хронологическую последовательность изложения событий и ненадолго перенестись в другое время. Можно даже сказать — в другую эпоху.

Это было в тот же день — 27 января. Но год был другой: 1971-й.

Я называю именно эту дату, потому что назначенный на тот день вечер памяти Эренбурга в Центральном Доме литераторов проходил с такой торжественностью, с какой тогда могла отмечаться только круглая дата. А в 1971-м Илье Григорьевичу, если бы он дожил до этого дня, стукнуло бы 80. (Только сейчас я сообразил, что и днем вручения ему премии в 53-м году тоже, значит, был назначен день его рождения. Не проявились ли и тут некие тайные — далеко идущие — замыслы «сценариста»? Получается, что это был как бы личный ему от НЕГО именинный подарок. А что скрывалось за такими подарками, мы теперь уже хорошо знаем: вот так же и Кирову незадолго до убийства он подарил какую-то свою книгу с надписью — «Моему любимому другу и брату».)

Итак, в Центральном Доме литераторов торжественно отмечался вечер памяти Эренбурга.

Мы с женой немного опоздали и вошли в зал, когда вечер уже начался.

Нас было трое: с нами была Ирина, дочь Ильи Григорьевича, с которой мы были тогда (как, впрочем, и потом, до самого конца ее жизни) очень дружны. Ей-то уж во всяком случае не полагалось опаздывать на этот вечер, но — не помню почему — вышло так, что мы опоздали. И войдя в зал, увидели киноэкран, на котором — крупным планом — Илья Григорьевич, стоя на той самой трибуне в Свердловском зале Большого Кремлевского дворца, в этот вот самый день 27 января, но не 71-го, а 53-го года, произносил такие слова:

— Каково бы ни было национальное происхождение того или иного советского человека, он прежде всего патриот своей родины и он подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации, ревнитель братства…

Зал был полон. К тому же было темно, и искать свои места нам было неудобно. Поэтому эту старую кинохронику мы, как вошли, так — до самого ее конца — смотрели стоя.

О чем думала и что чувствовала Ирина, глядя на умершего и теперь вот воскресшего на экране отца, я не знаю.

О чем думал и что чувствовал я, скажу чуть позднее.

А жена моя, кинув на меня испепеляющий взгляд, довольно громко прошептала:

— Ну?! Теперь ты видишь?!

Это значило: «Теперь, я надеюсь, ты наконец-то увидел, какой негодяй этот твой Эренбург?!» Сжав ее руку, я сказал:

— Молчи! Ты ничего не понимаешь!

Отчасти я это сказал из-за Ирины, боясь, как бы жена не продолжила тему и не высказала все, что она по этому поводу думает, так сказать, открытым текстом. А что она об этом думала, я хорошо знал по давним, многолетним нашим спорам, нередко принимавшим даже форму скандалов.

Впрочем, Ирина тоже знала, что отношение моей жены к ее отцу было, мягко говоря, неприязненным.

При Ирине жена, конечно, все-таки старалась держаться в некоторых рамках. Но даже простое соблюдение приличий ей не всегда удавалось.

Однажды — после одного из таких объяснений — Ирина сказала ей:

— Неужели вы не понимаете, что этими своими постоянными нападками на моего отца вы меня обижаете?

— Зато я не держу камня за пазухой! — гордо ответила моя прямодушная жена. На что Ирина очень недурно ей возразила:

— Уж лучше бы вы держали свои камни за пазухой, а не кидали их в меня и в моего отца.

Вот и сейчас, предвидя начинающуюся дискуссию о роли Эренбурга в общественной и политической жизни нашей страны и стараясь прекратить ее в самом зародыше, я прежде всего, естественно, думал о том, чтобы жена в очередной раз не обидела Ирину. Да еще сейчас, в такой день — и в такой момент!

Поэтому я и сжал изо всей силы ее руку и прошептал: «Молчи!». Но не только поэтому добавил: «Ты ничего не понимаешь!»

Я действительно считал, что она тут понимает не все. А многое так даже и вовсе не понимает. Вернее, понимает неправильно.

В отличие от моей жены, я очень хорошо помнил, о чем я думал тогда, в 1953 году, прочитав вот эти самые — только что услышанные нами — эренбурговские слова.

«Молодец, Илья Григорьевич!» — думал я, читая в «Правде», в той самой «Правде», со страниц которой ежедневно лился поток антисемитской брани, что «каково бы ни было национальное происхождение того или иного советского человека, он прежде всего подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации…» «Как важно, — думал я, — что именно сейчас он вот так, громко, на весь мир сказал это!»

В отличие от жены я к тому же прекрасно понимал, что, произнося эти слова, так открыто идущие вразрез с тем, что ежедневно неслось в мир с этих же самых страниц, Эренбург проявляет недюжинную, может быть, даже отчаянную смелость.

Но ведь в этом-то как раз и состояла вся макиавеллиевская гениальность сталинского сценария.

В своих мемуарах Эренбург рассказывает, что вел себя в той непростой для него ситуации не больно законопослушно. Даже строптиво:

> Григорьян пригласил меня к себе, заговорил о вручении премии: «Хорошо, если вы упомянете о врачах-преступниках…» Я вышел из себя, сказал, что не просил премии, готов хоть сейчас от нее отказаться, но о врачах говорить не буду. Мой собеседник начал меня успокаивать: «Это не директива, просто я хотел вам подсказать…»

О своей речи на церемонии вручения Эренбург вспоминает так:

> Речь была короткой. Я сказал: «Каково бы ни было национальное происхождение того или иного советского человека, он прежде всего патриот своей родины и он подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации, ревнитель братства…»
> Эти слова были продиктованы событиями, и я снова вернулся к тому, что меня мучило: «На этом торжестве в белом парадном зале Кремля я хочу вспомнить тех сторонников мира, которых преследуют, мучают, травят, я хочу сказать про ночь тюрем, про допросы, суды — про мужество многих и многих…» В Свердловском зале было тихо, очень тихо. Люба потом рассказала, что, когда я сказал о тюрьмах, сидевшие рядом с нею замерли. На следующее утро я увидел в газете мою речь выправленной — к словам о преследовании вставили «силы реакции»: боялись, что читатели могут правильно понять мои слова и отнести их к жертвам Берии.

Так оно все и было. Он не лгал, говорил правду. Не всю, конечно, правду (всю тогда сказать он еще не мог: недаром же назвал арестованных врачей жертвами Берии, а не Сталина, хотя прекрасно знал, кто был главным сценаристом и режиссером этого спектакля), но — правду.

Сути дела это, однако, не меняло.

Хуже того! Чем свободнее, чем смелее, чем непокорнее вел он себя на той высокой трибуне, чем больше позволял себе отклонений от сценария (в определенных, конечно, пределах), тем лучше он выполнял назначенную ему роль ширмы.

* * *

Когда в 49-м году Сталину стукнуло 70, все, кто был допущен к целованию (кто в ручку, кто в плечико, кто — не стану говорить, куда), выполнили эту лакейскую обязанность. К хору соратников — отечественных и зарубежных — присоединились, конечно, и писатели. Прочувствованную статью написал Фадеев. В присущем ему вычурно-выспренном стиле высказался Леонид Леонов.

В свой черед выступил со статьей на эту тему и Эренбург. Промолчать, не откликнуться на семидесятилетие вождя он, понятное дело, не мог.

Впрочем, раньше ли, позже, в славословии вождя приняли участие практически все знаменитые наши писатели и поэты.

У Пастернака был долгий и бурный роман со Сталиным, пик которого получил выражение в знаменитых его стихах: «… За древней каменной стеной, Живет не человек — деянье, Поступок ростом с шар земной».

У Мандельштама это был не роман, а трагедия, в сравнении с психологическими изломами которой меркнет фантазия Достоевского. И это тоже нашло отражение в гениальных (а главное, искренних) стихотворных строчках: «И к нему, в его сердцевину, я без пропуска в Кремль вошел, разорвав расстояний холстину, головой повинной тяжел».

Заболоцкий свою «Горийскую симфонию» написал без надрыва, но тоже, я думаю, с немалой долей искренности: неискренние стихи такими не бывают.

Что касается сочинений публицистического жанра, где мера искренности не так важна, как в поэзии, тут уж каждый старался поднять планку льстивых восхвалений хоть на сантиметр, а все-таки выше другого. Рекордной высоты достиг Леонид Леонов, предложивший начать новое летоисчисление со дня рождения товарища Сталина. (Кто знает, продлись жизнь вождя еще на годик-другой, и предложение это, глядишь, было бы принято.)

С наибольшим достоинством вышла из этого щекотливого положения Ахматова. По личным обстоятельствам («Муж в могиле, сын в тюрьме…») ей тоже пришлось отметиться, присоединив свой голос к общему хору льстецов. И она это сделала. Но в стилистике, резко отличающейся от той, в которой выполнили эту задачу все ее собратья по перу.

В «Капитанской дочке» (незабываемая сцена!) Гринева, которого только что чуть не вздернули на виселицу, подтаскивают к Пугачеву, ставят перед ним на колени и подсказывают: «Целуй руку, целуй…» А верный Савельич, стоя у него за спиной, толкает его и шепчет: «Батюшка Петр Андреич! Не упрямься! Что тебе стоит? Плюнь да поцелуй у злод… (тьфу!) поцелуй у него ручку».

Гринев, как мы помним, не внял этому совету, признавшись, что «предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению».

А Анна Андреевна поступила именно так, как советовал Гриневу Савельич.

Она приложилась губами к руке палача. Но губы ее были холодны, как у мертвеца:

И благодарного народа
Он слышит голос: «Мы пришли
Сказать: где Сталин, там свобода,
Мир и величие земли!»

Это ведь только стиховеды думают, что «материя песни, ее вещество» состоит из слов, и хорошие стихи отличаются от плохих качеством этой словесной ткани, — то есть наиболее удачным выбором слов и правильным их расположением.

Некоторые стиховеды, впрочем, даже и этого не думают.

> Стихи делятся не на хорошие и плохие, а на те, которые нравятся нам и которые нравятся кому-то другому. А что, если ахматовский «Реквием» такие же слабые стихи, как «Слава миру»?
>
> ***(М. Гаспаров. Записи и выписки. М. 2000, стр. 42.)***

Это признание одного из корифеев современного стиховедения выдает его с головой.

И дело тут совсем не в том, что на самом деле «Реквием» — хорошие стихи, а «Слава миру» — плохие. То есть — не в том, что стихи, входящие в «Реквием», в отличие от «плохо написанных» стихов, входящих в цикл «Слава миру», написаны «хорошо».

Вся штука в том, что «хорошие» стихи отличаются от «плохих» не тем, что они «хорошо написаны», а тем, что за ними стоит «внутренний жест», движение души. Попросту говоря — чувство, все равно какое: боль, радость, умиление, страх…

Вот даже у Исаковского, искренне желавшего восславить вождя, невольно вырвалось:

> Мы так вам верили, товарищ Сталин,
> Как, может быть, не верили себе.

Был, значит, все-таки этот вопрос — кому верить: ЕМУ или себе?

Исаковскому, конечно, и в голову не приходит, что верить лучше все-таки себе. Нет, он верит ЕМУ. Только ЕМУ — и никому другому.

Но сам-то вопрос остается. Висит в воздухе.

У Ахматовой никаких таких оговорок и проговорок быть не может по той простой причине, что она к объекту своего восхваления никаких добрых чувств не испытывает. И далее не пытается это скрыть. Мы даже и голоса ее тут не слышим — только голос какого-то безликого, неизвестно где обретающегося «благодарного народа». Голос, в сущности, неведомо чей и незнамо откуда раздающийся.

В другом ее стихотворении того же цикла эта двусмысленность выразилась еще яснее, еще отчетливее:

> Пусть миру этот день запомнится навеки,
> Пусть будет вечности завещан этот час.
> Легенда говорит о мудром человеке,
> Что каждого из нас от страшной смерти спас.

Заметьте: это говорит не она. Это говорит — **легенда** . Сказать такое **от себя** у нее язык не поворачивается.

Положение Эренбурга, казалось бы, полностью исключало такой казенный вариант. «Выдающийся публицист и пламенный борец за мир» **обязан** был найти проникновенные слова, идущие от самого сердца и насквозь прожигающие сердца читателей. Положение обязывало: в номерах служить, подол заворотить.

Не скажу, чтобы Эренбург с честью вышел из этого положения. (Какая уж тут честь!) Подол пришлось заворотить довольно сильно.

Но выполняя эту непростую задачу и в конце концов выполнив ее на довольно высоком профессиональном уровне, он шел тем же путем, что Ахматова.

Статья его называлась «Большие чувства». Но о чувствах самого автора в ней — ни слова.

На протяжении всей статьи автор рассказывал нам о чувствах других людей, а не о своих собственных:

> …Я слышал, как это имя повторяли юноши и девушки Мадрида, подымаясь в Сьерру Гвадерраму……
> Это слово я слышал в глухих деревнях Албании…
> …На берегу ярко-рыжей реки Миссисипи, где хлопок, негры и беда, я зашел в лачугу… На стенах — ни картинок, ни зеркальца, только одна маленькая фотография. Негр показал мне на нее: «Это Сталин»…
> …Его видели молодые китайцы, освобождая древний Пекин, и он заходил в тюрьмы Индии, чтобы дружеским словом поддержать осужденных…

> …Его встречали партизаны в Брянских лесах. Когда одну девушку спросили: «Кто тебя послал? Кто в твоем отряде?», она ответила: «Сталин»…
> …Он был с французскими франтирерами, когда они освобождали города Лимузина. Вместе с партизанами Словакии он вошел в Банску-Быстрицу…
> …Андре Дельмаса фашисты гильотинировали. За час до казни он писал: «Я думаю в последние минуты о нашем великом Сталине»…
> …Сталину шлют подарки. Француженка, у которой фашисты расстреляли дочку, послала Сталину единственное, что у нее осталось от ее ребенка: шапочку. Такого подарка никто не получит, и нет весов, на которых можно взвесить такую любовь.

Статья пестрит географическими названиями, конкретными адресами, порой даже конкретными именами и фамилиями. Но все эти голоса сливаются в тот же абстрактный, безликий хор, что у Ахматовой. С тою лишь разницей, что у нее это хор «благодарного народа», а у Эренбурга — **благодарных народов** .

Как и у Ахматовой, все это говорит — не он. И у него тоже — «**легенда** говорит о мудром человеке, что каждого из нас от страшной смерти спас».

В сущности, Эренбург тоже последовал совету Савельича. Его поцелуй был таким же холодным, таким же формальным, как у Ахматовой. Разве только более долгим.

Но чтобы написать «Славу миру», не надо было быть Ахматовой. Такой стишок мог бы сочинить любой школьник.

А чтобы написать статью, подобную той, что сочинил к 70-летию вождя Илья Григорьевич, надо было все-таки быть Эренбургом.

Никто, кроме него, такую статью написать бы не смог.

Да, написана она была мастерски. Но это именно то мастерство, которое Пастернак называл умением сказать хорошо то, что на самом деле дурно. Умением сказать искренне то, к чему не лежит душа.

Малая толика правды и искренности, присутствовавшая в каждой тогдашней статье Эренбурга, призвана была прикрывать главную, большую, тотальную ложь. И чем больше было в тех его статьях этой правды и искренности, чем ослепительнее сверкали в них блестки подлинных, выношенных, на самом деле умных и благородных его мыслей, чем выше подымался он к верхнему пределу дозволенного (а иногда даже и слегка переступал этот предел), тем лучше выполнял он назначенную ему роль, о которой позже так зло сказал (написал) Солженицын:

> Жданов с платным аппаратом,
> Шагинян, Сурков, Горбатов,
> Главный фокусник — Илья…
> Мог таким бы стать и я.

«Главный фокусник» — казалось бы, злее не скажешь. Но сам он однажды сказал о себе еще злее.

Когда-то, в молодости (в первом своем романе — «Хулио Хуренито») Эренбург определил себя так: «Пакостник с идейными задумчивыми глазами».

Это была озорная ирония.

Но в те времена, о которых я сейчас вспоминаю, роль его, увы, была именно такой. И чем более честными и правдивыми выглядели его «идейные задумчивые глаза», тем явственнее проступала назначенная ему гениальным сценаристом роль пакостника.

* * *

«Куда влечет нас рок событий», я, конечно, знал. Само собой, я не знал этого с той мерой точности, с какой знаю сегодня. Но я чувствовал это кожей. И не только кожей, а

печенкой, селезенкой, спинным мозгом. И сейчас, когда я сравниваю это свое тогдашнее знание с сегодняшним, мне кажется, что за минувшие полвека я узнал не так уж много нового.

Оказалось, что моя печенка, селезенка, спинной мозг и прочие органы моего тела уже тогда знали немногим меньше, чем это знает сегодня мой перегруженный информацией мозг. Я уж не говорю о мозгах историков и политологов, владеющих во много раз большим объемом информации, чем я, но — не живших в то время.

Это мое ощущение я не смогу выразить лучше, чем это сделал однажды — в одной из своих литературно-критических статей — Владислав Ходасевич:

> Недавно мне довелось быть на лекции о поэзии Иннокентия Анненского. В первой части доклада лектор дал краткий обзор русского символизма. Я испытал неожиданное чувство. Все, сказанное лектором, было исторически верно, вполне добросовестно в смысле изложения литературных фактов. Многое в символизме лектору удалось наблюсти правильно, даже зорко. Словом — лектору все мои похвалы.
>
> Но, слушая, мне все чувствовалось: да, верно, правдиво, — но кроме того я знаю, что в действительности это происходило не так. Так, да не так.
>
> Причина стала мне ясна сразу. Лектор знал символизм по книгам — я по воспоминаниям. Лектор изучил страну символизма, его пейзаж — я же успел еще вдохнуть его воздух, когда этот воздух еще не рассеялся и символизм еще не успел стать планетой без атмосферы. И вот, оказывается, — в той атмосфере лучи преломлялись как-то особенно, по-своему — и предметы являлись в иных очертаниях.

Это чувство очень хорошо мне знакомо. Я не раз испытывал его, читая книги историков и политологов, особенно исследующих последние годы жизни Сталина.

Вот, например, совсем недавно купил и прочел толстенный том — 800 страниц: «Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм». На титуле гриф: «Российская Академия Наук. Институт Российской истории». Автор (Геннадий Васильевич Костырченко) — серьезный, видать, ученый. Тьму документов раскопал, в секретных архивах работал. И намерения у него самые хорошие. В том смысле, что всей душой ориентирован он на то, чтобы добраться до истины, все тайное сделать явным.

В этих своих благородных устремлениях он достиг многого. Но вот парадокс! Стремление к предельной исторической щепетильности и документальной точности в ряде случаев приводит его как раз к обратному, противоположному результату. Не к выявлению истины, а, напротив, к сокрытию ее, к набрасыванию на эту самую истину нового покрова тайны. («Опять эта проклятая неизвестность!»)

Так, например, версию о готовящейся высылке советских евреев в места отдаленные он уже в первых главах своей книги вскользь называет **депортационным мифом** . А на последних ее страницах, вновь возвращаясь к этой теме, посвящает ей даже специальную главу, которая так прямо и называется — «Миф о депортации».

Аргументы при этом у него такие:

> …Несмотря на тотальное предание гласности после августа 1991 года всех самых секретных политических архивных материалов сталинского режима, не было обнаружено не только официальной директивы, санкционирующей и инициирующей депортацию, но даже какого-либо другого документа, где бы она упоминалась или хотя бы косвенно подтверждалась ее подготовка… Если бы нечто похожее существовало в действительности, то непременно бы обнаружилось, как это произошло со многими другими утаенными советским режимом секретами…

Реплику автора этих строк насчет «тотального предания гласности после августа 1991 года всех самых секретных политических архивных материалов сталинского режима» мы

оставим на его совести. Но в то, что до сих пор не нашлось документов, подтверждающих «депортационные» планы Сталина, я верю. (Хотя, может статься, такие документы еще и отыщутся. Секретные протоколы, прилагавшиеся к пакту Риббентропа — Молотова, тоже долго не находились.) Но допустим даже, что никакие секретные постановления с подписями Сталина (или Маленкова, или Суслова) так никогда и не выйдут из тьмы архивов на белый свет. Кроме документов, существуют ведь и свидетельства современников. И вот одно из них, мимо которого, как мне кажется, не должен пройти ни один серьезный историк:

> …Сталин ко мне обратился, я секретарь Московского комитета. Он говорит, надо, говорит, организовать, говорит, подобрать рабочих здоровых таких, говорит, и пусть они возьмут дубинки, кончится рабочий день, выходят, и пусть они этих евреев бьют там…
> Когда я послушал его, что он говорит, думаю, что такое, как это можно?.. Это погром, собственно. Я сам наблюдал это… Я помню… Это было позором, позором, и поэтому, когда Сталин сказал, вот чтобы палками вооружить и бить, я потом, когда мы вышли, значит, Берия, ну, говорит, что, получил указания? Так иронически. Ты, значит, получил? Да, говорю. Говорю, получил указания, да, говорю, мой отец неграмотный, не участвовал в этих погромах никогда, считалось это позором, говорю. А теперь вот мне, 1 секретарю Центрального Комитета, дается такая директива…
>
> ***(Никита Хрущев. Воспоминания. Нью-Йорк, 1982, стр. 193-194.)***

Переписывая из книги этот рассказ (я нарочно взял американское издание, а не наше, потому что там речь Никиты Сергеевича воспроизведена без всякой редакторской ретуши, точно такой, какой она сохранилась в магнитофонной записи), — так вот, переписывая этот простодушный его рассказ, сохраняющий все особенности и даже дефекты живой устной речи, я вдруг вспомнил, что нечто подобное уже слышал однажды. И сразу всплыло в памяти — где, когда, при каких обстоятельствах и в чьей передаче.

Эту историю рассказал мне однажды сам Эренбург.

В его изложении этот рассказ, который он услышал от самого Хрущева, выглядел слегка иначе. В чем-то проигрывая, но в чем-то и выигрывая. Главный выигрыш состоял в том, что по пересказу Эренбурга точнее можно было установить время происходящего: было все это во время одной из самых последних встреч соратников со своим вождем. И выразился Сталин (в изложении Эренбурга) будто бы так:

— Я не понимаю, почему рабочие в конце рабочего дня не избивают евреев!

В пересказе Эренбурга отсутствовала реплика Берии и ответ на нее Хрущева. Рассказывая эту историю Эренбургу, Хрущев сказал, что это было так страшно, что все они, оцепенев, молчали. И даже выйдя от него, так были ошеломлены этой сталинской «директивой», что никто из них не произнес ни единого слова: сделали вид, что ничего этого как бы не было.

История эта, как выяснилось, имела продолжение. И продолжение ее тот же Хрущев рассказал тому же Эренбургу. Но я эту вторую часть его рассказа услышал уже не от самого Ильи Григорьевича, а от моего друга Бориса Биргера, которому И.Г. ее рассказал. (С Биргером у него отношения были более тесные, да и встречались они чаще.)

Итак, выслушав сталинскую «директиву», соратники молча удалились, сделав вид, что то ли не услышали ее, то ли не поняли. И не сговариваясь, твердо решили забыть об этом эпизоде, во всяком случае, ни в коем случае не предавать его огласке. Все они хорошо знали своего Хозяина и прекрасно понимали провокационный смысл этой его реплики. Не сомневались, что, посмей они эту его директиву исполнить, начавшиеся эксцессы сразу обернулись бы против них, как главных виновников случившегося. И тогда — никому из них не сносить головы. Но ничуть не меньшую опасность, чем исполнение «директивы» (об этом,

конечно, никто из них и не помыслил: не такие они были простаки, чтобы клюнуть на эту удочку), представляла для них и «утечка информации» об этой сталинской директиве.

И тем не менее «утечка» все-таки произошла.

Спустя какое-то время к Хрущеву явился срочно примчавшийся из Киева в Москву какой-то крупный украинский партийный функционер (из самых первых лиц руководства Компартии Украины) и сказал, что им стало известно об указании товарища Сталина насчет того, чтобы «поучить» как следует евреев, возвращающихся домой с работы.

Реакция Хрущева была мгновенной. Показав на стоявший перед ним телефон прямой связи со Сталиным, он сказал, что сейчас же позвонит Иосифу Виссарионовичу и расскажет ему, что такой-то обвиняет его в призыве к еврейским погромам.

Как ни туп был этот украинский функционер, но тут и до него дошло, какого он дал маху. Он прямо сомлел от страха. Чуть не на колени кинулся перед Хрущевым, умоляя его забыть, с чем он к нему пришел.

Рассказывая Эренбургу эту историю, Хрущев сказал, что не сомневается, что Сталин действительно тут же приказал бы расстрелять этого болвана. Ему ведь нужен был погром, который начался бы стихийно, снизу. Чтобы он, вождь, тотчас же его пресек, сурово наказав виновных. А погром, который начался бы «по личному указанию товарища Сталина», был ему совсем ни к чему.

Г.В. Костырченко в своей книге о тайной политике Сталина делится с нами такими своими мыслями о сложной и противоречивой натуре бывшего нашего вождя:

> По складу своего характера он не решился бы открыто выступить против евреев, хотя в душе, особенно в последние годы жизни, мог быть, что называется, патологическим антисемитом. Поэтому вождь, ревностно оберегавший свой революционный имидж большевика-ленинца, был обречен переживать муки психологической амбивалентности, которая, возможно, и ускорила его конец. Показателен в этой связи эпизод, описанный композитором Т.Н. Хренниковым. В конце 1952 года Сталин, в последний раз присутствовавший на заседании комитета по премиям своего имени, совершенно неожиданно заявил: «У нас в ЦК антисемиты завелись. Это безобразие!»
>
> ***(Тайная политика Сталина. Стр. 678.)***

Если бы, вспомнив это ценное свидетельство Т.Н. Хренникова, автор «Тайной политики Сталина» не прошел и мимо свидетельства другого, не менее важного свидетеля — Н.С. Хрущева, ему, быть может, пришли бы в голову на сей счет и какие-то другие мысли.

Я вот, например, подвергнув этот рассказ Никиты Сергеевича небольшому «домашнему анализу», снова — в который рке раз! — подумал, что Сталин вовсе не был ни патологическим антисемитом, ни тяжелым параноиком. А был он всего лишь политиком. (Политиком, правда, совершенно особого склада.)

Во всей этой истории, рассказанной Хрущевым Эренбургу, я вижу отчетливый след все того же плана, того же гениального сталинского сценария: под воздействием все нарастающей антисемитской пропаганды в стране повсеместно начинаются эксцессы, самые что ни на есть настоящие еврейские погромы, и тогда вождь, сохраняя верность принципам пролетарского интернационализма, дает указание выслать уцелевших лиц еврейской национальности в места отдаленные, спасая их от справедливого народного гнева.

* * *

Документ для историка — что говорить! — вещь первостепенной важности. Но во-первых, как говорил Тынянов, не вся жизнь документирована. А во-вторых, документ, если не уметь его прочесть, может ввести в обман ничуть не хуже, чем самые недостоверные и ложные слухи.

Вот, например, известно, что на пленуме ЦК, собравшемся после только что закончившегося XIX съезда, произошли весьма важные перемены в составе партийной верхушки. Вместо Политбюро, в состав которого входили одиннадцать партийных «вождей», был образован Президиум из 25 членов. То есть старые вожди были как бы уравнены с новыми, народу почти не известными. Сделано это было Хозяином, конечно, с далеко идущей целью: пришла пора менять соратников. (А уж какими способами он привык их менять, мы знаем.) Первыми жертвами должны были стать Молотов и Микоян: они не только не были введены в учрежденное на том же пленуме Бюро Президиума, но о них, как рассказывали, Сталин высказался в весьма резких тонах, чуть ли даже не обвинил их в шпионаже.

Стенограмма того пленума не велась, и что именно говорил Сталин об этих своих впавших в немилость соратниках, мы толком не знаем.

И вот историку (тому же Костырченко) посчастливилось добыть **документ** : подробную запись тогдашней речи Сталина о Молотове, сделанную первым секретарем Курского обкома партии Л.Н. Ефремовым.

Вот она, эта запись (вернее, тот отрывок из нее, который Костырченко приводит в своей книге):

> Молотов — преданный нашему делу человек. Позови, и, не сомневаюсь, он, не колеблясь, отдаст жизнь за партию. Но нельзя пройти мимо его недостойных поступков… Чего стоит предложение Молотова передать Крым евреям? Это грубая политическая ошибка товарища Молотова… На каком основании товарищ Молотов высказал такое предложение? У нас есть еврейская автономия. Разве это недостаточно? Пусть развивается эта республика, А товарищу Молотову не следует быть адвокатом незаконных еврейских претензий на наш Советский Крым… Товарищ Молотов так сильно уважает свою супругу, что не успеем мы принять решение политбюро по тому или иному важному политическому вопросу, как это быстро становится известно товарищу Жемчужиной… Ясно, что такое поведение члена Политбюро недопустимо.

Как же прочитывает историк этот документ? Какие выводы из него делает? Читаем:

> Из приведенного высказывания видно, что Сталин, продолжая в общем-то доверять Молотову (в противном случае он давно бы с ним расправился), серьезно беспокоился, как бы того не использовали в антигосударственных целях «еврейские националисты», проникшие даже в семью старого соратника. Поэтому выглядят перевернутыми по смыслу с ног на голову слова, сказанные Молотовым через много лет: «Она (Жемчужина) из-за меня пострадала… Ко мне искали подход, и ее допытывали… чтобы меня, так сказать, подмочить».
> Совершенно очевидно, что главным действующим лицом в этой драме был не Молотов, а Жемчужина
> ***(В.Г. Костырченко. Тайная политика Сталина.).***

А насчет предположения, что за делом врачей неизбежно последовала бы новая крупномасштабная чистка руководящего номенклатурного слоя, Костырченко высказывается так:

> Эта довольно расхожая до сих пор версия закрепилась в исторических анналах с легкой руки Хрущева и других соратников вождя, которым очень хотлось задним числом списать собственное участие в сталинских преступлениях утверждением о грозившей им смертельной опасности.

«Списать собственное участие» им — что говорить! — конечно, тоже хотелось. Но смертельная опасность им безусловно грозила, в чем мы с вами вскоре сумеем убедиться. Так

же как и в полной вздорности выводов, сделанных Г.В. Костырченко из найденного и прочитанного им документа.

Он не жил в то время, а я жил. И поэтому мне просто смешно читать вот такие его рассуждения по поводу письма, которое Эренбург написал Сталину, обосновывая свой отказ подписать обращение именитых советских евреев в редакцию «Правды»:

> Поддержать обращение в «Правду» должны были 59 известных ученых, артистов, литераторов, конструкторов, врачей, военных, ученых, управленцев, а также рабочих и колхозников еврейского происхождения. Однако в ходе сбора их подписей, в котором активную помощь сотрудникам ЦК и редакции «Правды» оказывали академик Минц и начальствующий журналист Хавинсон-Маринин, произошел некоторый сбой: Каганович решительно выступил против того, чтобы его имя фигурировало в общем ряду, заявив Сталину, что он не еврейский общественный деятель, а член высшего руководства партии и государства и потому должен быть обозначен отдельно. Коллизию эту разрешили быстро, предоставив Кагановичу копию письма, которую тот и подписал как персональное обращение в «Правду»… Возникла и заминка с Эренбургом, который, прежде чем поставить свой автограф, решил заручиться благословением Сталина, направив ему записку, в которой как сторонник полной ассимиляции евреев намекнул на заведомую порочность затеи с посланием, исходящим от людей, объединенных по национальному признаку… Что ж, будучи искусным пропагандистом сталинской политики на Западе, Эренбург был очень ценен для режима и потому, особенно не тревожась за свою безопасность, мог позволить себе некоторые вольности… Незадолго ао того он немало потрудился, прикрывая от критики Запада шовинистическую политику Сталина
>
> ***(Тайная политика Сталина. Стр. 680—681.)***

К этому письму Эренбурга Сталину, его содержанию и роли, которую оно сыграло в дальнейшем развитии событий, я еще буду возвращаться не раз. Сейчас же хочу только обратить внимание на поражающее своей наивностью заблуждение автора насчет того, что человек, который «был особенно ценен для режима», мог позволить себе некоторые вольности, «не тревожась за свою безопасность». Ведь главная особенность режима, созданного Сталиным, как раз в том и состояла, что в стране не было ни одного человека — это не метафора, буквально НИ ОДНОГО (включая, кстати, и самого Сталина), — который мог бы не тревожиться за свою безопасность.

Но что говорить о Костырченко, если этого греха не избежали даже самые серьезные исследователи сталинского периода нашей истории.

Даже самый мудрый, самый проницательный, самый осведомленный из всех, кого я знаю, — незабвенный Абдурахман Авторханов.

Авторханов был номенклатурным работником ЦК ВКП(б). Всю «кухню» советской партийной верхушки знал изнутри. Оказавшись в эмиграции и став там профессором по истории России, получил доступ ко многим — не только официальным, но и неофициальным, а часто и секретным документам, к которым на Родине у него доступа не было.

Его мощный аналитический ум, вооруженный этими новыми открывшимися перед ним возможностями, казалось бы, должен был позволить ему проникнуть в самую суть механизма сталинской власти, увидеть и понять то, что раньше, когда он жил в Советском Союзе, было скрыто от него за семью замками и семью печатями.

В общем, так оно и произошло.

Но — странное дело!

Когда я читал книгу Авторханова «Технология власти», опирающуюся в основном на личные воспоминания автора, у меня было ощущение полной, абсолютной достоверности. Но когда я читал одну из последних его книг — «Загадка смерти Сталина», где предметом исследования историка стали события, разворачивавшиеся в то время, когда он уже жил и

работал по ту сторону «железного занавеса», у меня то и дело возникало ощущение, что все это было не так, как видится ему. Так, да не так!

Казалось бы, кто я такой, чтобы не верить Авторханову, не соглашаться с ним!

Он гораздо старше, опытнее, да и намного умнее меня. Он освоил такой Монблан неизвестных мне исторических документов, о котором я — даже если бы и попытался это сделать — не мог бы даже и мечтать. Наконец, он — как никто другой — умеет проникать в скрытый смысл доступных ему исторических документов, извлекать из них глубинную, самую потаенную их суть: умение, которым я не владею ни в малейшей степени!

Все так. Но у меня есть перед ним одно — только одно! — преимущество.

В отличие от него, я жил в описываемое им время в Москве. Дышал московским воздухом 53-го года, когда этот воздух еще не рассеялся. И кожей, печенкой, селезенкой, спинным мозгом чуял то, чего так и не смог постичь мудрый Абдурахман со всем своим Монбланом тщательно изученных им исторических документов и со всем своим мощным аналитическим умом. Вот он пишет:

> …ко времени съезда *(речь идет о последнем при жизни Сталина, XIX партийном съезде. — Б.С.)* власть была уже не у Сталина, а у партийно-полицейского аппарата во главе с Маленковым и Берией. Теперь не Сталин контролировал аппарат, а аппарат контролировал его самого.
>
> Сталин был бог, пока партийно-полицейский аппарат был в его руках, а теперь члены ЦК видели, что бог де-факто низвергнут…
>
> Произошло событие, точно зафиксированное в доступных нам документах, но оставшееся совершенно незамеченным в литературе о Сталине.
>
> Сталин подал… пленуму ЦК заявление об освобождении его от должности генерального секретаря ЦК: во-первых, будучи убежден, что оно не будет принято, а во-вторых, чтобы проверить отношение к этому своих ближайших соратников и учеников.
>
> Но произошло невероятное: пленум принял отставку Сталина!..
>
> Еще при первом послесталинском «коллективном руководстве» вышел «Энциклопедический словарь», где в биографии Сталина прямо и недвусмысленно написано следующее: «После XI съезда партии 3 апреля 1922 г. Пленум ЦК, по предложению В.И. Ленина, избрал Сталина Генеральным секретарем ЦК партии; на этом посту Сталин работал до *октября 1952 г* ., а затем до конца своей жизни был *секретарем* ЦК» («Энциклопедический словарь», изд. БСЭ, т. 3, Москва, 1955, стр. 310).
>
> То же повторено в справочном аппарате Полного собрания сочинений Ленина, вышедшего при втором, брежневском «коллективном руководстве». Там сказано: «Сталин. С 1922 по 1952 год — генеральный секретарь ЦК партии, затем секретарь ЦК» (Ленин, ПСС, т. 44, стр. 651).
>
> Никакой случайной обмолвки тут нет. Эти документы не оставляют сомнения, что Сталин после октябрьского пленума ЦК 1952 года перестал быть генеральным секретарем, а был лишь одним из десяти его секретарей.
>
> Кто же занял его место? Об этом нет никаких указаний ни в мемуарах современников, ни в официальных документах партии, однако секрета никакого не было — место Сталина в Секретариате ЦК занял, конечно, Маленков. Только теперь он назывался не «генеральный секретарь», а «первый секретарь» ЦК. Власть Сталина перешла к его ученикам теперь и юридически.
>
> ***(А. Авторханов. Загадка смерти Сталина.)***

Прочитав это (книга Авторханова попала мне в руки тогда же, когда была издана, в 70-х), я рассмеялся.

Этот вывод ученого профессора, при всей его оснащенности документальными и мемуарными свидетельствами, и при всем его аналитическом мастерстве в интерпретации и истолковании этих документов, был в таком кричащем противоречии с тем, что я знал кожей, печенкой, селезенкой и спинным мозгом, что ничего, кроме смеха, он у меня вызвать не мог.

Я, конечно, мог бы найти и какие-то доказательства, подтверждавшие истинность этого моего знания. Но мне не надо было никаких доказательств. Я просто знал, что **этого не может быть, потому что не может быть никогда** . Знал — и все тут!

Впрочем, нет. Кое-что насчет этого моего тогдашнего знания я сейчас все-таки вспомнил.

Однажды (году в 48-м или в 49-м) в «Правде» появился какой-то очередной «основополагающий» партийный документ: он занял целую газетную полосу, и по всему было видно, что ему придается необыкновенно важное значение.

Обычно под такими документами стояли две подписи: «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» и «СОВЕТ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР».

В некоторых случаях, когда документ был сугубо партийный, ограничивались только одной, первой подписью. Так, очевидно, дело обстояло и на этот раз.

Но на этот раз подпись была какая-то странная.

Под документом исключительной (а в этом не могло быть никаких сомнений) важности — в виде подписи — стояло одно короткое слова: «Цека».

Все думали и гадали, что бы это могло значить.

С чисто провокационными целями я задал этот вопрос нашей институтской преподавательнице марксизма-ленинизма Славе Владимировне Щириной. Она в ответ стала плести что-то невразумительное. Так, мол, иногда подписывались давние партийные документы. И вот теперь, наверное, хотят возродить эту старую партийную традицию.

На самом деле ни в каких объяснениях на этот счет я тогда не нуждался. Мне (и не мне одному, конечно) было совершенно ясно, что когда Сталину дали на подпись этот — составленный, разумеется, по его указанию — документ, он механически подписал его именно вот так: «Цека». И никто не решился спросить у него, следует ли эту подпись развернуть в полное, официальное наименование высшей партийной инстанции, или ограничиться аббревиатурой. Трясясь от страха и так и не решившись обратиться к богу за разъяснениями, воспроизвели в точности ту маловразумительную подпись, которую бог соизволил собственноручно начертать.

Это было, как я уже сказал, году в 48-м. Но и в 52-м всеми своими потрохами я ощущал, что НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Как бы ни именовали Сталина в партийных документах, — генеральным секретарем или просто секретарем, он продолжал оставаться тем, кем был, — вот этим самым всесильным, полновластным «Цека». Он один — до последнего своего вздоха — олицетворял всю партийную иерархию, всю структуру высшей государственной власти.

С 49-го года во всех центральных газетах печатался «Поток приветствий» — поздравления вождю по случаю его 70-летия. Сперва это были приветствия от разных солидных учреждений и именитых людей. Но с годами (а поток этот не иссякал до последнего дня сталинской жизни) труба становилась все ниже, а дым — пожиже. Пошли в ход какие-то совсем мелкие предприятия, колхозы, детские сады, чуть ли даже не артели каких-то кустарей-инвалидов, и шутники поговаривали, что вот-вот в перечне поздравителей появится контора Остапа Бендера «Рога и копыта» и «Одесская бубличная артель — Московские баранки» Кислярского.

Газетная шапка эта, ставшая уже постоянной рубрикой, с каждым днем все отчетливее обретала характер затянувшегося анекдота. Не могло этого не видеть и не понимать и самое высокое начальство. Но не было в стране человека, который осмелился бы дать команду эту комическую рубрику прекратить. Вот она и тянулась до тех пор, пока однажды он вдруг САМ не скомандовал: «Хватит!»

Ну и, наконец, последний пример.

Одна — всеми нами замеченная тогда — стилистическая несообразность в той самой жуткой передовой статье «Правды» от 13 января 1953 года.

Как сейчас помню: читаю я эту передовую и вдруг замечаю, что, после того как все проклятия по адресу «убийц в белых халатах» и их заокеанских хозяев уже сказаны и передовица, в сущности, уже закончена, к ней — довольно искусственно — прилеплен еще один абзац, начинающийся словами: «Все это правильно…»

И далее следует новый текст о зловредных явлениях, которым, в связи со всем случившимся, советские люди должны объявить самую беспощадную войну. Явления эти обозначались словами: «ротозейство» и «идиотская болезнь беспечность».

Основные положения этой статьи, как я уже говорил, наверняка были набросаны (или продиктованы) Сталиным. Однако вряд ли он собственноручно написал ее всю, целиком, от начало до конца. Писал все-таки кто-то другой (или другие).

В общем, прочитав тот абзац, я (и опять-таки не я один, конечно) сразу сообразил, как было дело.

Уже написанную передовую дали на окончательное утверждение Сталину, и, прочитав ее, он начертал под ней нечто вроде резолюции, начинающейся вот этими самыми словами: «Все это правильно…» И ошалевшие от страха редакторы «Правды» пришпандорили эту сталинскую резолюцию к тексту передовой, не посмев вычеркнуть из нее ни одного словечка, ни единой запятой.

Эта моя догадка насчет того, кому принадлежали те слова, сразу же подтвердилась, поскольку на другой же день они обрели значение зловещего клейма, тягчайшего политического обвинения — такого же жуткого, каким в прежние времена были «троцкизм» или «правый уклон». И все авторы передовиц и иных редакционных статей во всех газетах страны, как попки, стали — к месту и не к месту — повторять: «ротозейство», «идиотская болезнь беспечность», подставляя под эти политические ярлыки имена и фамилии несчастных, якобы повинных в этих ужасных грехах.

Конечно, все эти мои мальчишеские наблюдения не перевешивают сложные аналитические рассуждения многомудрого Абдурахмана. О том, что происходило за кулисами последнего сталинского партсъезда, я, в отличие от Авторханова, изучившего, как уже было сказано, целый Монблан разнообразных свидетельств и документов, не знал НИЧЕГО. Ну, а что касается ссылки на некое мистическое знание, которым якобы обладали мои потроха (печенка, селезенка и прочие детали моего организма), то она — эта ссылка — и вовсе может показаться комической.

Но вот — свидетельство человека, который (в отличие от Авторханова) САМ БЫЛ НА ТОМ СЪЕЗДЕ И НА ТОМ ПЛЕНУМЕ.

Прежде чем предоставить ему слово, хочу сказать, что свидетель этот — надежный, ответственный, хорошо знающий цену каждому слову, сказанному им по столь важному поводу. И при этом недурно владеющий словом: писатель как-никак.

Константин Михайлович Симонов, к свидетельству которого я сейчас хочу обратиться, был на том съезде сперва рядовым делегатом. И первую речь Сталина, в которой тот дал понять, что он уже стар и к руководству страной скоро должны будут прийти другие люди, он слушал вместе со всеми делегатами съезда:

> Говорил он от начала и до конца все время сурово, без юмора, никаких листков или бумажек перед ним на кафедре не лежало, и во время своей речи он внимательно, цепко и как-то тяжело вглядывался в зал, так, словно пытался проникнуть в то, что думают эти люди, сидящие перед ним и сзади. И тон его речи, и то, как он говорил, вцепившись глазами в зал, — все это привело всех сидевших к какому-то оцепенению, частицу этого оцепенения я испытал на себе. Главное в его речи сводилось к тому (если не текстуально, то по ходу мысли), что он стар, приближается время, когда другим придется продолжать делать то, что делал он…
> Говорилось все это жестко, а местами более чем жестко, почти свирепо.

Поговорив немного о своей старости, Сталин, как свидетельствует Симонов, совсем уже свирепо заговорил о Молотове и Микояне. Что именно он о них говорил, не так важно,

поэтому эту часть симоновского рассказа я опускаю и прямо перехожу к той его части, где говорится о том, как собравшиеся в том зале эту сталинскую речь слушали:

> В зале стояла страшная тишина. На соседей я не оглядывался, но четырех членов Политбюро, сидевших сзади Сталина за трибуной, с которой он говорил, я видел: у них у всех были окаменевшие, напряженные, неподвижные лица. Они не знали так же, как и мы, где и когда, и на чем остановится Сталин, не шагнет ли он после Молотова, Микояна еще на кого-то. Они не знали, что еще придется услышать о других, а может быть, и о себе. Лица Молотова и Микояна были белыми и мертвыми. Такими же белыми и мертвыми эти лица остались тогда, когда Сталин кончил, вернулся, сел за стол, а они — сначала Молотов, потом Микоян — опустились один за другим на трибуну, где только что стоял Сталин, и там — Молотов дольше, Микоян короче — пытались объяснить Сталину свои действия и поступки, оправдаться…
>
> После той жестокости, с которой говорил о них обоих Сталин, после той ярости, которая звучала во многих местах его речи, оба выступавшие казались произносившими последнее слово подсудимыми, которые, хотя и отрицают все взваленные на них вины, но вряд ли могут надеяться на перемену в своей, уже решенной Сталиным судьбе. Странное чувство, запомнившееся мне тогда: они выступали, а мне казалось, что это не те люди, которых я довольно много раз и довольно близко от себя видел, а белые маски, надетые на эти лица, очень похожие на сами лица и в то же время какие-то совершенно не похожие, уже неживые. Не знаю, достаточно ли я точно выразился, но ощущение у меня было такое, и я его не преувеличиваю задним числом.

Если бы Авторханов был прав, если бы к тому времени власть и в самом деле была уже не у Сталина, а у «партийно-полицейского аппарата», вряд ли лица Молотова и Микояна от нескольких его, сказанных в их адрес «свирепых» слов превратились бы в безжизненные мертвые маски.

А это было еще только начало.

Главное случилось потом, когда съезд закончил свою работу и собрался пленум только что избранного нового Центрального Комитета.

Симонов стал на том съезде (как он пишет, это явилось для него полной неожиданностью) кандидатом в члены ЦК, и все, что происходило на том «судьбоносном» пленуме (том самом, результат которого так уверенно интерпретирует Авторханов), он слышал собственными ушами и видел собственными глазами.

Вот его рассказ:

> …Сталин, стоя на трибуне и глядя в зал, заговорил о своей старости и о том, что он не в состоянии исполнять все те обязанности, которые ему поручены. Он может продолжать нести свои обязанности Председателя Совета Министров, может исполнять свои обязанности, ведя, как и прежде, заседания Политбюро, но он больше не в состоянии в качестве Генерального секретаря вести еще и заседания Секретариата ЦК. Поэтому от этой последней своей должности он просит его освободить… Сталин, говоря эти слова, смотрел на зал, а сзади него сидело Политбюро и стоял за столом Маленков, который, пока Сталин говорил, вел заседание. И на лице Маленкова я увидел ужасное выражение — не то чтобы испуга, нет, не испуга, — а выражение, которое может быть у человека, яснее всех других или яснее, во всяком случае, многих других осознавшего ту смертельную опасность, которая нависла у всех над головами и которую еще не осознали другие: нельзя соглашаться на эту просьбу товарища Сталина, нельзя соглашаться, чтобы он сложил с себя вот это одно, последнее из трех своих полномочий, нельзя… Лицо Маленкова, его жесты, его выразительно воздетые руки были прямой мольбой ко всем присутствующим немедленно и решительно отказать Сталину в его просьбе. И тогда, заглушая раздавшиеся уже из-за спины Сталина слова: «Нет, просим остаться!», или что-то в этом духе, зал загудел словами: «Нет! Нельзя! Просим

остаться! Просим взять свою просьбу обратно!» Не берусь приводить всех слов, выкриков, которые в этот момент были, но, в общем, зал что-то понял и, может быть, в большинстве понял раньше, чем я. Мне в первую секунду показалось, что это все естественно: Сталин будет председательствовать в Политбюро, будет Председателем Совета Министров, а Генеральным секретарем ЦК будет кто-то другой, как это было при Ленине. Но то, чего я не сразу понял, сразу или почти сразу поняли многие, а Маленков, на котором как на председательствующем в этот момент лежала наибольшая часть ответственности, а в случае чего и вины, понял сразу, что Сталин вовсе не собирался отказываться от поста Генерального секретаря, что это проба, прощупывание отношения пленума к поставленному им вопросу — как, готовы они, сидящие сзади него в президиуме и сидящие впереди него в зале, отпустить его, Сталина, с поста Генерального секретаря…

Когда зал загудел и закричал, что Сталин должен остаться на посту Генерального секретаря и вести Секретариат ЦК, лицо Маленкова, я хорошо помню это, было лицом человека, которого только что миновала прямая, реальная смертельная опасность… Почувствуй Сталин, что там сзади, за его спиной, или впереди, перед его глазами, есть сторонники того, чтобы удовлетворить его просьбу, думаю, первый, кто ответил бы за это головой, был бы Маленков; во что бы это обошлось вообще, трудно себе представить.

(Константин Симонов. Глазами человека моего поколения.)

Вот теперь и судите сами, мог ли Эренбург не опасаться за свою безопасность, когда сочинял и посылал Сталину свое письмо, в котором пытался объяснить ему абсурдность и опасность акции, затеваемой — тут не могло быть ни малейших сомнений — по его (Сталина) личному указанию.

Об этом его письме тогда тоже ходили самые разные слухи. Но о содержании его можно было лишь догадываться. Эренбург не только в своих мемуарах упомянул о нем весьма туманно, но даже в личном общении избегал разговоров на эту тему. Ну, а уж сам текст письма дошел до меня и вовсе не скоро: годы спустя после его смерти.

Впервые узнал я о том, что скрывалось за теми несколькими глухими строчками его мемуаров, от Ирины.

Имя Ирины — единственной дочери Ильи Григорьевича — уже упоминалось мною на этих страницах. Но сейчас настало время сказать о ней чуть подробнее.

С Ириной мы дружили тридцать лет, она была очень близким нам человеком, одним из самых близких.

Когда-нибудь я, быть может, еще вернусь к рассказу об Ирине и нашей многолетней дружбе с нею. А пока ограничусь лишь несколькими короткими штрихами. К тому же о том, что за человек была Ирина, я, наверное, все равно не смог бы сказать лучше, чем это сделала однажды (в 1995 году) она сама, коротко ответив на вопросы анкеты, присланной ей одним немецким журналом.

Приведу лишь некоторые из этих вопросов и ответов:

— Ваши любимые литературные герои?
— Дон Кихот.
— Ваши любимые женские образы в поэзии?
—Татьяна в «Евгении Онегине» Пушкина.
—Какие черты Вы цените больше всего у мужчины?
— Преданность и честность.
—Какие черты Вы цените больше всего у женщины?
— Те же, что у мужчины, плюс откровенность.
— Ваша благодеятельность?
— Верность.
— Что вы цените больше всего у Ваших друзей?
— Верность.
— Ваши герои современности?

— Сахаров и все, кто борется против фашизма.
— Что Вы ненавидите больше всего?
—Трусость.
— Какие исторические личности Вы ненавидите
больше всего?
— Гитлера, Сталина, Муссолини.

При том, что вопросы ей тут задавались, как это бывает почти во всякой анкете, очень разные, — и умные, и довольно глупые, и даже не слишком внятные (я, например, так и не понял, что означает вопрос «Ваша благодеятельность?» Очевидно, это плохой перевод), — все ее ответы рисуют поразительно цельный человеческий характер. И — заметьте! — ключевое слово тут — верность. Верность провозглашается ею как главная ценность человеческой личности не только в тех ответах, где прямо произнесено это слово, но и в других: в ссылке на Татьяну Ларину как на самый любимый женский образ, в ответе на вопрос о том, что могло бы стать для нее высшим земным счастьем: долгая жизнь с мужем. (Муж Ирины писатель Борис Лапин погиб в 1941 году под Киевом, ей было тогда 30 лет, и она никогда больше не вышла замуж.)

Слово это было ключевым и в лексиконе ее отца. Незадолго до смерти Эренбург написал поразительное по откровенности стихотворение. В стихах он и раньше бывал откровеннее, чем в мемуарах, — не говоря уже о публицистических статьях. А это было не просто стихотворение — одно из многих. Это была попытка подвести итог всей прожитой им жизни:

Пора признать — хоть вой, хоть плачь я,
Но прожил жизнь я по-собачьи…
Таскал не доски, только в доску
Свою дурацкую поноску,
Не за награду — за побои
Стерег закрытые покои,
Когда луна бывала злая,
Я подвывал и даже лаял…

Казалось бы, степень его откровенности тут — предельна, и эта его характеристика по саморазоблачительной сути своей — убийственна. Но стихотворение на этом не кончается. И по мере того как оно движется к концу, все яснее становится, что все-таки не пафос саморазоблачения движет рукой автора, а пафос самооправдания. И даже — самоутверждения.

Оказывается, вот почему он прожил свою жизнь «по-собачьи»:

Не потому, что был я зверем,
А потому, что был я верен —
Не конуре, да и не палке,
Не драчунам в горячей свалке,
Не дракам, не красивым вракам,
Не злым сторожевым собакам,
А только плачу в темном доме
И теплой, как беда, соломе.

Несколькими годами раньше он написал другое стихотворение, где ключевым было то же слово: верность.

Жизнь широка и пестра,
Вера — очки и шоры.

Вера двигает горы.
Я — человек, не гора…
Видел, как люди слепли,
Видел, как жили в пекле,
Видел — билась земля,
Видел я небо в пепле, —
Вере не верю я.
Скверно? Скажи, что скверно.
Верно? Скажи, что верно.
Не похвальбе, не мольбе,
Верю тебе лишь, Верность,
Веку, людям, судьбе.
Если терпеть, без сказки,
Спросят — прямо ответь,
Если к столбу, без повязки, —
Верность умеет смотреть.

Сейчас, переписывая эти строки, я подумал: интересно, когда он написал вот это: «Спросят — прямо ответь», вспомнил ли он, как ему весной 1949 года в Париже приходилось увертываться от вопросов о Маркише, Бергельсоне и других арестованных еврейских писателях?

Вот как туманно намекает он на это в своих мемуарах:

> …Луи и Эльза меня спрашивали по-русски: «Что это значит — «космополиты»? Почему раскрывают псевдонимы?» Это были свои люди, я их знал четверть века, но ответить не мог…
> В номере гостиницы я быстро разделся, лег, погасил свет — мечтал уснуть, но вскоре понял, что это не удастся. Я повертелся с боку на бок, зажег свет, почему-то оделся, сел в кресло и начал маниакально фантазировать — что придумать, чтобы меня завтра отослали назад в Москву? Перебирал все варианты — заболеть, объяснить, что не смогу выступить, просто сказать: «Хочу домой». Так я просидел до утра. Передо мной вставал Перец Маркиш таким, каким я его видел в последний раз. Я вспоминал фразы газетных статей и тупо повторял: «Домой!..»
> Я сказал, что в этой главе хотел рассказать о самом тяжелом для меня времени, вряд ли это удалось, да и не знаю, можно ли про такое рассказать, добавлю одно — самой страшной была первая ночь в Париже, в длинном узком номере, когда я понял, какой ценой расплачивается человек за то, что он «верен людям, веку, судьбе».

Верность он противопоставлял вере, как зрячесть — слепоте. Но если бы в этих своих рассуждениях он дошел до конца, до последнего предела, он вынужден был бы признать, что непременными атрибутами этой прославляемой им верности были те же «очки и шоры», которые отвратили его от слепой веры.

Да, представление о верности, как о едва ли не главном качестве, определяющем ценность человеческой личности, Ирина унаследовала от отца. Но в контексте приведенных мною ее ответов на ту немецкую анкету (да и всего ее человеческого облика) это слово несет в себе не совсем тот смысл, каким оно было наполнено у Ильи Григорьевича.

Он упирал на то, что был верен родине («плачу в темном доме и теплой, как беда, соломе»), веку, судьбе. Для нее верность — это верность памяти погибшего мужа, верность дружбе, верность данному слову.

Мы дружили с ней тридцать лет. Не так уж мало было у меня в жизни верных друзей, тесные отношения с которыми оставались прочными на протяжении десятилетий. Но я не встречал более верного, более надежного человека, чем Ирина.

Друзья, даже самые близкие, не всегда бывали на высоте. Да иначе ведь и не бывает: у каждого своя жизнь, свои заботы, и нет ничего удивительного, что порой, когда ты нуждаешься в них, надеешься на их — если не помощь, то хотя бы сочувствие, теплый душевный отклик, — им не до тебя.

На Ирину можно было положиться всегда и во всем.

Но ее верность никогда не бывала слепой. Даже верность памяти отца, которая наложила мощный отпечаток не только на ее сознание, но и подчинила себе весь бытовой уклад ее жизни.

Сын Бориса Леонидовича Пастернака — Евгений Борисович, говоря об отце, неизменно называл его «папочка». Это было трогательно, но и немного комично: многие из нас, слыша это детское слово, произносимое взрослым — и даже пожилым — мужчиной, невольно прятали улыбки.

Ирина, говоря об отце, называла его «Илья».

Это у них так «исторически сложилось».

Ирина была ребенком, когда ее мать ушла от Эренбурга к его другу Тихону Ивановичу Сорокину. «Ушла, — как рассказывает в своих воспоминаниях Ирина, — потому что мечтала создать семью, а с моим отцом это было невозможно».

Никто из взрослых не нашел нужным объяснить маленькой девочке не только причины, но и самую суть перемен, происшедших в ее семье. Поначалу она росла с матерью и отчимом, а отец взял ее к себе позже. Вот так и вышло, что всю жизнь она называла Сорокина папой, а Эренбурга Ильей.

Все это я от Ирины слышал много раз, и всю эту подоплеку такого — не совсем обычного — обращения ее к отцу хорошо знал. Но всякий раз, слыша, как, вспоминая об отце, она называет его «Илья», я невольно воспринимал это как знак совершенно особых ее с ним отношений. Отношений не отца с дочерью, а двух взрослых и равных друг другу людей.

Это слово — «Илья», — по каким бы там биографическим причинам ни установилось оно в их обращении друг к другу, очень точно выражало ее отношение к отцу: не снизу вверх, а на равных. А в чем-то даже, пожалуй, и сверху вниз, как у взрослого, умудренного опытом человека к наивному «большому ребенку».

Наивным ребенком Илья Григорьевич, конечно, не был. Но когда в декабре 1937 года он приехал из Мадрида в Москву, он попал в совершенно новый, незнакомый и непонятный ему мир. И первым гидом, первым его провожатым в этом поразившем его мире стала Ирина. Самые элементарные вещи она объясняла, втолковывала ему как маленькому:

> В лифте я увидел написанное рукой объявление, которое меня поразило: «Запрещается спускать книги в уборную. Виновные будут наказаны».
> «Что это значит?» — спросил я Ирину. Покосившись на лифтершу, Ирина ответила: «Я так рада, что вы приехали!..»
> Когда мы вошли в квартиру, Ирина наклонилась ко мне и тихо спросила: «Ты что, ничего не знаешь?..»
> Полночи она и Лапин рассказывали нам о событиях: лавина имен, и за каждым одно слово — «взяли»… Я не мог успокоиться, при каждом имени спрашивал: «Но его-то почему?..»

Он еще пытался понять: за что? почему? А Ирина уже знала, что берут ни за что и «нипочему».

В 1967 году, когда Эренбург умер, Ирине для утверждения ее в правах наследства понадобилась метрика. Никакой метрики у нее не было, и она написала в Ниццу, где должны были сохраниться какие-то документы.

Кое-что действительно сохранилось: из Ниццы пришла справка, подтверждающая, что в таком-то году ее мать, такая-то, действительно родила девочку Ирину. Но имя отца там указано не было. Повертев ненужную справку в руках, женщина-нотариус сказала, что Бог с ней, с метрикой: «Вашей метрикой будут мемуары вашего отца».

В эренбурговских мемуарах имя Ирины и в самом деле упоминается многократно. И если внимательно проглядеть все эти упоминания, можно установить не только факт их прямого родства (что только и было нужно нотариусу), но и характер их взаимоотношений.

Эренбург, вынужденный по обстоятельствам своей жизни долго жить за границей, действительно не знал — не мог знать! — многого. И Ирина нередко бывала его глазами, его ушами: поневоле оторванный от советской реальности, свое знание о ней он черпал из ее свидетельств, ее жизненных впечатлений:

> По поручению «Красной звезды» Ирина в марте поехала в Одессу — оттуда отправляли англичан, французов, бельгийцев, освобожденных Красной Армией. Тогда же прибыл из Марселя транспорт с нашими военнопленными, среди них были убежавшие из плена, боровшиеся в отрядах французских партизан. Ирина рассказывала, что их встретили как преступников, изолировали, говорят, будут отправлять в лагеря.

Отчасти именно эта роль, которую Ирина играла в его жизни, определила характер их отношений. Не только ее отношения к нему, но и его отношения к ней.

Конечно, она любила отца. И конечно, относилась к нему с уважением. И конечно, ей было обидно, если в ее присутствии кто-нибудь говорил о нем в неуважительном или даже оскорбительном тоне. Но обсуждать его слабости и ошибки и даже осуждать его за те — не всегда пристойные — поручения, которые ему приходилось выполнять, при ней можно было свободно. И даже классическую фразу Бабеля, нередко вспоминавшуюся кем-нибудь из нас в разговорах на эту тему («В номерах служить, подол заворотить»), она выслушивала — без удовольствия, конечно, — но, во всяком случае, с пониманием, не возражая.

Все это я рассказываю к тому, что говорить с Ириной об ее отце я мог с полной откровенностью. И говоря с ней о нем, мог не сомневаться, что она тоже будет со мной откровенна — скажет все, что знает, ничего не утаив.

Так оно и случилось, когда я однажды спросил ее, что ей известно про то письмо, которое, как рассказывают, все именитые евреи подписали и только он один не подписал. Было это — или не было? И если было, то — как? Что она помнит об этом?

Она помнила только, что ему позвонили и попросили приехать в редакцию «Правды». И что вернулся он оттуда совершенно мертвый. Не сказав никому ни слова, заперся у себя в кабинете и — пил. Таким пьяным, сказала она, я никогда его не видела — ни раньше, ни потом.

А наутро, уже на трезвую голову, он написал Сталину.

— И что же он ему написал? — осторожно спросил я.

Этого она не знала.

На этом и кончился тогдашний наш разговор. Этот рассказ Ирины, — особенно то, что, отказавшись поставить свою подпись под письмом именитых евреев в редакцию «Правды», И.Г. «ушел в запой» (что, по моим представлениям, было ему совсем не свойственно) — произвел на меня такое сильное впечатление, что совсем заслонил все, что я слышал об этой истории раньше, и даже вытеснил многое из того, что я узнал о ней потом.

Как оказалось, в действительности все было совсем не так, как это представилось мне под впечатлением Ириниого рассказа.

Вообще-то я мог бы сообразить это давным-давно, поскольку мой друг Борис Биргер в свое время довольно подробно записал рассказ Ильи Григорьевича о том, как все это происходило. И этот записанный им рассказ я, конечно, читал.

Биргер познакомился с Эренбургом в 1962-м, то есть позже, чем я. Но у него с Ильей Григорьевичем сразу завязались более тесные, можно даже сказать дружеские отношения. Наверное, так вышло потому, что к художникам Эренбург питал особую слабость. Работы Бориса пришлись Илье Григорьевичу по душе. Одну из них он даже у него купил, и этот

приобретенный им когда-то ранний биргеровский натюрморт до сих пор занимает свое место в его «коллекции» — по соседству с Фальком, Тышлером, Пикассо и Матиссом.

Назвав собрание эренбурговских картин «коллекцией», я не случайно взял это слово в кавычки. Сделал я это не думая, автоматически, хотя и прекрасно понимал, почему это делаю. А сейчас вдруг ясно вспомнил один рассказ Биргера как раз вот на эту тему.

Однажды Борис повез Эренбурга к своему другу Владимиру Вейсбергу — наверное, самому замечательному российскому художнику этого поколения. На обратном пути он стал уговаривать Илью Григорьевича, чтобы тот купил какую-нибудь Володину картину. И между прочим сказал, что картина такого художника, как Вейсберг, была бы, пожалуй, наилучшим завершением его коллекции. Нечаянно вырвавшееся у Бориса слово «коллекция» привело Эренбурга в ярость. С несвойственной ему обычно резкостью — и даже с обидой — он сказал, что коллекционером никогда не был: все его картины — это подарки близких друзей. Единственное исключение — автопортрет Шагала, который купила Любовь Михайловна. Купила, кстати, сказать, чтобы спасти картину от гибели: одна женщина, муж которой был арестован, а сама она со дня на день тоже ждала ареста, срочно распродавала все свои вещи, среди которых был и этот бесценный шагаловский автопортрет.

Слово «коллекция» так задело Илью Григорьевича, что он долго еще не мог успокоиться. Продолжая эту тему, сказал, что коллекционеров он терпеть не может и от души надеется, что ни одна его картина не попадет в руки кому-нибудь из этой братии.

— Но если бы на свете не было коллекционеров, — робко возразил Борис, — как бы тогда жили мы, художники? Кто бы тогда покупал наши картины?

— Покупали бы люди, любящие живопись, — ответил Эренбург. И тут же пояснил, что любитель живописи и коллекционер — это совсем не одно и то же. Коллекционер, сказал он, никогда не купит картину у живого художника. А если даже и купит, так только для того, чтобы похвастаться, как дешево удалось ему купить вещь, которая на самом деле стоит или со временем будет стоить гораздо дороже.

Картину Вейсберга Илья Григорьевич тогда все-таки купил. Купил, — как и натюрморт Биргера, — быть может, не без намерения поддержать материально не больно преуспевающего талантливого живописца. Но, конечно, не только поэтому. Плохую или даже просто не шибко нравящуюся ему картину рядом с Фальком и Тышлером он бы ни за что не повесил.

Прошу прощения за это отступление. Вернусь к запискам Б. Биргера, единственного из всех близких к Эренбургу людей, кто догадался записать рассказ Ильи Григорьевича об одной из самых темных и страшных страниц нашей истории. Читая в свое время эту его запись, я постеснялся его спросить, где он собирается ее хранить (интересоваться такими вещами у нас тогда было не принято). И совсем уж не пришло мне в голову сделать из этих его записок для себя какие-то выписки.

В общем, вышло так, что полный текст биргеровских воспоминаний оказался у меня в руках уже после смерти Бориса, то есть совсем недавно. И сейчас, перечитывая эту его старую запись, я не только радуюсь, что ему в свое время пришло в голову сохранить этот эренбурговскии рассказ на бумаге, но и не перестаю дивиться тому, как ясно, с, казалось бы, совсем не свойственной его легкой и беспечной натуре строгостью и точностью он этот его рассказ записал.

> Это было поздней осенью 1964 года. Я не помню сейчас, по какому поводу Илья Григорьевич очень просил меня приехать на дачу. Я очень любил этот удивительно красивый и уютный дом на реке Истра, километрах в семидесяти от Москвы. Обычно я уезжал сразу после обеда. Неудобно было задерживать шофера, который меня привозил. Но на этот раз Любовь Михайловна уговорила меня остаться ночевать. Мы долго сидели, топили камин. Илья Григорьевич рассказал мне историю одного письма, которую потом повторил еще раз в Москве. Он явно хотел, чтобы я ее запомнил как следует.

> В последние месяцы царствования Сталина, поздно вечером, точнее уже ночью, так как было после двенадцати, в квартире Эренбургов раздался настойчивый звонок. В эти времена ночные звонки вызывали только одну ассоциацию…
> Любовь Михайловна пошла открывать. Гости были на этот раз очень неожиданные — академик Минц (так называемый философ-марксист) и еще один, чью фамилию я не помню. Минц сказал, что он должен срочно побеседовать с Ильей Григорьевичем. Когда они зашли, Минц положил перед Эренбургом письмо в газету «Правда», под которым было уже довольно много подписей. В этом письме нижеподписавшиеся евреи отказывались от еврейского «народа-предателя». Впоследствии выяснилось, что Сталин выбрал несколько (кажется, 67) евреев — крупнейших ученых, высших генералов армии, прославившихся во время войны, несколько писателей, актеров и т.п., которых считал нужным пока сохранить.
> Илья Григорьевич очень резко сказал Минцу, что такое письмо он никогда не подпишет. Тогда Минц стал довольно прозрачно намекать, что это письмо согласовано со Сталиным. И.Г. ответил, что письма он подписывать не будет, но напишет письмо Сталину с объяснением своего отказа.
> И.Г. ушел в кабинет, а Минц начал запугивать Любовь Михайловну, весьма образно описывая, что с ними будет, если И.Г. не подпишет письмо. Любовь Михайловна рассказывала, что час, проведенный в обществе «этих двух иуд» (как она выразилась), был не только одним из самых страшных в ее жизни, но и самым омерзительным. Когда И.Г. вернулся с запечатанным письмом, достойная парочка снова было приступила к уговорам, но И.Г. попросил передать его письмо Сталину и сказал, что больше беседовать на эту тему не собирается, и выпроводил их.

Эту запись Борис сделал не сразу, а семь лет спустя после смерти Ильи Григорьевича. Естественно, что не все из того, что было ему рассказано в тот вечер, осталось в его памяти. Быть может, поэтому, а может быть, и потому, что на некоторых подробностях И.Г. просто не счел нужным остановиться, он не отметил, что тот визит Минца и Маринина (так звали второго визитера, фамилию которого Борис не смог вспомнить) был уже не первым.

Мой коллега Борис Фрезинский посвятил этому сюжету специальное расследование, в котором восстановил всю последовательность событий. *(Б.Я. Фрезинский. Власть и деятели советской культуры — проблема адекватного анализа. Исторические записки № 5 (123). М. 2002.)* В ходе этого расследования он установил, что «главноуговаривающие» — академик Минц и журналист Маринин (Хавинсон) — сперва приезжали к Эренбургу на дачу, и он просто не стал даже обсуждать с ними эту тему. Беседа с ними в редакции «Правды», о которой мне рассказывала Ирина, была уже второй. И там тоже о его намерении написать Сталину речи не было.

К тем двум предварительным его встречам с «двумя мерзавцами» мы еще вернемся. А пока отметим только, что та, о которой Илья Григорьевич и Любовь Михайловна рассказывали Биргеру, была, стало быть, уже ТРЕТЬЕЙ его встречей с ними.

О том, как события развивались дальше, мы тоже узнаем из записок Бориса Биргера.

Версий, а тем более слухов вокруг этого сюжета наворочено множество. (К рассмотрению некоторых из них я тоже еще вернусь). Но только вот эта запись рассказа Эренбурга, сделанная Биргером, — только она одна! — дает нам возможность с достаточной степенью достоверности представить себе, **как все это было.**

Сами передать эренбурговское письмо Сталину Маринин и Минц, понятное дело, не могли: это было им не по чину. Они вручили его прямому своему начальнику Д.Т. Шепилову. (Он был в то время главным редактором «Правды».) Но и Шепилов далеко не сразу решился передать письмо по адресу. Во всяком случае, прежде чем сделать это, он предпринял еще одну, личную попытку отговорить Эренбурга от его безумной затеи и с этой целью попросил его снова приехать в «Правду». Эренбург приехал. Снова был долгий, мучительный, изматывающий душу разговор. В записи Биргера он изложен кратко, можно даже сказать, конспективно. Но представление о сути и характере этого разговора биргеровский «мемуар» дает достаточно полное:

> Шепилов сказал, что письмо Эренбурга к Сталину находится у него и что он его до сих пор не отправил дальше, так как очень хорошо относится к Илье Григорьевичу, а отправка письма с отказом от подписи коллективного письма в «Правду» равносильна приговору. Шепилов добавил, что не будет скрывать от Ильи Григорьевича, что письмо в «Правду» написано по инициативе Сталина и, как понял И.Г. из намеков Шепилова, Сталиным отредактировано, а возможно, и сочинено. И.Г. ответил, что он настаивает на том, чтобы его письмо было передано Сталину и только после личного ответа Сталина он вернется к обсуждению, подписывать или не подписывать письмо в «Правду». Шепилов довольно ясно дал понять И.Г., что тот просто сошел с ума. Разговор продолжался около двух часов. Шепилов закончил его, сказав, что он сделал для Ильи Григорьевича все, что мог, и раз он так настаивает, то передаст письмо Сталину, а дальше пусть Илья Григорьевич пеняет на себя. Илья Григорьевич ушел от Шепилова в полной уверенности, что его в ближайшие дни арестуют. Эренбурги уехали на дачу и стали ждать событий. Письмо в «Правде» не появилось. Илья Григорьевич считал, что, возможно, только последовавшая вскоре смерть Сталина остановила опубликование этого страшного письма. Было ли передано письмо Эренбурга Сталину и сыграло ли оно хоть какую-нибудь роль во всей этой истории, И.Г. не знал.
>
> Я спросил И.Г., что же он написал Сталину. И.Г. ответил мне, что он прекрасно понимал, что вслед за опубликованием письма избранных евреев с отказом от своего народа последуют массовые репрессии по отношению ко всем евреям, живущим в Советском Союзе, и поэтому, когда он писал свое письмо к Сталину, он старался прибегать только к тем доводам, которые могли бы оказать хоть какое-нибудь воздействие на Сталина. У И.Г. было слишком мало времени, чтобы как следует обдумать, так как в соседней комнате сидели эти два мерзавца и довели почти до обморочного состояния Любовь Михайловну. И.Г. пытался как можно убедительнее довести до сознания Сталина, что опубликование такого письма покончит с коммунистическими партиями Европы. Правда, добавил И.Г., он был уверен, что максимум — поредели бы ряды компартий Европы. Но других доводов, способных дойти до сознания Сталина, у него не было.

Из этого биргеровского пересказа содержания эренбурговского письма Сталину ясно видно, что самого этого письма Борис не читал. Пожалуй, даже считал, что ни копия его, ни — тем более — оригинал уже никогда не отыщутся. (Потому и счел необходимым как можно точнее записать хотя бы вот это краткое его изложение.)

Похоже, что и Ирина, когда я расспрашивал ее о том, что было написано в том письме, и она ответила, что не знает, тоже считала, что ничего сверх того, что мы знаем, нам уже никогда не узнать.

О том своем разговоре с Ириной я не то чтобы забыл, но больше не вспоминал: ну, не знает — и не знает, что тут поделаешь. И вдруг однажды — прошло, наверное, лет шесть, а то и восемь, — она мне позвонила:

— Я нашла письмо Ильи Сталину.

Через пять минут я уже держал его в руках. Это был сложенный вчетверо ломкий листик тонкой — почти папиросной — французской бумаги (он пачками привозил ее из Парижа), с обеих сторон заполненный еле различимым машинописным текстом, испещренным карандашными поправками — немыслимыми эренбурговскими каракулями (почерк у него был чудовищный).

Большую часть эренбурговских каракулей я разобрать так и не смог, а кроме того, трудность «расшифровки» усугублялась еще тем, что сквозь прозрачный листок проступали строки, напечатанные на оборотной его стороне, забивая текст первой страницы.

Тем не менее бледные буквы портативной эренбурговской машинки, хоть и с трудом, все же поддавались прочтению.

Этот черновик сейчас лежит передо мною. И хотя листок папиросной бумаги стал за прошедшие годы еще более ветхим, а полустертые — особенно на сгибах — буквы еще менее различимыми, я все-таки заново разбираю и перепечатываю его, чтобы как можно точнее восстановить в памяти все, что думал и чувствовал тогда, когда пытался прочесть его впервые.

Когда мне наконец удалось с грехом пополам расшифровать этот текст, я перепечатал его набело на своей машинке и дал прочитать жене. Она презрительно фыркнула:

— Письмо лакея.

И хотя меня тоже коробил не только тон и стиль (тут уж ничего не поделаешь, Пушкин, обращаясь к царю или даже к Бенкендорфу, тоже соблюдал все принятые в его время формы обращения к особам такого ранга), но и самый смысл этого послания, я, как и в тот раз, когда мы с ней увидели на экране Эренбурга, произносившего свою речь на церемонии вручения ему премии, ответил ей:

—Ты ничего не понимаешь!

Смысл послания, весь набор приведенных Эренбургом доводов и аргументов и в самом деле выглядел какой-то дичью. Сперва у меня было такое ощущение, что, сочиняя это письмо, Илья Григорьевич вывалил и собрал в кучу все, что в тот момент пришло ему в голову, не слишком даже заботясь о том, чтобы одни аргументы хоть как-то состыковывались с другими.

Тут и французы, итальянцы, англичане, для которых слово «еврей» означает лишь религиозную принадлежность, и некоторые отсталые советские граждане, «которые еще не поняли, что еврейской нации нет» (это, как говорится, гвоздь от другой стенки), и «отвратительная пропаганда, которую ведут теперь сионисты, бундовцы и другие враги нашей Родины». (Особенно, помню, изумили меня тогда эти «бундовцы», существование которых представлялось мне ветхозаветной историей.)

И все это выражено словами и оборотами, о которых один мой приятель в тоне юмора говорил, что их «противно взять в рот»:

> Необходимо бороться против всяческих попыток еврейского национализма, который неизбежно приводит к измене…

Но самым противным в этом письме был, конечно, его финал — эта заключающая его угодливая фраза, что, мол, если вы скажете, что я не прав и что это вредоносное «Письмо» надо подписать, то я, разумеется, тотчас же… и т.д.

Этот заключительный пассаж, видимо, и самому автору был особенно поперек души: недаром же слово «разумеется» он зачеркнул, хотя это уже мало что меняло.

Все эти тогдашние мои мысли и ощущения, казалось бы, должны были вынудить меня — если не вслух, то хотя бы в душе — согласиться с женой, с ее безапелляционным приговором.

Но в отличие от нее я ясно понимал, в каком — не только состоянии, но и положении — был тогда Эренбург, и какую цель он перед собой ставил.

Тут, наверно, имеет смысл вспомнить «антагониста» Ильи Григорьевича — Василия Семеновича Гроссмана.

В разговорах, когда ему случалось о нем упоминать, Илья Григорьевич называл Василия Семеновича максималистом. А в мемуарах вспоминает о нем так:

> О Ленине он говорил с благоговением. Большевики, вышедшие из подполья, для него были безупречными героями. Я был на пятнадцать лет старше его и некоторых людей, которыми он восхищался, встречал в эмиграции. Однажды я сказал: «Не понимаю, чем вы в товарищах восхищаетесь?» Василий Семенович сердито ответил: «Вы многого не понимаете…»

В те времена, о которых он здесь вспоминает, «непонимающим» на самом деле был Гроссман, а не Эренбург. Но к февралю 1953-го Гроссман уже далеко обогнал Эренбурга своим трезвым, беспощадным видением реальности.

И тем не менее Гроссман — при всем своем ясном понимании происходящего — все-таки подписал то постыдное письмо, под которым Эренбург — едва ли не единственный из всех, к кому тогда обратились, — так и не согласился поставить свою подпись.

Мучительный след этого поступка, тяготившего Василия Семеновича всю последующую его жизнь, остался в его романе «Жизнь и судьба». Там аналогичное письмо вынужден подписать один из главных его героев — Виктор Павлович Штрум.

Душевные терзания Штрума и все обстоятельства, связанные с этим его поступком, описаны с такой ужасающей конкретностью, что не возникает ни малейших сомнений: история эта автобиографична. Единственное отличие ситуации, описанной в романе, от той, что происходила с ним самим, состоит в том, что в романе она перенесена в другое, более раннее время. (Действие романа происходит во время войны, и ситуация, относящаяся к событиям 1953 года, естественно, описана в нем быть не могла.) Однако тема «врачей-убийц» там присутствует:

> Боже мой, как было ужасно письмо, которое товарищи просили его подписать, каких ужасных вещей касалось оно.
>
> Да не мог он поверить в то, что профессор Плетнев и доктор Левин убийцы великого писателя. Его мать, приезжая в Москву, бывала на приеме у Левина, Людмила Николаевна лечилась у него, он умный, тонкий, мягкий человек. Каким чудовищем надо быть, чтобы так страшно оклеветать двух врачей!
>
> Средневековой тьмой дышали эти обвинения. Врачи-убийцы!.. Кому нужна эта кровавая клевета? Процессы ведьм, костры инквизиции, казни еретиков, дым, смрад, кипящая смола. Как связать все это с Левиным, со строительством социализма, с великой войной против фашизма?..
>
> Он читал медленно. Буквы вдавливались в мозг, но не впитывались им, словно песок в яблоко.
>
> Он прочел: «Беря под защиту выродков и извергов рода человеческого, Плетнева и Левина, запятнавших высокое звание врачей, вы льете воду на мельницу человеконенавистнической идеологии фашизма…»
>
> Ковченко сказал:
>
> — Мне говорили, что Иосиф Виссарионович знает об этом письме и одобряет инициативу наших ученых…
>
> Тоска, отвращение, предчувствие своей покорности охватили его. Он ощущал ласковое дыхание великого государства, и у него не было силы броситься в ледяную тьму… Не было, не было сегодня в нем силы. Не страх сковывал его, совсем другое, томящее, покорное чувство…
>
> Попробуй, отбрось всесильную руку, которая гладит тебя по голове, похлопывает по плечу…
>
> Отказаться подписать письмо? Значит, сочувствовать убийцам Горького! Нет, невозможно. Сомневаться в подлинности их признаний? Значит, заставили! А заставить честного и доброго интеллигентного человека признать себя наемным убийцей и тем заслужить смертную казнь и позорную память можно лишь пытками. Но ведь безумно высказать хоть малую тень такого подозрения.
>
> Но тошно, тошно подписывать это подлое письмо. В голове возникали слова и ответы на них… «Товарищи, я болен, у меня спазм коронарных сосудов». «Чепуха: бегство в болезнь, у вас отличный цвет лица»…
>
> «Товарищи, скажу вам совершенно откровенно, мне некоторые формулировки кажутся не совсем удачными…»
>
> «Пожалуйста, пожалуйста, Виктор Павлович, давайте ваши предложения, мы с удовольствием изменим кажущиеся вам неудачными формулировки»…
>
> «Ну Боже мой! Поймите, у меня есть совесть, мне больно, мне тяжело, да не обязан я, почему я должен подписывать, я так измучен, дайте мне право на свободную совесть».

> И тут же — бессилие, замагниченность, послушное чувство закормленной и забалованной скотины, страх перед новым разорением жизни, страх перед новым страхом…
> «Товарищи, все это настолько серьезно, что я хотел бы подумать, разрешите отложить решение хотя бы до завтра».
> И тут он представил себе бессонную, мучительную ночь, колебания, нерешительность, внезапную решимость и страх перед решимостью, опять нерешительность, опять решение. Все это выматывает подобно злой, безжалостной малярии. И самому растянуть эту пытку на часы. Нет у него силы. Скорей, скорей, скорей.
> Он вынул автоматическую ручку.

Эренбург, наверно, думал и чувствовал примерно то же.

Но когда он прочел текст письма, которое должен был подписать, мозг его сразу заработал в другом направлении. (Тому есть документальное свидетельство, но об этом — позже.)

Гроссману далее в голову не могло взбрести, что он может обратиться с письмом к Сталину. Да и что он мог ему написать? Чтобы тот оставил его в покое? Дал ему право на свободную совесть?

Смешно!

Описывая терзания своего героя, Гроссман выпятил лишь одну сторону дела: чудовищную подлость, безнравственность того «компромисса», к которому его вынуждают. Штрума терзает, не дает ему покоя только одна мысль:

> Он совершил подлость! Он, человек, бросил камень в жалких, окровавленных, упавших в бессилии людей.

Но в задуманной Сталиным акции, как я уже говорил, был еще и другой зловещий смысл.

Не знаю, как Гроссман, но Эренбург сразу понял, что опубликование на страницах «Правды» такого письма задумано, помимо всего прочего, как политическое и моральное оправдание другой, еще более грандиозной провокации, в результате которой со всеми «лицами еврейской национальности» будет поступлено так же, как раньше поступили с калмыками, крымскими татарами, чеченцами, балкарцами и другими народами, на которые Сталин, по слову Твардовского, «обрушил свой державный гнев». И не раздумывая, без колебаний, он предпринял отчаянную попытку остановить — ну, если не остановить, так хоть задержать исполнение этого сталинского приговора

Весь смысл и вся стилистика эренбурговского письма были подчинены только этой единственной цели. Он попытался объяснить Сталину на его, сталинском языке, апеллируя к его, сталинской логике, все издержки, все невыгоды, все неизбежные отрицательные последствия задуманного Сталиным плана. Меньше всего интересовало его в тот момент, как соотносится стиль и логика этого его письма со стилем и логикой писателя Ильи Эренбурга.

Но неужели он всерьез надеялся, что ему удастся переубедить Сталина? Что, прочитав его письмо, Сталин откажется от своих замыслов?

Безумие, безумие!

Однако дальнейшее развитие событий показало, что эта — продиктованная отчаянием — безумная попытка повлиять на планы Сталина в основе своей была не так уж безумна.

* * *

Насчет того, о чем все-таки шла речь в том письме именитых советских евреев в редакцию «Правды», которое Эренбург отказался подписать, существует тьма слухов, версий,

легенд — весьма разнообразных, а порой и взаимоисключающих. По поводу текста письма Эренбурга Сталину, казалось бы, особых разногласий быть не может. Однако и тут тоже напущено много тумана. Вот, например, известный журналист и публицист Аркадий Ваксберг в своей книге на «еврейскую» тему сообщает нам (притом весьма авторитетным, не вызывающим сомнений в истинности сообщаемых им сведений тоном), что первая, самая ранняя публикация этого эренбурговского письма представляет собой «лишь первоначальный вариант»:

> В нем отсутствуют два важнейших пассажа, свидетельствующих о том, как Эренбург стремился подыграть Сталину, не прогневать его, высказать те «соображения», которые могли бы хоть как-то повлиять на адресата, то есть сделать все возможное и невозможное, лишь бы остановить в последний момент руку обезумевшего палача.
>
> ***(Аркадий Ваксберг. Из ада в рай и обратно. М. 2003. Стр. 435.)***

Приведя далее эти «два пассажа», он — тем же безапелляционным тоном — сообщает, что «эти два дополнения» Эренбург сделал «после нескольких дней раздумий».

На самом деле никакого такого «первого варианта» не было. И не было у Ильи Григорьевича тогда этих «нескольких дней» для раздумий. Письмо, как мы уже знаем, было написано единым духом, в течение того часа, который Любовь Михайловна провела в обществе «этих двух иуд» — Маринина и Минца

Но — что правда, то правда, — те «два пассажа», которые приводит в своей книге Ваксберг, в первой публикации эренбурговского письма Сталину действительно отсутствовали.

Поскольку та — самая ранняя, первая — публикация письма Эренбурга Сталину, на которую ссылается Ваксберг, была сделана мною, могу рассказать, как и почему это так получилось.

В 1990 году в Москве, в издательстве «Советский писатель» вышли три тома мемуаров Эренбурга. Эта книга тогда впервые явилась в свет в полном, нецензурованном виде, без всяких исправлений и купюр.

Предисловие к этому изданию было заказано мне. И когда я работал над ним, мне пришло в голову, что хорошо бы, воспользовавшись этой возможностью (когда еще представится такой случай!), опубликовать это найденное Ириной в эренбурговском архиве письмо.

Ирина со мной согласилась. Она только попросила меня (по понятным причинам) пока — до времени — не публиковать его целиком. Убрать наиболее компрометирующие Эренбурга в глазах сегодняшнего читателя абзацы. Во всяком случае — последний: ту самую фразу, где Илья Григорьевич говорит, что если Сталин будет настаивать на своем, он это ужасное «Письмо в редакцию», разумеется, подпишет. (Лихорадочно сочиняя свое письмо Сталину, Эренбург, конечно, и думать не думал о том, как он будет выглядеть в глазах потомков, если им случится когда-нибудь это письмо прочесть. Но Ирина, ставшая после смерти отца его единственным душеприказчиком, не думать об этом не могла)

Поскольку я не утверждал, что публикую полный текст письма, а просто цитировал его, оговорив, что привожу его с некоторыми сокращениями, я счел возможным выполнить эту Иринину просьбу.

Итак, в 1990 году — с небольшими, хоть и существенными купюрами — это письмо было опубликовано.

А семь лет спустя в президентском (бывшем сталинском) архиве отыскался оригинал этого письма. И в первом номере журнала «Источник» за 1997 год оно — впервые — было опубликовано полностью.

В том же номере «Источника» был опубликован и текст якобы того самого «Письма в редакцию», о котором шла речь в эренбурговском обращении к вождю.

Я написал «якобы того самого», потому что, едва только я бегло проглядел этот текст, как мне сразу же стало ясно, что это — совсем не то письмо. Другое.

Оно не обвиняло советских евреев в пособничестве мировому сионизму, а, напротив, защищало их от этих подозрений:

> …Русский народ понимает, что громадное большинство еврейского населения в СССР является другом русского народа. Никакими ухищрениями врагам не удастся подорвать доверие еврейского народа к русскому народу, не удастся рассорить нас с великим русским народом…

А кончалось оно так:

> Учитывая важность сплочения всех прогрессивных сил еврейского народа, а также в целях правдивой информации о положении трудящихся евреев в разных странах, о борьбе народов за укрепление мира, мы считали бы целесообразным издание в Советском Союзе газеты, предназначенной для широких слоев еврейского населения в СССР и за рубежом.
> Мы уверены, что наша инициатива встретит горячую поддержку всех трудящихся евреев в Советском Союзе и во всем мире.

Письмо было жалкое, раболепное, и подписывать его, конечно, тоже было противно. Но совершенно очевидно, что это было совсем не то письмо, которое могло спровоцировать Эренбурга на его отчаянное обращение к Сталину.

Это мое ощущение мне довольно легко было бы подтвердить анализом обоих текстов. (В тексте этого «Письма в редакцию» нет ни одного из тех выражений и оборотов, на которые ссылается Эренбург в своем письме Сталину.) Но никакого такого анализа тут даже и не надо: достаточно указать лишь на одно — сразу бросившееся мне в глаза — несоответствие.

В тексте этого «Письма в редакцию «Правды» упоминается взрыв бомбы «на территории миссии СССР в Тель-Авиве». Взрыв этот, как я уже говорил, произошел 9 февраля. А под письмом Эренбурга Сталину, опубликованным в том же «Источнике», стоит дата: «3 февраля 1953 года».

Вот и все. И никаких других доказательств больше не надо.

Не стану задаваться вопросом, по недомыслию ли и некомпетентности сотрудников журнала «Источник» появился на его страницах этот очевидный ляп или то была сознательная фальсификация. Важно, что подлинный текст «Письма в редакцию», под которым Эренбург отказался поставить свою подпись, так и остался за семью печатями.

Приступая к этой странице моих воспоминаний, я уже мысленно заготовил для нее такую финальную фразу: «То ли текст этот до сих пор не найден (может быть, даже уничтожен?), то ли сознательно утаивается».

Но замечательная фраза эта мне не пригодилась.

* * *

Туманная, полная загадочных недомолвок короткая реплика из эренбурговских мемуаров, которую я цитировал («Я попробовал запротестовать. Решило дело не мое письмо, а судьба»), была взята мною из первого издания книги «Люди, годы, жизнь». В последующих изданиях его мемуаров эта невнятная ссылка на какие-то таинственные обстоятельства, время говорить о которых еще не пришло, стала чуть яснее:

> События должны были развернуться дальше. Я пропускаю рассказ о том, как пытался воспрепятствовать появлению в печати одного коллективного письма. К счастью, затея воистину безумная, не была осуществлена. Тогда я думал, что мне удалось письмом переубедить Сталина, теперь мне кажется, что дело замешкалось

> и Сталин не успел сделать того, что хотел. Конечно, эта история — глава моей биографии, но я считаю, что не настало время об этом говорить.

Не берусь судить, почему он считал, что тогда время об этом говорить еще не настало. Потому что не смог бы сказать всю правду? Но в других случаях это его не смущало. Он всегда исходил из того, что лучше сказать хоть что-то, чем не сказать ничего.

Как бы то ни было, сейчас, я думаю, уже пришло наконец время заполнить этот пробел в его биографии, воссоздать эту пропущенную им главу.

В полной мере ее теперь, конечно, уже не воссоздать. При том, что завеса над этой тайной в последнее время уже слегка приоткрылась, всего, что мог бы рассказать об этом сам Эренбург, мы, конечно, не узнаем Но зато мы теперь знаем то, чего не знал, о чем еще не мог знать он. Открылись новые факты, новые обстоятельства. И исходя из этих новых, совсем недавно открывшихся фактов и обстоятельств, я могу теперь с полной уверенностью утверждать, что Эренбург не зря думал, что ему удалось своим письмом переубедить Сталина. Оказалось, что для такого предположения у него были совсем не малые основания.

* * *

Насчет того, каким было то письмо именитых советских евреев в редакцию «Правды», о чем в нем шла речь, кем и ради чего оно было затеяно, версий было много. В том числе и противоречивых, взаимоисключающих.

Вот, например, что рассказывает об этом С.И. Липкин в своих воспоминаниях о своем друге Василии Семеновиче Гроссмане:

> Гроссмана пригласили в «Правду»: позвонил ему профессор-историк Исаак Израйлевич Минц, сказал, что он должен прийти, в помещении редакции пойдет речь о судьбе еврейского народа. По пути в «Правду» Гроссман зашел в «Новый мир». Он хотел выяснить свои отношения с Твардовским по поводу того, что тот отрекся от романа «За правое дело».
>
> Оба, как я мог судить по рассказу Гроссмана, говорили резко, грубо. Твардовский, между прочим, сказал: «Ты хочешь, чтобы я партийный билет на стол выложил?» — «Хочу», — сказал Гроссман. Твардовский вспыхул, рассердился: «Я знаю, куда ты отсюда должен пойти. Иди, иди, ты, видно, не все еще понял, там тебе объяснят».
>
> В «Правде» собрались видные писатели, ученые, художники, артисты еврейского происхождения. Минц прочитал проект письма Сталину, которое собравшимся предлагали подписать. Смысл письма: врачи — подлые убийцы, они должны подвергнуться самой суровой каре, но еврейский народ не виноват, есть много честных тружеников, советских патриотов и т.д. Письмо так и не было послано Сталину, вообще оно было задумано не наверху, а оказалось, как нам потом объяснил хорошо информированный Эренбург, затеей высокопоставленных партийных евреев, испугавшихся за свою судьбу со всеми ее привилегиями.
>
> ***(Семен Липкин. Квадрига. М. 1997. Стр. 543-544.)***

Не думаю, чтобы «хорошо информированный Эренбург» говорил им нечто подобное. А если даже и говорил (мало ли по каким причинам не хотел откровенничать), вряд ли он всерьез считал, что задание это не было спущено Минцу и Маринину с самого верха. У Твардовского, судя по его реплике, записанной Липкиным со слов Гроссмана («Я знаю, куда ты отсюда должен пойти. Иди, иди, ты, видно, не все еще понял, там тебе объяснят»), тоже не было никаких сомнений, насчет того, откуда дует этот ветер.

Есть, правда, еще одно свидетельство, как будто подтверждающее такую (первоначальную) реакцию Эренбурга. Вот что замечает по этому поводу Борис Фрезинский, как я уже говорил, внимательно исследовавший всю последовательность событий:

> Они *(Минц и Маринин. — Б.С.)* приехали к Эренбургу на дачу, но И.Г. отказался подписать письмо (возможно, его не прочитав) и, отнеся дело к их личной инициативе, не придал этому значения.
>
> ***(Б.Я. Фрезинский. Власть и деятели советской культуры — проблема адекватного анализа. (Илья Эренбург в реальности и в новой книге о тайной сталинской политике). Исторические записки № 5 (123). М. 2002, стр. 310.)***

Высказывая это замечание, Фрезинский ссылается на запись своей беседы с Алей Яковлевной Савич — вдовой Овадия Савича. От Савичей у И.Г. не было секретов. Так что этому свидетельству приходится верить.

Что ж, быть может, поначалу он и впрямь подумал, что дело сводится к личной инициативе — не Минца и Маринина, конечно, — но каких-то других до смерти перепугавшихся высокопоставленных евреев. Хотя, честно говоря, мне трудно себе представить, чтобы он всерьез предполагал, что такая инициатива могла возникнуть у кого-нибудь самопроизвольно, без прямого указания **автора сценария.**

Глухой намек на то, что инициатива письма именитых евреев в редакцию «Правды» шла если и не «снизу», то, во всяком случае, и не с «самого верха», мы находим и в воспоминаниях Вениамина Каверина:

> Идея «еврейского письма» возникла, мне кажется, в больном мозгу, охваченном лихорадкой маниакального нетерпения. Антисемитизм перед процессом «убийц в белых халатах» достиг того уровня, который необходимо было как-то оправдать, объяснить, уравновесить.
>
> ***(В. Каверин. Эпилог.1989, стр. 316.)***

Хоть тут и не сказано, в чьем больном мозгу возникла эта идея (можно ведь понять и так, что в больном мозгу Сталина), но слово «уравновесить» больше склоняет к мысли, что в основе затеи лежал ужас, охвативший евреев, принадлежавших к идеологической обслуге режима.

Все это, впрочем, не так уж и важно. Гораздо важнее выяснить, в чем состоял смысл этого «еврейского письма».

По Каверину получается, что совсем не в том, чтобы объявить, что «еврейский народ не виноват», как это понял со слов Гроссмана Липкин:

> Зимой 1952 года мне позвонил из редакции «Правды» журналист Маринин и пригласил приехать для разговора, имеющего, как он сказал, «серьезное общественное значение». Я приехал и был встречен более чем любезно. Маринин (его настоящая фамилия была Хавенсон) провел меня в комнату, которая, как я понял, была приемной Давида Иосифовича Заславского, видного журналиста, одного из руководящих работников «Правды». В кабинете Заславского уже разговаривали — и через открывающуюся время от времени дверь я видел старых евреев в орденах, сидевших по ту сторону стола, за которым мелькнула внушавшая мне глубокое отвращение жирная лысая голова Заславского.
>
> Маринин предложил мне познакомиться с письмом, которое, как он мне сообщил, уже согласились подписать видные деятели культуры. И не только культуры: армии и флота.
>
> Я прочитал письмо: это был приговор, мгновенно подтвердивший давно ходившие слухи о бараках, строившихся для будущего гетто на Дальнем Востоке. Знаменитые деятели советской медицины обвинялись в чудовищных преступлениях, и подписывающие письмо требовали для них самого сурового наказания. Но это выглядело как нечто само собой разумеющееся — подобными требованиями были полны газеты. Вопрос ставился гораздо шире — он охватывал интересы всего еврейского населения в целом, и сущность его заключалась в другом. Евреи,

живущие в СССР, пользуются всеми правами, обеспеченными Конституцией нашей страны. Многие из них успешно работают в учреждениях, в научных институтах, на фабриках и заводах. И тем не менее в массе они заражены духом буржуазного воинствующего национализма…
Я передаю лишь в самых общих чертах содержание этого документа, память, к сожалению, не сохранила подробностей, да они и не имеют существенного значения. Ясно было только одно: решительно отвергая наличие в СССР антисемитизма, мы заранее оправдывали новые массовые аресты, пытки, высылку в лагеря ни в чем не повинных людей. Мы не только заранее поддерживали эти злодеяния, мы как бы сами участвовали в них, уже потому, что они совершались бы с нашего полного одобрения.

(Там же, стр. 316—317.)

Это длинное письмо Каверин прочитал два раза. Маринин терпеливо ждал. Затем сказал, что этот «убедительный документ» уже подписали Гроссман, Антокольский. Назвал ряд других известных фамилий.

— Гроссман?
— Да.
Это было непостижимо.
— АЭренбург?
— С Ильей Григорьевичем согласовано, — небрежно сказал Маринин. — Он подпишет.

(Там же, стр. 317.)

Хорошо зная Эренбурга, Каверин не поверил этому «согласовано». Решил, что Маринин блефует. И оказался прав:

…Не заезжая домой, я отправился к Эренбургу. Он уже знал о письме, с ним говорили — и встретил меня спокойно. Впрочем, спокойствие у него было разное — случалось, что он скрывал бешенство, равнодушно попыхивая трубкой.
— Илья Григорьевич, как поступить?
— Так, как вы сочтете нужным. В разговоре со мной вы упоминались. Если вы откажетесь, они подумают, что отсоветовал Эренбург.
—Так это ложь, что письмо согласовано с вами?
— Конечно, ложь. Разговор был предварительный. Я еще не читал этого письма.

(Там же, стр. 319.)

При первом визите к нему Маринина и Минца он и в самом деле даже не стал читать принесенное ими письмо. Прогнал их, не читая. Ну, а потом, когда прочесть все-таки пришлось, зловещий его смысл понял и оценил даже резче, чем Каверин.

Вот как передает его рассказ об этом журналист Зиновий Шейнис. (Свою беседу с Ильей Григорьевичем он датирует июлем 1953 года):

— Они приехали ко мне домой. Они — академик Минц, бывший генеральный директор ТАСС Маринин и еще один человек. Вопрос о выселении евреев из Москвы и других городов уже был решен Сталиным. Вот тогда Минц и Хавинсон обратились ко мне. Не знаю, была ли это их инициатива или им посоветовали «наверху» так поступить. Они приехали с проектом письма на имя «великого и мудрого вождя товарища Сталина». В письме содержалась нижайшая просьба. Врачи-убийцы, эти изверги рода человеческого, разоблачены. Справедлив гнев русского народа. Может быть, товарищ Сталин сочтет возможным проявить милость и охранить евреев от справедливого гнева русского народа. То есть под охраной выселить их на окраины государства. Авторы письма униженно соглашались с депортацией целого народа, очевидно, в надежде, что сами они не подвергнутся выселению.

(Вечерняя Москва. 28 июня 1991 года.)

Текст письма, изложенный Шейнисом якобы со слов самого Эренбурга, конечно, апокрифический. Я бы даже сказал, что он окутан ароматом густой липы. Однако доктор исторических наук Я. Этингер в книге своих воспоминаний «Это невозможно забыть…» (М., 2001) ссылается на него как на достоверный исторический документ.

На месте доктора исторических наук я бы отнесся к этому свидетельству журналиста с большей долей скептицизма. Но Я. Этингер с доверием отнесся и к еще более развесистой клюкве:

> Письмо, безусловно, в свое время было уничтожено, и казалось, что никогда не удастся узнать его полное содержание. Но произошло невероятное. Несколько лет назад мне позвонили домой, очевидно, из автомата; судя по голосу, звонила пожилая женщина. Она попросила меня к телефону. Убедившись, что именно я взял трубку, она несколько приглушенным и испуганным голосом сказала, что знает, что мой отец — известный профессор-кардиолог Я.Г. Этингер. Сообщила, что читала некоторые мои статьи о «деле врачей». Женщина предложила мне ознакомиться с «одним письмом», которое, по ее словам, представляет для меня интерес… Спустя час она находилась у меня дома. Ей было лет 60. Плохо одетая, она производила жалкое впечатление. Женщина никак не представилась, не назвала ни своей фамилии, ни своего имени. Она рассказала мне, что ее умершая 10 лет назад старая мать в течение 30 лет работала машинисткой в одной из центральных газет и печатала, будучи опытной машинисткой, многие важные статьи и документы. У матери сохранился небольшой архив, и, перебирая вскоре после ее смерти бумаги из него, она обнаружила пожелтевший от времени экземпляр письма, озаглавленного «Ко всем евреям Советского Союза». Бегло просмотрев текст, я убедился, что в моих руках находится уникальный исторический документ, призыв-обращение к депортации евреев в отдаленные районы страны. Этот документ разыскивался долгие годы. Я попросил посетительницу разрешить мне сделать копию этого письма. Но она наотрез отказалась. «Если хотите, перепишите его в моем присутствии». Она была запугана, хотя со времени «дела врачей» прошли многие годы. Но страх, посеянный сталинским режимом, унаследованный, очевидно, от матери, продолжал глубоко сидеть в ней.
>
> После того как я переписал письмо, она бережно сложила его в сумку, попрощалась, не оставив ни своего адреса, ни телефона… Мы попрощались, и она исчезла за дверью, навсегда.
>
> ***(Я.Я. Этингер. Это невозможно забыть.)***

Таинственная посетительница исчезла навсегда, но текст принесенного ею «уникального исторического документа», переписанный рукой автора, остался у него. И он приводит его в своей книге, не выражая ни малейших сомнений в совершенной его подлинности.

Приведу его и я:

> Ко всем евреям Советского Союза
>
> Дорогие братья и сестры, евреи и еврейки! Мы, работники науки и техники, деятели литературы и искусства — евреи по национальности — в этот тяжкий период нашей жизни обращаемся к вам.
>
> Все вы хорошо знаете, что недавно органы государственной безопасности разоблачили группу врачей-вредителей, шпионов и изменников, оказавшихся на службе американской и английской разведки, международного сионизма в лице подрывной организации Джойнт. Они умертвили видных деятелей партии и государства — А.А. Жданова и А.С. Щербакова, сократили жизнь многих других ответственных деятелей нашей страны, в том числе крупных военных деятелей. Зловещая тень убийц в белых халатах легла на все еврейское население СССР. Каждый советский человек не может не испытать чувства гнева и возмущения.

> Среди значительной части советского населения чудовищные злодеяния врачей-убийц закономерно вызвали враждебное отношение к евреям. Позор обрушился на голову еврейского населения Советского Союза. Среди великого русского народа преступные действия банды убийц и шпионов вызвали особое негодование. Ведь именно русские люди спасли евреев от полного уничтожения немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В этих условиях только самоотверженный труд там, куда направят нас партия и правительство, великий вождь советского народа И.В. Сталин, позволит смыть это позорное и тяжкое пятно, лежащее сегодня на еврейском населении СССР.
> Вот почему мы полностью одобряем справедливые меры партии и правительства, направленные на освоение евреями просторов Восточной Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Лишь честным, самоотверженным трудом евреи смогут доказать свою преданность Родине, великому и любимому товарищу Сталину и восстановить доброе имя евреев в глазах всего советского народа.

Текст этого «уникального исторического документа» был, как оказалось, известен еще до того, как безымянная гостья принесла и позволила скопировать его Я. Этингеру. Впервые он появился в книге писателя В.П. Ерашова «Коридоры смерти. Историко-фантастическая хроника» (М. 1990), что дало повод бдительному Г.В. Костырченко обвинить Этингера в плагиате.

Сам же Этингер это почти полное совпадение опубликованного им текста с тем, который Ерашов уже обнародовал в произведении, предусмотрительно названном им историко-фантастической хроникой, объяснял так:

> После того, как в моих руках оказался текст письма группы евреев Сталину, я немедленно позвонил писателю и с радостью сообщил, что оно во многом аналогично письму в его книге. Разумеется, Валентин Петрович был обрадован таким совпадением. И тогда я у него спросил: а на чем основано письмо, содержащееся в его книге? И он ответил мне, что ему показал письмо один писатель-еврей, который был в курсе этого дела. То есть, очевидно, речь шла о разных вариантах одного и того же письма.
>
> ***(Яков Этингер. Документы — еще не вся правда. Журнал «Лехаим». № 9, 2002.)***

Помимо всех этих, приведенных мною, было еще множество других — версий, слухов, легенд.

Размышляя над всеми этими версиями, я подумал, что, тщательно их проанализировав, можно было бы, наверно, отвеять всю шелуху слухов и легенд и извлечь из них некое рациональное зерно, если и не добравшись до истины, то, во всяком случае, приблизившись к ней.

Соблазн заняться этим был, признаюсь, велик.

Но как раз в то самое время, когда я размышлял над тем, стоит ли мне так уж углубляться во все эти дела, меня навестил приехавший на несколько дней из Петербурга в Москву Борис Фрезинский и сообщил, что подлинный текст того легендарного письма все-таки отыскался.

Мало того!

Он привез мне ксерокопию этого текста, найденного все в том же президентском архиве. Это — гранки. Те самые, которые дали прочесть Эренбургу, предлагая ему их подписать.

Я так уверенно написал «те самые», потому что на полях сохранились замечания самого Эренбурга. Не сделанные, правда, его собственной рукой, а надиктованные им, записанные с его слов то ли Минцем, то ли Мариниым, то ли еще кем-то из тех, кто дал ему прочесть это письмо, настоятельно предлагая подписать его.

Но сперва — о самом письме.

Начиналось оно с проклятий, адресованных преступникам, действовавшим «под маской ученых».

Преамбула эта (которой, кстати сказать, в том письме, что опубликовал «Источник», не было) заключалась фразой:

> Вместе со всем советским народом, со всеми передовыми людьми мира мы клеймим позором эту клику убийц, этих извергов рода человеческого.

Одной этой фразы было бы довольно, чтобы человек, которому предложили поставить под ней свою подпись, содрогнулся от ужаса. Ведь расписаться под ней — это значило, как говорит герой романа Гроссмана, «совершить подлость!.. Бросить камень в жалких, окровавленных, упавших в бессилии людей».

Но это было только начало.

Дальше, непосредственно за всеми этими проклятиями, следовала короткая формула перехода к главной теме:

> Большинство из разоблаченных преступников — еврейские буржуазные националисты, завербованные международной сионистской организацией «Джойнт» — филиалом американской разведки. Не случайно англо-американские империалисты ухватились за еврейских буржуазных националистов-сионистов…

И вот наконец — оно. Главное. То, ради чего все это затевалось:

> …Нельзя не признать, что у некоторой части еврейского населения нашей страны еще не изжиты буржуазно-националистические настроения. Еврейские буржуазные националисты-сионисты, являясь агентами англо-американского империализма, всячески разжигают эти националистические настроения. Они пытаются всеми мерами подогревать и раздувать среди советских граждан еврейского происхождения чувство национальной обособленности и национальной вражды к русскому народу и другим народам Советского Союза. Они хотят превратить евреев России в шпионов и врагов русского народа…

Не так прямо и грубо, как в мифологических вариантах Шейниса, Ерашова и Этингера, но все же достаточно ясно.

Ну, а теперь — к пометкам, которые сделал Эренбург на полях этого текста.

Выражение «некоторая часть», — пишет он, — может толковаться так, что националистов-евреев очень много.

И предлагает свой вариант: «среди некоторых элементов».

Выражение «евреев России» он предлагает заменить формулой: «обманутых ими евреев».

Подчеркнув слова: «хотят превратить евреев», диктует свой вариант «Могут подумать, что всех евреев, в том числе и авторов настоящего письма».

Постоянно повторяющееся в письме выражение «еврейский народ» он предлагает заменить в одном случае на «советских евреев», в другом на «еврейских тружеников».

Совершенно очевидно, что если бы все эти предлагаемые им исправления в текст письма были внесены, смысл затеваемой акции не слишком бы изменился. И он, конечно, прекрасно это понимал. Недаром все эти свои замечания предварил такой фразой:

> На поправках не настаиваю, но отдельные фразы нынешнего текста могут принести вред.

Эта реплика очень ясно показывает, в каком направлении сразу заработала его мысль, едва только он начал знакомиться с текстом этого письма.

Сразу решив, что он не станет его подписывать, он старается нащупать самые уязвимые, самые слабые (с точки зрения официальной идеологии) его места. Не для того, чтобы исправить их, изменить, сделать менее уязвимыми, а с одной-единственной целью: дезавуировать самую затею.

Дезавуировать же ее можно было только одним способом: обратившись к САМОМУ. К тому, кто все это затеял.

Мысль написать Сталину наверняка возникла у него сразу. Иначе разве он оговорился бы, что на своих поправках не настаивает. Он словно бы ткнул носом авторов письма в их некомпетентность, в их «политическую незрелость»: я, мол, вас предупредил, а там — дело ваше, действуйте, как хотите.

Не исключаю даже, что он тут же дал понять этим мелким сталинским фишкам (академику Минцу и журналисту Маринину), что будет «сигнализировать» обо всех их промашках в вышестоящие инстанции.

Вряд ли, конечно, он всерьез рассчитывал, что этот его «ход» сработает. Он просто тянул время. Делал все, что было в его силах.

Однако — случилось чудо.

«Ход» сработал.

* * *

Я уже говорил, что текст «Письма в редакцию «Правды», опубликованный в 1997 году в журнале «Источник», показался мне фальшивкой.

На этот счет у меня было много разных соображений. Но главное, неопровержимое сводилось к дате. Эренбург свое письмо Сталину написал и отправил 3 февраля, а в тексте «Источника» упоминался взрыв бомбы на территории миссии СССР в Тель-Авиве, случившийся 9-го. Стало быть, «Письмо», опубликованное в «Источнике», никак не могло быть тем, которое давали на подпись Эренбургу и по поводу которого он писал Сталину.

Но потом я подумал: а кому понадобилось изготовлять такую фальшивку? С какой, собственно, целью?

И простая догадка вдруг осенила меня: а что, если этот текст был ВТОРЫМ? Новым письмом, сочиненным по указанию Сталина, вдруг решившего изменить первоначальный сценарий?

Я внимательно перечитал под этим углом зрения текст «Источника», и сразу все стало на место.

Сразу бросились мне в глаза отдельные реплики, фразы, речевые обороты, в которых нельзя было не узнать хорошо всем нам знакомые интонации сталинского голоса:

> Разве не факт, что в Израиле всеми благами жизни пользуется лишь кучка богачей, в то время как подавляющее большинство еврейского и арабского населения терпит огромную нужду, лишения, влачит полунищенское существование. Разве не факт, что правители Израиля навязали израильским трудящимся двойной гнет — еврейского и американского капитализма.

> Кто не знает, что в действительности США являются каторгой для еврейских трудящихся, угнетаемых самой жестокой машиной капиталистической эксплуатации. Кто не знает, что именно в этой стране процветает самый разнузданный расизм и в том числе антисемитизм. Кто, наконец, не знает, что антисемитизм составляет также отличительную черту тех фашистских клик, которые повсеместно поддерживаются империалистами США.

Помимо этих знаменитых сталинских повторов, были там и другие следы легко узнаваемой сталинской речи. Его стиль, его речевая манера:

> Но давайте разберемся в том, кого в действительности представляют правители государства Израиль, кому они служат…
>
> Далее. Интересы каких евреев отстаивает международная сионистская организация «Джойнт»…
>
> Разберемся и в этом вопросе…

Осененный своей догадкой, читая все это, я словно увидел живого Сталина. Вот он неторопливо прохаживается по своему кабинету, медленно роняя чугунные гири своих риторических вопросов:

— Развэ нэ факт?..

И:

— Кто нэ знает?..

Потом останавливается и, подняв руку с указующим перстом или любимой своей трубкой, возглашает:

— Далее…

Или:

— Разбэремся в этом вопросе.

А перед ним, на полусогнутых, стоит какой-нибудь, скажем, Шепилов, судорожно старающийся запомнить каждую драгоценную фразу вождя. А может быть, даже и записывает. (Иначе откуда же там вдруг взялись бы все эти, скорее в устной речи уместные: «Далее…» и «Разберемся в этом вопросе…»)

В этой открывшейся вдруг моему взору картинке ничего такого уж ошеломляюще нового для меня не было. Я ведь и раньше прекрасно понимал, что если письмо, появившееся в «Источнике», не было фальшивкой, если этот текст действительно был ВТОРЫМ, долженствующим заменить отмененный, забракованный ПЕРВЫЙ, то сделать все это могли только «по личному указанию товарища Сталина».

По-настоящему новым в этом тексте при внимательном ею чтении для меня оказалось совсем другое.

В сущности, **все содержание** этого нового, второго письма развивало главный аргумент, главный тезис Эренбурга, выдвинутый им в его обращении к Сталину:

> Мне кажется, что единственным радикальным решением еврейского вопроса в нашем социалистическом государстве является полная ассимиляция, слияние людей еврейского происхождения с народами, среди которых они живут. Это срочно необходимо для борьбы против американской и сионистической пропаганды, которая стремится обособить людей еврейского происхождения.

Это Эренбург.

А вот — самое начало ВТОРОГО «Письма в редакцию «Правды»:

> Есть люди, которые, выдавая себя за «друзей» и даже за представителей всего еврейского народа, заявляют, будто у всех евреев существуют единые и общие интересы, будто все евреи связаны между собою общей целью. Эти люди — сионисты, являющиеся пособниками еврейских богачей и злейшими врагами еврейских тружеников.

Эренбург предлагает:

> Я убежден, что необходимо энергично бороться против всяческих попыток воскресить или насадить еврейский национализм… Мне казалось, что для этого следует опубликовать статью или даже ряд статей, подписанных людьми еврейского происхождения, разъясняющих роль Палестины, американских буржуазных евреев и пр. С другой стороны я считал, что разъяснение, исходящее от редакции «Правды» и подтверждающее преданность огромного большинства тружеников еврейского происхождения Советской Родине и русской культуре, поможет справиться с обособлением части евреев и с остатками антисемитизма. Мне казалось, что такого рода выступления могут сильно помешать зарубежным клеветникам и дать хорошие доводы нашим друзьям во всем мире.

Автор (или авторы) второго письма точно следуют этому эренбурговскому совету:

> В Советском Союзе осуществлено подлинное братство народов, больших и малых. Впервые в истории трудящиеся евреи вместе со всеми трудящимися Советского Союза обрели свободную, радостную жизнь. Не ясно ли, что легенда об империалистической Америке, как «друге» евреев, является сознательной фальсификацией фактов. Не ясно ли также, что только заведомые клеветники могут отрицать прочность и нерушимость дружбы между народами СССР.
>
> Враги свободы национальностей и дружбы народов, утвердившейся в Советском Союзе, стремятся подавить у евреев сознание высокого общественного долга советских граждан, хотят превратить евреев России в шпионов и врагов русского народа и тем самым создать почву для оживления антисемитизма, этого страшного пережитка прошлого. Но русский народ понимает, что громадное большинство еврейского населения в СССР является другом русского народа…
>
> У трудящихся евреев всего мира — один общий враг. Это — империалистические угнетатели, на услужении которых находятся реакционные заправилы Израиля…

Эти текстуальные совпадения напомнили мне один эпизод из истории, скажем так, советской пропагандистской машины.

У всех на памяти знаменитые слова Сталина о Маяковском, который «был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей, советской эпохи». Но мало кто знает, что этот сталинский, говоря нынешним языком, **слоган** целиком был взят им (лишь слегка перефразирован) из обращенного к нему письма Лили Юрьевны Брик.

Сталин никогда не гнушался такого рода заимствованиями. Не погнушался и на этот раз.

Но на прямую связь нового, ВТОРОГО «Письма в редакцию «Правды» с письмом Эренбурга указывают не только текстуальные совпадения.

Если вдуматься в смысл эренбурговского письма Сталину (постаравшись отвлечься от тошнотворно-раболепного его слога), мы увидим, что самая суть его обращения к вождю состояла в том, что в интересах «мудрой сталинской политики» умнее было бы переключить ярость масс с врагов внутренних (то есть советских евреев) на врагов внешних (американских империалистов и израильских богачей-капиталистов).

Как видим, Сталин оценил преимущества этой, подсказанной ему Эренбургом тактики.

* * *

К публикации письма Эренбурга Сталину в журнале «Источник» было сделано такое подстрочное примечание:

> На документе имеется помета: «Поступило 1О.Х.53 г. с дачи И.В. Сталина.

А маленькое предисловие к публикуемому тексту письма заключалось такой фразой:

> Какой-либо реакции Сталина на обращение к нему писателя в архиве обнаружить не удалось.

Реакция, однако, была.

Собственно, само это отсутствие прямого выражения какой-либо реакции как раз и является самым красноречивым свидетельством того, что письмо Эренбурга не только было Сталиным прочитано, но и произвело на него впечатление. На письмах, не требовавших ответа, а тем более принятия каких-либо решений, он обычно делал пометку: «Мой архив. И. Сталин.» (Именно такая резолюция была оставлена им на обращенном к нему письме Б.Л. Пастернака.) Письмо Эренбурга Сталин в архив не отправил, оставил его при себе. Значит, размышлял над ним, что-то такое обдумывал.

Все это, конечно, домыслы.

Но теперь в этих домыслах уже нет никакой нужды. Анализ ВТОРОГО ПИСЬМА именитых евреев в редакцию «Правды», написанного под диктовку Сталина, яснее ясного говорит нам о том, что обращение Эренбурга не только дошло до того, кому было адресовано, и не только было внимательно им прочитано, но и, что называется, принято к сведению. Без особой натяжки можно, пожалуй, даже сказать, что оно было использовано как руководство к действию, к некоторому изменению ближайших сталинских планов.

Этот второй вариант «Письма в редакцию «Правды», переписанный по указанию вождя, разительно отличается от первоначального текста. Смысл документа стал не просто другим, а прямо-таки противоположным тому, о чем шла речь в первом письме. В сущности, это был уже совсем другой документ.

Если сформулировать это коротко, поначалу «Письмо в редакцию «Правды» было замыслено как мандат на расправу с еврейским населением страны. Мандат, который власть как бы получала от самих евреев (в лице самых именитых их представителей). Второй же вариант внятно давал понять, что всем этим планам дается ОТБОЙ.

Я не думаю, что Сталин, прочитав письмо Эренбурга, так-таки уж совсем отказался от своих планов.

Но он был осторожен. Умел выжидать.

Что мы знаем точно, так это то, что из-за эренбурговского отказа поставить подпись под «Письмом в редакцию «Правды» и из-за его письма Сталину дело пошло не так, как намечалось по сценарию.

Сценарий ведь рассчитывал на полное, абсолютное, тотальное послушание «дрессированных евреев».

Предполагалось, что все вызванные «на ковер» подпишут как миленькие. А как же иначе? Куда денутся!

Как и всегда, сработает то, что Сталин назвал морально-политическим единством советского народа.

О том, какой смысл вождь вкладывал в эту свою формулу, лучше всего скажет такой, ходивший в те времена анекдот.

Вызывает как-то товарищ Сталин верного своего пса Лаврентия и говорит:

— Скажи, Лаврентий. Ты не боишься, что народ у нас может выйти из повиновения?

—Да ну что вы, Иосиф Виссарионович, — отвечает Лаврентий.

— А вот у меня есть такое опасение, — задумчиво говорит вождь.

— Нет, — смеется Лаврентий. — Я в нашем народе уверен.

— А в интеллигенции?

— В интеллигенции — тем более. Хотите сделаем такой эксперимент: объявим, что с завтрашнего дня на Красной площади будет проводиться ежедневная порка всего населения.

— Да ты что, Лаврентий! Ведь это же вызовет бунт. Может быть, далее революцию…

— А вот увидите! — говорит Лаврентий. В общем, уговорил, подлец.

Объявили.

На следующее утро стоят они у окна сталинского кремлевского кабинета и видят, как приближается к Красной площади какая-то толпа — с флагами, транспарантами, лозунгами.

— Ну вот, — оборачивается Сталин к Лаврентию. — Что я тебе говорил? Сперва демонстрация, потом бунт, а там и революция. Так ведь и мы начинали. Доигрался ты со своими экспериментами.

— Не торопитесь с выводами, Иосиф Виссарионович, — говорит Лаврентий. — Пусть подойдут поближе.

Колонна демонстрантов приближается, и все отчетливее становятся видны буквы на плакатах и транспарантах. И вот уже можно прочесть, что написано на первом транспаранте. И вождь читает: «МЫ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ НАУК СССР, ТРЕБУЕМ, ЧТОБЫ НАС ВЫПОРОЛИ ПЕРВЫМИ!»

Но на этот раз дело стало развиваться не по анекдоту.

Произошла заминка.

Один ли Эренбург отказался подписать «Письмо в редакцию», или нашлись еще два-три строптивца — точно сказать нельзя. (В «Источнике», где было опубликовано НЕ ТО ПИСЬМО, к тексту его было сделано такое примечание: «По некоторым сведениям, наряду с И.Г. Эренбургом отказались подписать письмо генерал Я.К. Крейзер и певец М.О. Рейзен».)

Что же касается Эренбурга, тут — не слух, не версия. Как говорится, «это не факт, это действительно было».

* * *

Дотошный историк Костырченко, много сил потративший на разоблачение «депортационного мифа», попутно, вскользь, мимоходом разоблачил еще и этот, связанный с именем Эренбурга.

Оказывается, тот факт, что Эренбург так и не поставил свою подпись под тем роковым письмом, — тоже не более чем миф. Красивая легенда:

> Сомнения писателя дошли до всесильного адресата, который тем не менее не позволил ему уклониться от исполнения номенклатурного долга. Так под обращением наряду с прочими появился и автограф Эренбурга.
>
> На подписном листе к обращению в редакцию «Правды» (РГАНИ. — фонд 5. Оп. 25 — Д. 504. — Л. 177—179) имеются также оригинальные автографы С.Я. Маршака, В.С. Гроссмана, М.О. Рейзена, М.И. Ромма, Л.Д. Ландау, И.О. Дунаевского и многих других видных деятелей еврейского происхождения.
>
> ***(Тайная политика Сталина. Стр. 681.)***

Несмотря на все эти скрупулезно точные и потому, казалось бы, неопровержимые указания на номера архивных фондов, описей и листов, в подлинность этих документальных свидетельств я все равно не поверил. И решил для себя, что не поверю до тех пор, пока не увижу пресловутый эренбурговский «автограф» собственными глазами.

Однако поверить, — вернее, признать несомненность самого факта, — пришлось.

Начать с того, что его подтвердил (сперва в разговоре со мной, а потом и в той своей работе, на которую я уже ссылался) Борис Фрезинский:

> А.Я. Савич, вдова ближайшего друга И.Г. Савича, рассказывала мне, что когда в те самые февральские дни 1953 г. они были в московской квартире Эренбургов, И.Г. срочно вызвали в «Правду». Уезжая, он сказал Савичам: «Не уходите», и они остались ждать его возвращения. Эренбург вернулся поздно и совершенно

подавленный. Он сказал, вытирая лоб (что делал всегда в минуты сильных переживаний): «Случилось самое страшное — я подписал…» Рассказав это, А.Я. Савич поняла, что я ее рассказу не поверил. Зная черновики письма Эренбурга Сталину, я действительно не мог принять этого рассказа А.Я. Савич и потом даже не включил его в беловую запись ее воспоминаний. «Боря, вы мне не верите? — печально спросила А.Я. Савич. — Я помню это, как сейчас». Лишь теперь, когда стало известно, что Эренбург подписал второй, существенно отличный от первого, вариант коллективного письма, я понимаю, что письмо Эренбурга Сталину и рассказанное Алей Яковлевной не противоречат друг другу, и мне грустно, что я уже не могу сообщить ей об этом… Это письмо подписали и те, про кого существует устойчивый слух, что первое письмо они не подписывали, — Рейзен, Крейзер, Ерусалимский.

(Б.Я. Фрезинский. Власть и деятели советской культуры — проблема адекватного анализа. (Илья Эренбург в реальности и в новой книге о тайной сталинской политике). Исторические записки № 5 (123). М. 2002, стр. 312.)

На самом деле, как оказалось, все было не совсем так.

Три года спустя, после того как автор этого умозаключения увидел оба варианта «обращения» своими глазами и внимательно их проанализировал, он вынужден был слегка его скорректировать.

…Должен признать: мое прежнее утверждение — что Эренбург подписал вторую редакцию, а никак не первую — было неверным, сделанным до того, как я смог увидеть хранящиеся в РГАНИ документы. Они убедили меня в том, чо подпись Эренбурга стоит под первой редакцией «обращения». Несомненно убедительными можно считать факт передачи письма Сталину через Шепилова и то, что через несколько дней Эренбургу позвонил Маленков и пригласил его на Старую площадь, где беседовал с ним в присутствии Кагановича и в ходе беседы передал решение Сталина о необходимости подписи Эренбурга под «обращением». Именно подпись под первой редакцией, поставленная после этого Эренбургом, объясняет его подавленное состояние, о котором мне рассказывала А.Я. Савич, видевшая писателя, когда он вернулся домой в тот день. Эренбург мог подумать, что его письмо не сработало, что Сталин к его аргументам не прислушался. Между тем последующие события говорят о том, что Сталин продолжал думать об этом письме, причем нарастающие за рубежом протесты в связи с «делом врачей» подтверждали правильность доводов Эренбурга. В итоге Сталин пришел к выводу, что топорный текст первой редакции «обращения» политически преждевременен, и дал указание подготовить другую, существенно иную, «мягкую» редакцию «обращения» евреев в «Правду». Возможно, он сам и надиктовал Шепилову ключевые фразы.

(Борис Фрезинасий. История. Книга о пятнадцати годах сталинского антисемитизма и еще раз о событиях начала 1953 года. «Народ Книги в мире книг». № 60).

Верный своим принципам и своей натуре, вождь все-таки дал Эренбургу понять, что нечего валять дурака: выделиться наособицу из общего списка он не позволит никому. Не позволил даже Кагановичу, который присутствовал при беседе Эренбурга с Маленковым, передавшим ему волю вождя. (Подробно об этом я рассказал в главе «Сталин и Пастернак».)

Подписывая это «обращение», Эренбург, конечно, чувствовал себя опоганенным. Но он, по крайней мере, мог утешать себя тем, что сделал все, что мог, чтобы остановить безумие.

Борис Слуцкий однажды спросил меня (он любил задавать такие неожиданные «провокационные» вопросы):

— Как по-вашему, кто правильнее прожил свою жизнь: Эренбург или Паустовский?

Я ответил, не задумываясь:

— Конечно, Паустовский.

— Почему?

— Не выгрался в эту грязную игру, был дальше от власти. Не приходилось врать, изворачиваться, кривить душой.

В тот момент я не вспомнил, что и сам Эренбург однажды сказал: «Людям, страдающим морской болезнью, советуют глядеть на берег. Меня не укачивает на море, но не раз меня укачивало на земле. Тогда я старался хотя бы издали взглянуть на Константина Георгиевича Паустовского». Не знаю, помнил ли это эренбурговское признание Слуцкий. Но от меня он наверняка ждал именно того ответа, который услышал. И у него уже заранее было готово возражение.

— Нет, вы не правы, — покачал он головой. — Конечно, Эренбургу приходилось идти на компромиссы. Но зато скольким людям он помог! А кое-кого так даже и вытащил с того света…

Тогда я, конечно, остался при своем мнении. (Он, разумеется, при своем.)

Но сейчас я подумал — а что, если бы он спросил меня:

—Как по-вашему, кто правильнее прожил свою жизнь — Эренбург или Гроссман?

Тогда я — это уж точно! — без колебаний ответил бы:

— Конечно, Гроссман!

Но сейчас, думая о той роли, которую Илье Григорьевичу случилось сыграть в тот роковой миг нашей истории, я уже не могу с такой уверенностью ответить на этот вопрос.

Да, Гроссман был свободнее. Он не звал слепоту находкой. Когда прозрел, написал обо всем, что увидел, узнал, понял. И дорого за это заплатил.

А Эренбург не хотел глядеть этой страшной правде в глаза. До последнего дня своей жизни оставался «в игре», «подвывал и даже лаял».

Но Гроссман в смятении подписал то ужасное, первое письмо. А Эренбург поступил так, как поступил.

И дело тут совсем не в том, кто из них оказался морально выше. Или — скажем так — чье моральное падение было глубже: Гроссмана ли, который уступил силе и сдался, или Эренбурга, который, «наступив на горло собственной песне», заставил себя, сочиняя письмо Сталину, «взять в рот» все эти гнусные казенные слова, вспоминать и изобретать все эти фальшивые, лживые аргументы.

И то и другое было одинаково тяжело и одинаково противно.

Но, в отличие от Гроссмана, Эренбург не только ясно увидел, «куда влечет нас рок событий», но и попытался если не остановить, так хоть задержать это стремительное скатывание страны к самому краю пропасти. И кто знает, что случилось бы за те две недели, если бы Сталину не донесли, что произошла «заминка», и если бы он не прочел это «лакейское», как презрительно обозвала его моя жена, эренбурговское письмо.

Весь этот страшный узел развязала, конечно (лучше сказать — разрубила) внезапная смерть Сталина. И нередко поэтому мне приходилось слышать — чаще от старших моих современников, — что в дело вмешался Бог.

Профессия русского Бога не синекура, — однажды сострил Тютчев. Профессия еврейского Бога еще меньше похожа на синекуру: ему то и дело приходится проявлять свою божественную волю, чтобы в очередной раз спасти от гибели свой «избранный народ».

Но орудием исполнения своей воли Господь избирает людей.

В поэме Н. Коржавина «Начальник творчества» главный ее герой, партийный функционер «среднего звена» (вот этот самый «начальник творчества») не верит в естественную смерть вождя:

—Тут козни кроются во мгле,
Не досмотрели, грех наш тяжкий…
Как будто сам собой в Кремле

Не мог скончаться старикашка.
Как будто может лёт годов
Застыть. Как будто смерть пуглива.
Подозревал он месть врагов
И даже руку Тель-Авива,
И клялся, — с каждым днем лютей, —
Что тут враги. Сумели ж, черти!
И — зря. К позору всех людей
Вождь умер собственною смертью.

Все-таки вряд ли это было так.

Не стану апеллировать к знаменитой книге Авторханова «Загадка смерти Сталина», ни к трудам других историков, пытавшихся доказать, что Сталину помогли умереть его соратники. Скажу только одно: версия эта безусловно заслуживает самого серьезного и внимательного рассмотрения.

Как я уже говорил, «дело врачей» было — по замыслу Сталина — прологом новой грандиозной чистки партийной верхушки. Об этом достаточно ясно говорило уже само «Сообщение ТАСС», появившееся в «Правде» 13 января. Как там было сказано, арестованные врачи признались, что после убийства Жданова и Щербакова они собирались умертвить маршалов Василевского, Говорова и Конева, генерала Штеменко и адмирала Левченко. Но там не было ни слова о том, что они должны были убить Маленкова, Берию, Молотова, Хрущева. Намек был достаточно ясный.

А в передовой «Правды», написанной — или продиктованной — самим Сталиным (там легко угадывался его почерк), говорилось совсем уже прямо:

> Что же касается вдохновителей этих наймитов-убийц, то они могут быть уверены, что возмездие не забудет о них и найдет дорогу к ним, чтобы сказать им свое веское слово.

Трудно поверить, чтобы «соратники» вождя не поняли, что это зловещее предупреждение адресовалось не какому-то там мифическому «Джойнту», а прямо и непосредственно им. Все они были «ребята практикованные», сами прошли сталинскую криминальную школу — в отличие от Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и других «лохов» из «ленинской гвардии».

Так что жизнь и смерть вождя были для них вопросом их собственной жизни и смерти.

Но могло, конечно, случиться и так, что вождь все-таки умер «собственною смертью».

Мой приятель Камил Икрамов (сын секретаря ЦК Узбекистана Акмаля Икрамова, расстрелянного вместе с Бухариным), юность которого прошла в сталинских лагерях, среди множества совершенно замечательных лагерных историй однажды рассказал мне такую.

Всех, с кем ему привелось там отбывать свой безразмерный срок, судили за шпионаж. Вряд ли надо объяснять, что на самом деле шпионами они, конечно, не были.

Но случилось так, что среди этих мнимых шпионов оказался один настоящий. То ли румынский, то ли венгерский, то ли еще какой…

И вот этот настоящий шпион время от времени говорил:

— Вам-то хорошо. В 53-м году Сталин умрет, и всех вас выпустят на свободу. А мне — и дальше сидеть…

Мнимые шпионы над этой его постоянной присказкой только посмеивались.

— Да откуда ты взял, что Сталин умрет именно в 53-м году? — иногда все-таки спрашивал у него кто-нибудь из них. И тогда, пожимая плечами, он отвечал:

— Помилуйте, да ведь это же известно!

И объяснял, что в каком-то там — сейчас уже не помню, в каком именно, — году у Сталина был первый удар. В 49-м, когда ему стукнуло 70, и его чествовали, а он не произнес в ответ на приветствия ни слова, — второй. (Потому и не произнес ни слова, что после

перенесенного инсульта к нему еще не вернулся дар речи.) А в 53-м, во всяком случае, не позднее 53-го, последует третий удар, которого он, конечно, не переживет. Там, у них, на Западе, это всем известно. Ну, может быть, не всем, но для него, профессионального разведчика, это никакой не секрет и никакая не тайна.

Не знаю, может быть, Камил все это и выдумал. Или это одна из тех лагерных баек, которыми тешили себя несчастные замордованные зэки.

А может быть, — чем черт не шутит! — там, у них, на Западе, в ихних шпионских кругах, и в самом деле давно уже рассчитали, что Сталин не переживет 53-го года.

Но даже если вождь и в самом деле «умер собственною смертью», одно несомненно: когда случился с ним этот предугаданный западными спецслужбами третий удар, соратники безусловно помогли ему отправиться на тот свет.

Это признает даже его дочь Светлана, ни на грош не верившая в заговор и насильственное умерщвление отца:

> …73-летнему старику с повышенным кровяным давлением безусловно *помогли помереть* тем, что оставили его в состоянии *удара* , без врачебной помощи в течение 12 (или больше…) часов. Да еще *волокли* в другую комнату.
> Что *взрослые* люди не поняли простого факта, что это был *удар* — никогда не поверю. Признаки были налицо: паралич, потеря речи и сознания.
>
> ***(Светлана Аллилуева. Письмо Роману Гулю 12 янв. 1977 года. В кн. Роман Гуль. «Я унес Россию», том 3.)***

Так что, если даже и впрямь в дело вмешался Бог, орудием господней воли, как и во множестве других подобных случаев, все-таки были люди. И одним из этих орудий выпало стать Эренбургу.

Письмо Эренбурга «на высочайшее имя», как я уже не раз говорил, было написано 3 февраля. Сталину оставалось жить еще целый месяц.

За этот месяц могло случиться многое. Но вот произошла какая-то заминка. Решено было изменить — нет, не генеральный план, скорее только тактику. Стремительный, бешеный ход событий задержался всего лишь на какие-нибудь две-три недели. Но эти две-три недели решили всё.

Смерть, уже занесшая свою косу над головами миллионов людей, отступила.